М. Л. МИХАЙЛОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

М. Л. МИХАЙЛОВ

СОЧИНЕНИЯ

В ТРЕХ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

М. Л. МИХАЙЛОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ, РОМАНЫ, ОЧЕРКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Под общей редакцией
Б. П. КОЗЬМИНА

Подготовка текста
Г. Ф. КОГАН
Примечания
Г. Ф. КОГАН и М. О. КОСВЕНА
(«За пределами истории»)

АДАМ АДАМЫЧ
(Посвящается И. С. Тургеневу)

Auch ich war in Arkadien geboren.
Schiller[1].

...Here the patriarchal days are not
A pastoral fable.
Byron[2].

Что-то буколического много, Шатобрианом пахнет.
Гоголь.

ГЛАВА I

Розовые персты Авроры приподнимали медленно завесу ночи, и приятный предутренний сумрак держал еще в своих объятиях едва пробуждавшуюся природу.

Уездный городок Забубеньев спал сладко и крепко от восточного своего края до западного.

Само собою разумеется, что так же крепко и сладко почивал дом помещика и бывшего уездного предводителя, господина Желнобобова, стоявший на одной из забубеньевских улиц. Все покоилось в этом доме, от самого хозяина, Максима Петровича, до юнейшего из его детищ, Ганюшки, и от дворецкого Макарыча до малолетнего казачка Алешки.

Но и в новейшие времена, как бывало и во дни отдаленной древности, любители природы не пропускают случая насладиться созерцанием раннего восхода летнего солнца. Потому нисколько не удивительно, что в доме господина Желнобобова, в одной из уютных комнаток на антресолях, оказалось некоторое движение в такую раннюю пору.

Кровать, стоявшая в углу означенной комнатки, скрипнула, тканьевое одеяло откинулось, и из-под него в одно

---

[1] И я в Аркадии родился. *Шиллер* (*нем.*).

[2] Патриархальные дни не были здесь патриархальным вымыслом. *Байрон* (*англ.*).

мгновение ока возникла фигура, дотоле скрывавшаяся как бы под спудом. Хотя в комнатке было еще довольно темно, однако все же можно было различить на стуле, у самой кровати, некоторые главные статьи утреннего мужского туалета. Воспрянувшая от сна фигура простерла руки к стулу, потянула с него помянутые статьи и поспешила воспользоваться ими. В несколько секунд наряд, достойный времен буколических, превратился в одеяние более цивилизованное, и фигура оказалась в сапогах и брюках. Солнце не замедлило появиться и обрадовать своего записного поклонника. При первом, матовом свете утра уже довольно ясно обозначился восставший от сна человек.

Чтобы не томить более многоуважаемого мною читателя, я вменяю себе в обязанность объявить ему, что сей любитель природы, столь рано покидающий сладостные объятия Морфея, был не кто иной, как сам достолюбезный герой моей правдивой повести — Адам Адамыч, наставник юношества вообще и детей Максима Петровича Желнобобова в особенности.

Наконец дневное светило осияло вполне особу достойного мужа, и ярко вырезался на серой стене гетевский профиль Адама Адамыча. Сходство с портретом Гете в преклонных летах было так велико в лице моего героя, что, живи он в Веймаре в то время, как обитал там и корифей новейшей поэзии, нет сомнения, многие затруднялись бы отличать их друг от друга. Волосы с проседью так же зачесаны, или, лучше сказать, взъерошены кверху; нос с таким же орлиным погибом; такое же олимпийское чело... Только глаза Адама Адамыча не могли идти в сравнение с глазами Гете, ибо были не в пример больше. На прикрытие их в известных случаях требовался очень значительный объем век, и веки у Адама Адамыча сбирались в неисчислимом множестве морщин под густыми и широкими бровями.

Хоть и говорится в сказках, что они только скоро сказываются, дело же не так-то скоро делается, однако в настоящем случае изречение это не имеет ни малейшего применения к действительности. Вероятно, гораздо прежде, чем я успел рассказать восстание Адама Адамыча от сна, герой мой приблизился уже к умывальнику, омыл животворною влагой свой лик и окончил даже одно из высочайших своих наслаждений — чистку зубов.

Мгновенно исчезла немалая доля нюхательного табаку

из коробочки, стоявшей около умывальника, отправляясь в рот и за почтенные щеки немца.

Лавочник, продовольствовавший Адама Адамыча этим продуктом, всегда удивлялся, куда так скоро выходит у него табак, и всякий раз Адам Адамыч говорил ему, что берет табак не для нюханья и что нюхать табак — привычка нехорошая и нимало не возвышающая человеческого достоинства, но что, напротив, главная польза от этого благородного растения — укрепление десен и убеление зубов (чему, мимоходом сказать, лавочник вовсе не верил).

Решившись последовать за Адамом Адамычем во всех, даже малейших, его действиях в настоящий день, мы должны сказать, что тотчас после описанного процесса употребления нюхательного табаку наставник подростков господина Желнобобова выпил полный графин чистейшей воды, повязал на шею черный платок, обвернутый на неизмеримо широком подгалстушнике, надел на свою не слишком объемистую, но и не совсем мизерную фигуру глухой серенький казинетовый жилет и наконец завершил свой туалет сюртуком табачного цвета.

Когда все это приведение фигуры своей в достодолжное убранство было окончено почтенным наставником, он открыл одно из двух окон своей комнаты, глядевших на двор, и приятно вдохнул в себя свежий и несколько холодный воздух утра. Солнце продолжало смотреть с приветною улыбкой на своего верного обожателя. Адам Адамыч закрыл обширными веками не менее обширные глаза и привел свой нос в сношение с солнцем. Он встал так против окошка, что лучи яркого светила падали ему прямо в лицо и приятно щекотали ноздри.

Вдруг вся благородная физиономия Адама Адамыча начала искажаться самыми странными гримасами: нос сморщился, губы полуоткрылись и вытянулись вперед, и в лице почтенного немца утратилось всякое сходство с портретом немецкого сочинителя Гете в преклонных летах. Вслед за этими мгновенными изменениями физиономии Адама Адамыча последовал ужасный звук, от которого дрогнули, как от пистолетного выстрела, рамы оконниц; затем черты немца пришли снова в совершенную гармонию и полный покой. Он вынул из кармана тщательно сложенный в виде тетрадки пестрый бумажный платок, высморкался в самый незаметный кончик его, дал платку снова первоначальную форму и уложил его опять в боковой карман табачного сюр-

тука. При этом приятная улыбка озарила ему уста, и он прошептал: «'s war tüchtig genies't!»[1]

Словно по обычному зову вслед за звуком, изданным носом Адама Адамыча в товариществе с его же, Адама Адамыча, гортанью, из-под тканей, скрывавших от постороннего зрителя разные домашние предметы, таившиеся под кроватью, выглянула косматая голова Пальмы, верной собаки Адама Адамыча.

Так как должное почтение было уже отдано проснувшейся природе и окончен дневной туалет, то почтенный немец не счел предосудительным обратить свое драгоценное внимание на показавшееся из-под кровати животное. Лежавшая дотоле в совершенном спокойствии собака, увидев обращенные на нее взоры, тряхнула ушами и забила по одной из ножек кровати своим чувствительным хвостом.

Адам Адамыч улыбнулся и позвал ее к себе.

Возникшая из своего приюта собака была, как показывает и самое имя ее, женского пола; это, впрочем, не мешало ей нисколько не отличаться красотою. Почтенный владелец Пальмы считал ее пуделем; но беспристрастный зритель не мог бы согласиться в этом случае со всегда правдивым Адамом Адамычем. Белая шерсть Пальмы давала знать о себе только длинными космами на широких ушах, скудным клочком на самом конце хвоста да густыми бровями, которые как щетки торчали у ней над мутными глазами. Как ни достойно вероятия показание такого человека, как Адам Адамыч, автор не может согласиться с ним и в том мнении, что Пальма оттого только утратила первобытный образ пуделя, что линяет. Простим герою нашему небольшую слабость к преданному животному! Желая оправдать не совсем поражающий красотою вид своего друга, он круглый год, и летом, и зимой, и весной, и осенью, говорил: «Пудель, но только линяет». Если мы и примем за истину это мнение Адама Адамыча, то ни в каком случае не дерзнем приписать постоянной линючести верного пса его тонких ног и звонких боков.

Пальма досталась Адаму Адамычу от одного господина, который купил ее в Москве за кобелишку молодых лет и был очень неприятно изумлен, когда кухарка вдруг донесла ему, что кобелишка, возраставший на лоне тишины и спокойствия в кухне, в одно прекрасное утро — ощенился. Раздраженный такою несостоятельностью кобелишки, хозяин его

[1] Здорово чихнул! (*нем.*)

подарил Адаму Адамычу не оправдавшую надежд собаку и рекомендовал ему — переименовать ее из мужского имени «Бралиашка» в более приличное женскому ее полу имя. Вследствие всего вышеписанного собака получила поэтическое имя Пальмы, хотя стройностью, после тяжких родов, походила не на какое-либо дерево в особенности, а на коряжник вообще. Тем не менее, несмотря на совершенное исчезновение красот Пальмы, Адам Адамыч питал сильную к ней привязанность.

И в то раннее утро, описанием которого мы занимаемся, вся нежность его обратилась на южившую сладостным образом у ног его собаку. Он принялся протирать ей глаза ее же собственными ушами, щекотал ей под брюхом ногой, называл приятными ласкательными именами и, наконец, утомившись и порядком пропотев, выпроводил ее heraus[1], на вольный воздух.

Выпустив собаку на двор, где еще не было ни малейшего движения, Адам Адамыч возвратился в свою серенькую комнатку и обратился к ветхозаветной, родовой серебряной луковице, чтобы узнать состояние времени. Луковица, которую Адам Адамыч считал непогрешительнейшею из всех хронометров, когда-либо существовавших и ныне существующих, возвестила ему, что только пятый час в исходе. Веруя вполне в достоверность этого показания (ибо ход таких часов, не стесненный новейшим искусством в тесные и плоские границы, не мог сбиваться с толку), достопочтенный наставник юношества решился обратиться к двум обычным усладителям своих утренних часов — трубке и чтению.

Бережно сняв с гвоздика глубокую фарфоровую трубку с оловянным отливом и волосяным гибким чубучком, любезный герой мой бросил самый любовный взгляд на вид Магдебурга, изображенный на фарфоре трубки весьма приятною и смелою кистью, и тотчас наполнил ее крепким саксонским табаком, известным также в области курильщиков под названием «сам-крошѐ». Адам Адамыч, точно, занимался в часы досуга сам крошением табаку, который покупался им в листах. Для бо́льшего вкуса к нему доставлялись казачком Алешкой все окурки сигар, истребляемых гостями господина Желнобобова, и Адам Адамыч удобрял этими окурками свое зелье, просушив их предварительно на солнце и искрошив мелко-намелко.

---

[1] наружу (*нем.*).

Наложив трубку, вырубив огня (ибо спички считал непозволительною прихотью) и пустив к потолку струйку самого серого дыму, Адам Адамыч стал у отворенного окна и взял книгу. Книга эта была чувствительный роман одного чувствительного немецкого сочинителя, единственный бывший у Адама Адамыча роман, которого он никогда не мог всытость начитаться.

По мере различных мечтаний, возбуждаемых как чтением романа, так и приятным, хотя отчасти однообразным храпом в отливе трубки, по мере различных мечтаний, говорю я, и самые черты лица чувствительного немца принимали выражение все более и более сладостное. Такое направление физиономии Адама Адамыча, по всей вероятности, можно было приписать тому, что роман, перечитываемый им в неизвестно который, но верно не одной и не двумя цифрами выражаемый раз, приближался к развязке; а уж известно всем и каждому, что хороший роман окончиться иначе не может, как внеся самые приятные и сладостные ощущения в сердце читателя. По лицу Адама Адамыча, по постоянному повышению его бровей, по недосягаемой ясности чела, на котором разгладились все до единой морщины, видно было, что козни злодеев наконец обнаружены, добродетельные люди выбились из-под гнета бедственных обстоятельств и из сетей коварных ухищрений порока, и скоро уже явятся пастор и нотариус, и обвенчаются и всласть заживут добродетельные любовники, претерпевавшие столько бедствий.

Искусанный черный костяной мундштучок трубки, из которой перестал уже вылетать дымок, все крепче и крепче ущемлялся зубами Адама Адамыча на левой стороне его рта; из правой же части его уст, обращенной к окну, вылетали ежеминутно: «Prächtig! superb!»[1] и тому подобные восклицания поощрительного свойства.

Наконец, когда роман был кончен, Адам Адамыч, отложив книгу в сторону, но все еще находясь под влиянием обаятельных страниц, пыхал минут с пять из давно погасшей трубки и созерцал природу, или, правильнее, большой двор, по которому рыскала Пальма и тщательно обнюхивала все места, имевшие какое-либо сходство со стеной или возвышением. На дворе только теперь начиналось некоторое движение. Кучер Иван отправился с сенницы сначала в каретник, потом в конюшню; в кухне и

---

[1] Прекрасно! превосходно! (*нем.*)

застольной загомозились, — и Адам Адамыч рассудил воззвать к себе на антресоли свою верную сучку, дабы не избаловали ее на дворе и не искусили ее верность приманчивыми кусками чего-нибудь съедобного.

Зазвав к себе и уложив Пальму на обычное место ее, под кровать, которая самим Адамом Адамычем была прибрана и прикрыта тканьевым одеялом, он принялся за важное дело.

С благоговением отпер он небольшую шкатулку, помещавшуюся на его письменном столе, довольно убогом и не очень пространном, и вынул из этой шкатулки толстую тетрадь в четвертку. Он очинил перо, обдул тетрадку, бережно развернул ее на письменном столе и принялся писать, тихо и с любовью выводя каждую букву.

Адам Адамыч был удивительный каллиграф: даже отметки, которые делал он в книжечке, подававшейся ежедневно, по вечерам, господину Желнобобову и заключавшей отчет об успехах его чад, даже отметки эти могли бы служить превосходными прописями. Но здесь, в этой тетрадке, которая заботливо хранилась в шкатулке и не могла никак идти в сравнение с журналом об успехах детей, почерк руки Адама Адамыча достигал высочайшей степени изящества: остроконечные немецкие буквы ложились на бумагу такими ровными городками, придавки были так отчетливы, что душа радовалась, смотря на веленевую бумагу, расписанную так узорочно и красиво. Но далеко не так интересна, при всей своей красоте, была внешняя сторона тетрадки, как внутренняя, то есть самое содержание.

Каждый день, в означенный утренний час, Адам Адамыч садился к своему письменному столику, развертывал заветную книгу и вписывал в нее все, что случалось с ним накануне. Аккуратно были занесены в дневник Адама Адамыча все прожитые им дни: по нему могли бы вы проследить всю его жизнь за двадцать лет. Если даже ничего особенного не случалось, то день означался цифрой и прибавлялось: «Ничего достопримечательного».

Долго писал в настоящий раз Адам Адамыч и остановился только на несколько минут, чтобы наложить себе еще трубочку и зажечь ее посредством зажигательного стекла, не расходуя понапрасну трута, ибо солнце как раз напрашивалось запалить ему трубку своими огненными лучами. Трубка догорела дотла; только отлив издавал по временам отрывистые звуки; а почтенный наставник все еще писал.

А между тем вечно бегущее колесо времени не останав-

ливалось, и кривая стрелка серебряной луковицы указывала уже на римскую цифру VII.

Забубеньев, не отступая от благословенных нравов, воцарившихся в нем с незапамятных времен, и привыкнув подыматься испокон веку пораньше, давно уже кипел самою живою жизнью в лице своих почтенных и смирных обывателей. В доме господина Желнобобова жизнь эта проявилась в особенности в шуме чашек, ложек и прочего чайного скарба.

Адам Адамыч кончил свою летопись, и в ту самую минуту, как запирал заветную тетрадку в шкатулку, дверь полуотворилась.

Пальма не показала ни малейшего вида неудовольствия, когда в комнату вошел мальчишка в замасленном сюртучке, застегнутом доверху на крючках и украшенном маленьким стоячим воротником, из-за которого виднелась голая шея, немного побелее сапожного голенища. Мальчишка беспрестанно подергивался и фыркал, причем его нос, чрезвычайно похожий на пуговицу, совершенно сморщивался.

— Пожалуйте-с чай кушать! — проговорил он, поправляя что-то обеими руками у себя на бедрах.

— Зейчас,— отвечал Адам Адамыч, подходя к маленькому круглому зеркальцу на ножке, приютившемуся на окне.

— Адам Адамыч-с! — вкрадчиво произнес тут мальчишка, известный во всем Забубеньеве под фирмою желнобобовского казачка Алешки.— А Адам Адамыч! — прибавил он снова, сдерживая глупую улыбку.

— Ну? — спросил наш герой, не оборачиваясь и застегивая перед зеркальцем наглухо свой табачный сюртучок.

— Пожалуйте грошик-с.

Адам Адамыч быстро обернулся.

— Ach, du Schweinigel, du![1] — проговорил он с сердцем. — Знова? Я должен буду сказивайт то Максим Петрович.

— Не скажете-с, Адам Адамыч! — спокойно возразил мальчишка, копая у себя в ухе грязным пальцем и ухмыляясь.

— Знова не умивал зебе? — сказал Адам Адамыч, озирая с ног до головы казачка и стараясь, по-видимому, замять неприятный спор.

— Вот же бог, не скажете-с! — не отставал Алешка.

---

[1] Ах ты поросенок! (*нем.*)

— И Макарвич скажу! — воскликнул наставник, делая, впрочем, усилие, чтобы не улыбнуться.

— Не скажете-с, Адам Адамыч; пра, не скажете! Вы ведь добренький такой-с. А грошик дадите-с.

Чувствительное сердце Адама Адамыча начало смягчаться, и он сказал более ласковым тоном:

— Ну, пошоль! Зегодня нет. Позле.

Алешка подскочил петухом к почтенному немцу и схватил его за руку.

— Что ти хочешь? — спросил Адам Адамыч.

— Ручку пожалуйте-с! — сказал мальчишка, обтирая свой нос об руку Адама Адамыча.

Неприятное чувство пробежало по всем нервам наставника юношей и отроков, когда Алешка прикоснулся к его руке.

— Озтав! — сказал он с неудовольствием.— Иди, вимой зебе лицо, или я не давает нишего!

Алешка ухмыльнулся. Как видно, он более сомневался в чистоте намерений Адама Адамыча, чем в опрятности своей собственной особы

— Что же, чай-то кушать-с? — сказал он, желая в свою очередь отклонить разговор о своей личности.

— Ну, иди! — проговорил Адам Адамыч, отворил дверь, выпустил казачка и сам последовал за ним по узенькой лесенке вниз, заперши предварительно дверь свою на ключ.

Внизу, в лакейской, куда выходила лестница от Адама Адамыча, сердце его должно было поразиться чувствами жалости и соболезнования. Только что казачок просунулся в лакейскую и следом за ним вошел туда Адам Адамыч, огромная жилистая рука ухватила за вихор Алешку.

— Ты что проклажаешься, негодный? а! — говорил высокий лакей лет сорока пяти, с самым свирепым лицом.— Ты что? а!.. А ножи-то? а!.. Не чистил? не чистил, каналья? Вот постой! постой! Вот я те на конюшне выпорю. Спишь все? а!.. И рожи-то всплеснуть не успел? Ах ты, повеса этакой!.. Ишь глаза-то гноятся. Постой! Вот помяни мое слово, на конюшню сведу! Что у те штаны-то ползут? а!.. Опять крючки оборвал?

Алешка глухо стонал, не смея взвыть под грозными лапами и увещаниями Макарыча.

Тронутый до глубины души истязаниями несчастного, Адам Адамыч обратился умоляющим тоном к свирепому лакею:

— Озтавте, Макарвич! довольно! Он бил у мене.

— Нельзя с ними иначе поступать, Адам Адамыч,— отвечал Макарыч, даруя свободу Алешке.—Такой уж народец! Раз потакнешь — беда! все вверх тармá пойдет! Рыла-то ведь сам не умоет, Адам Адамыч. Вы только посмотрите, что за поведенц у мерзавца! весь в пуху, в салище!

— Вот,— сказал Адам Адамыч, обращаясь к битому Алешке,— я тоже говорил — лицо умивайт должно.

— Так вы говорили, Адам Адамыч? — воскликнул Макарыч, накидываясь с новым бешенством на злополучную, победную голову Алешки.— А ты наперекор, каналья! тебе говорят, а ты мимо уха пропущаешь! Шельма ты этакая шальная! право, шельма! — приговаривал он, качая казачка за вихор с боку на бок.

— Озтавте, Макарвич! — повторил опять благородный немец, обуянный милосердием,— он не будет знова так поступайт.

Алешка и стонать уже перестал; он был бел, как веленевая бумага, и слезы градом катились ему на грудь. Макарыч насилу удовольствовался; дал, впрочем, казачку еще порядочного лизуна по затылку и сказал:

— Пошел, бестия, ножи чистить!

С чувством глубокой радости, что сыграл доблестную роль миротворца, перешел Адам Адамыч коридор и буфетную и очутился в чайной комнате, лицом к лицу с двумя особами, занимавшими в доме место хозяев.

На круглом столе, помещавшемся посреди комнаты, отчаянно кипел большой самовар, и пар от него подымался трубой к самому потолку. Особа женского пола, летами немного за тридцать, с черными, как сажа, волосами, собранными на затылке под маленькую роговую гребенку, и с бойкими, моложавыми чертами лица, расставляла на подносе огромное количество чашек разного калибра.

Вокруг стола находилось больше дюжины стульев, и между ними возвышалось одно кресло довольно древнего фасона. На этом кресле восседал сам сановитый хозяин дома, Максим Петрович Желнобобов. Широкий халат из какой-то азиатской материи с лихим глянцем облекал его низменную и коренастую фигуру. На голове у него красовалась вязаная ермолка с кисточкой вроде цветка трилистника. Ермолка эта служила не столько для согревания головы, сколько для скрытия от посторонних глаз совершенно голого и неприязненно лоснящегося черепа, в другое время таившегося

под париком. Черты лица у Максима Петровича, казалось, находились в самых враждебных между собою отношениях. Левая бровь никак не хотела стоять наравне с правой и горделиво подымалась дюймом выше; глаза как-то неродственно расходились иногда в своих взглядах на вещи; нос неприязненно и насмешливо смотрел на нижнюю губу, как бы желая клюнуть и уязвить ее; нижняя губа, с своей стороны, нимало не унывала и в ущерб своей верхней сестре, которую, так сказать, совершенно затирала в грязь, гордо лезла к носу и показывала вид, что нисколько не боится его угроз. Довольно обширный подбородок господина Желнобобова, украшенный перелеском сероватых волос, и обнаженная его шея обрамлялись воротником красной рубашки, не кумачной какой-нибудь, а настоящей шелковой, без малейшей примеси шерсти или бумаги. На ногах Максима Петровича надеты были красные казанские ичиги, которые ярко сияли новизной, когда владелец их мерно покачивал ножкой.

Собеседница господина Желнобобова была одета тоже, под пару к нему, очень благопристойно и щеголевато. Полосатая тафтяная блуза обнимала ее полный стан, врезываясь поясом в то мягкое место, где у иных бывает талия. Хотя талии и не было у этой привлекательной и милой особы, однако тем не менее она была очень стройна и походила как две капли воды и ростом и дородством на одно историческое лицо, а именно на Бобелину, героиню Греции, портрет которой (с саблей при бедре) можно еще видеть на шторах у некоторых обывателей Забубеньева. Вероятно, там только и сохранились еще эти прекрасные шторы с изображениями исторических событий и персонажей; в других местах расписные шторы заменены нисколько не поучительными кусками белого коленкора и полотна. Одним костюм прекрасной женщины, разливавшей чай, не гармонировал с костюмом ее собеседника, а именно обувью. Козловые башмаки Бобелины, с запахом, нисколько не напоминающим аромат роз или амбру, никак не могли быть сравниваемы с роскошными спальными сапогами Максима Петровича, сшитыми из самого лучшего сафьяна. Читатель, вероятно, ошибается уже насчет положения в обществе означенной особы женского пола, занимавшейся разливанием чая, и считает ее, конечно, или законной супругой, или девствующей сестрой или вдовствующей кузиной Максима Петровича.

Татьяна Васильевна (такое имя носила эта особа) была ни больше ни меньше как экономка и домоправительница

у господина Желнобобова. Хотя два злоречивых и неблагонамеренных языка (только два замешалось их в добродетельное общество Забубеньева) и поговаривали, что Татьяна Васильевна находится у Максима Петровича на правах более обширных, но клевета эта оставалась без всякого оправдания и внимания со стороны остальных жителей города. Жители эти были убеждены только в том, что подобное мнение может быть приложено разве к безнравственному штаб-лекарю Шелопаеву, ибо он сам открыто сознавался, что держит у себя, по его собственному выражению, «незаконную старушку». Господин Желнобобов стоял в мнении Забубеньева выше всякого подозрения, ибо всем знаема была неукоснительная нравственность и уважение к религии Максима Петровича. Сановитый хозяин Татьяны Васильевны пришел, правда, в более тесные отношения к экономке своей с тех пор, как скончалась голубка его, Агафья Андреяновна; но это иначе и быть не могло. Сделавшись вдовцом, должен же он был вверить кому-нибудь бразды домашнего правления, а вверив, должен же был и наблюдать за этим кем-нибудь.

Когда Адам Адамыч вошел в комнату, в ней царствовало полное молчание, нарушаемое только изредка свистом самовара и легким сапом носа господина Желнобобова. Адам Адамыч вошел тихохонько; сапоги его на тонкой подошве и без каблуков не простукнули. Он приблизился к столу почтительно и поклонился учтиво, одним почерком головы, и Максиму Петровичу и Татьяне Васильевне, сидевшим на разных сторонах чайного стола.

— Добрий ден!—проговорил он, описывая снова головою эллиптическую линию от Максима Петровича к домоправительнице.

— Здравствуйте! — сказала громко и отрывисто экономка.— Что это вы долго? Чай-то уж простыл.

Адам Адамыч подвинулся к столу, молча и почтительно глядя на господина Желнобобова, который тянул чай из огромного стакана, более похожего на купель, чем на стакан, и не обращал внимания ни на что происходящее окрест.

— А! — сказал он наконец, выпячивая нижнюю губу, когда Адам Адамыч стукнул стаканом. — А ну, здорово!

— Злава богу! — проговорил Адам Адамыч, принимаясь мешать ложечкой в стакане.

— Нечего уж мешать-то! — сказала Татьяна Васильевна,— давно уж разошелся сахар. Я вам первый стакан налила.

— Покорно ваз блягодару,— отвечал почтительный немец.

— А ну, садись, Адамыч! — сказал хозяин дома, указывая нижнею губой на ближайший стул,— а ну, садись! гость будешь.

Адам Адамыч снова поблагодарил и присел на стул. Присел он уютно и скромненько на краешек, а не развалился на спинку и не закинул головы залихватски назад, как делают нынче некоторые юноши, нетвердые в правилах благопристойности и уважения к старшим.

— А ну, что киндеры? а!.. Не был у них? — спросил господин Желнобобов.

Адам Адамыч поспешил поставить стакан свой на стол и произнести, вставая со стула:

— Ви прикажет идти за них?

— Нету, не надо! — отвечал господин Желнобобов,— слышь, никак идут. А ну, как по-немецкому будет «идут»?

— Sie kommen,— сказал Адам Адамыч.

— Зи коммен, зи коммен... А ну, ладно! Вот,— сказал Максим Петрович, обращаясь к Бобелине,— еще словцо выучил немецкое! Зи... зи... Как бишь, Адамыч?

— Kommen.

— Ну, да! да! зи коммен... Да садись же, Адамыч, садись! Что ты, расти, что ли, хочешь?

Адам Адамыч снова занял самый крохотный уголок стула.

— А я это слово давно знаю! — сказала Бобелина гораздо приветнее прежнего.— «Зи коммен» — это значит: идут; а «коммен зи» значит: подите сюда!

— Вот тебе на! — произнес Максим Петрович, подъезжая губой к самому носу.— А как это вы знаете?

— Мне Петенька сказали,— отвечала экономка.

— А!

Максим Петрович хотел, кажется, сказать еще что-то; но по лестнице в коридоре страшно затопали ноги, и в чайную вошли четыре отрока в клетчатых холстинковых рубашках с кожаными поясами, обстриженные по-русски,— чада Максима Петровича. Они шли лесенкой один за другим, по старшинству лет, и направились все к виновнику своего бытия. Старшему было не более тринадцати лет; остальные

были погодки. Облобызав поочередно руку родителя, они расшаркались перед Адамом Адамычем и Татьяной Васильевной. Трое старших вслед за тем уселись на стульях; но младший, по-видимому обладавший большою бойкостью, подошел к Адаму Адамычу и сказал ему:

— Адам Адамыч! я учиться сегодня не буду: сегодня мое рожденье.

— 's gut, 's gut![1] — торопливо произнес Адам Адамыч.— Задиз и пей чай!

— Ах, боже мой! — воскликнула Бобелина, приподымаясь на стуле,— Максим Петрович! мы и забыли совсем... Ведь точно Ганюшкино рожденье сегодня.

— А! — сказал Максим Петрович, обращаясь к новорожденному.— А ну, поди сюда!

Ганюшка подошел к родителю, и родитель вонзил свою нижнюю губу в его пухлую щеку.

— А ну, поздравляю! А ну, сколько тебе теперь лет, карась? а!.. А ну, сколько? а!

— Девять,— бойко отвечал Ганюшка.

— Девять?.. девять; так, так!.. А учишься плохо? а!.. Ведь плохо учится, Адамыч?

— Зпозобности большие! — сказал Адам Адамыч, уклоняясь от прямого ответа, дабы не оскорбить Ганюшку в такой высокоторжественный для него день.

— А ну, освободить его от ученья сегодня! освободить!.. по случаю рожденья освободить! да!

— Ошен харшо,— промолвил Адам Адамыч.

— А ну, садись! пей чай!

— Задиз, задиз! — подтвердил наставник, подставляя Ганюшке стул.

Братья его давно уж убирали за обе щеки огромные куски булки, и Ганюшка не замедлил пристать к ним.

— А Петенька встали, Васенька? — спросила Бобелина, обращаясь к старшему из бывших на лицо потомков господина Желнобобова.

— Да, да! — сказал Максим Петрович, вправляя в рот нижнею губой кусок калача,— а ну, где же он? где?

— Я здесь, папенька! — сказал Петенька, входя в комнату.

То был цветущий восемнадцатилетний юноша довольно высокого роста, с длинными белокурыми волосами и

---

[1] Хорошо, хорошо! (*нем.*)

нежным, довольно красивым лицом. На нем был синий сюртучок и пестрый галстук с большим откладным воротничком. Во всей его фигуре была заметна щеголеватость. Он тоже подошел к ручке родителя и подал руку Адаму Адамычу, который спросил его, как он почивал, на что Петенька отвечал ему по-немецки, что очень хорошо.

— Вот ваш стаканчик, Петр Максимыч! — сказала Бобелина, подавая налитой стакан вошедшему юноше.

— Благодарю,— сказал, слегка кланяясь, Петенька и сел около домоправительницы.

— Сладко ли, Петр Максимыч? — спросила дева.

— Сладко, очень сладко,— отвечал юноша, пробуя чай ложечкой.

— Не хотите ли сухариков, Петр Максимыч? — продолжала спрашивать Бобелина.

— А ну, а ну! — воскликнул вдруг Максим Петрович, качая головой,— ему сухариков? а!.. а нам нет?

— Да ведь никто не любит, кроме Петра Максимыча,— произнесла домоправительница, отправляясь за сухарями к шкафу.

— А ну, ладно! дать ему сухарей!

— Merci,— отвечал юноша Бобелине, которая с нежной улыбкой подала ему корзинку с сухарями.

— И мне сухарей дайте! — завопил Ганюшка,— мое сегодня рожденье.

— Verwöhntes Kind![1]— вмешался Адам Адамыч, отстраняя руки Ганюшки от корзинки с сухарями.— Не должно прозит.

— А ну, дать ему сухарь... ради рожденья! — сказал Максим Петрович,— а от ученья отстранить!

Бобелина сердито взяла в корзинке кривой и сожженный сухарь и сунула его в руку Ганюшке.

— А ну, пойти, пойти приодеться! — сказал, вставая с кресел, Максим Петрович,— пойти погулять! Погода-то нынче славная.

Когда Максим Петрович удалился, Бобелина сказала, собирая чашки:

— Ну что? все накушались?

— Взе,— отвечал Адам Адамыч.— Время ест учиться.

— Да, уж восьмой в исходе,— заметила домоправительница.

---

[1] Избалованный ребенок! (*нем.*)

— Ну, идит!— сказал наставник, обращаясь к детям.— Базиль, Иоган, Михель! Nun geht! haltet alles parat![1] Я приду зейчас.

Адам Адамыч удалился вместе с тремя отроками. В коридоре послал он их наверх, а сам направил стопы в свою горенку, чрез лакейскую, где Алешка усердно чистил ножи, а Макарыч все еще продолжал корить и усовещивать казачка.

Взойдя наверх, Адам Адамыч, кликнул из-под кровати Пальму, которая уже при звоне ключа в замке высунула из своего убежища вылинявшую голову. Он вынул из кармана кусок калача, положил его на пол и несколько раз произносил: «Ein Jude hat d'ran gebissen! ein Jude!»[2] Собака, виляя хвостом, взирала на лакомый кусок и не трогалась с места; но когда Адам Адамыч произнес магические слова: «Ein Mädchen!»[3] — Пальма быстро схватила калач и отправилась с ним в свой обычный приют.

Вслед затем Адам Адамыч принялся за коробочку с нюхательным табаком, которого снова истребил достаточное количество на приведение в изящную чистоту своих зубов. Эту операцию герой мой привык производить после каждого куска хлеба или чего бы то ни было съестного, побывавшего у него во рту.

Между тем как почтенный немец занимался такою внимательною заботой о Пальме и своей особе, Ганюшка долго не хотел выходить из чайной, откуда выпроваживала его Бобелина то тихими и молящими, то строгими и грозящими словами. Наконец только обещанием принести ему наверх пряник убедила домоправительница непокорного отрока — оставить чайный стол.

Петенька продолжал еще пить чай, и Бобелина беспрестанно потчевала его то сухариками, то сахаром, спрашивая, сладок ли его чай.

— Не угодно ли вам пеночку, Петр Максимыч? — спросила она, одной рукой подставляя Петеньке сливочник, а другою поправляя кружевной воротничок, глядевший из большого отверстия ее блузы у самой душки.

— Нет, благодарю,— отвечал прекрасный юноша,— я уж допиваю.

---

[1] Идите! подготовьте все! (*нем.*)
[2] Еврей откусил от этого куска! еврей! (*нем.*)
[3] Девушка! (*нем.*)

— Скажите, пожалуста, Петр Максимыч, — продолжала нежная дева,— отчего вы такие невеселые сегодня?

— Нимало; с чего вы это взяли? — сказал Петенька, глядя в лицо Бобелине.

Взоры домоправительницы подернулись маслянистой влагой, и приятная улыбка легонькой лести покосила немного правый угол ее рта.

— Впрочем, это к вам очень идет, Петр Максимыч. Вы сегодня такие антиресные!

— Будто? — проговорил юноша, приятно улыбаясь.

— Ах, да! я хотела спросить вас, Петр Максимыч,— продолжала Бобелина нежным и вкрадчивым тоном,— какое пирожное желаете вы сегодня?

— Мне решительно все равно.

— Я думала приказать сделать суфлей. Я знаю, что вы любите суфлей. Только не знаю, из чего лучше?

— Из чего хотите,— отвечал Петенька, торопливо допивая свой стакан чаю.

— Я велю из шиколату сделать, Петр Максимыч,— приставала домоправительница.

— Ну из шоколату так из шоколату! Пора мне однако ж... Адам Адамыч, я думаю, ждет.

— Ну, что за важность такая! Погодите немножечко, Петр Максимыч; доставьте мне это удовольствие!

— Нет, надо идти. Неловко.

— И чему вам учиться у Адама Адамыча, Петр Максимыч? Вы сами гораздо больше его знаете.

Лицо юноши озарилось усмешкой гордости и самодовольства.

— Это, конечно, отчасти правда; да папаша так хочет. Пусть уж будет по его!

— Максим Петрович, право, странные такие! Ну что знает этот немец? И по своему-то, кажется, гораздо хуже вас.

— Ну не хуже, положим,— сказал юноша, вставая.— Пора, впрочем, мне, пора!

— Ах, позвольте! — сказала вдруг, воспрянув со стула, Бобелина, когда Петенька встал,— что это у вас на головке?

— Где? — спросил Петенька, шаря у себя на лбу.

— Нет, не тут-с. Вы не косматьте волоски, Петр Максимыч! Позвольте, я сниму. Это пух, кажется.

— Ну, снимите! — сказал юноша, наклоняя немного голову.

Бобелина подошла к нему почти вплоть и подняла обе руки на его голову. Хотя пушинка была самая микроскопическая, но тем не менее нежная дева одною рукою пригладила ряд, пронятый в волосах юноши, а другою стала бережно и медленно снимать пушинку, чтобы не сдвинуть с места ни единого волоска. Во время этой операции крутая и горделивая грудь воинственной Бобелины коснулась жилета юноши. Руки Петеньки вдруг обхватили мягкий стан девы и прижали ее к груди. Бобелина слабо вскрикнула, освобождаясь от этих тесных объятий.

— Ах, какие вы шутники, Петр Максимыч! Как это можно? поутру? — произнесла она с жеманной улыбкой.— Что это вы? Ну, неравно папенька взойдут?

В ближайшей комнате раздался скрип сапог.

— Вот он и легок на помине! — сказал Петенька, удаляясь из чайной.

— А ну, ну! — воскликнул господин Желнобобов, просовывая в дверь свою голову, облеченную уже в парик с приятным хохолком,— а ну, велите сено принять, Татьяна Васильевна!.. Привезли там два воза.

— Сейчас! — грубо произнесла Бобелина, с досадой двигая чашки и оглушительно звеня чайными ложками.

Когда Петенька взбежал наверх и вошел в классную комнату, которая была вместе и спальнею четырех младших детей, наставник юношества только что садился на свое наставническое место, на одном конце длинного белого стола, исчерченного разными фигурами посредством перочинных ножичков, карандашей и перьев.

—Gieb mir meine Aermel her![1]— сказал он, обращаясь к Васеньке, сидевшему на противуположной стороне стола.

По приказанию Адама Адамыча Васенька выдвинул ящик стола и вынул оттуда два бережно сложенных серых коленкоровых рукава, которые Адам Адамыч не замедлил натянуть на свои руки с целью предохранить свой табачный сюртучок от всяких посторонних пятен.

Вслед за этим последовал процесс учения, который Адам Адамыч выполнял всегда с любовью и тщательностью человека, преданного душою своему предмету.

Время, кажется, сказать теперь читателю, чему и как учил Адам Адамыч детей чадолюбивого отца Желнобобова. Главным предметом преподавания был, разумеется, немец-

[1] Дай мне мои нарукавники! (*нем.*)

кий язык, Muttersprache[1] Адама Адамыча, второстепенными предметами — каллиграфия, которую Адам Адамыч возделывал с искреннею любовью, и география, обогащенная немалым количеством замечаний самого преподавателя, замечаний, почерпнутых им из многолетнего опыта и странствований по многим городам, как русским, так и иным.

Первым делом Адама Адамыча было отобрать от всех питомцев тетрадки с немецкими словами, положить их в кучку под один из своих коленкоровых локтей и начать спрашивать учеников сначала по порядку, потом вразбивку, но все-таки соблюдая очередь.

В учении детьми наизусть вокабул Адам Адамыч следовал самому строгому систематическому порядку, а именно: сначала заучивали питомцы его названия добродетелей и пороков и вообще отвлеченные понятия по предметам религии и философии; потом ученик от понятий высших переходил к природе, заучивал названия зверей, птиц, рыб и трав. Наконец входил он в быт человека, как известно, разумнейшего из животных, знакомился с номенклатурой его домашних и общественных нужд; потом переходил к самому организму человека, узнавал имена составных его частей и самые болезни и немощи бренного человеческого тела. В тот день, который принялись мы изображать, ученики Адама Адамыча дошли уже до этого важного отдела. Впереди, впрочем, оставалось им еще много прекрасных слов по части физики и по другим не менее значительным отраслям знания.

Петенька давно уже не учил вокабул, а занимался более переводами, и потому сел к особому маленькому столику, развернул томик Карамзина и принялся передавать немецким языком одно из «Писем русского путешественника».

Трое остальных питомцев Адама Адамыча сидели смирно и скромно, опустив руки под стол, и только Ганюшка, в ознаменование высокоторжественного дня своего рождения и вожделенного вступления в десятый год своего возраста, поместился на одной из четырех кроватей, находившихся в комнате для помещения четырех детенышей господина Желнобобова, кроме Петеньки.

— Ну, Базиль! — воскликнул Адам Адамыч, обращаясь к Васеньке.— Жельтуха?

[1] родной язык (*нем.*).

— Gelbsucht! — произнес Васенька с полным достоинством, каким облекает человека знание.

— 's gut![1] — сказал Адам Адамыч, тщательно скрывая книгу от глаз Ванечки, который косвенно запускал в нее свои любознательные взоры.— Михель! Чесотка?

Мишенька почесал у себя в голове и заблагорассудил выразительно промолчать.

Адам Адамыч придвинул к себе лоскуток бумаги, обмакнул в чернилы перо и выставил на этом лоскутке: Michel; потом против этого имени протянул небольшую черту. Я бы, разумеется, не стал утруждать читателей всеми этими подробностями, если б не имел благого намерения познакомить педагогов с образом преподавания моего героя. Адам Адамыч отмечал таким образом черточками каждое слово, которое не знал кто-либо из его питомцев. Так доставлялась ему возможность судить наглядно, так сказать математически, о степени знания ученика. Само собою разумеется, что ни одна отметка не пропадала даром для мудрого наставника.

— Ну, ти не знаешь. Ванечка! Wie deutsch[2] чесотка?

Хотя Ванечка подсмотрел не одно уже слово в тетрадке, пока Адам Адамыч записывал ошибку Мишеньки, но тем не менее наскоро никак не мог найти своим пытливым оком необходимое в эту минуту слово. Поэтому Ванечка промолчал.

Зато Ганюшка, хранивший дотоле глубокое безмолвие, вытащил потихоньку из-под подушки свою тетрадку вокабул, отыскал данное слово, тетрадку опять спрятал, а сам воскликнул:

— Я знаю, Адам Адамыч. Krätze!

Адам Адамыч, не подозревавший до тех пор присутствия новорожденного отрока, обратил драгоценное внимание свое на Ганюшку, но был очень неприятно поражен неблагочинною позой, в которой лежал Ганюшка на кровати.

— So![3] — сказал он с видом неудовольствия,— aber[4] не должно так лежайт во время урок, Габриель!

Ганюшка лежал по-прежнему.

— Он посмотрел в свою тетрадку! — воскликнули в три

---

[1] Хорошо! (*нем.*)
[2] Как по-немецки (*нем.*).
[3] Так! (*нем.*)
[4] но (*нем.*).

голоса остальные питомцы Адама Адамыча.— Он не знал, как чесотка, Адам Адамыч!

— Зяд, Габриель! — продолжал Адам Адамыч, не обращая внимания на извет Васеньки, Мишеньки и Ванечки,— зяд! нехаршо лежайт такой spanischer Bock[1].

Ганюшка встал, подошел к столу и спросил:

— Was ist das[2], Адам Адамыч: spanischer Bock?

— Я не знай, как в русском. Петенка! — обратился он к юноше,— ви не знает, что обозначайт spanischer Bock?

— Нет,— проговорил Петенька, не оборачиваясь.

— Искай в лексикон, Габриель! — сказал Адам Адамыч, не забывая отметить на лоскутке бумаги промах Ванечки.

Затем Адам Адамыч продолжал по-прежнему спрашивать своих учеников о названиях разных недугов, не менее приятных желтухи и чесотки.

После спрашиванья вокабул наставник принялся за диктовку, так же тщательно отметил все ошибки и подписал число их в тетрадке каждого.

За диктовкою следовало произнесение стихов наизусть, что Адам Адамыч обозначал названием декламации или практического упражнения в произношении.

Когда все это было окончено, Адам Адамыч развернул перед каждым из своих питомцев по листку им самим выписанных прописей, и дети принялись за каллиграфию.

В это время Петенька подал ему свой перевод. Как нарочно, попадись Петеньке под руку то письмо Карамзина из Парижа, где говорится о Пале-Рояле и о нимфах радости, заманивающих нежных и чувствительных путешественников в свои таинственные гроты. Переводя все только приблизительно, это место Петенька обделал с особою тщательностью и даже прибавил строк десять от себя. Когда Адам Адамыч прочел его, глубокая тоска о безнравственности юноши обуяла его любящую душу.

— Не зледует перевод делайт Карамзин. Переводийт другой зочинение.

— Отчего же не следует? — грубо спросил Петенька,— разве это легко?

— Здес ест места, не должно которий знайт молодой человек.

---

[1] колода; буквально — испанский баран (*нем.*).
[2] Что такое (*нем.*).

— Что же, я мальчик, по-вашему, что ли? — сказал Петенька с оскорбленным видом.

— Нет, но еще незовзем человек.

— Ха-ха-ха! несовсем человек!.. Вы, кажется, знаете, что я на будущий год в университет еду... так, я думаю, могу читать и переводить все, что мне вздумается.

Давно уже замечал Адам Адамыч в питомце своем пагубную склонность к вредоносному чтению; ею отчасти потерял Петенька прежнее благоволение своего наставника, который считал и малейший намек на что-либо «неподходящее» растлением нравов. Он молча взглянул на Петеньку. На устах его была написана глубокая укоризна; Петенька же улыбался иронически.

— Я би зоветовал вам,— сказал после некоторого молчания Адам Адамыч,— «Разговор о зчазтии» переводийт из хрестомати.

— Сами не хотите ли? — спросил насмешливо Петенька.— Из хрестоматии! Да что, младенец я, что ли?.. Ведь и то, что вы предлагаете переводить, тоже Карамзина.

— Озтавим этот разговор! — сказал наставник, дочитывая перевод Петеньки.— Mit ihnen hab' ich nichts zu sprechen:[1] ви упрям и ошен много о зебе думает.

— Да ведь смешно слушаться-то вас во всем! — сказал Петенька, принимая самый гордый вид.— Возьмем немецкую литературу... Что вам в ней нравится? Кляурен какой-нибудь, который черт знает на что годен!

— Озтавте Кляурен zufrieden[2] и задитес на место или уходийт! Ви мешает мне урок давайт.

Петенька не унялся и продолжал:

— Матиссон, например... Ну что в нем?

— Отстанте от мене! — проговорил, потупив очи, Адам Адамыч.

Дверь в это мгновение полуотворилась, и рука Бобелины поманила Петеньку.

— Не хотите ли кофейку, Петр Максимыч? — спросила девственная домоправительница, — уж одиннадцать часов.

— Сейчас! — сказал Петенька, делая знак Бобелине, чтобы она скрылась.

Ганюшка в одну секунду вскочил с кровати, которую занял было снова, и бросился опрометью вниз.

---

[1] С вами мне не о чем говорить (*нем.*).

[2] в покое (*нем.*).

— Gieb mir her die Signatur![1] — проговорил Адам Адамыч, обращаясь к Ванечке.

Адам Адамыч называл сигнатурою тетрадь, в которую ежедневно вписывались отчеты о занятиях детей.

Против имени Ганюшки он отметил: nicht gelernt[2], против Петеньки — gut. Когда вписывал он это «gut», самые горькие мысли шевелились в его душе.

«Где же хорошо он учится? — думал Адам Адамыч.— Ему следовало бы отметить: вольнодумствует, непокорствует... Но с Максимом Петровичем не сладишь; ничего ему не растолкуешь. Да и по-русски-то у меня выходит все не так, как вышло бы по-немецки».

С сокрушенным сердцем ушел Адам Адамыч из классной, зашел к себе в комнатку, взял фуражку и отправился из дому.

По неисповедимым судьбам, большинство народонаселения городка Забубеньева состояло из детей, и потому Адам Адамыч не имел почти свободной минуты, давая многим из них уроки, на что благосклонно соглашался господин Желнобобов.

На этот раз Адам Адамыч отправился к исправнику Юзгину, у которого было двое сыновей-младенцев и одна дщерь, носившая панталончики, хотя лиф ее платья почти каждый день надо было расставлять. То же рачение, та же метода, какие употреблялись в дело Адамом Адамычем при обучении детей господина Желнобобова, были пущены в ход и тут. Адам Адамыч с особою нежностью смотрел на исправничью Лизаньку, называл ее соловьем, Nachtigall, и любовался, спрашивая вокабулы, белой и полной ее шейкой.

Когда наставник окончил урок и отправился к своим пенатам, был уже первый час в половине. Господин Желнобобов обедал по-христиански — в час, и потому Адам Адамыч нашел стол накрытым, казачка в более опрятном виде, а Макарыча, который заправил уже свой желудок, не столь свирепым.

Не успел выкурить и одной трубочки почтенный герой мой, как Алешка-казачок возвестил ему, что суп уже подан.

В большой зале, которая служила и вместо столовой,

---

[1] Дай мне тетрадь! (*нем.*)
[2] не выучил (*нем.*).

растянут был довольно длинный стол. Максим Петрович сидел уже на одном краю, обвязав выю свою салфеткой; на другом краю Бобелина стоя разливала суп. Адам Адамыч присел около хозяина, и следом за ним явились его питомцы.

Адам Адамыч находил обед своего хозяина очень хорошим и питательным, когда не подавали к нему раков, к которым чувствовал он непреодолимую антипатию. Да и как, в самом деле, можно было не питать уважения к этому столу? Это не то, что какой-нибудь новомодный обед! Уж если подадут суп,так в нем чего хочешь,того и просишь: и говядина, и курица, и рис, и репа, и картофель, и морковь, и петрушка. Не то что какой-нибудь прозрачный бульон, в котором ничего не выловишь! Пирожки к супу обжарены в масле — и уж видно, что масла не жалеют: так с них и течет. Про пирожное же и говорить нечего... Не такое пирожное, что только провизия на него выходит, а поесть нечего; пирожное и сладкое и питательное: оладьи, например, заварные, или творожные, или с медом; каша рисовая в форме, и с изюмом, и с корицей, и с гвоздикой; розаны — точно живые, и один съешь, так сыт на весь день!

Обед прошел тихо и безмолвно. Бобелина смотрела с нежностью на Петеньку, который сидел с нею рядом, и указывала ему на лучшие куски из каждого блюда. Максим Петрович ел усердно; но как скоро тарелка его опрастывалась, он начинал дремать, ибо приближался час вожделенного послеобеденного отдохновения. По временам только восклицал он: «А ну, что же? что же? Этакие бестии: зайдут в кухню — и заболтаются. А ну, пошел, пошел, Алешка! гони их, мерзавцев! А ну, пошел, гони!»

Мудрый наставник смотрел более в свою тарелку и только изредка, когда Ганюшка, мотая под столом ногами, задевал его пяткой по коленке, приговаривал с укоризной: «Зиди зпокойно! Что делаешь з ногами?»

Обед кончился; суфлей торжественно заключил его, и все отправились по своим местам: Ганюшка в сад — побегать на свободе, прочие дети в классную — ждать русского учителя, Максим Петрович в свой кабинет — на боковую. Бобелина ушла в гостиную.

Один Петенька остался в зале, сел у отворенного окна и стал смотреть на пустую улицу. Лакеи, прожевывая захваченные с тарелок куски, убрали со стола и отправились всхрапнуть, кто в лакейскую, кто в застольную.

Дверь из гостиной скрипнула. Оттуда высунулась голова Бобелины.

— Петр Максимыч, коммен зи! — прошептала она с улыбкой на устах и с влагой во взорах.

Петенька усмехнулся, встал и прошел на цыпочках в гостиную.

Между тем Адам Адамыч почистил уже себе зубы нюхательным зельем, покормил из обломка горшка свою Пальму, набил трубочку и сел с книгою на кроватку.

И этот день, как многие дни Адама Адамыча, канул в вечность без особых замечательных происшествий.

Когда солнце утратило свою жгучесть и перед закатом его разлилась в воздухе приятная свежесть, Адам Адамыч пошел погулять. Как истинный любитель природы, он направил стопы свои в большой сад, полный прохлады и тени, и там, сидя под развесистой тополью, отдался весь своим мечтам и воспоминаниям.

В овраге, оканчивавшем собою сад и заключавшем в себе целое озеро воды, весело покрикивали лягушки; мошки сновали около лица Адама Адамыча; песня какой-то птицы ярко звенела в ветках густых деревьев... Тень длиннее и свежее ложилась по аллее; а мысли Адама Адамыча летали далеко, а воспоминания тесным и шумным роем бились в его спокойное сердце...

ГЛАВА II

И вся былая, давно промелькнувшая жизнь, с картинами неотуманенного детства и любящей юности, с прошлыми и потому вдвое милыми сердцу радостями, воскресла перед мысленными очами нашего героя, и под влиянием могучей силы воспоминаний помолодела его начавшая уже седеть голова.

Видения за видениями вставали перед Адамом Адамычем.

Вот его далекая родина. Вот темный сосновый лес с смоляным запахом, с глухими тропинками, заросшими высокой травой и заваленными хворостом, с звонкоголосыми птицами, с вечным таинственным шумом и говором ветвей.

А вот и маленький серенький домик в лесу, обнесенный непышным цветником, где пестреют мальфы, ноготки и гвоздики.

На небольшом дворе лесного домика стоит полный и здоровый, небольшого роста человечек с самою довольною физиономией, с улыбающимися глазками и гладко выстриженной белокурой головой. Погода тепла; лужайка, на которой выстроен домик, вся озарена полуденным летним солнцем. Человечек, стоящий на дворе, одет очень легко: на нем один длинный, как камзол, жилет с огромными карманами, короткие белые штаны, серые чулки и черные без пряжек башмаки самой простой работы. Важное занятие поглощает все его внимание: перед ним легавый щенок делает стойку над мертвой уткой, беспрестанно порываясь к ней мордой. Терпелив лесничий! Целое утро бьется он с бестолковой собакой; но не унывает, зная наверное, что достигнет своей цели и что глупый щенок будет-таки со временем дивной охотничьей собакой. Сильный и безумолчный лай пяти других псов, которых лесничий нарочно запер в сарай на углу двора, чтобы они не мешали легавому новичку штудировать стойки и поноски, нимало не трогает его и не мешает ему продолжать свое дело.

Хорошенький кудрявый мальчик лет шести вбегает на двор, махая свежим, только что срезанным хлыстиком. Синяя курточка почти свалилась с его плеч, белая рубашка расстегнута, и детская грудка тяжело дышит. Панталоны ребенка, поутру еще не уступавшие белизною снегу, теперь все испачканы зеленым соком травы и смолою сосен. В тонких, мягких и желтых, как лен, волосах его запутались репьи и зеленые иглы.

При появлении ребенка щенок, находящийся в дрессировке, собирается приласкаться к нему; но строгий учитель взмахивает своею плеткой, и щенок принужден продолжать свою стойку. Лесничий грозит ребенку и говорит ему:

— Ступай к маме, Адам!

Мальчик вбегает в комнату, светлую и в высшей степени опрятную. Белый, некрашеный пол выскоблен чисто-начисто и прикрыт в разных направлениях белыми холщовыми половиками. Стены блестят на солнце. С одной стороны весело смотрит портрет неприветливого в натуре оберфорстмейстера; на другой широко раскинула запутанные рога голова оленя, поддерживая полдюжины светлых ружей. Простые, некрашеные стулья и такой же стол составляют всю мебель комнаты. За нею следует скромная спальня лесничего, с кроватью под белым кисейным пологом, с распятием на стене и молитвенником на маленьком столике.

Ребенок бежит через эти две комнаты прямо в чистенькую кухню, где ослепительно белая изразцовая печь заключает в себе простую трапезу небольшой семьи и как жар горит посуда, систематически расположенная на полках. Там у окна, открытого в цветущий садик, приготовлен уже стол для обеда, и Адама встречает объятиями немолодая, высокая, худая, рыжая и очень некрасивая, но зато неизмеримо любящая мать. С нежными укоризнами, больше похожими на ласки, расчесывает она его всклоченные кудри, чистит веничком синюю курточку, переменяет на нем панталоны, застегивает ему ворот рубашки и обтирает лицо мокрым полотенцем, а потом нежно-нежно целует его глазки, щеки, губки и курчавые волосы нежными материнскими устами.

Но кукушка кукует уже двенадцать раз на стенных часах; суп разливает приятный запах,— и хозяйка, поправив свой полотняный чепец, полотняный воротничок и полотняный же фартук, бежит, гремя ключами, подвешенными к ее поясу, звать обедать лесничего. Собаки тотчас же выпускаются из засады; щенок беснуется от радости, что кончил долгий искус,— и семья собирается у дымящейся миски.

Вкусен суп после усталости, вкусна каша со свининой, вкусна приличная доза свежего пива; но вкуснее всего мир и спокойствие домашнего круга! Нехитростные речи, незлобивые шутки и ласковые слова сокращают время обеда, и все трое совершенно счастливы. Счастлив сам лесничий, что достиг некоторой степени понятливости в щенке; счастлива жена его, что отлично удался обед; счастлив и маленький Адам, что вдосталь побегал по лесу и сытно поел, и, кроме того, счастлив каждый из них счастием двух других...

И идут так дни за днями, безмятежно сменяя друг друга.

Но ребенок подрастает. Синяя курточка стала ему узка; пора бросить ее и сделать ему из старого кафтана отца новую; пора, наконец, дать ему и книгу в руки. Довольно бегать по лесу без мысли и заботы!

Ребенок учится читать; он понятлив и скоро кончит азбуку. Знает он и молитвы и две-три басни наизусть. Скоро уроки матери нужно будет заменить другими уроками.

И настает, наконец, время более серьезного учения. Адам в первый раз прощается с домашним кровом. Правда, новое жилище его недалеко от прежнего — и мили нет; а все же грустно! Мать плачет, отец благоразумно уговари-

вает ее, хотя и сам прослезился, а сын припал к ее худощавой груди, и не хочется ему оторваться. Но лошадка ждет у крыльца; лесничий надел кафтан, снял с оленьей головы ружье и зовет ехать...

На новоселье хорошо Адаму. Он учится в приходской школе маленького городка и живет у приходского шульмейстера, доброго старого вдовца, давнишнего приятеля лесничему. Адаму нравится новое житье, и весело ему играть с маленькой и беленькой Минхен, дочкой учителя. Твердит он свою немецкую грамматику, склоняет латинские nomina[1], спрягает латинские verba[2]; узнает понемножку о героях, живших в старину, о битвах, покрывавших кровью землю; идет не спеша из Ассирии в Вавилон, из Греции в Рим; знакомится и с той наукой, которая рассказывает о том, какой главный город в каком государстве, и о том, где родится хлопчатая бумага и где водятся слоны. По праздникам и воскресным дням Адам ходит пешком, с сумкой за плечами, домой, где ждет его теплый привет матери, ласковое слово отца. Дома идет своим чередом его специальное образование. Отец его человек неученый, но дельный и опытный практик. Адам заучивает особенности разных древесных пород, знакомится с лесной энтомологией, изучает искусство дрессирования всяких собак, легавых и меделянских, учится стрелять и ходит с отцом на бекасов...

И дни идут за днями, безмятежно сменяя друг друга.

Но вот уж золотистый пушок пробился на верхней губе Адама; он почти сравнялся ростом со своим учителем, школьный круг познаний почти весь обойден им, и дома вставляет он иногда свое словцо в разговоры лесничих о культурах или о мерах к истреблению какой-нибудь phalaena bombix monacha, какого-нибудь bostricus octodentatus[3]. Ему уже шестнадцать лет, и недолго осталось ему до конца учения.

Но чем более приближается этот конец, тем сильнее становится какое-то странное волнение в его груди. Он не с прежней уже радостью ходит домой; он все что-то думает и передумывает. Зато скоро и радостно бежит он назад, к шульмейстеру, и останавливается на дороге только для того, чтобы нарвать цветов, которыми обильно изукрашена

---

[1] имена (*лат.*).

[2] глаголы (*лат.*).

[3] Имеются в виду разные виды лесных вредителей, в том числе так называемые «гусеница-слюнявица» и «жук-короед».

недлинная его дорога. У маленького озерка на пути Адам снимает с себя платье и бросается в воду, чтобы сорвать несколько белых водяных лилий, блестящих, как жемчужины, посреди изумрудной зелени широких листьев и яхонтовой синевы вод. Но, срывая их, он думает: «Она еще белее этих лилий!» У пригорка, лежащего близ городка и опушенного мелким кустарником, Адам рвет или выкапывает с корнями кустики фиялок; но при этом опять думает: «Глаза ее нежнее этих фиялок!» И потом, глядя на весь букет, который назначен дочке учителя, Адам шепчет улыбающимися устами: «Она краше во сто раз этого букета!»

Вы уже поняли, читатель, что молодое сердце Адама забилось новым, неведомым ему дотоле чувством. Да и как было не полюбить ее — эту тихую, как ягненок, нежную, как голубь, и прекрасную, как весенний цветок, девушку. Минхен расцветает с каждым днем лучше и лучше. Бирюзовые глазки ее сделались, точно, сини, как фиялки, и тихая нежность теплится в них под чистою влагой девических слез; льняные волосы ее стали темнее цветом, не свиваются в кольца и обрамляют гладкими широкими лентами ее белое личико. Прежняя молочная белизна и алая краска ее щек сменились какою-то матовою прозрачностью и тонким розовым румянцем. Зато еще свежее развернулись пышные губки Минхен, алые, как две поспевающие вишни,— и просят поцелуя; зато, как две белые голубки, бьются под высоким лифом платья непорочные груди девушки, и настает пора первой любви, блаженная пора, которой не купить уже потом никакими лишениями, никакими горестями и бедствиями жизни.

Светлая весна греет землю, и сердце Минхен смутно трепещет... Светлая весна уступает место светлому лету — и Минхен уже любит всею силой первой любви.

O klingender Frühling, du selige Zeit!
Und bist du vorüber, uns tut es nicht leid:
Wir liebten uns gestern, wir lieben uns heut',
Wir lieben uns morgen, wir glücklichen Leut'! [1]

В маленьком садике шульмейстера стоят три высокие липы, щедро одетые зеленью, и дерновая скамейка прилажена между этими тремя липами.

[1] О благоухающая весна, блаженное время!
Ты проходишь, но мы не жалеем:
Мы любили вчера, любим сегодня,
Будем любить завтра, мы счастливые люди! (*нем.*)

По саду ходит сам старый хозяин его, срезывая засохшие ветки и замазывая смолой свежие раны, нанесенные деревьям его ножницами.

На дерновой скамейке под липами сидит Адам, перелистывая историю того великого героя, который был еще юношей, когда почти весь свет покорился ему. Он смотрит на портрет, приложенный к занимательной повести Квинта Курция, и любуется этим прекрасным лицом, осененным пышным шлемом, из-под которого выбиваются прекрасные локоны длинных волос... Но душа молодого немца не разгорается честолюбием и, читая историю сказочных подвигов Александра, глядя на его благородный юношеский образ, он думает не об упоительных тревогах битв, а о тихом счастье любви.

Минхен, в простом ситцевом платье, в белом переднике и с маленьким чепцом на маленкой головке, сходит со ступенек незатейливого балкона и несет кружку вспененного пива старому шульмейстеру.

День клонится к вечеру; солнце косыми лучами прорезывает гущу трех стройных лип, и каждый лист их обрамлен светлою чертой, как изумрудное сердечко, вставленное в золотой ободок. Старик окончил свою работу, выпил свою кружку пива, обтер пот с лица и сказал, обращаясь к ученику и к дочери:

— Подберите-ка ветки, которых я столько настриг сегодня, да сложите их в кучу! Они годятся для подтопки. А я устал и пойду отдохнуть.

Минхен поставила кружку, Адам встал со скамьи, шульмейстер ушел.

— Что вы читали? — спрашивает Минхен, наклоняясь к земле, чтобы поднять сухую ветку, и мгновенно краснея всем лицом.

— Квинта Курция,— отвечает Адам, делая то же.

— Как жаль, что я не знаю латинского языка! — говорит Минхен.

— Я сам,— говорит Адам,— не знаю по-латыни настолько, чтобы читать на этом языке. Это немецкий перевод, который дал мне ваш батюшка.

Минхен идет по аллее, подбирая сучья; Адам следует за ней, и оба молчат.

Острая высохшая ветка яблони зацепилась за чулок Минхен.

— Вы наколете себе ногу! — говорит вдруг Адам, останавливаясь,—этот сучок разорвет вам чулок.

Минхен остановилась. Адам бросается отнять ветку от чулка; Минхен наклоняется, чтобы сделать то же. Руки их хватаются за одно место ветки.

Ветка в руках Минхен, рука Минхен в руке Адама. Оба покраснели до ушей.

— Минна! — говорит Адам.

— Адам! — говорит Минна.

Работа кончена, хворост сложен в кучку в углу сада, молодые работники устали. Смеркается.

— Сядемте на скамейке,— говорит Адам.

— Не хотите ли пить? — спрашивает Минна,— вы устали.

— Нет,— отвечает Адам.

Они сели на скамейку и молча взглянули в глаза друг другу. Рука Адама опустилась на дерн и нашла тут маленькую ручку Минхен. Он взял эту руку тихо и нежно, не пожимая ее. Минна опустила синие глазки.

Тихо дрожат их молодые сердца. Миллионом своих зеленых сердечек трепещут над ними три липы под легким заревым ветерком, веющим с запада.

— Я вас люблю, Минна,— говорит Адам.

Минхен молчит, и кровь приливает ей к груди.

— Я вас очень люблю, Минна... А вы... вы любите меня?

Рука Минхен невольно пожимает руку Адама.

— Скажите, Минна... вы любите меня?

Голос Адама рвется на каждом слоге.

— Да,— отвечает Минхен, еще ниже опуская хорошенькую головку и еще более краснея от этих двух букв, которые тихо произнесены ее свежими губками.

Так же низко наклоняется голова Адама, и он робко заглядывает в лицо Минхен, боясь увидеть на нем смех; но по лицу ее катятся две светлые слезинки. Когда девушка их отерла и решилась взглянуть на своего друга, глазки ее встретились близко с его глазами, губки ее сошлись с его губами — и они поцеловались... поцеловались коротким, как будто холодным, но единственным сладким в жизни — первым поцелуем.

Любезный читатель! в ту минуту, как я описываю вам эти весенние сцены молодой любви, грозная северная вьюга воет на дворе, снег тяжелыми хлопьями залепляет мое тусклое окно, ветер стонет и шумит по кровле; в моем угол-

ке становится так темно, что надо зажигать свечу, хотя и очень рано. А за час тому назад светлый зимний день стоял за окнами и все весело сияло. Благосклонный читатель! в эту минуту, может быть, не одна ясная и приветная идиллия схоронена в моей памяти и в груди не одно, не два горя; а эти идиллии были когда-то действительностью, и казалось, должны были продолжаться всю жизнь,— а сердце мое не знало не только двух, одного, но и половины горя. Вам, разумеется, нет до этого никакого дела, если вы не сострадательны, читатель,— и я сказал все это только для того, чтобы поцветистее выразить простую истину, что всегда буря идет за тишиной и горе за счастьем.

То же сталось и с моим героем. Вслед за тою отрадной жизнью, которою так хорошо жилось Адаму у седого шульмейстера, наступили года тяжелых лишений. Один за другим отпадали от его жизни цветы, украшавшие ее. Нечаянно умер лесничий от избытка здоровья: его зашибло апоплексическим ударом; следом за ним умерла и жена его от недостатка здоровья: она была всегда худа и больна...

Но зачем станем мы повторять все эти грустные обстоятельства, которые лишили моего героя и крова и родины и привели его, наконец, в Россию, где он долго странствовал из одного благородного семейства в другое, пока не очутился в доме господина Желнобобова?.. Еще довольно предстоит нам безотрадных подробностей в дальнейшем ходе этой истории.

Да и сам Адам Адамыч, молчаливо сидевший под развесистой тополью и предававшийся мечтам, и сам Адам Адамыч, как только прекрасные года юности стали сменяться в его воспоминании ненастными годами его возмужалости, встал с места и только плюнул.

Становилось довольно темно. Герой наш опустил руку в карман жилета, вынул оттуда кожаный мешочек, а из кожаного мешочка свои толстые часы, и с большим усилием узнал по ним, что уж половина десятого. «Пора спать!» — подумал он и медленными шагами вышел из саду.

ГЛАВА III

При доме господина Желнобобова находился небольшой флигель о трех окнах, в котором обитало одно лицо, имеющее именоваться в сей повести экс-студентом Закурдаевым.

Этот Закурдаев состоял при четырех младших детях Максима Петровича в качестве учителя по части русского языка, истории и арифметики; а старшего сына господина Желнобобова, Петеньку, знакомого уже с некоторых сторон читателю, приготовлял к университетскому экзамену.

В один прекрасный летний день, канун коего описан мною в предшествовавших главах настоящей повести, часов около десяти поутру, Закурдаев лежал на клеенчатом диване в своей маленькой комнатке и пускал к потолку непроницаемые клубы табачного дыма из длинного черешневого чубука и огромной трубки, изображавшей голову Аристотеля.

Здесь считаю я нелишним прервать на несколько страниц нить моего рассказа и сообщить читателю некоторые подробности о личности экс-студента Закурдаева, который имел, как окажется впоследствии, влияние и на судьбу моего любезного героя.

Василий Семеныч Закурдаев был сын небогатых и незнатных родителей. Отец его проживал в главном городе той губернии, к которой принадлежит Забубеньев, и был известен там за первого портного.

Когда юный Василий кончил свое ученье в местной гимназии, отец нашел полезным открыть сыну как врата знания, так и более обширное поле для общественной жизни, и потому препроводил его в университет. Юноша отправился с радостью, но радость его происходила не столько от жажды знания, сколько от светлых надежд жить независимо от грозного родителя, который столь же хорошо владел хлыстом, как и иглою.

Еще в доме отца, при строгом и бдительном его надзоре, юный Васюк (как именовал его сам Семен Закурдаев) часто выказывал буйство и непокорность своего необузданного нрава, а подчас, вечерком, возвращаясь домой от товарищей, являлся даже «под-шефе» очам гневного родителя. Когда же судьба, олицетворенная на этот раз в отцовской воле, удалила его от родимого крова и поставила в полную независимость, дурные наклонности быстро овладели Васильем Семенычем, который и не думал бороться с ними.

Одаренный от природы блестящими способностями и прекрасным сердцем, он мог бы пойти далеко, если б не сделался игралищем недостойных страстей. Неаккуратно посещал он лекции; да когда и бывал на них, не выносил оттуда почти ничего в голове. В комнатке под кровлей, где он

жительствовал с двумя товарищами, ему был всегда готов дружеский их привет, вместе с постоянно стоявшею на столе бутылкою рому. Юноша, отданный совершенно своей воле, мало-помалу втянулся во много грустных пороков, унижающих достоинство человека. Праздность была, разумеется, их родительницею.

Лежа большую часть дня на утлой кровати с трубкою в зубах или с гитарой и с постоянною «мухой» в голове, Василий Семеныч проживал день за днем — и прожил целый учебный год, не заметив близости экзаменов.

В пагубном ослеплении он считал жизнь свою ровною и безмятежною, потому что не произвел ни одного буйства ни в одном публичном заведении, не выбил ни одного стекла кием и не был ни разу поднят на улице в нехорошем виде. Но не видел он также и всей гнусности своих сожителей и, закрыв глаза, вполне отдался их произволу.

Оба они были люди небогатые, и доходы Василья превышали многим их редкие получки денег от родителей. Тем не менее Закурдаев никогда не имел ни гроша денег.

В минуты жизни трудные, когда грусть теснится в сердце, трое сожителей усаживались на одну кровать, подвернув под себя ноги калачиком, и при громком звоне трех гитар пели буйные песни.

Когда который-нибудь из приятелей Василья Семеныча получал деньги, а сам он был в тонких, друзья принуждали его, повалив на кровать и взявшись ему за горло, просить у них взаймы. Несчастный юноша брал деньги и посылал покупать на них того сладостного нектара, от которого морщатся неиспорченные души. При возлияниях, совершаемых на счет обманутого друга, приятели восхваляли его до небес и постоянно оканчивали попойку возглашением ему счастья на многая лета.

Когда же Василий Семеныч получал из дому деньги, ему приходилось отдавать долги своим товарищам, платить одному за квартиру, нанимаемую втроем, и даже делать запасы табаку, чаю и сахару не для себя одного. Добрая душа его не смущалась подобными злоупотреблениями ее любви со стороны друзей, а голова была в беспрестанном чаду и не имела времени думать о чем-нибудь.

Прошел, наконец, год, пришли экзамены — и Закурдаев безвозвратно и неисправимо срезался.

Горе никогда не приходит одно к человеку, оно любит общество — и потому к бедному студенту явилось три го-

ря разом. Кроме дурного экзамена, его поразило приказание оставить университет: его выключили за непосещение лекций.

Комнатка под кровлей, где обитал Василий Семеныч со своими друзьями, наполнилась в знак грустных событий с главным ее хозяином вчетверо сильнейшим непроходимым дымом трубок. Несколько стаканов после пунша было уже разбито, две пустые бутылки катались по полу, и три гитары отчаянно играли «Спирьку с заходом», когда явился почтальон, чтобы поразить третьим горем Закурдаева.

Письмо, которое было взято в руки с надеждою на приятное известие о близком получении денег, заключало в себе страшную весть. Первый портной губернского города, где увидел свет Закурдаев, скончался после кратковременной болезни на руках своего закройщика, который и извещал о том сына в казенных, хотя и весьма плачевных выражениях.

«Спирька» мгновенно утих, и глубокая печаль вызвала целый град слез на исхудалые и бледные щеки осиротевшего и уже сильно пьяного Василья. Но делать было нечего, помочь нельзя — и потому оставалось только накатиться вдосталь и залечь спать.

На другое уже утро обдумал несчастный экс-студент всю неприятность своего положения. Денег у него почти не было, и, чтобы получить необходимую для проезда домой сумму, Василий приступил к распродаже своего скудного имущества.

Спустив за дешевую цену все, что можно было спустить, и выгадав из выручки целковый на бутылку ямайского, Закурдаев распростился с друзьями и кое-как отправился на родное пепелище.

Там встретило его грустное зрелище. Отец его был человек одинокий, вдовец, и Василий был его единственным сыном. Умирая на чужих руках, окруженный наемниками, старик не успел сделать никаких распоряжений, чтобы обеспечить будущую жизнь своего любимого детища. Василий по приезде нашел мастерскую отца пустою: все было растащено, и ему осталось только несколько хозяйственных статей, не имевших никакой ценности.

Тут в первый раз привелось ему подумать серьезно о своей участи, и он принял решение приискать какое-нибудь местечко, чтобы иметь хоть не очень сладкий кусок насущного хлеба. Все поиски его в губернском городе остались

тщетными, и только через три года самой жалкой и бесприютной жизни поместился он домашним учителем у господина Желнобобова, который выписывал из губернского города от старика Закурдаева ежегодно по стеганому халату.

В новом городе Василий Семеныч, получивший уже не один урок от наставницы людей судьбы, вел себя вовсе не так дурно, как было три года тому назад. Правда, он сохранил любовь к уединенному лежанью на кровати, к гитаре и к напиткам, дарующим веселье в горе; но всему этому были должные границы. Хотя и довольно редко, однако все же показывался он по временам в обществе Забубеньева; кроме гитары, развлекал себя иногда и чтением; а крепкие напитки употреблял умеренно: только перед обедом и перед ужином, за исключением разве некоторых случаев.

Добрый характер его приобрел ему любовь почти всех знавших его. Даже Адам Адамыч, не сошедшийся ни с кем в городе по своей дикости, посещал нередко Закурдаева и любил бывать у него. Правда, часто ум Василья Семеныча принимал вдруг саркастическое направление в разговорах с почтенным немцем; но сарказмы эти Адам Адамыч считал изъявлением привязанности к нему экс-студента, ибо они большею частию делались только с глазу на глаз между двумя наставниками желнобобовских детей.

Итак, Василий Семеныч лежал на своем диване и курил, по-видимому не думая ни о чем.

В комнате не имелось ничего, что могло бы привести к мысли, что не всегда же он лежит на диване и курит трубку. Слои пыли покрывали старую и некрасивую мебель; куча табачной золы была навалена на жестяном листе, прибитом к полу перед печью; на столе стоял чайник с отбитым горлышком и недопитый стакан чаю.

Экс-студент докурил трубку и поставил ее около дивана. Он приподнялся было, как видно с желанием набить себе новую; но лень превозмогла, и он опять протянулся на диване, напевая про себя стихи одной известной латинской песни:

Me jejunum vincere
Potest puer unus[1].

При сей верной оказии автор обязуется сказать, что хотя год, проведенный Васильем Семенычем в университете,

---

[1] Побеждать мою слабость
Может один мальчик (*лат.*).

и не расширил его познаний, зато любознательный юноша сильно усовершенствовал себя в наигрывании на гитаре различных забубенных песен и изучил нескончаемый репертуар разных холостых и застольных энергических гимнов.

Стенные часы показывали одиннадцать, когда в комнату вошел Адам Адамыч. Экс-студент с удовольствием поднялся и приветствовал гостя громким восклицанием:

— А! Адам Адамыч! здравствуйте!

— Guten Tag![1] — сказал немец, протягивая экс-студенту свою худощавую руку.

— Ну что? как вы, Адам Адамыч! — спросил экс-студент, вставая с дивана и направляясь к печке выколачивать пепел из трубки.

— Нишего,— отвечал немец.

— Садитесь, побеседуем! — продолжал экс-студент.

Адам Адамыч занял полстула.

— Отчего это вы,— спросил Закурдаев, взглянув на немца,— смотрите таким сентябрем?

— Как? — спросил в свою очередь Адам Адамыч.

— Да так. Верно есть какая-нибудь причина. Опять повздорили с Петенькой?

Как будто уколотый шилом, Адам Адамыч воспрянул, взъерошил свои волосы и начал прохаживаться взад и вперед, тщательно избегая плевков, которыми Закурдаев испещрял ежедневно пол своей комнаты.

— Да, да! — говорил встревоженный немец,— бог знает, что делайт з такой ученик! Вчера он ошен мене огорчиль: но зегодня... я не знай, что это такой!

— Да что же? Не на кулачки же он полез?

— Ви знает мой характер,— сказал Адам Адамыч, подойдя к Закурдаеву и взяв его за рукав,— я терпливий, ошен терпливий. Но зегодня я не мог терпейт!

Адам Адамыч горячился с каждым словом более и более.

— Он переводил вчера з Карамзин's Werke[2] о Пале-Рояль. Я сказаль — там много ест неприличний для молодой человек. Да, там много ест такой. Но зегодня! Wissen Sie, was er gemacht?[3] как ви думает?

— Ну? — произнес хозяин, продувая чубук, из которого вылетали на стену куски накипи и капли табачного соку,— ну?

---

[1] Добрый день! (*нем.*)

[2] Сочинения Карамзина (*нем.*).

[3] Знаете ли вы, что он сделал? (*нем.*)

— Как ви думает? — продолжал Адам Адамыч.

— Да ну? — повторил Закурдаев.

— Он нашель,— сказал Адам Адамыч,— русский перевод з один имморальний французский роман и переводиль з него такой пассаж! О! — прибавил почтенный наставник, качая головой с таким видом, как будто хотел сказать: волосы, дескать, дыбом.

— Что же дальше? — спросил Закурдаев.

— Как что?—воскликнул разъяренный Адам Адамыч,— как что? О! это не может так оставайться! Я должен буду сказайт Максим Петрович. Да!

— Да какая же это книга?

— Это опизание интриг один кавалир...

— Фоблаз?

— Да, да. Ви знает это зочинение?

— Превосходная вещь! — произнес экс-студент с приятной улыбкой,— удалое перо писало!

— Как? — воскликнул Адам Адамыч, с изумлением глядя на Закурдаева,— ви хвалит это зочинение?

— Да; по-моему, это славная книга,— сказал экс-студент, наколачивая трубку.

Адам Адамыч покачал головой.

— Разумеется,— прибавил Закурдаев,— Петька еще молод этакие книги читать.

— Я говору то же,— сказал Адам Адамыч.

Закурдаев поставил в угол набитую трубку и подошел к немцу.

— Это вот нашему брату, Адам Адамыч! нашему брату!— сказал он, ухватывая за плечи своего гостя и качая его с одной стороны в другую. — Ведь и вы ухор, Адам Адамыч! я вас знаю. Ведь вы дока! все произошли!

Адам Адамыч приготовился было усмехнуться с самодовольством; но рассудил проглотить улыбку и принять солидный вид.

— Sie spassen [1] — сказал он, — я уже старик.

— Это ничего! да и не старик вы вовсе. Ну, а Петька, разумеется, еще молод для таких вещей.

— Читаль ви, — начал Адам Адамыч, — «Антипаросский пещера», зочинение von господин Энгель, Verfasser des «Philosophen für die Welt»? [2]

---

[1] Вы шутите (*нем.*).

[2] автор «Философа для мира» (*нем.*).

— Ну их ко псам — и пещеру и философа! — проговорил Закурдаев, закуривая трубку.

— Там прекрасно говорит аутор, — продолжал Адам Адамыч, — как вредно читайт имморальний зочинения.

— К черту их, Адам Адамыч! право, к черту! Что о пустяках толковать!

Закурдаев взял со стола сигару и поднес ее Адаму Адамычу со словами:

— Цигарку другу!

Адам Адамыч поблагодарил, обмуслил сигару и закурил.

— Ну-ка, сядемте, да и Петьку-то туда же! к черту!

Оба сели.

— Охота вам такою дрянью заниматься, Адам Адамыч! — начал хозяин. — Нет, вот я сегодня, как встал, думаю: сколько могу я сразу трубок выкурить? — да вот до вашего прихода все курил... инда во рту черт знает что сделалось. Я думаю, кожа слезла с языка?

Он показал язык Адаму Адамычу и, не дав ему произнести ни слова, продолжал:

— Да! двенадцать трубок за присест! тринадцатую лень стало набивать, так уж я и бросил.

— Только баловство доводит до таких поступков! — пробормотал Адам Адамыч по-немецки, занятый вполне мыслью о поведении Петеньки.

— А вы все свое! Да будет вам тростить одно и то же! Знаете ли, что?.. Есть у вас уроки сегодня поутру?

— Нет.

— А после обеда?

— Тоже нет: зегодня зубота.

— И прекрасно! Так мы и закусим, значит, вместе?

Хозяин встал и выглянул в переднюю.

— Где этот Дениска вечно шалберит?

— Я видаль, — отвечал немец, — он играйт в карты з Макарвич.

— Экой мошенник! с утра в носки дуется! Нос-то опух у мерзавца, как дуля! Дениска! — крикнул Закурдаев, высовываясь в окно. — Эй, ты! Алешка! пошли ко мне Дениску! вели ему принести хлеба да телятины холодной! слышишь?

— А как он не пойдет? — отвечал со двора Алешка.

— Как не пойдет? А спину вздуют! — крикнул Закурдаев.

— Это взе такой люди, — заметил Адам Адамыч, — без никакой позлюшание.

— Ну, со мной Дениска шутить не станет: он меня знает, — сказал Закурдаев, возвращая свою голову и туловище в комнату.

Дениска был ремеслом домашний чеботарь; он работал различного рода обувь для дворни господина Желнобобова в прихожей флигеля, где жил Закурдаев, и обязан был служить экс-студенту, что, впрочем, вовсе не считал за нужное исполнять как следует.

— А я покамест вытащу благословенный напиток,— сказал хозяин, отправляясь в маленькую темную конурку около той комнаты, где они сидели с почтенным наставником.

В этой конурке, весьма похожей на чулан, помещалось все хозяйство забубенного экс-студента. На стене висела гитара. На полу валялось несколько пар сапог, около которых стояла опрокинутая помадная банка с разведенною в донышке ее ваксою. В одном углу навалено было горой черное белье, а в другом помещалась огромная бутыль. Бесцветная жидкость, которую вмещала в себе эта посудина, была не что иное, как очищенное зелено вино, которое Закурдаев именовал, впрочем, различно: и померанцевкою — от единственной померанцевой корки, лежавшей на дне бутыли, и травником — от соломинки, которая плавала в крепительной влаге.

Хозяин снял с полочки довольно вместительный, совершенно пустой графин, накренил бутыль и наполнил графин померанцевкою, или травником. Тут же на полочке взял он два хрустальных стаканчика с позолотой, известных под названием ванек-встанек. Такую кличку стаканчики получили оттого, что куда ни наклоняй их, они все-таки встанут на свое круглое дно.

Все это торжественно вынес Василий Семеныч в свой приемный покой и поставил на стол перед Адамом Адамычем, который не переставал думать о Петеньке и повторял про себя: «Вот до чего доводит баловство!»

— Нектар-то, нектар-то, Адам Адамыч! — сказал Закурдаев, указывая на графин. — Самое время выпить и закусить.

— О, я боюсь! — проговорил Адам Адамыч.

— Пустяки! — сказал Василий Семеныч. — Немножко можно выпить вперемежку: сначала померанцевки, потом травничку.

Холодная телятина и несколько ломтей хлеба не замедлили явиться вместе с казачком Алешкой, который объявил, что Дениска решительно отказался принести завтрак сам, потому что у него выходят беспрестанные хлюсты, и нос его партнера с каждой новою сдачей становится все более и более похожим на луковицу.

Закурдаев не преминул обругать Дениску ракалией; потом сказал Алешке, что как Адам Адамыч, так и сам он сегодня за общим столом обедать не будут по поводу сборов на охоту, и потому приказал обед принести во флигель. Надо заметить, что хотя экс-студент и никогда почти не обедал вместе с семейством Желнобобова, однако считал необходимостью всякий раз объявлять о том.

Алешка, выслушав приказание Закурдаева и бросив лукавый взгляд на флягу с нектаром, усмехнулся. Тот, заметив такой неуважительный пассаж малолетнего казачка, дал ему за это здорового тумака по затылку, выбранил его дуралеем и прогнал вон.

Затем оба собеседника приступили к закуске, выпив предварительно по стаканчику померанцевки. Приступ этот совершился в полном безмолвии с обеих сторон.

Когда по куску телятины было уже отправлено в желудок каждого, Закурдаев громко крякнул и возгласил:

— Итак, Адам Адамыч, по померанцевке прошлись и червяка заморили?

— Да,— произнес сквозь зубы Адам Адамыч, прожевывая корку хлеба.

— Что следует теперь? — спросил Закурдаев.

— Я не знай,— отвечал Адам Адамыч.

— Как не знаете? После померанцевки следует — травник. Да!

Он налил оба стаканчика.

— Ваш здоровье! — сказал немец, выпивая залпом ваньку-встаньку.

— Дельно; и ваше также! — произнес экс-студент, опоражнивая свой стаканчик.

Тут он взял своего гостя за руку и посадил на клеенчатый диван, а рядом сел и сам. Задымились трубки, и разговор принял следующее направление.

— Теперь нам надо поговорить насчет охоты, Адам Адамыч,— сказал хозяин,— завтра непременно надо ехать.

— О, да! да! — воскликнул Адам Адамыч, моргая огромными веками от полноты чувств.

— Предстоит один вопрос: завтра ли пораньше отправиться, или на ночевую сегодня?

— Я думаль, лючше завтра,— сказал Адам Адамыч. — Я не люблю ехать в ночь.

— Ну, завтра так завтра! — отвечал Закурдаев. — Вы встанете пораньше. Правда, вы всегда рано встаете... Дениска заложит нам телегу; возьмем вот этого...

Экс-студент указал на графин.

— Затем и двинемся в поход,— продолжал он. — Только собаки у меня нет... Ну, да я пошлю к шелопаевскому Ваньке за Фингалкой. Но куда нам ехать, Адам Адамыч?

Произнеся последние слова, Закурдаев улыбнулся. Адам Адамыч не заметил этой улыбки.

— О! на мельниц! — отвечал немец. — Где найдет ви столько дичь?

— Так! так! — сказал Закурдаев, смеясь лукавым смехом, — я знал, что вы скажете это. А не лучше ли к Пролетовке?

— О нет! — возразил Адам Адамыч,— что там? Перепель уже нет. Я знай одно место у мельница...

— Гм! — прервал Закурдаев, взявшись за плечо Адама Адамыча и качая головой,— а какое бы это место?

— Там ошен много вальдшнепф.

— Ох, хитрец, хитрец! — воскликнул Закурдаев, разражаясь бесцеремонным хохотом. — Знаю я — знаю это место! Только туда не вальдшнепы вас тянут.

Адам Адамыч немного обиделся.

— Что хочет ви сказайт? — спросил он, собираясь встать с дивана.

— Ничего, ничего. Фу ты пропасть! уж и обиделся! Ну что же за беда такая!

— Я не понимай ваш злова̀, — холодно заметил Адам Адамыч.

— Полноте, полноте, Адам Адамыч! Разве другого кого, а меня не проведете. Ведь я и сам на эту руку не дурак.

— Я не знай,— сказал Адам Адамыч, оставляя с раздосадованным видом диван,— я не знай...

Хозяин тоже встал.

— Ну, ладно, ладно,— сказал он,— не буду! Уж если вы хотите быть таким скромным, так я оставляю мельничиху в покое.

— Как? — воскликнул почтенный наставник, широко раскрывая глаза.

Закурдаев не дал ему продолжать и сказал, взяв его за руку:

— Скажите-ка лучше: что следует после травнику? Полноте сердиться! плюньте! Ну что после травнику?

Морщины разгладились на лбу немца; уста слегка улыбнулись.

— Померанцевка,— сказал он, подходя к столу.

Два стаканчика снова были опорожнены.

— Ну, перестал гневаться, Адам Адамыч? — спросил Закурдаев,— отошло сердце? а!

Адам Адамыч кивнул головой, продолжая понемногу улыбаться.

— Ну из-за чего? — спрашивал экс-студент, — из-за чего было обижаться?..Кто богу не грешен? Ну, съякшался с мельничихой, так съякшался. Эка беда! Напротив...

— Озтавте! — сказал Адам Адамыч, улыбаясь все более и более под влиянием померанцевки и травника.— Это зовсем не правда.

— А что же ты смеешься? чему ты смеешься? а! — спросил экс-студент, резко подступая к Адаму Адамычу и тоже поддаваясь разбирающей силе крепительного.— Ну, признайся! Полно скрываться!

— Я не имеет, что сказайт; ви взе знает! — отвечал немец, крутя головой.

— Вот спасибо! вот молодец! — начал кричать Закурдаев с таким восторгом, как будто получил душ двести наследства.— Ну, а Александрина? а! тоже занозила сердце? Ну, признайся по-дружески!

— Озтавте! — отвечал Адам Адамыч, качая укоризненно головой.— Это зовсем другой дело!

Закурдаев не отставал.

— Ну, нет, Адам! Ты не скрывайся, я тебе скажу! Ты взгляни на меня! Я не скрываюсь. У меня душа вот... на ладони душа. Я тебе говорю...

Он налил в стаканчики травнику, и оба выпили.

— Я тебе говорю, у меня у самого сердце нежное; за то и люблю тебя. Ты не смотри, что я такой! Я вот люблю и подвыпить и подсмеяться; а сердце у меня нежное...

— Когда я бил молод,— сказал Адам Адамыч,— я тоже имель нежний зердце; но когда опит...

— Ну оставь ты философию, Адам! не завирайся! Ты скажи прямо про Александрину!

Адам Адамыч повесил голову; один глаз его почти совсем прикрылся огромным веком, и из-под него блеснула капля слез.

— Ну, садись!— сказал экс-студент,— садись! Ну, и расчувствовался! Я уж знал, знал...

— Женщина есть фальшивий творение,— заметил в виде сентенции немец.

— Это никак еще вот кто сказал, Адам! — отвечал экс-студент, указывая на трубку, изображавшую бородатую голову Аристотеля.

— Да! — начал было Адам Адамыч, — наружност...

— А ты выпей лучше! — прервал хозяин, которого начало уже беспрестанно тянуть к графину.

— Довольно уже,— проговорил немец.

— Довольно? что ты?.. что ты, Адам? Пей знай!

Оба выпили.

— Слушай, Адам! я дам тебе совет... Ведь ты веришь мне? а! веришь моей дружбе?..

Вместо ответа Адам Адамыч вытянул свои влажные губы и прикоснулся ими к губам друга.

— Ты действуй! действуй молодцом! Слышишь, Адам? Да полно уж ты! полно! не заминай ты меня! Слушай!.. Будь ты смелее! действуй, брат, молодцом?.. Да ты верь мне!.. Ну, что ты моргаешь?.. Ты верь!.. Ведь это мне вот... как пять пальцев...

Ресницы Адама Адамыча увлажились, а правый глаз совсем исчез под веком, что делал всегда, когда почтенный наставник выпивал два-три стаканчика закурдаевского нектару. Зубы его задрожали, и он начал говорить голосом, полным слез, какую-то весьма длинную, весьма чувствительную, но совершенно непонятную речь.

Закурдаев не выдержал и вдруг неожиданно перервал красноречивые излияния немца.

— Ну, занес! — сказал он.— Будет, брат!.. Споем-ка лучше что-нибудь!

— Я не могу,— отвечал Адам Адамыч дрожащим голосом, расчувствованный собственными своими словами.

— Пустяки! — сказал Закурдаев, неверными стопами направляясь к чулану.

Адам Адамыч сидел, понурив голову, и плакал, думая то о родине, то о Минне, то об Александрине, то о мельничихе.

Хозяин явился с гитарой.

— Ну полно! — сказал он немцу.— Ну что ты хнычешь? А вот постой, постой! я тебя развеселю...

Рука его бойко заколотила по всем струнам гитары, и он запел густым басом:

Знаешь ли причину:
Почему Ричард
Ездил в Палестину
Турок воевать?

— Ну, знаешь причину? — сказал он, обращаясь к Адаму Адамычу. Тот улыбнулся сквозь слезы.

— Не знаешь? а!

Я скажу причину...
Это потому,
Чтобы на полтину
Выпить одному.

Экс-студент принялся наяривать свою песню еще бойче и всею ладонью на струнах гитары и возгласил следующий куплет:

Властелин Китая
Смотрит подлецом,
Если в чашку чая
Не вольет он ром.

По мере энергических возгласов хозяина меланхолическое лицо гостя просиявало, понемногу, но, хотя улыбка и играла уже на его устах, правый глаз оставался по-прежнему закрытым. Как ни старался Адам Адамыч поднять веко, под которым таился этот глаз, старания его остались совершенно тщетными. Разыгравшаяся в нем веселость нимало, впрочем, не смутилась этим обстоятельством. Он взял трубку Закурдаева, который хотел было уже умолкнуть, и, показывая ему на голову мудрого Аристотеля, сказал:

— Что не споет ви про Аристотелес?

— Ах, да! — воскликнул Закурдаев, начиная опять колотить пальцами по струнам...

Аристот ученый,
Древний философ,
Продал панталоны
За сивухи штоф.

Когда Закурдаев повторял последнюю строку куплета в другой раз, Адам Адамыч пришел в совершенный экстаз.

— Sapperment! — восклицал он,— Sapperment! [1].

---

[1] Восхитительно! (*франц.*)

В таких и подобных сим занятиях и разговорах прошло время до обеда, который был принесен самим Денискою. Хозяин предложил выпить по стаканчику перед щами, и графин тем кончился. Дениске было немедленно поручено отправиться в чулан и наполнить его снова. Для возбуждения аппетита оба собеседника перед каждым блюдом прибегали к графину и стаканчикам и к концу обеда, как говорится, не вязали уже лыка.

Адама Адамыча обуяла сильная меланхолия, и как ни старался собеседник разогнать ее различными выходками и пением разных забубенных песен, грусть не исчезала с лица почтенного наставника. Даже когда Закурдаев забряцал на своей гитаре «По всей деревне Катеньку» и запел на этот голос любимую песню Адама Адамыча:

Es ging einmal ein *Clericus*
Wohl in den grünen Wald —
Und *vidit ibi stantem*
Puellam wohlgestalt't!..[1] —

даже и тогда морщины не разгладились на лице немца.

Наконец, утомленный напрасными усилиями развеселить своего товарища и обуреваемый дремотою, экс-студент улегся на диван и молча потянул к себе за рукав Адама Адамыча, изъясняя тем мимически, что приглашает его лечь вместе с собою и успокоиться после неоднократных возлияний.

Адам Адамыч, не произнося ни слова и не покидая своего задумчивого вида, высвободил руку, которую взял у него Закурдаев, и, пошатываясь, направился к выходной двери.

— Куда ты, Адам? — спросил экс-студент, зевая во весь рот.

Адам Адамыч кивнул в молчании головою, причем потерял было равновесие; но поправился и пошел вон из комнаты.

Едва исчез он за дверью, как сон, этот мирный спутник всяких бойких травников и померанцевок, слетел на отяжелевшие веки экс-студента, и он громко захрапел, прижавшись лицом к спинке дивана.

---

[1] Однажды *монах*
Пошел гулять в лес
И увидел стройную *девушку*,
Которая там стояла! (*нем.*)

Минут через пять Адам Адамыч явился назад. Лицо его было бледно, как полотно; он качался еще более. Шевеля губами, как будто желая произнести что-нибудь, он подошел коснеющим шагом к ложу, на котором был распростерт его приятель, и совершенно машинально опустился на диван. Он протянулся тут рядом с Закурдаевым, и вскоре разноголосный храп двух друзей огласил серые стены учительской комнатки.

Вскоре вошел в комнату Дениска, чтобы убрать остатки обеда, а остатки водки препроводить в свой желудок. Видя двух наставников совершенно бесчувственными ко всему окружающему, он поспешил привести в исполнение свое намерение, но не удовлетворился одним этим удовольствием.

Хотя по росту, по лицу и даже по ревизским сказкам чеботарю значилось двадцать пять лет от роду, но душа у него была молода, как у ребенка, и потому Дениска никак не мог отказать себе в следующей забаве. Он вынул из чернильницы мохнатое перо и начал водить кончиком его под носом уснувшего немца. Адам Адамыч не шевельнулся ни одним волоском. Дениска запустил перо в левую ноздрю Адама Адамыча — напрасно; в правую — тоже.

С досадой воткнул Дениска перо в чернильницу и ушел из комнаты, ворча про себя, что вот нахлестался человек до такого безобразия, что ему хоть нос отрежь, так он не услышит.

Долго царствовало безмолвие в серых стенах жилища Закурдаева и прерывалось только мерными ударами маятника стенных часов да по временам более сильной выхрапкой, излетавшей из уст которого-нибудь из спящих, причем рой мух, облеплявший рот каждого, с досадою снимался с приютных мест. Впрочем, покружив над носом и глазами Закурдаева и немца и видя совершенное их спокойствие, мухи снова садились вокруг их губ, размещаясь, как гости за большим столом званого обеда. Часы прохрипели и пять, и шесть, и семь ударов, а наставники все спали.

Наконец, когда солнце, перед закатом, ударило целым пучком лучей в окна закурдаевской обители, заиграло в стекле опорожненного графина и позолоченных ванек-встанек и слило в два густых столба всю пыль и весь трубочный дым, носившиеся по комнате, хозяин ее проснулся. Он протянул было руку к трубке, которая постоянно помещалась у дивана; но ощутив присутствие Адама Адамыча, привстал и начал его расталкивать.

— Вставайте, Адам Адамыч! — сказал он,— пора! Эк мы заспались! Половина восьмого.

Адам Адамыч медленно потянулся; но увидав, что он не на своих антресолях, тотчас же привскочил на диване и сел, спустив ноги на пол.

— Ах, как много я спаль! — воскликнул он, бросив взгляд на стрелку часов.

— Не беда! — заметил хозяин.— Ладно, что выспались перед охотой.

— Позле обеда спайт не харшо, — сказал Адам Адамыч, по-видимому чувствовавший уже угрызения совести.

— Ну, нехорошо! Все хорошо! Постойте-ка! постойте-ка! — сказал экс-студент, глядя на немца,— что это у вас губа-то?

Адам Адамыч быстро схватился за нижнюю свою губу: она была толще грецкого ореха.

— Ах! — произнес он с заметным неудовольствием,— муха укусиль.

— Так и есть! так и есть! — сказал экс-студент,— вон их сколько здесь, ракалий!

При этом Закурдаев сделал из правой руки своей нечто вроде ложки и махнул ею по спинке дивана. Размахнувшись, он ударил об пол пойманных мух и принялся давить их ногой, приговаривая:

— Вон их сколько здесь! Раз, два, три... десяток целый!

— Ах, как это неприятно! — сказал немец, утюжа распухшую губу ладонью.

— Вы оставьте! не трите! Еще больше разнесет. Надо маслом деревянным помазать.

— Да, это помогайт,— отвечал немец.

— А теперь лучше покурим немного. Да не хотите ли чаю?

— Нет.

— Ну, нет так нет; и я не хочу! А вот трубку можно.

Он закурил трубку, потом подал Адаму Адамычу сигару и по обыкновению произнес:

— Цигарку другу!

Докурив сигару и поговорив с Закурдаевым относительно поездки завтрашним утром на охоту, Адам Адамыч вышел из флигеля и отправился к себе на антресоли.

В лакейской внимание Макарыча было поражено бледностью лица почтенного немца и совершенно закрытым правым его глазом. Зная каприз этого глаза закрываться, когда

Адам Адамыч нетрезв, Макарыч толкнул под бок Дениску, сидевшего рядом с ним на коннике. Дениска взглянул в засаленные карты, объявил, что у него хлюст, а потом уже обратил свой взгляд на наставника. Тут партнеры перемигнулись, и глупая, но вместе с тем лукавая улыбка оскалила их зубы. Припухшей губы Адама Адамыча, к счастию, они не заметили, ибо он прикрыл ее носовым платком и не отнимал его ото рта.

Чувствуя совершенную пустоту в голове и в желудке, Адам Адамыч пожалел от всей души тех часов, которые провел так бесполезно и с видимым ущербом как для здоровья, так и для репутации своей. Но делать было нечего!

Утешив себя тем, что прошедшего не воротишь, он снял со стены ружье, патронташ и другие охотничьи доспехи с целью приготовить все к завтрашнему утру.

Пальма, пытавшаяся обратить на себя взор своего властелина, не успела в этой попытке. Адам Адамыч не кликнул ее и не дал ей понюхать затравки, как делал это обыкновенно. Причиною такого уклонения почтенного немца от всегдашних его правил было, разумеется, тоже угрызение злой совести и совершенное недовольство своим поведением в настоящий день.

Только усиленная забота могла прогнать докучные мысли из головы Адама Адамыча; он знал это и потому, вооружась отверткою, принялся развинчивать свое огнестрельное орудие. Потом начал он чистить и промывать дуло ружья, вымазал ложе деревянным маслом, часть которого употребил и на свою распухшую губу, намерял в патронташ пороху и дроби, нарвал из кудели пыжей и, наконец, зарядил ружье.

ГЛАВА IV

«Чтобы вас медведь заел и с охотой-то! Эк взбудоражила нелегкая чем свет! Дался Дениска в лапы: хомутай его ни свет ни заря! Что будни, что праздник — все одно. В будни ты чеботарь, в праздник — конюх. Экое житье проклятое! А Макарыч дрыхнет, старый черт! Тут бы те на слобо́де-то и поспать; ан нет! поди вот шлею под хвост подлаживай да в дегтю полоскайся!»

Такую речь держал единственно для самого себя чеботарь Дениска, направляя шаги к конюшне и протирая едва глазеющие, заплывшие со сна очи.

Солнце еще не всходило; но на краю синего неба видна уже была близость его появления: звезды угасли, и лицо месяца, как испуганное, бледнело все более и более, пока не слилось совсем с посветлевшей лазурью.

Ночная свежесть пробирала Дениску, и он не переставал ворчать.

Впрочем, когда чубарая и тощая кобыла была выведена чеботарем из конюшни и телега выкачена им из-под навеса, он немного согрелся и поуспокоился. Надо заметить, что Дениска к прочим достоинствам своим — достоинствам чеботаря по ремеслу, картежника по призванию и шутника и зубоскала по натуре — присоединял качество довольно плохого стрелка и любил охоту. Несмотря на эту последнюю склонность, он имел обыкновение, по несчастному характеру своему, ругнуть того, кто его рано разбудит, хотя бы то было для его любимейших занятий. Потому и теперь ропот вскипел в груди его и утишился только после нескольких минут работы.

Почтенный наставник, уже припасший все к отъезду, опоясался ремнем, навесил на себя патронташ, заткнул за пояс кисет и трубку и с самого выхода Дениски из флигеля следил за его действиями, стоя у своего окна и опираясь на ружье. Ни одно движение чеботаря не ускользало от внимания Адама Адамыча.

— Ась? — вскричал вдруг Дениска, приправляя коленкой оглоблю, к которой прицеплял дугу.

Смутная речь с другого конца двора донеслась до ушей моего героя. Он высунул голову в окно.

— Забыл! — сказал Дениска. — Сейчас схожу.

Адам Адамыч стукнул локтем по стеклу окна, как будто нечаянно, а между тем с целью подать весть о своем незамечаемом Денискою присутствии. Чуткое ухо Дениски услышало этот звук, и он взглянул на окно Адама Адамыча.

— Вон зовут они вас к себе! — проговорил чеботарь, привязывая седелку и указывая головой на флигель Закурдаева.

— Я зейчас,— сказал Адам Адамыч, быстро отходя от окна и направляясь к двери.— Пальма, в поход!

Пальма давно уже суетилась около ног почтенного наставника.

Только что вышел Адам Адамыч из комнаты и начал было запирать на ключ свою дверь, неожиданная мысль вдруг поразила его мозговые органы. Он ударил себя

ладонью по лбу и произнес про себя: «Herr je![1] какая забывчивость! Это непростительно».

Сказав это, Адам Адамыч возвратился в свою горенку, высунул руку из окна и снял с гвоздика, прибитого к наружной стене дома, шнурок, на котором было нанизано что-то с виду весьма похожее на грибы. Это было, впрочем, не что иное, как трут, собственноручно нарезанный Адамом Адамычем, вымоченный им же самим в растворе селитры и вывешенный за окно на просушку.

— Я мог бы остаться без огня! — сказал он, снимая два куска трута с веревочки и помещая их в карман брюк.

Тут наставник лукаво и приятно улыбнулся, глядя себе на ноги. Улыбнулся он так не потому, что сапоги его были густо смазаны сальным огарком и тем приведены в непромокаемое состояние, а потому, что он вспомнил еще об одной, тоже забытой им вещице. «Как глупо так забывать!»— пробормотал он с тою же лукавой улыбкой, когда извлек из своей драгоценной шкатулки маленький сверточек бумаги.

Он препроводил этот сверток к себе за пазуху и, наконец, вышел из комнаты, чтобы уже не возвращаться в нее до отъезда на охоту.

Закурдаев нетерпеливо ожидал своего товарища, сидя за самоваром и глуша пятый уже стакан легкого пуншу.

— Что это вы так долго? — воскликнул он, когда Адам Адамыч вступил в сильно надымленную трубкой комнату.

— Мне никто не сказивал, — отвечал наставник.

— Этот мошенник вечно забудет! А я уж и чаю вам нацедил. Садитесь-ка!

Адам Адамыч сел и приступил к питью чая.

— Да где же Пальма-то у вас? — спросил экс-студент, когда из-под стола вылез глупейшего вида солвопегий с подпалинами легавый кобель, одаренный неимоверно огромными брылами, одну сторону которых он постоянно закусывал зубами, от чего и приобретал еще более бессмысленное и тупое выражение.

— Она здесь,— отвечал Адам Адамыч, встав и отворив дверь, в которую Пальма давно уже скребла из сеней лапою.

---

[1] Господи! (*нем.*)

— Ну вы! развозились! А где плеть?! — прикрикнул Закурдаев, когда Пальма, кокетничая со своим новым знакомым, ударила хвостом по чубуку, помещавшемуся в углу комнаты, и уронила его на пол.— Куш, пучеглазый! куш, Фингалка!

Адам Адамыч допил свой стакан чаю. Закурдаев взял со стола сигару и вручил ее почтенному немцу.

— Цигарку другу!

— Покорно блягодару,— отвечал наш герой.

— Ну, Адам Адамыч,— заметил Закурдаев,— теперь не мешает пропустить стаканчик и с ромцом! Холодновато, канальство! — прибавил он, потирая руками.

— Немного можно положийт,— ответил Адам Адамыч.

— Ну да! для вкусу! — сказал Закурдаев, взявшись за бутылку.

— Ух! — воскликнул он, переполняя ромом стакан немца.— Эхма! Пересластил немножечко... Ну да ничего! Не кол — пройдет!

— Ах! как много ви мне налил! — проговорил Адам Адамыч.

— Полноте! ничего! — сказал экс-студент.

Адам Адамыч принялся за пунш.

— А куда бишь,— спросил вдруг Закурдаев,— куда бишь хотели вы ехать-то, Адам Адамыч? К Пролетовке никак?

— О нет! — сказал с досадой немец,— как это можно? Там только...

— Ах! да-да! Я и забыл совсем! Вы говорили, кажется, на Чертово Городище? Ну да! так, на Чертово Городище!

— Ах! что ви говорийт? Это невозможно.

— Что я в самом деле? И забыл совсем, что вы хотели непременно ехать к Коровьему Озеру.

— О Василь Земенвич! — воскликнул Адам Адамыч, с укоризною качая головой.

— Знаю! знаю! — подхватил Закурдаев, хлопая ладонью по ляшке достопочтенного наставника.— Ох, вы! — прибавил он, грозя пальцем. — Что может быть лучше мельницы? Не так ли? а!

— Да; мне кажется, там прекрасний места для охота.

— Знаю! знаю! — повторил, громко смеясь, экс-студент.

— Ви з ваш двуствольний ружье? — спросил немец, заминая разговор о мельнице.

— Да. А как вы думаете, Адам Адамыч: не заправить ли нам желудок померанцевкой и легкой закуской на дорогу? а!

— Нет! нет! Зачем? Теперь так рано. Ми имеем время там.

— А там так там! Я, пожалуй, и на то согласен. Ну, что? готово у тебя, что ли? — крикнул Закурдаев, высовываясь в окно.

— Только вот взвозжаю,— отвечал со двора Дениска.

— Ну, так, значит, можно с богом и в путь?

— Я зовсем готов,— заметил Адам Адамыч.

— А вот и я сейчас.

Сборы Закурдаева были недолги. Все было уже прилажено к охоте, и ему оставалось только навесить на себя ружье и прочие охотничьи снаряды, что он тотчас же и сделал.

Чеботарь между тем зарядил свое ружье и, завернув в пестрядинную тряпицу наготовленные им заряды, сунул их к себе за пазуху. Готовый таким образом к немедленному отъезду, он вошел объявить обоим охотникам, что телега ждет их.

Перед отходом Закурдаев подставил под самый нос Адаму Адамычу три сигары, давая тем знать, что вот, дескать, цигарки другу, и потом спрятал их в карман.

Наконец охотники уселись в телегу на сено, прикрытое войлоком, под которым таилась и дорожная, оплетенная тростником фляга с нектаром. Дениска тронул вожжами; кобыла дернула и тряхнула головой; собаки взвыли и залаяли благим матом, прыгая у ее передних ног,— и экипаж двинулся, оглашаемый этими радостными и мелодическими звуками.

— Тише! тише! — кричал экс-студент, когда телега повернула в улицу, которая шла крутыми уступами под гору.— Голову сломишь! Говорят тебе, тише! Экой городок! с тормозом надо ездить.

— Да, здес ошен неприятно! — заметил Адам Адамыч, подпрыгивая на войлоке.

— Где выстроился-то, дурачина! — сказал Закурдаев, указывая на дом исправника Юзгина, стоявший на юру.— Посмотрите, что за вид! Ах, дурак! дурак! С одной стороны в окошко курица впрыгнет, а с другой палкой окна не достанешь.

— Но здес такой места,— сказал Адам Адамыч.

— Да разве не было других мест в городе? Глуп он как чурбан — и больше ничего. А что Лизанька? преуспевает?

— О, это девушка з большой зпозобности!

— Ах ты, нежная душа! — произнес экс-студент, потрепав по плечу своего товарища.— Уж ни за что про женский пол не скажет дурного.

— Я думай, взе зоглязни, что это ошен умний девиц.

— Вона! и девица!.. Какая же девица! Девчонка просто. Что ей? лет двенадцать?

— О нет! пятнадцать.

— Ну все еще не того... А точно развивается, растет.

— Дерутся больно — сказывала ихняя Глафира! — вставил свое замечание возница, укорочая шаги лошади.

— Мне ошен нравится ей голос,— сказал Адам Адамыч.— Она поет как золовей.

— Батюшки-светы! уж и соловей!

— Да, это справедливо.

— Ну-ка, Адам Адамыч! посмотрите-ка на меня!

Немец посмотрел.

— Ну нет еще, нет; а близко! — сказал экс-студент,— того и гляди, влюбится!

— Полноте! что ви говорит?

— Ну да чего уж? Ведь я знаю... Ведь душа нежная... ох, какая нежная!

Адам Адамыч промолчал; но зато Дениска сказал, оборачиваясь к Закурдаеву:

— А вот Глафира ихняя сказывала: ай-ай бесстыжая барышня! Хуже, говорит, мужчинки: все подслушивает, что в лакейской говорят. Известно, что уж у нашего брата выслушаешь? какое тут...

— А ты гляди вперед! полно растабарывать-то! Куда ты заехал! — вскричал сердито Закурдаев.

Телега, точно, наехала на бревно, лежавшее на одной стороне улицы, и чуть не свернулась набок.

— Экой ослопина! — ворчал экс-студент,— точно у тебя глаза-то тестом замазаны.

Адам Адамыч в это время молчал, но думал о том, как большая часть слуг не питает ни малейшей привязанности к своим господам и при всяком удобном случае безнаказанно клевещет на них.

«Может ли статься,—размышлял он,—чтобы это прекрасное существо, полное непорочности и нежных чувств,

может ли статься, чтоб Лизанька Юзгина была способна на что-нибудь подобное?»

При этом размышлении образ хорошенькой ученицы ясно нарисовался в мечтах почтенного наставника; сердце его приятно вздрогнуло, и он совершенно бессознательно произнес:

— Как может это бит?

— Что такое? — спросил Закурдаев.

Адам Адамыч сконфузился и отвечал, запинаясь:

— Я сказаль: как может это бит... такой дурной дорога?

— Полно, так ли? — возразил Закурдаев, грозя пальцем.

Телега спустилась, наконец, с горы и въехала в более ровную и более просторную улицу.

Когда охотники поравнялись с одним довольно красивым домом о пяти окнах, в которых везде были опущены занавески, Закурдаев выразительно толкнул товарища под бок локтем, а головою указал на дом.

— Она спит! — произнес он, вздыхая,— она спит, и сердце ее спокойно!

— Они всегда в десять часов встают, — заметил Дениска,— а обедают в три часа; повар ихний Степан сказывал.

Адам Адамыч при возгласе Закурдаева почувствовал сильный жар в лице; на лбу его проступило несколько капель пота. Он вынул платок и начал обтирать себе лицо.

— Ах, да! я и не взглянул, — сказал вдруг Закурдаев,— что у вас губа-то! никак опала?

— Нишего, зовсем нет,— отвечал немец, продолжая тереть себе лоб и щеки.

— А хороша, волшебница! — начал опять восклицать веселый спутник, толкая под бок Адама Адамыча,— очаровательна! а?

Адам Адамыч не отвечал; ему казалось, что войлок под ним превращается в раскаленные уголья.

— Что же вы все молчите? — спросил Закурдаев.

— Что буду я говорийт? — пробормотал сквозь зубы чувствительный немец.

— Как что? Ну вот я спрашиваю вас... Неужели, по-вашему, Александра Фоминишна не очаровательна?

— Да, она ошен недурна.

— Похвалил, нечего сказать! Недурна! Я вам говорю, очаровательна!

— Это ведь как кому! — заметил Дениска.— По мне, Прасковья дергачовская попрозрачнее будет.

— Молчи ты, пентюх! Кто тебя спрашивает? — закричал Закурдаев. — Ну какого ты рожна смыслишь?

Адам Адамыч чувствовал, что лицо его вспыхивает все больше и больше и что не усидеть ему прямо на войлоке, превращающемся в раскаленные уголья.

— А как умна-то? Господи боже мой! как умна! Я и не видывал такой женщины! — продолжал экс-студент воскурять фимиам Александре Фоминишне.— Неужто вы не согласны с этим?

— О да! она ошен, ошен большой имеет ум!— сказал Адам Адамыч, невольно увлекшись пафосом речи своего спутника.

Порою ветка, выросшая на отвесном берегу быстрой реки, долго лепится в земле, как ни тянет ее окунуться в синих летучих волнах. И жаль ей расстаться с приютным берегом, и поток манит ее к себе, подмывая ее неглубокие корни... И вот, дрожа от желания и обаянная стремлением, сорвалась ветка, и поток несет ее с собою...

Так точно было и с Адамом Адамычем. Как ни крепился он на почве своей таинственности, увлекающее стремление речи товарища сорвало его с этой почвы, и вслед за потоком закурдаевских похвал немец пошел катать огромную и патетическую тираду в честь Александры Фоминишны. С жаром изложил он в этой тираде, что таких умных женщин встретишь очень мало, даже вовсе не встретишь в нынешнем свете; что большая часть прекрасного пола подобна бабочкам, которые стараются только о внешней красоте своей, а духовную сторону свою не стараются возделывать и украшать познаниями или пылкими чувствованиями. Как контраст этим ветреным женщинам почтенный немец начал превозносить Александрину и, кажется, сказал даже, что по уму она равняется известным семи мудрецам, что знает отлично все науки, чуть ли даже и не астрономию, что сердце ее открывается для всякого чувства с самою полною симпатиею. Когда от чувств перешел он к поэзии, Шиллеру и любви, казалось, конца не будет восторженному гимну...

Но посреди этой последней части своего панегирика Адам Адамыч вдруг остановился, вспомнив, как неуместно

такое увлечение и как не должно обнажать пред другими очами, может быть совершенно несочувствующими, глубокие недра своего нежного и болеющего сердца.

Экс-студент трепал по плечу умолкшего наставника и повторял:

— Молодец! молодец! Как по писаному! Роман романом!

Очи Адама Адамыча были опущены долу, и он не мог заметить иронической улыбки, которая судорожно сводила уста его друга, когда он произносил хвалу его речи.

Телега выбралась, наконец, на совершенно гладкое место и пошла нестись, волею чубарой кобылы, по прямой улице так называемой Ямской слободки, мимо запертых еще лавчонок, провалившихся деревянных тротуаров, колодцев, пустырей, кривых домишек, маленьких косых окон, из которых глядят белые подушки, увешанные коклюшками, мимо пестрой версты, мимо питейного заведения с потемневшей вывеской, мимо гусей, гогочущих посередь улицы, мимо свиньи, расчесывающей свои кудри жесткими кочками, мимо курносого пса, который бросается с лаем под ноги кобылы и отстает, только понюхав шерсть Пальмы.

За улицей тесных и жалких домишек, на самом выезде, стоял убогий монастырь с деревянною оградой и длинною покачнувшеюся колокольней, а за ним лежало широкое кладбище, где под сенью простых крестов спят непробудным сном праотцы забубеньевских обывателей.

Столб пыли несся над головами охотников и только тогда начал отклоняться в сторону, когда телега проскакала мимо кладбища и выехала в открытое поле, где свободный ветер запорхал вокруг едущих стрелков.

Когда без всяких особых приключений охотники наши отъехали версты три от города, навстречу им попалась еще телега, в которой восседали две особы, по-видимому законные супруги.

Лишь только завидел Закурдаев ковыляющий и пылящий перед глазами их экипаж, как воскликнул:

— Мельник наш катит! и с дражайшею половиной!

Он не ошибся: это был точно мельник Игнатьич и жена его Марья Касьяновна. Как только телеги поравнялись, экс-студент схватил за плеча Дениску и велел ему остановить лошадь, а проезжающим махнул рукой.

— Постой, постой, Игнатьич! — закричал он. — Здравствуй! Или не узнал?

— А! Василью Семенычу! Адам Адамычу мое почтение! — сказал мельник, затянув поводья своей живенькой и кругленькой лошадки.

То был человек лет пятидесяти, в иссиня-сером долгополом кафтане. Жирное лицо его озарялось веселой улыбкой; борода была обрита.

Соседка его на тележной сидейке и законная супружница была почти так же жирна, как и ее муж, но зато гораздо его моложе: с виду казалось ей не более тридцати лет. Волосы ее, подобранные под шелковый коричнево-пегий двуличневый платок, ярко лоснились на солнце, так же как и белое полное лицо с бойкими глазами и алыми толстыми губами, которые, улыбаясь, выказывали ряд редких и узеньких зубов. На высокой груди ее была кокетливо зашпилена булавкой голубая шерстяная шаль с залихватской каймой, не прятавшая, впрочем, янтарного борка, который обнимал сдобную шею мельничихи.

— Куда, Игнатьич? — крикнул Закурдаев, спуская ноги за облучок телеги и принимаясь набивать свою трубку.

— Куда, как не в город! К обедне вот собрались. Да и дельце есть по мельнице.

— Ну а нам найдется чем пообедать? — спросил экс-студент.

— Милости просим! — сказала с улыбкою мельничиха. — Я к той поре дома буду. Игнатьичу вот нельзя будет воротиться: ему до завтра в городе остаться надо. А я после обеден сейчас и до мельницы.

Адам Адамыч не сказал ничего; но зато многозначительно посмотрел на мельничиху, которая приятно ему улыбнулась.

Закурдаев, закурив трубку, поместил ноги опять в телегу, кивнул головою мельнику и велел Дениске ехать.

— С богом! — сказал мельник, тряхнув вожжами. — Прощенья просим!

Встречные расстались.

Вскоре охотники наши подъехали к околице, ворота которой Дениска отворил сам, передав вожжи в руки Закурдаева.

За околицей дорога пошла уже и хуже; но зато глазам Адама Адамыча представилось много очень знакомых и очень милых ему мест. Вот овраг с бойким ручейком, отте-

ненным непроходимыми кустами; вот животрепещущий мостик, переброшенный чрез этот ручей. Бревна мостика заплясали и запрыгали под телегою, словно обрадовались прибытию своего старого знакомого. Вот маленькое озерко, обнесенное густым и звонким камышом, с целыми стадами белых жирных цветов, плавающих по гладкой поверхности воды. Тут приютилась семья домашних уток и то полощется и ныряет в синей влаге, то выходит на берег отряхаться и сыпать на солнце с крыльев своих целые пригоршни крупного жемчуга. Вот и поляна, где пасутся стреноженные кони Игнатьича. Вот и гумно, обведенное плетеным забором, сквозь который старается пробиться огромный боров, не сообразив, что рогатина, вздетая ему на шею, никак не доставит ему этого наслаждения. Вот и мельница шумит. Ездоки наши переправляются через утлый мостик, устланный сеном и соломой и усеянный домашними голубями, мимо входных дверей, откуда слышно пение жернова. По другую сторону далеко уносится быстрая речка, у мостика вспененная и шумная, а далее синяя и гладкая. Частые ряды ветел склоняются над ее смирным током и купаются в нем своими длинными ветками и обнаженными, подмытыми корнями. Вот и хата хозяина мельницы с приткнутым к завалинке мельничным камнем, с коньком над воротами и с остервенелою собакой, которая давно уже охрипла от лая, а все ворчит и скалит зубы, выглядывая из дыры, пробитой в подворотне...

— Стой! — закричал Закурдаев.

Телега остановилась. Фингалка подбежал к подворотне, взглянул в самую морду мельничной дворняге и зарычал, обнажая ряд верхних зубов.

Калитка отворилась. Приспешница мельничихи, Авдотья, толстая здоровенная туша, одетая в сарафан, выглянула оттуда и приветливо заговорила с знакомыми гостями.

Оба они выскочили из телеги. Ворота были немедленно отворены, ставни открыты, телега втащена под навес, кобыла отпряжена, и Авдотья тотчас занялась приготовлением яичницы для почтенных посетителей, расположившихся в парадной комнате мельникова жилища.

Окончив завтрак, перед которым не преминули сделать приличное, хотя и умеренное возлияние в честь бога гроздий (не имевшего, впрочем, ни малейшего понятия о хлебенных напитках), оба охотника отправились на поиски дичи.

Они шли сначала вместе вдоль тенистого берега речки; но потом разделились и отправились в разные стороны, что-

бы избежать всяких могущих случиться неприятных стычек, какие бывают часто между охотниками.

Чеботарь Дениска остался покамест на мельнице, чтобы не на тощий желудок идти стрелять сидячих уток. (На лету он не попал бы и в корову, если б корова могла летать.) Вследствие такого заранее составленного соображения он обратился к Авдотье, бабе смирной и податливой, с просьбою угостить его.

Авдотья не столько потому, что знала к нему благоволение самой мельничихи, сколько по личному уважению к Денискиным достоинствам и по любви, питаемой к этому залихватскому парню, вытащила из печи заготовленный, собственно, для себя пирог и поставила его перед Денискою.

— А что? — сказал он, принимаясь за закурдаевскую флягу, — ведь, я думаю, можно и посогреться малехонько?

С него пот катил градом.

— Вестимо, можно! — отвечала Авдотья, улыбаясь реторической фигуре, отпущенной Денисом, — сквозь плетенку-то и не знать будет.

Чеботарь отвинтил чарку, служившую крышкою фляге; но не рассудил пить из этой чарки, а просто приложил горлышко сосуда к губам и пошел булькать. Утолив жажду достаточным количеством водки, Денис принялся за пирог, который на ружейный выстрел вокруг себя разил луком и капустой.

Тут чеботарь обратил такую речь к Авдотье, к которой питал взаимную склонность:

— Садись-ка, Авдотьюшка! поедим вместе!

Авдотья села, положив свою руку в виде ласки на плечо Дениса.

— Ну что, как живешь-можешь, Денис Петрович? — спросила она.

— Да чего? Известное дело, как уж! — начал чеботарь, напичкав рот пирогом.

— А вот у нас,— прервала Авдотья, — все вверх дном идет. Игнатьич нынче все разъезжает: вон на мельнице поломка сделалась, так заподряжать ездил плотников... Почитай неделю дома его не было. А баба все погуливает! То к ней черепановский заводчик, то писарь вон от станового из Подзаборья. Только вот — видно не знал — ваш-то колбасник не заглядывал.

— Прямой колбасник! — заметил Дениска, — провал его возьми! Башку-то седым волосом подернуло, а туда же!

— Да ведь она кому угодно в душу влезет! Разве стыд, что ли, у нее есть?

— И не завсталось. Уж чего я...

— А что? — сказала Авдотья, сердито снимая руку с плеча Дениски, — разве она и к тебе?

— Ну нет! эфтого не было; а уж насчет там этак чего ни на есть... Там карт ей старых привези, башмаки сшей — как бы все на шармака́ норовит.

— Да ведь и к колбаснику-то из-за чего подлипает? Известно, как бы что вывинтить.

— Уж ай-ай глуп он! ай-ай глуп, я тебе скажу! Ему только баба платок с шеи сними, он и разомлел.

— Его что-то давно уж у нас не видать. Прошлое воскресенье она его ждала — не приехал; потом в середу — праздник тоже был — тоже ждала... и тут не бывал.

— И нынче вдосталь позабавятся! пузатый-то ведь не скоро из городу.

— А он ей, немец-то ваш, вот как в прошлый раз был, видно дал-таки деньжонок али чего. Как уж она его ласково провожала!

— Экая баба, подумаешь! И куда ей деньги? И без того чай кубышка-то набита битком!

— Разве ее душеньку насытишь? такая уж жаднущая уродилась. Да ведь и Игнатьич-то мошной даром не тряхнет: у него копейки не выклянчишь.

— Да ей-то куда?

— Как куда? Она вон и прифрантиться любит: вынь да выложи ей и сережки хорошие, и платок шелковой, и платье тоже чтобы позакатистее было. Вот и вино любит, чтобы было не простое — давай все мушкателю!

— Известно; не отвыкать стать! И в девках-то была человек хожалый — кому хошь пожалуй!

Заключив такою сентенцией характеристику мельничихи, Денис встал из-за стола, погуторил еще немного со своею слабостью и отправился, в чаянии сидячих уток, на реку, намереваясь, впрочем, пройтись и по всем озеркам, во множестве раскинутым невдалеке от леска.

Между тем Адам Адамыч зашел уже очень далеко, в одно из тех мест, которые посещал и прежде, но не указывал никому, опасаясь соревнования. Он вступил в мелкий кустарник, где надеялся найти вальдшнепов. Хоть и ожидал он тут охоты недурной, однако на этот раз ожидания его были превышены сторицею в действительности.

Один знакомый Адама Адамыча, страстный охотник, как-то рассказывал ему случай, необычайный в летописях охоты. Случай этот состоял в том, что помянутый знакомый нашего героя набрел будто бы однажды на такое место, где вдруг поднялся вокруг него отовсюду... что бы вы думали?.. миллион — ни больше ни меньше, как миллион вальдшнепов! Это мифическое количество пернатых окружило охотника со всех сторон и совершенно заслонило от него дневной свет. Очутившись вдруг во мраке, охотник напрасно искал своего ружья, которое обронил от изумления. Адам Адамыч, слушая этот куриозный анекдот, при всей своей доверчивости к людям вообще и к рассказчику в особенности, никак не мог признать непреложность подобного события.

Теперь же, когда почтенный наставник вступил в кустарник и вокруг него начали вспархивать со всех сторон вальдшнепы, он, верно, нашел бы хоть тень вероятия в рассказе своего знакомого, если б только мог думать о чем-нибудь в эту минуту.

Фрр... Справа взлетело три вальдшнепа. Адам Адамыч хватил из правого ствола. Ни одного! То же повторилось слева. Адам Адамыч хлопнул по птицам из другого ствола. Ничего! Стриженая девка не успела бы заплести и четверти косы, как Адам Адамыч зарядил уже оба ствола ружья, несмотря на то, что руки у него тряслись и глаза слезились от сильного внутреннего волнения. Он выпалил в кучку, поднявшуюся спереди. Промах! Мигом обернулся он назад и хватил еще раз. Тоже! Собака, бросаясь после каждого выстрела в ту сторону, куда таковой был направлен, вспугивала еще более быстрых птиц. Наш Адам Адамыч ужасно горячился. Паф! паф! раздавалось одно за другим, и двенадцать выстрелов было уже растрачено, а еще не было положено ни одной штуки дичи в пустой ягдташ.

Сердце страстного охотника колотило во всю мочь; руки опустились вместе с ружьем; он крикнул к себе Пальму и отошел несколько назад по той тропинке, по которой пробрался к драгоценному местечку.

«Надо отдохнуть и успокоиться. Горячность всему виной». Сказав эти благоразумные слова, почтенный немец опустился на землю, положил ружье рядом с собой на траву, Пальме приказал лечь и таким образом приступил к успокоению своих взволнованных чувств. Долго старался он обратить мысли свои на какой-нибудь совершенно посторонний охоте предмет и долго не мог сладить с неугомонным

сердцем, которое, казалось, хотело выпрыгнуть у него из груди.

Наконец, когда после долгих усилий все смятение Адама Адамыча исчезло и место его заступили только тихая любовь к охоте и спокойствие, он встал и отправился на старое место. Охота, точно, была в этот день на диво. Каждый шаг Адама Адамыча становился завоеванием, и ягдташ беспрестанно наполнялся жертвами его неумолимо меткой руки.

Но как ни приятна, как ни привлекательна была охота, все же должен был наступить ей конец, тем более что сердце Адама Адамыча влекло его более к мельнице, чем в противную от нее сторону. Часы нашего героя показывали уже пять, время, далеко ушедшее от обычного обеденного часа; желудок просил пищи; ноги начинали чувствовать сильную усталость... И Адам Адамыч направил стопы к мельнице, где давно поджидала его полновесная, но тем не менее красивая мельничиха.

Закурдаев, не бывший вовсе страстным охотником, еще в третьем часу возвратился к милой хозяйке, поел на порядках и, не могши преодолеть давнишней привычки всхрапнуть после трапезы, попросил мельничиху допустить его в какой-нибудь анбар или погреб для отдохновения, ибо везде в остальных местах жарко и одолевают мухи. Марья Касьяновна отперла для него какой-то прохладный чулан, Авдотья распростерла на полу перину, и Закурдаев бросился с наслаждением в объятия сна.

Когда Адам Адамыч, измученный ходьбой, покрытый потом и обремененный тяжестью настрелянной им дичи, возвратился, Марья Касьяновна сказала Авдотье, что об обеде позаботится уж она сама, как хозяйка, а она бы, Авдотья, шла куда знает. Вследствие такого приказания Авдотья сошлась опять с Дениской, который, застрелив на охоте одну только утку, и то, как после оказалось, не дикую, отдыхал на завалинке, глядя на гусыню, гнавшуюся за свиньей.

Адам Адамыч получил от хозяйки милый выговор в невнимании, какое он оказал ей в последнее время, не заглянув ни разу на мельницу. Вслед за этим выговором Марья Касьяновна поставила на стол обед и наконец уже, после долгих и умилительных извинений Адама Адамыча, села рядом с ним и приятно ему улыбнулась. При этом она сочла нелишним снять с крутых плеч своих большой платок, совершенно скрывавший их. Раньше не сделала она этого из тонкого

кокетства, с целью показать Адаму Адамычу всю глубину оскорбления, нанесенного ей невниманием мудрого мужа.

— Экая жарынь какая! — сказала Марья Касьяновна, свернув платок.

Адам Адамыч, прожевывая последний кусок жареного гуся, посмотрел влажными глазами на соблазнительницу и не удержался: губы его прикоснулись к белому и плотному плечу хозяйки.

— Ах, Марья Касьяновна!

Вот все, что мог он прошептать от полноты рта и чувств.

Чтобы сделать читателю более понятными отношения между моим почтенным героем и мельничихою, я должен сказать несколько слов в объяснение.

Марья Касьяновна, обладая в сильной степени кокетством, покорила чуть не с первого раза сердце и вместе с ним добродетель Адама Адамыча. Зная вполне всю нежность чувствований, а также и объем жалованья немца, первую из двух-трех встреч с ним, а второй из слухов, которыми, как известно, земля полнится, корыстолюбивая супруга Игнатьича начала употреблять все средства женщины, чтобы пленить моего героя. При шаткости своей в делах сердечных Адам Адамыч не мог противиться обаянию красивой мельничихи, не сумел отказать ей в нескольких подарках и тем начал эту не весьма благовидную интригу. Мельничиха была, разумеется, совершенно равнодушна ко всем достоинствам доброго немца, за исключением его карманных качеств; он же, напротив, привязывался к ней с каждым свиданием больше и больше и, при всей своей расчетливости и бережливости, не жалел ничего для ее удовольствия.

Несмотря на то, что сердце его с некоторого времени клонится уже в другую сторону, Адам Адамыч пользовался каждым удобным случаем побывать на мельнице и повидаться с соблазнительной мельничихой.

Марья Касьяновна, не пренебрегая никем и ничем, обратилась было и к экс-студенту Закурдаеву с целью завоевания его привязанности и кошелька; но Закурдаев был малый не промах и в обман не дался. Как только увидала Марья Касьяновна, что с него взятки гладки, как только услыхала, что «ты, дескать, душенька, с этим не подъезжай! это, мол, дудки, и мы видали виды!», наступательные действия ее тотчас же и прекратились.

После обеда Адам Адамыч принадлежал уже одной мельничихе, не отвращаемый от нее ни голодом, ни задними

мыслями и весь прикованный к ней силою ее неотразимых прелестей.

Если б я владел нежным стихом Тасса или чувствительною прозой Августа Лафонтена, я бы передал вам то полное любви «лей-перелей», которое началось тогда между моим героем и пышною Марьей Касьяновной. Если б у меня была кисть Тициана, я изобразил бы вам возвышенный восторг, сиявший на лице Адама Адамыча. Если б, наконец, во власти моей была речь Боккаччио, я передал бы вам всю глубину наслаждений мудрого мужа... Но — увы! я лишен всего этого: я умею рассказывать только самые пустые события ежедневной, будничной жизни; мир же чувства и души для пера моего — недоступное поле... Итак, я молчу — молчу, чтобы не обезобразить своим неискусным изображением неописанную красоту этих нескольких часов, вполне прочувствованную моим любезным героем.

За несколько минут до пробуждения Закурдаева Адам Адамыч, прикасаясь устами к горячей щеке Марьи Касьяновны, вынул из-за пазухи маленький сверточек, который утром взял из своей шкатулки.

— Вот, Марья Касьяновна, — сказал он, — возмийт!

При этих словах лицо его вспыхнуло заревом стыдливости.

— Зачем это? — отвечала мельничиха, отталкивая руку моего героя. — Ах, какие вы, Адам Адамыч! Вы уж и так мне столько дарите!

— Нет, возмийт, возмийт! — продолжал Адам Адамыч, стараясь всунуть сверточек в толстую ладонь Марьи Касьяновны.

— Не пора ли уж и самовар ставить?— сказала вдруг она, отходя от Адама Адамыча.

Сверточек остался у нее в руке.

— Ах, батюшки! — воскликнула она, подходя к маленькому, довольно тусклому зеркальцу, висевшему на стене промеж портретов Платова и храброго Казарского. — Ах, батюшки! голова-то у меня! овин овином! Причесаться взять...

Марья Касьяновна наклонилась к столу, на котором лежал гребень, и с неимоверной ловкостью и быстротою успела развернуть бумажку, данную ей Адамом Адамычем, и посмотреть, что в ней содержится. Сущность сверточка, как видно, была не совсем противна вкусу и желаниям нашей красавицы, ибо легкая улыбка раздвинула ее губы.

— Куда ви? — спросил Адам Адамыч, — еще рано для чай.

— Нет, пора! пора! Скоро и Василий Семеныч встанут. Еще, пожалуй, сердиться будут, что самовар не готов.

С этими словами хозяйка вышла из комнаты, оставив Адама Адамыча на жертву мечтам и нежным воспоминаниям.

Закурдаев не замедлил явиться после высыпки, и вся компания уселась за самовар.

Остальные события этого дня, состоявшие в питье чая, легком балагурстве, приготовлении с мельничихой пунша и обратной поездке домой, не представляют особого интереса для читателя, а потому автор и пропускает их. Но долгом считает он изъять изо всего этого следующее умозрение, выраженное Закурдаевым и прямо касающееся выгод любезного героя моей справедливой повести.

— Ах, Адам! Адам! — говорил Василий Семеныч, трясясь на войлоке своей тележонки и мало-помалу поддаваясь разымчивой силе нескольких стаканов крепкого пунша.— Ах, Адам! Адам! Право же, ты глуп, не говоря дурного слова. Ведь у тебя ни в чем границ нет... ей-богу, нет!.. Ну что ты головой-то качаешь? Положим, и сердце у тебя доброе... доброе сердце, нежное. Да что толку?.. Ведь от этого ты на все, на все падок — на всякую дрянь. Ну вот что ты связался с этой с мельничихой? Ну разбери ты сам... сделай такую милость, разбери! Ведь просто ты сам в петлю лезешь. Хорошо, не знает Игнатьич... так! Ну а как узнает? что ты тогда? Ведь ты перед ним — просто дрянь, дурного слова не говоря. Ведь он ай-ай! Ты, братец, его не знаешь. Это зверь; это просто, братец, тигр африканский! Ну что ты морщишься! ты не морщь лба-то! Ведь во мне что говорит? Во мне любовь к тебе говорит, любовь... ей-богу, любовь, дурак ты этакой!

Тут Закурдаев наклонился к своему товарищу с целью поцеловать его в щеку, но толчок телеги позволил ему только увлажить своими устами висок моего героя. Герой, впрочем, мало слышал и мало видел: сон одолевал его.

— А ты ведь мне не веришь. Ты кому веришь? Ей ты веришь... вон кому! А она просто в душу к тебе влезла. Да, правда, ты и прост; у тебя душа нежная... знаю, братец, какая нежная! И сапоги снимать не надо — ей-богу, не надо: так в сапогах и влезешь — в душу к тебе. Я тебе говорю, Адам... ты верь мне; а ей, мошеннице, не верь! Ведь

она, братец, и ко мне оборачивалась... Ну что ты головой-то качаешь?

Адам Адамыч начал уже удить носом.

— Ты не качай головой-то! Ей-богу! Да я ей просто наотрез сказал: «Убирайся!» — говорю. Ну вот ты не веришь— а я сказал. Ну и отстала... отстала — и не пристает. А к тебе пристает. Отчего к тебе пристает? Оттого, что ты дурак. Да уж так! уж ты не спорь!

Адам Адамыч и не думал спорить, потому что дремал; но экс-студент делался все говорливее и говорливее по мере того, как пунш овладевал его головой.

— Ах, Адам! Адам! — продолжал он, — да ты просто скотина, я тебе скажу... ты не сердись!.. ей-богу, скотина, свинья!.. Ну что ты в ней, братец, нашел? ну что? ну скажи! Ничего нет! ничего! Да, ничего! А мне жаль тебя, Адам, — очень, братец, жаль. А ты бесчувственный... вот как животное бывает бесчувственное. Ты не понимаешь... любви к себе не понимаешь, колбаса ты немецкая! Пристал вот, как банный лист, к Машке к этой! Ну я не спорю с тобой, не спорю: amabile opus...[1] я не спорю с тобой! Да ты скажи...говорят тебе, скажи: что в ней? что хорошего? Только и есть, что жир — больше ничего... да еще потеет. Право, больше ничего. Да что ты молчишь, Адам? что ты молчишь, пентюх ты этакой? Ведь тебе добра желают, ракалия! добра!

Закурдаев начинал уже сильно горячиться.

— Эк его розняло! — заметил сквозь зубы Дениска и потом прибавил, обращаясь к седоку: — А вы тише, сударь! В город въезжаем. Нехорошо.

— Что нехорошо? Ах ты, бестия! Что нехорошо? — крикнул Закурдаев. — Ты ко мне не лезь! слышишь, не лезь! Я не спущу... вот увидишь, не спущу... Ты смотри! ты у меня смотри!

В таком роде экс-студент продолжал говорить до тех пор, пока телега не въехала на двор желнобобовского дома.

Тут герой мой через силу добрался до своей конурки и через минуту уже храпел.

Экс-студента Дениска привел во флигель и сам уложил в постель; но Закурдаев долго не мог заснуть и все говорил так же бессвязно, обращая неизвестно к кому свою длинную речь.

---

[1] любезное создание (*лат.*).

ГЛАВА V

Если вы не откажетесь следовать за мною, читатель, я поведу вас опять тою же дорогой, по которой, как значится в только что прочитанной вами главе моего рассказа, ехали двое охотников. Но на этот раз мы не пойдем так далеко и остановимся у того довольно красивого домика о пяти окнах, который произвел между двумя желнобобовскими наставниками очень горячий разговор: с одной стороны несколько саркастический, но зато с другой совершенно серьезный и искренний. Владея преимуществом проникать всюду и быть незамеченными, мы войдем в этот домик, хотя и незнакомы еще с его хозяйкой...

Первая комната, в которую вступаем мы из прихожей, веселенькая зала, с банками ерани, жасмина, месячных розанов, желтофиолей, левкоев и резеды на всех окнах и во всех углах. Тут помещаются и довольно старые, весьма разбитые фортепианы, с кучкой рваных нот на крышке.

За залой — гостиная с голубыми стенами и голубой мебелью. Она почти всегда пуста. Из гостиной дверь в ту комнату, которая и есть постоянный храм богини-хозяйки. Едва станешь приближаться к этому святилищу, как уже чувствуешь какое-то благоговение. Подходишь к двери — и сладостные запахи пачули и ванили нежат обоняние. А там!..

Плющ оплел и окна, и стены, и потолок уютной комнаты, и посреди этой поэтической зелени на мягком малиновом кресле покоится сама хозяйка дома, добродетельная вдовица, известная между всеми дамами и девицами, а также и мужским юношеством города Забубеньева под поэтическим именем Александрины, хотя в сущности она просто-напросто Александра Фоминишна, по муже Дроздовская.

Так вот она, эта молодая вдова, покорившая сердце нашего мудрого героя! вот она! Посмотрите, как грациозно полулежит она в своем кресле, протянув ножки на маленькую скамеечку! На ней белое кисейное платье с миллионом кружевных оборок; ножки обуты в зеленые ботинки. На коленях у ней лежит разогнутая книжка, кажется, на французском языке; на рабочем столике рядом с креслом помещена ее работа — кусок канвы и несколько мотков шерсти. Но что же обращаю я внимание ваше на обстановку?.. Впрочем, обращать его на нее самоё, на прекрасную хозяйку,—

труд лишний: внимание ваше, верно, давно уже приковано к ней.

Ведь с первого взгляду она, кажется, и вовсе не хороша: нос длинен, рот немного широк, брови почти не дают почувствовать своего существования, коса тоже не очень пышна; а чем больше вглядываешься в эту женщину, тем больше она нравится. Посмотрите, что за глаза у ней! Хоть они и серые, очень серые, но зато сколько в них томительного желания, сколько страсти, сколько души, сколько ума, одним словом, сколько всякой прелести! А каковы эти четыре тирбушона, которые разделились на две пары и так мило вьются за ушами Александрины, спускаясь на ее плечи?..

Но что значит весь наружный привлекательный вид добродетельной вдовицы перед тою сокровищницей, которую она носит и таит в груди своей. Вот и теперь — она читала что-то, вероятно очень чувствительное (это ее вкус), и мало-помалу так увлеклась думами, возбужденными чтением, что белая ручка ее опустилась вместе с книгой на колени, голова поникла несколько набок, и сердце наполнилось целым роем разного нежного материалу. Не думайте, однако ж, чтобы чувствительность нежной вдовицы (это лучшее украшение женского пола) была неразборчива и бессознательна. Нет! Александрина, выданная волею родителей, наперекор ее собственной воле, за господина Дроздовского, терзалась издавна жаждою увидеть желанный идеал, созданный ее мечтами.

Так как вся жизнь нежной Александрины была жарким стремлением к этому идеалу, то автор думает поступить не совсем неуместно, представив в нескольких строчках прогрессивный ход ее тайных мечтаний и развития означенного идеала.

Когда прекрасная вдова была еще демуазелью Фищовой, когда по временам тревожилась еще длиною своего носа, думам ее беспрестанно представал юноша, полный красоты, отваги и светского блеска. Мечтая о будущем герое своего романа, демуазель Фищова слышала гармоническое бряцанье шпор и сабли, видела очами сердца лихие усы в завитках, блестящие эполеты и роскошный мундир, обоняла приятный аромат благовонных фиксатуаров и упивалась рекою самых светских речей, которые сравнивали ее с «неземною пери» и толковали о «волканах любви». В действительной жизни Александрина встретилась с одним смертным, который несколько приближался к этому идеалу. То был

гарнизонный прапорщик Казанцев. Сердце его, вероятно, поняло сердце нежной девицы, потому что он всегда танцевал с нею мазурку. Эта любовь была, впрочем, не продолжительнее одной зимы, ибо прапорщик Казанцев был переведен из Забубеньева.

После отъезда его мечты Александрины, вероятно удовлетворенные вполне этою встречею в действительности, создали новый идеал. Это был уже вдохновенный поэт, бледный, белокурый, нечесаный, худой, с чахоткой в груди и вечными песнями на устах. И пошли сниться ей соловьи и ручьи, луна и тишина, слезы и розы, и бесконечные грезы! В мире действительном такой личности Александрина не встретила.

Вскоре холодная, бесчувственная существенность спугнула ее поэтические грезы посредством некоего господина Дроздовского, человека с весом, хотя и деревянного. Горько было Александрине расставаться с теплыми мечтами о поэте; но семейные обстоятельства были сильнее и крепче ее воли, и она покорилась им. Деревянный жених был черноволос, гладко причесан, румян и полон, одним словом не походил нисколько на любимца харит. И ему-то пришлось отдавать свою руку и сердце!.. Сердце Александрина оставила, впрочем, при себе; Дроздовский получил только ее руку и повел ее к венцу. Таким образом демуазель Фищова превратилась в мадам Дроздовскую.

С переменою звания девушки на звание замужней женщины не переменилась Александрина и по-прежнему поддавалась обаянию идеалов; но теперь, постигнутая разочарованием, она хотела непременно видеть и в герое своей судьбы человека разочарованного, удрученного злобою людей, опутанного узами света, человека непонятого и с ироническим взглядом на вещи. Хотя этот идеальный образ в некоторых лишь чертах был сходен с лицом Чацкого, однако Александрина говорила, что только такой человек, как герой Грибоедова, достоин ее любви, и потому два года ее замужества посвящены были отыскиванию избранника, которому готовилось сокровище искренней ее привязанности.

Господин Дроздовский умер; прошел год траура по нем; прошел и еще год; но Александрина не изменила своему идеалу и продолжала искать его в жизни. Избранника все не являлось. И глаза и сердце вдовы утомились отыскиванием его в тесном и ограниченном кругу забубеньевской молодежи. Она стала ждать утоления своей сердечной жажде

извне, и известие о каждом приехавшем в город новом лице мужеского пола кидало ее в томительный трепет надежды.

Несмотря, однакож, на то, что никто из окружающих не подходил под мерку созданий ее пылкого воображения, молодая вдова не пренебрегала никем и, вероятно с целию изощрения своего кокетства, привязывала беспрестанно новых пленников к победоносной колеснице своих красот и талантов. В часы, свободные от занятий по части завоевания различных сердец, вдова любила беседовать с музами: играла на фортепианах и пела приятные романсы, рисовала цветы и даже иногда, в минуты грусти, изливала на бумагу стихи (большей частью семистопные) томных элегий. Вообще молодая вдова была в Забубеньеве первою артисткою во всех свободных искусствах и главною ценительницею всего изящного.

Не упуская никакого случая к украшению своего ума и сердца, вдовица, искавшая Чацкого, пожелала в одно прекрасное утро прочесть в подлиннике Шиллера. Так как знания ее в немецком языке хватало только на самый процесс чтения, то приходилось обратиться к Адаму Адамычу, единственному в городе источнику сведений по этому предмету. Добрый наставник, не умевший никому отказывать, тотчас принял приглашение Александрины и аккуратно два раза в неделю ходил к ней на урок.

Уроки были взаимны, как показало время. Получая долю знания в немецкой литературе от Адама Адамыча, вдова со своей стороны развивала понемногу чувства мудрого наставника и своими восторженными рефлексиями рассеивала мрак, существовавший в голове немца касательно понятий о любви. Немец, раскрыв рот и выпучив глаза, внимал медоточивым устам вдовы и, покоренный давно уже со стороны сердца, поддавался понемногу и умом обаятельным теориям своей прекрасной ученицы. С самых дней светлой молодости Адама Адамыча Александрина была первая встреченная им женщина, которая, по-видимому, не пренебрегала им, одиноким и бедным человеком, излагая ему историю женской любви и описывая идеальные потребности женского сердца. Адам Адамыч с каждым разом более и более увлекался любовью к чувствительной вдовице — и в ослеплении своем не видал бездны, в которую заманивала его эта сладкогласная сирена. Когда он сидел перед нею с томиком Шиллера и объяснял какое-нибудь стихотворение, сердце его сильно трепетало. В эти минуты часто закрадывалось в

его седеющую голову глубокое раскаяние и недовольство тем, что он не может отделаться от мельничихи, чтобы принадлежать без раздела одной Александрине. Одно утешение несколько смиряло его внутреннюю борьбу: это было размышление о двойственной любви человека, плод теорий его благоразумной ученицы. Он говорил себе, что крепкая привязанность, которую он чувствует к пышной Марье Касьяновне, груба и слишком материальна и не может омрачить пылких чувств любви к прекрасной вдове — чувств высоких и идеальных, как любовь Петрарки к Лауре. Эти соображения одни удерживали его на узкой стезе между двумя оконечностями великого чувства любви.

Но мы наговорили уже слишком много и потому перейдем к рассказу того, что хотели рассказывать.

Вдова сидела, задумавшись над книгою, опущенною на колени.

Маленькая собачонка на тоненьких ножках и крайне вертлявого свойства вдруг соскочила со стула, на котором лежала, и бросилась вон из будуара. В зале она остановилась и, поджав одну переднюю ножку, залилась звонким лаем. Верно, заслышала шаги по крыльцу. Чуткая собачонка!

Дверь в переднюю отворилась, и вошел наш любезный герой. Знала ли Мимишка о любви Адама Адамыча к собакам, или тонкий инстинкт дал ей знать о привязанности мудрого учителя к своей рачительной ученице, только она, Мимишка, тотчас приласкалась к немцу и немедленно стихла. Хорошенькая горничная Наташа выбежала, семеня ножками, в лакейскую, вскрикнула: «Ах! это вы, Адам Адамыч!» — и побежала в будуар своей госпожи.

Адам Адамыч, гладко-нагладко выбритый, особенно тщательно приодетый, откашлялся, вынул из заднего кармана книгу и пошел к заветной комнате, видевшей рождение его страсти.

Вдова сидела по-прежнему в грациозном, небрежном и мечтательном положении, когда Адам Адамыч вступил в ее будуар. Она очень приветливо, очень мило поклонилась ему и указала книгою на кресло, стоявшее насупротив ее кресла.

Адам Адамыч немного переминался, засмотревшись на Александрину.

— Что же вы не сядете, Адам Адамыч? — сказала она.

Адам Адамыч вежливо поклонился.

— А знаете ли, — продолжала вдова, — что мне сегодня вовсе не хочется брать урок?

— Значит, я могу... — начал немец, шаркая ножкой.

— Полноте! куда вы? Как будто я говорю для этого! Напротив, вы мне очень нужны, Адам Адамыч. Придвигайте кресла и садитесь! Да кладите вашу шапку!

— О! это нишего! — сказал немец, усаживаясь не совсем ловко на кресле.

— Признаюсь, меня занимает один план, — продолжала вдовица, — план, который так овладел мной, что мешает мне сегодня заняться с вами Шиллером.

— Какой же это план? — дерзнул спросить Адам Адамыч!

— А вот какой... Вы знаете мою страсть к литературе и ко всем искусствам!.. Мне хочется устроить маленький вечерок, где бы соединить все художественные удовольствия. Этого еще не бывало в нашем городе, и устроить такую вещь очень трудно. Надо заранее приготовиться.

Почтенный наставник слушал со вниманием, не понимая, впрочем, к чему клонится речь вдовы.

— Я хочу и вас просить об одолжении, — сказала Александрина.

— Но как могу я бит полезний? — спросил Адам Адамыч.

— Вы не откажете мне, Адам Адамыч? Я знаю, вы не откажете...

Эти слова сопровождались таким взглядом, что герой наш начал таять.

— Вы так любезны! — прибавила вдова, нежно подавая руку Адаму Адамычу.

Адам Адамыч бережно взял поданную ему ручку и глазами, вопрошающими и исполненными глубокой преданности, взглянул в лицо вдовы.

— Целуйте! — сказала она с усмешкой.

Немец прильнул губами к ручке Александрины, замирая от блаженства.

— Так вы не откажете мне? — спросила снова вдова.

— Ви может приказайт — и я зделает взе.

Адам Адамыч глубоко вздохнул, произнеся эти слова: ему они казались почти дерзостью.

— О, зачем все? я не требую так много. Просьба моя для вас такие пустяки!

Адам Адамыч вытянул шею — и ждал.

— Вот видите ли что, — продолжала Александрина,— так как на вечере, который мне хочется устроить, должно быть как можно больше разных художественных развлечений, то я прошу и вас тоже написать что-нибудь.

— Но что могу я написайт?

— Вы? с вашим умом, с вашим чувством, с вашими познаниями?

— Ви злишком харшо думает обо мне.

— Я думаю как всякой, кто умеет ценить дарования и достоинства людей.

— О! ви злишком льстит мне! — произнес немец, сильно краснея.

— Нисколько; я говорю только правду! — заметила вдова.

— Что могу я написайт для ваш вечер? — сказал Адам Адамыч, — кто будет злюшайт мене?.. Никто не знает по-немецки в ваш Gesellschaft [1].

— Да зачем же по-немецки? Вы напишете по-русски.

— О, по-русски я так злябий!

— Вы слабы? Полноте! не скромничайте! Да и писать ведь вовсе не то, что говорить: тут можно подольше подумать.

— Право, я не буду знайт это зделайт.

— Ведь немного и нужно, Адам Адамыч! Если вы напишете строк восемь, десять — и этого будет очень достаточно. Вы, разумеется, сочините что-нибудь в стихах...

— О! зтихи... Это так трудно!

— А вы говорили мне, что прежде писали стихи.

— Это ошен много лет.

— Стоит вам только припомнить прошлое. Восемь, десять строк — много ли на это нужно труда?

Адам Адамыч возразил на это, что если он и напишет, все будут смеяться.

— Кто же смеет? — возразила вдова. — Вероятно, то, что напишете вы, будет лучше сочинений всех других.

— Кто будет еще сочиняйт?

— Вот мосьё Погуров хотел прочитать свои стихи... Знаете? этот приезжий — отставной военный...

— Да.

— Я вчера просила еще Закурдаева: он такой образованный человек; жаль только, что дичится общества. Я и

---

[1] общество (*нем.*).

встретила-то его совершенно случайно. Он был так добр, что обещал преодолеть свою лень и написать что-нибудь в прозе.

— Он будет прекрасно писайт.

— Вы думаете?

— О да! он имеет много ум.

— Ну и вы, Адам Адамыч... пожалуйста! хоть несколько строк! Вот и Пьер Желнобобов (у него прекрасные способности) хотел что-то свое прочитать.

Адам Адамыч поморщился и сказал несколько неприятным тоном, что вот уже и довольно.

— Нет! нет! — приставала вдова, — и не говорите мне этого! Мне хочется во всем соблюсти симметрию. Я хочу непременно, чтобы музыка перемежалась с литературой. Мне надо непременно, чтобы вы участвовали тоже.

Почтенный наставник заметил, что вдова сама обладает большим талантом и может доставить более удовольствия, если прочтет что-нибудь из своих сочинений.

— О нет! — возразила Александрина, — мои жалкие сочинения так незначительны! и вдобавок они так мало выражают то, что хотелось мне высказать! Только друзьям моим могут они нравиться.

— Нет, взем! взем! — проговорил с увлечением Адам Адамыч.

— В вас говорит пристрастие, Адам Адамыч,— отвечала вдова. — Ну, так как же? даете вы обещание? — прибавила она, нежно глядя на немца.

Адам Адамыч просил позволить ему отказаться.

— А вы забыли, что говорили сейчас?

— Нет; но я... bei Gott! [1] мне так трудно это зделайт.

— Вам стоит только захотеть. Вот единственный труд!

— Я не могу.

— А! Если так, если вы отступаетесь от своих слов— то как хотите! ваша воля!

Прекрасная вдова нахмурила брови, надула губки и начала с досадою стучать по столику развернутою книгой.

Надо признаться, что план Александрины был чрезвычайно хитер, и незлобивая душа Адама Адамыча никак не постигала, что его хотят выставить на всеобщее посмеяние, за неимением других, более безгрешных предметов для забавы. Мнимая досада вдовы, выказанная ею с величайшим

---

[1] ради бога! (*нем.*)

искусством, произвела сильное впечатление на моего героя. Видя неприятность, причиненную им прекрасной женщине, Адам Адамыч глубоко раскаялся в своем необдуманном поступке и вознамерился поправить его сразу.

— Я зоглязний! — сказал он вдруг.

— Ну вот! давно бы так, чем отказываться от своих слов! — сказала прекрасная вдова, подавая Адаму Адамычу опять свою нежную ручку и крепко пожимая его руку.

Адам Адамыч, не спрашивая уже о позволении ни словами, ни взорами и озадаченный до мозга костей такою дружескою фамилиарностью вдовы, крепко поцеловал ее руку. Вдова улыбнулась.

— Ого! как же вы крепко! — сказала она, грозя пальцем с лукавым видом.

— Виноват! — прошептал немец.

— Ничего, ничего; прощаю! За ваше повиновение можно все простить.

— Когда же ми будет занимайться? — спросил через несколько минут Адам Адамыч, приподымаясь с кресла.

— Послезавтра. Приходите послезавтра, Адам Адамыч! Мы поговорим с вами на свободе о том, что так близко моей душе...

Вдовица закатила глаза под лоб. Адам Адамыч трепетал восторгом.

— Поэзия — музыка — любовь... — произносила как бы в забытьи прекрасная Александрина, — вот предметы, о которых всегда найдется у меня слово. Что была бы жизнь без этих кротких спутниц нашего земного существования?

— Шиллер сказаль правда... — начал было Адам Адамыч.

Вдова перебила его.

— Мы поговорим и об нем, дивном Шиллере! — сказала она, привставая с кресел. — А теперь... Вы извините меня, Адам Адамыч? не правда ли, извините?.. Мне нужно сделать несколько визитов. Условия света — оковы женщины! Грустная обязанность — покидать для бесчувственного общества искреннюю беседу с лучшими друзьями...

Снова ручка вдовы была в руках Адама Адамыча; снова уста его прикоснулись к ней.

— Так до свиданья! Вы обещаете? — спросила Александрина.

— Да! да! — сказал, откланиваясь, Адам Адамыч и вышел упоенный из дома вдовы.

Дорогой он все думал о том, что получил наконец полное доказательство благосклонности к нему вдовы, и душа его ликовала, когда он припоминал все сказанные ею милые слова...

Грустно ошибался мой чувствительный герой; но как быть! Ошибки сродны человеку. И кто из нас, читатели, не ошибался точно так же в то время, как мы любили? кто не думал видеть любовь там, где было одно холодное кокетство или только обычная светская любезность?.. Увы! обманчивы женщины!

Вечером того же дня новоприбывший в город Забубеньев господин Погуров, человек лет тридцати двух-трех, восседал в будуаре чувствительной вдовы на том самом кресле, на котором поутру помещался Адам Адамыч. Вдова страшно кокетничала с этим гостем, несмотря на то, что он нисколько не походил на отдаленную цель ее поэтических мечтаний, то есть на Чацкого.

Между прочим, хозяйка рассказала господину Погурову, как уговорила своего немца-учителя сочинить стишки к ее литературному вечеру. Господин Погуров, который считал себя великим литератором, потому что наскрибачил какие-то стишки о Кавказе, и который дал вдовице идею устроить вечер с разными артистическими наслаждениями, безбожно крутил усы, слушая рассказ Александрины, и хохотал во все горло...

Голубиная душа моего любезного героя никогда не могла бы и в романе поверить такому коварству, какое он испытывал в это время на себе; он не понимал, как может человек надеть на себя такую искусную личину, что ее не отличишь от настоящего лица... Не знал он всего этого, и в те самые минуты, когда вдова и Погуров избрали его мишенью своих насмешек и острот, он, блаженный утренним вниманием вдовы и не подозревающий никакого зла, сидел в тенистом саду господина Желнобобова под развесистой тополью, лениво курил довольно скверную, дешевую сигару и грезил свои лучшие грезы...

ГЛАВА VI

Недели через полторы после описанного мною визита Адама Адамыча вдове, часов в семь вечера, в известной уже благосклонному читателю чайной в доме господина Желнобо-

бова не менее известная ему Татьяна Васильевна, Бобелина тож, суетилась за чайным столом и сильно негодовала на горничную Глашку, которая по вертлявости и модничанью своему, вытирая чашки полотенцем, уронила одну из них на пол, причем таковая разбилась вдребезги. Чашка эта, к несчастию, была та самая, из которой пил постоянно Петенька. Негодование домоправительницы сыпалось самыми резкими и бесцеремонными выражениями на несчастную виновницу. Татьяна Васильевна раскраснелась донельзя и гневалась невыразимо.

— Экая беда какая! — сказала наконец вертлявая Глашка, выслушав длинную укорительную речь Бобелины. — Добро бы чашка-то была новая; а то еще барыня-покойница из нее никак лет десять пила!

— Да замолчишь ли ты? — крикнула Бобелина на Глашку, которая, впрочем, все молчала и уже после долгого безмолвия решилась произнести немногие приведенные нами слова. — Ах ты, халда проклятая! Чем тебе горло-то заткнуть?.. Ты ей слово, а она десять.

На деле выходило противное: на каждое слово Глашки пришлось бы по сту слов воинственной Бобелины.

Неизвестно, когда кончился бы спор между этими двумя особами по поводу разбитой чашки, если б в чайную не вошел Петенька, облеченный в высокий галстук и коричневый фрак с золотыми пуговицами и с шляпою в руках.

— О чем это у вас такое жаркое прение? — спросил он Бобелину.

— Посмотрите, Петр Максимыч, какая жалость! — сказала она, показывая Петеньке на осколки. — Эта мерзавка разбила вашу чашечку.

— Ну так что ж за беда?

— Как что ж за беда? помилуйте! Это вы только можете сказать, потому что у вас такой добрый характер. Она, тварь, готова все перебить!.. Только пялиться знает на мужчин!

Какая-то тайная злоба заставляла в этот день Бобелину ворчать на Глашку еще и прежде, чем она разбила Петенькину чашку.

— Застегни мне перчатку! — сказал Петенька, обращаясь к Глашке.

— Что вы, Петр Максимыч? зачем вы даете ей? она своими лапищами только испачкает. Позвольте, я...

— Что вам беспокоиться? Не все ли равно!

Когда Глашка застегивала перчатку, Петенька ущипнул ее. Поступок этот не укрылся от глаз Бобелины, и она с досады громко зазвенела ложками в полоскательной чашке.

— Ну что же ты стоишь?.. глаза-то уставила!.. Ступай!— сердито произнесла домоправительница, обращаясь к горничной, когда перчатка была застегнута.

Глашка удалилась.

Петенька подошел к Бобелине сзади и положил ей одну руку на плечо.

— Оставьте меня, Петр Максимыч! — сказала она самым обиженным тоном, ворочаясь на стуле.

Юноша поставил шляпу на окно.

— Что это у вас сегодня за неприступность такая? а!— спросил он, тыкая экономку пальцем под мышку.

Как ужаленная, Бобелина вскочила со стула и вскрикнула:

— Ах, боже мой! Вы, кажется, знаете, Петр Максимыч, что я щекотлива!

— Экая ревнивица! — проговорил Петенька. — Ну что вы сердитесь? Ведь я нарочно хотел побесить вас.

— Грех вам, Петр Максимыч! — сказала с укоризной Бобелина, занимая снова свое место, — знавши мою к вам любовь...

— Ну ладно, ладно! будет! помиримся! Налейте-ка лучше мне чаю! Я вам говорю, только немножко побесить вас хотел.

Петенька сел к столу. Прошло несколько минут молчания.

— Вот вы бы лучше побесили Адама Адамыча! — сказала Татьяна Васильевна, наливая чай. — Вы его давно уж не затрогивали; а на него, право, любо-дорого посмотреть, как он сердится.

— Ах, вот в самом деле прекрасная мысль! Постойте, он придет!

— Пожалуста, хорошенько побесите его, Петр Максимыч! Я ужасно это люблю посмотреть. Ведь вам еще рано к Юзгиным?

— Рано еще. Жаль только, что Василья Семеныча нет.

— За Васильем Семенычем послать можно.

— И посылать нечего: я здесь налицо! — сказал Закурдаев, входя,— и даже, как видите, в полном облачении!

Он был во фраке и в пуху.

— Куда это вы собрались? — спросил Петенька.

— К предмету общей нашей страсти, Александре Фоминишне.

— Как это вы вздумали?

— Сидел, сидел, или, лучше сказать, лежал, лежал — да и вздумал. У меня притом и дельце до нее есть.

— Какое? не секрет?

— Нимало. Дернула меня нелегкая обещать ей сочинить что-нибудь для ее глупейшего литературного вечера, так хочу спросить: на скольких листах сочинить? Коли много захочет, так ничего не сочиню.

— Да ведь вечер завтра. Когда же вы успеете?

— Чего тут успевать! Сел да и написал — сегодня же вечером. А вы, верно, тоже какое-нибудь посланьице принесете?

— Как же... Да вот еще петь буду дуэт с Лизой Юзгиной, так сейчас иду спеваться.

— Ах, да! Зачем же вы послать за мной хотели?

— А вот хочется нам, Василий Семеныч,— вмешалась Бобелина, — посердить Адама Адамыча.

— Дело! Давно пора: он и то что-то больно пришипился.

— Это, я вам скажу, подозрительно, Василий Семеныч! — продолжала Бобелина. — Когда он этак присмиреет — значит, скоро закурит. Уж я заметила это.

— А я так объясню вам дело это совсем иначе. Эта глупая немецкая физиономия врезалась и телом и душой... в кого бы вы думали?

— В мельничиху, что ли? — спросила Татьяна Васильевна с лукавой улыбкой.

— Нет, это само собою!.. Я говорю про Александру Фоминишну. Вот избранница его сердца!

— Не может быть! — воскликнул Петенька. — Да ведь она над ним смеется!

— Это ничего; он все-таки влюблен в нее по уши. Попробуйте только заговорить о ней с ним — увидите!

— Начните вы, Петр Максимыч! — произнесла экономка. — Вы его рассердите больше, чем Василий Семеныч...

— Тсс... идет! — прервал Закурдаев, ибо в коридоре послышались шаги.

Адам Адамыч, точно, не замедлил вступить в чайную и одним почерком головы засвидетельствовать почтение свое всем присутствующим. Лицо его было совершенно лишено движения; казалось, глубокая дума лежала гнетом на его

высоком челе. Молча присел он к столу, как бы продолжая размышлять о чем-то весьма важном.

Собеседники перемигнулись.

— Что это вы такие невеселые, Адам Адамыч? — спросила Бобелина.

Адам Адамыч поднял голову, но и не собирался отвечать.

— «Что ты замолк и сидишь одиноко?» — крикнул нараспев Закурдаев, ударив Адама Адамыча ладонью по ляшке — и так сильно, что медная заслонка печи затрепетала при этом ударе.

— Ах, как ви испугаль мене! — воскликнул немец, вздрогнув и побледнев.

— «Дума лежит на угрюмом челе!» — продолжал Закурдаев. — Дума, глубокая дума! О чем это, Адам Адамыч?

Адам Адамыч не ответил и опять погрузился в прежнее забытье.

Закурдаев толкнул локтем Петеньку.

— Как бы папаша не пришел! — сказал Петенька с видом опасения.

— У папеньки гость какой-то, — сказала Бобелина,— они приказали чай туда подать — в кабинет.

— Александрина велела вам кланяться, — сказал вдруг Петенька, обращаясь к Адаму Адамычу.

Наставник опять вздрогнул; но внимательно посмотрел на Петеньку и стал вслушиваться в его слова.

— Очень, очень велела вам кланяться, — продолжал Петенька, — и еще просила передать вам, чтобы вы не забыли своего обещания.

Юноша коварно улыбнулся. Вдова вовсе не просила его передать что-либо Адаму Адамычу.

— Что находийт ви змешное? — спросил с видимою досадой наставник.

— Ничего. Это я так, постороннее вспомнил.

— Нет, постойте! постойте! — вскричал Закурдаев,— не о постороннем речь. Дело тут в обещании! да! Еще другом мне считается, другом... а ни гу-гу!.. вон уж у вас куда пошло, Адам Адамыч! а!

— Я не знай... что вам? что ви хочет? — пробормотал сконфуженный немец.

— Вот оно как! — продолжал Закурдаев, — это не по-нашему. Тут уж дело идет на обещания! Вон оно как!

Адам Адамыч только двигался с беспокойством на стуле.

— И другу-то, другу-то... ведь другом меня величает... мне-то ни полсловечка! а! Как вам это кажется?

— В амурных делах всегда скрытничают, — заметила Бобелина самым ироническим тоном.

Адам Адамыч бросил на нее такой презрительный взгляд, какого, я думаю, не случалось еще ему употреблять во всю свою долгую жизнь.

— Ну что вы на меня этак смотрите? — продолжала Бобелина, нимало не стесняясь презрением великого мужа.— Уж нечего! Что? видно, досадно, что узнали тайну?

— Я не имею никакой тайна.

— А отчего же сконфузились? а! отчего сконфузились?

— Я — нет...

— Чего нет! Посмотрите, Василий Семеныч! посмотрите, Петр Максимыч! мак маком.

Бобелина принялась громко смеяться.

— Покраснел! покраснел! — восклицал с хохотом Закурдаев.

— Где? — сказал Адам Адамыч, прикладывая руку к щеке, которая была горяча, как самовар, стоявший на столе.

— Покраснел! покраснел! — повторял Петенька, подпрыгивая на своем стуле и ударяя в ладоши.

— Вот она, любовь-то! — сказала Бобелина.

Закурдаев захлопал ладонью по своему левому боку и восторженно произнес:

— Кипяток, канальство!.. Да, кипяток! ключом бьет!

Адам Адамыч сидел ни жив ни мертв и чувствовал, как лицо его разгорается все больше и больше. Насилу собрал он остаток сил и смог проговорить, не глядя, впрочем, на присутствующих:

— Я обещаль бит там завтра, на вечер.

— Ну, нет! уж это, с позволения сказать, дудки, почтеннейший Адам Адамыч! — заметил Закурдаев. — Кому бы другому говорили, а не мне! Ведь я вас знаю, насквозь вас проник. Да!.. Да и сказалось ретивое—недаром вспыхнул.

— Уж если, когда помянешь про какую особу да человек разгорится этак, как вот Адам Адамыч,— присовокупила Бобелина, — так уж это верный знак, что особа эта предмет того человека.

— А что, Адам Адамыч? — спросил Петенька, садясь около своего почтенного наставника, — кто говорил, что того не следует делать, этого не следует читать? А сами какой пример подаете?

Адам Адамыч чувствовал, что ему несдобровать, и сидел неподвижно, как между двумя огнями, между Петенькой и Закурдаевым.

— Вот он где, Фоблаз-то! — воскликнул Закурдаев, чуть не тыча указательным пальцем в нос чувствительного немца.

— А еще мне запрещал переводить! — сказал Петенька.

— Um Gottes willen![1] озтавте мене zufrieden! — пролепетал немец, торопясь допить стакан чаю, чтобы улизнуть поскорее от этой пытки; но чай был очень горяч, и Адам Адамыч едва мог пропустить в горло два глотка.

— Что вы жжетесь, Адам Адамыч? — сказала экономка, вся сияя от удовольствия. — Дайте простыть чаю!

— Ведь он отчего вам не велел переводить этой книги? — обратился экс-студент к Петеньке. — Ведь я его знаю... это хитрец первой степени, даром что немец!.. Там его любовные интриги описаны! да! Ну, не правда, что ли? — прибавил Закурдаев, трепля по плечу Адама Адамыча, — а!

— А! так вот вы каковы! Хороши же вы! — кричал с другой стороны Петенька.

— Боже мой! — воскликнул Адам Адамыч в совершенном отчаянии. — Ради бога! скажит, что я... за что ви хочет так мене мучит?

— Ах! какие вы смешные, Адам Адамыч! С вами говорят смехом, а вы сердитесь!

— Я не говору з вам, — отвечал Адам Адамыч на замечание Бобелины, с досадою ставя недопитый стакан на стол и подымаясь с места. — Я не знай, что это... Это — Hölle! ад! Боже мой!

— Куда же вы? — спросил Закурдаев, — да посидите! полноте! Поговоримте по душе.

— Мы оставим этот разговор, — вмешался Петенька, — мы потолкуем о чем-нибудь философском.

Петенька знал, что этими словами уколет мудрого наставника еще более: философский разговор, на который намекнул Петенька, состоял обыкновенно в том, что юноша принимался нести самую дикую и безалаберную чушь о разных важных и серьезных предметах единственно с намерением рассердить Адама Адамыча. От этой глупейшей фило-

---

[1] Ради бога! (*нем.*)

софии любящий немец впадал в совершенное бешенство отчаяния.

Быстро схватился Адам Адамыч со стула, взялся обеими руками за голову и вышел стремглав из комнаты, повторяя: «O, Gott! Gott!.. Das ist 'пе мученье!»[1]

Дружный хохот трех уст проводил его за дверь.

Ероша себе волосы, шел Адам Адамыч по коридору, и, когда четверо младших питомцев его, поспешавших пить чай, чуть не сбили его с ног, а Ганюшка по врожденной бойкости своего характера принялся было что-то объяснять ему, Адам Адамыч крикнул им: «Weg!» [2] — таким страшным голосом, что у детей опустились руки и они медленным и робким шагом продолжали путь свой к чайной.

В зале Адам Адамыч наткнулся на какого-то толстого господина, который выходил из кабинета господина Желнобобова.

Когда маститый старец увидел наставника своих чад в таком свирепом и страшном виде, то выдвинул половину своего тела из дверей кабинета и сказал:

— Что ты? что ты, Адамыч? а!.. А ну, постой! постой! зайди-ка сюда!

Адам Адамыч повиновался.

— Что с тобой? что с тобой? а!

Смущенный наставник вошел в кабинет господина Желнобобова. Господин Желнобобов сел в кресла у письменного стола и пригласил сесть и Адама Адамыча, чтобы быть гостем; потом спросил его о причине такого растерянного его вида и крайнего смущения.

Прерывающимся и робким голосом стал говорить Адам Адамыч, объясняя старику нанесенные себе оскорбления; но по свойственной ему манере начал он не прямо с дела, а предварительно завел речь о том, как надо держать в руках детей с мягких лет младенчества, до чего доводит баловство, как портят отрока ранние удовольствия светской жизни, как надо удалять всякий соблазн от непрояснившихся еще очей юноши, и в особенности напирал на вред, который производят книги, даваемые для чтения молодым людям без всякого разбора; потом произнес он целую длинную тираду о том, какие пагубные следствия производит невзнузданность воображения, свобода воли, вольнодумство и

---

[1] О боже! боже! Какое мученье! (*нем.*)

[2] Вон! (*нем.*)

прочее, и наконец посоветовал старцу Желнобобову прочесть сочинение господина Энгеля, автора «Светского философа», под заглавием «Антипаросская пещера», не вникнув в то обстоятельство, что Максим Петрович никогда не занимался таким вздором, как чтение каких бы то ни было книг.

Долго слушал Адама Адамыча господин Желнобобов, беспрестанно подъезжая нижнею губой к носу и произнося: «А ну! ну!» Но самого дела он не мог дождаться, почему и прекратил совершенно внезапно длинную рацею наставника тем, что вдруг встал, подставил свой нос к самым устам Адама Адамыча и произнес:

— А ну, дохни-ка на меня! дохни! Выпил сегодня? а! выпил? А ну, дохни!

Адам Адамыч, окончательно уничтоженный этою выходкой, стремительно выбежал из комнаты и бросился к себе на антресоли.

Он не обратил ни малейшего внимания ни на Пальму, которая сунулась было к нему поласкаться, ни на трубку, которая глядела с гвоздика так пригласительно, не почистил даже зубов нюхательным табаком и в изнеможении и горе упал на свою узкую кроватенку. Он прижался горящим лицом к жесткой подушке, чтобы заглушить отчаянные рыдания. Слезы градом текли из глаз его; бедная голова была совсем растеряна.

После ухода Адама Адамыча из кабинета Максим Петрович приплелся в чайную и с глухим и хриплым хохотом говорил экономке:

— А каков наш немчура-то?.. каков? а!.. Да что с ним, Татьяна Васильевна!.. запил он, что ли? а! закурил, что ли?

— Нет! нет! — проговорила Бобелина, пуская такую трель смеха, как будто на пол высыпали целый кулек орехов.

— Да что же? а! что же он?.. Занес такую ахинею... выплетал, выплетал кружева... А ну, нет конца! нет конца! Я уж встал; думаю: что он? что он? «А ну, дохни! — говорю ему,— дохни! Коль выпил, так выпил... А ну, бог тебя простит!»

Максиму Петровичу тотчас же объяснили самым комическим образом причину расстройства наставника, и он, похохотав вдоволь, пошел погулять, а через пять минут и совсем забыл о случае с немцем точно так же, как и все виновники его огорчения.

А между тем Адам Адамыч долго лежал вниз лицом на кровати и горько плакал. Он не потрудился даже скинуть

с себя зеленый сюртучок и развязать широкий галстук. Пальма, несмотря на свою природную тупость, слыша раздирающие душу всхлипыванья своего хозяина, подошла к постели и в качестве утешительницы принялась лизать ухо Адама Адамыча.

Мало-помалу добрый немец начал успокоиваться, и, когда наступили сумерки, благодатный сон сомкнул его раскрасневшиеся веки, и бог сновидений, одаренный, как известно, великою жалостию к несчастным, немедленно перенес Адама Адамыча в какой-то чудный, обетованный край и там окружил его всем, что любит его сердце. Адам Адамыч блаженствовал, — правда, это было во сне; но зато блаженство это было полно и без всякой примеси даже неприятных воспоминаний. Недолго, впрочем, блаженствовал наш герой, никак не больше часа...

Чуткое ухо Адама Адамыча вдруг заслышало легкий скрип двери. Он приподнял голову. В комнате было уже довольно темно; синяя ночь смотрела в открытое окно. Немец не мог ничего разглядеть спросонков и спросил:

— Кто здесь?

— Это я,— произнес голос Дениски, который и вошел в дверь.

Адам Адамыч встал с кровати, вздул огня и тогда уже спросил у пришедшего, что ему понадобилось у него ночью.

— Да какая же еще ночь, сударь?—спросил чеботарь.— Вам это со сна только показалось. Всего девять часов.

— Да? — спросил удивленный немец и поспешил посмотреть на свои часы, которые и убедили его в совершенной справедливости слов чеботаря.

— А я по секрету-с,— таинственно произнес Дениска.

— Что такой?

У Адама Адамыча кровь прихлынула к голове. События этого вечера сделали его чрезвычайно раздражительным.

— А вот дело какое! — объяснил Дениска,— сейчас сюда Парфенка забегал мельников. Он с самим мельником в город приехал.

— Ну? — нетерпеливо спросил Адам Адамыч.

— Ну, так вот просил он сказать вам, что Касьяновна вас завтра к себе ждет; Игнатьич, слышь, до вечера в городе пробудет... И наказывала, что оченно, дескать, нужно.

— Харшо,— проговорил сконфуженный Адам Адамыч.— Иди!

— А у меня до вас просьбица, Адам Адамыч; только не прогневайтесь!

— Что такой?

— Да вот два гривенничка бы надо-с. Макарыч все с меня долг спрашивает.

— Вот, возми! Больше тебе нишего не надо?

— Ничего-с; покорно вас благодарю, Адам Адамыч. А что же, как вы? поедете, что ли?

— Это не казается до тебе.

— Слушаю-с.

— Иди!

— Иду-с.

Когда чеботарь удалился, Адам Адамыч начал расхаживать по комнате, думая, как ему поступить лучше... Завтра назначена литературная вечеринка у вдовы, и он должен быть заранее дома, чтобы прифрантиться «по порадку», как он обыкновенно выражался; когда же успеть ему ехать завтра на мельницу? Разве нейти ко вдове? Но это невозможно: он обещал, а обещания свои Адам Адамыч считал святыми. К тому же слишком неделя, которая прошла со времени его утреннего визита Александрине, была посвящена почти вся на отделку небольшого антологического и сентиментального стихотворения, которым мудрый немец рассчитывал окончательно покорить сердце вдовствующей красавицы. Как ни смущали его в настоящую минуту невольно вкравшиеся в память его оскорбления со стороны его недостойного ученика Петеньки и коварного друга Закурдаева, однако решение его было твердо, и он нимало не колебался в намерении — непременно идти на литературный вечер и доказать своим стихотворением всю преданность вдове и все свои лингвистические познания. Зато очень шатки были его намерения касательно поездки на мельницу, и он справедливо рассуждал, что завтра ему никак не суметь добыть себе лошадку без помощи лихого Закурдаева; а с Закурдаевым сойтись после его злостных выходок не находилось ни малейшей возможности. Идти же завтра пешком туда и назад — сильно устанешь, потому что не успеешь там и отдохнуть. А между тем Адама Адамыча все-таки сильно тянуло к Марье Касьяновне, и потому, поразмыслив немного, он решился на следующее: немедленно снарядиться в путь и отправиться по вечерней прохладе на мельницу, отдохнуть там до утра, пострелять часок-другой и возвратиться

домой часам к двенадцати утра, чтобы хорошенько собраться с духом к страшному вечеру.

Нимало не медля, Адам Адамыч привел в исполнение свое намерение... Он облачился в свой охотничий сюртук, надел охотничьи сапоги, зарядил ружье, одним словом, собрался как следует и сопровождаемый Пальмою отправился из дому.

При виде его, снаряженного таким образом, Макарыч, игравший в лакейской с чеботарем Денискою в фильку и в это время показывавший ему из-под коленки кукиш, не преминул отпустить какое-то острое словцо насчет любовных шашней и седых волос. Хотя Адам Адамыч и не понял вполне чересчур русского выражения Макарыча, однако догадался, что дело идет об нем, и потому прошел как можно быстрее мимо игроков и вышел на улицу.

Ночь была довольно темна, потому что месяц еще не всходил; но Адам Адамыч, зная хорошо топографию города, шел верными шагами по тем самым местам, по которым обыкновенно ездили на мельницу.

Кривой дом исправника Юзгина был освещен, окна растворены, и до слуха почтенного наставника доносилось пение двух голосов при слабом аккомпанементе фортепиан. В одном голосе узнал он соловьиный напев Лизаньки, всегда неживший его душу, в другом ненавистный и фальшивый тенор безнравственного и избалованного Петеньки. Оба голоса орали не на живот, а на смерть какой-то очень хороший дуэт.

«Мимо! скорее мимо!» — произнес наш герой, учащая шаги, и вся горечь, налитая Петенькою в фиал его сердца, вскипела в нем.

Чуть не бегом пустился Адам Адамыч под гору.

В жилище чувствительной вдовицы все окна тоже горели и почти все были отворены. Ветерок взвевал белые занавески, и из-за них виднелись: фигуры приезжего Погурова, крутящего с безбожным постоянством черные усы, и растрепанный Закурдаев. Яркий хохот вдовы раздавался почти по всей улице в то время, как Закурдаев держал какую-то речь густым басом. Адаму Адамычу показалось, будто Закурдаев произносит его имя, и он еще скорее побежал далее, с отчаянием повторяя про себя: «Мимо! скорее мимо!»

Без дальнейших приключений, но с глубокою, невыносимою тоской вышел он в поле. Луна подымалась из-за

горизонта, как будто окруженная блестящим туманом; звезды молчаливо и весело сияли на синей, гладкой ткани неба. Свежий ветерок пахнул в лицо Адаму Адамычу. Забубеньев со всеми своими каверзами и гадостями, окружавшими светлую любовь немца, остался у него за спиной, а перед ним лежали только поля без конца, золотимые легким светом восходящего месяца. Как рама картины, чернел только край небосклона далекою рощей.

«Что может быть краше и дружелюбнее летней, свежей и светлой ночи?» — подумал Адам Адамыч.

И скоро та сила, которая так властна над человеком, сила природы, охватила все существо Адама Адамыча. Тишина полей, казалось, переходила мало-помалу в его чувства; кроткое мерцание месяца лилось утоляющим бальзамом в его страждущее сердце; каждое дуновение благовонного ветерка смахивало с головы его какую-нибудь черную и неприветную думу. Где найти такого друга, как природа? Кто сумеет быть столько постоянным в своей красоте и не смутить насмешкой или злобой любующееся им око? Какая женщина охватит вас такими теплыми и любящими объятиями и не устанет держать вас в них столько, сколько вы хотите?

— Боже мой! какая прекрасная ночь! Как хорошо и легко стало мне! — вскричал Адам Адамыч, сходя с дороги и бросаясь на свежую росистую мураву.

ГЛАВА VII

Вот собака воет невдалеке; вот огонек мелькнул в глаза; вот шумит, словно толпа бегущего народу, вода, падающая из-под колес мельницы. Вот и серебро месяца рассыпалось по знакомым кровлям, и светлой лентой синеет река, опушенная дрожащею зеленью.

Вот собака притихла; вот залаяла хриплым горлом — громче и громче, злее и злее.

Рука Адама Адамыча стучит в калитку; скрипит дверь мельниковой избы; черная фигура заслоняет в окне свет.

— Кто там? — раздается голос Авдотьи, заглушаемый лаем пса, который завязил уже рыло в подворотню.

— Я, — отвечает ночной путник.

— Да кто ты? — спрашивает Авдотья.

— Я, — отвечает снова немец.

— Много вашего брата... Я да я! Всякого лешего знать! Говори имя, что ли! — кричит наперсница мельничихи.

— Адам... — начинает было наш герой.

— Да что ты дашь? — прерывает Авдотья, торопясь отделаться от докучного гостя. — На что твою подачку-то? Что, у нас постоялый двор, что ли?

— Я Адам Адамыч, — произносит, наконец, немец.

— Ах, батюшки! да что же вы сейчас не сказали?— говорит, переменяя тон, Авдотья. — А я, дура этакая, и не узнала по голосу-то!

Засов отодвигается, щеколда гремит, и калитка представляет свободный вход пришельцу. Собака угомоняется.

— Кто там, Авдотьюшка? — кричит с крыльца нежный голос Касьяновны, картинно озаренной светом из-за полуотворенной двери.

— Жданный гость! — отвечает Авдотья. — Что есть в печи, все на стол мечи!

Прекрасная мельничиха выходит навстречу своего почтенного друга, и очи его с негой покоятся на облитых луною, белых, полных, пышных, лоснящихся плечах соблазнительницы, ибо на ней, на соблазнительнице, не накинуто даже кофты поверх юбки и сорочки.

Когда Адам Адамыч вошел в комнату, приятный запах ужина начал нежить его обоняние.

— Садитесь! садитесь, Адам Адамыч! — говорила мельничиха.

— Я думаль, ви уж спит, — сказал гость.

— Какое? Мы вот все с этим проклажаемся! — сказала Касьяновна, указывая на стол, — к завтрему готовим.

На столе лежал кусок сырого мяса с воткнутым в него ножом, кусок сала, кусок теста, кучка муки и скалка. Все это служило материалом, из которого хозяйка дома вместе со своею приспешницей Авдотьей приготовляла достойное олимпийской трапезы кушанье, называемое пельменями, которых и было уже наделано больше полусотни в широкой деревянной чашке.

Обе дамы принялись за оставленную на несколько минут работу. Адам Адамыч снял охотничье бремя со своих плеч и, присутствуя уже не в первый раз при процессе заготовления пельменей, начал формировать пальцами шарики из теста и раскатывать их скалкою, а потом подкладывать поближе к хозяйке для должного начинения говядиной и салом.

Бойкий разговор со стороны двух собеседниц почтенного желнобобовского наставника и отрывистые, хотя не лишенные приятности ответы и замечания его самого, сокращали однообразное занятие. Адам Адамыч не преминул, между прочим, выставить на дружное порицание обеих дам скверное и двусмысленное поведение коварного Закурдаева и молокососа Петеньки.

К одиннадцати часам работа была кончена, и за нею последовал ужин, вполне удовлетворивший моего героя. Именно, что только было в печи, все явилось на стол: и густые, подбитые сметаной, дымящиеся щи, и жирный гусь, и каша с творогом.

Ужин кончился; рты сотрапезников были отерты, и чашка квасу утолила жажду всех.

— Спокойной ночи! приятного сна! — говорит Авдотья, выходя из комнаты.

Сальный огарок подобрался к бумаге, обвертывавшей его конец; сало зашипело, светильня согнулась, бумага вспыхнула.

Фф... Уста красавицы погасили широкое пламя. Мрак и ночь воцарились в приютной горенке.

Собака опять завыла, глядя на полный месяц, который безмятежно катится по звездному небу; вода журчит, свергаясь через загородь плотины, — и в хате мельника все заснули, и спят крепко и сладко...

Но не спит судьба, бодрствующая над гибелью людей, и не спит мельник Игнатьич в конурке своего доброго приятеля, мещанина Прохорова, торгующего разным мелким товаром, ветчиной и ржавчиной, битой посудой и козьим пухом. Игнатьичу предстоит славное дельце на завтрашнее утро, и заранее улыбается во мраке его полное лицо, и мысли самого усладительного свойства озаряют его мозг.

По приезде в город тучный мельник успел уже заготовить одно приятное для своего благосостояния обстоятельство. Мещанин Прохоров по дружбе своей доставил ему хорошего покупщика, который объявил Игнатьичу, что купит у него всю заготовленную им муку по выгодной цене, если только она будет найдена им в желанном качестве.

«Завтра, завтра... — думает мельник, ворочаясь на постели, — в девять часов приедет и посмотрит... А уж насчет доброты... Это уж что и говорить! И сумнительства никакого нет. Жернова новые; трут, голубчики, молодецки... Тоньше пыли мучица... Не то что как вон в Подзаборье —

перец, а не мука. Одно плоховато... Угощеньем как бы не подгадить! Известно, человек не простой, не наш брат мужлан: купец третьей гильдии. Кизлярка есть... Шпунтик можно будет сварганить... Закуска тоже хорошая: белая рыбица провесная, икра паисная... Вот бы к обеду-то... того... Щи-то будут, а вот гуся-то малесовато осталось... самим, поди, невдогад! Эхма! плоходыровато!.. Надо самому пораньше...»

Хотя соображения эти и очень занимали духовный организм Игнатьича, однако тучная физика его была сильнее и превозмогла. Он заснул. Впрочем, сон его был не крепок, и на заре, только что забрезжилось раннее летнее утро, мельник встал со своего ложа, надел длинный кафтан и вышел из комнаты.

В сенях принялся он расталкивать рыжего мельчишку, храпевшего во всю ивановскую.

— Парфенка! а Парфенка! Вставай, шельмец! Ладь поди телегу! да напой буланку! Да вставай, дурень! Ну что ты зенки-то трешь? Вставай! Ишь ты! Поворотился... Говорят тебе добром, вставай.

Говоря добром, Игнатьич ткнул Парфенку ногой под бок. Такое дружелюбное внушение заставило мальчишку вскочить.

Через несколько минут все было готово к отъезду, и Игнатьич зашел только проститься со своим хозяином, который тоже уж не спал. Сообщив Прохорову свой план относительно возврата домой для приготовления дорогому гостю приличного угощения и передав ему просьбу — сказать купцу, что его, мол, купца, ждут на мельницу к девяти часам, Игнатьич сел в свою таратайку и отправился на мельницу.

Чувства его были так преисполнены радостью от ожидаемой выгодной сделки, что он не дал даже ни одного подзатыльника Парфенке, который на семи верстах к мельнице принимался десять раз дремать и то опрокидывался в телегу, то тыкался носом вперед, причем раз чуть не клюнул буланку в зад.

Когда телега остановилась у ворот мельникова обиталища и Парфенка припасал уже кулаки, чтобы ударить тревогу в ворота, Игнатьич заказал ему шуметь, а спустился с телеги, поставил мальчишку себе на плечо и велел ему лезть через забор, чтобы не будоражить весь дом в такую раннюю пору.

Ворота отворились, и хозяин дома вступил на двор. Тут первым предметом, попавшимся ему на глаза, была звонкобокая Пальма, лежавшая у крыльца. Предмет этот был так знаком мельнику, что не удостоился даже его внимания.

Игнатьич вошел в сени и взялся за ручку двери, ведущей в горницу; но тотчас же подумал, что отворить дверь — попытка тщетная, ибо она, конечно, на крючке. Благоразумно рассуждая, что гораздо лучше разбудить сначала Авдотью в чулане, он уже хотел выпустить скобу из кулака; но дверь, поддаваясь самому легкому давлению руки, заскрипела на несмазанных петлях и стала отворяться.

За занавесками кровати, стоявшей в углу горницы, слышалось легкое храпение, но при стуке, произведенном затворяемою дверью, мельничиха проснулась и сонным голосом спросила из-за полога:

— Это ты, Авдотья?

— Нет, это я, Касьяновна! — сказал мельник.

Марья Касьяновна с широкими от испуга и изумления глазами высунулась из-за полога.

В ту же самую минуту глаза мельника наткнулись на охотничий кафтанчик Адама Адамыча, висевший на спинке белого стула, и на другие принадлежности его наряда, помещавшиеся на плетенке того же стула... Страшная мысль мелькнула у него в голове, и он голосом, получившим интонацию большого набатного колокола, прорычал такие слова:

— Ну что глаза-то выпучила? чего испужалась?

— Я ничего не испужалась...— начала мельничиха, соединяя одною рукой распахивавшиеся полотнища полога.— Чего мне пужаться?

— Чего те пужаться? — с глухим хохотом проговорил Игнатьич,— а чьи сапоги?

— Чьи? Адама Адамыча...

Любезный герой наш пробудился в ужасе при громком произнесении мельничихой его имени.

— А камзол чей? — продолжал допрашивать мельник голосом, переходившим все в более и более густые тоны,— а штаны чьи?

— Его же...— смиренно отвечала Марья Касьяновна, начинавшая уже трепетать от звука мужниных слов.

— А сам где? — спросил, наконец, Игнатьич, держась руками за бока.

— Сам он...— отвечала совершенно опешившая супруга,— сам он...

Тут последовала трагическая сцена.

— Батюшка, не бей! — кричала мельничиха,— голубчик, не бей!

. . . .

Адам Адамыч собрался бежать; мельник был совершенно погружен в пучину своего бешенства и в громе собственных речей не расслышал не совсем тихих движений Адама Адамыча. Но когда сей последний, облеченный уже в сапоги, выскользнул вдруг из-за полога и хотел было захватить по дороге все свое платье со стула, а потом дать тягу в дверь, Игнатьич остановил его следующим перуном своей громоносной речи, оставляя волосы несчастной жены:

— Куда, колбасник?.. Улизнуть хочешь? а! Погоди! Ты у меня не уйдешь! Я тебя, старого черта, проучу! Парфенка! а Парфенка!

Парфенка, впрочем, не явился.

— Постой! Погоди! Ты что? Ведь ты, колбаса, такой же мужик, как и я. Что ты, дворянин, что ли, подлые твои буркалы? а! Треклятый ты этакой черт! Да я в тебе ребра живого не оставлю!

Мера терпения Адама Адамыча, наконец, переполнилась, когда жилистая и крепкая как сталь ручища Игнатьича готовилась, по-видимому, заушить его или по крайней мере ухватить за волосы. Как только заметил он такой превосходящий границы всякого приличия порыв мельника, тотчас же с удивительною ловкостью наклонился и вырвался из рук истязателя. Делом одной минуты было для него схватить со стула всю свою одежду и броситься к выходу. Но мельник не выпустил его без всякого вреда из своей хаты: пяткой правой ноги дал он ему такого толчка в спину, что Адам Адамыч ударился головой о косяк двери и раскроил себе ухо.

Ошеломленный, поруганный и взбешенный, не произнося ни полслова, выбежал он в сени. Мельник и тут не оставил его без преследования и, схватив что-то длинное и твердое в углу сеней, не то метлу, не то кочергу, так хватил им в тыл злополучного немца, что тот слетел с крыльца, как говорится, шеметом.

Тощая Пальма, в которой никто никогда не подозревал способности лаять или кусаться, при виде горестного поражения своего хозяина и злодейственных поступков

мельника бросилась на Игнатьича со свирепым лаем и принялась рвать ему широкие порты и кусать его за тучные ляшки. Как ни бил ее мельник тем орудием, которым окончательно поразил Адама Адамыча, Пальма не унималась — и отстала только тогда, когда господин ее выбрался, прихрамывая, за ворота. Мельник принялся было травить ее своею дворнягой; но дворняга не двинулась с места в погоню за Пальмой, хотя и лаяла, вздирая морду кверху.

Нет никакого сомнения, что по уходе Адама Адамыча разыгралась на мельнице не одна сцена самого трагического свойства и колорита, но автор, не желая входить слишком далеко в семейные тайны, опускает здесь завесу на все мельничные происшествия и обращается прямо к главному предмету своего рассказа.

Адам Адамыч на мельничном мосту успел снарядиться как следует и исправить все не совсем приличное неглиже своего одеяния. При этом он с горестью заметил, что нет с ним пистонницы, которую он положил на столе в мельниковой горнице, и что обронил он, вероятно в сенях, одну из подтяжек.

Парфенка, повстречавшийся ему на мосту, увидав его туалет и смущение, немедленно смекнул, что дело неладно, а потому остановился, сделал какую-то весьма непристойную гримасу и потом задудил чуть не под самое ухо моего героя какую-то глупую песню на глиняной утке с двумя дырами в боку и в хвосте.

Когда же Адам Адамыч отправился далее и, чувствуя сильную боль в правой ноге, очень заметно прихрамывал, Парфенка захохотал и кричал ему вслед:

— Эхма! Коников-то пара, да и те не разом берут. Припононивай пристяжную-то, барин!

Странная вещь! как накануне, когда Адам Адамыч вышел из городу, чтобы идти к мельнице, всякое явление умиряло его душевное беспокойство и вносило утешение в его разбитое сердце, так теперь каждый предмет, попадавшийся на глаза нашему герою, производил в нем больше и больше тревоги. Мельничные колеса, казалось, подтрунивали над ним; лошадь, ковылявшая на лужайке за мостом с треногой на передних ногах, как будто укоряла его, что и он ковыляет; свинья, просунувшая глупую голову в плетень околицы, представлялась ему живым укором, как будто говоря, что вот, дескать, «и я, вислоухая, с обоими

целыми ушами, а у тебя, доброго человека, одно в кровь расшибено!»; зеленые кобылки выскакивали из зеленой же травы словно для того, чтобы показать Адаму Адамычу все преимущество своих ног перед его некорыстной парой. Даже само яркое солнце, весело горевшее на светлом небе, казалось для того только сияет, чтобы озарять своими лучами всю глубину позора злосчастного немца. Грустно, страшно грустно было ему, и неизмеримо длинна казалась ему семиверстная дорога до города. Никакое утешение и не думало заглядывать в его сердце — и неоткуда было явиться этому утешению!

Возвратился Адам Адамыч в серенькие стены своей комнатки в то самое время, как семейство господина Желнобобова занималось распиванием чая. Никак не надеялся он прийти так рано и глубоко раскаивался в своем необдуманном решении пуститься вчера в ночь на мельницу.

«Что бы идти мне сегодня! — думал он.— Ничего бы подобного не могло случиться. Как покажусь я сегодня там?..»

Под словом «там» Адам Адамыч разумел литературно-художественное собрание в доме любознательной и чувствительной вдовицы.

Наведенный этою мыслию на обсуждение настоящего своего положения, герой наш тщательно обмыл холодною водой свое раненое ухо, залепил его английским пластырем и завязал черной косынкой. Потом принялся было выправлять свою хромую ногу, но ноги не выправил, а произвел в ней еще сильнейшую боль.

Во время этой операции казачок Алешка явился звать Адама Адамыча кушать чай; но Адам Адамыч поручил сказать, что так как он ходил на тягу вальдшнепов и только что воротился очень усталый, то просит чай прислать наверх, в его комнатку.

После чая засел он перечитать и несколько поисправить стоившее ему великих трудов стихотворное произведение на русском диалекте, приготовленное к вечеру Александрины. Он нашел в нем несколько погрешностей и потому рассудил переписать его снова. Для этой цели Адам Адамыч взял чрезвычайно красивый листок почтовой бумаги светло-лилового цвета с золотым бордюром и на него перенес не раз перемаранные строки своего стихотворения.

Бесконечным казался ему настоящий день, потому что его беспрестанно тревожило ожидание вечера. Какое-то

тоскливое чувство, нечто вроде предчувствия не то горя, не то радости, волновало его душу. За что ни принимался он: читать ли книгу, курить ли трубку, мечтать ли,— посидев минут с пятнадцать, он глядел на свои часы, думая, что время подвинулось на целый час к назначенному вдовою термину; но время, как будто в пику Адаму Адамычу, шло чрезвычайно медленно.

Сам собственноручно приготовил Адам Адамыч все, что должно было дать ему торжественный вид в этот вечер: и черный фрак, давно-давно сшитый и редко надевавшийся, и брюки со штрипками, и жилет лиловый с малиновыми цветочками, украшенный стеклянными пуговками,— праздничный жилет! Сапоги свои Адам Адамыч несколько раз обдувал и подносил к окну, на солнце, посмотреть, не потускнел ли их глянец. Стихотворение, свернутое трубочкой и обвязанное розовой ленточкой, лежало на столе совсем готовое к прочтению.

Но как ни занят был герой наш ожиданиями литературно-художественного вечера и приготовлениями к нему, беспрестанно втеснялась в его голову скорбная мысль об утреннем происшествии и тяжелым камнем налегала на его темя.

Вечер наконец наступил... Пробило семь часов.

ГЛАВА VIII

Все лучшее общество Забубеньева собралось на вечер к любезной вдовице, отыскивавшей Чацкого.

Вы, может быть, не раз уже сетовали на меня, читатель, что я останавливаюсь слишком долго перед лицами, которых без ущерба для истории Адама Адамыча мог бы прейти молчанием. Сердитесь и вините меня, сколько хотите, а в настоящей главе я не могу удержаться, чтобы не представить вам избранный круг Забубеньева, собравшийся на торжество искусств к прекрасной Александрине.

Каких достойных людей не было на этом вечере! Господи боже мой! что за люди! И где же сосредоточилось такое по преимуществу отборное человечество? В маленьком городке, который гордый столичный житель честит названием глуши, захолустья и деревенщины; в тихом, скромном, буколически-приютном Забубеньеве.

Сияют зала и гостиная, озаренные кенкетами и лампами; меланхолический свет бросает на обдуманную обстановку уютного будуара подвешенный в чаще плюща китайский фонарик.

Светлый дом чувствительной вдовицы кишит гостями.

Вот они! вот достойные члены достойного забубеньевского общества!..

Вот городничий Перепелкин, длинный и тонкий, как дигиль, но зато чрезвычайно любезный с дамами, несмотря на ужасную ревность жены, крохотной черненькой дамочки с желтоватым лицом. Что за удивительный тон! что за невыразимая прелесть обхождения! Стоит только нечаянно оглянуться какой-нибудь барышне, и Перепелкин бежит уже с тарелкой варенья или со стаканом воды... так предупредителен! Несколько суровый с подчиненными и в присутствии их прямой, как верста, в женском обществе он мягок, как воск, и гибок, как угорь.

Зато супруга его, обладающая страшным количеством желчи, в женском обществе становится еще сердитее. Вместе с некоею девицей Полетаевой, своею приживалкой, тоже чрезвычайно злой, хотя и горбатой, они постоянно насмешничают надо всеми.

Эти два женских лица нужны были, вероятно, для забубеньевского общества как тень в картине, и это единственная тень его.

Посмотрим далее!

Вот господин Сафьянов, судья, человек немолодой, но стоящий молодого. Щеки пышут пурпуром здоровья, и живот играет почти главную роль в его фигуре; тем не менее он человек чрезвычайно начитанный, что с первого же разу видно из его разговора.

Вот дама, очень хорошая и бывалая дама, мадам Дергачова, вдова, сестра исправника Юзгина. Единственная слабость ее — любовь к ближнему. Нет ни одного столь незначительного происшествия в городе, которое не возбудило бы ее участия. Как-то случилось, что учитель уездного училища Митрофанов, человек совершенно ей незнакомый, разбил себе затылок во время гололедицы. Обстоятельство это, дойдя до ее сведения, так потрясло ее, что она была целый день как помешанная и, чтобы рассеяться и разделить свое соболезнование, поехала к Марфе Петровне Юзгиной, к Софье Алексеевне Перекандовской, одним словом, ко всем своим знакомым в городе. Сердце

ее так нежно, что даже радостные происшествия производят на нее такое же впечатление.

Марфа Петровна Юзгина и Софья Алексеевна Перекандовская — тоже дамы превосходные. Эстетическая разборчивость в туалете первой и образованность последней достойны всякого внимания.

Марфа Петровна, несмотря на то, что у нее дочка уж подрастает в невесты, все еще очень привлекательна и одевается с удивительным вкусом. Она выписывает и шляпы, и чепцы, и платья прямо из губернского города. Гармоническое соединение цветов постигнуто ею в тонкости: если шляпка на ней желтая, то платье всегда малиновое; если платье голубое, то мантилья непременно зеленая.

Софья Алексеевна столько же отличается своею образованностью и начитанностью, сколько Юзгина вкусом. Поэзия русская знакома ей очень коротко, и суждения ее о разных писателях чрезвычайно верны, хотя и не отличаются разнообразием. По ее мнению, Ломоносов мило пишет, Державин очень мило пишет, а Пушкин премило пишет. Заметьте, какая тонкость выражения! — пишет, а не писал! Всякий разом смекнет, что писатели эти никогда не умрут.

Муж Софьи Алексеевны, Матвей Антоныч Перекандовский, уездный стряпчий, человек чрезвычайно положительный и часто говорит Софье Алексеевне, когда она примется разговаривать об ученых предметах, что она, душенька, зарапортовалась, а потому знала бы чулки да свивальники, что весьма огорчает Софью Алексеевну. Единственная нежная черта в характере Матвея Антоныча — чрезвычайная любовь к детям, которых у него очень много. Для каждого из них нежный родитель имеет в запасе по нескольку самых ласкательных имен. Ущипнет за щеку и скажет: «Ах ты фигурант этакой!» или: «Ах ты физик этакой!» Называет иногда и профессором, и камчадалом, и карбышем, и фанатиком, и скептиком, и шарманщиком. Случалось даже, что восклицал иногда: «Ах ты карандаш этакой!»

Вот еще один замечательный господин: приезжий из губернского города, управляющий питейным откупом Сольвычегодов, человек без затылка, но зато с брюшком, увешанным целой дюжиной всяких печаток. Он много видал и бывал в столицах; а нынче только что возвратился с нижегородской ярмонки и все рассказывает, чрезвычайно приятно картавя, про какую-то «актъизу», которая славно поет, хотя и делает «гъимазы».

Вот молодой человек очень приятной наружности и высокого роста, мосьё Подмикиткин, до невероятия разбитной и ловкий, совершенный живчик! Дамы очень к нему благоволят; но особенное участие принимают в нем три девицы Дергачовы, всегда одетые в одинаковые платья, очень образованные девицы, хотя и несколько заматерелые в безбрачном состоянии...

Но мне придется говорить слишком много, если я вздумаю представлять вниманию читателя поодиночке всех членов прекрасного забубеньевского общества... Довольно, если я скажу, что остальные представители его такие же достойные люди, как и упомянутые мною гости Александры Фоминишны. Одним словом, забубеньевское общество — премилое общество, как сказала бы Софья Алексевна.

Нечего и говорить, что, кроме всех поименованных гостей, на вечере милой вдовы находился и крутящий безбожно усы и совершенно бесцеремонный приезжий Погуров; и штаб-лекарь Шелопаев, умащенный розовым маслом, которого прописывал из аптеки по полуфунту ежемесячно, прибавляя на рецептах: pro me; [1] и Лизанька Юзгина в локончиках, с открытой шейкой и в панталончиках с кружевцем; и буйный экс-студент Закурдаев во фраке и, как водится, в пуху; и вольнодумец Петенька, и достопочтенный его родитель Максим Петрович — лица более или менее уже знакомые читателю.

В углу гостиной сидел и герой наш, прибранный по-праздничному, но все еще неговорливый и угрюмый, с подвязанною щекой.

Хозяйка, обладая одной ей свойственною любезностью, не оставила ни одного гостя без нескольких приветливых слов. Адама Адамыча спросила, отчего у него подвязана щека, и, получив в ответ, что у него болят зубы, чрезвычайно мило выразила свое о том сожаление. У Марфы Петровны спросила, скоро ли приедет из уезда ее супруг. Услыхав рассказ Сольвычегодова о нижегородской «актъизе», лукаво погрозила ему пальцем и назвала его куртизаном... Одним словом, каждому сказала что-нибудь очень любезное.

Наконец, после того как взятый для послуг от господина Желнобобова казачок Алешка разнес чай, художественное торжество начало понемногу устроиваться.

---

[1] для себя (*лат.*).

В зале составился бостон из Максима Петровича, губернского откупщика, вдовы Дергачовой и стряпчего Перекандовского. Как люди, не сочувствующие успехам изящных искусств, они не должны были мешать своею зевотой полноте торжества.

Городничий при всем том, что питал сильную страстишку к картам, никак не мог изменить своему влечению к прекрасному полу и потому перегибался чуть не в три погибели перед тремя Дергачовыми, говоря им вещи самого милого свойства.

Пожилые дамы, как-то городничиха, исправничиха и стряпчиха, поместились на диване в гостиной и вынули из ридикюлей разные работы — прошивки, чулки и тому подобное. Горбатая приживалка городничихи приткнулась где-то за диваном, у самого уха Перепелкиной, и беспрестанно нашептывала ей всякие колкие замечания, от коих у обеих приятельниц губы сводило иронической улыбкой. Судья, как человек тонкого ума и обхождения и весьма способный для дамского общества, помещался на кресле около пожилых дам.

Закурдаев, по-видимому очень хорошо сошедшийся с усатым Погуровым, стоял с ним в дверях залы, подсмеиваясь над девицами Дергачовыми, перед которыми юлили городничий и вертлявый Подмикиткин. Девицы Дергачовы чрезвычайно быстро шагали из залы в гостиную и обратно и производили платьями ужасный ветер, от которого можно было очень легко получить флюс и зубную боль.

Петенька стоял перед Лизанькой Юзгиной, которая сидела в большом кресле в будуаре вдовы, и признавался ей в любви, отчего уши Лизаньки сделались краснее кумача.

Только герой наш был одинок и сосредоточен в самом себе на этом вечере.

Заметив такое невеселое расположение немца, Закурдаев собрался уже подойти к нему, хватить его ладонью по ляшке и возгласить: «Что ты замолк и сидишь одиноко?» Но не успел.

В гостиной показалась пленительная хозяйка. Она остановилась посреди комнаты, с приятностью закатила половину серых зрачков под лоб и произнесла:

— Не пора ли нам и начать?

К этому прибавила она несколько слов о пользе просвещения, о развитии талантов, слов, которых мы не приво-

дим, боясь как-нибудь исказить их своим неискусным пером.

Потом вдова вошла в свой будуар и вывела оттуда Петеньку и Лизаньку и усадила последнюю за фортепианы в зале, а Петеньке указала место за стулом его дамы.

Разбитые клавиши издали смутный звук, и два голоса залились дуэтом. Петенька напрягал всю силу своего горла; плечи Лизаньки от усильного аккомпанемента совсем вылезли из предписанных им границ.

Громкое одобрение девиц Дергачовых, Погурова, Подмикиткина и самой хозяйки наградило певцов, когда они кончили.

Господин Желнобобов воскликнул:

— А ну, ничего! ладно спето! Только ты, Петя, только ты... А ну, вам ходить! — обратился он к Перекандовскому.— Ты только больно орешь, Петя!

Сольвычегодов при сей верной оказии заметил что-то о «гъимазах» нижегородской «актъизы».

Стряпчий, знавший Петеньку с ранних лет, обратился было к нему, вероятно для того, чтобы сказать: «Ах ты фокусник этакой!» или: «Ах ты филантроп этакой!» Но был остановлен вдовой Дергачовой, которая не любила, когда во время игры говорят о постороннем.

— Молодец! — возгласил Закурдаев, трепля Петеньку по плечу, —славно отколол дуэтец!

Дамы, сидевшие в гостиной и опустившие во время пения свои работы на колени, нашли нужным сделать тоже несколько замечаний. Блестящая начитанностью Софья Алексевна сказала, отчасти с целью польстить исправничихе, что Лизанька премило поет и что у нее много акустики; на это господин Сафьянов, не желавший уступить Перекандовской в красоте выражений, заметил, что его оптика совершенно согласна с ее оптикой.

Горбунья пустила какую-то злобную штуку в ухо городничихе, и та совершенно неожиданно выказала ряд зубов, таких желтых, как будто и они были одержимы желчью.

Штаб-лекарь Шелопаев, все начало вечера проведший в буфете, только тут явился в залу; но замечания никакого не сделал, справедливо полагая, что городничий верно уж все объяснит, потому что сильно размахивает и вывертывает руками и ногами перед покрасневшей Лизанькой.

Затем после варенья, разнесенного гостям и сильно, по-видимому, занимавшего городничего, ибо он беспре-

станно совался к подносу с целью угодить девицам, после варенья повесть, сочиненная Закурдаевым в один присест на рваных и чумазых лоскутках, должна была усладить гостей Александрины. Поэтому все, кроме игроков да штаб-лекаря, который опять отправился в буфет, уселись в гостиной.

Закурдаев придвинулся со своим стулом к столу и сказал:

— Извините, если мало будет связи! торопился... Да и вообще, надо заметить, слог у меня отрывистый.

— Читайте! читайте! — воскликнули в один голос девицы Дергачовы.

Так как одна из этих девиц, произнося означенные слова, кивнула головой, то Перепелкин, приняв этот кивок за выражение какого-то тайного желания, бросился было подать ей варенья. Варенья, однако ж, не оказалось ни в одном углу, и потому он должен был угомониться.

— Начинаю! — произнес Закурдаев.— Глупейшая моя история не будет длинна.

И он начал читать по вынутым из кармана четверткам и осьмушкам свою повесть.

. . . .

— Вот и вся тут, недолга!— сказал экс-студент, засовывая в карман свои лоскутки.

Повесть произвела на трех дам, сидевших на диване, неприятное впечатление; горбунья свистнула даже на ухо городничихе самое нравственное «фи!». Девицы Дергачовы ничего не сказали. Лизанька ничего не поняла, хотя и была довольно умная и дальновидная девушка. Зато вдова подошла вместе с Погуровым благодарить автора.

Погуров взял его за руку и сказал:

— Метко схвачено!

Александрина пожимала другую руку Закурдаева и повторяла:

— Вы гений! вы гений, Василий Семеныч! Отчего вы так мало пишете?

— Я ничего не пишу,— отвечал, кланяясь, Закурдаев.

Адам Адамыч, с тоскою смотревший на эту сцену, не мог понять, что хорошего нашла прекрасная вдовица в истории, сочиненной Закурдаевым.

«Уж если такая дрянь могла понравиться, то что же ожидает меня?» —думал он, ощупывая в боковом кармане фрака листок, связанный розовой ленточкой.

Он уже, казалось, предвкушал свой будущий триумф.

Вдовица подошла к старшей девице Дергачовой и просила ее сыграть что-нибудь на фортепианах. Девица Дергачова не замедлила грянуть какую-то мазурку.

Вдовица, умевшая распределить удовольствия своего вечера, решилась вслед за игрою Дергачовой выставить на посмеяние всех нашего героя и потому подсела к Адаму Адамычу в то время, как в зале бойко выработывалась на разбитых фортепианах мазурка. Несмотря на громогласное рассуждение Сафьянова о том, что в повести должна быть своя оптика, Адам Адамыч слышал все тихие речи, которыми ласкала слух его Александрина. Она сидела так близко к нашему герою, что порой благовонные тирбушоны ее касались его ланит, и обоняние его нежилось упоительным запахом пачули, который подымался от ее волнующейся груди и пышных плеч, сверкавших подобно запретному плоду в очи немца. Любовь, страстная и безграничная любовь клокотала в чаше его сердца в то время, как слова, одно другого слаще и медовее, лились в его упоенные уши. А между тем горбунья шипела уже над ухом городничихи, и желчные зубы Перепелкиной давно были наруже.

Когда мазурка была кончена девицей Дергачовой, а ловкий городничий успел уже вырвать у казачка Алешки поднос с яблоками и предложить их артистке, вдова опять пригласила всех занять места свои в гостиной.

Адам Адамыч, находясь в самом восторженном состоянии, как пифия какая-нибудь, подкуренная различными ладанами, вышел очень развязно на средину комнаты, сел на тот стул, где помещался до того Закурдаев, и вынул из кармана свои стишки.

Погуров, крутя усы, поталкивал Закурдаева; Закурдаев, насупливая брови, попихивал локтем Петеньку; а Петенька, улыбаясь, глядел на качающего головою Подмиткина.

Штаб-лекарь Шелопаев просунулся было в гостиную; но, вероятно заметив, что ему тут не предстоит ровно ничего особенно приятного, немедленно скрылся опять в буфет.

— Читайте, Адам Адамыч! — произнесла сладким и вкрадчивым голосом вдовица.

— Читайте! — сказала городничиха, показывая зубы своей приживалке.

— Многое говорит в пользу Адама Адамыча, — сказал госпоже Перекандовской пурпурный Сафьянов, выверты-

вая рукой какую-то довольно темную фигуру.— Во-первых...

Но хозяйка не дала ему досказать, что во-первых и что во-вторых, потому что снова повторила:

— Читайте, читайте, Адам Адамыч!

— Мой зочинение,— начал дрожащим голосом Адам Адамыч,— есть идиллия.

— Немецкая душа! — проговорил тихонько Закурдаев, толкая Погурова,— идиллийку съяглил!

— Она называется, —продолжал Адам Адамыч с усиливающимся дрожанием в голосе,— «Филемон...»

— Историческая тема! — сказала Софья Алексевна Сафьянову.

— Сейчас последует Бавкида,— шепнул Закурдаев Погурову.

— Читайте, Адам Адамыч! — повторила хозяйка.

Герой наш взглянул на нее. Она, казалось, вся превратилась в слух; глубокая любовь светилась в ее глазах...

— «Филемон,— начал опять Адам Адамыч, почерпнувший силы во взгляде на вдову,— Филемон и Ба́уцис»...

— Ха-ха-ха! — покатился Петенька,— какая Бауцис?

— Какая Бауцис? — спросил и Закурдаев.

— Ви не читаль Овид! — сказал, оборачиваясь к смеющемуся Петеньке, Адам Адамыч.— Ба̀уцис...

Петенька продолжал хохотать и не мог произнести ни слова.

— По-русски говорят Бавкида, а не Бауцис,— заметил Закурдаев.

Адам Адамыч опять взглянул на вдову. Она по-прежнему была вся — ухо и смотрела на героя нашего с любовью.

— Это неправильно! — сказал Адам Адамыч, защищаясь с достаточной уверенностью от замечания Закурдаева.

— Полноте, полноте! — сказала Александрина, подмигивая Закурдаеву.— Ваши придирки мелочны; да притом это только заглавие. Не в заглавии дело, а в содержании. Продолжайте, Адам Адамыч!

Герой наш, ободренный приветом вдовы, несмотря на досаду, произведенную в нем смехом Петеньки и замечанием Закурдаева, откашлялся и начал с большим чувством:

Один овец...

Продолжать ему не дали. Казалось, никто и знать не хотел, что будет с «одним овцом», ибо хохот всех уст, быв-

ших в гостиной, грянул оглушающим залпом в слух пораженного стихотворца. Звонким, как колокольчик, хохотом заливалась Лизанька Юзгина; три девицы Дергачовы рассыпались горохом, придерживая обеими руками дебелые груди, ежеминутно угрожавшие разорвать тугие корсеты; до ушей обнажались зубы городничихи; съежив губы вроде бутылочного горлышка, тонкую трель пускала девица Полетаева; хозяйка только прыскала по временам, стараясь удержаться от смеха; Закурдаев басил; Погуров, вторя ему, забыл даже о своих усах, о которых помнил и в самые критические минуты жизни; Петенька стучал ногами и мотал руками, причем оглушал своим головным хохотом всю честную компанию; господин Сафьянов пускал свое «ха, ха, ха!» откуда-то издали, вероятно из самого живота; госпожа Юзгина благим матом взвизгивала и захлебывалась; начитанная Перекандовская совсем, как говорится, зашлась, упав головой на спинку дивана. Городничий и Подмикиткин вскочили, и оба подошли к девицам Дергачовым. Перепелкин превосходно аккомпанировал девицам; а Подмикиткин решился было сказать какую-то фразу младшей Дергачовой, но от страшных усилий удержать смех что-то совершенно ненужное выскочило у него из носу. Обстоятельство это сильно его сконфузило, и он отретировался, не говоря ни слова. Концерт был превосходный!

Адам Адамыч, оглушенный всеми хохочущими голосами, сидел на стуле как мертвый и сначала никак не сообразил, что предметом смеха есть он сам и его бедная идиллия. Он все искал глазами где-нибудь за дверью скрывшуюся фигуру штаб-лекаря Шелопаева, который, верно, выкинул какое-нибудь забавное коленце для потехи всех, но Шелопаев сидел в буфете, разговаривая с Наташей, и глаз Адама Адамыча нигде не мог открыть его. Тогда только уразумел герой наш, что смеются просто-напросто над ним самим, а не над штаб-лекарем Шелопаевым, когда он заметил, что каждый, взглянув на него, единственного бесстрастно серьезного члена гостиной, разражался, если мог, вчетверо сильнейшим взрывом хохота.

Только что мысль о таком унижении забрела в голову Адама Адамыча, листок стихов был отчаянно скомкан у него в кулаке, лицо его страшно побледнело, губы затряслись, веки заморгали и дрожащие ноги быстро понесли уничтоженного немца помимо вертлявого и сконфуженного Подмикиткина по направлению к передней.

Тщетно вдова, приняв серьезный вид, упрашивала его остаться: он уж видел ее коварный смех! Тщетно Погуров и Закурдаев влекли его назад за обе руки. Тщетно сам Желнобобов восклицал из-за карт: «А ну, Адамыч, Адамыч! что ты упираешься?»

Тщетно, тщетно все!

Не произнося ни полслова, но бледнея все более и более, Адам Адамыч вырвался из удерживавших его рук и бегом бросился из ворот.

Долго еще шел вечер у вдовы. И Погуров прочел свое стихотворение, описывавшее Дариал, Казбек и Терек; и средняя Дергачова спела французский романс; и Петенька прочел стишки, в которых говорил, что *она* (кто, покрыто мраком тайны), что *она* — цветок, а он, Петенька,— ветерок; что душа *ее* — аромат, а душа его, Петеньки... одним словом, что-то чрезвычайно милое и нежное...

Но все это не будет уже описано моим пером. Я не могу более говорить о веселых предметах, когда любезный герой мой удручен тяжелым горем. Мне становится грустно, очень грустно; чуть ли даже слезы не навертываются у меня на глаза.

ГЛАВА IX

Страшное что-то творилось с Адамом Адамычем, когда он не шел, а бежал по узким и темным улицам Забубеньева. Голова его горела и сердце ныло. Все эти, мелкие для постороннего глаза, но крупные и грозные для собственного сердца неудачи, огорчения и насмешки давили бедного героя нашего своею тяжестью. Он бы, казалось, хотел и заплакать; но, как нарочно, глаза у него и ломило и жгло, а ни одной капли не проступало на них. Холодное, хмуро нависшее небо как будто сжалилось над ним и заплакало, вместо его, студеными дождевыми слезами.

«Хоть бы забыть все это горе! хоть бы уснуть! хоть бы умереть! — мелькало в голове несчастного, уничтоженного немца. — Забыть! забыть! Но где и как забудешь все это?.. Вот бы... Да нет, поздно!.. Уж заперто верно».

Но тут на углу какой-то улицы в глаза его ударил свет из маленького оконца, и он, махнув рукой, завернул туда, откуда глядел этот свет, и скоро вышел назад с небольшим свертком под мышкой.

И через час Адам Адамыч забыл свои горести; забыл даже свои редкие былые радости, забыл все окружающее, забыл и самого себя... Темно было в его конурке; недопитый полуштоф стоял у кровати на стуле; Адам Адамыч спал крепко, и ни одна греза не тревожила его.

На другой день поутру, прежде чем семья достопочтенного Желнобобова собралась за чайным столом, в лакейской стоял тучный Игнатьич, дружески потчуя табаком Макарыча и ожидая выхода самого Максима Петровича.

— А ну, здорово, здорово!.. зачем пожаловал? — сказал, выходя в переднюю, господин Желнобобов, облеченный в ермолку и халат.

— Здравия желаю, батюшка Максим Петрович! — сказал, кланяясь, мельник.

— А ну, что, как живешь? Помолу, что ли, нет, что заглянул? а!

— Нет, слава богу, делишки плетутся себе по-малехоньку, Максим Петрович.

— А ну, ладно, ладно! Так, значит, просто повидаться зашел? Спасибо!

— Нету, Максим Петрович, и дельце есть... да, признательно сказать, такое дельце, что хоть бы и не говорить, так в ту же пору...

— Что же, что такое? — спросил Желнобобов.

— Вот оно у меня, где сидит, Максим Петрович! — сказал мельник, наклоняя голову и тыча себя в затылок указательным перстом.

— Говори, говори! А ну, можно помочь — помогу!

— Да говорить-то,— сказал Игнатьич, почесывая за ухом,— уж и говорить-то... Ей-богу, срамительное такое дело.

Мельник взглянул косвенно на Макарыча, показывая тем, что уж такое срамительное дело, что и говорить при людях не годится.

— А ну, пойдем ко мне в кабинет! — сказал Максим Петрович, показав губой на вход в залу.

В кабинете услышал он от обманутого мужа ту неприятную для чести его историю, с которой уже знаком читатель. Мельник рассказывал с таким жаром и азартом, что принужден был беспрестанно вооружаться правою полой своего долговязого сюртука, чтобы отирать пот с чела.

Рассказ мельника, передавший все малейшие подробности посещения Адама Адамыча, произвел, по-видимому,

весьма сильное впечатление на нравственного отца семейства, потому что губа его не могла никак прийти в нормальное положение и находилась в постоянной тревоге.

— Ведь уж это, Максим Петрович,— оканчивал мельник,— это человеку что нож в бок. Найпаче...

— Ах он шельмец, шельмец! — прервал Максим Петрович, расхаживая в волнении по кабинету и шлепая неистово своими красными казанскими сапожками.— А ну, постой! постой! Я из него канальский дух выгоню! постой! Он у меня запоет кота Еремея... запоет. Погоди! А ну, Алешка! Алешка!.. Экая бестия! где этот мерзец? Подь-ка, подь-ка, Игнатьич! кликни Алешку сюда!

Алешка, впрочем, летел уже к кабинету и попал головой прямо в пузо мельнику.

— Что ты? что ты мечешься как угорелый? поросенок ты этакой грязный! — крикнул Максим Петрович при виде сшибки, заставившей мельника возвратиться в кабинет.

— Чего изволите-с? — спросил, не сробев, казачок и фыркнул на весь дом.

— А ну, пошел, пошли ко мне Адамыча! пошел — да живо у меня!

Алешка бросился на антресоли к немцу и застал героя нашего не спящим, но еще лежащим на постели.

Адам Адамыч, проснувшись, и не поднялся со своего ложа, а чувствуя, что опять встают в душе его все муки и страдания отверженной любви и пораженного самолюбия, протянул руку к сосуду, ночевавшему на ближайшем стуле, и хлебнул достаточную струю забвения. Правый глаз его был уже закрыт огромным веком, и только левый смутно различал окружающие предметы.

— Пожалуйте-с к Максиму Петровичу! — сказал казачок, войдя в комнатку немца.

— Зачем? — спросил Адам Адамыч, обратив на казачка свое левое око.

— Я не знаю, зачем-с. Они у себя в кабинете.

— Зачем? — сердито повторил немец.

— Не знаю-с.

Герой наш поднялся с постели и, скрипя зубами, показал казачку два сжатые кулака.

— Ей-богу, не знаю-с, Адам Адамыч... Там у них мельник-с.

— Вон, вон отсюда! — закричал бешеным голосом Адам Адамыч, топая неистово ногами и хватаясь за стул.

Лицо его было так искажено яростью, что казачка пронял страх. Он быстро бросился в дверь, прихлопнул ее и почти скатился с лестницы. До самого кабинета казалось ему, что он слышит за собой погоню взбешенного Адама Адамыча.

Когда казачок донес господину Желнобобову, что Адам Адамыч не хочет явиться, потому что пьян, Максим Петрович пришел в неописанную злобу.

Он немедленно отправил к немцу Макарыча; но Адам Адамыч принял уже свои меры. Только что почтенный дворецкий просунул голову в комнату немца, как увидел направленное на себя дуло ружья и услыхал скрип зубов и крик: «Weg!» Делом одной секунды было для Макарыча захлопнуться дверью и потом сбежать вниз.

Все горести спали в Адаме Адамыче и бодрствовало одно только чувство — чувство самосохранения. Бранясь и покачиваясь, ходил он по своей комнате с ружьем, ожидая нового появления какого-нибудь злокозненного человека, и только нечаянно набрел на мысль — запереться ключом в своей конурке.

Странным психологическим явлением было в герое моем то, что, когда он подгуливал случайно, на несколько часов, и должен был вскоре протрезвиться, кротость его была необычайна; когда же наступало время запить на определенный срок (нечего уже автору скрывать этой грустной болезни героя), он становился злым и бешеным до невероятия.

Все старания со стороны Максима Петровича привести в нормальное состояние голову Адама Адамыча оказались в настоящий раз тщетными попытками.

Как ни строго было наказано всем челядинцам иметь бдительный за ним надзор и не выпускать его из дому, Адам Адамыч по окончании штофа успел-таки уйти и возвратился в еще более плачевном положении.

Словно в чаду прошла для Адама Адамыча целая неделя. Отлучался ли, не отлучался ли он из дому, незаметно было никакой надежды на его протрезвление.

Максим Петрович нарядил даже следствие для отыскания путей, по коим немец получает горячительную влагу. Следователем был назначен дворецкий Макарыч, и по тщательным его розысканиям сильное подозрение пало на

Алешку, ибо Алешка по целым дням грыз орехи, купил себе огромный комплект бабок и тешился очень часто в орлянку в приличном званию его и летам обществе. Автор обязуется сказать, что Алешка точно был главным комиссионером Адама Адамыча по части продовольствия его штофами и полуштофами зелена вина; при исполнении таких комиссий казачок, разумеется, усердно обворовывал несчастного моего героя. Хотя по окончании следствия Алешку и высекли, однако это не помогло... Алешка, как водится, нимало не исправился и продолжал так же непохвально служить Адаму Адамычу.

Целые дни лежал немец, запершись, у себя на кровати и впускал в свою комнату одного Алешку. Он почти ничего не ел, похудел и ослабел невыразимо.

Наконец и другая неделя болезненного состояния Адама Адамыча приходила к концу, и все в доме, казалось, забыли даже о его существовании. Но в один прекрасный вечер Максим Петрович, сидя за чайным столом, почувствовал вдруг в голове своей рождение одной гениальной мысли.

— А ну, послать за Шелопаевым! — крикнул он, совершенно неожиданно прервав речь Бобелины о каком-то хозяйственном предмете.

Глашка вынырнула из девичьей.

— За кем послать-с? — спросила она с обычной вертлявостью.

— За Шелопаевым! — повторил господин Желнобобов.

— Что это? уж не дурно ли вы себя чувствуете? — спросила с заботливостью Татьяна Васильевна.

— А ну, знать ничего не хочу! послать за Шелопаевым! — проговорил Максим Петрович, и на всем лице его выразилось довольство своею мыслью.

— Да зачем же это-с? — дерзнула опять с нежностью спросить экономка.

— А ну, что ж ты стоишь? слышала — послать за Шелопаевым! — произнес снова господин Желнобобов, обращаясь к Глашке.

— Сейчас-с! — сказала Глашка и ушла.

— Ах, Максим Петрович! — воскликнула домоправительница, — вы меня пугаете, ей-богу!.. уж не сделалось ли с вами чего?

— Ничего, ничего, — отвечал Максим Петрович, — ничего не сделалось со мной. А ну, терпение! терпение!

5*

При этих словах маститый Желнобобов громко чавкал нижнею губой и думал: «А ну, погоди! погоди! выгоню я из тебя канальский дух!»

Эта дума, как, вероятно, понял читатель, относилась прямо к моему герою.

Когда вследствие посольства из дому господина Желнобобова явился штаб-лекарь Шелопаев, благоухающий розовым маслом, которое текло у него с головы в обильном количестве, Максим Петрович восседал уже в кабинете на своем мягком кресле и по обыкновению почти ни о чем не думал.

Бобелина страшно терзалась любопытством и беспрестанно выглядывала в залу из двери гостиной.

Когда же кабинетная дверь затворилась за штаб-лекарем, экономка легкими шагами подкралась к ней и приложила любопытное ухо свое к замочной скважине.

В кабинете шел следующий разговор.

— А ну, может быть и есть средство? — говорил господин Желнобобов. — Посмотрели бы вы в какой-нибудь книжице!

— Да нет-с, Максим Петрович! — отвечал Шелопаев,— уж я знал бы.

— Ведь это просто беда, беда! — продолжал Желнобобов.— Детям учиться надо, а он там — черт его знает в каком виде!

— Надо построже присматривать-с.

— А ну, нет человека — нет такого человека! Все мерзавцы... Сами носят ему.

— Разве предложить вам вот что-с, Максим Петрович... Не знаю только, согласитесь ли вы-с...

— А ну, что? что такое?

— Да вот отправили бы вы его в больницу-с. Уж мы бы там за ним присмотрели-с!

— Ах, вот в самом деле хорошо! вот хорошо! — воскликнул Максим Петрович, приподнимаясь с кресел.—А ну, не приходило мне этого в голову, не приходило.

Бобелина, чрезвычайно недовольная пустотою узнанной ею новости, ускользнула в свою комнату.

Максим Петрович позвал немедленно дворецкого Макарыча, пушившего в эту минуту казачка Алешку за его неблаговидное поведение, и отдал приказание отправить героя нашего в больницу и употребить даже насилие, если бы он вздумал артачиться и упираться.

Насилия, впрочем, не привелось употреблять, ибо, когда Макарыч с постоянным партнером своим по игре в носки и фильку, чеботарем Денискою, явился в комнату немца, немец лежал вверх лицом на своей кровати, бледный как снег и недвижимый как пласт.

Страшный хаос царствовал в серенькой комнатке, и при первом взгляде на нее можно было угадать бедственное положение хозяина, который в здоровом состоянии держал в порядке и холе свой тесный уголок. Пальма лежала на постели, на ногах своего господина. А господин ее уже другую неделю не снимал с себя фрака, в котором возвратился от вдовы, и был весь покрыт пухом и измят; из-под высокого галстука, не снимавшегося с шеи его с той же самой поры, выглядывала щетинистая борода, которая делала еще более впалыми его худые, ввалившиеся щеки; левый глаз едва проглядывал из-под красного сморщенного века, а правый давно уже не видал божьего света.

Грустна была картина, представшая очам Макарыча и Дениски; но, по врожденной нечувствительности своей, ни тот, ни другой не были тронуты этою картиной — отпустили даже по нескольку острот, обращенных на личность, звание и настоящее печальное положение несчастного моего героя.

Прежде чем приступили к исполнению поручения, возложенного на них Максимом Петровичем, оба эти молодца осмотрели в подробности комнату, причем не упустили разделить между собой несколько монет мелкого серебра, валявшихся без всякого призрения на небольшом письменном столе Адама Адамыча. По страсти своей к трубочным делам Дениска тут же наложил себе любимую трубку Адама Адамыча с изображением города Магдебурга и совершенно фамилиарно закурил ее. В продолжение всего этого времени герой наш и не прикасался к трубке: она не снималась с гвоздика и была вся покрыта пылью. Дениска рассудил также, что не должно упускать ничего из виду, и потому прибрал весь табак, какой был у Адама Адамыча.

Только после всего этого было приступлено и к самому хозяину темной комнатки. Пальму согнали с ног его на пол, причем она так жалобно простонала, что более чувствительные свидетели верно бы заплакали. Макарыч, напротив, дал ей здорового пинка и обругал ее самым неприличным образом. Затем и Дениска и Макарыч взяли под руки Адама Адамыча и подняли его. Неизвестно, спал он или бодрствовал: один глаз его глядел, и губы, едва

шевелясь, бормотали что-то; но руки висели как плети по сторонам похудевшего тела, и он был ужасно тяжел даже для сильных мышц Макарыча и чеботаря. Не делая никакого сопротивления, не произнося ни одного внятного слова и волоча, а не переставляя ноги, был он сведен вниз, при довольно неучтивой брани обоих вожаков его.

В лакейской штаб-лекарь Шелопаев посмотрел ему в бледное лицо, покачал благовонною головой и с свойственной ему живостью отправился домой, отдав приказание сдать пациента в больнице с рук на руки подлекарю Пименову.

У крыльца стояли уже заложенные дрожки. Макарыч и Дениска согнули кой-как колени несчастному и усадили его. Макарыч поместился рядом и, придерживая одною рукою фуражку, еле лепившуюся на голову моего героя, а другою обняв его плечи, велел ехать куда следует.

Дрожки двинулись — и в этот вечер в забубеньевской больнице стало одним больным больше; но едва ли был в ней хоть один недужный, который сравнился бы страданиями своими с тою страшною болью, которая едва затихла в груди нашего героя после частых приемов лекарства, называемого струями забвения.

ГЛАВА X

Адам Адамыч очнулся в белом балахоне, в белом колпаке, на больничной кровати с черною дощечкой над головой. По большой комнате слабыми шагами ходило два-три человека, одетых так же, как он. Но — странная вещь! — ни наряд его самого, ни эта большая, уставленная постелями комната, ни эти больные в белых халатах и колпаках нимало не удивили его. Казалось, он очнулся только затем, чтобы взглянуть в последний раз на дневной свет и на яркое солнце, которое весело глядело в большие окна и играло на белых стенах.

Скоро глаза его опять закрылись, и огромные веки уже не подымались более.

Штаб-лекарь Шелопаев, тщательно наблюдавший за больным немцем, никак не мог сообразить сразу, отчего он так долго не приходит в себя. Прислушиваясь к дыханию моего героя, он нашел, что дыхание это очень тяжело и

прерывисто; но думал, что все скоро пройдет и дурь, как он называл недуг Адама Адамыча, кончится. К вечеру дурь эта точно кончилась; но кончилась единственно потому, что пришел конец и бедственный жизни Адама Адамыча. Тихо, без стонов отпустило изможженное тело живившую его душу в иные, более безмятежные страны. Когда Пименов, по особому наказу штаб-лекаря заботившийся о нашем герое, принес ему булион для ужина, Адам Адамыч был уже бездыханен, и смерть его очень поразила подлекаря.

Немедленно дали знать о кончине гувернера господину Желнобобову, который в это время был в чайной, в кругу всех своих чад и домочадцев. Он многозначительно подъехал нижнею губой к самому носу и произнес:

— А ну, жаль, жаль! Вечная ему память! Жаль!.. Добрый был человек.

— Вот испивал только,— сказала Бобелина,— а уж точно простая душа был покойник.

— А ну, неожиданно, неожиданно помре! — прибавил Максим Петрович.

Петенька сказал тоже что-то, но такое незначительное, что и повторять не стоит.

Господин Желнобобов начал было говорить Петеньке, чтобы он сходил в больницу отдать последний долг усопшему наставнику, да и братьев бы с собой взял; но Татьяна Васильевна забросала его таким множеством доводов, что не след Петеньке идти туда, и доказала так хорошо нелепость этого предложения, что Максим Петрович даже строго запретил отправляться на прощанье с Адамом Адамычем, если б кто-нибудь и пожелал этого.

Дети господина Желнобобова как-то странно и порадовались кончине немца и пожалели о нем: порадовались, потому что им предстояла длинная перспектива праздных часов; пожалели, потому что чувствовали некоторую привязанность к доброму Адаму Адамычу.

Макарыч, прерванный приходом известителя из больницы на самом бойком ходу, которым думал совсем подрезать Дениску, тотчас же оставил игру и вместе с чеботарем отправился в комнатку покойника, чтобы разделить со своим партнером кой-какие вещи Адама Адамыча.

Закурдаев узнал о смерти героя нашего поздно вечером, когда чеботарь явился с поживой! Закурдаев был, кажется, во всем городе единственный человек, в котором пробудилось несколько грустных мыслей по поводу этой темной и

неожиданной смерти. Он глубоко раскаялся во всех своих шутках, которые производили такое резкое впечатление на мягкое сердце его товарища по охоте.

Каждый вечер, пропустив в желудок стаканчик померанцевки и потом стаканчик травнику из заветной бутыли и поужинав, Василий Семеныч имел обыкновение посидеть несколько времени в бодрственном состоянии на своем диванчике и спеть на сон грядущий какую-нибудь песенку с аккомпанементом гитары. На этот раз заслуженный инструмент звучал у него не совсем весело; Закурдаев думал о том, как часто покойный немец был его слушателем в эти поздние часы, как любил он немецко-латинскую песню про клирика, в которой всегда с особой энергией пел стих: «Hic est meus dactylus!»[1] Вспомнил также Закурдаев, как, бывало, подчас и прослезится добрый немец, слушая иную песню, как приятно улыбается при «Gaudeamus». И Закурдаев запел эту прекрасную песню; но веселые стихи ее выходили вовсе не такими веселыми, какими должны бы были выйти, и грустно, очень грустно прозвучали из уст Закурдаева слова:

Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur[2].

Затем Закурдаев лег спать, решившись на следующий день пойти посмотреть покойника.

Весть о смерти наставника желнобобовских детей скоро прошла по всему пространству Забубеньева, но не произвела почти никакой сенсации. Только сострадательная Даргачова ощутила в себе какое-то треволнение и потому, чтобы рассеять его, отправилась рассказать о кончине Адама Адамыча Софье Алексеевне, Марфе Петровне и всем другим знакомым дамам.

Таким образом, с Адамом Адамычем было все покончено в Забубеньеве. Его похоронили в простом белом гробе на общем кладбище, но вдали от всех других покойников, на самом краю — близ чахлой березки, одиноко выросшей у ограды.

Пальма все время, с той самой минуты, как хозяин ее

[1] Вот каков мой стих! (*лат.*)
[2] Смерть приходит быстро,
Похищает нас свирепо,
Никого не щадит (*лат.*).

переехал в больницу, выла не на живот, а на смерть под самыми окнами кабинета Максима Петровича. Пока Адам Адамыч был жив, ее только гоняли от окон и били — впрочем, так неловко, что перешибли ей одну переднюю ногу; когда же Адама Адамыча не стало и Пальма, вытянув шею, завывала еще сильнее и не унималась ни от каких угроз и побоев, господин Желнобобов, не терпевший у себя в доме подобных бесчинств, поручил чеботарю Дениске пристрелить неугомонную собаку, что чеботарь и исполнил с невозмутимым хладнокровием.

В тот день, когда, не провожаемый и не оплакиваемый никем, герой наш отправился на погост и занял новую квартирку, еще теснее той комнаты, в которой жил на антресолях у старика Желнобобова, в тот день все члены достойного забубеньевского общества получили по пригласительной карточке от чувствительной вдовицы, искавшей Чацкого. Карточки приглашали на чай в этот вечер. На сей раз вдова не приготовляла никакого литературно-художественного торжества, и никто не ожидал ничего особенного. Но именно тогда-то и должно было случиться нечто истинно особенное.

Александрина нашла себе Чацкого... да! нашла Чацкого — правда, более похожего на Ноздрева, чем на Чацкого; но тем не менее нашла. Этот счастливец был приезжий Погуров, безбожный преследователь своих густых усов. Велико было удивление всех гостей, и особенно желчно проглянули зубы городничихи, когда в полном присутствии всей забубеньевской аристократии вдова объявила, что сердце ее избрало приезжего Погурова.

ЭПИЛОГ

Чахлая березка трясет на ветру своею непышной головкой, и краснеющие листья срываются с тощих веток; они желтеют на сухой земле, свертываются в трубочки, и ветер кружит их над серым холмиком, под которым улеглось тело Адама Адамыча.

Немного прошло времени с его кончины, а Петенька раздумал уже ехать в университет, и Закурдаев получил отставку, поздравив бывшего ученика своего со вступлением на службу, под начальство красноречивого господина Сафьянова.

Дожди принялись кропить осеннюю землю; ни листка не осталось на чахлой березке, и сама она дрогнет и гнется под частым дождем — и серая могилка потемнела.

А между тем Погуров успел уже опротиветь своей чувствительной супруге, потому что каждый день прожигает ей платья своею неугасимою трубкой...

Наконец и зима наступила, и метели снуют по широкому полю, занося глубоким снегом одинокую могилу...

А между тем...

Что произошло между тем в Забубеньеве, неизвестно автору. Тут оканчиваются все его сведения о городке, в котором угасла жизнь его героя.

Прощай, прощай, мой любезный герой! Пришлось тебе уснуть там, где и не думалось. Любящее сердце твоей рыжей и худощавой матери не чуяло тебе такой далекой и грустной могилы: сердце это предвещало тебе иную, более высокую чреду, чем какую занимал ты на земле!

И что сталось теперь с самою могилой твоей? Может быть, она уже сравнялась с землей и нет у нее ни знака ни отметины!

Что-то сталось и с самим Забубеньевым? Может быть, уже ни один тамошний уроженец не произнесет теперь: «И я родился в Аркадии!» Может быть, дни золотого века и там стали пасторальным вымыслом — и нет там ничего буколического и не пахнет Шатобрианом.

А все эти лица, окружавшие когда-то моего героя и прошедшие пред глазами читателя!.. Кто знает! может быть, уже истлели в сырой земле и назойливая губа и угрюмый нос господина Желнобобова; может быть, Петенька женился уже на ком-нибудь — положим, хоть на Лизаньке Юзгиной; может быть... Все, все может быть...

Но вернее всего то, что если кто-нибудь спросит теперь в Забубеньеве об Адаме Адамыче, то там скажут: «Что-то не помнится, чтобы был здесь когда-нибудь такой человек. Может, был; а может, и не было никогда такого».

Pulvis et umbra sumus! [1]

---

[1] Мы прах и тень! (*лат.*)

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

ГЛАВА I

Прощальная песня

На грязно-сером поле занавеса была изображена желтая лира. Зрители долго любовались ею. Наконец приехал губернатор, и занавес поднялся.

Три кулисы иззелена-коричневого цвета с желтоватыми прожилками на правой стороне сцены и три такие же кулисы на левой очень натурально изображали дремучий лес. Два широкие полотнища серой холстины, движимые на полу сцены, в самой глубине ее, взад и вперед восемью дюжими, тщательно скрытыми от глаз зрителей руками, представляли точное подобие волнующейся реки — и конечно не иной реки, как Днепра. Сизое небо с белесоватыми облаками, искусно намалеванное на заднем занавесе, не обращало на себя особенного внимания, хотя и не уступало в совершенной близости своей к природе ни дремучему лесу, ни взволнованному Днепру. Все это — и лес, и река, и небо с облаками — было освещено очень расчетливо... расчетливо, во-первых, в смысле домашней экономии (за каждой кулисой горело по шести сальных свечей да у рампы восемнадцать, итого девять фунтов шестерику) и, во-вторых, расчетливо в смысле искусства, потому что скудное освещение производило вполне желанный эффект, придавая картине некоторую туманность.

Капельмейстер (он же и первая скрипка) постучал смычком о пюпитр; у суфлерской конуры появился кривой железный шандал с оплывшим огарком и около него старая

темного цвета тряпица, исправлявшая должность носового платка, — и оркестр заиграл, представление началось.

Первой скрипке очень стройно подыгрывали две вторые скрипки, хотя смычки ездили взад и вперед по их тупозвучным струнам совершенно машинально, как бы независимо от воли вооруженных ими рук. Смычок контрабаса действовал с такою же уверенностью, хотя на вспотевшем, одутловатом лице музыканта явственно изображалась какая-то забота. Кларнет выказывал необычайную старательность. Конечно, вследствие крайней добросовестности своей, он всегда особенно долго услаждал слушателей теми нотами, на которых ему следовало останавливаться. Нельзя сказать того же в похвалу литавриста, обладавшего не столько любовью к искусству, сколько завидною способностью беспрестанно дремать. Если б Вилков (так звали капельмейстера) не сажал его как можно ближе к себе и не касался, когда нужно, смычком своим до его опущенного над литаврами чела, публика, вероятно, никогда не услыхала бы, как мастерски выбивает литаврист и крупную и мелкую дробь на своем инструменте.

В то время как музыканты, размещенные за утлою перегородкой, к которой опасно было прислониться, вырабатывали ритурнель своими скрипками, кларнетом, контрабасом и литаврами, на зыбком помосте, озаренном девятью фунтами шестериковых свечей, собиралась разнохарактерная толпа, которая могла бы поставить решительно в тупик любого этнографа, будь он знаком с костюмами всех когдалибо процветавших и всех ныне процветающих на земной поверхности народов. Впрочем, должно отдать справедливость антрепренеру (он же и режиссер), это разнообразное смешение тирольских и ямщичьих шляп, польских кунтушей и испанских плащей, бараньих шапок и французских штанов соответствовало как нельзя более сказочному колориту обстановки. Толпа, вооруженная отчасти каким-то дрекольем, отчасти и настоящими ружьями, стояла очень смирно, руки в струнку, за исключением одного из ее среды — по чулкам с лентами и по башмакам тирольца, по кунтушу, не сходившемуся вокруг его здорового туловища, поляка, а по смушковой шапке, заломленной набекрень, украинца. Кто бы ни был он — украинец, поляк или тиролец,— только телодвижения его, резко противоречившие тупой неподвижности и, так сказать, деревянности остальной толпы, сосредоточивали на нем внимание публики.

Ухватками своими этот член неведомой национальности напоминал тех полковых ловкачей, которые, завязав сзади полы своей серой шинели да бойко прищелкнув языком, выделывают в своих десятифунтовых сапогах, при веселом гиканье хора, звоне и бренчанье бубна и стуке «ложек», такие мудреные па на неровной и пыльной почве казарменного двора или на зеленой загородной лужайке, какие дай бог сделать иному Иогансону в легких башмачках и на лощеном полу. Я уверен, что половина зрителей, увидав человека в смушковой шапке, ожидала, что того и гляди свистнет он на всю залу и пойдет отламывать трепака. Но вот ритурнель сыграна, хотя кларнет и тянет еще со свойственной ему рачительностью последнюю ноту; вот Вилков снова подал знак музыкантам — и человек, имеющий снизу вид тирольца, обводя глазами окружающую его толпу, показывает ей средний палец правой руки, вследствие чего немедленно раздается дружный хор:

Трубят. Поспешим!
Весь лес окружим
И станем разить свирепых зверей...

На них нападем
Мы с острым копьем
И кровью зверей его обагрим!

Хотя никто и не думал трубить, однако толпа поспешила разить острым копьем (вышеупомянутое дреколье) свирепых зверей, или, проще, скрылась за иззелена-коричневыми кулисами.

Во глубине партера, одетой непроницаемым мраком, послышался смутный шум и смех, когда из-за темного дуба, занимавшего левую сторону авансцены, показалось какое-то баснословное четвероногое животное серой масти, по-видимому более привыкшее ходить на двух задних ногах, потому что передними то и дело спотыкалось. Кровожадное рыканье, изданное этим животным, произвело еще больший смех и шум в мрачной части партера.

— Мама! а мама! — спросил пискливый детский голос в пятом ряду кресел,— это кто? это волк?

— Медведь, душа моя,— отвечала с нежностью маменька.

— А я думал, это волк.

— Не говори так громко: нехорошо.

— Да разве медведь такой?

— Такой, такой. Смотри знай, не разговаривай!

Любознательное дитя покорилось и замолчало; но слова маменьки вовсе не рассеяли его сомнений: дитя вспомнило огромного медведя, еще очень недавно плясавшего и показывавшего разные штуки на улице под глухой стук лубочного барабана и веселое щелканье деревянных челюстей козы в сарафане; дитя вспомнило также, как нянька Леонтьевна, вздумав потешить его о прошлых святках, нарядилась волком, то есть выворотила овчинный тулуп вверх шерстью и спрятала в нем свое худощавое туловище... Вспомнив это, умное дитя нашло, что зверь, явившийся из-за темного дуба, больше похож на няню Леонтьевну в вывороченном полушубке, то есть на волка, чем на медведя, который и рычал вовсе не так, как рычит этот зверь.

— Смотри-ка! смотри! — подтвердила маменька.

И дитя стало смотреть.

Вслед за зверем из-за той же кулисы выступил великолепный полоцкий князь Видостан с длинным копьем в могучей руке. Видостан был великолепен не столько по кафтану, обшитому широкими, отчасти утратившими уж свою первобытную свежесть галунами, не столько по шпаге с золотою, тоже немного полинявшею перевязью через плечо, не столько по светлому шишаку, невольно приводившему на мысль шлем Мамбрина, который украшал некогда многодумную голову знаменитого любовника Дульцинеи, сколько по сильному и величественному телосложению, широким плечам и высокой груди, по необыкновенной черноте и яркости больших глаз и по непроходимой для частого гребня густоте гнедых усов, острые концы которых, вероятно крепко смазанные восковою помадой, поднимались кверху и образовали очень красивые рожки по сторонам орлиного носа.

Если вы потрудитесь развернуть большую серую афишу, которая излагает в подробности все чудеса хитросплетенного спектакля, происходящего перед вашими очами, то узнаете из ее плохо отпечатанных строк, что роль Видостана исполняет господин Живягин. Имя это, может быть, неизвестно вам; но оно самое громкое имя из числа мужских имен, красующихся в настоящую минуту на афише театра, в котором мы присутствуем на представлении пресловутой «Русалки». Госпожа Живягина, супруга великолепного Видостана, далеко не такая светлая звезда в труппе, как ее муж, хотя на этот раз и выпала ей на долю заманчивая роль героини пиесы, днепровской русалки Лесты.

— Мама, это разбойник? — спрашивает опять тоненьким голосом любознательное дитя.

— Да, мой друг, да,— отвечает маменька, чтобы не вдаваться в длинные объяснения.

— Это у него пика?

— Пика, пика.

Между тем пика Видостана, направленная в грудь зверя, который успел уж подняться на дыбы, не оказав, однако ж, особенной крепости в задних ногах, пика Видостана сделала свое дело: зверь зарычал еще громче и свалился в днепровские волны. Долго еще барахталось кровожадное животное, упавшее в воду, по-видимому довольно неловко, и долго издавало глухие стенания, но никто уж не обращал на него внимания, потому что жестяной лист, потрясаемый за крайней кулисой справа руками деятельного антрепренера, издавал таинственно-грозные звуки, подобные отдаленному рокотанью грома, и под эти таинственно-грозные звуки из-под струй днепровских возникла прекрасная дева Леста с распущенными по плечам русыми косами, с фольговою диадемой на челе, в белой, усыпанной золотыми блестками одежде.

В зале раздалось несколько сдержанных рукоплесканий, звук которых можно сравнить с тем звуком, какой издали бы штук десять блинов, брошенных один за другим на пол с высокого потолка.

«Остановись!» — раздался незримый хор пяти-шести женских голосов, и Видостан остановился, пораженный чудным видением...

— Мама, это она откуда? это она из-под полу вылезла? — спрашивало дитя.

— Ну да... Перестань ты говорить! вот я не возьму в другой раз,— отвечала маменька.

И дитя умолкло.

Госпожа Живягина употребляет некоторые усилия, чтоб изобразить страстную любовь во взоре своих маленьких глаз, обращенных на супруга. Эти усилия для вернейшего воспроизведения отношений днепровской русалки Лесты к полоцкому князю Видостану оказываются совершенно излишними, потому что даже из первого ряда кресел, занятого цветом губернского общества, едва можно различить черты лица госпожи Живягиной. Опершись на копье, Видостан внемлет сладостному пенью водяной нимфы.

Леста поет — поет о кратких днях миновавшего блаженства, о восторге погибшей любви, о страстных клятвах — увы! нарушенных... Хорошо поет Леста, и незримый хор русалок гармонически заключает ее грустную мелодию.

«Трру-ту-ту... трррру-ту-ту-ту...» — слышится зов охотничьего рога; но не слышит этого зова крутоусый Видостан, глядя в унылом недоумении на днепровские волны, уже успевшие принять в свое холстинное лоно очаровательную деву.

«Трру-ту-ту...» — раздается опять, и прежняя пестрая ватага, предводимая смушковой шапкой и чулками в лентах, высыпает на сцену, оглашая ее громкою песней:

Трубят! нас зовут —
И знак подают,
Что зверь низложен,
В крови обагрен.

— Какое странное приключение! — говорит несколько сиплым басом великолепный Видостан, опустив голову, полную тревожных дум.— Что я видел?

Из-за кулисы, выпустившей на сцену толпу охотников, выходят два новые лица: это конюший и ловчий Видостана — Тарабар и Остан. Тот, у которого для пущей комичности его фигуры приделано искусственное брюшко,— Тарабар; другой, худенький и тонконогий,— Остан. Что первый — конюший, а второй — ловчий, в этом вы можете удостовериться из афиши, хотя по костюму они нисколько не отличаются один от другого; на обоих длинные сапоги, на обоих нечто вроде куцых венгерок, на обоих черные шляпы с маленькими полями и очень узкою вверху тульей... Виноват, разница есть: конюший безоружен, а у ловчего за плечами ружье.

Посмотрите, пожалуйста, на походку Тарабара, сильно затрудненную фальшивым животом!.. Мрачная сторона партера уж помирает со смеху. Рекомендую вам: это первый комик, господин Гудков! Конечно, чтоб оценить его вполне, нужно видеть этого артиста не в «Русалке», где очень мало простора для таланта исключительно комического; но посмотрите, как смешно повертывает он во все стороны свою раскрашенную физиономию и семенит ногами, отвечая на вопрос Видостана: неужели они, Тарабар и Остан, ничего не видали? «Я ничего не видал, кроме леса (и он показывает на лес, вывертывая ладонь) да воды (и он так же показывает на воду)».

К несчастью, я не могу сказать ничего в похвалу господина Румаковского, исполняющего роль Остана. Амплуа этого артиста — так называемые первые любовники, и на этот раз он является ловчим Видостана единственно потому, что может хоть сколько-нибудь сносно спеть два-три музыкальные номера роли Остана. Часто восхитительный, когда он на своем месте, теперь Румаковский (не могу скрыть этого) плох, или, лучше сказать, так бесцветен, что почти никто из зрителей не замечает и присутствия его на сцене. Итак, оставим его пока в стороне и устремим лучше слух и сердца наши к раздавшемуся снова пению очаровательной Лесты...

Приди в чертог ко мне златой!

Не знаю, производят ли слова и мелодия этой песни и на вас, читатель, такое же волшебное обаяние, как на меня; но мне сладко думать, что вы поймете меня, если я скажу, что призывный романс днепровской нимфы, кто бы ни пел мне его, охватывает волнением мое сердце.

У меня была когда-то тетушка, отлично игравшая на гитаре и обладавшая самой восторженной душой, которой не обвеяли холодом длинные года безбрачного одиночества. От нее-то услыхал я в первый раз этот романс. Склонив к худощавому плечику маленькую голову свою, которой крошечная коса, осененная высокой резной черепаховой гребенкой, придавала оттенок тихой меланхолии, тетушка слегка щипала струны гитары, и бледные уста ее нежно звали «драгаго князя»...

Приди в чертог ко мне златой!

Давно уж холодная могила взяла в свое таинственное лоно девственную певицу; вероятно, давно уже и гитара, которой, конечно, пришлось после смерти своей владетельницы звучать в иных руках иными песнями — может быть (как знать!), каким-нибудь «Спирькой», какою-нибудь «Феней»,— давно уж и гитара эта исчезла с лица земли, не оставив по себе ни осколка; давно уж слух мой избалован великими певицами и великими певцами, мелодиями Моцарта, Россини... Но доныне люблю я внимать симпатичному голосу моей грустной тетушки, поющему мне из темной глубины воспоминаний страстную песню русалки...

Приди в чертог ко мне златой!

Бедная тетушка! сколько лет напрасно призывала ты «драгаго князя»! сколько лет только тайным мечтам твоим представал обаятельный призрак!.. Слезы несбыточных желаний трепетали в ее голосе, и столько правды было в ее пенье, исходившем как будто из самых недр ее любящего сердца, что пятнадцатилетнюю голову мою невольно отуманивали блаженно-мучительные грезы. Под влиянием тетушкина пенья привык я думать, что именно так, такими словами и такими звуками кликнет меня первая любовь в свои желанные объятия; из шороха темных деревьев нашего сада, из тихого шепота мелких струй ближайшей речки ждал я милого зова, ждал столь знакомых слов:

Приди в чертог ко мне златой!
Приди, о князь ты мой драгой!—

ждал в особенности страстного заключения:

Хочу твоею только быть—
И одного тебя любить!

Шумели надо мной зеленые ветки, играло солнышко в синем зеркале речки; но незримая рука не осыпáла меня, как Видостана, свежим дождем душистых листьев, незримая дева не манила меня песней в свои золотые чертоги...

Хочу твоею только быть—
И одного тебя любить!

Счастливый Видостан!

— Кто ты такова, прелестная певица, восхитившая чувства мои? кто ты такова? — спрашивает он тем же несколько сиплым басом, молодцевато выставив вперед правую ногу.

Но громкие рукоплескания не позволяют Лесте, явившейся уже посреди двух полос холстины, отвечать своему возлюбленному. Публика требует повторения романса, и только два голоса бессильно пытаются нарушить неуместным шиканьем дружный клик всеобщего одобрения.

Госпожа Живягина улыбается в темной глубине сцены; она раскрывает уста...

Приди в чертог ко мне златой!
Приди, о князь ты мой драгой!
Там все приятство соберешь,
Невесту милую найдешь.

— Браво! брра-во! брррa-вво!

За кулисой номер второй эти восклицания производят не совсем приятное впечатление. Изумрудные глазки юной девицы Нарукович, обращенные на госпожу Живягину, сверкают сильной досадой; плечи ее, только что начинающие округляться, но уж выставленные напоказ из-под розового атласного платьица, передергиваются, выражая неудовольствие.

Собственно говоря, девице Нарукович не следовало бы так волноваться, потому что ей сейчас придется поправить венок на своей темнокудрой головке и выпорхнуть на сцену... На этот раз она — Лида, дочь царицы днепровских русалок.

Девица Нарукович еще ребенок; но не верьте, пожалуйста, Лесте, когда она будет говорить про Лиду, что «четыре только раза видела она цветущие древа»... Это неправда; не четыре раза, а, наверное, пятнадцать раз. Увы! несмотря на свой весенний возраст, девица Нарукович уже обуревается страстями, которые можно назвать по преимуществу театральными; страсти эти — славолюбие и желание блистать. Уж теперь девица Нарукович не может простить ни одной женщине, красующейся на подмостках, воздвигаемых то там то здесь кипучею деятельностью ее родителя (который и есть содержатель труппы), не может простить ни малейшего успеха, ни малейшего достоинства, способного обратить на себя чье-нибудь увлаженное любовью око, не может простить даже и нового платья, новых сережек или чего-нибудь подобного... Правда, случаи последнего рода представляются чрезвычайно редко: проходит иногда год, полтора года, прежде чем у кого-нибудь появится обнова; но все же случаи такие бывают, и надо видеть тогда, какой сердитый огонь сверкает в ее глазках.

Глазки у девицы Нарукович, как я уж имел случай заметить несколько выше, изумрудные, то есть темно-зеленого цвета; они осенены длинными и темными ресницами и постоянно служат проводником наружу чувств, которыми занимается втайне сердце милой девицы. Девица могла бы назваться очень хорошенькою, если б маленькое лицо ее с несколько приподнятым носиком и тонкими, но очень приятно обрисованными губками не меняло чуть не каждую секунду выражения. Натура ли уж была такая бойкая у девицы Нарукович, привычка ли в этом виновата — право, не знаю хорошенько; только черты лица ее никогда не на-

ходились в спокойствии. Девица Колчанова, отличавшаяся большою нетерпимостью в домашнем быту, хотя на сцене и была постоянно великою смиренницей, не раз очень желчно замечала про юную дочь содержателя: «Эк! вся искобенилась!.. Только и знает, что разные фигуры выкидывать перед зеркалом... кошка противная!» Как ни досадно мне это, а я должен признаться, что девица Колчанова была не единственным членом труппы, находившим, что юная Нарукович похожа на кошку, особенно когда сердится...

Была ль она похожа на это животное, или нет в ту минуту, как, стоя за кулисой номер второй, досадовала на неожиданный успех госпожи Живягиной в роли Лесты — этого нельзя было приметить при жалком освещении; когда же выступила она на сцену, на лице ее изображалась веселая и приветливая улыбка, которой, впрочем, вовсе не стоили зрители: они не дали себе труда ободрить хотя слабым рукоплесканием молодую жрицу драматического искусства.

От этого холодного приема голос девицы Нарукович оказался не совсем ровным, и слова роли ее, которые произносила она детски картавя (это было ее недостатком), почти не слышались во глубине партера. И смех Лиды над Тарабаром, и вертлявость ее, и лукавый вид, когда она грозит пальчиком Видостанову конюшему,— вышло несколько бледно...

Но суфлер постучал об окраину своей конуры щипцами, которыми только что поправил огарок, очнулись дремотные музыканты, и девица Нарукович начала входить в роль.

— «Посъюсай-ка,— говорит молоденькая русалочка,— сто мне ясказывая матуска об вас, невейных мусцынах!»

Как восхитительно произнесены эти слова! сколько лукавства и кокетства в этой притворной наивности!

Смычки коснулись струн... Внимание! внимание!

С какой надеждой, в то время как раздается ее тоненький голосок, обводит девица Нарукович зрителей своими изумрудными глазками! Хлопайте, господа, хлопайте!

Песня кончена; но у этих зрителей вместо сердец куски льда в груди! Слабые аплодисменты едва нарушают мирную тишину залы, и девица Нарукович ускользает за кулису номер третий со слезинкой на реснице.

После нескольких слов, комически, с очень смешным подмигиваньем произнесенных Гудковым, раздается зво-

нок за кулисами. Тарабар удаляется, и сцена остается совершенно пустою.

Еще звонок.

Пока происходит на подмостках так называемая «живая» перемена декораций (живости при этом оказывается обыкновенно очень мало), перенесем взор наш на залу, вмещающую зрителей.

Если стать у дощатой, давно расшатавшейся загородки оркестра, оборотясь спиною к сцене, то увидишь очень немного... увидишь именно первые четыре ряда кресел (так называются старые, выкрашенные черною краской стулья с жесткими кожаными подушками и прямыми спинками) — и только. Четыре-пять дальнейших рядов, уставленных скамейками без подушек и спинок, теряются уже в тумане, который превращается в совершенную ночь у покатого возвышения, замыкающего залу. Это покатое возвышение, очень похожее на противуположную ему сцену и крепко забранное толстыми досками, назначается специально для публики низшего сорта, и за неимением скамеек зрители должны там стоять. Лож вовсе нет.

На обшитых полинявшим тесом стенах, вмещающих в себе театр и его посетителей, висят восемь ламп, которые слабо мерцают, покрывая копотью невысокий потолок и стекла, ограждающие их светильню, большею частью порядком пооббитые. Как ни хлопочет о ясности ламп долговязый человек с рыжими вьющимися волосами, облеченный в темно-синюю чуйку, лампы не изменяют своего слабого мерцания в полный свет и продолжают устрашать собой сидящих поблизости зрителей.

Порой зритель, имевший, можно сказать, истинное несчастие занять место у самой стены, вдруг с заметным беспокойством отводит глаза от сцены, быстро бросает косвенный взгляд на лампу, под которою сидит, и потом так же быстро, с тревожным выражением в лице, повертывается к соседу, стараясь обратить его внимание к себе на плечо и на лопатку.

— Будьте так добры, взгляните, пожалуста: кажется, капнуло.

— Где-с?

— Тут вот, на воротник... Самому не видно.

Сосед смотрит с большим вниманием.

— Нет-с, ничего незаметно.

— Слава богу! Покорно вас благодарю. Беда здесь си-

деть под лампой; беспрестанно боишься: совсем новую шинель недавно изгадил... Сижу себе, смотрю на сцену и не воображал вовсе, что на меня кап да кап из лампы... Пришлось сукна прикупать на краген [1]. И теперь как нарочно опять угодил под лампу; того и гляди — обольет.

О! как странно изменчиво все на этом свете! Как непонятно играют судьбы всем подлунным, начиная с людей и кончая делами рук человеческих! Вот хоть бы это старое здание, куда собралось, конечно для развлечения, общество города Камска... Не далее как два года назад в утлых стенах этого угрюмого дома, теперь почти целиком превращенного в одну сплошную залу, не было угла, где можно было б найти что-нибудь способное возбудить такие чувства, какие возбуждаются здесь теперь Напротив, все наводило тоску на сердце, нагоняло в голову темные мысли. В этом пространстве, которое оглашается ныне гармонией, производимой совокупными усилиями трех скрипок, контрабаса, кларнета и литавр; где раздаются игривые нотки, выводимые с таким искусством приятными голосами госпожи Живягиной и девицы Нарукович; где рисуется статный Видостан; где почти каждое слово, каждое телодвижение брюхатого Тарабара производят неудержимую веселость в мрачной части партера именуемой в афишах парадисом (цена десять копеек),— в этом пространстве, говорю я, еще не так давно раздавались звуки совсем другого рода. Клетки, на которые было оно разгорожено (комнатами назвать их нельзя), были населены самыми странными жильцами, и ни один из этих жильцов, несмотря на свою в высшей степени игривую фантазию, на свой неподдельный юмор, не насмешил бы вас, как Тарабар, не пленил бы, как Леста, Лида и Видостан, не утешил бы ни слуха вашего, ни взора, ни сердца. Про каждого из обитателей угрюмого дома можно было сказать словами Пушкина, что зверь узнает в нем брата. Так, например, учителя уездного училища, который был совершенно убежден, что он вовсе не учитель уездного училища и не человек даже, а волк, пришлось посадить на цепь, потому что он постоянно чувствовал желание кусаться; связав его буйные члены, нельзя было связать его рта: он изгрыз в кровь свои руки и наполнял ужасным, диким воем свою конуру, откуда вой этот разносился и по всему кварталу. Мещанин, зачитавшийся каких-то

[1] воротник (от *нем.* Kragen).

премудростей, не смущаясь оглушительным воем мнимого волка, распевал в соседней клетке какие-то неслыханные рапсодии и, как кажется, употреблял все усилия, чтобы потрясти пением своим если не стены, то по крайней мере оконницы своего тесного жилья. Молодая бабенка, потерявшая вследствие испуга дар слова, но сохранившая способность мычать; старуха, причитавшая и голосившая с утра до вечера над воображаемым мертвым телом, привезенным из лесу; худой и длинный человек с посоловевшими глазами, аккуратно через каждые две минуты восклицавший во все горло: «Пожар! горю!»; другой, коротенький и опухший, вторивший судорожным хохотом, от которого багровели белки его глаз, неугомонному пению соседа своего, зачитавшегося мещанина; девушка с бегающими по сторонам глазами, которая неутомимо рассказывала самой себе бесконечную, но тем не менее бестолковую историю о каких-то семидесяти пяти самоварах, кипящих в ее брюхе, а потом о семидесяти пяти брюхах, кипящих в самоваре,— этот концерт способен был оглушить и ошеломить человека со здоровой головой, зашедшего из любопытства в грустное жилище безумия, способен был сделать из самой здоровой головы самую больную. Только и можно было уцелеть тут с таким топорным организмом, каким обладал Тертий Степаныч Мальков, с лишком двадцать лет вращавшийся в качестве смотрителя в среде сумасшедших. Впрочем, и этот достопочтенный муж, при всем бесстрастии своем, нередко совершенно терял терпение от раздававшейся вокруг него разноголосицы... С видимым отчаянием ерошил он свои редкие волосы, сердито топал ногой и восклицал не тише пациента своего, призывающего на пожар: «Эк орут! господи! точно давят их». И шел Тертий Степаныч колотить дубинкой в каждую дверь и громко кричал: «Эй вы! зверинец! тише у меня!.. забыл палку? а?»

И вот где водрузило знамена свои искусство! вот где производится мирное служение девственным музам! Как смутились бы эти чистые девы, если б узнали, какие песни распевал тут некогда мещанин, зачитавшийся разных премудростей!

Осип Фомич Нарукович, или, как обыкновенно зовут его за глаза все актеры и актрисы, просто Фомич, нисколько не был смущен, когда местные власти города Камска предложили ему для его спектаклей упраздненный дом сумасшедших; напротив, он крепко обрадовался возможности

занять без всякого возмездия опустелое здание, в котором для полного удобства стоило только разрушить многочисленные, но уж очень обветшавшие деревянные перегородки. Дом сумасшедших... В этих словах не обреталось для Фомича ничего такого, что могло бы заставить хоть на минуту призадуматься его грушевидную голову. Надо, однако ж, и то сказать: в каких местах не играла его труппа!.. Играла она и на постоялых дворах, и в уездных или приходских училищах, и в бывших казармах, и в очищенных больницах, и в старых острогах, и в упраздненных жандармских конюшнях. Да и не все ли равно, где поместиться? Главное — сбор; только сбор-то сделать бы хороший!

К несчастью, последний пункт не всегда, далеко не всегда удовлетворял желания содержателя... В каждом городе непременно находилось какое-нибудь упраздненное здание, и местные власти, почти всегда взирающие покровительственным оком на таких увеселителей публики, как Фомич и его труппа, охотно предлагали его к услугам странствующих артистов; но — увы! — не везде находились сердца, способные биться любовью к искусству, или по крайней мере находились не в таком количестве, чтоб жаром своим поддерживать энергию Фомича и его сотрудников.

В этом отношении и город Камск был, если хотите, не совсем удовлетворителен, хотя все-таки жителей его, по степени любви к искусству, никак нельзя и сравнивать с жителями некоторых других городов, посещенных бродячею труппою Наруковича: так, например, в городе Бенделее (двенадцать тысяч жителей, собор, гимназия и острог) на первом представлении Фомича было всего — вы, пожалуй, не поверите — двадцать посетителей, из которых четверо явились бесплатно (и еще какую восхитительную пиесу давали — «Чертову мельницу»); в городе же Тугарине (восемнадцать тысяч жителей, тоже собор, тоже гимназия, тоже острог и вдобавок институт для благородных девиц) составился абонемент из... шести человек!..

Конечно, если судить о степени артистического образования города Камска по числу зрителей, собравшихся на представление «Русалки», то Камску следует вручить лавр предпочтения не только пред Бенделеем и Тугарином, но и пред Шимханском, Гороховом, Бубенцом и еще многими другими городами... Но не надо забывать, что «Русалка» играется в Камске в первый раз, а труппа Наруковича

играет, как гласит афиша, «в последний раз перед отъездом»; не надо забывать, что Фомич проездил по меньшей мере два целковых на извозчике, странствуя с одного конца города в другой с приглашением помочь его стесненным обстоятельствам и с кучею билетов в карманах.

Как бы то ни было, а народу собралось в театр очень много, и душа Фомича ликует, хотя лицо его, поминутно обращающееся за кулисами то к тому, то к другому члену труппы, не выдает его глубоко затаенной радости.

И какая публика! самая отборная!

Зато и Нарукович не ударил себя в грязь лицом. «Русалка» была сыграна как нельзя более удовлетворительно. Все шло очень благополучно, за исключением маленькой неприятности, случившейся еще в самом начале пиесы с медведем: он, неловко упавши в Днепр, до крови ссадил себе щеку о гвоздь, который очень некстати торчал из половицы. Все актеры и актрисы заслуживали одобрения публики, хотя и не все получили его. Не говоря уж об упомянутых выше, хороши были и те, кому выпали на долю роли второстепенные.

Хорош был господин Решилов в роли Славомысла, хотя роль эта и не относится к его амплуа — амплуа благородных отцов и богатых дядюшек. Голос его, обыкновенно чересчур глухой и как бы выходящий не из уст, а из носу, придавал особенную важность каждому слову, им произносимому.

Хороша была и девица Колчанова со своим вечно смиренным видом, так идущим к характеру прелестной дщери Славомысловой, Милославы... Только жаль было прелестей госпожи Колчановой, которые много теряли от слишком увядшего ее костюма: позументы, украшавшие сарафан ее, напоминали цветом своим кастрюльную медь.

Девица Сизогубова, столь искусная в исполнении ролей сварливых женщин, создала со свойственной ей художественностью комическое лицо Ратимы, няньки Милославиной, и в сценах ее с Тарабаром публика решительно не знала, кому отдать первенство: Гудкову ли, или девице Сизогубовой. Хорош был Гудков, когда повторял, заслонив от Ратимы ладонью лицо свое: «О драгоценное терпение!» или «Этакое сокровище мне навязывается!» Но превосходна была и Сизогубова, когда, узнав, что Тарабар занимает должность конюшего при Видостане, она говорила со стыдливой улыбкой: «Это что-нибудь да значит... У меня был

жених также конюший... Это что-нибудь да значит!» или когда уверяла, сузив губы воронкой, что она «честная, смиренная девица» и что будет очень рада, если «добрый молодец (Тарабар) приехал освободить ее от тягости незамужнего состояния».

Пламид — этот хитрый соучастник Зломиры (девица Сизогубова-младшая) и неудачный любовник Милославы — был очень удачно воспроизведен господином Милоглядовым. Милоглядов — лицо, к несчастью, не принадлежащее к труппе: только из дилетантизма и чтоб вывести из затруднения Наруковича, в ведении которого не хватало для «Русалки» одного сюжета, решился Милоглядов сложить с себя на один вечер сан писца в конторе управляющего питейным откупом и принять на себя звание актера, далеко не столь почтенное. И содержатель труппы и зрители остались очень довольны его игрою. Милоглядов не сробел. Голос, каким читал он свою роль, правда, не совсем соответствовал свирепому характеру Пламида, но зато звучал так же ровно и твердо, как звучит обыкновенно в конторе, при поверке счетов из разных питейных домов.

Несмотря на вычерненные жженой пробкой брови и выведенные этим же способом усы, белобрысый Милоглядов был при первом появлении на сцене узнан своим начальником.

Приятная улыбка озарила лицо почтенного Семена Иваныча Фуфаева. Он наклоняется к уху своего соседа, председателя казенной палаты, с которым, как и подобает человеку его звания, связан очень дружескими отношениями, и говорит:

— Посмотрите-ка, Василий Астафьич! посмотрите-ка!

— Что такое? — спрашивает Василий Астафьич, оглядываясь, неизвестно почему, назад.

— На сцену посмотрите!

Председатель устремил было глаза на сцену, но тотчас же снова обращает к соседу свое лицо, на котором выразилось недоумение.

Управляющий питейным откупом подмигивает.

— Не узнали?

— Нет... кого?

— Рыцарь-то, рыцарь-то!

Председатель опять взглядывает на сцену и опять-таки ничего не может взять в толк.

— Да ведь это мой Василий!

— Будто бы?

— Разве вы не видали на афишке? Целиком выпечатано. Вот взгляните!

— Да, точно. Я ведь, признаться, и забыл, что он по фамилии-то Милоглядов.

— Как же, как же! Милоглядов... Василий Милоглядов.

И оба смотрят с большим вниманием.

Когда Пламид уходит со сцены, Василий Астафьич даже ударяет в ладоши (в задних рядах ему вторят) и потом, снова обратясь к соседу, замечает не без некоторой важности:

— Ведь недурно играет.

— Да, ничего,— подтверждает начальник Милоглядова,— есть талантик. Он уж давно норохтится в актеры; да я все не пускаю: крестник ведь он мой.

— Что, какая тут ему дорога?

— То-то и есть. Малый он честный, и почерк у него такой славный. Я его в поверенные готовлю. А ведь тут что? сопьется с кругу — и только.

— Конечно.

Когда началось второе действие пиесы, Фомич, постоянно семенивший за кулисами и деятельно распоряжавшийся, исчез с поля своей деятельности. Это доставило большое удовольствие долговязому рыжему детине в чуйке, которому было вменено в непременную обязанность присматривать за лампами и снимать со свечей за кулисами и у рампы (последнее, во время антрактов и живых перемен, из оркестра); детина служил предметом неусыпного внимания антрепренера; но во внимании Фомича было так мало поощрительного, что щипцы беспрестанно содрогались в неуклюжих руках ламповщика и светильня свечи то и дело оказывалась срезанною донельзя.

— Опять... опять погасил! — восклицал тогда Наруквич, хватаясь за виски и отчаянно качая головой.— Экие лапищи!

— Ты бы еще под руку-то побольше кричал!— бормотал с досадой ламповщик, так, однако ж, что Фомич не мог разобрать слов.

Тем не менее бормотанье ламповщика не оставалось без ответа, и Фомич замечал обыкновенно:

— Потолкуй еще, милый! потолкуй!

И счастлив был долговязый детина, когда Фомича отвлекала от него какая-нибудь иная забота: или надо было

произвести гром или «глухой гул», которыми обыкновенно сопровождалось каждое появление на сцене и каждое исчезновение со сцены днепровской русалки; или следовало крикнуть девице Колчановой: «Машенька, вам, вам выходить!»; или требовалось привести в движение какую-нибудь искусно устроенную машину, вроде, например, утвержденной на шесте доски, которая долженствовала изображать собою крыло ветряной мельницы и, зацепясь приделанным к ней крюком за пояс Тарабара, доставить господину Гудкову возможность поболтать ногами на воздухе и посмешить почтеннейшую публику.

Фомич (как я сказал уж) исчез с подмосток в начале второго акта. Впрочем, верзила ламповщик недолго наслаждался спокойствием — не больше пяти минут.

Нарукович явился снова, но уж не в прежнем длиннополом сюртуке своем горохового цвета, а в фантастическом облачении. На голове его красовалась черная картонная шапка, имевшая вид опрокинутой воронки или, если хотите, шлема; спереди вместо козырька был к ней пришит лоскут черной тафты с двумя дырочками для глаз (забрало). Толстое туловище Фомича было все обтянуто черным коленкором; на плечах нечто вроде куртки; куртка подпоясана черным кушаком с медной бляхой на животе; на ногах узенькие штаны. Сверх этого одеяния, имевшего назначение представлять собою черные латы, на фантастического рыцаря была накинута огромная белая простыня, которою почтенный Нарукович мог превосходно драпироваться.

Хотя простыня беспрестанно сползала у него с плеч и попадала ему под ноги, однако она не помешала Наруковичу, тотчас по появлении его за кулисами, приняться с прежнею деятельностью за распоряжения.

— Эй ты! ты! милый! — обращался он то и дело к злополучному ламповщику,— опять вон свечка оплыла?.. опять?.. Ты, кажется, кулисы у меня сжечь хочешь!

Но вот, бросаясь со сцены, прекрасная девица Колчанова чуть не сшибает содержателя с ног; он торопливо обращается к Румаковскому, который давно уж вследствие отданного приказания вооружился жестяным листом, и торопливо произносит:

— Ну, братец, ну!

Гром гремит; Фомич закутывается в простыню и медленными шагами выступает на сцену.

Публика ободрительно и одобрительно рукоплещет, и Нарукович, откинув немного полы своей белой мантии, тихо раскланивается и прикладывает к сердцу правую руку. Рукоплескания так усиливаются, что за ними вовсе не слышно первых слов, произнесенных Фомичом.

— «Почтенный дух! — спрашивает Видостан, картинно выставив вперед правую ногу,— кто ты таков?

— Неужели ты не узнал меня по этому одеянию, в котором отправился я на брань против гордых врагов?»

Привидение (такова роль Наруковича) широко распахивает простыню, и черный коленкор его доспехов блестит даже при слабом освещении. Доспехи употребляются редко, и потому они довольно новы; только панталоны утратили отчасти прежний глянец, потому что служат чаще куртки, именно для костюма мэров, судей, нотариусов, подьячих и вообще всяких как русских, так и иноземных крючков.

— «В этой броне вкусил я сладчайшую смерть, сражаясь за отечество! — продолжает Нарукович, и торжественный звук его голоса нимало не напоминает той интонации, с какою раздает он закулисные приказания: кажется, будто на этот раз Фомич превратился в брандмейстера, распоряжающегося на пожаре.— В этой броне погребен я на ратном поле!»

Кусок черной тафты, скрывавший от публики и Видостана черты почтенного артиста, приподымается, и публика и Видостан видят белое, как мука, лицо.

— «Видостан! — грозно произносят губы этого лица,— когда возвратишься ты в свое владение, то пойди в ту храмину, в которой находятся изображения твоих прародителей, посмотри на мое изображение и заметь черты старого прародителя твоего Мечида.

— Почтенная тень!..» — восклицает молодцеватый Видостан.

Публика, должно полагать, очень довольна игрою содержателя странствующей труппы, потому что каждая фраза, произнесенная этим почтенным мужем, возбуждает аплодисменты, к которым дают сигнал лица, украшающие собою первые ряды кресел.

Нарукович, с своей стороны, тоже очень доволен благосклонностью к нему лучшей части общества города Камска и в первый раз сожалеет, что неудобство помещения не дало возможности устроить в сцене провал, куда привидение,

теперь по необходимости просто скрывающееся между кулисами номер второй и номер третий, могло бы так эффектно исчезнуть при вспышке синеватого пламени.

Не раз слышались раскаты грома; не раз получала всеобщее одобрение героиня пиесы, являвшаяся и в виде старухи, с повязанною по-мещански головой, и в виде барыни, в шляпке с пером, и в виде пустынницы, с посохом в руках, и в виде молдаванки, более похожей на татарку, и еще в каких-то видах; не раз, возбуждая смех, ссорились Ратима и Тарабар; не раз трубили охотники; не раз раздавался незримый хор русалок; немало помучился Гудков, мотаясь на крыле ветряной мельницы и попавшись в лапы чудовища (с рожками и хвостиком), которое умчало его под самый потолок... Наконец поднялся задний занавес, и очам зрителей открылись чертоги Лесты, озаренные бенгальским огнем...

— Браво! Живягина!

— Гудкова!

— Живягину!

— Наруковича!

— Всех!

— Брррраво!

Дым, произведенный бенгальским огнем, не позволил публике заметить, явились ли вызванные артисты засвидетельствовать ей свою глубочайшую признательность, и зрители поспешили покинуть сильно надушенную порохом залу.

Через час ни единой души не оставалось уже в бывшем доме сумасшедших; чадный мрак господствовал в нем, и глухая тишина только изредка нарушалась вознею крыс, которые скреблись где-нибудь в углу или пробегали по звонкому полу сцены.

ГЛАВА II

Бездомная стая

Нравы города Камска отличались по преимуществу семейным характером; в нем существовал только один трактир, и то при гостинице для приезжающих. Единственное заведение это носило наименование «Магнита», хотя, по мнению моему, далеко не обладало привлекающими или привлекательными свойствами. Хмурый вид имели невы-

штукатуренные и невыбеленные кирпичные стены двухэтажного здания, посвященного кормлению и поению бессемейных путников житейского моря; едва ли еще не угрюмее смотрели внутренние стены «Магнита». Тяжелые потолки с изображениями каких-то корзинок и голых купидончиков, изображениями, давно покрытыми коричневою копотью; люстры массивного вида и дешевой цены, увешанные наполовину оббитыми продолговатыми стеклышками, которые издают жалобный робкий звон, когда трактирный слуга летит из одного угла в другой по полинявшему полу; неизбежная принадлежность каждого мало-мальски благоустроенного трактира — огромные картины в старых полинявших рамах, картины неведомых миру художников, мрачная кисть которых начертала не в одном экземпляре зеленое лицо и желтые плечи добродетельной римлянки, питающей грудью заключенного в темницу престарелого отца; громада-буфет, сверху донизу испещренный синими и розовыми с золотом узорами пузатых чайников и плоскодонных чашек, разноцветными и затейливыми ярлыками штофов, полуштофов и бутылок, и у этого буфета худое и рябое лицо «малого» с двумя жидкими клочками желтоватых волос вместо бороды; крашеные столы, покрытые толстыми скатертями с какими-то фантастическими рисунками; старая шарманка в углу, прилаженная на крестообразно сложенных ножках, которой, впрочем, очень редко приходится выть и визжать какие-нибудь «Не белы снеги» на услаждение слуха и сердца трактирных посетителей; половые разбитного вида, с бородками и лоснящимися лицами, с раздувающимися рубашками, которым, то есть рубашкам, часто поневоле приходится спахивать пыль со столов; карта в белой рамке без стекла, вся засиженная мухами, из которой значится, что в заведении можно получать, кроме столь обыкновенных поросенка под хреном, селянки и битка с луком, и такие изысканные блюда, что выговорить трудно... все это было, если хотите, в порядке вещей, то есть в порядке трактиров, но, опять скажу, вовсе не стоило того, чтоб называться «Магнитом». Конечно, бильярд, помещенный по соседству с кухней, в одной из дальних комнат, мог бы отчасти оправдать наименование трактира как единственный бильярд во всем городе; но сукно его было так изношено, борты так похожи по упругости своей на кирпич, а лузы —на широкие рваные карманы, что желающих катать по этому зеленому полю кри-

выми киями обколоченные со всех сторон шары оказывалось очень мало.

Основатель и содержатель «Магнита» купец Сундуков, вероятно, вовсе не думал о несообразности фирмы своего заведения с его сущностью: «Магнит», совокупно с гостиницею для приезжающих, доставлял ему очень изрядный доходец.

Должно полагать, что и актеры странствующей труппы Осипа Фомича Наруковича вовсе не были согласны с моим взглядом на «Магнит»... Во все продолжение шестимесячного их пребывания в городе Камске не было, я думаю, дня, чтобы хоть кто-нибудь из них не зашел в трактир — либо выпить водки и закусить, либо отвести душу чайком.

Так и после представления «Русалки» несколько членов труппы отправилось подкрепиться в заведение купца Сундукова. Сигнал к движению туда был подан Живягиным, который, надвигая себе на лоб старую шляпу, справедливо заметил, что много они нынче пели, да мало ели.

Дилетант-писец, исполнявший роль Пламида, весь сиял возвышенным восторгом. Он готов был заключить всю вселенную в свои объятия. Вот почему, услыхав слова Живягина, он немедленно пригласил его в трактир напиться чаю и закусить.

Ему хотелось бы возблагодарить таким образом и всю труппу за данное ему местечко в ее среде; но в кармане у него было очень не густо, и он поневоле ограничился только главными артистами.

На приглашение Милоглядова, обращенное к самому главе труппы, Нарукович отвечал отрицательно.

— Некогда мне, некогда, милый.

— Хоть на несколько минут, Осип Фомич.

— Не могу... и рад бы, милый, не могу.

— Стакан чаю...

— В другой раз когда-нибудь, теперь некогда — ей-богу, некогда, милый.

Нечего делать! Милоглядов обратил к другим свое приглашение; кроме Живягина, предложил он чай и закуску Румаковскому, Гудкову и Решилову.

Решилов отказался. Вилкова, которым писец хотел пополнить беседу, не нашлось на подъезде театра, и гостей у Милоглядова оказалось всего трое.

От театра до трактира путь был не близок, но апрельский вечер дышал уж близостью мая, и груди было так легко на

чистом воздухе после чада и духоты театральной залы, что дорога никому не показалась длинною.

Когда три жреца драматического искусства разместились за небольшим столом в главной зале «Магнита», верно ни один посторонний наблюдатель, глядя на них, не подумал бы, что не дальше как за полчаса эти очень простые смертные были членами роскошного фантастического мира. Не говоря уж о других, и сам Видостан, переставший именоваться Видостаном, утратил чуть не на половину свое недавнее великолепие. Медный шлем сброшен, и на темени Живягина очень заметна изрядного объема лысина; белила с лица смыты, и цвет у него какой-то зеленовато-желтый, и все оно как-то болезненно оплыло. Даже и глаза как будто не так уж черны и ярки, как давеча. Только усы хранили прежний гордый вид да могучее телосложение оставалось, конечно, то же. Темно-синий сюртук Живягина, застегнутый на две нижние пуговицы, был сильно потерт и не раз заштопан под мышками благосклонною супругой трагика. Сапоги тоже не избегли бы ее рук, если б она смыслила что-нибудь в чеботарном мастерстве.

Одежда других актеров была ничем не лучше одежды Живягина. Гудков уже лет шесть почти не спускал с плеч своей некогда франтовской венгерки; шнуры, украшавшие ее края и швы, давно рассучились; шелковые кисти давно иссеклись; из двенадцати крючков уцелело только шесть. У Румаковского, как у первого любовника, были еще в запасе довольно сносные фрак и сюртук; но на этот раз он явился в трактир в старом пальто с продранным локтем.

Вообще и комик и первый любовник походили с виду больше на каких-нибудь разночинцев средней руки, чем на артистов... И не по одежде только! Самые лица их имели какое-то грубо-тупое и отчасти жалкое выражение. Румаковский очень часто гляделся в затусклое зеркало, против которого уселся; но это, может быть, свидетельствовало о его самолюбии, только уж никак не о красоте. Кажется, все было в нем очень недурно — и ярко вырисованные брови, и маленькие усы, и серые глаза, и довольно правильный нос, и волнистые темные волосы; но общее впечатление этих частностей было вовсе не в пользу Румаковского; кроме того, он был очень худ, и ярко-алый цвет его губ напоминал губы вурдалака.

Сравнительно с Гудковым Румаковский, однако ж, мог бы назваться даже красивым. Комик был просто безобра-

зен. Если б в роли Тарабара он и не подделывал себе фальшивого живота, публика потеряла бы немного: у него было собственное брюшко очень значительного объема, и вообще он отличался тучностью. Эта тучность не была, однако ж, следствием здоровья; Гудкову давно грозил паралич. Глаза почти исчезли за одутловатыми щеками, которые постоянно покрыты были сизо-багровым румянцем; подбородок казался лишним наростом; он только задерживал дыхание и производил хриплость в голосе. Последнее было, впрочем, не без пользы для сценических успехов Гудкова: он смешил вообще не столько своею игрой, сколько фигурой и голосом.

Заняв места около трактирного стола, все трое — и трагик, и комик, и первый любовник — смотрели невесело и молчали, вероятно вследствие сильной усталости. Только испещренное веснушками лицо Милоглядова озарялось постоянною улыбкой. Этот юноша (ему было не более двадцати трех лет от роду) каждым почти словом обличал свою крайнюю глупость; но, к счастью, был не многоречив и больше любил дело, нежели слова. В одно мгновение ока слетал он в буфет, где гостеприимный буфетчик немедленно распорядился сообразно наставлению Милоглядова. Половой Степан вооружился двумя чайниками, большим пустым и маленьким с засыпкой, и помчался за кипятком в кухню; половой Кондратий понес в залу графинчик водки, четыре рюмки и порцию какой-то соленой рыбы; сам редкобородый Андреяныч, распоряжавшийся за буфетом, занялся откупориванием бутылочки так называемого «ямайского».

Графинчик едва успел появиться на столе, как уж и опустел; зато взгляд собеседников стал несколько проясняться, и они прервали свое молчание.

— Вот оно и лучше как-то,— заметил Гудков, глубоко дохнув, — и лучше, как подобьешь фуфайку-то!

«Подбить фуфайку» на языке артистов значило — выпить водки.

— Еще бы! — согласился, с своей стороны, Живягин.— Вот я: не выпьешь водки после спектакля — такая гадость в голове.

— Ничего, не вредно,— подтвердил и первый любовник, закусывая ржаным сухарем.

Пустой графинчик сменился бутылочкой «ямайского» и прибором для чая, или, лучше сказать, для пунша.

— Отчего это Семен Михайлыч не пошел с нами? — спросил любитель-писец, разливая чай.

— Вот захотел! — отвечал Живягин,— да надо сначала аркан взять да на аркан его поймать... и на аркане-то, пожалуй, не вытащишь.

— Странный он, в самом деле, человек: так всегда дичится.

— Медведь! Эй, малый! трубку!

Дело шло о Решилове.

— Звал и Осипа Фомича,— сказал Милоглядов (в голосе его было столько же подобострастия, как в выражении лица и манерах),— тоже отказался. Некогда, говорит.

— Как же не некогда? Деньги надо раз десять пересчитать,— отозвался трагик.

— Ох, деньги! деньги! — жалобно воскликнул Гудков и зажмурился.— Долго не видать мне от него денег!

Милоглядов предложил робкий вопрос: отчего? Гудков отвечал, что Фомичу пришлось заплатить по счету из трактира столько, что он, Гудков, должен теперь заслуживать эти деньги чуть не полгода.

— Как это сумел ты столько задолжать? — заметил Румаковский.

— Да так же. На дню-то раз пять сюда завернешь. Пунш, другой, третий; водки, закуски... Полгода вот живем здесь. Ну клади хоть по полтине в день: трижды пять — пятнадцать... да еще пятнадцать... тридцать... тридцать... Ну, сколько там выйдет? Сто рублей выйдет.

— Да, почти.

— А сколько еще Андреяныч приписал! Это также в счет поставь.

Милоглядов, которому захотелось вмешаться в разговор, заметил, что расплата Фомича с купцом Сундуковым свидетельствует о его доброте. Впрочем, замечание это было произнесено очень нерешительно.

Гудков разразился хриплым хохотом, и щеки у него побагровели еще больше.

— Да,— сказал с сердцем Живягин,— говорят, добр и волк до овец, а все не то, что родной отец.

Милоглядов смешался.

— То есть я не то-с... я хотел сказать, что Осип Фомич человек аккуратный... честный...

Гудков опять покатился со смеху.

— Честный! — воскликнул трагик еще сердитее,— как же не честный! Черт чесал, да и чесалку-то потерял.

Милоглядов окончательно опешил и, не дерзая более произносить никаких суждений о Фомиче, принялся подливать своим собеседникам ром.

— Ромку-то, господа? ромку-то?

В то время как актеры усердно занялись пуншем, половой Кондратий из нижнего этажа, в котором помещался трактир, побежал во второй этаж, то есть в гостиницу для приезжающих, и там сообщил что-то наскоро коридорному служителю Ивану. Иван тотчас же пошел в номер пятый.

В этот вечер, когда на известной нам сцене происходило третье действие знаменитой оперы, во двор «Магнита» въехала новая, красивая бричка, запряженная тройкою почтовых лошадей. Из нее вышел очень щеголевато одетый мужчина лет двадцати пяти, много шести, высокого роста, белокурый, красивый и стройный. Он приехал один, без слуги. В отведенное ему помещение, состоявшее из двух довольно опрятных комнат, трактирная прислуга тотчас перенесла всю поклажу из брички. Ее было немного: чемодан, дорожный туалетный ящик, портфель, большой ковер и две кожаные подушки. Приезжий велел подать себе чаю. Чай принесли. Слуга, поставив поднос на стол, хотел удалиться, но приезжий остановил его.

— Погоди.

— Что прикажете-с?

— Есть в городе театр?

— Есть-с.

— Хорош?

— Не могу знать; не бывал-с.

— А хвалят?

— Вот Иван коридорный ходил не однова̀; хвалит-с.

— Много народу бывает?

— Народу не так-то, слышь, много; больше все господа-с.

Приезжий не мог не улыбнуться простодушному ответу.

— Кто содержит? — спросил он, помолчав.

— Купец Сундуков-с.

— А не Нарукович?

— Никак нет-с.

Слуга ухмыльнулся.

— Как же это мне сказали, что здесь Нарукович?..

— Никак нет-с.

— Да я что-то и не слыхал ни про какого Сундукова.

— Точно так-с... Сундуков...Гаврила Антипыч... Он содержит-с... Я уж у него пятый год-с...

Приезжий пристально взглянул на слугу.

— Да ты про кого говоришь?

— Про хозяина-с...

— Ты, брат, ужасно глуп; пошел вон и пошли ко мне кого-нибудь поумнее.

— Слушаю-с.

Слуга ушел в недоумении, отчего это показался он барину дураком.

— Иван! — крикнул он в коридоре,— поди в пятый номер.

— Да ведь ты оттуда!

— Тебя зовет.

— Что так?

— Иди знай.

Иван явился в номер пятый.

— Что прикажете, сударь?

— Как тебя зовут?

— Иваном, сударь.

— Коридорный?

— Точно так, сударь.

— Бывал в театре?

— Бывал, сударь; очень играют забавно.

— Кто содержит актеров?

— Нарукович, сударь, Осип Фомич.

— Часто играют?

— Два раза в неделю, сударь.

— Нынче есть представление?

— Представляют, сударь; в последний раз.

— Как в последний?

— Точно так-с.

— Едут, что ли?

— Едут, сударь.

— Не знаешь, куда?

— В Голодаев, сударь, на ярмонку.

— Скоро?

— Должно быть, на этих днях, сударь. Уж и хозяину нашему все сполна заплатили.

— Часто бывают здесь?

— Почти что каждый день.

— Пьянствуют?

— Всяко бывает, сударь.

— Ладно. Ступай!

Иван повернулся на пятках.

— А как ты думаешь, успею я теперь в театр?

Слуга остановился и сделал полуоборот.

— Не поспеете, сударь. Скоро, чай, и кончится. Начинают рано.

— А что дают?

— «Русалку», сударь.

— Жаль, поздно. Да не будет ли кто из актеров после спектакля здесь?

— Я думаю, что будут, сударь.

— Если кто из них придет, дай мне знать.

— Слушаю, сударь.

— Да вот возьми мой паспорт, отнеси хозяину.

— Слушаю, сударь.

Иван удалился. При слабом свете ночника, мерцавшем в коридоре, он узнал из полученного им документа, что приезжий — недоросль из дворян, Павел Павлов сын Литовцев.

Известившись чрез коридорного, что в трактире четверо актеров, приезжий закурил сигару и сошел вниз.

Когда он вступил в залу, где сидели Живягин, Гудков, Румаковский и Милоглядов, бутылка рому, стоявшая перед ними, была уже наполовину опорожнена. Разговор шел бойкий и громкий. Предметом был Фомич, и нельзя сказать, чтоб артисты его щадили.

Все, однако, смолкли при появлении неизвестного лица. Милоглядов первый заметил его.

— Кто это? кто это? — перешепнулись актеры.

Приезжий подошел к столу.

— Извините, господа. Кажется, я приходом своим нарушил вашу беседу?

Милоглядов подобострастно приподнялся со стула, взявшись за спинку его левой рукой. Барский вид незнакомца привел его в робость.

Но и этот вид и слова приезжего подействовали совершенно иначе на трагика. Он гордо и почти презрительно оглядел Литовцева с головы до ног и сказал:

— Ошибаетесь. Не можете нам мешать.

— В таком случае позвольте рекомендовать себя вашему вниманию. Если не ошибаюсь, я вижу артистов здешней труппы?

— Есть немножко,— отвечал Гудков.

— А я почитатель и друг всех артистов... только что приехал из Москвы; остановился здесь в трактире... фамилия моя — Литовцев.

Живягин снова окинул приезжего своим быстрым взглядом, но уж не столь гордо, как сначала; потом встал с места и, протянув руку Литовцеву, сказал довольно мягким тоном:

— Очень приятно. Живягин.

— А! вы господин Живягин?.. Много слышал о вас еще в Москве. Вы ведь, кажется, играете больше в драмах?

— Трагик.

— Позвольте, господа, познакомиться и с вами,— обратился Литовцев к другим собеседникам.

У Милоглядова душа ушла в пятки.

Приезжий подал руку Гудкову и, узнав его имя, сказал, что слыхал в Москве и о нем как об одном из замечательнейших провинциальных актеров. Комик прохрипел в ответ что-то милое. Потом рука Литовцева перешла в руку первого любовника. Румаковскому новый знакомец не понравился; он вдруг ощутил крайнюю неуверенность в своих достоинствах, как-то: красоте, ловкости и светскости. Взгляд, брошенный им в зеркало, не подкрепил его.

— Вы, конечно, тоже артист? — сказал приезжий, протягивая руку и Милоглядову.

Вопрос был сделан как-то недоверчиво.

— Немножко-с,— отвечал писец, краснея до ушей и улыбаясь.

— Сегодня играл в первый раз,— заметил Гудков.

— Выказал изрядные способности,— дополнил трагик.

— Только что поступаете на сцену? — спросил Литовцев, придвигая к столу стул и садясь.

Писец решился тоже присесть на кончик стула.

Трагик объяснил Литовцеву, что так как за неимением маркитанта служит и блинник, то молодой человек, не будучи членом труппы, занимал роль Пламида только за неимением настоящего актера.

Затем Живягин предложил приезжему выпить стакан чаю, и приезжий не отказался.

— Малый! стакан и блюдечко!

И то и другое явилось в одну секунду.

— А мне, господа, позвольте предложить вам ужин,— сказал Литовцев.

— Очень рад,— произнес трагик.

То же, кажется, отвечали и комик и первый любовник. Милоглядов промычал что-то невнятное, зато улыбнулся всем лицом.

— Человек! — крикнул приезжий,— что есть у вас на ужин?

— Все что угодно-с,— отвечал Кондратий.

И соврал. Чего ни спрашивал приезжий, ничего не оказывалось в наличности. Пришлось заказать пять порций бифстекса и столько же жареной телятины.

— Вина прикажете-с?

— Непременно, бутылку мадеры и бутылку красного... самого лучшего — слышишь?

— Слышу-с.

— Я думаю, вино у вас — мерзость из мерзостей?

— Как можно-с! — отвечал половой,— из Москвы получаем-с.

— Еще бы здесь делали... Так ступай же, давай нам все это сюда... Да не дурно, если заморозишь бутылки две шампанского.

— Клека прикажете?

— Да, клико.

«Малый, должно быть, теплый!» — подумал половой и, в чаянии гривенника на водку, умчался на крыльях ветра.

— Я слышал, вы скоро едете отсюда, господа? — спросил Литовцев.

— Надо бы на этой неделе... Уж куда надоело здесь!— отвечал Живягин.

— Плохи сборы?

— Плоховаты.

— Сегодня был хорош,— заметил Гудков.

— Только сегодня и есть,— сказал Румаковский.

— Публика деревянная,— сказал трагик,— никакой любви к театру.

— Так что же за охота оставаться здесь так долго? Вы ведь, кажется, давно в Камске.

— Полгода. Да куда ехать? В Шимханск? Прошлой осенью были; еще хуже.

— Содержатель-то, я думаю, покрякивает?

— Что ему?

— Как что, помилуйте! Кому же и страдать в этом случае как не ему?

— Страдает — держи карман!

— Да если сборы плохи?

— Что ты толкуешь: плохи сборы, плохи сборы? — заговорил Гудков.— У кого они в провинции лучше?

— Понабил-таки нагрудник,— заметил первый любовник.— Только наш-то брат гол как сокол; нам-то только...

— А знаете ли вы вот что? — перебил трагик, обращаясь к приезжему,— ведь он у нас изобретатель, выжига. У него нагрудник. Для тепла носит. Не на вате — на деньгах.

— Как? — воскликнул с изумлением Литовцев.

— На ас-си-гна-ци-ях,— продолжал Живягин, выколачивая каждый слог,— на ас-си-гна-циях. Недурно?

— Ха-ха-ха! Славное изобретение!

— И спит в этом нагруднике — теплее. Одно плохо: нам от этого ни тепло ни холодно.

— Это, я вам скажу, такой скаред, какого поискать.

— Вот, например, сколько раз подзывал я его сюда,— сказал комик,— сам угостить хотел... Ни за что. Боится, как бы не заставили спросить пару чаю либо выставить бутылку пива.

— Нельзя ему не бояться,— возразил Живягин.— Ты ведь знаешь, есть у него одна струна — слабая струна. Крепок он, крепок, а прорывался. Только дай ему выйти на эту дорожку — пропал. Он уж срезывался. Раза два целый сбор за буфетом оставил.

— Какой сбор! сбор сбору рознь,— заметил Румаковский.

— Раз двести рублей, другой сто — вот какой. Только бы попало сюда-то.

Трагик трижды выразительно ткнул себя безымянным пальцем по лбу.

— Скажите, пожалуста, отчего же труппа его не из лучших?

— То есть отчего она из худших?

— Пожалуй, хоть и так.

— Все от скаредства же. Нагрудник не хочется починать.

— Да ведь тут его же польза!

— Страшно! как бы не прогореть.

Подали ужин...

Разговор на время прекратился. Следовало сначала утолить голод, на который Живягин недаром намекал при выходе из театра. Литовцев дал артистам уничтожить бифстекс и потом снова принялся за расспросы.

— Меня давно занимает быт странствующих артистов,— сказал Литовцев,— и я очень рад, что сошелся с вами.

— Что наш быт?.. Проживешь день — и слава тебе господи! — отвечал несколько уныло первый любовник.

Водка, пунш и, наконец, мадера начали производить свое обычное влияние на Румаковского: взгляд его на мир делался мрачным. Напротив, Гудков чаще стал смеяться своим хриплым смешком, который, впрочем, нередко прерывался удушливым кашлем. Он все больше багровел, и глаза его уж только изредка показывали свои зеленые зрачки. Милоглядов давно осовел, и на него никто не обращал внимания. Зато мощный трагик оставался тверд как скала и очень спокойно удовлетворял любознательность своего нового знакомца.

— Часто вы переезжаете с места на место? — спрашивал Литовцев.

— Блуждаем, как номады. Сегодня здесь, завтра там. Что делать? Судьба! Дольше полугода нигде не остаешься. Здесь зажились. Перелетные птицы, так сказать!

— Вы давно в труппе Наруковича?

— К счастью, нет, и, к счастью, надеюсь, ненадолго.

— Что ж так?

— Я вам говорил, что свинья. Думаю поехать в Бенделей — к Сошникову. Зовет. Да вот с этим контракт заключил.

— А на сцене вы давно?

— Да порядком-таки. Пятнадцатый год идет.

— Вы ведь известны в провинции; жалованье, конечно, получаете хорошее.

— Мало, очень мало. Прежде получал вчетверо больше. Имел глупость повздорить немножко с Сошниковым... Слыхали про него?

— Как же!

— Лучший содержатель. Повздорил с ним — дал ему в щеку... Запальчивость — слабость моя. У него получал гораздо больше.

— А здесь сколько?

— Дрянь, самую дрянь. Семьсот ассигнациями да два бенефиса. На платье, на сапоги — и только. Кабы не жена...

— Вы женаты?

— Есть грех.

— Она тоже играет?

— Да. Поет превосходно. Могла бы получать вдвое больше. Ракалия эта не умеет ценить.

— А сам он не играет?

— Как не играть! Прародителя в «Русалке» играет, тень в «Гамлете», командора в «Дон-Жуане»... Это его любимые роли. Но главное — дочка отличается.

— И порядочная актриса?

— Какое! никуда не годится и годиться-то не будет. Дрянь! А туда же первые роли! Ни смыслу, ни таланту — ни на медный грош; и вдобавок не то картавит, не то пришепетывает; ростом с мою ногу... Хороша Параша-сибирячка, например, или Офелия!

Принесенное половым шампанское еще раз прервало разговор Литовцева и Живягина; остальные собеседники говорили между собой или молчали. Они были уж наготове.

У Милоглядова шампанское плескалось через край, и он едва мог поднести стакан ко рту.

— Эх, брат! — сказал ему тоном укоризны Живягин, — плох же ты!..

Писец заморгал, улыбнулся и несвязно прошептал:

— Под-гу-лял.

— То-то подгулял! Шел бы спать.

Совет трагика не остался без исполнения. Немного погодя Милоглядов встал со своего места, прошелся не совсем верными шагами по зале, спросил себе трубку и присел на диван в другой стороне комнаты. Когда ему подали трубку, он уж спал с легким храпом и носовым присвистом.

Приезжий разведал от трагика все, что было ему нужно или что по крайней мере хотелось ему разведать: биографию антрепренера, состав труппы, объем жалованья каждого из артистов, их житье-бытье, отношения между собою и предположения относительно будущего.

Читателю тоже не мешает узнать некоторые из подробностей, переданных Живягиным, и потому вот они, дополненные отчасти собственными сведениями автора. Мы будем говорить только о самом содержателе странствующей труппы.

Осип Фомич вовсе не прочил себя ни в актеры, ни вообще в какие бы то ни было сценические деятели. Но театр был, вероятно, истинным призванием его, потому что на всех других поприщах ему не очень везло; а между тем способности у Наруковича были едва ли не всесторонние. К сожалению, образование мало способствовало их развитию:

оно было не блистательно, потому что не шло за пределы уездного училища. Окончив курс наук, Нарукович определился на службу. Отец не желал, чтобы его Осип прозябал в глуши уездного городка, где жил и служил сам он в качестве мелкотравчатого чиновника, и Осип отправился в губернский город. Старательность и уменье вести себя относительно начальства скоро принесли желанный плод — Осипа повысили. Но не успел Нарукович как следует обслужиться, не успел как следует упрочить за собою титло дельного, полезного и опытного чиновника, как случилось несчастие: внезапно нагрянула какая-то ревизия, и по окончании ее оказалось необходимым изменить весь персонал присутственного места, в котором состоял Осип. Он остался вдруг без места и с аттестатом не совсем опрятным. Можно было, конечно, вопиять на несправедливость судьбы, на людское лицеприятие и проч. и проч. Да что в этом толку? Нарукович твердо вынес первый удар судьбы. Это, впрочем, и понятно. Сердце у него было крепкое и мужественное; оно не поддавалось, несмотря на молодость Осипа, обольщениям жизни, которые часто увлекают юношей в свои сети: он с раннего отрочества любил не столько удовольствия, сколько деньгу. Зато и деньга любила его и всегда у него водилась. Оставшись без места, он не остался — как это случается со многими в подобном положении — без всяких средств существования.Можно было и очень можно перетерпеть некоторое время и исподволь присмотреться к какому-нибудь новому роду занятий. Осип ждал целые три года. Этот промежуток не был, разумеется, пуст. Не имея возможности сунуться на старую дорогу (а сунуться хотелось бы), Нарукович принялся за ходатайство по делам. Дел, однако ж, было немного, и ходатайствовать приходилось мало. «В этом проку большого не будет! — думал Фомич,— ну да пока ладно; подождем, потерпим; авось и дождемся чего-нибудь повыгоднее!» И дождался. Место управляющего хорошим именьем — клад. Давно искал Осип такого клада — и вот клад дался ему в руки. Около этой поры он женился на дочери какого-то мещанина. Тут судьба с ним тоже немного подшутила. Мещанин обещал в приданое за дочерью чуть не золотые горы; оказалось, что нет и железных. Медовый месяц скоро прошел, и начались домашние неудовольствия. Жена Осипа была и без того баба жидкая, в чем только душа держалась; а тут еще ежедневное полосканье со стороны супруга... Родив дочь, она отдала богу душу. Получил Осип место

управляющего, отправился во вверенную ему вотчину — и принялся за дело живой рукой. Помещик много уж лет не заглядывал в свои поместья; он проживал постоянно за границей, и проживал, должно полагать, нескучно, потому что на его расходы требовались частые и значительные высылки денег из отечества. Это было очень с руки управляющему. Сначала, именно в первые два или три года своего управительства, он высылал деньги помещику очень аккуратно и в изрядном количестве, хотя и жаловался постоянно на неурожай и разные другие беды и невзгоды; но в следующие два-три года высылки делались реже, и объём их уменьшался, между тем как жалобы на расстройство деревенских дел все увеличивались, а требования барина вовсе не становились умереннее... напротив, они росли, шибко росли. Сомнения в аккуратности управителя, в его уменье вести дела, в его честности, закравшись единожды в голову помещика, должны были созреть со временем в известного свойства убеждение. И точно, в исходе шестого года, который мирно доживал Осип на своем теплом местечке, властелин этого местечка был уж вполне убежден, что управляющего необходимо сменить. Вследствие письма барина к одному приятелю, где выразительно говорилось, что «каналью управителя, который думает, кажется, не о пользе помещика, а о том, как бы набить себе карман, надо немедленно выгнать», вследствие этого письма Нарукович получил отставку.

Плохо! Но что же делать? «Посмотрим,— сердито говорил Осип,— как-то с другим управителем пойдет дело! Я о барине помнил, а о себе только не забывал при случае; а другой, может, и наоборот станет поступать! Посмотрим!»

Завистники Наруковича относят именно к этому времени изобретение нагрудника.

После отставки, полученной из Парижа, Нарукович поколотился годика два без всякого занятия в губернском городе Шимханске. Если верить его собственным признаниям, жизнь его не была тут особенно цветуща. Он постоянно в течение этих праздных лет жаловался и плакался на свои стесненные обстоятельства, на крайнюю дороговизну существования, особенно при семействе. Под «семейством» разумелась дочка, которая заметно подрастала. Но не все, о! далеко не все верили жалобам Осипа; очень многие лукаво подсмеивались, когда он сколько мог наивно утверждал, отражая обвинения в скупости, что богатства у него известно какие: наготы да босоты навешаны шесты, а холоду да

голоду полны анбары стоят. Не всем, впрочем, и жаловался Осип на свою нищету. Двум юным франтам, игравшим не последнюю роль в шимханском обществе, он, конечно, не мог плакаться на крутые обстоятельства: обоих снабдил он за жидовские проценты, обеспечив себя вернейшим закладом, очень изрядными суммами денег.

Наконец судьбы, которые, как гласит старинное латинское изречение, желающего ведут к цели, а нежелающего тащат, указали Наруковичу настоящее поприще для деятельности.

Смерть содержателя кочующей труппы, зимовавшей в Шимханске, произвела переворот в жизни Фомича. Он был знаком с покойником и подробно разузнал от него о всех выгодах и невыгодах антрепренерского дела. Труппа была очень жалкая, но все-таки давала содержателю возможность жить и дышать довольно свободно.

«Дело недурное,— думал Фомич,— и при уменье может приносить знатные выгоды. И главное, что хорошо,— независимость. Ты ни от кого не зависишь, а от тебя многие зависят. Сам себе господин! Не будь Тараканов (так именовался антрепренер) такая беззаботная голова, не кути во всю лопатку — у него наверняка были бы залежные деньжонки».

Но, может быть, Осип и не привел бы никогда в исполнение начавшего в нем созревать желания заняться антрепренерством, если б не случай, то есть не смерть шимханского содержателя.

Тараканов умер скоропостижно. С вечера был он здоров и очень плотно поужинал; а утром не мог уж подняться с постели и к полудню окончил свое здешнее существование. Неожиданное происшествие это взволновало, разумеется, всех, кто только состоял под ведением покойника. Как быть? куда деться? Хорошо еще, что покойник не успел спустить с рук всего последнего сбора: пришлось бы, пожалуй, и на похороны-то сбирать с тарелочкой. Просто беда! Поддержать соединенными силами труппу, которая грозила распасться в ничтожество, никто и не помышлял: народ все был неимущий. К тому же и духа общительности было в них мало. Девица Сизогубова-старшая уж решилась было возвратиться к прежней чреде своей — служению в горничных, которую (так думала она в эти грустные минуты) слишком опрометчиво променяла на шаткое положение актрисы; кроме себя, ей надо было заботиться еще и о сестре, которой только что исполнилось тогда тринадцать лет. Младшая Сизогубова

годилась в труппе для дивертисментов, потому что ловко выплясывала венгерскую и русскую; но куда же годится она вне театральных стен? Была бы хоть хорошенькая по крайней мере... И на женихов-то нельзя рассчитывать! Девица Колчанова тоже была немало огорчена; она не знала, куда идти теперь и что делать. Звание горничной, на которое снова обрекла себя девица Сизогубова, не удовлетворяло гордости девицы Колчановой. Надеясь на свою молодость, некоторую красоту и свежесть, она гордо решилась ждать счастия сложа руки — придет же с которой-нибудь стороны!.. Но никто изо всей труппы не был так поражен смертью Тараканова, как Решилов. Он казался просто убитым. Черная хандра, постоянно державшая в тисках его мозг и сердце, расходилась тут не на шутку. Бесприютное положение его, с бранчивою женой и больным ребенком на руках, представлялось ему таким безнадежным, что, не явись на выручку труппы Фомич, Решилов, чего доброго, наложил бы на себя руки.

Во время знакомства читателя с наруковичевой труппой только поименованные лица остались в ней от старого персонала. Все прочие (их было и немного) сменились новыми — кто умер, кто избрал иную дорогу средь жизненной юдоли, кто поссорился с содержателем и принужден был искать других подмосток для своей деятельности.

В шесть лет под управлением Наруковича бывшая таракановская труппа много усовершенствовалась. Правда, состав ее сохранил прежний объем, но сюжеты были искуснее прежних. Тогда при труппе вовсе не было оркестра, и в каждом городе приходилось нанимать музыкантов (какие случатся); теперь сформирован свой оркестр. Нарукович был вовсе не прочь от улучшений; и если он не занял еще видного места в ряду провинциальных содержателей, то единственно потому, что не любил поспешности в действиях, любил делать все исподволь. Оно прочнее, и карману легче!

Когда Нарукович вступил на новое поприще, единственной дочке его шел двенадцатый год. Сначала родитель думал не пускать ее на сцену; но, попривыкнув к делу, переменил намерение и стал заниматься с нею сам, приготовляя ее к сцене. Дебюты ее были так же не блистательны, как и ее школа. Сначала девица отличалась в разных характерных плясках вместе с девицею Сизогубовой-младшей, потом в маленьких водевилях и наконец, именно за два года до описанного мною представления «Русалки» в городе Камске,

принялась и за большие роли. Трагик был совершенно прав, жалуясь Литовцеву, что девица Нарукович только даром перебивает роли у госпожи Живягиной; но что же прикажете делать с родительским ослеплением? Фомич был вполне убежден, что его Софья чуть не первая актриса в мире.

— Не пора ли, однако, и на боковую? — спросил, наконец, Живягин, рассказав все, что хотел знать его новый знакомец.

Литовцев взглянул на часы.

— Да, скоро два.

— Пора, пора,— сказал трагик, вставая.— Очень рад, что познакомился. Надеюсь, встретимся еще.

Приезжий пожал ему руку и отправился в свой номер.

— Ну идем, братцы! — крикнул трагик, подымая за руку сильно охмелевшего Румаковского и расталкивая успевшего заснуть Гудкова.

— Идем! — проговорил Румаковский, стараясь держаться прямо.

— Да вставай же, братец! какой ты смешной! — толковал Живягин, будя комика.

— Оставь его! пускай спит! — посоветовал первый любовник.

Пришлось поневоле последовать этому совету, потому что добудиться Гудкова было невозможно. О спящем в другом углу Милоглядове никто и не вспомнил.

Трагик и первый любовник отправились вдвоем.

Спросонок Нарукович ужасно перепугался, когда могучая рука Живягина застучала в наружную дверь дома, покоившего в стенах своих всю труппу. Он быстро поднялся с подушки и обеими руками схватился за нагрудник.

Стук повторился.

— Экие полуночники, канальи! — пробормотал с досадой Нарукович,— до свету готовы в трактире сидеть. Перепугали только!

И он снова улегся.

Дверь пришедшим отворил кларнетист, спавший в ближайшей комнате. Он объявил, что клопы не дали ему заснуть.

Трагик прошел твердыми шагами в спальню. Румаковский впотьмах ошибся дверью.

— Кто тут?

Этот оклик заставил его вздрогнуть, когда он, вообра-

жая, что садится на свою постель, придавил чью-то голую ногу.

— Ли-за-ве...— начал было он нежным голосом.

Но за плечи его ухватились две крепкие женские руки, и он, ударившись о дверь рукой, опять очутился в темном коридоре.

— Не туда попал,— проговорил он.

Девица Сизогубова-старшая, сон которой был так неосторожно нарушен, поспешила запереть дверь, что, верно, забыли сделать с вечера.

— Ах ты жизнь цыганская!

ГЛАВА III

Стая на отлете

Почти с рассветом в угрюмом здании временного театра закипела рьяная деятельность. Несколько мужиков под предводительством Осипа Фомича разбирали кулисы и складывали их в кучу на средине сцены. Дремучий лес, в котором накануне происходили такие чудеса, превратился в груду грязного холста, натянутого на деревянные рамы; то же произошло потом и с разными дворцами, храмами, домами, хижинами, пещерами и проч. Все это вытаскивалось из темной кладовой, которая занимала часть задней стороны бывшего дома умалишенных, все без разбору сваливалось вместе, чтобы завтра быть перенесенным на несколько подвод и поехать на них в Голодаев, на радость ярмоночных гостей.

При пособии энергического покрикиванья и изрядной беготни из угла в угол содержатель успел довольно скоро привести в должную готовность к отправке весь театральный хлам — кулисы, занавесы, холстинные подзоры, ухищренно сооруженные машины, старую и чрезвычайно ветхую мебель, бутафорские вещи... Последние вместе с лампами, так уныло озарявшими серые стены залы, Нарукович собственноручно обернул в сено и уложил в большой деревянный ящик, который велел при себе же заколотить крепко-накрепко гвоздями.

— Ну, теперь все, кажется! — сказал он, отряхая запыленные руки.

Трудившиеся над переноскою мужики получили немедленно умеренную плату, за которую договорились с Фомичом, и так как просьба о прибавке на водку оказалась совершенно бесплодною, отправились к другим занятиям.

Фомич очень устал; пот катился градом с его худощавого лица; жилы на висках напружились. Он беспрестанно вынимал из-за пазухи своего горохового сюртука полинявший шелковый платок и проводил им по лицу, начиная с широкой лысины, которая как-то особенно распространила свои владения в последний год... Что прикажете делать? заботы! хлопоты! Желудок начал напоминать о себе, потому что Нарукович принялся за дело натощак. Быстро оглянув своими серыми, плутоватыми глазками все богатства, сваленные на сцене, антрепренер еще раз отряхнул пыль с рук, с наслаждением понюхал табаку и отправился домой. Само собою разумеется, что он запер на замок двери театрального здания... Хоть хлам и не соблазнителен, а все лучше.

Дом, занятый труппою Наруковича, находился в недальнем расстоянии от театра. Он не представлял с виду ничего особенного; бревенчатые стены успели состариться, поджидая, скоро ли их обошьют тесом или хоть вымажут глиной; от окон до земли было не больше аршина, и подслеповатые, с год немытые стекла обильно обрызгивались грязью; ворота покачнулись; некрашеная кровля позеленела от моху... Но дело не в наружности, а в удобстве помещения. Дом был словно нарочно выстроен для приюта странствующих артистов. Длинный, узкий коридор разделял его на две почти равные части; из них каждая была в свою очередь разделена на несколько комнат, которые сообщались с коридором особыми дверьми. Ближайшую к сеням комнату направо занял сам Осип Фомич. Об этом можно было догадаться с первого взгляда по крепким замкам и пробоям, которые с обеих сторон ограждали безопасность двери. Убранство комнаты содержателя состояло только из самых необходимых предметов: небольшого стола, на котором Фомич и обедал и писал свои счеты и выкладки, сундука с его бельем и платьем, трех стульев и скромной постели, заключавшейся в тюфяке и двух подушках. Нарукович был неприхотлив; мог спать и без кровати. Насупротив помещались музыканты, за исключением, впрочем, Вилкова. У них не было решительно никакой мебели; и одежда их и инструменты висели на стенах; спали они, как и Фомич, на полу. Рядом с комнатою антрепренера обитали девицы: Колчанова, Нарукович и две

сестры Сизогубовы. Две первые почивали на одной кровати, две последние на другой. В углу на треногом столе красовалось довольно большое круглое зеркало, около которого находилось все нужное для женского туалета. Из-за этого зеркала выходило немало ссор между обитательницами комнаты. Только вздумала девица Колчанова зашнуроваться и, следовательно, посмотреть в зеркало на свой пышный бюст, девица Нарукович как нарочно усядется тут расчесывать свою косу; только что старшая девица Сизогубова соберется придать некоторую белизну и некоторый румянец своему желто-бледному и худому лицу — смотришь, девице Колчановой понадобилось подщипать свои слишком густые брови. Беда, да и только!.. Стены комнаты были целиком закрыты (вместе с пятнами от клопов) множеством развешанных чуть не на сотне гвоздей крепко накрахмаленных, белых и пестрых, тонких и толстых юбок, а также и платьев, большею частью очень поношенных, шелковых, шерстяных и бумажных. Когда окна бывали открыты и веял хотя слабый ветер, все эти юбки и платья шевелились и шумели как роща. Два женатые члена бродячей труппы, Решилов и Живягин, занимали каждый по комнате на той же стороне где и антрепренер. Супруга трагика содержала свой угол в большой чистоте, в большом порядке. Кроме опрятной постели, в комнате были софа, небольшой рабочий стол и три мягкие кресла. Платье как самой госпожи Живягиной, так и мужа ее не выставлялось на съедение пыли, как у других артистов и артисток, а было прикрыто простынями, потому что за неимением шкафа тоже висело на стене. Несколько книг и тетрадей с ролями лежало на стенной полке (у собратий Живягина роли валялись обыкновенно по всем углам на полу). На окнах стояли горшки с левкоем и резедой и были повешены белые занавески. Соседняя комната, владение Решилова, составляла совершенную противуположность помещению Живягина. В ней было как-то тяжело дышать; как-то особенно жалко и бедно смотрел каждый предмет. Большеголовый сын «благородного отца», лет пяти, в английской болезни, неподвижный и немой, вечно торчал между двух подушек на постели, разостланной на полу; он издавал глухое мычанье и бессмысленно хлопал глазами. Постоянно озлобленная и бранчивая госпожа Решилова (она только в крайних случаях являлась на сцене, потому что не знала грамоте) сидела обыкновенно на огромном сундуке у тусклого окна и неустанно ворчала. Сам Решилов не выходил

никуда, кроме театра; насупив брови, молча измерял он шагами свое тесное жилище и никогда почти не отвечал на сердитое бормотанье супруги, словно и не слыхал его. Остальные артисты были народ холостой и жили все в одной комнате, несколько больше других, из двери в дверь против помещения девиц. Когда они сидели дома, в комнате исчезал прозрачный воздух, заменяясь серым, едким дымом неугасимых трубок и сигар. Курили все: и редко трезвый Гудков, и Румаковский, беспрестанно расчесывавший свои кудри, и Вилков, с утра до вечера наигрывавший что-нибудь на скрипке.

Самым незначительным лицом в труппе был столь важный для большинства актеров суфлер. Сообразно с этой незначительностью он и помещен был в доме чрезвычайно плохо. Ему достался на долю какой-то темный чулан, где Пастухов и приютился с женой и десятилетней доченькой. Он, впрочем, довольствовался всем, что ни посылала ему судьба; ни на что не роптал. Человек он был простой, мещанин званием; жена его, толстая и неуклюжая баба, была птица тоже невысокого полета. До поступления мужа в суфлеры она служила в кухарках; кухаркою осталась и здесь.

Мира большого, как водится, не было между многочисленными жильцами дома; впрочем, должно, к сожалению, сознаться, что враждовала между собой только прекрасная половина народонаселения.

Громкие женские голоса, будто взапуски старавшиеся перекричать друг друга, очень часто раздавались и в отдельных комнатах и в коридоре; но главным театром войны была всегда большая кухня, которою оканчивался коридор. Поутру почти ежедневно происходили там ссоры и перебранки из-за кофейных дел, и девица Колчанова не раз вступала в отчаянную борьбу с госпожою Решиловой. Не знаю, всем ли будут понятны из вышесказанного поводы к ссоре, и потому постараюсь объясниться примером.

Вот история одной из воинственных схваток.

Утро. Уж все в доме проснулись, хотя и не все еще встали с постелей. Не встала еще девица Колчанова; но она уж подправляет под чепчик разбившиеся ночью косы, затягивает завязки его под подбородком, застегивает ворот рубашки — хочет тоже встать.

Между тем Василиса Ивановна (таковы имя и отчество супруги угрюмого Решилова) уж встала и подумывает о завтраке.

— Будешь ты кофей пить? — спрашивает она мужа.

— Нет,— отвечает он сурово.

Василиса Ивановна отпирает сундук, вынимает оттуда сверток бумаги с жженым и смолотым кофе и всыпает в кофейник порцию для одной себя.

— Опять кофею скоро не будет,— замечает она при этом случае.

Решилов тупо, но уныло глядит на жену.

Из сундука вынута жестянка с сахаром и поставлена на колченогий стол; Василиса Ивановна зашпиливает полы своего ситцевого капота, который то и дело распахивается, потом берет кофейник и идет на кухню.

Едва затворилась за нею дверь, как Решилов быстро приближается к столу, на котором стоит жестянка, быстро открывает ее, бросает в глубину ее мрачный взор, потом снова закрывает и принимается ходить взад и вперед по комнате.

В кухне давно уж разведен огонь под плитою. Этим озаботился долговязый Антип, ламповщик. Он раздувает угли в самоваре холостежи; еще два самовара уж закипают: один будет отнесен к чете Живягиных, другой—к Осипу Фомичу.

Антип так занят раздуваньем углей, что и не замечает не совсем честного поступка госпожи Решиловой. Она наскоро присела к маленькому самовару Фомича и в одну минуту выпустила из него чуть не половину кипятку в свой кофейник.

— Смотри, Антип,— говорит она, ставя кофейник на плиту,— не давай никому снимать.

Антип молча кивает головой.

— Я сейчас приду.

Она идет в свою комнату, чтобы взять мелких денег и послать Антипа за хлебом. Опасения Василисы Ивановны, что на место, занятое ее кофейником, того и гляди кто-нибудь посягнет, к сожалению оправдываются. Как ни торопится она отпереть сундук, достать оттуда кошелек с медными деньгами (лицо мужа час от часу темнеет), вынуть что следует, положить кошелек на прежнее место и опять запереть сундук, как ни скоро делает она все это — в кухне уж явилась соперница ей.

И соперница не бездействует. *Ее* кофейник (а не госпожи Решиловой) стоит на огне; предшественник его сдвинут на холодное место плиты, что очень неприятно поражает Василису Ивановну.

— Кажется, тебе говорили...— обращается она к Антипу.

Антип бормочет про себя:

— Не драться же мне из-за вас!

Лицо госпожи Решиловой бледнеет; губы дрожат... Молча подходит она к плите, судорожно берет свой кофейник и, сдвинув кофейник девицы Колчановой, ставит на его место свой.

— Это что значит? — восклицает девица громовым голосом.

Она подступает чуть не к самому носу госпожи Решиловой. Кофейники опять поменялись местами.

— Я, кажется, прежде поставила...— произносит неровным голосом Василиса Ивановна, ухватываясь за свой кофейник и сердито глядя на девицу Колчанову.

— А мне-то какое дело? — отвечает девица Колчанова, делая презрительный жест правой рукой.

— Нет, я не позволю...— начинает с еще большею злобой госпожа Решилова.

Она пытается придвинуть свой кофейник к спорному месту.

— Чего не позволишь?

Голос девицы могуществен и почти грозен.

— Кто тебе-то позволит?

— Ты не тыкай, пожалуста! не служанка твоя!

Девица Колчанова не внемлет и с опасностью обжечь себе пальцы держит свой кофейник, презирая ухищрения врага.

— Скажите пожалуста!..— говорит она как будто сама с собой,— она мне не позволит!.. Ха-ха-ха!.. Всякая дрянь...

— Что-о?

— Отстань, покуда цела!

Одною рукой девица Колчанова отстраняет руки Василисы Ивановны, другою удерживает за собой оспариваемую у нее позицию.

— Что-о? — повторяет госпожа Решилова,— всякая дрянь?.. От дряни слышу. Как ты смеешь?..

И руки ее опять тянутся к предмету распри; девице Колчановой приходится снова отстранить их.

— Тебе говорю, отстань! — восклицает она и поражает молниеносным взглядом раздражительную родительницу неподвижного Ванюши.

— Нет, ты мне сначала скажи,— перебивает ее Василиса Ивановна,— ты мне скажи... как ты смеешь?..дрянь? скажите на милость... Как ты смеешь... тряпка!

— Я тебе дам тряпку!

— Тряпка и есть...

— Слышишь, молчи! — говорит вне себя от бешенства девица Колчанова.

Она оставила кофейник и подвигается к своей сопернице, сжав кулаки и устремив на нее сверкающие злобою глаза. Ни дать ни взять леди Макбет!

— Не замолчу! — кричит госпожа Решилова,— ты сначала замолчи! свввволочь!

Кулаки девицы Колчановой дрожат.

— Скажи-ка еще... скажи...

Голос ее тоже дрожит.

— Скажу... скажу...— кричит, не робея, Василиса Ивановна,— тррряпка, тррряпка... свввволочь!

— Вот тебе тряпка! — восклицает еще громче девица Колчанова.

Тррах! кофейник госпожи Решиловой от сильного удара девической руки летит с плиты в противуположный угол кухни. Кофе плещет на пол, кофейник попадает в лохань и там мгновенно захлебывается мутными помоями.

— Ай!

В этом крике Василисы Ивановны слышно не столько злобы, сколько сожаления о погибели кофе.

— Хе-хе-хе! — подсмеивается Антип, созерцая ссору актрис.

Госпожа Решилова, будь неприятельские действия не столь решительны, не пропустила бы случая накинуться на него и задать ему хорошего руганца: как смеет, разиня, зубы скалить! Но жажда мщения не дает ей теперь времени заниматься каким-нибудь болваном ламповщиком. Она устремляется к плите с целью нанесть такой же урон девице Колчановой, какой потерпела сама.

Девица, радуясь поражению соперницы, хохочет, пересчитывает все известные ей качества госпожи Решиловой и — увы! — не успевает предупредить враждебных действий неприятеля.

Мщение совершилось.

Кофейник низвергнут на плите; крышка его укатилась в коридор к ногам явившихся туда в качестве зрителей Вилкова, Румаковского и остановившейся в дверях жены суф-

лера, которая только что вернулась с рынка; кофе шипя разливается по плите во все стороны.

Все это только начало войны.

Девица Колчанова, подобно лютой волчице, у которой отняли волчат, устремляется на госпожу Решилову. Происходит крепкая схватка.

Вопли и крики вызывают в кухню одного за другим всех жильцов дома, кроме мрачного Решилова; вот спешит и сам Осип Фомич...

Но — довольно! Хорошенького понемножку.

Автор был бы несправедлив, если б сказал, что каждый раз при схватке супруги «благородного отца» с девицею Колчановой кофе пропадал даром. Таких случаев ему известно только два, обыкновенно же дело кончалось уступкой со стороны Решиловой. Уступить, конечно, трудно; но как же быть? не оставаться же без кофе? По скупости, свойственной ей в такой же степени, как и супругу ее, она не решилась бы дважды расходоваться на прихоть. Ведь кофе — прихоть! На основании этого мнения сам Решилов услаждал себя восточным напитком никак не более одного раза в неделю.

В описанной ссоре, строго судя, была виновата одна девица Колчанова. Она не любила давать над собою верх кому бы то ни было, не только госпоже (собственно говоря, и не госпожа она вовсе) Решиловой. С другими женскими членами труппы девица не имела таких бурных столкновений, но не питала к ним никакого сочувствия.

Со своей стороны, и актрисы не любили ее; даже отчасти боялись... Госпожа Живягина, например, старалась как можно реже сталкиваться с нею. Девица Нарукович служила очень часто развлечением девице Колчановой в праздные минуты. Дразнить ее (а это было очень нетрудно) и доводить до слез — было одним из ее высших удовольствий.

Как известно, они разделяли одну из кроватей, поставленных в их комнате. Почти ежедневно кровать эта была свидетельницею слез дочери содержателя.

— Перестань, Маша! — говорила плаксивым голосом девица Нарукович.

— Что такое?

— Отодвинься! ты меня на пол столкнешь.

— Вот мило! не всю ли кровать тебе уступить?

— Я упаду, Маша.

— Падай с богом!

И девица Нарукович едва держалась на самом краешке.

Случалось и так. Нарукович засыпает, но вдруг открывает глаза: Маша дает ей порядочный толчок.

— Что ты, с ума никак сошла? изволишь щипаться!

— Я и не думала, Маша; я засыпать стала.

— Что же, домовой это щиплется, что ли?.. Как примусь я сама тебя щипать, так ты у меня запоешь.

— Ай! ай! — кричит девица Нарукович.

— Эк связалась! — замечала обыкновенно старшая Сизогубова, привставая на своей кровати,— точно маленькая.

— Вам еще что нужно от меня?—отзывается Колчанова.

— Спать не даешь — вот что!

— Нельзя ли без наставлений?

Иногда и девице Сизогубовой приходилось таким образом вступать в очень крупный разговор с неуступчивой Марьей Алексеевной.

Девица Нарукович могла, разумеется, жаловаться родителю на притеснения со стороны ее сожительницы, но от жалоб пользы было бы немного. Она уж испытала это. Девица Колчанова просто не даст тогда проходу. И дочь антрепренера делает все уступки, глубоко затаивая злобу в своем маленьком сердце.

В то утро, как Нарукович производил ревизию и складку в одну кучу театрального хлама, все было мирно в его доме.

Все уж встали, даже слишком крепко спавший после попойки первый любовник. Вилков играл на скрипке. Гудков, возвратясь из трактира, сидел с Румаковским у окна и разговаривал о вчерашнем знакомце. Решилов ходил из угла в угол, глядя в тетрадь с какою-то ролью, но не читая ее; супруга его кормила кашей своего больного оболтуса (это было ласкательное имя Ванюши, изобретенное материнскою нежностью). Девица Сизогубова-старшая варила кофе; младшая укладывала в дорожный ящик свои и сестрины платья и белье. Девица Колчанова расчесывала перед зеркалом свою густую и длинную русую косу. Дочь содержателя гадала на картах о каком-то бубновом короле. Карты же служили развлечением четырем музыкантам. Кларнетист, две скрипки и контрабас (литаврист спал) занимались тою игрой, в которой червонный король называется борододымом, а червонная или трефовая (хорошенько не знаю) девятка — фалькой, и так далее... Хорошая игра! Госпожа Живягина, очень опрятно одетая, шила что-то; супруг ее громогласно рассказывал ей, как провел вчера вечер.

Если ко всему этому прибавить, что на плите давно уж стояло несколько кастрюль со щами, которые закипали во второй раз, что давно уж была отбита говядина и очищен картофель для жаркого, то легко сообразить, что Нарукович провел довольно времени за работой в театре.

Серебряные массивные часы, повешенные у него на шее на толстом бисерном шнурке и глубоко запрятанные в потаенный карман брюк, показывали, что уж половина второго, когда он покончил дело; а из дому вышел он ровно в шесть часов. Поработал-таки! Ух! даже спине больно. Можно теперь отдохнуть и закусить.

Когда Фомич повернул в переулок, где была его квартира, одно, по-видимому ничтожное, обстоятельство расстроило его, и довольство деятельно проведенным утром вдруг в нем исчезло. Он увидел издали, что кто-то подошел к его воротам и остановился. Прищурив глаза и немного напрягши зрение, Нарукович узнал одного из прислужников «Магнита», именно коридорного Ивана. Нет сомнения, что он идет к нему, Наруковичу. Так, так! Он взялся за щеколду калитки; вот отворяет калитку, заносит ногу и исчезает во дворе. Так, к нему!

— Вот наказание божеское! — чуть не вслух проговорил антрепренер.— Опять! Я уж и ждал этого. Так и было. Недаром вчера вся эта ватага пропала после спектакля и воротилась чуть не на рассвете. Опять плати!

Приход трактирного служителя Нарукович объяснял так: верно, вчера артисты изволили подгулять под вывескою пресловутого «Магнита»; денег ни у одного из них в настоящую минуту нет (это ему хорошо известно); ergo [1] придется расплачиваться самому содержателю в надежде на вычет из жалованья.

Предположение Наруковича было очень сбыточно, но на этот раз не оправдалось. Неразорительное угощение водкой и пуншем принял, как известно, на себя любитель из винной конторы; ужин тоже не стоил артистам ничего.

Возвращающегося Ивана Нарукович встретил у ворот.

— Опять, брат?— сказал он, укорительно качая головой.

Иван раскланялся.

— Здравствуйте, Осип Фомич!

— Здравствуй! Зачем еще?

---

[1] следовательно (*лат.*).

— Письмо принес.

— Что, братец, письмо, письмо! — продолжал тоном укоризны Осип Фомич.— Ведь, кажется, говорил я твоему хозяину — вчера говорил...

— Да это не от хозяина письмо.

— Как! да от кого же?.. Набушевали они у вас там, что-ли?

— Нет-с.

— Да от кого же письмо?

— От приезжего одного.

— Приезжего!

— Да-с, господина Литовцева... Вчера вечером приехал... Хотел в театр, да уж поздно было...

— Кто он такой?

— По пачпорту видно, что невелика птица — недоросль; а кажись, богатый барин.

— Да что ему надо от меня?

— Не знаю-с.

— Мои-то не накуролесили ль там чего с ним?

— И этого не знаю-с. Познакомились.

— Где же письмо?

— Там отдал-с, дочке вашей.

— Ответ, что ли, надо?

— Ничего не говорил.

Нарукович пожал в недоумении плечами.

— Воротись, брат; подожди. Что он там пишет такое? Может, надо ответ.

Иван пошел вслед за Фомичом.

Письмо, принятое девицею Нарукович, было такого содержания:

«Милостивый государь

Осип Фомич!

Имея крайнюю надобность переговорить с вами об одном серьезном деле, касающемся вас, покорнейше прошу сообщить мне, когда могу я с вами видеться. Я готов быть у вас сам в назначенный вами час. Если же вы найдете более удобным посетить меня, то я свободен во все часы дня как сегодня, так и завтра.

Готовый к услугам

Павел Литовцев».

Прочитав записку, Нарукович опять пожал плечами.

— Ничего не понимаю!

Он высунул голову из комнаты своей в коридор и громко крикнул:

— Вася!

— Что? — отозвался Живягин.

— Поди на минутку сюда.

Трагик мог рассказать и рассказал всю историю своего столкновения с приезжим; но повода к записке, полученной от него Наруковичем, объяснить не умел. Он и сам недоумевал, что понадобилось Литовцеву от Фомича.

— Уж не в труппу ли он хочет? — сказал Живягин в виде предположения.

— Как можно-с? — заметил отрицательно Иван.

— А что?

— Да так-с. Нейдет им это.

— Ну ладно, братец! — сказал ему содержатель.— Ступай скажи, что я сам приду; вот отдохну только немного — замаялся сегодня все утро,— отдохну да пообедаю и приду. Слышишь?

— Хорошо-с.

Коридорный ушел.

Тотчас после обеда Нарукович направил стопы свои к «Магниту».

ГЛАВА IV

Приставлой

— Пожалуйте!

Осип Фомич понюхал табаку, обтер себе верхнюю губу и вошел в номер пятый.

— А! милости прошу! Осип Фомич?

Нарукович утвердительно кивнул головой.

— Очень рад! очень рад!

Две небольшие руки сжали толстую и грубую десницу антрепренера.

— Садитесь, пожалуста, садитесь!

— Позвольте узнать...— начал было Нарукович.

— Сейчас, сейчас,— перебил его хозяин,— чем прикажете потчевать вас?

— Ничем, покорно вас благодарю. Я только что пообедал.

— Так не хотите ли ликеру, коньяку, кофе?

— Еще раз благодарю. Не пью никакого вина.

— Ну, так кофе. Кстати я сам буду сейчас пить.

Литовцев позвонил.

— Право, напрасно вы беспокоитесь.

— Полноте; какое же тут беспокойство?

Вошел слуга.

— Подай нам кофе и коньяку. Рюмку коньяку вы выпьете?

— Право, не пью.

— Одну рюмку ничего; это полезно после обеда. Живо!

— Сию секунду-с,— отвечал, удаляясь, слуга.

— Ну-с, теперь поговорим и о деле,— сказал хозяин.— Садитесь сюда, здесь лучше.

Фомич пересел на диван и был готов слушать.

Между тем глазки его быстро обозревали комнату, и ничто не было в ней оставлено им без внимания.

По всем признакам можно было заключать, что приезжий не любит мелко плавать. На нем был халат из дорогой персидской материи, обшитый бархатом и шнурками, тонкое, прекрасно сшитое белье, небрежно, но очень ловко повязанный галстук, красивые туфли. Чубук, из которого курил приезжий, украшался огромным янтарем.

Под столом, перед диваном, на который сел Нарукович, был разостлан отличный ковер — уж конечно, купленный не купцом Сундуковым. Перед зеркалом туалетного стола сверкали на солнце серебряные вещи из дорожного ящика. Большая часть стульев была занята платьем разных цветов и покроев; откинутая крышка большого чемодана черной кожи с медными пуговками обнаруживала немалый запас такого же тонкого и дорогого белья, какое было в эту минуту на хозяине.

Глядя на приезжего и на обстановку его, Нарукович думал и не мог придумать, зачем это пригласили его, Осипа Фомича, в пятый номер сундуковской гостиницы. Предположение трагика не приходило ему и в голову.

Литовцев, впрочем, скоро объяснил ему все.

— Слыхали вы про Мирвольского? — спросил он.

— Нет,— отвечал Нарукович,— кто он такой?

— Да вы читаете журналы?

— Читал бы, да некогда; вы знаете, какая наша жизнь. Разве заглянешь иногда в «Московские ведомости».

— В таком случае я должен объяснить вам, что в начале этой зимы в Москве дебютировал актер Мирвольский...

— Так-с.

— В «Гамлете», и имел большой успех; потом играл он во многих ролях в течение двух с лишком месяцев и в драме, и в комедии, и даже в водевиле...

— Так-с.

Нарукович смотрел во все глаза на своего собеседника и повертывал средним пальцем правой руки круглую табакерку, которую держал в левой.

— По некоторым причинам, о которых рассказывать теперь и скучно и долго, Мирвольский оставил московскую сцену...

— Так-с.

— Этот Мирвольский, изволите видеть, я.

Табакерка перестала вертеться между пальцами Наруковича.

— Вы?

— Да... Хотите, чтобы я играл у вас?

Нарукович принялся набивать себе нос табаком и устремил глаза на ковер.

— Чтобы вы имели понятие о приеме, который делала мне московская публика, я вам покажу сейчас несколько печатных отзывов обо мне,— сказал хозяин.— Поставь на стол и иди! — обратился он к Ивану, принесшему кофе и коньяк (что тот не замедлил исполнить).— Пожалуста, без церемонии,— продолжал Мирвольский, придвигая к гостю поднос.

Он вышел и через несколько секунд вернулся к столу с пачкой журнальных и газетных листков в руке.

— Вот,— сказал он,— здесь можете вы прочесть...

Осип Фомич был так поражен неожиданностью сделанного ему предложения, что не находил слов.

— Вы позволите мне заняться этим дома? — сказал он, наконец, указывая на поданные ему журналы.

— С удовольствием,— отвечал Литовцев.

Последовало несколько секунд молчания.

— Я, ей-богу, не знаю...— начал Фомич чрезвычайно нерешительным тоном,— вам, конечно, небезызвестно, что у меня труппа маленькая...

— Знаю.

— Делом этим занимаюсь недавно; не успел еще ничего, можно сказать...

— И это знаю.

— Средств мало; публика совсем не поддерживает; а ваши условия, разумеется...

— Самые умеренные; они не превышают ваших средств.

Эти слова заставили Наруковича пристально взглянуть на хозяина и с некоторою недоверчивостью спросить:

— А как, например, позвольте узнать?

— Вот видите ли, еще будучи в Москве, я заключил условие с Мыльниковым — слыхали об нем?

— Как же! в Турухтанске?

— Да. Я буду играть у него с августа, а до тех пор мог бы отправиться с вами в Голодаев. Теперь у нас апрель... май, июнь, июль — значит, я пробыл бы у вас три месяца. Надеюсь, моя игра не принесла бы вам убытка.

— Так как же-с насчет платы?

— Семьсот.

Нарукович понурил свою грушевидную голову и замахал над нею обеими руками.

— Что вы? что вы? — лепетал он.

— Вы находите, что это много?

— Да где мне взять такие деньги? — сказал Нарукович, взглядывая на Мирвольского и разводя руками.— Помилуйте! какие у меня средства?

— Я вам предложил свои условия; позвольте узнать ваши, если вы только хотите иметь меня у себя.

— Это, что вы говорите, нечего и думать... и вообще теперь я не могу вам дать ответа... Надо подумать. Впрочем, я вам постараюсь ответить поскорее.

— Буду ждать.

Нарукович никак не хотел согласиться выпить коньяку и потолковать еще, поспешно откланялся и пошел домой, не забыв захватить с собою журнальные листки. Вернувшись домой, он принялся читать их.

Оставим его читать и соображать и взглянем, что за человек Литовцев-Мирвольский.

Отец его был происхождения невысокого; в ранней молодости поступил он на службу, служил очень усердно (добросовестно ли — это вопрос посторонний), дослужился до дворянства и до значительного места, потом женился и взял за женою прекрасное состояние. Единственным плодом этого брака был сын Павел. Как водится, отец и мать не чаяли души в ребенке. Баловство началось с пеленок. Литовцевы

жили открыто и так роскошно, как только можно в провинции. Павел не слыхал о нужде и по рассказам. Отец его не получил почти никакого образования, но хорошо понимал своим практическим умом, что сына следует образовать хорошенько — благо есть все средства к тому. Мать, женщина светская, охотница до нарядов и выездов, хотела, разумеется, тоже, чтоб сын ее был человек образованный. Что понимали они под словом «образование» — объяснить довольно трудно. Едва ли, впрочем, и у них самих было ясное понятие, чего именно хотят они от сына. Прежде всего в доме явился француз Пюжоль, нечто вроде парикмахерского подмастерья. Он был всегда превосходно завит и причесан и очень опрятно, а по его мнению даже щегольски, одет, нравился всем губернским барышням и девицам и занимался, между прочим, воспитанием маленького Литовцева, то есть болтал с ним по-французски и водил его гулять. Родители считали общество Пюжоля полезным для своего шестилетнего сына — тем лучше. Француз был совершенно доволен своим положением и, вероятно, долго остался бы в доме Литовцевых, если б не одно странное обстоятельство. Он был мастер рисовать. В девичьей госпожи Литовцевой целая дюжина горничных постоянно занималась плетением кружев и вышиваньем гладью. Маменька Павлуши, зная талант гувернера, не раз поручала ему рисовать узоры для мастериц. Это послужило к завязке некоторых отношений между девичьей и комнаткой на антресолях, в которой обитал учитель. По крайней мере половина мастериц начала поочередно наведываться на антресоли. В это же время, не предчувствуя ничего, госпожа Литовцева стала бросать страстные взоры на милого чужеземца. Она даже позволила ему однажды (с легким выговором) пожать ей ножку, когда француз подставлял ей скамеечку. И вдруг — вообразите, как должна была рассердиться госпожа Литовцева! — француз снизошел до горничных. Какой вкус! какая нравственность! какой, наконец, пример для ребенка!.. Француза выгнали.

Как же, однако, обойтись без француза? Взяли другого, постарше. Маменька Павла не имела видов на мосье Гупи, и потому он остался в доме дольше своего предшественника, до пятнадцатилетнего возраста ученика.

Чему выучился Павел у этих двух менторов? Бегло говорить по-французски — и только. А разве этого мало? В городе говорили, что Литовцевы дают сыну «прекрасное

образование». Это был общий голос. Признáем его справедливость.

Кроме француза, был у Павла и немец-гувернер. Его взяли, когда мальчику минуло десять лет от роду. Француз и немец были, бог весть из-за чего, в постоянной вражде; Павел клонился более на сторону первого, потому что немец был слишком строг и требователен.

Нельзя, конечно, было ограничить образование Павла только иностранными языками (из них хорошо знал он, впрочем, только французский, от немецкого же чувствовал постоянное и сильное отвращение). И вот к маленькому Литовцеву стали ходить учителя гимназии, поучая его истории, географии, математике, словесности и прочему. Отец непременно хотел приготовить его к университету дома. Это было бы возможно, если б Павел занимался как следует, но он был ленив и не чувствовал никакой любви к ученью. Учителя, сначала усердно старавшиеся о просвещении его, скоро увидали, что из Павла не выйдет никакого прока; они продолжали свои уроки только потому, что этого желал родитель, и потому, что им хорошо платили. Иначе они давно бы отказались.

Отец по странной, необъяснимой слепоте не замечал вовсе крайнего невежества в своем единственном сыне и воображал, что ученье его идет как нельзя успешнее. Павел поддерживал его в этом убеждении.

Мальчику минуло, наконец, семнадцать лет (года за два перед тем умерла его мать) и отец стал думать, что ждать нечего: пора везти сына в университет. Был ли сын достаточно приготовлен дома, чтоб выдержать приемный экзамен — он не потрудился справиться. К чему? Ведь недаром же нанимались гувернеры, недаром ходили каждый день учителя математики, истории и прочего. Что касается до учителей этих, они крепко сомневались в успехе экзаменов, предстоящих молодому Литовцеву. Сомнение это было передано отцу с советом повременить по крайней мере год, авось дело будет вернее; но отец видел в совете учителей не желание добра его сыну, а расчет давать уроки еще в течение целого года, получая за них хорошую плату.

Отец и сын снарядились в дорогу и поехали в столицу. Павел впервые выбрался из губернского города, бывшего его родиной; понятно, что путешествие очень заняло его, заняло так, что и те немногие познания, которыми он обладал, дорогой словно испарились. Он приехал в столицу совершен-

ным невеждой. Стараясь наскоро приготовиться к экзамену по своим учебникам, он хорошо сознавал, что ничего не знает, но не давал и подозревать это отцу.

Назначены экзамены. Павел явился. Во-первых, пришлось отдавать отчет в познаниях по части всеобщей истории. Из древней истории попался ему билет о Пунических войнах; оказалось, что он не помнит, между кем они происходили,— и вдруг ни с того ни с сего начал рассказывать что-то про Александра Македонского.

Профессор пожал плечами и указал Павлу на кучку билетов по средней истории.

— Возьмите билет отсюда.

Павел взял.

— Что такое?

Билет был самый легкий.

— Ну-с?..— проговорил профессор.

Павел потерял всякую надежду быть студентом.

— Я не могу отвечать на этот билет.

— Не можете?

— Позвольте мне взять другой.

— На этот билет не можете отвечать? — спросил профессор, устремляя глаза на экзаменующегося и делая особое ударение на слове «этот».

— Да,— проговорил Павел, едва подавляя в себе желание хорошенько обругать экзаменатора.

— Вы не можете ответить ни на один,— сказал профессор и, взглянув в лежавший перед ним список, громко крикнул: «Господин такой-то!»

Тот, чья фамилия была произнесена, поднялся со скамейки.

Павел еще стоял перед профессором.

— Довольно-с,— сказал профессор, быстро взглядывая на него,— можете садиться.

И Павел видел, как под рукою историка в списке экзаменующихся явился огромный нуль около его фамилии.

— Ну что? что? — нетерпеливо спрашивал отец, встречая сына.

— Срезался! — грустно отвечал Павел.

— Из чего?

— Из истории.

— Ну, а из других предметов?

— Из других и не держал.

Последовали жалобы на несчастье, на строгость, на то, что при экзаменах не обращается никакого внимания на способности молодого человека, а требуется, чтоб он знал всякую дрянь от доски до доски. Надо же было чем-нибудь утешать себя!

Что же делать? Вот вопрос, требовавший немедленного разрешения.

Зная по опыту, как легко при известных карманных средствах устраиваются на белом свете, и особенно на святой Руси, самые трудные дела, старик Литовцев вздумал было поехать по профессорам с просьбой о снисхождении к его сыну и приличным подкреплением этой просьбе; но такое намерение было отклонено его знакомыми, которые очень стойко утверждали, что подобные меры неприложимы в этом случае.

— Ну, чудеса! — только и сказал на это Литовцев.

— Нечего делать, Паша,— говорил он потом сыну,— будь хоть вольным слушателем — все лучше. К будущим экзаменам авось приготовишься хорошенько. Будешь тогда и студентом.

Отец уехал, оставя сына на воле. Деньги, которыми он щедро снабдил Павла, скоро ушли из рук молодого человека. На что? куда? С аккуратностью их хватило бы на год очень порядочного житья. Павел чуть не половину их отдал портному за вороха разных модных костюмов, которые нашел необходимым заказать себе. Само собою разумеется, одевшись франтом, Павел не захотел сидеть дома. Но не в университет он ходил, а ездил по ресторанам, театрам, публичным балам, маскарадам, гуляньям. У старика Литовцева было в Петербурге мало знакомых, и те пришлись как-то не по душе Павлу; он оставил их; но, будучи один-одинехонек в большом городе, стал скучать во всех увеселительных местах, которые посещал очень усердно. Понадобились люди, с которыми можно было бы разделять удовольствия. Так как у молодого человека не было никакого занятия, которое привязывало бы его к известному кругу или обществу, делало бы его законным членом этого круга, то пришлось ему знакомиться и сближаться совершенно случайно. С кем мог он сойтись в своих вечных странствиях по публичным местам? С людьми, от которых нечего было ждать добра или пользы. К концу года (отец в течение этого времени чуть не ежемесячно был осаждаем просьбами о высылке денег), к концу года у Павла оказалось уже довольно знакомых и даже приятелей. Это был большею частью народ праздный, отча-

сти богатый, отчасти проедающийся на чужой счет. Знакомство заводилось, продолжалось и поддерживалось общими попойками.

Старик Литовцев жался, получая частые письма сына с просьбами о деньгах, но деньги высылал, сопровождая их приличными наставлениями. Павел с каждым письмом выказывал все больше и больше способностей в так называемом пиитическом изобретении. Письма были очень убедительны. Деньги шли, куда, по мнению Павла, и следовало им идти,— на удовольствия.

Скоро, впрочем, Павлу нечего было просить кого бы то ни было о средствах к удовлетворению своих желаний и прихотей; средства отца перешли в его руки. Старик умер после неожиданной, кратковременной болезни.

Молодой Литовцев поехал домой — вступить во владение наследством. Он старался произвести некоторый эффект своим прибытием в родной город и вполне успел в этом. Все встретили его с распростертыми объятиями, хотя до приезда его и отзывались о нем обыкновенно не весьма лестно. Отец Павла был человек не скрытный: всем рассказывал он сам, что сыну его не повезло в деле ученья (а уж как приготовляли! лучше, кажется, и нельзя!), что он слишком много тратит денег (впрочем, и жизнь в столице страшно дорога!)... «Вот получит денежки-то отцовские,— поговаривали в городе,— пойдет транжирить!» Это предположение было совершенно справедливо. Павел давно думал о приятности принять в свое полное распоряжение капитал, скопленный неусыпными трудами отца.

Капитал был весьма приятный, но в нем одном заключалось все достояние старика Литовцева: он не имел недвижимого имения ни за женой, ни своего благоприобретенного. Когда в руках Павла очутились банковые билеты, из которых значилось, что у него сто тысяч, он справедливо заметил, что этой суммой можно распорядиться очень хорошо.

Само собою разумеется, весь город немедленно по вскрытии завещания покойного Литовцева узнал объем полученного сыном богатства. Вследствие этого многие маменьки взрослых дочерей стали очень умильно поглядывать на Павла как на весьма выгодного жениха, хотя ему было всего восемнадцать лет и чином он был — недоросль из дворян. Что за дело до лет, до чинов!

Впрочем, недолго Павел дал полюбоваться на себя в своем городе. Ему было скучно тут, несмотря на всеобщее

радушие. Негде было развернуться. Как ни трать деньги — все их не убавляется. Не балы же давать молодому человеку! Даже ездить-то на балы он еще не мог: не прошел год траура по отце.

И Литовцев отправился в Петербург.

Приятели, с которыми так весело шла его петербургская жизнь, успели, конечно, забыть о нем во время его отсутствия; но стоило только явиться ему снова — и вдобавок явиться с таким объемистым бумажником,— чтоб быть принятым с восторгом.

Первый визит сделал Павел одному из самых преданных (как он был уверен) друзей своих. Это был некто Замятнев, Сергей Александрыч, в своем кружке известный более под именем Сережи или Сержа. Никто из знакомых его никогда не справлялся, что он такое, откуда, чем живет... Все, однако ж, знали, что он небогат, что нанимает он комнату с мебелью, за которую очень неисправно платит, а может быть и вовсе не платит (последнее вернее); знали, что он превосходный малый и великолепный товарищ в веселой компании. Этих сведений было очень достаточно, чтобы угощать его и увеселять на свой счет.

К нему-то отправился Литовцев тотчас по приезде. Он жил все у той же толстой польки, Розы Адамовны, содержавшей меблированные комнаты и пускавшей деньги в рост под верные залоги.

— Боже мой! кого я вижу? — воскликнул Замятнев, быстро вскакивая с кушетки, лежа на которой придумывал, куда бы отправиться обедать.— Поль! Откуда? Уж не с того ли света? И не чаял увидаться с тобой! Давно ли?

И он принялся крепко обнимать и целовать в обе щеки вновь прибывшего друга.

— Садись, пожалуста; рассказывай, где пропадал.

Павел коротко, но ясно уведомил его обо всем.

— О! да ты теперь крез! Поздравляю тебя!.. Обними меня, душа! Недурно бы распить на радостях бутылочку-другую шампанского. Роза Адамовна! Роза Адамовна! — начал громко кричать Замятнев, стуча в дверь, заставленную комодом.

— Что вам? — послышалось из-за двери.

— Пожалуйте сюда! скорее!

— Зачем тебе ее? — спросил гость.

— Оставь, душа моя! Не твое дело! Роза Адамовна!

— Иду! иду!

И Роза Адамовна явилась по-домашнему — в бархатной мантилье и белой юбке.

— Ах, Иезус-Марья! — воскликнула она, быстро скрестив руки на груди,— я и не знала, что у вас гость.

— Ничего, ничего,— кричал Сережа, бросаясь навстречу к хозяйке и вовлекая ее в комнату.— Радуйтесь, Роза Адамовна! Вот он! вот он!.. знакомы вы с ним?

— Да, мы, кажется, видались,— скромно заметила Роза Адамовна.— Очень рада,— прибавила она, кланяясь и приседая Литовцеву.

— Все хорошеете! — заметил гость.

— Полноте! в мои лета...

Розе Адамовне было за тридцать — не весенняя роза! — и она, к чести ее, не скрывала этого.

— Ну, как хотите, Роза Адамовна! — сказал Замятнев, взяв хозяйку свою за обе руки,— как хотите! посылайте за шампанским!.. Надо восчествовать приезжего! А у меня — вы знаете...

— Ах! — начала было величественная полька, желая уклониться от просьбы своего жильца,— ах, право...

— Нечего, нечего, Роза Адамовна! — прервал ее Замятнев.

— Да зачем же ты хочешь непременно ввести в расход Розу Адамовну?.. Вот возьми деньги у меня.

— Роза Адамовна! — вскричал Серж,— я вас не узнаю.

— Сочтемся! — сказал Литовцев, вынимая бумажник.

— Нечего делать, давай!

И втроем было немедленно роспито две бутылки.

— Где ты обедаешь?

— Да еще и сам не знаю; думаю пойти к Палкину.

— Полно, душа моя,— к Палкину! Уж идти, так к Леграну.

— Ну к Леграну. Идем вместе.

— Ладно.

— А потом в театр недурно бы.

— Что ж!

И отправляясь в ресторан обедать на счет приезжего друга и идя в театр на его же счет, Замятнев не раз с горячностью обнимал своего бесценного Пашу.

— Ах, Паша! Паша! — восклицал он в упоении дружбы,— ты не поверишь, как я рад, что ты, наконец, опять у нас, в Петербурге.

В театре Литовцев встретился с другими приятелями; они так же обрадовались ему, как и Сережа. Следовало сообщить старому другу все любопытные для него петербургские новости, и потому после театра был устроен общий ужин. Веселая беседа зашла далеко за ночь.

Сережа отправился ночевать к Литовцеву, в гостиницу.

— Ты, конечно, проживешь тут недолго? — спрашивал он на следующее утро своего друга.— Надо похлопотать тебе о квартире, о лошадях...

— Да, да; ты мне поможешь в этом.

— Непременно, душа моя! Ты ведь знаешь (объятия и поцелуй)... знаешь, как я люблю тебя.

Для милого дружка, говорит пословица, и сережка из ушка. Серж целые полторы недели не заглядывал домой и совершенно позабыл о заботливом характере Розы Адамовны. Она начинала уж беспокоиться: куда это запропастился ее жилец? Вот будет штука, как совсем пропадет! Сам-то еще ничего бы, а вот как деньги за ним пропадут... Надо бы заявить в квартале. До этого Сережа не допустил своей хозяйки; через полторы недели он вспомнил о ней и забежал успокоить ее.

Зато взамен беспокойства, доставленного квартирной хозяйке, каким спокойствием окружил Замятнев своего друга! Без него Литовцеву не устроиться бы так хорошо.

Какую квартиру нанял он ему — чудо!.. и как дешево!.. Какую мебель купил!

— Позволь уж ты мне распорядиться всем этим; ведь ты знаешь, что я поопытнее тебя.

— Делай, делай, как знаешь.

— Скажешь спасибо, душа моя. Вот я и смету маленькую составил, что тебе нужно для меблировки квартиры...Вчера заезжал к Гамбсу и прицéнился... Пустяки будет стоить. Вот посмотри!

— Неужто восемь тысяч?

— Да. Что, небось скажешь, дорого? Уж я, душа моя...

— Это, однако, ужасно много.

— Это много! помилуй!.. Да ты посмотри, какая гибель тут всякой всячины... Ведь у тебя же и не одна комната... Изволь-ка меблировать дешевле четыре комнаты.

— По две тысячи каждая.

— Да как меньше-то?.. Впрочем, если хочешь — в гостином дворе можно и дешевле...

— Ну уж нет, спасибо!.. Нечего делать, надо разориться.

— На что другое, а на это нечего жалеть; нельзя же тебе жить, как какому-нибудь департаментскому столоначальнику. Давай деньги; я еду сейчас...

— Вот, возьми!

И за восемь тысяч квартира была меблирована каким-то гостинодворским Гамбсом.

— Ах, душа моя! какой случай! князь Таптыгин едет за границу и продает лошадь. Рысак! да какой! И что за дешевизна! Впрочем, это он только для меня уступает; мы ведь с ним старинные приятели. Что это, Паша, за конь!.. картина, а не конь... Два раза на бегу выиграл...

— А как цена?

— Полторы тысячи. Не пропускай этого случая, душа моя... это просто за бесценок.

— Я ведь, ты знаешь, не знаток.

— Да если я тебе говорю?.. Меня, не бойся, не проведут: старый воробей!

И Литовцев купил за полторы тысячи лошадь, которая не стоила и пятисот рублей.

Таким же образом, как мебель и лошадь, были приобретены посредством Замятнева экипажи, упряжь, бронза, посуда, серебро, хрусталь, ковры — все необходимое, по мнению Сережи, для комфорта его другу. Только к портному относился Литовцев непосредственно; тут он мог обойтись и без приятельского содействия: знал толк и сам.

— Ну, душа моя, устроил же я тебе квартиру!

— Спасибо, Сережа, спасибо. Молодец ты, право!

— Ну, коль молодец, так обними же меня... Только, знаешь ли, я не совсем этому рад.

— Как так?

— Да своя квартира опротивела — и с Розой Адамовной! Не выходил бы отсюда.

— Переезжай ко мне.

— Полно, что ты?

— Да отчего ж не переехать?

— Только стеснишь тебя, душа моя.

— Вот прекрасно! этакие громадные комнаты — двоим тесно!

— Ты не шутишь, Поль?

— Нисколько; напротив, прошу тебя.

— Серьезно?

— Ну да.

— Ах, Паша, голубчик! вот друг так друг...

Он бросился на шею Литовцеву.

— Ведь и тебе будет веселее, Паша; все не один.

— Конечно.

— Одна беда: как я съеду-то?

— А что?

— Должен, разумеется.

— Хозяйке?

— Да.

— Много?

— Не очень; да ведь, ты знаешь, у меня и ресурсы невелики.

— А сколько именно?

— Да на что тебе?

— Возьми у меня сколько нужно...

— Полно, Паша, мне, ей-богу, совестно, душа моя...

— Вот еще! Ведь не бог знает сколько...

— Так-то, так; да когда я расплачусь с тобой?

— Все равно; сочтемся как-нибудь.

— Впрочем, мне скоро следует получить...

— Ну и прекрасно: вот и расплатишься.

— Нечего делать, надо брать, коли дают.

— Сколько тебе нужно?

— Триста.

— Только-то?

Обниманьям и поцелуям не было конца.

В тот же день пышная полька лишилась своего жильца и, к крайнему своему изумлению, не осталась в накладе. Роза Адамовна смотрела на долг, наросший на ее постояльце за квартиру (сто, а не триста рублей) векселем, написанным на воде. И вдруг — вообразите ее радость! — жилец приносит ей разом уплату за квартиру. Роза Адамовна, разумеется, не знала, как и благодарить его. Она не знала также, как благодарить судьбу, что давно не выгнала Замятнева, видя его неаккуратность в платеже... уж не раз собиралась она изгнать его. И вдруг!.. Роза Адамовна долго смотрела на ассигнации против света: уж не фальшивые ли?.. «Ах, Иезус-Марья!.. опомниться не могу!»

Двое друзей зажили очень весело. Подробно описывать их жизнь не стоит. Утро, начинающееся с часу пополудни; обеды и ужины по трактирам, с шампанским как необходимостью; театры, где оба из кресел принимали участие в закулисном быте актеров и актрис; катанья по Невскому для показания людям себя, своего экипажа и лошадей; вечера

у какой-нибудь Берты или Эрминии, загородные пикники и гулянья.

До приезда в Петербург капитал, доставшийся Литовцеву после отца, казался ему чем-то неистощимым. Прожил год в Петербурге — и капитал сильно убавился. Это, впрочем, не заставило Павла Павлыча задуматься — некогда; голова его постоянно была словно в чаду.

И куда как скоро прошли два-три хмельные года. То, что еще недавно было так приятно, что казалось даже необходимостью в жизни, стояло теперь горьким упреком перед глазами.

Прощай изящная квартира! прощай многолюдная и нарядная прислуга! прощайте экипажи! прощайте рысаки! прощай — и это прежде всего — святая дружба!

— Я тебя оставляю, мой друг.

— Что так?

— Нашел дешевую квартирку.

— Да отчего же ты не хочешь здесь жить?

— Эх, брат...

— Что?

— Что? еще и спрашиваешь!

— Я не понимаю тебя.

— Да долго ли и тебе-то жить на этой квартире?

— Вот продам лошадей...

— Ну и что ж?

— И будут деньги.

Замятнев только покачал головой. Он знал лучше своего приятеля, что стоят его лошади.

— Велики деньги!

— Можно прожить год.

— Ста тысяч не хватило ему на два с половиной года, а тут лошадей продаст — год проживет.

Любезный Серж уж не кидался теперь на шею; он говорил хладнокровно.

— Лучше б ты места какого поискал; это будет вернее! Побесился довольно; пора и честь знать. Квартиру-то эту и оставить можно. Да и поневоле, правда, придется оставить — платить-то будет нечем.

Продолжая в этом тоне, Замятнев так вывел из терпения своего приятеля, что он просто-напросто прогнал его от себя. Слова Сережи мучили Павла Павлыча; но он все-таки не последовал ни одному из его советов.

Лошади были проданы, и деньги, вырученные продажею их, вышли чуть не в одну неделю, хоть их было и немало. Литовцев не привык отказывать себе в чем-нибудь и не сумел остановиться ввиду бедности, широкими шагами шедшей ему навстречу. Так же неблагоразумно промотал он все, вырученное от продажи серебра и половины мебели. Тут случилось одно забавное обстоятельство: при сбыте с рук серебра одна из вещей (а все они были куплены чрез Замятнева), именно туалетная шкатулка, оказалась вещью очень малоценною: серебро было в ней не настоящее, а накладное. Это была та самая шкатулка, которая вместе с некоторыми другими остатками прежнего великолепия приехала с Литовцевым в Камск.

Литовцев начал серьезно задумываться о своей судьбе. Что станет он делать? куда денется? Все, все передумал он; все занятия перечислил в своем уме — и ни на чем не мог остановиться. Служить? но он не приготовлен к службе; он мало учился... Учиться? поздно — так по крайней мере казалось ему.

Вдруг он вспомнил, что есть поприще, к которому в нем всегда было расположение,— театр. «А что,— подумал Литовцев,— я могу иметь успех. Кто ценители в театре? Такие же господа, как я. Друзья мои находили же, что я мог бы заткнуть за пояс самого Каратыгина, когда я передразнивал его в «Гамлете»; куплеты я тоже пою хорошо».

И продав остаток мебели, на вырученные деньги Литовцев поехал в Москву, где, как вы знаете, и дебютировал в трагедии. В Петербурге он не хотел поступать на сцену; Петербург опротивел ему.

В Москве он имел некоторый успех, которому был обязан своим сценическим способностям, но никак не старанию, никак не любви к искусству. Этой любви не было в нем. Но ведь надо же как-нибудь существовать!

Поводов к отъезду из Москвы было два. Мирвольский (так будем мы называть Литовцева) видел,что в Москве он никогда не сумеет выдвинуться из среды только порядочных актеров на первый план, а теряться в толпе ему не хотелось, да и невыгодно, тогда как в провинции он мог сделаться знаменитостью первой величины. Тут кстати подвернулся туруханский антрепренер, и Мирвольский заключил с ним контракт.

Контракт этот, имевший силу только с августа, не мог бы заставить его покинуть Москву в апреле, если б не дру-

гое обстоятельство, более важное и крайне неприятное для Мирвольского.

Думая поправить свои дела, он принялся играть в карты. Искусство это дается не всем, а счастье — и того реже. Сначала ему как будто повезло; но чем далее, тем становилось хуже и хуже.

Одна очень гадкая история, которая легко могла кончиться поединком, заставила его поскорее убраться из Москвы.

Денег хватило у него только, чтоб доехать до первого губернского города, в котором есть театр. Этот город был Камск.

Наруковича немало затруднило предложение Мирвольского, впрочем ненадолго. Он хорошо знал (журналы, взятые у Мирвольского, утверждали его в этом), что ему может быть очень полезен такой актер: он играет и в трагедии, и в комедии, и в водевиле — в чем хотите. Но Фомич никак не мог согласиться на его условия. «Семьсот! эк ведь куда хватил!— раздумывал он.— Семьсот в три месяца!.. Впрочем, может быть он и не очень нуждается в деньгах — верно так, если заломил такую цену».

И перед мысленным взором Наруковича явилась вся изящная обстановка приезжего в гостинице.

«Только как же не нуждаться, когда с московской сцены хочет поступать на мою? Уж значит, туго пришлось. А должно быть, актер хороший. В газетах очень хвалят. Пятьсот можно дать, но уж никак не больше!»

Раздумывая обо всем этом, Нарукович ни полслова не сказал о предложении Мирвольского ни одному из артистов своей труппы. Как, однако, ни думай, надо дать ответ; он же обещал приезжему сделать это поскорее.

И вот часов около девяти вечера того же дня Нарукович пошел к Мирвольскому.

— С благоприятным ответом? — спросил приезжий, встречая антрепренера.

— Не совсем-то; на ваши условия не могу согласиться.

— А ваши?

— Мои-с вот какие: четыреста бы рубликов да бенефис...

Мирвольский насмешливо улыбнулся.

— Или, пожалуй, два бенефиса; только уж деньгами-то больше...

— Значит, нам нечего более и толковать.

— Сами вы посудите: где мне располагать такою суммой? Легко сказать — семьсот...

— Очень жаль; но мы не сойдемся.

— Право, нельзя-с. Ведь всего три месяца, вспомните вы это.

Мирвольский замечал по лицу Фомича, что он крепко желал бы иметь его в своей труппе.

— Прибавляйте! полноте! — сказал он.

— Четыреста пятьдесят — так и быть.

— Ну, что с вами делать? шестьсот — и конец разговору.

— Не могу, право...

Дело уладилось на пятистах рублях.

Мирвольский позвонил.

— Так по рукам!— сказал Фомич, весело нюхнув табаку.

Вошел Иван.

— Шампанского! — крикнул Мирвольский.

ГЛАВА V

Подъем

Не успел Осип Фомич воротиться домой и сообщить своей дочке о поступлении в труппу нового актера, как во всех углах заговорили и зашушукали об этом важном происшествии.

Особенно важно было оно для Живягина. Амплуа нового товарища — его собственное амплуа. Как ни бейся, без интриг и неприятностей дело не обойдется. Не уступит же старый опытный артист какому-нибудь новобранцу, будь он хоть семи пядей во лбу.

Трагик сердился.

— Так вот что, черт возьми! — говорил он жене, расхаживая по своей комнате,— вот зачем подъезжал он ко мне, бестия!.. А мне и невдогад... Как у вас то? как у вас это?.. Часа три расспрашивал.

— А ты, пожалуй, еще и похвалил?

— Было бы что хвалить-то... Нет; видно, солоно пришлось, коли вздумал примазаться к Фомичу.

— Ведь он, говорят, в Москве играл.

— То-то и есть; уж поступал бы к кому другому, а то к Фомичу! Всю Россию исходи, хуже труппы нет. Тесны,

знать, обстоятельства. Кабы не мой глупый характер, и я-то связался ли бы с этим остолопом?

Решилов услыхал весть гораздо хладнокровнее; зато супруга его ворчала в тот вечер больше обыкновенного. Не то чтоб в приеме Мирвольского видела она какую помеху себе или мужу, а так... отчего же и не поворчать?

Девицы Нарукович и Колчанова были весьма довольны. Осип Фомич очень увлекательно рассказывал о новом артисте, хотя во глубине души и шевелилось у него сомнение: полно, будет ли от него какая польза?

— Что ж, когда он переедет сюда? — спросила дочка содержателя.

— Да он и не переедет вовсе.

— Отчего?

— Оттого, что мы и сами послезавтра отправимся...

— Молод он, Осип Фомич? — спросила девица Колчанова.

Нарукович принужденно усмехнулся.

— А вам это зачем?

— Может быть, в женихи годится.

Девица Колчанова произнесла эти слова так восхитительно и притом так кокетливо повела полными, круглыми плечами, что девица Нарукович заранее приревновала ее к Мирвольскому, да и Фомич начал побаиваться за его сердце. Он думал, что прелести Машеньки Колчановой должны действовать на всех с такою же силой, как и на него, и что — увы! — не для всех сердце ее такая неприступная твердыня, как для него; молодому и пылкому герою твердыня эта сдастся, пожалуй, и без всякого сопротивления.

Отношения содержателя к девице Колчановой были довольно странны.

С самого почти поступления ее под начальство Осипа Фомича была она целью его сердечных исканий. Обвинять Наруковича в слабосердечии, вовсе нейдущем к лысой голове, мы не будем: Машенька хоть кого подвигла бы на волокитство. За нею «приударяли» (технический термин некоторых господ, донжуанов по преимуществу) и ремонтеры, и губернские франты, и усатые тунеядные помещики, и ярмоночные купчики. Она была вовсе не красавица и не имела никакого эффекта со сцены; но, видя ее вблизи, трудно было противиться искушению... Что за победоносный взгляд! что за коса! и главное — что за стан! что за лебединая грудь!

«Губы толсты,— говорил, разбирая недостатки девицы

Колчановой, один заезжий гусар на голодаевской ярмонке,— и брови точно помелом выведены». Через неделю, однако ж, гусар уже не говорил этого; несмотря на толстые губы и густые брови девицы Колчановой, он не избегнул ее сетей. Еще через неделю он уже утверждал, что и тот и другой недостаток — вовсе не недостатки, а, напротив, особенные прелести.

Машенька не оставалась холодна к большей части поклонников, встречавшихся ей во время ее беспрестанных странствований с труппою. Нарукович хорошо видел это (ревнивая дочка часто помогала его проницательности) и тайно негодовал. Мало того, он не раз строил, и довольно удачно, контрмины противу опасных неприятелей, подкапывавшихся под добродетель, или, лучше сказать, под снисходительность девицы Колчановой.

К несчастию, действиями такого свойства он едва ли не более вредил себе. Как ни таинственно совершались они, а не ускользали же от проницательного взора Машеньки. Держа крепость в осадном положении около шести лет, Фомич все-таки не питал еще надежды овладеть ею. Три-четыре приступа были слишком безуспешны: он отступал позорно, хотя и не отходил совсем от крепости.

Средства были испробованы все, но не помогли.

Фомич нежничал — над ним смеялись; он принимал строгий вид и пускался взыскивать и придираться ко всяким пустякам — его немедленно хотели оставить.

— Что вы в самом деле? места я без вас не найду?.. Будьте покойны, не стану плакать.

Приходилось опять изменять тон.

Нарукович думал, что самою прямою дорогой к сердцу Машеньки будет лесть ее самолюбию — увы! и это было средство плохое. Девица Колчанова поступила в актрисы вовсе не из желания блистать на сцене. Не влюбись в актера Караулова, никогда и не подумала бы она о театре как о возможном для нее поприще. Караулов недолго оставался в труппе, в которую увлек девицу Колчанову. Он вдруг исчез из Шимханска и где теперь — бог ведает! Девица изредка вспоминала о нем, хотя и без особенной нежности. Единожды вступив в актрисы, она не думала менять своего положения, но в то же время вовсе не думала и о славе.

— Что бы вам, Машенька, взять в бенефис «Коварство и любовь»? — говорил Нарукович. — Мы здесь ее не давали; сбор будет хороший.

— Пожалуй,— отвечала очень хладнокровно девица Колчанова,— только Решилов опять роли не будет знать.

— Уж я погоняю его хорошенько.

— А Луизу кто будет играть?

— То-то вам бы эту роль взять.

Девица Нарукович становилась похожею на кошку, слушая это предложение.

— Подите вы! стану я учить! — отвечала девица Колчанова,— чтоб ошикали?

— Отчего же? — возражал антрепренер.

— Покорно вас благодарю; пусть уж ей шикают! — продолжала Машенька, указывая на девицу Нарукович.

— Когда это мне шикали? — восклицала последняя, сверкая зелеными глазками,— не про себя ли вспомнила?

И так далее.

Какие причины заставляли девицу Колчанову так упорно держаться против любовных ухищрений антрепренера, объяснять здесь не место. Пора обратиться к прерванному рассказу.

Через день после приема в труппу нового члена актеры должны были ехать. Накануне отъезда Нарукович восстал от сна так рано, что еще ни один голубь не начинал ворковать. Он разбудил вялого и неподвижного Антипа, рыжего ламповщика, сбил его с ног, торопя согреть самовар, наскоро напился чаю и чуть не бегом отправился по сонным улицам к театру.

Заботливость Осипа Фомича выгнала его из дому слишком рано. С добрых полчаса пришлось ему пересматривать и перешаривать все углы и закоулки театрального здания (не позабыто ли где что-нибудь), прежде чем подряженный до Голодаева мужик-подводчик приехал с пятью телегами. Но и по приезде его надо было снова ждать: работники, нанятые для нагрузки подвод, тоже не отличались точностью.

— Этакой народец! — ворчал Фомич, суетясь без всякой надобности,— коли поутру его нужно, так вели с вечера приходить, а то и не дождешься до второго пришествия. Дрыхнут до сей поры — экие господа, подумаешь!

— Что нести-то? — спрашивал подводчик.— Покамест я и сам кое-что перетаскаю.

— Да вот хоть это тащи! вот.

Мужик был ражий и взвалил себе на плечи целый вьюк всякой дряни.

— Ай да молодец! — крикнул Фомич, приятно улыбаясь,— да ты, милый, пожалуй, и все сам перетаскаешь?

— Что не перетаскать? — отвечал мужик, даже не покрякивая под тяжелой ношей.

— Так ты бы в самом деле все переносил один. Чем тем еще мошенникам платить, лучше я тебе, милый, гривенку прибавлю.

— Пожалуй, и один переношу.

Осип Фомич был очень доволен, что мог прогнать даром мужиков, с которыми накануне договорился: поздно-де явились.

— Ящик-то тебе одному не снести, милый,— сказал Нарукович, когда уж все было вытащено,— постой, я тебе помогу.

И как ни кряхтел, как ни надсажался, а помог-таки.

Театральные принадлежности заняли три телеги. Осип Фомич сам руководил подводчика в удобной укладке их на возы: «Это вот так положи, этим боком; это сюда подсунь» и проч.

— А веревок принес?

— Как же.

— Ну, так увязывай хорошенько. Смотри, милый, чтоб у меня ничего не пропало.

— Разве как ненароком с возу свалится,— говорил подводчик, затягивая веревки,— а то кто позарится на этакой хлам? Да и с возу не упадет. Гляди-ка-сь, как крепко завязано.

И он принялся так раскачивать подводу, что чуть не повалил ее набок и с лошадью.

— Ладно, милый, ладно; вижу. Рогожа-то у тебя больно ветха.

— Да хоша бы и вовсе ее не было: что клади-то сделается? Ведь не соль — не размокнет.

Когда три воза были совершенно готовы к отправке, Нарукович велел подводчику ехать с ними и с двумя порожними телегами к своей квартире.

— Въезжай, милый, во двор! — крикнул Фомич, подходя к воротам,— тут еще часок-другой придется обождать.

Он юркнул в калитку, сам выдернул засов у ворот, вынул подворотню и распахнул ворота. Возы скрипя потянулись в ворота.

— Ах ты наказанье божеское! — заговорил Фомич, когда, вступив в коридор, по глухому молчанию всего дома заключил, что подчиненные его покоятся еще сном.— Ни один и не подумал подняться. Все я да я хлопочи. Теперь до вечера не успеешь ничего собрать как следует.

Он пошел к кухне.

— Антип! — крикнул он, приотворяя кухонную дверь.

Ответа не последовало

— И этот мошенник завалился!.. Антип! Антипка!

Долговязый ламповщик бросился откуда-то сбоку и едва не сшиб с ног Фомича. Рыжие волосы его торчали во все стороны; глаза были заспаны.

— Ты опять-таки, милый, свалился?.. Что я тебе говорил — а?

— Я будил — не встают,— отвечал Антип.

— Будил? Врешь, наверно врешь. Сам залег дрыхнуть. Ты у меня смотри, милый, я терплю-терплю, да и...

В коридоре стукнула дверь. Фомич оглянулся. Из комнаты музыкантов вышел кларнетист.

— Ну как это вам не совестно, милый? — обратился Нарукович к нему,— до полудня никто не встает. Ведь знаете, что сегодня ехать, а у нас и не собрано ничего.

— Какой же полдень, Осип Фомич? — возразил кларнетист,— я думаю, теперь час седьмой.

— Эк заспался, милый! — сказал с укоризною Осип Фомич.— Час седьмой! теперь седьмой час!

И, как бы желая удостоверить музыканта, что уж первый час, он извлек из кармана часы. Семь. Быть не может! Нарукович прислушался к часам: идут. В котором же часу поднялся он сам? Уж верно, не позже пяти.

Как, однако, ни рано, а надо же разбудить всех, кому следует снаряжаться в дорогу.

Музыканты, долженствовавшие отправиться с обозом (за исключением главы их), собирались недолго: в пять-шесть минут все пожитки их и инструменты были уложены и увязаны на возу. Сундуки и ящики с имуществом других актеров и принадлежавшая труппе мебель тоже скоро были перенесены на подводы. Оставалось заняться укладкою театрального гардероба, и за это дело взялся сам Нарукович, пригласив к себе на помощь свою возлюбленную дочку и девицу Колчанову.

За неимением лучшего и удобнейшего помещения гардероб находился на чердаке. На веревках, протянутых по всем

направлениям от трубы к трубе и пересекавших друг друга, висели разнохарактерные одежды в самом непоследовательном смешении. Бархатный кафтан с аляповатою звездой на груди — принадлежность какого-нибудь маркиза — терся об алую миткалевую рубашку русского мужичка; атласная мантия, обшитая горностаем, осеняла собою и так называемый «комический» жилет, сшитый из пестрого ситца самых ярких цветов, и куртку французского «пейзана», и турецкие шальвары, весьма удобные для кривоногих; деревенский сарафан висел в соседстве с пышным придворным платьем, длинный шлейф которого, закинутый на веревку, прикрывал собою часть коленкоровых черных штанов подьячего. Золотые и серебряные позументы испанских костюмов чередовались с лентами и шнурами пейзанских; красный гусарский мундир переплетался рукавами с одной стороны с курткой какого-нибудь швейцарского пастушка, а с другой — со старинною русскою телогреей. Вблизи многие из пышных костюмов теряли свое великолепие: золото оказывалось мишурой, бархат — плисом, какой употребляется кучерами на поддевки, атлас — нанкой, горностай — кошкой.

Если б каждый из этих костюмов мог рассказать все, что видел он на свете с тех пор, как вышел из рук портного, много занимательнейших историй услыхали бы мы. Не все эти одежды были изготовлены стараниями Фомича; большая часть их перешла к нему от Тараканова, который в свою очередь только отчасти дополнил гардероб, доставшийся ему вместе с несколькими актерами от домашнего театра князя Хамовникова. Сколько раз эта царственная хламида прикрывала исполосованную розгами спину! сколько раз под этим комическим жилетом сердце обливалось желчью в то время, как надо было смешить «просвещенного» барина! сколько вздохов слышало, сколько стыда и позора видело это королевское платье со шлейфом!.. Как знать: может, и кровь есть где-нибудь на этих костюмах. Имя князя Хамовникова недаром сохранилось в памяти благодарного потомства как имя высокого любителя и ценителя сценического искусства.

Целый угол чердака у Наруковича был завален коробами и лукошками, отчасти пустыми, отчасти наполненными тоже разными принадлежностями театральных костюмов. В одном коробе хранились десятки париков: русых и черных, рыжих и седых, из кудели и из шерсти, из конского и человечьего волоса, с локонами и без локонов. Тут же были разных

размеров и мастей косы, бороды, усы, жидовские пейсы. В другом коробе вы нашли бы коллекцию всевозможных головных уборов — от кучерской шляпы и солдатского кивера до треуголки с плюмажем, воинственного шлема и даже короны.

В пустые короба были скоро уложены все костюмы; укладывал сам Нарукович; две помощницы его только снимали тряпье с веревок и подавали ему.

Девица Колчанова то и дело глумилась над ветхостью костюмов, что чувствительно кололо Наруковича: он и сам видел, что гардероб требует обновления... опять расходы!

— Уж эту дерюгу пора бы в сенях бросить — ноги обтирать,— говорила Колчанова, встряхивая над самым носом Фомича какой-то суконный плащ.

— Полноте, Машенька, полноте! — отвечал любезным тоном Нарукович.— Чем это не плащ?.. Только подол пооббился немножко.

Машенька так же, как и плащ, встряхивала над головой антрепренера (он сидел на корточках перед коробом) и плисовый кафтан. Фомич чихнул уже раз пять от пыли.

— Экая гниль! так и ползет... смотрите! так и ползет.

— Ах, Машенька! осторожнее! тише!.. Ну куда будет он теперь годиться?

— Да он и без того не годился.

— Как можно!

— Весь разлезается.

— Давайте его сюда!

И Нарукович спешил освободить кафтан из рук девицы Колчановой: несдобровать ему в этих руках.

— Ну, вот и все, Осип Фомич.

— Заколотить только — и дело с концом.

— Руки-то, руки-то! точно у трубочистов.

Девицы пошли мыть руки, а Осип Фомич запаковал короба и, сойдя вниз, велел перенесть их на воз.

Через полчаса обоз двинулся в путь. Четыре передовые телеги были нагружены через верх разной поклажей; две задние заняты людьми: в одной сидел суфлер с женой и дочерью и приладился в лежку литаврист, намереваясь заснуть; в другой, свеся ноги за облучок, поместился контрабас. Трое остальных музыкантов согласились пройти по городу пешком и шли за последнею телегой.

— Ну, с богом! с богом! — твердил Нарукович, провожая поезд из ворот.

— Прощайте, Осип Фомич.

— Берегите вещи-то!

— Ладно, ладно.

— Ух! одно дело с плеч долой! — вскричал Фомич, присаживаясь на крыльцо и понюхивая табачок.— Слава богу!

Другое дело, то есть отправка артистов, не представляло таких хлопот.

На другой день рано зазвенели колокольчики и бубенчики двух троек, приведенных во двор наруковичевой квартиры. Из сарая выкатили три громоздкие экипажа, нечто вроде телег с поставленными по углам их шестами, на которые сверху и с боков была натянута рогожа.

Тюфяки, подушки и узлы, сваленные в глубь этих экипажей, сделали довольно удобным сиденье в них. Предстояло разделиться всем поровну.

— Бабье особняком! — посоветовал трагик, и совет его был единодушно принят.

Один экипаж заняли госпожи Живягина, Решилова, Колчанова и две Сизогубовы; тут же был посажен в углу и недвижимый Ванюша. Гудков, Живягин, Решилов, Румаковский и Вилков засели в другой экипаж.

— Трогай! — крикнул Гудков.

И обе тройки тронулись.

Нарукович с дочкой остался последним; но это не помешало ему обогнать и обоз с музыкантами и актеров. Он ехал на почтовых, тогда как актеры тащились на долгих.

В одно время с Наруковичем выехал из Камска и Мирвольский.

ГЛАВА VI

Тяга

Вечер только что начинался, а между тем заметно темнело; навстречу двум фурам с бродячими артистами подвигалась густая туча, за которою давно спряталось солнце.

Высунув голову и ноги из-за рогож повозки, Гудков довольно внимательно обозревал окрестность. Вид, раскидывавшийся перед его взором, не представлял ничего привлекательного: гладкое-гладкое поле, местами черное, местами зеленеющее озимью, и вдали синеющая гора, которую еще озаряет солнце... Комик не чувствовал особенной любви

к природе, и глаза его искали не ее красот, а какого-нибудь человеческого жилья

— Холодненько-таки становится,— заметил он, повернув голову к своим спутникам.

— Даже руки зябнут,— отозвался трагик, ущемив зубами потухшую трубку и принимаясь крепко бить о кремень огнивом.

— Очень бы не мешало чего-нибудь согревающего пропустить в желудок,— продолжал Гудков.

— Погоди, скоро приедем.

— Эй, извозчик! — крикнул комик, еще больше высовываясь из повозки.

Извозчик оглянулся.

— Далеко до ночлега?

— Недалече.

— А как этак?

— Как?.. Да вон от того-то села шесть верст будет.

— От какого села?

— А вон!

Извозчик вытянул вперед руку, вооруженную кнутом.

— А! и то село! — сказал Гудков, прищуриваясь.

— Безводное прозывается,— пояснил извозчик.

— Минуем его?

— На что миновать!

— Так, значит, на дороге оно? через него поедем?

— Вестимо, через него.

— А!

И комик стал еще пристальнее всматриваться. На лице его отражалось такое радостное ожидание, что можно было подумать: он приближается к своей родине, которой не видал уж много-много лет.

Вот фуры въехали в ворота околицы; вот часовенка с образом и кружкой; вот хлебные анбары, вот кузница, вот...

— Стой! — крикнул вдруг Гудков.

Извозчик остановил лошадей и покосился не без опасения на колесо: уж не свалилась ли гайка?

— Левее возьми!

Извозчик успокоился.

— К крыльцу, что ли?

— Ну да.

— Куда это? — спросил Живягин.

— Погреться... Идем?

— Идем!

— Кстати уж и мне никак вылезть? — заметил Румаковский.

Повозка остановилась у самого крыльца новой избы. Елка, привязанная на длинном шесте, высоко торчала над кровлей. На верхней крылечной ступеньке стоял востроносый целовальник и делал астрономические наблюдения над быстро набегавшими клубами туч.

Дорожные люди, как известно, невзыскательны; артисты зашли в избу.

Вилков крепко спал; но когда фура перестала трястись и звон колокольчика смолк, тотчас проснулся.

— Где все? — спросил он, озираясь.

— Там,— неопределенно отвечал мрачный Решилов.

— А!..— проговорил музыкант, разом сообразив, в чем дело,— что ж они меня-то не разбудили?

И он мигом перекинулся за облучок.

— Что там опять?— вскричала госпожа Живягина, выглядывая из своей повозки, когда и эта повозка, следуя примеру предшественницы, остановилась.— Уж не изломалось ли что?.. Ах, боже мой! — продолжала она, убедившись, что опасения ее совершенно несправедливы,— мимо проехать не могут.

— Пивца бы стакан выпить,— сказала девица Сизогубова.— Никто не хочет?

— Уж лучше меду,— отозвалась Колчанова.

— Ну хоть меду.

Позвали извозчика и отправили его за прохладительным.

Извозчик передовой фуры обхаживал между тем со всех сторон свою тройку и без всякой надобности то поправлял шлею у пристяжных, то щупал чересседельник у коренной, то покачивал ее тяжелую раскрашенную дугу. Наконец, оставив лошадей в покое, снял шляпу и посмотрел на небо, темневшее все больше и больше. Холодная капля упала ему прямо на нос.

— Эге! накрапывает! Матюха, а Матюха!

— Чего?

— Дождик.

Матюха поднял голову.

— И то дождик; да и ветер что-то подул. Пожалуй, настоимся у перевоза.

— Ничего; перевезут.

— Господа-то долго больно проклажаются...

— Кабы не останавливались у кажного кабака, уж давно бы на месте были! С утра-то...

— Сходи, пожалуста, позови их! — прервала извозчика супруга трагика,— что они засели там? Хоть бы до дождя уехать!

— Где тут уедешь! — заметил извозчик, снимая с козел армяк.— Зови поди, Микита!

Но артисты показались уж на крыльце; они поспешно заняли свои места, и повозки тотчас двинулись. Едва село осталось назади, над головами артистов и артисток забарабанил в рогожную кровлю крупный и частый дождь; ветер подул сильнее; он беспрестанно распахивал полы запонов и орошал путников дождевыми каплями.

Как ни погоняли извозчики свои тройки, как ни скоро бежали лошади, артистам не удалось в этот день благополучно достичь назначенного ночлега. Не доезжая полутора верст до деревни, где Матюха и Микита должны были сдать своих пассажиров в другие руки и где артисты располагали поужинать и отдохнуть, нужно было переправляться чрез широкую реку. Когда прибрежный кустарник застучал ветками по колесам фур и под шинами захрустел вязкий песок, ветер был уж так силен, что Матюха раза три хватался за шляпу и насаживал ее себе на самые брови. Дождь тоже не прекращался; он лил как из ведра, и над головою Решилова образовалась течь. Двинуться было некуда, и потому пришлось поневоле мокнуть. Армяки извозчиков давно были пробиты насквозь — хоть выжми.

Наконец повозки повернули в сторону, скоро потом выехали из кустарника и, выбравшись на более твердую почву, остановились.

— Перевоз, что ли? — крикнул трагик, подвергая свой картуз прихотям непогоды.

— Перевозить не станут,— сердито отвечал извозчик, слезая с козел.

— Это отчего?

— Ишь время-то какое!

— Вот важность!.. Зачем слезаешь!.. Спускайся к парому.

— И парома нету; на той стороне.

— Ну беги, кричи!

— Как же! повезет в этакую непогодь!

Несмотря на возражение это, извозчик пошел-таки к спуску, круто пролегавшему к реке.

Река вся потемнела и расходилась не на шутку; ветер с воем проносился над нею, глубоко взрывая ее поверхность; крупные волны с шумными всплесками ударялись о берег; плот, к которому пристают паромы и лодки, тяжко колыхался и скрипел.

— Паро-о-ом! — крикнул во все горло Микита, остановясь у пристани.

Голосу его, конечно, не было суждено достичь до противуположного берега, который исчез за дождем из глаз.

— Паро-о-ом! — крикнул извозчик снова.

У самого почти плота стояла телега с какою-то кладью; отпряженная лошаденка была привязана сбоку и покрыта рогожною попоной. При крике извозчика попона зашевелилась и из-под нее выглянула голова в малахае. Татарин, хозяин лошади, спасался от дождя, сидя на корточках у нее под брюхом.

Извозчик отошел от берега.

— Знаком! — окликнул его татарин.

— Ась?

— Кричал, кричал — нет ничего!

— Что кричать-то! Ишь наволочь какая на небе. Где уж тут переправляться?

— Бульна пагуда сирдит.

Порыв ветра ударил попоной по голове татарина, и малахай слетел с него.

— Ай-ай-ай! — завопил он, выскакивая из-под лошади и кидаясь вдогонку за своей головной покрышкой.

Когда он поймал ее и воротился занять прежнее место, извозчик уж стоял у передовой фуры. Он объявил артистам, что переправиться через реку нет в настоящую минуту ни малейшей возможности, и при этом советовал им выйти из экипажа.

— Да куда выйти-то?

— А вон!

Комик, сидевший с краю, поспешно оставил повозку. Примеру его последовали все — даже Решилов (дождь не давал ему покоя).

Около спуска к реке одиноко стоял утлый домишко о трех окошках. Он смотрел таким бесприютным, таким беззащитным, что за него становилось страшно: вот-вот ветер сорвет с него кровлю, а пожалуй, и всего его свалит... Но домишко стоял тут на юру, цел и невредим, лет пять; бури и непогоды как будто щадили его. Сзади к нему примыкал

небольшой двор, огороженный с одной стороны плетнем, а с другой — дощатым забором, к которому был прилажен соломенный навес.

Актеры прошли узкими сенями во внутренность дома. Он состоял из двух отделений, довольно обширных, чего никак нельзя было предполагать с первого взгляда. Три окна, смотревшие своими зелеными, составными стеклами на дорогу, принадлежали большой, чистой горнице. Тут в одном углу был прилажен большой поставец, около которого за белым прилавком сидел на обтесанном в виде тумбы пне сам хозяин дома, человек средних лет, с бородкой, в длинном нанковом кафтане. Он занял это место, как только увидал в окно, что проезжие идут обсушиться в его притон.

— Э! — сказал комик, входя в горницу первый,— да здесь помещенье хоть куда.

Он огляделся вокруг и с несказанным удовольствием усмотрел поставец и хозяина, который встал при появлении гостей и почтительно поклонился им.

— Ба! тут целая ресторация.

Решилов прошел прямо в передний угол, снял с себя мокрую шинель и сел на лавку около дубового некрашеного стола.

Остальные путешественники подошли к прилавку. Хозяин снова поклонился.

— Мое почтенье, господа! Чего прикажете?

— А что у тебя есть? — спросил Живягин.

— Из вин-с? Есть донское...

— Травник есть? — перебил Гудков.

— Есть и травник-с.

Как не быть такому обыкновенному напитку, когда было даже донское?.. И не одно донское! Вы могли бы спросить и рому, и сантуринского, и медоку, и мадеры — виноват, собственно мадеры не было, зато было «фаяльское от мадерных лоз» (вероятно, вещь очень недурная); было даже дамское винцо, известное под названием «мушкателя».

— А закусить есть чем?—продолжал спрашивать комик.

— Балык, икра паюсная...

— Каково!

— Семга, сыр...

— Да это что твой «Магнит»! — воскликнул Вилков.

— Вот уж никак не думал, что попадем на такой клад,— проговорил Румаковский.

Хозяин самодовольно улыбнулся.

— Может, вам угодно будет чего-нибудь горячего? — спросил он.— Можно уху получить-с, жаркого...

— Да неужто стоит держать все это?

На вопрос Живягина хозяин отвечал, что непогода часто загоняет к нему проезжих, что проезжих очень много, особенно об эту пору: все едут на голодаевскую ярмонку.

Артисты немедленно потребовали себе самовар, ухи, жареной говядины, семги и травнику и послали звать дам. Меркулыч (так именовался хозяин), чрезвычайно довольный требованием гостей, которое обещало ему изрядную поживу, поспешно отправился сам приглашать дам; потом побежал на другую половину своего жилья, где была еще небольшая горница и кухня. Жена Меркулыча при помощи работницы принялась за стряпню.

— Кто такие? — спрашивала она мужа.

— Комедианты,— отвечал он,— из Камска на ярмонку едут; целая орда.

Дамы скоро явились в комнату и почти единогласно изъявили свое удивление, что нашли такое удобное перепутье. Никто не обратил внимания на то, что ни на одном месте широкой скамьи, тянувшейся вдоль трех стен горницы, нельзя спастись от простуды; ветер, свирепо потрясавший оконницы и обдававший их дождем, пробирался со свистом в многочисленные щели окон и стен. Пламя двух свеч, принесенных Меркулычем и поставленных на большой стол в переднем углу, ни на минуту не было спокойно, и свечи усердно оплывали.

Вся компания так прилежно занялась едой, что никто почти и слова не проронил, пока ужин не исчез со стола и на нем не остались только бутылки, о которых не забывали артисты. Вероятно, чтобы согреться немного, даже девицы Сизогубова-старшая и Колчанова выпили по стаканчику (рюмок не было) «фаяльского».

— Где-то мы тут уляжемся? — спросила жена трагика.

— На лавках всем будет место.

Госпожа Решилова, не дожидаясь этого совета, велела своему мрачному сожителю принести из повозки подушки и легла вместе с Ванюшей, который не замедлил уснуть, хотя в самое ухо дул ему в щель окна холодный ветер: сон невинности безмятежен. Девицы и госпожа Живягина вскоре поступили по ее примеру. На лавке было очень можно поместиться двум рядом; только младшей Сизогубовой не достало места, и сестра отослала ее в повозку.

Долго еще и после того, как дамы успокоились, мужчины продолжали беседу, возлияния и куренье.

Под самым почти окном забренчал колокольчик.

— Ба! еще проезжий! — сказал Живягин.

— Да это не наши ли тройки? — возразил Румаковский.

— Нет; они на дворе, под навесом; это кто-нибудь еще прикатил.

И точно, скоро дверь отворилась, и в нее просунулась голова старика с окладистой седой бородой; но она тотчас же исчезла снова. Заглянув в горницу, старик только поморщился и сказал:

— Тьфу! табачища-то нажгли!

И дверь захлопнулась.

Старик приехал не один; с ним был еще парень лет восемнадцати, с курчавой белокурой головой. Не желая сидеть вместе с артистами, новый приезжий прошел с парнем на другую половину избы.

Оба усердно помолились двуперстным крестом перед темной иконой (старик сначала пристально всмотрелся в нее) и поклонились в пояс Меркулычу и его сожительнице, которые дохлебывали оставшуюся после актеров уху.

— Хозяину и хозяюшке наше почтение.

— Милости просим. Не прикажете ли чего?

— Самоварчик бы.

— Сейчас готов будет; кипит уж.

За самоваром старик разговорился с хозяйкой; Меркулыч услуживал артистам.

— Откуда едете?

— Из-за Турухтанска... Есть там Бор-село; может, слыхала — в пяти верстах от города.

— А далече ли?

— До Голодаева.

— Знать, к ярмонке?

— Да.

— Не торгуете ли чем?

— Торгую.

— Так, значит, с товаром?

— Нет, порожнем; с товаром оттуда поедем.

— А чем торг ведете?

— Панским товаром.

— Это, знать, сынок?

— Нет, племянник. Везу — пусть учится дела вести.

— Доброе дело! доброе!

— Кто это у вас там в горнице?.. Народу что-то много.

— Тоже проезжие. Из Камска, слышь, комедианты.

— Комедианты?

— Да, родной.

— Так и видно, что скоморохи; зельем этим поганым накурили так, что и свету божьего не видно.

— Что, племянничек-то при вас находится?

— При мне; за прилавком сидит. Нынче вот с собой взял; не только свету, что в нашем окошке, надо и людей посмотреть. Потом станет и без меня на ярмонку ездить; старым костям и на покой пора.

— В первый раз едет?

— В первый. Ничего, окромя Турухтанска, не видал; да и там-то раза два всего был.

— А что, хороший город Турухтанск?

— Город как город: два монастыря, церквей пятнадцать. Ты куда, Митя?

— Хочу вот посмотреть, куда нашу повозку поставили.

— Ступай-ка в самом деле, взгляни; под навес бы ее подкатили.

Митя пошел; но вовсе не повозка занимала его. Услыхав, что в большой горнице сидят комедианты, он почувствовал сильное желание узнать, что это за народ: никогда не видывал.

Дверь в комнату, где сидели артисты, была полуотворена, и Митя мог вдоволь насмотреться на них из сеней; но вовсе не того ожидал он, что увидал. Комедианты были такие обыкновенные люди, как и он. А ему казалось... впрочем, он и сам не знал хорошенько, что казалось ему прежде.

— Сирота он у вас, что ли? — продолжала допрашивать приезжего любопытная хозяйка.

— Круглый сирота,— отвечал приезжий,— своих-то детей бог не дал, я и призрел братнина мальчишку... Авось будет мою старость покоить.

Посогревшись чаем, дядя и племянник улеглись на скамье; вместо постели подостлали они под себя тулупы.

Между тем и актеры чувствовали утомление после дороги и сытной трапезы; они тоже поговаривали о сне. Из повозки вытащили тюфяк, принесли в горницу и разостлали на полу. Его заняли Живягин и Гудков; Румаковский и Решилов отправились спать в свою фуру; под навесом «благородному отцу» нечего было страшиться дождя. Вилков остался без места.

— Эй, хозяин! — крикнул он.

Хозяин явился.

— Нет ли у тебя еще где местечка — мне вот прилечь?

— Как не быть! Пожалуйте сюда.

И Вилков прошел за Меркулычем в ту горенку, где расположился проезжий купец.

— Вот, на лавке тут.

Ни старик, ни племянник его еще не спали.

Вилков положил на лавку подушку свою; но прежде чем лег, отцепил от пуговицы своего казакина кисет с табаком, набил трубку и принялся закуривать ее.

Старик вдруг поднялся с подушки.

— Почтенный! — крикнул он.

— Мне, что ли, говоришь? — отозвался музыкант.

— Тебе, тебе.

— Что надо?

— Брось!

— Что бросить?

— Трубку брось!

— Это еще что выдумал?

— Сделай дружбу.

— Поди ты!..

— По́гань.

— По́гань так по́гань... Мне ладно, а тебя не потчую.

Старик вытащил из-под своей подушки бумажный клетчатый платок и зажал им себе нос. Митя с любопытством смотрел на Вилкова, который как нарочно подошел ближе к проезжим и пускал дым густыми клубами.

— Дружбы еще захотел! — продолжал неумолимый музыкант.— Что, голова у тебя кружится от дыму?

— Да,— отвечал старик, спуская ноги с лавки,— оставь, почтенный!

— Вот далось ему: оставь да брось! Не хочу.

— Твоя воля; я честью просил. Вставай, Митя!

Митя встал.

— Неси подушки в повозку!

— Куда ж ты? — спросил, смеясь, Вилков.

Ответа он не получил, но слышал очень ясно, как старик, сердито хлопнув дверью, проговорил в сенях:

— Тьфу ты, окаянный!

«Вот чудак-то не последней руки!» — думал Вилков, укладываясь на лавку.

Скоро в доме погас огонь, и стены его огласились дружным храпом проезжих.

С половины ночи ветер стал дуть слабее, и дождь прекратился, а часа за полтора до рассвета разлетелись понемногу и последние оставшиеся кой-где по окраинам неба тучки. Солнце взошло с ослепительною яркостью; с его восходом ветер уж чуть шевелил поверхность реки.

Татарин вылез из своего убежища и принялся горланить, призывая перевозчиков с противуположного берега. Но там въезжали уж на паром один за другим возы...

Повозка купца спускалась к плоту и скоро остановилась рядом с телегою татарина. Старик с племянником шел за повозкой.

Извозчики наших артистов расторопно впрягали в фуры свои тройки. Хозяин разбудил гостей; гости расплатились с хозяином и всею компанией отправились к берегу, куда скоро приехали и повозки их.

Вилков, увидав старика, не замедлил сообщить всем товарищам об оригинальной ссоре, в которую ввязался с ним вчера. Все с улыбкой посматривали на старика, и он, заметив, что на него обращено общее внимание, начинал не на шутку сердиться. Митя между тем с величайшим любопытством обозревал с головы до ног каждого члена наруковичевой труппы.

— Что уставился как дурак? — крикнул на него дядя,— чего не видал?

— Я так, дяденька...— отвечал в замешательстве племянник, отводя глаза от труппы актеров.

— Шел бы лучше к повозке да уложил там все поаккуратнее.

Митя повиновался, но и роясь в повозке, то и дело поглядывал на артистов. Он все не мог взять в толк, как это они такие обыкновенные люди.

Старик побрел вдоль берега.

— Какой хорошенький мальчик! — сказала девица Колчанова, показывая на Митю.

— Недурен,— подтвердила госпожа Живягина.

Они говорили правду; у мальчика было такое свежее, такое открытое лицо, с умными и выразительными голубыми глазами...

— Надо бы спросить у него, отчего старик не любит табаку,— заметил Вилков.

— Вот охота! — возразила гопожа Живягина,— видно, раскольник.

— Спроси, Вилков,— попросила Колчанова.

И музыкант, повинуясь желанию милой особы, подошел к повозке купца. Митя только что сел на облучок и готовился отвечать на вопрос Вилкова, откуда они едут, как дядя оглянулся.

— Митька! — крикнул он, нахмуривая брови и таким грозным голосом, что племянник вздрогнул и побледнел.

— Ась, дяденька! — робко отозвался он.

— Иди ко мне!.. Сейчас иди!

Митя соскочил на землю и, не успев удовлетворить любопытства музыканта, побежал по берегу вдогонку за дядей.

— Что еще вздумал рассказывать? — спросил старик тем же грозным голосом.

— Я ничего, дяденька... Он сам подошел ко мне...

— Зачем?

— Спросил только, издалека ли едем...

— Ну?

— Я и ответить не успел — ты кликнул...

— Не отходить от меня!

Митя думал: «Ведь, кажется, беда невелика, хоть бы и заговорил с проезжим». Он даже чуть не высказал эту мысль; только сердитые глаза старика заставили его промолчать.

— Не след тебе водиться со скоморохами! — сказал старик.

— Да ведь они, дяденька... — начал было Митя и замялся.

— Что они?

— Такие же люди, как мы.

— Ась? — сказал старик.— Нечестивцы! бесовы слуги!

И Митя не дерзал более возражать.

Паром подплывал уже к плоту, на котором суетился татарин. Он безо всякой нужды кидался с одного конца на другой и, размахивая руками, кричал:

— Кидал бичува! наша кидал!

Малахай сполз у него на затылок.

— Кидал бичува!

Наконец мокрый конец бичевы бросили с парома к ногам усердного татарина. Бичева ударила его по икрам так

сильно, что он даже привскочил; однако тотчас же схватился за веревку и принялся закручивать ее вокруг кола.

Паром причалил; возы съехали с него на берег, и скоро место их заняли повозки артистов, купца и татарина. Татарин хлопотал и тут и там: лошадей придерживал, колеса приподымал на окраину парома, камешков набрал на берегу, подложил под колеса, чтоб не катились... и только что уставил на паром свою подводишку, как кинулся к перевозчику.

— Засув давал!

— Вон, бери!

И татарин загородил засовом ту сторону парома, которая обращена к плоту.

— Багра нада!

— На̀ тебе багор.

Татарин действовал с таким бескорыстным усердием на пользу общую, что привлек к себе общее благоволение. Только на средине реки он поугомонился немного; сел на край своей телеги и закурил маленькую трубчонку с коротеньким черным чубуком.

У артистов вышел весь запас трута, и они с крайним сожалением отказывали себе в удовольствии подкурить угрюмого старика, выказывавшего явное к ним презрение. Увидав, что татарин хватил огнивом о кремень, комик пронес кое-как свое тучное туловище промеж лошадей, колес и оглобель к подводе мусульманина.

— Огонь барма, знаком? — спросил он, вытаскивая из кармана дорожную трубку.

— Бар, бар,— отвечал татарин.

— Давай, знаком!

— На!

Между тем благоухание тютюна, запаленного татарином, донеслось до старика; пробормотав: «тьфу, проклятые!», он отошел к самому краю парома, оперся на загородку его и стал смотреть в воду. Через минуту все четверо артистов уже курили. За неимением лучшего развлечения они решились позабавиться над стариком.

Гудков первый подошел к нему, дотронулся слегка до его плеча рукой, и, когда старик оглянулся на него, он пустил ему прямо в лицо клуб темного дыма и спросил:

— Из каких мест, любезный?

Старик наскоро вынул из-за пазухи платок и прикрыл им себе нос.

— Тьфу! тебе на что?

— Не очень же ты вежлив, любезный!

— Я тебя не спрашиваю, и ты меня оставь!

— Что-то уж больно ты осерчал, старичина.

— Не тронь ты меня, говорю.

— Кто тебя трогает?

«Пфф... пфф...» Целое облако табачного дыма застлало глаза старику.

— Тьфу, окаянный!

— О чем толкуете? — спросил вдруг над ухом старика подошедший неслышными шагами трагик.

Старик даже вздрогнул.

— Тебе еще что надо? — воскликнул он совершенно злобным голосом.

— Ничего,— отвечал Живягин, не упуская случая обдать старика дымом,— спрашиваю, о чем беседуете?

— Тьфу! тьфу! тьфу! — отплюнулся старик и торопливо перешел на другую сторону парома.

Он думал, что уж отделался от озорников, как тонкая струя дыма, прошедшая под самым носом его, заставила его снова вооружиться платком.

— Фу ты, бесово племя!

— У тебя и на воздухе голова от дыму кружится?

Старик отвернулся, зажал нос и не отвечал.

К Вилкову, который усердно занялся обкуриванием попутчика, не замедлили присоединиться Живягин, Гудков и Румаковский. Дамы, кроме госпож Решиловой и Живягиной, смотрели с большим вниманием на проделку своих спутников; они, по-видимому, находили удовольствие в этом спектакле.

Супруга трагика, напротив, не раз кликала к себе мужа и говорила:

— Полно, Вася! как тебе не стыдно!

Василиса Ивановна не удостоивала спорящих даже взглядом. Она была занята: жевала булку и кормила жвачкою своего скорбящего младенца, не выказывая при этом большой нежности.

Сам Решилов, никогда не принимавший участия в поступках товарищей, и на этот раз спрятался в угол фуры; он чувствовал легкую лихорадку после вчерашнего дождевого купанья и лежал съежившись в какой-то тоскливой полудремоте.

«Пфф... пфф... пфф...» Ничего, кроме этих ненавист-

ных звуков, не слыхал около себя старик; ветер как нарочно совершенно утих, и гнусный табачный дым полз у него по бороде, лез в глаза и льнул под козырек его кожаного картуза.

Злоба старика разгоралась с каждой минутой все больше. Наконец он не выдержал и быстро обернулся к курильщикам, крепко сжав кулаки и потому поневоле отняв платок от носа. Глаза его сверкали бешенством из-под низких бровей; борода тряслась.

— Да что вы в самом деле? Черти проклятые! скоморохи окаянные!

— О-го-го! — заметил Живягин, выпуская трубку изо рта и делая шаг к старику.

— Еще что? — спросил Гудков.

— А вот что — сатане душу продали! образ господень опозорили!

— Что это он занес такое? — вскричал Вилков.

— Ну уж и мы-то хороши: пристали к нему! — заметил Румаковский.— Он просто сумасшедший!

— Не ты ли сумасшедший, чертова кукла!

— О-го-го! — начал снова грозным голосом трагик,— ты уж слишком изволишь забываться, любезный!

Он взял старика за плечо.

— Вспомни, с кем говоришь!

— Нечего вспоминать-то. Скоморохи так скоморохи... только и есть.

Решительный приступ Живягина несколько сконфузил старика, хоть он и был, как изо всего видно, неробкого десятка.

— Молчи, мужлан; а то плохо будет!

Может быть, на этом ссора еще не окончилась бы, если б паром не был уже у цели.

— Ну его к лешему! — сказал Гудков, и артисты отошли прочь.

— Тьфу! тьфу! окаянные! тьфу, табашники! — только и твердил взбешенный старик.

Паром подошел уже аршина на два к плоту. Татарин юркнул мимо повозок и вдруг очутился на плоту.

—Ишь, бритая голова, какой проворный! — заметил одобрительным тоном даже сонный и молчаливый перевозчик.

Татарин уж суетился и кричал:

— Бичува кидал!.. Эй, знаком!.. кидал бичува!

ГЛАВА VII

Новые гнезда

Широкая река, омывающая с двух сторон город Голодаев, только что вошла в берега после весеннего разлива; пловучий мост, соединяющий город с большим мысом противуположного берега, на котором ежегодно в течение двух с половиной месяцев кипит шумная ярмоночная жизнь, только что наведен; до открытия ярмонки оставалось еще месяца полтора, но она составляла уж почти единственный предмет городских разговоров. Одни радовались ее приближению и ждали ее с нетерпением, как поры разных развлечений, которыми город не был богат в остальное время года; другие, напротив, хмурились, предвидя расходы, сопряженные с ярмоночною суетой, и дороговизну съестных припасов, которую неминуемо произведет наплыв ярмоночных гостей.

В то время как по сю сторону реки близость ярмонки приводила в движение языки, по ту сторону она заставляла работать руки. Гремели там топоры, шипели пилы и с раннего утра до сумерек слышался гам разных плотничных поделок. Одна за другою вырастали на песке мыса, по сторонам упершегося в него моста, деревянные лавки, сверкая на вешнем солнце своим свежевыструганным тесом; два новые балагана явились на площади, отделяющей каменный ряд постоянных лавок от торговой пристани, которая едва начинала оживляться приходом барок и судов.

Так как ежегодно разлив реки затоплял большую часть нежилых ярмоночных строений и дело редко обходилось без какого-нибудь изъяна, то немало людей было обыкновенно занято об эту пору всевозможными починками, переделками, исправлениями, поновлениями и прочим. Железные кровли на каменных лавках перекрашивались; самые лавки белились заново, а кой-где и подштукатуривались; подобными же средствами приводились в должное благообразие и деревянные постройки, как-то: трактиры, постоялые дворы, балаганы...

Само собою разумеется, что в числе чинимых и обновляемых ярмоночных строений не был забыт и театр, занимавший довольно скромное место на главной площади за десятками балаганов и трактиров. Это было деревянное здание очень почтенных размеров и довольно опрятной и приличной наружности. Главный фас, обращенный к городу,

украшался даже деревянною колоннадой, которая подпирала навес подъезда и крыльца. Шесть окон над шестью колоннами принадлежали комнатам, назначенным для помещения актеров.

Фомич и труппа его могли прекрасно разместиться тут, не стесняя друг друга. Удобства, представляемые голодаевским театром, встречались не везде, и Нарукович был в этом отношении очень доволен как за себя, так, равномерно, и за своих артистов.

Конечно, еще более доволен был Осип Фомич, что ему удалось выхлопотать право представлений на голодаевской сцене. Труппу свою вез он на ярмонку в первый раз, и сам был в Голодаеве только на несколько дней в прошлом году, чтоб обеспечить себя относительно помещения для спектаклей. Немало трудов и расходов стоило Наруковичу желание во что бы ни стало сделаться увеселителем ярмоночной публики; но он не жалел о хлопотах и деньгах, надеясь, что протори и убытки его с лихвою заплатит публика... Это несомненно: стал ли бы иначе Сошников (малый очень расчетливый) ездить каждый год из Бенделея в Голодаев со всею своею труппой... А он ездил ровно десять лет. Вероятно, и еще на десять лет был бы он постоянным посетителем ярмонки, если б не Нарукович. Как сумел Осип Фомич устранить Сошникова, человека с большими средствами и вдобавок издавна известного в Голодаеве,— это тайна его, Фомича, и, право, не знаю, кого еще из местных властей. Сошников, громко негодуя, называл, конечно, по имени виновников своего устранения; но его нельзя считать авторитетом в этом деле: злоба говорила его устами.

Как бы то ни было, а ярмоночная сцена поступила на этот раз в ведение Наруковича.

Из Камска в Голодаев прибыл он очень скоро, на третий день после выезда. Мирвольский не отставал дорогою от антрепренера (замечу мимоходом, что юная дщерь Фомича на каждой станции делала глазки своему новому товарищу, и, к сожалению, совершенно безуспешно); экипажи их в одно время застучали колесами по пловучему голодаевскому мосту. В одно время остановились они и у театрального подъезда.

— Я вам говорю, напрасно вы хотите искать себе квартиру,— говорил Нарукович Мирвольскому, когда оба входили на крыльцо театра,— тут найдется вам отличное помещение.

— Да вы вспомните, сколько у вас артистов, кроме меня,— возразил Мирвольский.

— Увидите — всем будет место.

— Посмотрим.

— Напрасно не велели отложить лошадей у брички: наверное, останетесь тут.

— Останусь — тогда можно будет отложить.

— В гостиницах едва ли сыщете квартиру лучше здешней; разве в городе...

— Вы пьйосто не хотите быть насым соседом,— жеманно заметила девица Нарукович.

Изумрудные глазки ее бросили на Мирвольского заигрывающий взгляд.

— Отчего же? — отвечал Мирвольский, очень равнодушно встречая ласковое обращение к нему антрепренерской дочки.— Только мне кажется, судя по наружному виду театра, что тут не может быть достаточного помещения для всех ваших артистов и артисток.

— Что вы говорите! — возразил Нарукович,— у Сошникова труппа гораздо больше моей, а все, решительно все помещались.

— Поместиться, пожалуй, можно везде; да будет ли удобно?

— А вот посмотрите! — повторил Нарукович,— вот посмотрите!

Несмотря, однако, на уверения антрепренера, новый член его труппы нашел, что места, которое мог бы он занять не без некоторого комфорта, в театральном здании действительно нет. Нарукович очень ошибался, думая, что Мирвольский так же нетребователен, как его новые товарищи... От старого богатства в Мирвольском осталась любовь к роскоши. Как ни скудны были подчас его средства, он умел-таки пустить пыли в глаза не близко знающим его людям. Очень хорошо сознавал он пользу, которую можно извлечь из уменья поставить себя в известном свете. Не дальше как за неделю он, может быть, своему дорогому халату и трубке с янтарным мундштуком был обязан лишнею сотней рублей, выговоренною у Фомича. Поступай он иначе, с большею скромностью — не пришли, например, звать антрепренера к себе, не выложи на вид всего, что есть наиболее бросающегося в глаза в его имуществе,— едва ли Фомич распоясался бы на такую сумму, как пятьсот рублей...

Для артистов наруковичевой труппы ярмоночная квартира должна была, конечно, показаться почти роскошною, особенно после жилья в Камске; но Мирвольский остался недоволен ею.

— Ну где же, скажите, где же мне поселиться здесь? — спрашивал он, обойдя с антрепренером все комнаты.— Вы для каждой назначили жильцов; а на мою-то долю и не оказывается ни одной.

— А вот!

— Да вы сами же сказали, что здесь будут жить Гудков, Румаковский и этот... как его? музыкант...

— Вилков.

— Ну да.

— Что ж! и вам бы с ними. Комната просторная... Как поставить ширмы...

— Покорно благодарю.

— Народ все холостой...

— Я не привык так жить. Мне одному нужно комнаты две по крайней мере.

— Да на что же?

— Уж это мое дело.

— Не балы вам давать.

— Балы не балы, а тут мне тесно... Я люблю простор.

— Как знаете! Только мой совет — остались бы здесь.

— Ни в каком случае.

— И расчету вам нет жить в другом месте... Тут вы ничего не платите и вдобавок в самом театре — со сцены и домой. А там — где еще приищете квартиру!.. Как ни близко, так на одних извозчиках сколько придется проездить: утром на репетицию, потом домой, вечером — играть, потом опять домой. А за квартиру-то! Здесь они и всегда дороги, а теперь, я думаю, приступу нет: приезд большой.

Все эти доводы остались тщетными. Мирвольский простился с антрепренером и его дочкой, сел в свою бричку и отправился искать квартиры.

В ярмоночных гостиницах лучшие номера были уж заранее разобраны; оставшиеся же незанятыми не пришлись ему по вкусу, и он принужден был переехать через мост в город.

— Ступай на самую главную улицу! — крикнул он ямщику.

— В Дворянскую, что ли!

— Ну хоть туда. Это хорошая улица?

— Лучше в городе нету.

— Ступай в Дворянскую!

При самом въезде в эту улицу приезжий наш заметил довольно красивый, новый деревянный домик о семи окнах, из которых три были закрыты ставнями, и велел ямщику остановиться у затворенных ворот.

Во дворе встретил Мирвольского громкий лай огромной цепной собаки, выскочившей из своей конуры при первом прикосновении его к щеколде калитки. Собака понапрасну утруждала себе горло, потому что и без нее появление во дворе чужого лица было замечено в доме из окон. Не успел Мирвольский поднять ноги на первую ступеньку чистенького деревянного крыльца, как из дверей показалась горничная.

— Не отдается ли у вас квартира? — спросил проезжий.

— Пожалуйте-с.

Мирвольский вошел.

— Барыня сейчас выйдет; не угодно ли вам подождать их здесь?

Сбросив с себя в передней дорожный плащ, Мирвольский прошел в комнату направо. Первый взгляд, брошенный им кругом, заставил его подумать, что в доме должны царствовать самое патриархальное спокойствие, самые строгие нравы, самый примерный порядок. Ни пылинки не было видно на простой мебели; пол — как стеклышко; шторы и занавески — снежной белизны; за цветами, которыми были вполовину закрыты окна, видно, ухаживали с любовью: они смотрели так свежо и весело, пригретые майским солнцем. У одного из окон стояло мягкое кресло и перед ним рабочий столик; на столе разогнутая книга и какое-то женское рукоделье, по-видимому только что оставленное. Если б Мирвольский читал когда-нибудь и что-нибудь, он, может быть, полюбопытствовал бы, что за книги занимают досуг хозяев этого дома, тем более что ему почему-то казалось, что «барыня», упомянутая горничною, молодая и хорошенькая женщина; но он три раза прошелся поперек комнаты, не обратив ни малейшего внимания ни на книгу, ни на ноты, развернутые на открытом фортепиано.

Скоро отворилась дверь, из которой, по предположению Мирвольского, должна была выйти молоденькая хозяйка, но оттуда явилась старушка, довольно бодрая, худощавая, небольшого роста, с покойным и довольным выражением в лице, с очень ясным взглядом. На ней было дешевое хол-

стинковое платье; плечи прикрыты большим шерстяным платком; на голове белый кисейный чепец. Одежда старушки соответствовала как нельзя более всей безукоризненно опрятной обстановке.

— Извините, пожалуста, что заставила вас ждать! — сказала она, добродушно раскланиваясь с гостем.— Вам угодно квартиру мою посмотреть? Пожалуйте со мной; мы со двора пройдем... Там есть и с улицы подъезд, да дверь-то теперь заколочена. Пожалуйте!

— Прежде чем мы пойдем, позвольте предложить несколько вопросов,— сказал Мирвольский.

— Так прошу, батюшка, присесть.

— Благодарствуйте. Во-первых, велика ли ваша квартира?

— Небольшая — комнаты три.

— Мне довольно; а есть ли мебель?

— Есть, есть; мы прежде сами весь дом занимали, да вот Лелечка у меня, дочь, не любит, чтоб больно-то просторно было: нас ведь всего двое. Вы, коль не ошибаюсь, приезжий?

— Да.

— К ярмонке, верно?

— Именно, и потому мне квартира нужна только на три месяца.

— Это, батюшка, для нас все равно; отдаем не от нужды — только бы пустая не стояла... А смею вас, со своей стороны, спросить: вы, верно, по торговым делам сюда? или просто повеселиться на ярмонке?

Мирвольский сообщил, кто он такой и зачем приехал в Голодаев. Старушка, видимо, смутилась. Не совсем прямо взглядывая на артиста, она проговорила с запинкой:

— Не знаю, как вам сказать... Прошу вас, не примите слов моих в дурную сторону... Мы с дочерью одни-одинехоньки, всегда дома; любим, чтоб спокойно было, тихо... А вы человек молодой...Товарищи — и все это...Уж и звание ваше такое... Вы, пожалуста, не сердитесь.

Старушка остановилась, чтоб не зайти слишком далеко и не обидеть гостя.

— Могу уверить вас честью,— сказал, улыбаясь, Мирвольский,— что вы не будете иметь ни малейшего повода быть мною недовольными.

В то же время он думал: «А! у вас молоденькая дочка! И притом верно хорошенькая: что-то недаром вы боитесь».

— Я человек очень спокойный,— продолжал Мирвольский,— убедительно прошу вас, не судите меня по другим из нашей братьи артистов, которые могли не понравиться вам. Я недавно в труппе, с которою приехал; ни с кем из актеров незнаком. Признаюсь, у меня с ними очень мало общего. В квартире моей всегда будет тихо; по вечерам я, разумеется, в театре, а днем — как случится. Притом я готов предложить вот какое условие: при первом поступке моем, который вам не понравится, откажите мне в квартире — и я немедленно съеду. Но заранее уверяю вас, что этого никогда не может случиться.

Что заставляло Мирвольского так настойчиво убеждать хозяйку квартиры — трудно решить... Может быть, его начала интересовать ее дочь; может быть, недоставало у него ни силы, ни воли странствовать после утомительной дороги по городу, чтоб, пожалуй, до самого вечера не сыскать себе жилья, тогда как уж найдена, по-видимому, вполне удобная квартира.

Выслушав длинное объяснение гостя, старушка, наконец, сказала снисходительным тоном:

— Если уж вы так настаиваете, взгляните сначала на квартиру; может быть, и не понравится вам. Пожалуйте!

Но тут случилась небольшая остановка. Старушка опустила руку в свой вышитый гарусом суконный ридикюль и вскричала: — Ба!.. зову, а ключ-то забыла. Взяла, да не тот. Повремените минутку, батюшка: сейчас принесу.

И она вышла из комнаты.

Действуя сначала с полной откровенностью, тут она прибегла к небольшой хитрости. Ключ был в мешке, но хозяйка хотела посоветоваться предварительно с дочерью: можно ли принять к себе в дом актера? надежный ли это народ? Хоть он и смотрит таким благовоспитанным молодым человеком, а все как бы не нажить с ним какой-нибудь беды! Без совета со своей Лелечкой старушка не предпринимала ни шага.

— Ничего, маменька,— посоветовала ей дочь, — что ж за важность, что актер!

— Как бы историй каких не было! — возразила старушка.

— Что за истории! Ведь там у нас совсем отдельная половина; оттуда и стука здесь не слыхать.

— Пожалуй, что и так. Будет ли только исправно платить?

— Квартира недорога; я думаю, заплатит.

— Так я пойду, покажу ему комнаты.

— Отдайте, если понравятся. Что еще разъезжать ему по городу?

— С виду, кажется, такой смирный,— заключила старушка, направляя шаги в комнату, где оставила приезжего, — дай-то бог, чтоб хороший был жилец.

Через пять минут дело было слажено: хозяйка получила плату за два месяца вперед, что подействовало очень приятно на ее образ мыслей о новом постояльце; постоялец немедленно водворился в уютных комнатках, которые очень ему понравились; бричка была помещена в сарай... Мирвольскому оставалось только нанять слугу, чтоб вполне обеспечить себе спокойствие на все ярмоночное время; это он сделал на другой же день.

Прежде чем явились остальные артисты, Нарукович позаботился довести до сведения всех, кому надлежало о том ведать, что он, наконец, осчастливил приездом своим город Голодаев. Сбросив с плеч свой неизменный гороховый сюртук и принарядившись во фрак цвета масака с длинными и узенькими фалдами, Осип Фомич нанял на целый день извозчичьи дрожки и поехал в город. Предъявив личность свою губернатору, полицмейстеру и директору ярмонки с просьбою не оставить его своим милостивым покровительством, а в случае надобности и защитою, как человека нового, он счел также небесполезным отдать свое почтение голодаевскому дворянству. С этою целью он явился к губернскому и к уездному предводителям, к одному разорившемуся, но веселому барину, князю Михрюткину, имение которого было отобрано в опеку ради малолетних детей его сиятельства, и к известному голодаевскому старожилу, отставному генералу Алексею Петровичу Охлестышеву, постоянно бывшему, по местному выражению, в контре с губернатором, великому меломану, владельцу изрядного оркестра из дворовых людей и вообще любителю всех изящных искусств. У каждого из этих корифеев голодаевского общества Нарукович рассыпался мелким бесом в любезностях и лести; каждого просил воззреть оком покровительства на его рвение для пользы общей, сопряженное с совершенным бескорыстием, с пожертвованием даже собственных скудных средств, без всяких расчетов на могущее прийти впоследствии вознаграждение. Само собою разумеется, что в ряду своих бескорыстных жертв Нарукович указывал

преимущественно на приобретение для труппы Мирвольского. Рассказывая про нового артиста, Осип Фомич не только делался истинно красноречивым, он, кроме того, проявлял замечательную творческую способность. Читателям известно, как и когда познакомился он с Мирвольским; известно также, что он принял его к себе без всякого испытания, доверяясь единственно похвальным печатным отзывам; теперь Фомич повествовал с очень характеристическими подробностями о том, как присутствовал при дебюте и великом торжестве Мирвольского в Москве, каких усилий и, конечно, расходов стоило ему, Фомичу, переманить такого значительного артиста на свою скромную провинциальную сцену, и тому подобное. Антрепренер знал столько же о происхождении и прежней, досценической жизни своего нового сюжета, сколько и те, которым предстояло ему рекомендовать его в Голодаеве, то есть ровно ничего, а между тем Фомич передавал всю историю его чуть не с колыбели — в таком широком объеме и с такими околичностями, как будто Мирвольский и родился, и был воспитан, и возрос, и созрел под непосредственным наблюдением Наруковича. История Мирвольского, сочиненная Осипом Фомичом на досуге во время пути из Камска в Голодаев, очень заинтересовала всех слышавших ее из уст антрепренера и была найдена очень «романическою». Как же и могло быть иначе? Фомич сделал в ней, некоторым образом, свод из разных, отчасти чувствительных, отчасти неистовых, драм; уж и то делает ему честь, что, пользуясь как материалом пиесами вроде знаменитого «Сына любви» Коцебу, он умел придать своему рассказу некоторую тень правдоподобия.

Седенький старичок с хохолком и крашеными усами, с круглым румяным лицом и еще круглейшим брюшком, отрощенным на чужих обедах, известный из края в край по всему Голодаеву Капитон Валентиныч Потатуйкин, находился в кабинете генерала Охлестышева и покуривал, без умолку болтая, трубочку, когда в кабинет его превосходительства был немедленно по докладе допущен приезжий антрепренер. Представившись хозяину, Фомич поклонился с должным подобострастием и гостю; на несколько вопросов, предложенных старичком, он отвечал, как и подобало, «с наиглубочайшим почтением и совершеннейшею преданностью»... Но, оставив дом голодаевского мецената, он и не вспомнил о старичке ни разу; а между тем ему-то был он обязан, что, отправившись дня через два по всем наиболее замечатель-

ным жителям Голодаева с книжечкой билетов, сделал великолепный абонемент. У него было в один день разобрано десять лож и чуть не целые два ряда кресел. Везде, куда ни являлся Осип Фомич, его осыпали расспросами о его главном артисте. Из этих расспросов антрепренер узнавал такие события из жизни Мирвольского, каких не сумел бы сочинить даже на основании известных ему невероятнейших драм. Так как новые факты очень клеились с рассказом самого Фомича, то он без дальних размышлений подтверждал их. Сначала такая известность его нового артиста в голодаевском обществе удивила его; но потом он подумал, что, значит, недаром Мирвольский заломил с него такую дьявольски высокую цену. Наконец Фомич уверился даже, что сочиненная им история — точно история Мирвольского и знали ее в городе гораздо раньше его приезда туда. Но и в этом, как в успехе абонемента, следовало считать виновником Капитона Валентиныча, к которому антрепренер и не заехал с приглашением абонироваться на его спектакли. Впрочем, Фомич едва ли застал бы его дома. С самого свидания с Наруковичем Потатуйкин был в постоянных разъездах. Рыжим коротконогим вяткам его, никогда не застаивавшимся в стойле, теперь не было времени и поесть как следует (это была, впрочем, их всегдашняя участь в ярмоночную пору). Новостей, недостаток которых в другое время повергал Потатуйкина в уныние, к ярмонке накопилось очень много, и ему представлялось достаточное количество поводов объехать своих знакомых. А кто не был знакомым Капитона Валентиныча? Одних кумушек и кумовьев он никак не мог перечесть без календаря, где были у него отмечены семейные праздники всех мало-мальски известных голодаевских домов.

В день разъездов антрепренера (удивительно, как это Потатуйкин нигде не повстречал его!) вятки принесли Капитона Валентиныча на разбитых дрожках и к воротам Аграфены Петровны Гадаевой, у которой в доме поселился Мирвольский. Проезжая мимо ее окон, Капитон Валентиныч не упустил из виду, что недавно затворенные наглухо ставни теперь открыты... значит, квартира отдана; необходимо справиться, кто поселился тут.

— Что, все ли здоровы? — спрашивал он горничную, суетливо обдергивая в передней свои пестренькие штаны и канареечного цвета жилет.

— Барышня не так-то здоровы-с.

— Как! больна?.. И очень?

— Нет-с, не очень.

— В постели?

— Нет-с; головка что-то болит.

— Ах, боже мой! боже мой! скажите пожалуста! — произнес Потатуйкин таким тоном, как будто ему сказали, что барышня при смерти.

— Здравствуйте, батюшка Капитон Валентиныч,— приветствовала гостя Аграфена Петровна, сидевшая в первой комнате у окна с вязаньем.— Что давненько вас не видать?

— Извините, добрейшая Аграфена Петровна...

Он подошел к ручке.

— Тысячу раз виноват, тысячу раз... что не заехал узнать о здоровье Ольги Васильевны... Не знал, ей-богу не знал. Что, как она теперь? Я слышал, захворала.

— Что за хворость! Так, голова немножко заболела что-то. Вчера мы в саду все возились с ней: цветы высаживали в клумбы... Думаю, не слишком ли долго на воздухе были... Сыро ведь теперь еще, особенно в саду. Голова и заболела вот сегодня... А то, слава богу, все здорова была. Лелечка, выдь, мой ангел! — крикнула Аграфена Петровна, оборотив голову к двери. — Капитон Валентиныч приехал.

Старушка Гадаева была большая охотница поговорить сама и, что редко бывает вместе, послушать чужой болтовни; поэтому она любила Потатуйкина, вечно богатого разными вестями, и никак не могла понять, отчего он не нравится ее дочери. Аграфена Петровна всячески старалась примирить ее с Капитоном Валентинычем; может быть, и теперь кликнула ее именно из желания свести их и заставить разговориться между собой: девушка постоянно избегала встреч с словоохотливым старичком, словно боялась сделаться и сама предметом его рассказов.

Ей пришлось выйти к гостю на зов матери. Капитон Валентиныч стремительно бросился поцеловать ее ручку и осведомиться в самых льстивых выражениях о ее здоровье.

Ольга только что вступила в двадцатый год, и красота ее распустилась уже пышным цветом. Чтоб иметь понятие об этой красоте, еще недостаточно знать, что в Голодаеве с самого приезда ее туда (это случилось недавно) она считалась первою красавицей и возбуждала к себе почти всеобщую зависть губернских невест... А Голодаев был довольно богат хорошенькими невестами! Характер лица Ольги был чисто русский; почти круглое, с прямым и коротким

носом, с серыми глазами, над которыми, едва заметно округляясь, лежали темные брови, оно казалось очень обыкновенным, но тем не менее останавливало на себе внимание почти каждого. Не черты лица привлекали в Ольге, а выражение: дремотный наклон век, опушенных длинными ресницами, из-за которых зрачки никогда не показывались вполне; всегда задумчивый взгляд, только изредка оживляемый блеском глаз, который напоминал тогда блеск надрезанного свинца; тихая улыбка, озарявшая лицо только вполовину и редко отражавшаяся в глазах. У Ольги были густые темно-русые волосы, стройный стан. Росту была она среднего.

— А слышали вы новость? — спросил Потатуйкин, когда Ольга села и он занял прежнее место. — У нас нынче другие актеры.

— Знаю, батюшка,— отвечала Аграфена Петровна,— вот один и квартиру нанял у нас.

— У вас?! — воскликнул, привскочив на стуле, Капитон Валентиныч.— То-то я уж это заметил: окна открыты; хотел все вас спросить.

— Как бишь фамилия-то его, Лелечка?.. я все забываю,— спросила старуха.

— Верно, Мирвольский?—нетерпеливо перебил ее гость.

— Да, да.

— Он! — вскричал с каким-то неизъяснимым восторгом Капитон Валентиныч,— он самый!

— Что такое? — спросила удивленная старуха.

Ольга тоже взглянула на Потатуйкина с изумлением.

— Да ведь это великий артист!

— Вот как! — заметила, слегка улыбаясь, девушка.

— Что такое, батюшка?

— Великий, великий артист, и человек необыкновенный!.. Он играл в Москве — всех там за пояс заткнул... Трагик... удивительный артист!.. Если б не интриги, его бы озолотили... И какая судьба!.. поразительно!.. целый роман!.. Богатство, имя...

— Видела я паспорт его,— прервала Аграфена Петровна,— у него там другая какая-то фамилия написана.

— Да, это всегда так делается: для сцены переменяют имя. Но что это, повторяю вам, за судьба!.. роман...Вообразите...

И Капитон Валентиныч принялся рассказывать историю жизни Мирвольского. Так как он имел уж случай повторить

ее раз двадцать, каждый раз прибавляя к ней какой-нибудь новый факт, изобретенный его досужим воображением, то в настоящем случае повествование его длилось целую четверть часа. К крайнему удовольствию Капитона Валентиныча, старуха Гадаева не раз прерывала его, требуя объяснения, и таким образом дала ему возможность подсочинить еще кое-что к старому сочинению.

Сначала Ольга слушала рассказ очень недоверчиво, но мало-помалу приняла в нем участие и заинтересовалась судьбою Мирвольского. Хотя и знала она, что почтеннейший Капитон Валентиныч любит прилгнуть, но никак не могла вообразить, что в повествовании Потатуйкина, за исключением одного сведения, случайно совпадавшего с действительностью (именно, что Мирвольский был очень богат и прожил свое богатство), не было ни словечка правды.

Аграфена Петровна и ахала и разводила руками.

Окончив, гость принялся снова восхвалять сценические дарования Мирвольского и именовать его великим артистом.

— Вот меня что беспокоит, Капитон Валентиныч,— проговорила Аграфена Петровна,— не было бы у него в квартире какого дебошу.

Гость засмеялся, покачивая головой.

— Ах, Аграфена Петровна! Аграфена Петровна!..— сказал он,— да разве вы не поняли из моих слов, что он человек порядочный, то есть истинно порядочный?

— Что же, батюшка, за порядочность, коль все отцовское наследье чуть не в год спустил?

— Молодость!

— Он и теперь не старик.

Капитон Валентиныч поспешил привязаться к этому замечанию, чтоб расспросить о наружности Мирвольского. Он намеревался, пользуясь этим случаем, поехать прямо от Гадаевых к кой-кому из своих знакомых рассказать, что он сейчас познакомился с приезжим артистом.

— Что, каков он из себя, Аграфена Петровна?

— Видный мужчина.

— Высок ростом?

— Да, с полицмейстера будет.

— С Кондратья Иваныча?

— Да.

— Ого! молодец, значит.

— И статный такой.

— Говорят, брюнет, нос с горбиной...

— Что вы? что вы? Вовсе нет. Совсем белокурый и нос прямой.

— В усах?

— Ну вот этого уж и не помню.

— Вы не помните, Ольга Васильевна?

— Я не видала его,— отвечала Ольга.

— Не видали?!

Капитон Валентиныч был крайне изумлен.

«Боже мой!— подумал он,— какое непростительное равнодушие!»

— Кажется, с усами,— сказала старуха. —Да, точно, небольшие усики есть.

В это время на улице задребезжал чей-то экипаж, и Потатуйкин бросился к окну.

К воротам гадаевского дома подъехали и остановились извозчичьи дрожки, с которых спрыгнул Осип Фомич.

— А! вот и сам антрепренер... К вам? — спросил Капитон Валентиныч.

— Зачем ему к нам! — отвечала Аграфена Петровна,— верно, к своему-то приехал.

Гость поспешно простился и ушел. Он надеялся встретиться во дворе с Наруковичем и перекинуться с ним несколькими словами, но антрепренер успел уж пройти в квартиру Мирвольского, и Потатуйкин не совсем весело крикнул кучеру:

— Давай!

Фомич был лучезарен, когда вступил в комнату, где Мирвольский лежал на диване, куря из длинного чубука.

— Ну, Павел Павлыч! — воскликнул он, входя, — все идет как нельзя лучше.

— Что такое?

Фомич сообщил об успехе абонемента.

— И прекрасно! — сказал Мирвольский.— Что ж вы теперь поделываете сами?

— Да что! совсем сбился с ног. С билетами сначала возился, по начальству надо было явиться, а теперь принимаюсь дома за работу. Живописца вчера нанял: нужны будут новые декорации, да и старые-то подновить...Ох, беда да и только! Расходов-то! расходов-то!

И Фомич, по обыкновению своему, понурил голову и замахал над ней руками.

— А я приехал звать вас обедать,— продолжал он, немного помолчав.

— Извольте.

— Там, на ярмонке, у Бубнова в трактире!

— Ладно.

— Посоветоваться с вами хочу.

— Насчет чего?

— Да вот что нам пустить в первый спектакль для вашего выходу?

— А как вы думаете?

— По-моему, «Жизнь игрока».

— А по-моему, «Гамлета». Ваши играли его когда-нибудь?

— Как не играть! Вася отличался.

— Живягин?

— Да.

— Так назначайте «Гамлета». Я в нем лучше, чем Жоржем.

— У меня, видите ли, тут свой расчетец был... Испанские-то костюмы больно подгуляли у нас. А у вас для «Гамлета» нет своего?

— Разумеется, нет.

— Эх! взять бы вам «Игрока»... тут в городском платье...

— Нет, как хотите, я дебютирую не иначе как «Гамлетом».

— Пожалуй, пожалуй; только я все насчет костюма...

— Надо новый сделать.

— Ох! ох!

Фомич замахал руками.

— Нельзя же явиться в первый раз в какой-нибудь рваной хламиде. Я не привык — говорю вам это единожды навсегда — не привык играть в скверных костюмах.

— Нечего делать,— сказал скрепя сердце Осип Фомич,— соорудим новый. Сегодня же заедем вместе в лавки и к портному.

— У вас своего портного нет?

— Помилуйте, где тут своего портного держать!.. Слава богу, что сами-то кой-как держимся. У меня и костюмы-то с начала моего антрепренерства не переменялись. Хорошо еще, что удалось нынче перейти дорогу Сошникову: сюда-то попали; авось поправятся хоть немного делишки, а то сущая беда: не разживешься в каком-нибудь Камске.

— Когда же артисты-то ваши приедут?

— Да послезавтра должны быть. То-то взбеленится Живягин, что вы Гамлетом выходите. Пожалуй, не уломаешь играть... Тогда без Полония останемся.

— Я постараюсь обделать это мирно.
— Трудно с ним... ужасно горяч! Однако не пора ли нам?
— Едем.

Нарукович в этот день превзошел себя. Он заказал Мирвольскому весь новый костюм Гамлета по его собственным указаниям и угостил своего нового артиста лучшим обедом, какой только мог предложить им бубновский трактир. В довершение своего истинно беспримерного поведения Нарукович, как известно не употреблявший никогда ничего хмельного, к концу обеда оказался даже немного навеселе. Надо было ощущать слишком великое довольство обстоятельствами, чтоб решиться на такое послабление своих строго нравственных правил. С этого обеда Фомич и Мирвольский говорили уж друг другу «ты».

Дня через два шесть окон над шестью деревянными колоннами театрального подъезда оживились человеческими лицами.

ГЛАВА VIII

Под родною кровлей

Каждое утро, каждый вечер усердно молилась Аграфена Петровна и горячо благодарила бога за мир и довольство, которые осеняли ее старую голову, за счастье, посланное ей на долю в любимой дочери.

Долго пришлось ей прожить в разлуке с Ольгой; но это время миновало как тяжелый сон, и Аграфена Петровна старалась и не вспоминать о нем.

Верстах в тридцати от Голодаева было поместье графа Беловодского. Покойный Гадаев, муж Аграфены Петровны и отец Ольги, служил сначала в губернском городе, а потом вышел в отставку и поступил в управляющие к Беловодскому.

Граф был очень богат, стар и бездетен. С молодости и до седых волос погруженный в сознание собственного достоинства, он жил, чтобы заставлять других чувствовать это достоинство и преклоняться пред ним. Сказать по правде, права Беловодского на всеобщее уважение были далеко не столь обширны, как это казалось ему самому. Старое имя, огромное состояние, счастливо (не более) проходимая карьера — и только. Личные достоинства его заключались в обыкновенном светском уме, в обыкновенном светском обра-

зовании, в слишком легком взгляде на вещи и довольно обыкновенном сердце.

Беловодский был женат во второй раз. В браке он искал не семейного счастья, а твердой опоры для своего положения в свете. И первое и второе супружество его вполне соответствовали этой точке зрения. Дом Беловодских был один из первых домов в столице. Граф почитал бы себя совершенно счастливым, если б у него был наследник имени, которым он так гордился; но ни первая, ни вторая жена не подарили его наследником.

Во второй раз Беловодский женился, когда ему было уж пятьдесят лет. Невеста его считала себе несколько меньше половины этих годов. Она была не богата, не знатна, но хороша собой, и светский такт графа отличил ее как девушку, которая, войдя в качестве жены в дом его, сумеет поддержать графское достоинство. Беловодский не ошибся. Из девушки, не отличавшейся от сверстниц своих ничем, кроме замечательной красоты, Александра Николаевна разом превратилась в женщину, сосредоточившую на себе внимание света. Несмотря на поклонение, в котором не было у нее недостатка, несмотря на роль, слишком завидную для многих, Беловодская не считала себя особенно счастливой. Чувства ее к мужу не были пламенны; муж был совершенно доволен, но это было довольство гордости или, лучше сказать, самолюбия, а уж никак не любви, даже не дружбы. Графиня, окунувшись в холодные струи светской жизни, не была увлечена потоком; сердце ее, еще не знавшее любви и просившее этого чувства, как будто съежилось в два-три года, прожитые в свете; праздность сердца, как и праздность мысли все более и более развивали в ней какое-то смутное недовольство своею судьбой. Она стала скучать; обычные развлечения, обычный строго размеренный и однообразный ход жизни утомили ее. Ей хотелось новых ощущений, новых мест. Домашний доктор, который, за отсутствием других болезней, вздумал заняться лечением графини от скуки (она называла ее «невыносимою»), посоветовал ей сделать хоть небольшое путешествие. Александра Николаевна отправилась за границу. Была она в Италии, была в Швейцарии; но как-то мало подействовали на расположение духа ее чудеса природы и искусства: в самой натуре ее как будто недоставало некоторых струн, которые способны отзываться на все прекрасное. Беловодскую отчасти занимала только новизна предметов. Может быть, она развлеклась бы и боль-

ше, если б ее странствование было сопряжено с препятствиями, затруднениями, опасностями и вообще какими-нибудь необыкновенными приключениями. Ничего подобного не было; путешествие графини было так же спокойно, так же полно комфорта, как если б она сидела дома. Большую часть того, что именно едут смотреть в местах, посещенных графинею, видела она из окна своей кареты или вовсе не видала, погруженная в апатическую дремоту. Англичанка, мисс Сара, сопутствовавшая Александре Николаевне, девица лет сорока пяти, вообще очень приличная и смирная, приходила в такой восторг от «поэтической Италии», что страна эта просто опротивела Беловодской от беспрестанных восторженных возгласов компанионки. Той же участи, хотя и в несколько меньшей степени, подверглась «живописная Швейцария». Беловодская поспешила домой, не излечившись от своего недуга,— мало того, не получив даже ни малейшего облегчения.

Возвратясь, недолго прожила она в Петербурге — только зиму и весну. Зима прошла если не весело, по крайней мере не так скучно, как Александра Николаевна воображала. Полтора года отсутствия несколько примирили ее с обществом, которое до тех пор не внушало ей ничего, кроме скуки... Впрочем, к концу зимы прежнее чувство начало закрадываться в нее, а в конце весны она вспомнила даже не без некоторого сожаления о своем путешествии. Ехать опять, однако ж, не решилась... Ей хотелось побывать где-нибудь поближе, но в месте незнакомом. И в один час составился и созрел план поехать в одно из поместий графа, где она еще не бывала.

Еще и двух лет не исполнилось со времени поступления отца Ольги в управители селом Сосновским, когда графиня вздумала посетить это поместье. Господа не заглядывали туда лет двенадцать, и барский дом только единожды в год оживлялся на несколько дней в начале весны. Управитель был обязан держать дом наготове для лета; и вот в половине каждого мая в доме начинались уборки, мытье и чистка. В течение двенадцати лет хлопоты эти происходили понапрасну. Ставни закрывались, и пыль продолжала всюду ложиться толстым слоем. Наконец-то приехала графиня.

С террасы деревенского дома, где Беловодская скучала уж месяца полтора, она увидала однажды в саду, под кустом шиповника, кудрявую девочку, которая очень ей понравилась. Она вздумала подозвать малютку; но та, едва увидала

незнакомую, быстро побежала и скрылась в густой зелени сада.

Беловодская осведомилась, кому принадлежит этот пугливый ребенок. Ей отвечали, что это дочь управителя.

— Приведите ее ко мне.

Девочку привела сама мать.

— Это ваш ребенок?

— Мой, ваше сиятельство.

— Как зовут ее?

— Ольгой, ваше сиятельство.

— Сколько ей лет?

— Всего шестой год-с.

— У вас только одно дитя?

— Одно, ваше сиятельство. В прошлом году схоронили сына... Был уж двенадцати лет.

— Я недолго останусь здесь; пускай она приходит сюда — играть в доме.

— Слушаю, ваше сиятельство.

— Поди сюда,— говорила графиня девочке, которая крепко держалась обеими руками за платье матери и боялась отойти от нее на шаг,— полно дичиться!

— Иди к ее сиятельству, дурочка, иди.

Сама Леля не шла; ее нужно было подвести за руку.

— Она будет хорошенькая у вас... Ну чего же ты боялась?

— Поцелуй ручку ее сиятельства,— советовала мать,— да коситься-то перестань.

— Руку целовать мне не надо, а надо смотреть веселее.

— Не привыкла, ваше сиятельство: больших господ не видывала.

По желанию графини дочь управителя была почти безвыходно в барском доме. В два дня ее одели как куклу, и мать не могла налюбоваться ею.

Лелю мало занимали обновы, и она никак не могла побороть своей робости в присутствии дамы, которую мать называла не иначе как «благодетельницею».

— Экая ты какая! — толковала Аграфена Петровна, когда Леля приходила из барского дома во флигель, занятый ее отцом.— Ну что ты глядишь таким волчонком?

— Я ничего.

— Как ничего! Придешь сюда — говоришь, а там и слова от тебя не добьешься: точно немая.

— Я не знаю, что говорить.

— Как не знаешь? Когда тебя спрашивают — отвечай. Вот вчерась графиня говорит: «Весело ли тебе, Леля, у меня?» А ты и ни гугу.

— Мне невесело.

— Отчего невесело? Разве графиня недобрая?

— Добрая.

— Разве не ласкает тебя?

— Ласкает.

— Так что же тебе скучать! Нехорошо. Ну, сама скажи, отчего тебе скучать?

— Не знаю,— отвечала Леля.

— Ах ты, дурочка, дурочка!.. «Не знаю!» Посмотри-ка, какое платьице-то тебе сшили — а!

Девочка смотрела на свое новое платье.

— Ведь ты этакого и не нашивала никогда... А башмачки-то, а чулочки-то какие!

И Аграфена Петровна сажала дочь к себе на колени и принималась в двадцатый раз любоваться красивыми башмаками и тонкими чулками Лели.

— И надушили-то тебя как! — продолжала она, целуя ее в голову.— Точно ты сама графиня! Ну, ступай теперь к ее сиятельству.

— Лучше я здесь буду.

— Полно, полно. Ступай, играй там в свои игрушки. Ведь игрушки есть у тебя?

— Есть.

— Ну и ступай!

— Право...

— Перестань, перестань, не капризься... ужо опять придешь сюда.

Леля шла не очень охотно. Игрушки, которыми щедро наделила ее графиня, как-то мало тешили малютку. Ей приятнее было сидеть дома и без игрушек.

За несколько дней до отъезда из деревни (после встречи с Лелей графиня пробыла тут не больше месяца) помещица позвала к себе жену управителя.

— Отдайте мне вашу Лелю,— сказала она ей,— я возьму ее с собой в Петербург.

— Ах, ваше сиятельство! — воскликнула управительша, и в восклицании ее как-то странно слышались в одно и то же время и испуг, и радость, и изумление.

— У меня она получит хорошее образование,— продолжала графиня,— и может сделать порядочную партию; уж я не забуду о приданом.

Аграфена Петровна не могла удержать слез... Какие слезы были это? что вызвало их: радость дочерниному счастью или печаль о разлуке с единственным дитятею? Скорее радость.

— Может быть, на будущее лето я опять приеду сюда,— сказала графиня,— привезу и ее повидаться с вами.

— Позвольте подумать, ваше сиятельство.

— Подумайте.

Когда Аграфена Петровна объявила мужу о желании графини, они призадумались, но ненадолго.

— Отдадим, Груша! — сказал муж, решительно махнув рукой, — счастлива будет. У графини состоянье несметное: приданое даст хорошее. Воспитает по-графски.

Аграфена Петровна заметила, с своей стороны, что ее сиятельство доброты и кротости несказанной и что Лелю будут лелеять и баловать как родную дочь: ведь своих нет. Одно препятствие — жаль расстаться с девочкой: любят ее, привыкли к ней, все веселье в доме от нее. Но какое же это препятствие, когда дело идет о благополучии всей жизни?

— Навеки осчастливит,— говорил Гадаев.

Через час дело было решено. Мать Лели и плакала и смеялась.

Зачем Беловодская вздумала взять с собою маленькую Гадаеву?.. Девочка была ей маленьким развлечением в деревенском одиночестве и бездействии; но из-за этого нечего еще было брать ее у матери. В поступке своем графиня руководствовалась не любовью к детям вообще и к Леле в особенности, не желанием выказать доброту свою (а она была точно очень добра); нет, все произошло случайно, без всяких заранее составленных намерений и обдумыванья. Это была просто прихоть, только отчасти подкрепленная мыслью: отчего и не сделать добра бедным людям?

Когда Гадаева отпускала на чужбину свою маленькую Лелю, сердце ее сжималось и ныло больше от страха за судьбу девочки, чем от горя разлуки. В минуты прощанья все блестящие предположения относительно будущности малютки, построенные ею на доброжелательстве графини, разлетелись как дым. Их заступили сомнения... Что, если вместо ласк, вместо привета девочку ждет на чужой стороне пренебрежение, нелюбовь? Что, если не дочерью, не воспи-

таннице́й будут держать ее там, а просто служанкой? Что, наконец, если и воспитают ее в довольстве, роскоши? Она, пожалуй, не захочет потом и знать родителей. А как графиня да не исполнит своих обещаний или (человек смертен) умрет, прежде чем пристроит девочку,— что тогда? На что ей графское воспитание? куда денешься с ним, как нет хлеба насущного? А между тем привыкла к богатству, и грубая работа на ум не пойдет.

Часто и впоследствии такие мысли тревожили Аграфену Петровну. Ждала она каждое лето: вот-вот Александра Николаевна приедет в Сосновское и привезет с собой Лелю; но год проходил за годом, а графиня и не думала ехать в свое поместье. Известия о дочери Аграфена Петровна получала часто, с каждым господским приказом управителю; но что это были за известия! «Девочка жива и здорова» — вот и все. Могло ли удовлетвориться ими материнское сердце?

Только с той поры успокоилась немного Аграфена Петровна, как Леля стала извещать ее о себе собственноручными письмами. Это, однако ж, случилось нескоро. Графиня овдовела, когда Леле было лет восемь. Сначала мисс Сара, взятая графинею в год смерти мужа в гувернантки к воспитаннице, выучила девочку читать и писать по-английски и по-французски, и потом уж наняли для Лели русского учителя. Впрочем, находила подчас на Аграфену Петровну недоверчивость и к письмам дочери: «Так ли, полно, пишет она, как все на самом деле? Может, с чужих слов пишет: правды-то сказать не смеет».

Мисс Сара очень полюбила вверенную попечениям ее девочку. Она была воспитана в правилах строгой нравственности и религии. Такое воспитание развило в ней в высшей степени смиренное покорство судьбе, и никогда ни слова жалобы не вызывала у ней жизнь, от которой мисс Сара не видала ни одной улыбки. С весенних лет и до пятидесятилетнего возраста она посвящала себя воспитанию чужих детей и посреди забот своих забывала думать о себе. Может быть, от постоянного сношения с детьми — и только с детьми, в отчуждении от общества — мисс Сара до старости сохранила в себе детскую свежесть чувства и юношескую восторженность. Восторженность эта выражалась в ней очень выспренно; мисс Сара была подчас смешна, но всегда искренна.

Маленькая Ольга, которой все казалось так холодно и безучастно среди роскоши чужого дома, с радостным изум-

лением встретила теплое участие к себе мисс Сары, и с первых же дней сердце девочки ответило всем хранившимся в нем запасом любви вниманию англичанки. По мере привычки и знакомства с родным языком мисс Сары Леля привязывалась к ней более и более.

Беловодская была всегда как-то лениво добра к своей воспитаннице, холодно вежлива с гувернанткой. Леля и мисс Сара виделись с Александрой Николаевной каждый день; но это были какие-то официальные свидания, вызываемые не обоюдным желанием встречи, а приличием. Они были всегда очень кратки, и мисс опять удалялась с ученицей в свою комнату.

Комната эта составляла как бы особенный мир в богатом доме графини. В него никогда не заглядывала скука, царствовавшая в огромных и пустых покоях, веявшая с высоких лепных потолков, с покрытых дорогими обоями стен, гнездившаяся во всех уголках роскошной мебели и продолжавшая давить собою молодую вдову.

У Лели были прекрасные способности, и она скоро выучилась свободно говорить по-английски. Мисс Сара, посадив ее около себя, часто рассказывала ей одну за другою фантастические сказки. Леля не отрывала уха от рассказов гувернантки. С каждым днем теснее сближалась она с их героями, глубже входила в сказочный мир, исполненный всяких чудес. Склонная к мечтательности и ко всему таинственному, Леля мало-помалу населила весь всегда пустой, всегда безмолвный дом графини множеством призрачных существ. Все получало в глазах ее сверхъестественное значение. В пламени камина, так привлекавшего ее детское внимание, виделся ей теперь голубой игривый образ саламандры. За тихо шевелившимися от легкого ветра занавесами окон скрываются (подозревала она) крошечные шаловливые мальчики, которые, карабкаясь по шелку толстого штофа, подсматривают, что делается в комнате.

Леля была уж тринадцатилетнею девочкой, когда Александра Николаевна вздумала ехать за границу, не то развлечься, не то полечиться.

— Я еду, мисс Сара,— сказала она Лелиной гувернантке,— и, может быть, пробуду за границей целый год.

— О! что может быть приятнее путешествия? — воскликнула мисс.— Как счастлив, кто может путешествовать!

— Но я еду одна,— продолжала графиня,— Лелю мне не хочется брать с собой. Где останетесь вы? Хотите, будьте

здесь и летом переезжайте на дачу; хотите, отправляйтесь в деревню.

— Не знаю, где будет лучше.

— Выбирайте.

Мисс Сара никогда не выезжала из Петербурга; это был единственный известный ей русский город. Деревня в самой глубине России пугала ее, и мисс Сара выбрала Петербург.

— Но Леле, верно, было бы приятно повидаться с отцом, с матерью?

Девочки не было в комнате во время этого разговора.

— Она очень мало помнит их,— возразила гувернантка.— К тому же не лучше ли будет, когда они увидят ее вполне образовавшеюся девицей? Ребенок может, пожалуй, перенять там дурные манеры.

Это возражение было не совсем искренно: мисс Саре просто не хотелось ехать в деревню. Как бы то ни было, графиня заключила свой разговор такими словами:

— Делайте, что вам кажется лучше.

— Я думаю остаться здесь.

— И прекрасно. Для меня же это все равно. Я еду на будущей неделе.

И графиня уехала.

Вместо года она не возвращалась в Петербург целые шесть лет. Леля и ее гувернантка не скучали.

Как прошли для них эти шесть лет, можно рассказать в нескольких строках — так обыкновенна и однообразна была их жизнь. Уроки, заключавшиеся в чтении вместе и потом в разговорах о прочитанном, занятия музыкой, то есть игрою на фортепиано и пением, в которых (особенно в последнем) Ольга делала быстрые успехи, прогулки, довольно уединенные, изредка спектакль — вот и все. Дружба между ученицей и гувернанткой скреплялась все больше и больше. Надо заметить, что мисс Сара получила довольно многостороннее образование, не часто встречающееся между женщинами, и в беседах ее всегда было много полезного для Ольги. Девушка заметно развивалась; она полюбила чтение не как праздную забаву, а как пищу для своей мысли, для своего впечатлительного сердца; взгляд ее на мир был слишком идеален, как и взгляд мисс Сары: может быть, судьба заставит ее страдать, но никогда не будет Ольга томиться такой праздной скукой, как Александра Николаевна.

Письма, которые Ольга часто получала от матери, все больше и больше утверждали ее в мысли, что у нее мало общего с доброй старушкой и по воспитанию и по образу мыслей. Аграфена Петровна заключала обыкновенно письма свои горькими сетованиями, что столько лет не видалась с дочерью, и спрашивала всякий раз: когда же, наконец, придет для нее день свидания?

— Графиня совсем загостилась за границей,— говорила Ольга мисс Саре,— и я, право, начинаю терять надежду увидать ее когда-нибудь. Пишет она так редко; вот мы не знаем даже, где она теперь.

— Шесть писем в шесть лет,— скромно заметила мисс Сара,— это очень любезно с ее стороны! Нам и этого нельзя было ожидать.

— Да, особенной дружбы к нам она не питала.

— А она очень, очень добра! У нее прекрасное сердце.

— Да, и я особенно должна быть благодарна ей; если б не она, что вышло бы из меня в нашем глухом Сосновском?

— Мне кажется, она не узнала бы вас теперь, Ольга.

— Отчего?

— Вы много выросли с ее отъезда, похорошели, расцвели.

— А мне думалось, что я вовсе не изменилась с тех пор. Много ли времени!

— А так много, что из дитяти вы успели сделаться взрослою девушкой. Ведь вы были совершенный ребенок, как она уезжала.

— Мне очень хочется, чтоб она возвратилась поскорее.

— Нам, пожалуй, не будет от этого веселее.

— Мне нужно, мисс Сара, непременно нужно съездить повидаться с маменькой. Она так просит, так зовет меня в каждом своем письме! Разумеется, я могла бы отправиться в Сосновское и теперь, без графини; но все думаю, что она скоро воротится.

— Ах! мне придется расставаться с вами, милая Ольга.

— Вы все-таки никак не хотите оставлять Петербург; не решаетесь поехать отсюда?

— О нет! ни за что.

— Даже со мной?

— Даже с вами, мой друг.

— Мы воротились бы сюда...

— О нет! У меня есть какое-то странное предчувствие... нет, дальше Петербурга я ни за что не решусь ехать. Впро-

чем, я утешаюсь тем, что нам долго еще ждать графиню и вы долго не покинете меня.

— А мне сдается, что она вернется скоро.

— Не думаю.

Разговор этот происходил осенью. Предположение Ольги, что Беловодская скоро явится из путешествия, оправдалось: графиня воротилась в начале зимы.

И мисс Сара и Ольга, поразившая Александру Николаевну своим развитием и своею красотой, нашли в ней большую перемену; графиня как будто переродилась; в ней вовсе незаметно было прежней вялости и холодности ко всему. С участием расспрашивала она свою воспитанницу о их житье-бытье во время ее отсутствия, весело рассказывала о своих поездках по Европе из места в место, из города в город. Никогда Александра Николаевна не была так говорлива, как теперь. Ольга удивлялась этой перемене и не могла найти ей объяснения, как и мисс Сара, несмотря на свое тонкое соображение. Даже и наружно графиня как будто изменилась: сонное выражение лица, утомление, замечавшееся в каждой почти черте его, исчезло; оно было полно жизни.

Когда Ольга сказала Александре Николаевне о своем желании побывать дома, графиня просила ее провести зиму с ней, в Петербурге.

— Зачем поедешь ты теперь?.. что делать зимой в деревне? Подожди весны, и я отпущу тебя — только ненадолго...

Ольга согласилась.

Со дня приезда графини она не сидела уж, как бывало, в своей уединенной комнате одна или вдвоем с мисс Сарой; она почти постоянно присутствовала в гостиной и будуаре Александры Николаевны.

К концу зимы обычным посетителем графини был некто Осмовский, о котором Ольга часто слыхала как о человеке богатом, очень умном, образованном и играющем непоследнюю роль в большом свете. Без труда заметила девушка, что между ним и графиней существует большое сочувствие. Если б она вращалась в свете, она узнала бы, что там об Осмовском и графине говорят как о решенной партии. Они познакомились за границей, где в большей части посещенных ими городов были одновременно.

— Вот и разгадка перемены, происшедшей в графине,— говорила Ольге мисс Сара,— она любит.

Желание ехать повидаться с матерью скоро должно было сделаться для Ольги необходимостью. От Аграфены

Петровны она получила письмо за черною печатью, извещавшее о смерти старика Гадаева.

«Приезжай, ангел мой, Лелечка (писала мать Ольги), утешь ты мою старость. Схоронивши своего покойника, переехала я в Голодаев; наняла там себе маленький домик. Осталось после Василия Акимыча всего двести рублей ассигнациями. Одна моя надежда на ее сиятельство. Если не забыла свое обещание, так, верно, поможет нам — отпустит тебя ко мне и наградит, как говорила, когда брала тебя с собой. Приезжай, Лелечка; не дай ты и мне в могилу сойти, не видавшись с тобой. Отец твой, умирая, только и говорил что о тебе, и благословил тебя заочно. Писала ты ко мне, Лелечка, что приедешь весной. Теперь у нас март месяц. Что бы тебе отправиться по последнему пути! Меня и горе-то одолело, да и хвораю все; а уж как, душа ты моя, по тебе стосковалась, так и рассказать это не в силах».

Месяца через полтора после отправки в Петербург письма Аграфена Петровна дождалась приезда дочери. Трудно передать радость матери, когда она увидала, наконец, свою ненаглядную и столько лет не виденную Лелю. Долго, долго ни одного словечка не могла произнести обрадованная старуха, долго не могла взглянуть на нее: рыдания заглушали ее голос, слезы туманили глаза.

— Господи! господи! — начала, наконец, говорить она, когда наплакалась досыта,— гляжу я на тебя, Лелечка: ты ли это? боже праведный! Вот ведь тебя какую отпустила с ее-то сиятельством, вот какую — чуть видно было от земли. А теперь!.. Расскажи же ты мне, голубушка, как тебе там жить-то было... Поди и не вспомянула ни разу обо мне, старухе! А уж мы-то, Лелечка: часу, кажется, не проходило, чтоб не поговорили о тебе. Василий-то Акимыч покойник — царство ему небесное! — нет-нет, бывало, да и спросит: «А где, говорит, Груша, птичка-то наша отлетная?» Так я и зальюсь...

При этих словах Аграфена Петровна не утерпела, чтоб не всплакнуть и теперь.

— А как умирал,— продолжала она, утирая платком глаза,— так до самой до последней минуты об тебе твердил. Вон и образ, которым тебя заочно благословил — трех радостей. Ну расскажи же мне, расскажи про свое-то житье; мне про себя рассказывать нечего: жили день за день, как господу было угодно.

Удовлетворяя желанию старухи, Ольга передала ей в подробном рассказе все, что могло быть любопытным для Аграфены Петровны из ее петербургской жизни. Аграфена Петровна то и дело прерывала дочь радостными восклицаниями и похвалами ее сиятельству, «благодетельнице и покровительнице» Лели.

— Как она отпускала-то тебя, голубушка? — спросила она при конце рассказа,— обещала ли нам здесь-то помогать? Ведь тебе, пожалуй, Лелечка, трудами жить придется. Писала я никак тебе, что после Василья-то Акимыча всего-навсе двести рублей осталось. Приехала, матушка, сюда — расходы да расходы. В Сосновском, бывало, все готовое; а здесь купи да купи... Совсем беда без денег, совсем...

— Я и забыла сказать вам, маменька,— перебила ее Ольга,— что графиня, прощаясь со мной, подарила мне ломбардный билет, которого для нас на всю жизнь достанет.

— Неужто?

Аграфена Петровна вся встрепенулась от радости.

— Ах, благодетельница наша! И много, Лелечка?

— Пятнадцать тысяч.

— Господи, награди ты ее!

Слезы потекли ручьями из глаз Аграфены Петровны.

Ольга отперла свою дорожную шкатулку, достала оттуда билет и подала его матери. Старушка взялась за него дрожащими от волнения руками. Когда слезы немножко унялись и глаза могли ясно видеть строки на билете, она почувствовала новый и сильный прилив радости к своему сердцу.

— Голубушка! Лелечка! я думала, ассигнациями пятнадцать тысяч, а это серебром...

— Да.

— Господи! серебром пятнадцать тысяч! Вот и не снилось никогда такое богатство!.. Это ты у меня, Лелечка, счастливая такая уродилась...

И Аграфена Петровна крепко обнимала и целовала дочь.

— Ведь это, Лелечка, на ассигнации-то с лишком пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч... что я!.. пятьдесят две с половиной... так, кажется?

— Да, маменька.

— Не забыла, голубушка, своего обещанья, не забыла. Как теперь вижу: позвала она меня поутру к себе; сидит это в креслах, с книжкой в руках. «Отдайте, говорит, мне

Лелю!» Я сначала-то так и не вспомнилась от этих слов; потом уж сообща рассудили отдать. «Я, говорит, воспитаю ее, приданое дам». Не забыла, голубушка, не забыла своих слов. Я, признаться, Лелечка, и всегда думала, что она не забудет обещанья; только уж таких-то денег мне и во сне не грезилось. Даст, думаю, рублей тысячу — и то, думаю, слава тебе, господи! не нищими останемся: судьбу может хорошую найти. А теперь... Ах, святые угодники!

Радости Аграфены Петровны не было конца.

Немного поуспокоившись, она стала рассуждать, как им пообстоятельнее устроиться в Голодаеве.

— Домик надо приглядеть, Лелечка,— говорила она,— небольшой да недорогой, чтоб только нам двоим место было; на квартире-то жить и дороже и неудобнее... Да ты, Лелечка, писала мне, что много музыкой занимаешься; фортопьяны вот надо будет тоже завести.

— Да, маменька, я буду вас об этом просить.

— Чего просить, голубушка ты моя! Распоряжайся, как сама хочешь. Тебе лучше знать, что надо и как. Я, живучи в деревне-то, ото всего отвыкла.

Через несколько дней был приискан дом на Дворянской улице, и вскоре Ольга Васильевна Гадаева сделалась его владелицею.

В этом-то доме, через полтора года после поступления его в новые руки, видели мы Мирвольского.

Аграфена Петровна не могла вдоволь нарадоваться и налюбоваться дочерью. Ей хотелось в то же время, чтоб все разделяли ее радость.

— Лелечка,— говорила она, когда дом был приведен в совершенный порядок и уж не оставалось никаких хлопот по домашнему хозяйству,— не все же нам жить затворницами; познакомиться бы в городе с порядочными людьми.

— Мне кажется, у нас довольно знакомых, маменька,— отвечала Ольга,— я не скучаю, да и вы тоже.

— Эх, Лелечка, что у нас за знакомства! Мне еще, старухе, это компания — так; потолкуем, соберемся, о старом времени, как жили, когда еще покойник Василий Акимыч на службе здесь состоял,— и ладно; а тебе, поди, и слушать тоска, как мы примемся свою канитель тянуть. Ты девушка молодая, надо тебе в обществе бывать, развлекаться... Слава богу, невеста не хуже других. И то уж говорят, слышь, что мы по скупости хоронимся от добрых людей.

— Пусть говорят, маменька! Мне, право, не хочется выезжать...

— Как это не хочется! Я тебе удивляюсь, Лелечка; молоденькая ты, а не охотница ни нарядиться, ни потанцевать. Вот в собранье бы стали ездить, на балы, на вечера. Не век тебе и девушкой сидеть... Конечно, время не ушло; что еще твои за года! А все же, в четырех стенах сидя, судьбы не дождешься. Съездили бы, голубушка, с визитом к губернаторше, к предводительше...

Ольга долго отговаривалась, но, наконец, должна была уступить просьбам Аграфены Петровны. Знакомства в губернском городе составляются легко, и скоро Гадаевы сделались необходимыми членами голодаевского общества. Ольга принуждена была в угоду матери посещать почти все балы и вечера, хотя и не находила в выездах большого удовольствия. Она считалась самою богатою из городских невест, и потому немудрено, что у нее явилось много поклонников.

Успех Ольги в губернском свете несказанно радовал Аграфену Петровну, так же как и ухаживанья за нею молодежи, но она не могла надивиться, как между столькими достойными, по ее мнению, молодыми людьми Ольга не находила себе никого по сердцу. Когда Аграфена Петровна громко изъявляла свое удивление, Ольга обыкновенно говорила ей:

— Верно, еще не судьба мне выходить замуж.

— А я так думаю, Лелечка,— отвечала мать,— тебе наши женихи не нравятся после петербургских.

— Да там я и не знала почти никого.

— Конечно, какое у нас образование здесь! — продолжала Аграфена Петровна,— ты же вон у меня какая: все бы с книжкой сидела. И между барышнями-то нет тебе подруги; такие все, прости господи! либо вертушка, либо дура да необтесанная. Из всех, признаться, здешних женихов только один и есть, про которого ничего сказать нельзя.

— Кто это?

— А Ухманский!

— Он вам нравится?

— Прелесть молодой человек! умен, образован...

— Полноте, маменька; он только думает о себе больше, чем другие,— вот и все.

Видя, что Ольга нисколько не расположена искать себе в Голодаеве женихов, Аграфена Петровна мало-помалу

переставала говорить об этом предмете и упрашивать дочь чаще выезжать. Ольга была очень довольна, что могла, наконец, больше сидеть дома, заниматься чтением, музыкой или каким-нибудь рукодельем.

— Уж какая же ты, посмотрю я на тебя, домоседка у меня, Леля! И как это не наскучит тебе все читать да читать! — говорила Аграфена Петровна.— Совсем ты глаза себе испортишь; печать же нынче все такая мелкая...

Не питая особенной любви к книгам, Аграфена Петровна очень одобряла занятия Ольги музыкой и часто сама просила ее играть на фортепиано или петь.

— Лелечка, спой-ка мою любимую.

— «Птичку»?

— Да.

Леля пела, и когда доходила до стихов:

Птичка! птичка! даль, да море,
Да чужая сторона...
Или вечно там весна?
Иль зимы не страшно горе? —

на глазах старушки всегда выступали слезы, вызываемые воспоминанием о долгой разлуке с дочерью.

Вскоре по приезде Наруковича Аграфена Петровна говорила дочери:

— Надо будет нам съездить в театр, Лелечка, посмотреть новых актеров.

— Поедемте.

— Нашего постояльца посмотрим: каков-то он? Что-то много про него толкуют.

— Мне не верится всем этим похвалам.

— Что ж так? Капитон Валентиныч говорил наверное. Да ты еще не видала его?

— Не видала.

— И собой-то он такой молодец! Кажется, и не может дурно сыграть. Не знаю, когда будет первое-то представление. Надо послать справиться у постояльца.

Дня через два принесли афишу, из которой явствовало, что такого-то числа текущего месяца артистами труппы господина Наруковича на голодаевском ярмоночном театре будет, с дозволения начальства, представлена трагедия в пяти действиях «Гамлет, принц датский», в коей роль Гамлета исполнит вновь ангажированный известный артист московского театра, господин Мирвольский; за оною

трагедиею последует разнохарактерный дивертисмент, в коем девица Колчанова будет плясать по-русски, девицы Нарукович и Сизогубова-младшая исполнят стирианский танец, а в заключение господин Гудков пропоет комические куплеты: «Купец лавку отворяет». За этим исчислением всех прелестей предстоящего спектакля следовали, как водится, краткие, но выразительные строки, в которых говорилось, что «содержатель театра, не щадивший» и прочее, «льстит себя надеждой» и так далее...

Аграфена Петровна послала взять ложу.

ГЛАВА IX

Птицы спеваются

Настал день первого представления. О! стократ треволненный день!

На рассвете является Забота к одинокому ложу Осипа Фомича, наклоняется к уху этого почтенного смертного и шепчет: «Вставай! сегодня тебе много дела». Шепот Заботы так же резок, как трагический шепот Живягина, когда он в какой-то кровопролитнейшей трагедии шепчет (в сторону), хватаясь за кинжал и кидая смертельный взгляд на свою коварную возлюбленную: «Зззме-я!» Осип Фомич быстро покидает постель. Усевшись бриться, он второпях срезывает прыщик на подбородке; вместо обыденного горохового сюртука ни с того ни с сего натягивает себе на плечи парадный фрак и, только почувствовав, что под мышками режет, замечает свою ошибку. «Тьфу!» Беда иметь заботливый характер.

В самую глубь крепкого сна, в котором потонул рыжий Антип, достигает грозный голос, трижды именующий его; ламповщик пытается выплыть на поверхность, движет всеми членами, но водоворот мчит его в пучину. Нет сил бороться; надо предать себя могучим волнам сна. Но вот утопающий чувствует в волосах своих спасительную руку; она извлекает его из пропасти.

Весь всполохнувшись, долговязый детина широко раскрывает глаза и видит пред собою хмурое лицо Осипа Фомича.

— Что было сказано с вечера? — гневно произносят уста антрепренера.

Детина вскакивает, выпрямляется и тупо глядит на Наруковича. В ушах его еще гудят волны, из которых только что вытащили его.

— Что было сказано с вечера? — повторяет Фомич.

Хоть убей, ничего не было сказано с вечера.

— Все заспал?

Антип совершенно неожиданно кидается в сторону.

— Куда? — восклицает разгневанный Фомич.

— Самовар поставить.

— Ну, живо!

Самовар уж в руках Антипа; но едва подошел он к плите, враждебная стихия снова обуревает его. Словно волна хлестнула его по рукам, и самовар летит на пол, звеня и гремя; труба катится в одну сторону, конфорка — в другую.

— Ах, косолапый! — кричит Фомич.

Но самовар уж в крепких объятиях Антипа, и Антип окончательно проснулся.

— Изломал, милый?

— Нету.

— Живо у меня, живо!

Фомич начиняет себе нос табаком и бежит вниз, на сцену.

— Ишь будила-мученик! — ворчит рыжий ламповщик,— раньше солнца глаза продрал. И другие не спи! Наждешься у меня самовара. Покамест еще плиту разведу, да когда-то еще угли будут горячие. И выйдет, что рано затеял, да на поздно свел.

Гром упавшего самовара пробуждает решиловского Ванюшу; но это пробуждение мгновенно: хлопнув бессмысленными глазами и раскрыв рот, он опять засыпает на теплом лоне матери. Ворчливость госпожи Решиловой крепко спит вместе с нею; но не спит меланхолия «благородного отца», и сам он встал уж с постели и сидит у окна.

Взор его тоскливо бродит по едва пробуждающейся местности — бродит, ни на чем не останавливаясь, ничего не замечая и не видя, будто все эти балаганы, лавки, барки, суда, мост вдали и город на горе — одним словом, все, открывающееся глазам из окна, облечено в такой же гнетущий туман, какой лежит на душе Решилова. Чепуха подобно грозным тучам лезет к нему в голову.

Со вчерашней репетиции не разглаживалось его чело; насупив брови и завивая рукой вихор за левым ухом, он

предается самым траурным соображениям, которые, сказать по правде, не имеют никакого основания.

Гораздо лучше сделал бы Решилов, если б читал тетрадку, лежащую около него. Это — роль Клавдия, о которой ему несколько раз было сказано: «Надо выучить потверже»; но он до нее не касается.

Давно уж снедает его тайный недуг, о котором никто и никогда не слыхивал от него ни слова. Какая-то непонятная боязнь будущего парализирует каждое движение его в настоящем. Эта боязнь заставляет его копить деньги и отказывать себе не только в прихотях, но и в необходимом (и у него накоплена уже изрядная сумма на черный день); эта боязнь заставляет его видеть в каждом своем товарище личного врага, строящего ему разные козни. Прием Мирвольского в труппу не произвел на него сначала особенно неприятного впечатления; но со вчерашней репетиции Решилов ощутил некоторый страх. Мирвольский, видимо, отодвинул первого актера труппы, Живягина, на второй план; передвигаясь, Живягин заденет, непременно заденет и его, Решилова, и отодвинет в свою очередь на третий план. И в расстроенном воображении «благородного отца» ярко обрисовалась неприязненная фигура Осипа Фомича, который отказывает ему от места, говоря: «У меня теперь полный комплект и без тебя; ты мне больше не нужен. Иди куда знаешь! Правда, кто тебя примет? Что ты за артист! В ролях вечно нетверд!»

Рука Решилова протянулась к тетрадке.

Между тем Осип Фомич думает о нем в эту минуту так же мало, как, например, недвижимый Ванюша о славе. Осип Фомич щупает в разных местах пальцем раскрашенный вчера заново холст декораций. Убедившись, что краски успели за ночь высохнуть, он взбирается на самое высокое помещение для зрителей, именно в раек, и, ухватившись обеими руками за его загородку, старается покачнуть ее. Загородка не подается ни на волос. А чуть было не наделала она потехи! Не будь у Фомича такой заботливый характер, не пошел бы он вчера посмотреть, крепка ли загородка; а не пойди он, и не узнал бы, что она крайне ветха; а не узнай... ужасно! Народ набирается в раек, напирает все больше и больше вперед, и вдруг в самую торжественную минуту, когда он, Осип Нарукович, является на сцене тенью Гамлетова отца,—тррах! зрители летят из райка вверх тормашкой... От одной мысли о подобном казусе пробегает

по спине и озноб и жар. Из райка Нарукович стремится на подъезд, где трое плотников чинят что-то.

— Что, скоро кончите?

— Скоро; малость доделать осталось.

— Вот доску только подшить. Сбегай-ка, Васюк; гвоздей мало.

— Ладно.

Васюк идет.

Аккуратная душа Осипа Фомича возмущается.

— Экой народец! Не могли разом всего захватить?

— И захватили, да недостало.

— Ишь тут все доски вспучило.

— Ну, полно вам толковать-то! Кончайте живее да идите ко мне; там еще дело есть.

— Живо кончим.

— То-то! Пожалуй, еще что-нибудь забыли. Опять разгон начнется.

— Нету, все с нами.

— Так работайте же, работайте! Что руки-то сложили?

— Да вот Василий за гвоздями пошел.

— Эх, народец! народец!

Печально помотав головой и понюхав табаку, Фомич поворачивается, чтоб удалиться; но вдруг глаза его поражает важное упущение по части театрального интереса, не замеченное им при выходе. Больших размеров афиша, напечатанная на красном листе, которую он вчера собственноручно прибил четырьмя гвоздиками к одной из деревянных колон подъезда, исчезла.

— Кто сорвал афишку? — восклицает Осип Фомич, яростно обращаясь к плотникам, которые праздно переминаются с ноги на ногу.

— Чего? — спрашивает один из них.

— Что сорвали?— спрашивает другой.

— Вот тут на столбе бумага была.

— Бумага?

— Кто ее сорвал?

— Мы не срывали.

-- Так кто же?

— А почем нам знать!

— Да вы же ведь тут с утра толчетесь.

— С утра-то с утра; да на что нам ее, бумагу-то?

— Никто сюда не подходил?

— Никого не было.

— Верно, вы не видали. Вчера поздно вечером тут была афишка.

— Может, и была.

— Не «может», а была; сам видел.

— Мы не брали.

— Уж верно, кто-нибудь подходил да стащил.

— И то, может, подходил.

— Тьфу, дурачье! толкуй с вами!

И Фомич удаляется раздосадованный.

Он идет к себе в комнату, куда следом за ним является и Антип с самоваром.

— Разгулялся? — спрашивает Нарукович, бросая недовольный взгляд в заспанное лицо рыжего ламповщика.

— Что мне разгуливаться-то?

— Ну-у! без рассуждений, милый!

Ламповщик бормочет что-то под нос.

— Сказано! — прикрикивает Фомич.

Антип надвигает на глаза свои густые брови и умолкает.

— Встал кто-нибудь?

— Нет еще.

— А все дома?

— Все.

— Поздно пришли вчера Гудков с Румаковским?

— Я не слыхал.

— Ты что услышишь!

Фомич наливает кипятку в чайник.

— Больше ничего не надо? — спрашивает, почесывая за ухом, Антип.

— Тебе бы, небойсь, опять спать завалиться?

«Как же! — думает Антип,— много наспишь с тобой, будилой-мучеником!»

— На вот афишку, поди приколоти ее там у подъезда...

— Там ведь была?

— Иди, коли тебе говорят. Сорвали ее, так ты эту на старое место прибей! Гвозди есть там.

Ламповщик берет афишку и молча удаляется.

Напившись чаю, антрепренер опять отправляется вниз, но предварительно проходит, прислушиваясь, по коридору, в который выходят двери из комнат артистов. Глубокое молчание царствует везде; сон держит еще всех в своих сладостных узах.

Только из комнаты Решилова доносится до слуха Фомича глухое бормотанье, и он приостанавливается.

Злодейства пар кровавый, страшного злодейства,—

слышится оттуда,

Достиг небес. Ужасно преступленье,
Мной совершенное, первоначальный грех —
Злодейство Каина,— убийство брата!
Я не могу молиться, хоть порывы
Раскаянья терзают душу мне,—
Вина моя раскаянья превыше!

— Слава тебе, господи! — говорит Нарукович,— взялся за ум: учит роль. Вчера слушаю — ни в зуб толконуть.

Злодейства пар кровавый, страшного злодейства,
Достиг небес! —

слышится снова.

Но Фомич уж на лестнице, ведущей в театральные сени. Внизу встречают его плотники и Антип.

— Прибил? — обращается он к ламповщику.

— Прибил.

— Ступай, лампы приведи в порядок.

Антип взбирается наверх.

— Вы что? кончили? — спрашивает Нарукович плотников.

— Кончили.

— Идите сюда за мной! Ступай кто-нибудь из вас, принеси ручную лестницу! там вон пройди! Во дворе стоит. Занавес надо будет прибивать.

И через четверть часа занавес повешен.

— Ну-ка спусти!

Плотники дергают с обеих сторон за веревки, но занавес и не думает опускаться.

— Сильнее дергай! сильнее! Ну!

— Нейдет.

— Эх вы! чертовы куклы! Что-нибудь наверху там не так. Ставь лестницу!

Осип Фомич взлезает на нее сам.

— Ну что ты тут наделал? Разве этак прибивают? —кричит он сверху.— Экие молодцы! ничего путем сделать не могут! Эй ты, влезай сюда с топором!

Кой-как дело улаживается.

— Спусти!

Желтая лира, на днях подмалеванная, является очам Фомича во всей красоте своей.

— Подыми!

Лира уходит под потолок.

— Опять спусти!

Спускают.

— Ладно теперь.

В хлопотах незаметен полет часов, и Нарукович не видал, как прошло время до одиннадцати. Немало досталось ему побегать, немало посердиться; особенно Антип взбесил его.

— Где лампы? — спрашивает Фомич.

— Вот.

— Ах, боже мой! боже мой! — восклицает Нарукович, ухватив себя за виски.

Антип тупо глядит вбок.

Задав себе изрядную трепку за чужую вину, Осип Фомич обращается к ламповщику.

— Что было тебе сказано с вечера? — кричит он,— что было сказано?

Тут только припоминает долговязый детина, что с вечера было ему велено вычистить лампы.

— Да что их чистить-то! — замечает он очень хладнокровно.

— Долго ли тебе умничать, рыжий черт? Сейчас чтоб были вычищены!

— И так бы прогорели.

— Молчи! не выводи ты меня из терпенья, милый! Ну что стоишь? Бери да принимайся!

— Успею.

— Тьфу, пустая башка! Делай, что велят. Зажги их этак-то, и стекла все перелопаются. Лень-то прежде нас родилась.

Антип складывает лампы к себе в грязный передник.

— Лень надо на ремень! — замечает мимоходом Гудков, поспешая вслед за Румаковским.

— Куда вы? — кричит им Фомич.

— Нужно.

— Репетиция сейчас.

— Знаем.

Ух! кажется, никогда не уставал так Осип Фомич, как в это утро.

На башне у каменных лавок бьют часы одиннадцать.

— Эй ты! беги! зови всех на репетицию!

Антип очень небрежно бросает лампу, которую только что принялся промывать, и бормочет:

— Никак совсем разорваться приходится.

— Скажи еще слово, милый! — замечает Осип Фомич, — одно только слово скажи! вечером же сегодня духу твоего здесь не будет.

На сцене уж толкутся человек тридцать, которых мы не видали в труппе. Все это временные актеры, завербованные Фомичом на другой же день по приезде за умеренную поспектакельную плату, от гривенника до рубля включительно. Глядя на этих молодцов, невольно подумаешь, что при выборе их условием, sine qua non[1], были неуклюжесть и неповоротливость.

«Это ничего! — думал Фомич,— только бы роли выучили да не сбивались!»

И он успел уж убедиться по репетициям, что роли читаются без запинки, тогда как Решилов, например (игравший Клавдия раз двадцать), первой строки без суфлера не припомнит. Скажет:

Сколь нам ни драгоценна...—

и сел как рак на мели.

Антип застает Клавдия посреди комнаты, декламирующего:

Злодейства пар кровавый, страшного злодейства,
Достиг небес. Ужасно преступленье,—

и так далее.

— Эй, суфлер! Где суфлер? — кричит Осип Фомич, появляясь на помосте с книжкой в руках.

— Здесь я, Осип Фомич.

Из-за кулисы выходит Пастухов, утирая нос. Это старенький, рябой, приземистый человек вроде сморчка. На нем как на вешалке колышется потертый казинетовый кафтанчик; из заднего кармана торчит огромная тетрадь. Голос у него, кажется, самой природой назначен для суфлерской конуры: Пастухов не говорит, а резко шепчет.

Успокоившись тем, что суфлер налицо, Осип Фомич обращает драгоценное внимание свое на новобранцев.

— Все ли здесь?

— Кажется, все,— отвечает несколько голосов.

---

[1] без которого нельзя обойтись (*лат.*).

— Перекличка! — возглашает Нарукович.

Он развертывает свою книжку:

— Чебоксаров!

— Здесь!

— Корноухов!

— Я.

— Чернопятов!

— Я.

— Белоносов.

— Здесь.

И таким образом поименовываются все тридцать или более человек.

— Да что вы все в кучу сбились, милые? — говорит Фомич, окончив перекличку.— Разделитесь партиями. Придворные, сюда!

Он опять справляется с книжкой:

— Гвоздырев! Культяпов! Белоносов! Отделяйтесь!

Придворные составляют кружок.

— Свита Фортинбраса... Огурцов! Сидоров! Лебедкин! Сюда!

Свита Фортинбраса отделяется от толпы.

— Уж вы, пожалуста, во время спектакля-то не смешивайтесь. Кто с речами — вперед; без речей — сзади, подальше. Что ты, милый, все вперед лезешь? Ведь ты без речей! — говорит Фомич одному бойкому франту в чуйке из свиты Фортинбраса.

— Без речей-с, — отвечает франт.

— Так что же ты все ломишься вперед? Стой, милый, позади!

На сцену является Решилов и вслед за ним Вилков, на этот раз сдающий должность капельмейстера второй скрипке ради роли Гильденштерна, с которою волей Фомича слита воедино и роль Розенкранца.

— Где же другие? — спрашивает Фомич.

— Не знаю,— отвечает Решилов.

— Гудков с Румаковским пошли на билиарде играть,— говорит Вилков.

Нарукович ухватывает себя за виски.

— Так и есть! так и есть! А еще давеча говорил, чтоб скорее вернулись.

— Послать можно.

— Да где они?

— В трактире у Воропаева.

— Антип! Антипка! — кричит Нарукович.

Надо крикнуть по крайней мере десять раз, чтоб улицезреть неповоротливого детину.

— Беги скорее в воропаевский трактир! — распоряжается Фомич.— Знаешь, где?

— Как не знать!

— Зови Румаковского и Гудкова! Скажи, что репетицию начинают. Да что Вася?

— Он велел за собой прийти, когда приедет новый актер.

— Так и знал! та же история, что вчера. А девицы что?

— Одеваются.

— Как одеваются? Да я их сейчас видел — одеты.

— Другие платья надевают.

— Вот нужно! Ну, беги за теми!

Антип уходит.

На ярмоночной башне бьет уж и двенадцать часов, а на сцене все еще сидят только Вилков да Решилов.

— Ах, боже мой! вот наказанье! Каждый день одна песня — собрать нельзя! И добро бы жили далеко, в разных местах!

Являются, наконец, комик и первый любовник, Горацио и Лаэрт трагедии. Осип Фомич накидывается на них с укоризнами; но, мало обращая внимания на его пропитанную горечью речь, Гудков и Румаковский рассказывают с большим воодушевлением Вилкову о своих билиардных битвах.

Малу-помалу артисты и артистки собираются; приезжает Мирвольский и выходит Живягин.

Репетиция идет изрядно. Играют только придворные, стража, свита Фортинбраса и прочая шушера да Решилов. Остальные читают роли почти про себя, и голова суфлера тщетно высовывается беспрестанно из будки; ему нетерпеливо машут рукой — и только.

— Зачем ты дал Решилову Клавдия? — спрашивает Мирвольский у антрепренера,— он только путать будет: ни слова роли не знает.

— Уж не говори! беда мне с ним — да и только.

— Дал бы ему Полония: роль меньше.

— Еще хуже! Эту роль он по крайней мере прежде играл; а дай ему новую — просто зарежет.

Да, мы увидим, —

шипит суфлер.

Да, мы увидим,—

произносит Решилов:

...Надобно решиться!
Безумцу сильному опасно дать свободу.

Сказав эти слова, Клавдий тяжело переводит дух и, закручивая вихор за левым ухом, отходит от суфлерской будки.

— Матвей Михайлыч! — зовет его антрепренер.

Решилов приближается.

— Ну как тебе не стыдно? Сколько тебе раз говорил, чтоб учил роль потверже. Ты вспомни — ведь ты второе лицо в пиесе.

Не удостоивая Фомича ответом, Решилов удаляется к кулисам и садится на скамейку.

— Сыграй хоть одно местечко! — просит Нарукович Мирвольского.— Покажи свою удаль!

— Какое?

— Ну хоть «За человека страшно!»

— Хорошо.

Когда на вопрос Гертруды-Колчановой, за что Гамлет так жесток к ней и что такое она сделала, Мирвольский начинает отвечать по желанию Наруковича так, как ответит вечером на сцене, Осип Фомич весь превращается в слух; он вытягивает шею вперед и прищуривает глаза.

...Такое дело,
Которым погубила скромность ты!—

произносит Мирвольский, протягивая руку по направлению к девице Колчановой:

Из добродетели ты сделала коварство; цвет любви
Ты облила смертельным ядом; клятву,
Пред алтарем тобою данную супругу,
Ты в клятву игрока преобратила...

— Так, так,— шепчет Осип Фомич.

Ты погубила веру в душу человека...

— Браво! браво!

Ты посмеялась святости закона,
И небо от твоих злодейств горит!

Мирвольский останавливается и вперяет взор в девицу Колчанову, поправляющую свой тюлевый воротничок.

— Браво! браво! — повторяет антрепренер, едва переводя дух от восторга.

Да, видишь ли, как все печально и уныло,—

продолжает глухим голосом Гамлет:

Как будто наступает страшный суд!

— Славно! славно !— лепечет Нарукович.— Артист! в душе артист!

Монолог в самом деле прочитан был очень хорошо. Слушая его, Живягин втайне содрогнулся за свою репутацию перед голодаевскою публикой, хотя и сделал довольно презрительную мину и сказал, обращаясь к близстоявшему Румаковскому:

— Ну, можно бы и получше прочесть; из-за этого еще не стоило пятисот давать.

— Ты в тысячу раз лучше читывал,— заметил первый любовник.

— Голос совсем не для трагедии.

Проба без особенных происшествий оканчивается. Гамлет, осыпаемый от Наруковича похвалами, прощается со своими товарищами и, пригласив с собою обедать Полония, удаляется с ним.

Час. Осип Фомич, справившись в кассе о продаже билетов (разбирают! разбирают!) и обозрев не без нравоучения Антипу лампы, приведенные в достаточную чистоту, может вздремнуть с полчаса. Отдых нужен.

Крепок, но краток сон Наруковича. Недремлющая Забота снова наклоняется к его уху, снова слышит Фомич ее трагический шепот; и вот он уж на ногах, и идет дым коромыслом от его распоряжений по всем углам и закоулкам театрального здания.

ГЛАВА X

Соколу лес не в диво

Два жандарма стоят на подъезде, озаренном двумя фонарями. К одной из колонн прислонился квартальный и разговаривает с знакомым, слишком рано явившимся на представление «Гамлета» (у него по какому-то случаю даровой билет). В кассе довольно успешно идет продажа дешевых билетов. Чуйки, сибирки и полушубки в приятном смешении

с женскими платками оранжевого, голубого и других менее ярких цветов, промявшись в сенях, взбираются по крутым деревянным всходам на самый высокий пункт театральной залы. Там слышится от времени до времени щелканье орехов и сдержанное хихиканье. Зала уж освещена, и это не такое освещение, как было в Камске. В море не на душегубке плыть! Камск мог довольствоваться и восемью лампами; другое дело — Голодаев: здесь и восемнадцати ламп мало, чтоб осветить залу; нужно по крайней мере двадцать пять. Нельзя сказать, чтоб зала была бездною света, но в ней не темно: у каждой ложи лампа — чего ж больше? Конечно, хорошо бы спустить с потолка люстру, да для нее и крюка нет.

На сцене и за сценой немало шуму. Фомич уж облачился в фантастический костюм, в котором являлся замогильным призраком полоцкому князю Видостану; только не накинул простыни да не надел еще шлема. Он беспрестанно, отрываясь от распоряжений, подходит к занавесу и сквозь одну из дырок его смотрит в залу. Ни в креслах, ни в ложах нет ни души; впрочем, еще рано. Как, однако, ни рано, а Фомича беспокоит, что в оркестре сидит и дремлет только один литаврист.

— Эй! — кричит Нарукович,— где все музыканты?

Из-за кулисы появляется кларнетист.

— Сидите по местам! Что расхаживаете! Строили бы инструменты.

Через несколько минут в оркестре раздается терзающая слух разладица. Настроив свои инструменты, музыканты кладут их на места и, подойдя к загородке, отделяющей их от партера, глазеют на раек; как скоро музыка умолкла, литаврист погружается в сон.

В уборных одеваются, белятся, румянятся и прочее.

Девица Колчанова, которую слабосердечие Фомича наделило на этот раз, в великую досаду госпоже Живягиной, ролью Гертруды, девица Колчанова истинно великолепна. Бархатное платье малинового цвета позволяет выказаться в полной красоте пышным белым плечам и обнаженным по локоть рукам девицы. Это платье придает какую-то особенную величественность самой походке ее. Оно не первой свежести, конечно; но это не мешает ему быть очень по душе Машеньке Колчановой: оно сшито как раз на ее рост и стан и очень ей к лицу.

Напротив, дочка антрепренера чрезвычайно недовольна своим костюмом; розовое атласное платьице, в котором не

раз видела ее камская публика (и в последний раз в роли Лиды), совершенно бледнеет перед нарядом Колчановой. Положим, девице Нарукович было бы неприлично явиться в роли Офелии в бархате; но зачем Гертруда обратит на себя более внимания публики (это верно: еще никогда Колчанова не была так авантажна, как сегодня)? Зеленые глазки Офелии увлажаются слезами досады. А тут еще и башмаки жмут!

Гертруда, шелестя бархатным шлейфом, ходит по уборной и гордо посматривает на девицу Нарукович, которая в десятый раз заставляет дочь суфлера, служащую ей вместо камеристки, перетягивать себе корсет.

— Скоро ли ты отойдешь от зеркала? — говорит Гертруда,— уж, кажется, пора бы!

— Сделай одолжение, смотрись! — отвечает дрожащим голосом Офелия, отодвигаясь немного от зеркала.

Окинув себя быстрым взглядом, девица Колчанова направляет стопы к дверям и презрительным тоном говорит антрепренерской дочке:

— Можете глядеться теперь, сколько вашей душе угодно! Лучше не будете.

Она идет на сцену, где Фомич встречает ее сладким взглядом, который пропадает даром. Он, вероятно, обратил бы к ней и несколько милых слов, если б не стремился за кулисы для какого-то не терпящего отлагательства приказания. Королевскою поступью проходит Гертруда по сцене, приближает правый глаз к дырке занавеса и смотрит в залу. В задних рядах кресел есть уж пять-шесть зрителей; в двух ложах рассаживаются по местам многолюдные семейства; в райке довольно шумно.

Сзади кто-то подходит, и Гертруда оглядывается. Это Гамлет.

— Вы прелестны, королева,— говорит он, слегка кланяясь,— и мне крайне неприятно, что я должен буду ссориться с вами целый вечер.

— Полноте насмешничать!

— Сама истина говорит моими устами.

Гертруда улыбается.

— Шутки в сторону,— продолжает Гамлет,— вы восхитительно хороши, и я влюблен по уши.

— В который раз говорите вы это со вчерашнего дня?

— Как! разве я уж говорил вам это?

— Не мне.

— Кому ж?
— Так, вообще.
— А! так вы думаете, что у меня для каждой женщины одна фраза!
— Как у всех мужчин.
— Вы обижаете меня, а я все-таки твержу, что вы прелестны! «О нимфа!» — восклицает Мирвольский сладостно-дрожащим голосом (известная фраза из роли).
— Ах, какой вы! — говорит, смеясь, Колчанова.
— «О ним-ффа!» — повторяет Мирвольский.
— Это относится не ко мне, а к Офелии.
— Кстати, где Офелия?
— Старается понравиться вам.
— Заочно?
— Она, верно, сейчас придет — одевается и причесывается.
— Отчего же вы предполагаете, что она старается понравиться мне?
— Так; есть некоторые приметы.
— Именно?
— Какое любопытство! А еще по уши влюблен.
— Виноват!
— Не правда ли, она хорошенькая?
— Похожа на кошку.
— И по-вашему, тоже? Я уж давно это говорю... Настоящая кошка! А есть мужчины, которым нравится.
Является Офелия, и разговор угасает.
Фомич суетливо бегает взад и вперед по сцене; скоро надо начинать, уж съезжаются.
Двери из сеней в партер то и дело хлопают; у подъезда гремят экипажи и покрикивают кучера.
Наконец оркестр отработал увертюру, и занавес взвивается.
Первая сцена не обращает на себя внимания зрителей (театр почти полон); все нетерпеливо ждут появленья Гамлета. И едва сказал он слово, гром рукоплесканий потрясает залу. Все глаза, все лорнеты устремлены исключительно на него. Оно и понятно; стоит ли смотреть на короля-Решилова, на королеву-Колчанову? они совершенно меркнут в присутствии Мирвольского.
— Как хорош собой! — говорят не в одной ложе. — Какая грация! Каждую позу его рисуй!
Мнение вполне справедливое. Уж самая свобода, с

какою держит себя на сцене Мирвольский, упрочивает за ним с первого раза общее внимание. Решилов, несмотря на долговременное пребывание свое на сцене, не отличается поворотливостью; девица Колчанова ровно читает роль, но она довольно безжизненна. Увы! многие с первого же разу осудили их навсегда.

Гертруда и Клавдий уходят, и один остается на сцене Гамлет.

...Для чего
Ты не растаешь, ты не распадешься прахом,
О, для чего ты крепко, тело человека!

Театр рукоплещет сверху донизу.

Жизнь, что ты? Сад, заглохший
Под дикими, бесплодными травами.
Едва лишь шесть недель прошло, как нет его —
Его, властителя, героя, полубога...
. . . .
О женщины! ничтожество вам имя!!

Оглушительный треск.

По окончании первого действия Мирвольский единогласно вызван, и все зрители предаются самым восторженным похвалам приезжему артисту.

В буфете, помещающемся вправо от кассы, собирается несколько курильщиков, и кипит между ними жаркий спор о том, кто выше: Мирвольский или Каратыгин? Большинство на стороне первого.

— Никак не ожидал,— говорит, стоя у загородки оркестра, генерал Охлестышев собравшемуся около него кружку его знакомых,— никак не ожидал, что мы увидим такого замечательного артиста.

— Да,— подтверждают несколько голосов,— артист истинно замечательный.

— Жаль только,— продолжает генерал,— что другие-то нисколько не гармонируют с ним.

— Полоний недурен, ваше превосходительство,— замечает кто-то.

— Так себе. Ну а Клавдий — просто деревяшка; королева тоже какая-то неподвижная...

— А хорошенькая!

— Недурна. Но уж кто меня вывел из терпенья, так это Офелия. Ведь это, кажется, дочь самого содержателя? Сказала всего-то три слова, и те было противно слушать. Вот разодолжит, как явится сумасшедшею-то!

— Может быть, поет хорошо, ваше превосходительство.

— Где ей петь! она и говорить-то не умеет! Но Мирвольский! Мирвольский! Это, я вам скажу, истинный артист.

— Как он попал в такую жалкую труппу?

— Вы не слыхали? Это целый роман. Вот порасспросите Капитона Валентиныча: он узнал все подробности.

Охлестышев осматривается; но Потатуйкин, еще за секунду стоявший тут, теперь уж далеко: он ходит по ложам знакомых.

Посетив две-три ложи, Капитон Валентиныч намеревается заглянуть и к Гадаевым, узнать мнение о спектакле Ольги Васильевны; но оркестр, игравший нечто вроде похоронного марша, смолкает, и Потатуйкин спешит занять свое место в креслах до поднятия занавеса.

Трагедия развивается довольно стройно. Если б Клавдий не тянул своих речей, если б Офелия не картавила и не ломалась, большей части зрителей представление не оставляло бы ничего желать.

Впрочем (о вкусах, как известно, не спорят), есть люди, которым нравится даже игра девицы Нарукович. Из них особенно отличается красноярский купчик Кондрашов, малый лет тридцати, с окладистой бородкой. Все внимание его сосредоточено на Офелии, и он несколько раз обращался сияющим лицом к одному из своих земляков, сидевшему около него в пятом ряду кресел, и выражал в кратких словах свое крайнее удовольствие.

— Вот так актерка! — говорил он, пройдя ладонью по бороде. — Экой живчик! Так и юлит, так и юлит!

— Хороша, — соглашается сосед,— жаль, ростом мала.

— Настоящий вьюн.

Кондрашову и в голову не приходит, что Офелии вовсе не кстати быть похожею на вьюна и юлить.

В антракте между вторым и третьим действиями Капитон Валентиныч опять порывался зайти в ложу к Гадаевым, но один из знакомых, давно не видавшийся с ним, остановил его в проходе между кресел, чтоб разузнать кое-что о новом артисте, и Потатуйкин, пустившись рассказывать, так увлекся, что не только не мог уж выйти из кресел, но даже не успел и рассказа своего кончить...

Началось третье действие.

— Послушаем, как-то прочитает он «Быть иль не быть!»— говорит генерал Охлестышев, садясь на свое место,— тогда над ним можно будет произнести окончательное суждение.

Кажется, будто стены театра того и гляди обрушатся от хлопанья в ладоши, топотни ногами и криков, завершающих знаменитый монолог. Долго не молкнут они, и Мирвольский принужден по неотступному требованью публики снова опустить в раздумье голову и начать:

Быть иль не быть — вот в чем вопрос!
Что доблестнее для души: сносить
Удары оскорбительной судьбы
Или вооружиться против моря зол
И победить его, исчерпав разом?
Умереть — уснуть...—

и так далее.

— Безукоризненно хорошо! превосходно! — замечает тоном знатока Охлестышев.

— Здравствуйте, Аграфена Петровна! здравствуйте, Ольга Васильевна! — говорит Капитон Валентиныч, входя, наконец, в ложу Гадаевых. — Ну что? каков, по-вашему, Мирвольский?

— Хорош, батюшка, очень хорош,— отвечает старушка.

— А ваше мнение, Ольга Васильевна?

— Она в восторге.

— И вы тоже? Ну, вам можно верить, Ольга Васильевна: вы много видали хороших актеров. Жаль, другие-то вовсе ему не под лад—не правда ли?

И Потатуйкин устремляет вопросительный взгляд на Ольгу.

— Я не смотрела на других,— отвечает Ольга.

— И не стоит смотреть. Ну, а как вы думаете о Мирвольском? можно сравнить его с петербургскими актерами?

— Я не знаю, как вам сказать,— говорит, не раз останавливаясь, Ольга,— оттого ли, что я давно не была в театре... мне кажется, никто из виденных мною прежде актеров не понимал характера Гамлета так хорошо, как он...

— Так! так! — восклицает Капитон Валентиныч,— вот и Алексей Петрович Охлестышев то же самое говорил мне, а он знаток в этом деле. А что вам больше понравилось в его игре, Ольга Васильевна? какое место?

— Этого решительно не умею сказать... Все понравилось мне... Вообще никогда еще спектакль не производил на меня такого сильного, такого полного впечатления, как нынче.

— Вот видите! А вы еще слушали меня так недоверчиво, когда я говорил, что он замечательный артист!

— Признаюсь, я и не воображала того, что увидала.

— Как он в обхождении-то? Был у вас?

— Нет; я вижу его в первый раз.

— До свиданья, однако, Ольга Васильевна! Мое почтение, Аграфена Петровна! Мне надо забежать в ложу над вами.

И Капитон Валентиныч исчез.

Четвертое действие решило судьбу Офелии... О! трижды горестное решение!

Когда девица Нарукович, распустив по худеньким плечам волосы, вбежала и запела песню безумной Офелии, в театре поднялось такое шушуканье, какого никогда и во сне ей не грезилось... К концу песни чиханье, сморканье, покашливанье и говор усилились до того, что голос девицы Нарукович оборвался, и она убежала со сцены прежде, чем следовало.

Тем не менее красноярский купчик был очень доволен, и только что Офелия исчезла за кулисами, ударил в ладоши; примеру его последовал и его земляк, но в ответ на их рукоплесканье во всем партере раздалось согласное и громкое шиканье.

Тщетно бегал по всем кулисам Фомич, восклицая:

— Софья! Софья! где ты? Тебе сейчас выходить!

Софья не откликалась.

Она убежала в свою комнату и бросилась, рыдая, в подушки постели. Пришлось сократить пиесу на целое явление, что произвело некоторое замешательство между актерами. Зрители, впрочем, не приметили пропуска.

Трагедия кончилась. Ольга поднялась было со стула, но Аграфена Петровна желала посмотреть, как будут танцевать, и она опять села. Между тем тотчас по опущении занавеса зрителям предстал у рампы сам Осип Фомич во фраке и объявил:

— По внезапно случившейся болезни девицы Нарукович стирианский танец, назначенный в афишах, отменяется и вместо оного девица Сизогубова-младшая исполнит цыганскую с шалью.

Фомичу похлопали.

Почти перед самым поднятием занавеса для дивертисмента в партере появился Мирвольский. Он прошел к оркестру, обвел лорнетом все ложи — и нечего говорить, что половина зрителей в креслах принялась перешептываться и с любопытством его осматривать. Он был одет так хорошо, что два брата Скачкова, считавшие себя первыми франтами

в подлунной, ощутили некоторую неловкость; в манерах его не было ничего бросающегося в глаза: они были спокойны, свободны и просты; две дамы в бенуаре назвали его «красавцем».

Когда девица Колчанова, заменив платье Гертруды сарафаном, выплыла из-за кулис в русской пляске, в дверь ложи, где сидели Гадаевы, кто-то постучался. Аграфена Петровна просила войти.

Это был Мирвольский.

— Извините,— проговорил он, входя,— что...

— Милости прошу,— сказала очень радушно Аграфена Петровна,— очень рада вас видеть. Садитесь, пожалуста. Вот, рекомендую, дочь моя!

Мирвольский поклонился и сел.

— Вы, верно, порядком поскучали сегодня,— сказал он,— у нас так все не клеилось

— Что вы! что вы! Напротив,— возразила Аграфена Петровна,— вы играли так, что... Вот Леля вне себя от вашей игры... (Ольга покраснела.) А, слава богу, видала и столичные театры.

— Не знаю, как и благодарить вас,— сказал Мирвольский, делая Ольге легкий поклон.

Щеки ее вспыхнули еще ярче.

— Мне должно благодарить вас,— проговорила Ольга,— я не помню, когда испытывала такое удовольствие в театре, какое доставили мне вы.

Мирвольский еще раз поблагодарил.

— А как находите вы состав труппы вообще?

— Я не понимаю,— отвечала Ольга,— как вы могли играть с ними! Они должны сбивать на каждом шагу.

— Много значит привычка.

— Вы давно уж на сцене? — спросила Аграфена Петровна.

— Полтора года; недавно, но уж успел привыкнуть.

В это время танцы на сцене кончились, и Гудков, облеченный в комические фрак и жилет, запел:

Купец лавку отворяет...

— Едем, Леля! — сказала Аграфена Петровна. — Милости просим к нам, господин Мирвольский; ведь соседи.

Мирвольский сказал, что воспользоваться этим приглашением будет для него величайшее удовольствие, и подал мантилью Ольге и салоп ее матери.

— До свиданья,— проговорила Аграфена Петровна, выходя из ложи.

Павел Павлыч последовал за ними.

Магазин, магазин —
Вот у них предмет один! —

пел хриплым голосом Гудков, заставляя раек помирать со смеху.

С Гадаевыми не было лакея, и Мирвольский, сведя их с лестницы, постарался отыскать их экипаж.

— Кто это? кто это? — спросил Живягин, подходя к нему на подъезде.

— Хороша?

— Красавица.

— То-то.

— Где подцепил такую?

— А тебе на что?

— Каков! каков! Да кто это в самом деле?

— Моя квартирная хозяйка с дочерью.

— Полно?

— Да.

— Ты уж и ухаживать сейчас!

— А как же?

— Молодец! Ты же, верно, и ложу подарил?

— Нет, сами взяли. Я, признаться, и не знал, что у этой старухи дочь такая красавица.

— Не поужинать ли нам вместе?

— Я еду домой.

— Полно, рано еще. На билиарде бы сразились.

— Нет, у меня что-то голова болит.

— Ну, так прощай.

— Прощай.

И артисты расстались.

Мирвольский давно уж не играл и потому чувствовал сильное утомление. Приехав домой, он выпил стакан слабого чаю, лег в постель и скоро крепко заснул.

Вероятно, ему никак не пришло бы в голову, что образ Гамлета, олицетворенного им сегодня, может произвесть у кого-нибудь бессонницу, а между тем это случилось с одним из зрителей, скромно наслаждавшихся его игрою в райке.

ГЛАВА XI

В клетке

По застроенной и населенной набережной со стороны города, влево от моста, стояло несколько каменных и деревянных зданий довольно большого объема, с глубокими и просторными дворами; здания эти назначались исключительно для помещения во время ярмонки приезжих. Каменные дома, как более представительные и удобные, носили наименование гостиниц; деревянные назывались просто постоялыми дворами. И те и другие, зимой почти безлюдные, летом наполнялись сверху донизу обитателями.

В одном из этих постоялых дворов, наиболее скромном, в крохотной каморке о двух темноватых окнах, поселился турухтанский торговец Клим Бугров с племянником.

В течение двух-трех дней, проведенных им в Голодаеве, он успел многое уладить по своим торговым делам: с некоторыми из приехавших уже купцов, большею частью старыми знакомыми, совершил необходимые сделки, договорился и сошелся в ценах в ожидании прибытия на ярмонку их товаров. Посреди хлопот своих Клим Лукьяныч успел с глубоким огорчением убедиться, что племянник вовсе не удовлетворяет его надежд: во всех почти поручениях, которые пробовал он возлагать на Дмитрия, парень оказался рохлей, ротозеем.

Старик Бугров был суров, строг и взыскателен; беда прогневить его!

Дома парень редко попадал впросак. Оно и не удивительно... Единственным занятием его было — сидеть в лавке на базарной площади села Бора и продавать кумач, ситец, плис, сукно и прочее. Только для обеда покидал он прилавок, уступая место самому хозяину; только по праздникам не лежало на нем никакой урочной работы: ходил он ко всенощной или заутрени, ходил к обедне и все остальное время был свободен. Впрочем, не иметь никакого дела в лавке — не значило еще, что можно идти гулять на все четыре стороны. Митя был вовсе не гулливого характера; парень тихий, скромный, подчас даже чересчур мямля; но ему вовсе не приходилось по сердцу быть вечно одному-одинехоньку: ни приятеля нет, ни товарища. Бесприютным сиротой вошел он в дом Клима Лукьяныча; сурово-холодное обращение дяди нагнало на него робость, не дало ему осво-

бодиться от дикости, свойственной каждому ребенку при вступлении в чужой дом, и он остался навсегда боязливым, углубленным в самого себя и не откровенным в своих отношениях к дяде. Старуха тетка была баба очень добрая и сразу полюбила Митю как сына. Осиповна прожила с мужем с лишком тридцать лет, но побаивалась его не меньше, чем племянник. Эта боязнь сделать что-нибудь неугодное мужу, слепое, безусловное покорство его воле были следствием не столько строгости и суровости Клима, сколько глубокого убеждения Осиповны в ее собственном ничтожестве сравнительно с высокими достоинствами мужа. Старуха была убеждена, что не найти во всей подлунной такого разумника, как ее Лукьяныч.

Бугров пользовался уважением и авторитетом не только у себя в доме: все в Бору считали его человеком богобоязненным, живущим по старине и по закону, человеком умным и рассудительным, умеющим повести какое угодно дело, дать на каждый случай добрый совет; кроме того, он был известен за большого «начетчика».

Одним из главных желаний Клима было, чтоб Дмитрий, принятый им вместо сына, пошел по его стопам и упрочил за фамилией Бугровых то общее уважение, которое сумел приобресть он сам. Сначала робость и покорство Мити давали старику надежду увидать в нем со временем именно такого человека, какого ему хотелось; но мало-помалу, хоть и не теряя вполне надежды, он начал сомневаться и в способностях племянника и в склонности его идти по следам дяди.

«Конечно,—раздумывал подчас Клим Лукьяныч,—Митя еще очень молод: в его лета другим только бы в чурки да в козны играть; конечно, он, можно сказать, и воды не замутит, притом и к грамоте прилежен. Все это правда, так; ослушания в нем нет, поступает по моему наставлению, не перечит мне — так; только, кажись, все это из страха одного; дай ему волю, пойдет у него вся моя наука прахом. Что-то волком глядит; сколько ни кормишь, он рыло все к лесу воротит».

Клим был отчасти прав; точно, Дмитрий тяготился своим житьем; не раз думал он, как бы хорошо было освободиться из-под начала старика и пожить на своей воле! Но не сам ли он, Клим Лукьяныч, был виною отчуждения племянника? не его ли чрезмерная взыскательность и жесткая строгость мешали сближению?

Незадолго до отъезда из села на ярмонку случилось происшествие, внушившее старику Бугрову еще большее недоверие к племяннику. Рассказ об этом происшествии не будет здесь лишним.

Когда, выучившись хорошо и бегло читать и писать, Митя был посажен дядею за прилавок, он стал там сильно скучать, и старик дал ему совет всегда иметь при себе книгу. «Оно и занятно, и душеспасительно, и грамоте не разучишься». Что читать — об этом нечего было заботиться Дмитрию. Старик вручил ему один из тех толстых томов в темном кожаном переплете, из которых сам почерпнул все свои познания, всю свою премудрость. Митя читал — сначала почти не думая о том, что читает, потом внимательнее; наконец начал находить в чтении и удовольствие. Следуя совету дяди, каждую книгу должно было прочитать от корки до корки раз по крайней мере десять и знать ее чуть не целиком наизусть, чтоб извлекать из чтения пользу и поучение; но у Мити была прекрасная память, воображение его во время чтения работало бойко, и прочитать книгу раз было для него слишком достаточно, чтоб уже не возвращаться к ней или возвратиться долго спустя. Дядя, впрочем, стоял-таки на своем.

— Всю прочитал? — спрашивал он племянника, принимая от него книгу.

— Всю.

— Ну, так прочитай ее сызнова,— говорил Лукьяныч, снова отдавая Мите прочитанный им том.

И всякий, едва заметный порыв противоречия отклонялся словами:

— Книгу эту целый век свой писали люди поумнее нас с тобой; а ты сел, продул ее в один день до конца, да и думаешь: дело сделал!

Нелишним было произвести тут и некоторое испытание племяннику. «А что,— спрашивал старик,— что сказано вот в таком-то месте, вот о том-то?» Дмитрий, что припоминал, рассказывал своими словами. Дядя резко останавливал его на середине фразы и начинал говорить точь-в-точь словами книги.

— Вот когда будешь этак знать,— заключал он,— тогда и говори, что читал.

Дмитрий поневоле брал старую книгу, чтоб услаждать ею свои досуги; но то, что в первый раз занимало и заставляло думать, теперь нагоняло сон.

Однажды Дмитрий увидал в руках у приказчика соседней лавки какую-то сильно затасканную книжонку небольшого объема и спросил, что это такое.

— Песенник.

— А что в нем писано?

— Песни разные.

— Дай-ка мне почитать.

— Возьми!

Этот сброд простонародных песен и большею частью нелепых романсов показался Дмитрию гораздо более удобным для учения наизусть, чем дядины книги. Дважды прочитав романс «Пчелка златая», он мог проговорить его без запинки. Вероятно, вскоре так же твердо выучил бы он и весь песенник, если б не пришлось возвратить его хозяину. Отдавая книгу назад, Митя справился о цене ее.

— Да что,— отвечал ему соседний приказчик,— гривенника два стоит.

Не столько дешевизна, сколько занимательность книги (дремать Дмитрию надоело) навела его на мысль приобресть такой же песенник в полное и нераздельное владение, а если случится, то и еще какую-нибудь книжицу в этом роде. Деньги случались у парня очень редко. Дядя никогда не давал ему ни гроша, считая это излишним баловством: племянник сыт, одет, обут, согрет — чего же ему больше? Но Осиповна, умевшая при всей прозорливости и расчетливости своего старика откладывать незаметно для его глаза по нескольку крох из денег, выдаваемых ей Лукьянычем на расходы, Осиповна баловала по временам приемыша, давая ему по пятаку, по гривеннику, а иногда и по целому двугривеннику на пряники да на орехи. Задумав купить книг, Митя отказался от удовольствия лакомиться и в короткое время скопил полтинник. В лукошке бродячего торгаша тесемками, шнурками, мылом, селитрой, гармоньями, синькой, пуговицами, крючками и тому подобной меледой внимание Мити отличило между десятков серебеньких книжонок «Венок граций», или что-то подобное, и знаменитую «Повесть о приключении аглинского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе, с присовокуплением к оной Истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и сардинской королевны Терезии». Как было не польститься на такое заманчивое заглавие! То-то должна быть занимательная повесть! то-то должно быть достопримечательное приключение!

Дешево покупаем мы иногда огорчения. За «Венок граций» и за «Повесть о приключении милорда Георга» Митя заплатил как раз полтинник.

Дня через три после покупки, глубоко заинтересованный судьбою бранденбургской маркграфини, он, сидя за прилавком, так углубился в чтение повести, что совсем позабыл о приближающемся обеденном часе, когда должен был явиться на смену ему дядя... Дверь лавки была растворена, и Клим Лукьяныч вошел, не замеченный племянником.

Первым движением Мити было удалить от внимания дяди новоприобретенную книгу; но он слишком поздно спохватился, и движение его вышло очень неловко. Словно не замечая смущения племянника, Лукьяныч только проговорил своим обычно строгим голосом:

— Обедать ступай!

Оторопевший Дмитрий поднял доску прилавка и в то же время хотел незаметным образом захватить книгу; но тут старик сурово крикнул ему:

— Оставь!

Парень взял поскорее свой картуз и поспешно вышел вон.

«Слава богу,— думал он,— что хоть от беды-то убрался».

Но и трех шагов не отошел он от лавки, как голос дяди кликнул его назад.

— Дмитрий! — громом раздалось у него в ухе.

Не смея поднять глаз, возвратился Дмитрий к двери лавки. Брови Клима Лукьяныча, стоявшего у входа, совсем надвинулись на серые, сердито сверкавшие глаза; он кусал губы, и борода его вздрагивала.

— И лба не перекрестил!

Дмитрий сорвал с себя картуз, сделал три крестные знамения, сопровождая каждое глубоким поклоном пред медным складнем, утвержденным снаружи над дверью, и стоял в нерешительности.

— Иди! — проговорил дядя, поворачиваясь назад, в лавку.

Митя знал, что дело не может этим кончиться, знал, что возврат его пред лицо дяди не обойдется без бури, и потому постарался протянуть время обеда подольше, хотя кусок не лез ему в горло. Как нарочно, время в этот раз бежало, словно кто погонял его. Вот, наконец, и пора. У Осиповны, которой Митя сообщил о неудовольствии дяди, душа замирала.

— Откуда это?

Такими словами встретил Клим Лукьяныч племянника, когда, не забыв помолиться перед дверью, Митя вошел в лавку; в руках старика была роковая книга, и он сердито перелистывал ее.

У Мити словно язык отнялся.

— Откуда? тебя спрашиваю! — продолжал старик.

— Купил,— через силу отвечал племянник.

Сначала хотел было он как-нибудь солгать, но никакой правдоподобной лжи не мог наскоро придумать. После ответа своего Дмитрий и спохватился, да поздно! Оплошал-таки: уж пусть бы дядя напал на него одного, а то теперь гнев Клима Лукьяныча обрушится на две головы... Ведь старик непременно спросит, где Дмитрий взял денег на покупку.

Так и вышло. Лукьяныч устремил на племянника горящие глаза.

— Купи-ил?.. А откуда деньги у тебя проявились? а!.. откуда?

Митя потупился.

— Тетенька...— пролепетал он, — Марья... Осиповна...

— Что-о? — начал старик, с каждым словом возвышая голос,— Осиповна дала тебе денег?.. На этакие книги дала? а!.. Да как ты посмел брать у нее деньги? как ты посмел просить? Разврат один! Не давал я тебе книг, что ли? Совращать себя вздумал греховными сказками. Вот они — сказки твои! вот они!

И во все стороны посыпались клочки пресловутой «Повести о приключении аглинского милорда Георга». Митя стоял перед дядею ни жив ни мертв.

— Слышишь ты у меня! — заключил старик, стуча кулаком о прилавок (он говорил долго), — слышишь! не вводи меня во гнев! Чтоб клочка этаких книг не было здесь. Помни!

Нечего и говорить, что сердце доброй Осиповны ныло недаром, что ей пришлось немало-таки выслушать от мужа горьких упреков и обидных слов. Как быть!

С самого дня прибытия своего в Голодаев старик Бугров ежедневно виделся с московским купцом Крупчаткиным, с которым издавна состоял в самых близких сношениях по торговым делам. Ходил он к нему обыкновенно вместе с Митей. У Крупчаткина был приказчик Степан, парень одних лет с Дмитрием, но гораздо поживее и пообтесаннее его:

слава богу, повидал свету в столице. Митя, наверное, никогда не вздумал бы сойтись и познакомиться с ним, если б не было на то желания со стороны Степана, который первый заговорил с молодым Бугровым и принялся расспрашивать его о том да о сем. Мало-помалу заставил он несловоохотливого Дмитрия вступить в оживленную беседу. За откровенность Степы нехорошо было бы платить скрытностью, и вот незаметно молодцы подружились.

— Что, каков он у тебя, Иван Сысоич? — спрашивал старик Бугров Крупчаткина про его приказчика. — Не шалявый ли какой? Не набаловался бы с ним мой-то парень.

— Кто? Степан-то у меня шалявый?.. Золото, не молодец.

— Может, чарки придерживается, али что там...

— Вина в рот не берет, и вовсе парень негулящий; оно, точно, побродить любит, поглазеть... ну, мальчишка еще!.. А то — сохрани господи!..

— То-то; за моего-то я больно боюсь. Такая, прости господи, шебола! И понятие есть, и покорен — ничего; а все норовит, как бы тайком да крадучись то сделать, чего не велят.

— Может, строго держишь?

— Что за строго! Норов уж, знать, такой.

Дмитрий, не сходившийся до той поры ни с кем, не встречавший ни в ком желания с ним сблизиться, был несказанно рад приязни Степана, тем более что и сам дядя не находил ее предосудительною.

Веселый, говорливый Степа без умолку повествовал своему новому приятелю о Москве и всех сладостях московской жизни. Дмитрию и Голодаев казался земным раем после родного Бора да мельком виденного Турухтанска. Москва, на основании Степановых рассказов, рисовалась у него в воображении чем-то сказочно-чудесным, и его сильно разбирало желание посмотреть на все тамошние чудеса. Особенно увлекательно было красноречие Степана, когда он говорил о театре, до которого был великий охотник и на который, по словам его, последняя копейка шла у него ребром.

— Вот послезавтра и здесь впервой представляют на театре,— говорил он Дмитрию накануне открытия спектаклей наруковичевой труппы.— Надо будет отправиться. «Гамлет» пойдет — это лихая штука: я ее в Москве разов никак пять видел, а все бы смотрел. Пойдем вместе!

— Куда мне! Дяденька и заикнуться не позволит.

— Попросись хорошенько.

— Э-эх! не знаешь ты его. Да он за то одно, что вздумал проситься-то, готов будет со свету согнать. Это, как ехали мы сюда, встретились с комедиянтами...

— Какие комедиянты! это ахтеры называются...

— Ну, ахтеры; встретились это мы с ними в дороге, так он не токмо что говорить, и смотреть на них заказал.

— Ой ли?

— Скоморохи, говорит, нечестивцы, бесовы слуги.

— Поди-ка-сь ты! Больно уж, значит, крут?

— Вовсе житья нету, Степа, вот что.

Кстати Митя сообщил товарищу очень подробно приключение с книжкой.

— Вот уж, кажется, месяца бы у этакого зверя не выжил! — сказал Степа, выслушав рассказ.

— Дядя ведь,— возразил Дмитрий, — все же он благодетель мой.

— Так-то так; а все бы... Хоть в чужие бы люди тебе отпроситься.

— Куда уж мне!

— А что?

— Да так.

Митя почти с отчаянием махнул рукой.

— Только он, поди, все именье свое тебе прочит... Детей-то ведь нету.

— Да, мне.

— Ну вот это дело десятое; тут, пожалуй, и потерпеть можно. А много денег у него?

— У нас по Бору богачом считается.

— Вон оно что! Это, Митя, дело ладное. Эх, кабы да у меня этакой дяденька был!

— Небойсь, не пошел бы уж в теятр.

— Во-от! Это ведь ты, брат, такого робкого десятка. Я бы сладил с ним.

— Хорошо тебе говорить не знамши.

— Да разве это дурное какое дело, теятр-то? Небойсь лучше, как я в питейный пойду али в харчевню? Так бы вот и сказал своему дяденьке-то.

— Пустил бы я тебя потолковать с ним — не то бы ты запел.

— И уломал бы; вот как на этом месте стою, уломал бы. Ну хочешь, отпрошу тебя?

— Нет, Степа, нет!.. Полно ты! И думать нечего. Беда...

— Какая тут беда? Сам увидишь, пустит.

— Нет, не надо.

— Да ведь хочется?

— Мало ли что хочется! Дяденька-то вот говорит: на всякое хотение бывает терпение.

Степа подумал-подумал, да и говорит:

— А знаешь ли что, Митя?

— Ну!

— Ведь тебе можно в теятре-то побывать, не сказамшись старику.

— А как это? Догадается он.

— И не догадается. Я тебя отпрошу с собой по городу походить... Посмотреть, мол, город хотим; а сами драла в теятр.

— Вечером-то город смотреть!

— А то когда же? Днем дело есть — некогда, а вечером самая пора: ноньче вечера, знаешь, какие — что твой день. Теятр начинается в семь...

— Кончается поздно; как домой-то придешь?

— Не сиди до конца.

— И то никак можно пойти, Степа! — воскликнул с радостью Митя. — На что до конца сидеть?.. хоть маленько бы посмотреть.

— Давай денег, куплю тебе билет, а завтра и приду за тобой часов в шесть.

— Хорошо. Сколько денег надо?

— Двугривенный.

— Дяденька-то пустил бы только.

— Пустит! не в первый раз; Иван-от Сысоич обнадежил его на мой счет.

Из трех рублей, данных тайком на дорогу Мите Осиповною, он готов был уделить хоть половину ради удовольствия побывать в театре, не только какой-нибудь двугривенный.

Все устроилось превосходно: старик Бугров, ничего не подозревая, отпустил племянника с крупчаткинским приказчиком побродить по городу час-другой.

Дмитрий был в таком восторге, в таком волнении от двух первых действий трагедии, что в антракте перед третьим действием, когда товарищ заметил, что пора бы ему домой, он отвечал:

— Нет, Степа, погоди! рано. Я еще хоть немножко погляжу.

— Не опоздай смотри!

— Нет.

Занавес поднялся. Митя облокотился на загородку райка и не мог глаз оторвать от сцены до самого конца действия. Напрасно Степа напоминал ему о дяде. Митя только и говорил в ответ:

— Ничего! оставь..

Когда кончился третий акт, Митя на совет товарища отправляться спать отвечал уж с полною решимостью:

— Нет, как ты хочешь, Степа, а я до самого конца не уйду... ни за что не уйду.

— А дома-то... забыл?

— И так опоздал.

— Старик, верно, еще не спит.

— Эх! была не была! останусь... Что он мне сделает?

— Вот уж в другой-то раз и не думай...

— По крайней мере теперь досыта нагляжусь.

— Как, брат, знаешь.

Смелость, с которою он говорил о дяде товарищу, начала оставлять его, как только трагедия кончилась.

Ночь была светла, как только что зачинающийся вечер, и Мите со страху казалось, что уж наступает утро. Торопливо сошел он с подъезда, наскоро простился с приятелем и чуть не бегом пустился домой.

Вот перешел мост, взял влево, миновал три дома и остановился у ворот своего постоялого двора, волнуясь нерешительностью — войти или нет. Сердце перестало биться у Мити, как подумал он о свидании с дядей. Но куда же деться? как избежать этого свидания? Митя отворил калитку и перешагнул ее порог. Тут прежде всего устремил он глаза в глубь двора, на два окна своего жилья: они темны, значит старик спит. Дмитрий вступил в сени и стал медленно и осторожно подниматься по узкой, расшатавшейся деревянной лестнице во второй ярус. При малейшем скрипе досок под ногой он обмирал. В сенях, куда из круглого оконца слабо пробивалось сверху синеватое мерцанье ночи, Дмитрий притаил дыхание и остановился, не чувствуя в себе силы прикоснуться к двери направо, за которою спит теперь, а может быть, и не спит,— ждет его грозный дядя. Глубокая тишина господствовала кругом. Митя подкрался на цыпочках к двери, наклонил немного набок голову и стал робко прислушиваться. В комнате было так тихо, как будто и живой души там не было; но Дмитрию то и дело казалось, что вот старик поворотился на постели, кровать заскрипела, старик ворчит. Парень взялся было за рукоятку

двери, но тотчас же отнял от нее свою горячую ладонь. Опять прислушался он... чу! шаги по двору — ближе, ближе. «Не сюда ли кто идет? Поневоле надо постучаться, а то примут, пожалуй, за мошенника, подымут булгу на весь дом». Дмитрий весь превратился в слух... Никого; почудилось. Вместо шагов раздался крик петуха, такой громкий и резкий, что Митя весь вздрогнул. Ноги подкашивались у него, и он присел на край какой-то кадки, стоявшей у самой двери. Опять закричал петух. Дмитрия начинала бить лихорадка.

Вдруг из комнаты очень явственно послышался хриплый и удушливый кашель, слишком знакомый Дмитрию. «Что будет, то будет! один конец!» Дмитрий с решимостью встал, и ладонь его опять очутилась на дверной рукоятке. Рукоятка громко звякнула. В комнате повторился кашель; но ни этого кашля, ни движения старика на скрипучей кровати, ни глухого ворчанья, ни шлепанья туфлей по полу не слыхал Дмитрий: кровь била в виски и шумела у него в ушах.

— Кто там? — крикнул старик.

— Я, дяденька.

Ключ щелкнул в замке, и дверь, быстро распахнувшись, ударилась в плечо парню. В комнате было довольно светло... Беглый взор, робко поднятый на дядю, окончательно помутил голову Дмитрию: глаза старика, казалось, никогда не сверкали так яростно.

Дмитрий только что занес ногу на порог, как дядя крикнул ему хриплым от сна и злобы голосом:

— Запри дверь!

Потом старик повернулся, дошел, шлепая туфлями, до кровати, скинул наскоро наброшенную на плечи чуйку и улегся снова.

Дмитрий запер комнату, на концах носков пробрался к своей постели и стал торопливо раздеваться, стараясь не произвести ни малейшего шороха. Он ждал с заныващим сердцем оклика дяди и вслед за ним целого града жестких слов; но старик прокашлялся и повернулся лицом к стене, с явным желанием продолжать прерванный сон.

Долго, долго не спалось Мите. Тревожные мысли о предстоящем разговоре с дядей мешались в голове его с картинами из виденной им драмы. Заметно светлело, когда глаза его сомкнулись. Он заснул как убитый.

Тягостное чувство овладело им при пробуждении; невольная дрожь пробежала по всем его членам, и он открыл глаза, полный смутного ужаса.

Отсвет окон яркими клетками лежал на стене прямо перед ним. Комната была пуста. Дмитрий быстро встал и поспешно оделся. Он недоумевал, как не слыхал ни восстания дяди от сна, ни ухода его из дому. Подойдя к стоявшему в углу самовару, поднес он к нему руку. Самовар горяч; значит, Клим Лукьяныч в это утро принял на себя заботу, которую возлагал обыкновенно на племянника; он не хотел в этот раз и будить парня. Дмитрий подошел потом к двери; заперта снаружи.

Он не успел собраться с духом и обдумать, как поступать и что говорить при свидании с дядей, как в сенях послышался визг половиц под тяжелыми шагами.

Вот шаги у самой уж двери... В замочной скважине загремел ключ.

Громовая туча повисла над самою головой Мити.

ГЛАВА XII

Дни идут за днями

Пилы и топоры покончили свое дело, и шипенья и стука их не слышно уже на ярмонке. Пристань вся загромождена судами, и мост ночью разводят, чтоб дать им проход. На башне, которая высится над рядом каменных лавок, развернулся, наконец, широкий трехцветный торговый флаг. Все лавки отворились и кишат покупателями. Зашумело и закипело все. Ожили погруженные в сон в продолжение целых девяти месяцев балаганы и трактиры... В балаганах скачут ловкие наездники и прелестные наездницы в очень ветхом трико, представляются волшебные пантомимы, раздается пальба и трескотня. В трактирах поют цыгане, играют на арфах и на цитрах тирольки. При наступлении сумерек главная ярмоночная площадь оглашается самыми веселыми и разнообразными звуками. С одной стороны слышна духовая музыка, с другой — залпы балаганных баталий; здесь два трубача дают знать, что в дощатой будке, у входа которой они надувают щеки, показывает себя великан или карлик, альбиноска или женщина с бородой; там сквозь растворенное венецианское окно в мезонине трактира доносится какое-нибудь «Крамбамбули» или «Мы живем среди полей», в то время как внизу орган гудит каватину из «Нормы».

В здании, находящемся в полном распоряжении Осипа Фомича, дела идут превосходно; на публику никак нельзя пожаловаться: театр полон почти каждый вечер. Неожиданно быстрое развитие материального благосостояния Наруковича не позволяет этому достопочтенному мужу коснеть со своей труппой на одной степени; надо посильными улучшениями некоторых частей театрального организма поддерживать благосклонность публики и упрочивать свое выгодное положение в Голодаеве. И улучшения производятся очень усердно.

«Партикулярный» портной Захар Умнов, процветающий в Холодном переулке (на самом выезде из города), изготовил за весьма умеренную цену, но очень тщательно, несколько плисовых мантий и французских кафтанов, которые придают более уверенности игре Решилова и Румаковского.

Отчасти поновленные, отчасти и совершенно новые декорации, освещаемые с меньшею расчетливостью, чем прежде, так недурны, что даже вызывают иногда похвалы в задних местах партера (о парадисе и говорить нечего).

Оркестр значительно усилен: просвещенный генерал Охлестышев, как истинный ревнитель и поощритель изящных искусств, с благородным бескорыстием предложил Осипу Фомичу своих домашних музыкантов. Нетрудно вообразить, как доволен этим антрепренер; но не совсем довольны им новые музыканты.

После первого спектакля, в котором они участвуют, Нарукович угощает их водкой (по стаканчику на брата). Всех музыкантов шестеро; из них трое оказываются не употребляющими горячительных напитков. Тем лучше: все-таки экономия.

— Экая выжига! — говорит на возвратном пути домой виолончелист Кондратий,— хоть бы по четвертаку на брата.

— Не видали мы его водки! — подтверждает фагот Афанасий.

— Сквалыга! — замечают еще два голоса.

На следующий раз даже и водкою не угощает Нарукович охлестышевских музыкантов; он просто обращает к ним словесную благодарность:

— Спасибо, милые,спасибо! Благодарите от моего имени его превосходительство Алексей Петровича.

Забывая, что «служенье муз не терпит суеты», артисты негодуют больше вчерашнего, но бог с ними! Публика

вполне довольна — чего больше? Польза или удовольствие общества выше личных интересов.

В то время как Осип Фомич радуется всем сердцем преуспеянию своей труппы, возлюбленная дочка его желает ей всевозможных зол и напастей. Поделом! Как, например, позволить какому-нибудь Мирвольскому, который в труппе без году неделю, распоряжаться в театре, как у себя дома, помыкать артистами, как своими подчиненными? Как не зажать ему рта, когда он (что играл в Москве, да оттуда выгнали, так есть отчего нос задирать!), когда он осмеливается говорить, например, подобные вещи:

— Как ты хочешь, Осип Фомич, а я Гамлета ни за что не играю, если Офелией будет опять твоя дочь.

И то же самое смеет он говорить о «Коварстве и любви», о «Жизни игрока» и множестве других пиес, в которых всегда (могло ли и быть иначе?) главные роли исполнялись ею, девицею Нарукович! Хорош папенька, перед которым можно отзываться с таким неуважением о дочери... И как не совестно беспрекословно подчиняться желаниям или, лучше сказать, требованиям всякого встречного... «Великий артист!» Скажите пожалуста! Места себе не нашел нигде, кроме Голодаева. Был бы благодарен, что приютили; а он тут еще командовать вздумал! И кому же изволь уступать! какой-нибудь Живягиной!.. Добрый родитель — нечего сказать; умный содержатель — у себя дома власти не имеет. Конечно, все оттого вышло, что Мирвольский подружился с Васькой (девица Нарукович, не забудьте, очень раздражена) Живягиным: каждый день вместе обедают и бражничают по трактирам. Кажется, и Колчанову думает он выдвинуть вперед: все толкует ей о новых ролях. Какой распорядитель выискался! А что такое Колчанова? Истукан какой-то — и больше ничего.

Госпожа Живягина, сценическим способностям и прекрасному голосу которой не воздавалось дотоле должного вследствие слепой родительской любви Фомича, госпожа Живягина выступает теперь на первый план.

— Каково сыграно! Каково спето! — замечает в каждом антракте ее супруг, обращаясь к тому из артистов, кто стоит поближе (кроме безмолвного Решилова).

— Хорошо.

— Нет, ты скажи, не артистка она? не истинная артистка?

— Артистка.

— А можно ли эту роль лучше сыграть—а?.. можно ли?.. скажи ты мне вот это!

— Прекрасно сыграно.

— Нет, лучше-то можно ли?

— Да, трудно лучше сыграть.

— То-то!

Громкие рукоплескания встречают, прерывают и провожают госпожу Живягину в ролях, отнятых у антрепренерской дочки. Незримые кинжалы направляются в грудь супруги трагика или, что теперь правильнее, первой трагической актрисы, из изумрудных глаз девицы Нарукович, которая неизменно наблюдает свою соперницу из-за кулисы номер второй; маленькое, все изъеденное самолюбием сердце девицы колотится тревожно.

Успехи «подлой» (о соперничество!) Живягиной прочны: Осип Фомич, наконец, прозрел и удивляется, как не случилось этого раньше.

«Ведь найдет же этакой туман на голову,— думает он, но никому не говорит своих мыслей,— спятишь же этак с ума! Уж сколько времени Вася у меня в труппе, сколько раз жена его нарохтилась в главные роли! И еще видел ее Мариной в «Смерти Ляпунова»! Не мог взять в толк, что актриса — прелесть. Все из-за того, что Софья хнычет. Очень нужно смотреть! Ну где ей так сыграть, как Живягина? Этой вон аплодируют наравне с Мирвольским!.. Боюсь только, как бы сдуру-то не вздумал ее благоверный прибавки просить — чего доброго!»

Вышеприведенный факт, я убежден, озарит еще выгоднейшим светом лицо Осипа Фомича в глазах всех благомыслящих читателей. Жертва родственных отношений в пользу искусства — черта прекрасная! Итак, оставив без внимания слезы и неудовольствие девицы Нарукович, принесем дань искренней похвалы ее родителю.

Все идет как нельзя лучше; но в одно утро трагик является в комнату антрепренера. Отрываясь от каких-то арифметических выкладок, Фомич бросает подозрительный взгляд на вошедшего и видит по глазам его, что он явился недаром. Зачем же именно? О выдаче в счет жалованья не может быть речи: такая выдача произведена Живягину вчера, и деньги никак не могли быть все истрачены; сколько известно Осипу Фомичу, Живягин со вчерашнего дня никуда не отлучался.

— А! это ты, Вася! — говорит антрепренер, вставая с места и водружая мохнатое перо в зеленую склянку, на

которой кругом нарос толстый слой засохших чернил. — Здравствуй! Что скажешь хорошенького? Садись-ка!

Осип Фомич подает руку трагику, присаживается на окно и указывает ему на стул, с которого встал сам,— единственный стул во всей комнате.

— Садись, Вася!

— Я по делу,— говорит трагик, занимая стул.

— А именно? — спрашивает Осип Фомич, и плутоватые глазки его никак не могут остановиться на лице Живягина.

— Вот по какому делу,— продолжает трагик, медленно гладя ладонью свои густые усы,— жене надобно прибавку.

— Что?

Осип Фомич очень хорошо слышал слова Живягина.

— За то жалованье, что она получает, играть ей нельзя.

— Ведь играла же, Вася! сколько времени играла!

— Что она играла?

— Да то же, что теперь.

— Полно, то ли?.. Ты, я думаю, не забыл — при поступлении моем к тебе поэтому и контракта не было с нею сделано...

— Почему? почему?

— Кабы не глупая моя ссора с Сошниковым, я и носу бы к тебе не показал,— продолжает, не слушая Наруковича, Живягин.— У него она на главных ролях была... А ты тогда выдумал, что не надо тебе трагической актрисы. Ну и сделали так... Помнишь, чай?.. Играла ли она у тебя в первых ролях до нынешней ярмонки?

— Да ведь в этом ее же выгода, Вася, ты рассуди сам.

— Никакой нет выгоды надсажаться даром...

— Где же даром?

— Даром,— отвечает Живягин самым спокойным тоном,—другое дело, как прибавишь...

— Э-эх, Вася! точно не видишь ты,— лепечет, махая руками, Нарукович,— точно не знаешь, чего мне стоит приезд сюда... Дня не проходит...

— Да, дня не проходит,— перебивает трагик,— чтоб театр не был полон...

— А расходы-то! я про расходы говорю.

— Знаю и о расходах; а прибавку, как хочешь, надо.

— Не могу, Вася; ей-богу, милый, не могу.

— Так ты уж объяви, что сегодня «Елена Глинская» не пойдет.

Нарукович спрыгнул с подоконника.

— Вася! что ты?

— Ничего,— отвечает, вставая с места, трагик и отвечает таким голосом, что Фомича всего коробит.

— Вот уж ты и вспылил сейчас! — начинает примиряющим тоном Нарукович, — экая горячка! Говори ты, Вася, спокойно.

Вася устремляет на антрепренера пристальный взгляд, под влиянием которого Осип Фомич ощущает новую неловкость (глазки его забегали).

— Да или нет? — спрашивает Живягин очень решительно.

— Что ты косишься-то!.. Ведь сам знаешь...

— Да или нет? — повторяет трагик.

Фомич замотал головой; наконец говорит:

— Разве малую толику.

— А как, например?

— Право, не знаю и сам. Что по-твоему-то?

— По-моему, надо разовые.

— Сколько?

— По три.

— Вася! — восклицает Фомич, разведя руками,— тебя ли я вижу и слышу?

— Меня.

— Помилуй! как это тебе в голову пришло? Где я возьму?

— В кармане.

— Хорошо тебе толковать!

— Ну кончим, Осип Фомич; что целое-то утро ломаться!

— Не могу, Вася.

— Не можешь? Ладно.

Трагик идет к двери.

— Куда же ты? — кричит ему вслед Нарукович,— постой!

— Что мне стоять-то, коль с тобой не столкуешь,— отвечает трагик, не оборачиваясь.

— Воротись, Вася! — зовет Нарукович,— тебе говорю.

Живягин воротился.

— Ну?

— Половину...

— Поди ты!

— Да постой же! постой!

— Три — меньше ни копейки.

— Так и быть, Вася, два.

— Ни копейки.

— Два с полтиной.

— Три, сказал я тебе,— призносит Живягин таким раздраженным голосом, что Фомич не на шутку струхнул.

— Ах, господи! — восклицает он, воздевая к потолку руки.

— Да, что ли?

— Что с тобой делать!

— Давно бы так.

В игре госпожи Живягиной, так же как и в игре Мирвольского, антрепренер видит собственные выгоды, и поэтому не удивительно, что и та и другой ежедневно являются на сцене.

Никто не жалеет о том, что девица Нарукович не выходит более в роли Офелии и в других ролях подобного же объема и значения. Голос красноярского купчика в пользу дочери содержателя театра не может быть принимаем в расчет. И сама она недостаточно ценит внимание Кондрашова... А кто может сравниться с ним по внимательности? Что бы ни происходило на сцене, какие бы лица ни действовали тут, как бы ни была занимательна и трогательна драма, занимательна и смешна комедия — красноярский купчик не видит и не хочет видеть ничего происходящего перед ним, как скоро царица сердца его не на сцене. Да, она точно царица его сердца: зоркий глаз Кондрашова проникает, отыскивая ее, за каждую кулису; и как усмотрел он маленькую фигурку девицы Нарукович, все лицо его превращается в одну радостную улыбку. В сладостном волнении поталкивает он своего земляка соседа, который постоянно сопутствует ему в театр, и подмигивая говорит:

— Смотри-ка, брат, смотри! Живчик-то! а? Ишь куда спряталась!

Торговое движение растет с каждым днем; дела Кондрашова идут отлично, и он позволяет себе все удовольствия. Из театра он направляется обыкновенно в бубновский трактир, где очень весело проводит время.

Бубновский трактир вечно полон: днем истребляется в нем несметное количество чая, вечером — несметное количество шампанского и других вин...

Плотно поужинав и наслушавшись пенья тиролек в большой зале внизу, красноярский купчик поднимается в мезонин. Он велит принести туда за собой шампанского и весь погружается или в игру на билиарде (играет как нельзя

хуже и воображает, что хорошо), или в дикое пение цыганского хора. Особенно нравится Кондрашову голубоглазая Стеша, в которой очень мало похожего на цыганку и лицо которой остается совершенно спокойным и бесстрастным при самых отчаянно-забубенных мотивах, выводимых ее полнозвучным голосом. Разгулявшись, купчик подсаживается поближе к ней, беспрестанно останавливает пальцы ее на струнах гитары и тающим голосом произносит: «Чамуда ман (поцелуй меня)!». Стеша улыбается и подставляет ему ладонь. Кондрашов кладет в нее, что вынется из кармана, и повторяет единственную известную ему цыганскую фразу. Просьба: «Чамуда ман!» — произносимая им в продолжение двух недель раз по двадцати в вечер, остается неудовлетворенною.

Впрочем, Стеша занимает его на мгновенье, и постоянно живет в сердце и в мыслях его только один образ — образ наруковичевой дочки.

С первого появления ее в роли Офелии Кондрашов горит желанием познакомиться с кем-нибудь из странствующих артистов, чтоб получить доступ к своей владычице. Случай скоро представляется.

Мирвольский, Живягин и Гудков, сняв с себя сценическую мишуру, направляют стопы к бубновскому трактиру.

Еще на подъезде Живягин говорит московскому артисту:

— Не грех бы тебе угостить нас хорошенько после выигрыша-то.

— Я и намерен это сделать,— отвечает Мирвольский.

— Много ты выиграл? — спрашивает Гудков.

— Пятьсот.

— О-го! У кого?

— У Скачкова.

— Это белобрысый-то франтик, что в первом ряду абонировался?

— Он.

— Богатый человек?

— Нет, так себе.

— Пофорсить любит,— замечает Живягин.

Артисты садятся ужинать в большой зале, как раз рядом со столом, за которым красноярский купчик и его неизменный спутник-земляк уписывают жирную стерляжью уху.

— Актеры,— говорит спутник, обращая внимание своей планеты на вошедших.

Кондрашов немедленно требует себе бутылку клико, наливает три бокала и посылает их артистам.

— От кого? — спрашивает Мирвольский.

— Господа, позвольте просить! — говорит, привставая, купчик.

Мирвольский слегка кланяется и берет бокал; собеседники следуют его примеру.

— Что это за гусь? — спрашивает трагик.

— Я вижу его каждый день в театре,— отвечает Гудков,— и здесь часто встречал... купец.

Мирвольский справляется вполголоса о фамилии и роде торговли его у трактирного слуги и получает удовлетворительный ответ.

Когда слуга оттокнул с громом бутылку у стола артистов, Мирвольский посылает в свою очередь два бокала на соседний стол.

— Покорнейше вас благодарю, господа!—говорит умильным голосом и с умильною улыбкой Кондрашов, подходя к артистам, — позвольте чокнуться.

Чокаются.

— Очень приятно познакомиться; давно желал. Могу присоседиться к вашей компании?

— Пожалуста,— приглашает Живягин.

Расспросив о том, что за пиеса играется завтра и кто да кто участвуют в ней, красноярец изъявляет желание принять на себя расплату за ужин артистов; но Мирвольский, не обращая внимания на подмигиванье трагика, отказывается наотрез от такой любезности.

— Винца по крайней мере позвольте выставить.

— Это можете,— говорит Мирвольский,— только не лучше ли нам отправиться наверх?

— Самое любезное дело,— отвечает Кондрашов.

И вся компания идет в мезонин, где стон стоит от «Як мы жили на горе». Несколько меломанов, заседающих около цыган, неистово топают ногами. Следом за артистами является в цыганскую комнату поднос, нагруженный чем следует, и Кондрашов скоро приходит в самое нежное расположение духа. Он прищелкивает пенью и языком и пальцами. К несчастию, голубоглазая Стеша отделена от него другим любителем с ужасающими усами. Усач сидит очень близко к ней и, как по всему видно, не уступит никому в мире своей выгодной позиции. Видя совершенную невозможность остановить пальцы Стеши, бьющие по струнам

гитары, и пролепетать обычное: «Чамуда ман!», Кондрашов предлагает Мирвольскому сыграть партию на билиарде.

— Очень рад, — соглашается артист.

Они переходят в соседнюю комнату и вооружаются киями; но прежде чем партия начинается, красноярец обращает внимание собеседников на поднос, последовавший за ними в билиардную.

— Пожалуйте, господа!

Отерщи усы и бороду, он чувствует прилив удали к своему сердцу, сильно ударяет кием об пол и восклицает:

— Ух! гуляй!

— Почем играем? — спрашивает Мирвольский.

— Бутылку шампанского.

— Я не играю на вино.

— Ну на деньги!

— Десять рублей партия.

— Идет. Ух!

— Выставляйте!

— Никого и ничего! —вскрикивает сонным голосом маркер.

Мирвольский срезывает желтого в среднюю с карамболем по красному.

— Восемнадцать и очень мало!

— Ловко! — одобряет купчик.

— Тридцать и очень немного! — возглашает маркер, в другой раз вынимая желтый шар из средней лузы.

— Лллoвко!

— Сорок два и очень досадно!

— Плохо дело! — лепечет купчик.

— Партия!

— Еще? — спрашивает Мирвольский.

— Еще, непр-менно! А сн-чала... тово...

Он делает выразительный жест, который догадливый слуга тотчас понимает. Раздается громкая оттычка.

— Выставил,— говорит Мирвольский.

Кондрашов нацеливается и вместо шара попадает кием в сукно.

— Стикс,— лепечет он.

Каждый удар его — кикс; но он не соглашается на предложение Мирвольского взять тридцать вперед, не хочет оставить кий и играет партию за партией. Игра оканчивается тем, что рьяному купчику приходится выложить на билиард двести рублей проигрыша.

— Ловко же ты его огрел! — замечает Живягин. — Со мной не срежешься ли? — обращается он к Кондрашову.

Но Кондрашов уж чересчур утомился, хоть и не сознается в этом; земляк, бывший хладнокровным зрителем игры, теперь насильно увлекает его домой.

Знакомство с артистами доставляет красноярцу возможность пробраться за кулисы, где Живягин рекомендует его антрепренеру и антрепренерской дочке. Нельзя сказать, чтоб во глубине души девица Нарукович была недовольна изъявлениями почтения и преданности Кондрашова, обращенными к ней; но она отвечает ему как-то жеманно-холодно. Тем не менее Кондрашову приятно каждое слово девицы. Неискренность ее вызвана насмешливыми взорами Колчановой. Взоры эти следят за каждым движением девицы Нарукович и не дают ей покоя. «Нашла поклонника! Нечего сказать, хорош!» Колчанова имеет в некотором роде право смотреть насмешливо на ухаживанье Кондрашова: вчера и третьего дня она вгоняла в краску досады дочь содержателя, надевая новое шелковое платье и застегивая золотой браслет, поднесенные ей двумя любителями искусства, имена которых небезызвестны в голодаевском обществе.

Впрочем, не ударит себя в грязь лицом и купчик. Что же в самом деле! денег у него, что ли, нет? Как же! Скоро и девица Колчанова изменяет о нем свое мнение, хотя попрежнему подтрунивает над ним при девице Нарукович и продолжает называть бороду его мочалкой. Против браслета Колчановой дочь содержателя может теперь выставить несколько вещиц гораздо более ценных, против двух новых платьев ее — четыре, из коих одно стоит полтораста рублей.

А что поделывают Решилов, его супруга и их чадо? Неподвижный Ванюша не может делать ничего; он по-прежнему сидит между подушками, хлопает глазами, изредка промычит — и только. Маменька по-прежнему кормит его кашей и ворчит...

Но все гуще и гуще становится мрак, облекающий мозг самого Решилова. «Благородный отец» так упрямо закручивает вихор за левым ухом, словно в руках у него не волосы, а бурав, которым он хочет просверлить череп, чтоб дать таким образом выход чепухе, забравшейся к нему в голову и упорно засевшей там. Сидит он по утрам у своего окна и, забывая о тетрадке с ролью, направляет взор свой вдаль и погружается в томительные думы. Думает он о судьбе своего младенца — не сидня Ванюши, а того, что должен меся-

цев через пять родиться... вот понадобилось еще приращение семейства! думает о жалкой роли своей в труппе, о том, как с каждым днем ниже и ниже падает он во мнении публики, а следовательно (что гораздо важнее), и во мнении антрепренера...

Но что это? Во мрак тяжелых дум Решилова начинает как будто закрадываться слабый свет... и вдруг подобно одному из ярких лучей утра, встающего в эту минуту над городом Голодаевым, гениальная мысль пронизывает отуманенный мозг «благородного отца». Мало-помалу морщины разглаживаются на лбу Решилова, и впервые после многих лет слабая улыбка появляется на его тонких губах.

— Да, да,— лепечет он,— завтра же начну! завтра же!

Жизнь остальных лиц, прикосновенных к труппе, идет себе старым чередом, и излишне было бы распространяться о Румаковском, Гудкове и Вилкове, сражающихся ежедневно на билиарде, о долговязом Антипе, с которым в способности дремать может поспорить разве литаврист, о прочих музыкантах, услаждающих свои досуги игрою в три листика, о сестрах Сизогубовых, столь же мало заметных в домашнем быту, как и на сцене, о семье Пастухова, по-старому отправляющей свои обязанности.

Дни идут за днями, и незаметно прошло количество их, составляющее ровно половину срока, определенного на ярмонку.

ГЛАВА XIII

Молодые крылья

Мирвольский не заблагорассудил отправиться на репетицию. Он может себе позволить это как артист, которым держится вся труппа. Нарукович, получив записку от него с известием, что он не будет на пробе, даже и не поморщился, тогда как, будь на месте Мирвольского кто-нибудь другой, сотни жестких слов посыпались бы из уст антрепренера.

Мирвольский сидел дома и ждал к себе Скачкова, молодого человека, у которого недавно выиграл пятьсот рублей и который, может быть, в этот раз отыграется. Зеленый стол был уж разложен; карты и мел лежали на нем.

Прежде ожидаемого гостя явился Живягин.

— Ба! ты какими судьбами?

— Узнал, что ты не будешь на репетиции, и приехал

проведать тебя. Я ведь не играю сегодня. А! это что? битва готовится?

Живягин указал на карточный стол.

— Да, жду к себе одного молодца... Чем у вас вчера кончилось? Много просадил тебе этот купчик?

— Много не много, а годится.

— Сколько?

— Всего пятьдесят.

Гость закурил трубку.

— Сейчас видел в окно дочку твоей хозяйки,— сказал он, пустив целую тучу дыма. — Ну, как тут идут твои делишки?

— Ничего.

— Часто бываешь?

— Каждый день.

— Да что ты делаешь там? Я думаю, скука ужасная.

— Скуки ужасной ни в коем случае не может быть уж потому, что Ольга девочка очень хорошенькая, очень умная.

— Мало ли на свете хорошеньких да умных; только стоит ли время терять, как ничего добиться нельзя?

— Да кто же тебе говорит, что я напрасно время теряю?

— Не жениться же вздумал?

— Это уж мое дело.

— Э-ге, брат! да у вас, видно, далеко зашло!.. ты, значит, тут этак настоящим донжуаном... Их, однако, вчера в театре не было; а ведь они абонировались, кажется?

— Да. Вчера не были; старуха заболела.

— Славный домик у них,— говорил Живягин, расхаживая по комнате и глядя то на стены, то на потолок.— Говорят, и деньги водятся — правда это?

— Правда.

— Порядочно образованная девочка эта Ольга?

— Очень: воспитывалась в Петербурге, в одном из аристократических домов.

— Вот как!

— Хорошо играет на фортепиано и превосходно поет.

— Лучше жены поет?

Живягин (должно отдать ему честь) высоко ценил достоинства жены и в особенности ее певческий талант; Мирвольский, зная слабость его, сказал, что Ольга поет хорошо, но что все-таки не лучше госпожи Живягиной.

— Ну, а что, как она к тебе? — спросил трагик.— Ты-то, я вижу, неравнодушен... благоволит к тебе?

— Ужасно ты любопытен,— отвечал Мирвольский с такою улыбкой, которая ясно говорила: «Еще бы!»

— Злодей!

Приезд Скачкова прервал этот разговор; хозяин распечатал карты и придвинул стулья к столу.

В словах Мирвольского об отношениях его к Ольге была правда; но правда эта была высказана так грубо, что, случись Ольге услыхать разговор двух артистов, она горько проплакала бы целую ночь.

Благородная игра Мирвольского в «Гамлете», его прекрасная наружность и манеры, обращавшие на него внимание не только в среде странствующих актеров, но и в первых рядах театральных кресел, судьба его, столь похожая на роман (после первого появления Мирвольского на голодаевской сцене девушка уже не сомневалась в истине слышанных ею рассказов), наконец и то обстоятельство, что артист живет под одной кровлей с нею,— все это заставило Ольгу, не занятую ничем и никем в ее родном городе, думать о Мирвольском.

Жилец на другой же день воспользовался приглашением Аграфены Петровны. Первый визит его был непродолжителен; разговор велся довольно живо, но о вещах самых обыкновенных, и Ольга не могла извлечь из него ничего, что познакомило бы ее ближе с артистом, с его образованием, взглядом на вещи. Тем не менее первое впечатление осталось в ней во всей его силе.

Аграфена Петровна, как сама говорила, и думать никак не могла, чтоб актер был такой благовоспитанный, вежливый, развязный и милый человек.

— Я всегда воображала их сорванцами какими-то; а этот совсем не то. Он и с первого разу понравился; и чем больше вижу его, тем он больше кажется мне порядочным. Да его в какое общество ни пусти, нигде последним не будет. Про нашу молодежь и говорить нечего: все фанфароны. И живет так тихо; а уж я боялась-таки, чтоб у него гулянок не было. Как посравнить его с товарищами-то, так он между ними — князь, просто князь.

Ольга была согласна со всем этим, хотя и не высказывала своего мнения.

— И играет отлично — тоже сравненья никакого нет с другими... Надо бы нам еще поехать в театр. Как ты думаешь, Лелечка?

Ольга не только была согласна посмотреть еще раз игру Мирвольского, она даже предложила матери абонироваться на ложу. Старуха, готовая исполнять малейшие желания дочери, с удовольствием согласилась на это, тем более что и сама любила театр.

Каждый выход Мирвольского в новой роли подтверждал мнение Ольги, составленное по дебюту его, что у него замечательный талант. Сначала думала она, не вводит ли ее в заблуждение обстановка нового артиста, среди которой нетрудно отличиться: большинство актеров так мало удовлетворяет требованиям искусства, что человек даже с обыкновенным талантом будет казаться целою головою выше их. Но Ольга не остановилась на этой мысли и, вдумываясь в роли, исполняемые Мирвольским, следя за игрою его до мельчайших подробностей, убедилась, что он хорош не потому только, что окружен плохо.

И как изумилась она, когда, заведя с Мирвольским во второе посещение его разговор об искусстве, услыхала суждение его об артистической его карьере!

— Главное дело — деньги,— говорил он,— что тут искусство! Я никогда не чувствовал в себе никакого призвания к сцене и, конечно, никогда не попал бы в актеры, если б не заставили крутые обстоятельства. Не за славой же гоняться! не за известностью!.. Известность хороша только потому, что за нее больше дают денег.

— Я вам не верю,— возразила Ольга,— поприще актера не таково, чтоб на него вступать для денег. Кто хочет нажиться, тот, верно, выберет другую дорогу.

— Нажиться нельзя без больших трудов, а трудиться способен не всякой... и я первый не рожден для труда или, лучше сказать, вовсе не приготовлен к нему. Когда пришлось мне искать себе средств для существования, я выбрал театр, как самое легкое.

Ольга недоверчиво качала головой.

— Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что без любви к искусству нельзя быть таким артистом, как вы.

— Неужто, батюшка, вам выгоднее играть у нас? — вмешалась в разговор Аграфена Петровна. — Вы ведь, я слышала, были сначала на московском театре.

Этот вопрос заставил Ольгу покраснеть и взглянуть на мать с беглым упреком. Но Аграфена Петровна не смекнула, что ее слова могут неприятно затронуть самолюбие гостя.

Мирвольский с беспечным, почти веселым видом обратился к Ольге и сказал:

— Вот вам и доказательство, что любви к искусству во мне очень мало, если не вовсе нет. Чтобы приобресть в Москве такое значение, какое имею здесь, чтобы сделать себя заметным в ряду сильных соперников, мне нужно было трудиться, а любовь не могла принудить меня к труду. Какая же это любовь!.. Я опять-таки выбрал что полегче: здесь, в провинции, я и не трудясь могу быть первым, тогда как в столице...

Все это Мирвольский говорил от души, но, должно быть, в самом тоне его было мало искренности, потому что Ольга, сначала удивленная его суждениями, к концу разговора была убеждена, что Мирвольский шутит с единственным желанием вызвать ее противоречие и оживить разговор. Мирвольский заметил недоверчивость Ольги и скоро понял, что его откровенность не может принести ему никакой пользы в глазах девушки.

В следующий визит его к Гадаевым Ольга встретила его такими словами:

— Вы и теперь станете уверять меня, что в вас нет никакой любви к искусству, что вы не даете себе труда думать о совершенном исполнении ролей?

— Отчего же нет?

— Теперь вы можете говорить сколько угодно, и я не буду вам верить.

— Разве вы узнали от кого-нибудь, что я говорю неправду?

— Я видела вас вчера Фердинандом.

— И что же?

— И больше ничего.

Ольга очень нравилась Мирвольскому, и спор с нею, поддерживаемый девушкою очень горячо, доставлял ему большое удовольствие.

— Скажите,— начал Мирвольский, — к чему же любовь, чтоб быть таким артистом, как я?.. маленькие способности — и этого очень достаточно.

И спор опять возгорелся.

Аграфена Петровна слушала-слушала, не принимая участия в беседе, и наконец сказала:

— Ах, какая ты стала нынче спорщица, Лелечка! И об чем спорить-то принялась! Ну, кому знать это дело лучше, как не Павлу Павлычу? Сыграла бы лучше что-нибудь да спела.

К совету старушки Мирвольский присоединил свою просьбу, и Ольга села к фортепиано.

— Что вам спеть? — спросила она гостя.

— «Птичку» бы спела, Леля,— сказала Аграфена Петровна.

— Нет, маменька, пусть выберет Павел Павлыч.

Мирвольский выбрал из кучи нот Шубертова «Странника» и развернул его перед Ольгой.

— Знаете ли? вы угадали мою мысль: мне именно хотелось спеть «Странника»,— сказала она, поправляя ноты на пюпитре.

— Я очень люблю Шуберта.

— Я тоже.

Павел Павлыч облокотился на спинку стула Ольги, и Ольга запела.

В квартиру Мирвольского не достигало ни звука с половины хозяев, и он не знал, что Ольга поет; но когда и узнал, никак не воображал, что услышит такой прекрасный голос и такое артистическое пение.

— Не знаю,— сказал Мирвольский, когда Ольга кончила,— любите ли вы музыку, знаю только, что у вас чудный голос и в пенье бесконечно много души.

С этого времени каждый раз, являясь к Гадаевым, Мирвольский просил Ольгу петь, и она не отказывалась. Он уверял ее, что с таким талантом она могла бы иметь огромный успех на сцене — и не на провинциальной; но Ольга отвечала на это только улыбкой.

Ежедневные свидания с Мирвольским незаметно сделались потребностью для Ольги; в часы, когда жилец имел обыкновение приходить, девушка чувствовала в сердце тревогу ожидания, которая заставляла ее откладывать в сторону книгу или шитье, бывшие у нее в руках. Вместе с тем при каждом визите Мирвольского Ольга утрачивала ту свободу в обращении с ним, ту уверенность в самой себе, которые актер видел в ней при начале знакомства. Теперь она как-то робко и осторожно вступала в споры, была менее говорлива, будто боялась обличить свою любовь... Она с неменьшею боязнью примечала, как это чувство все больше и больше овладевает ею... А что же он? Правда, он, видимо, находит удовольствие бывать у Гадаевых, сидеть с Ольгой; но не оттого ли это, что лучшего развлечения не найдешь в Голодаеве? Все едва заметные для постороннего и равнодушного глаза движения, в которых любящее сердце

ищет себе ответа или объяснения, подвергались разбору Ольги; но она только колебалась между сомнением и уверенностью.

Однажды под вечер, перед началом спектакля (это было накануне того дня, как Мирвольского посетили Живягин и Скачков), Павел Павлыч зашел к Гадаевым.

Ольга сидела в первой комнате одна, опустив на колени разогнутую книгу, и рассеянно смотрела в окно.

— Здравствуйте, Павел Павлыч, — сказала она, увидав Мирвольского, и подала ему руку.

— Собираетесь в театр? — спросил он, садясь против Ольги.

— Нет, маменька нездорова: у нее такой жар, что я боюсь, не горячка ли... Послала за доктором. Верно, вчера простудилась, возвращаясь из театра. Ночь была такая холодная, в театре так жарко, а мы поехали в открытом экипаже.

— Аграфена Петровна в постели?

— Да; теперь немного уснула, я и вышла сюда; хотела читать, да что-то не читается.

— Так же, как вам не читается, мне, кажется, не будет сегодня играться.

— Отчего же? разве вы не расположены?

— Для кого играть, если не будет вас?

Ольга нехотя улыбнулась: эти слова неприятно кольнули ее сердце.

— Как вам не грех,— сказала она,— говорить такие фразы! Неужто мы недостаточно знакомы, чтоб обходиться без комплиментов друг другу?

Во взоре девушки, обращенном на Мирвольского, было так много грустного и вместе с тем нежного чувства, слабая улыбка, подтверждавшая упрек, была так пленительна, что артист почувствовал, как сердце его уклоняется от своего обычного, очень ровного биения. Глаза его и все лицо оживились.

— Боже мой! — сказал он, придвигаясь к девушке,— неужели вы могли думать, что мои слова — пошлый комплимент? Разве говорил я вам когда-нибудь подобные фразы? С тех пор как я играю здесь, в каждом спектакле привык я видеть вас, привык знать, что есть строгий судья моей игры, одобрение и похвала которого мне дороже аплодисментов целого света. Я уверен, вам, одним вам, вашему присутствию обязан я теми шагами вперед в искусстве, которые замечали во мне вы сами. Если я полюбил искусство, понял

высокое значение его—вы же, опять вы указали мне прямую дорогу. Сколько споров было у нас из-за этого — вы сами знаете. И вы усомнились в моих словах!

Ольга не поднимала глаз; щеки ее покрывались румянцем.

— Или в голосе моем,— продолжал Мирвольский с большим и большим одушевлением,— была какая-нибудь фальшивая нота, когда я говорил, что мне не для кого играть, когда нет вас в театре? Это такая же правда, как то, что солнце светит. Скажите же мне, что вы поняли меня, что не считаете меня сочинителем праздных фраз! Мне горько будет оставить вас без уверенности в этом.

Ольга подняла голову; глаза ее на мгновенье обратились на Мирвольского; она хотела говорить и не могла; но и в мгновенном взгляде девушки был достаточный ответ.

— Одного взгляда вашего,— сказал Мирвольский,— одного взгляда довольно, чтоб дать мне силу, которая начала падать в беспрерывной борьбе с судьбой. За один взгляд сочувствия готов я отдать всю остальную жизнь со всеми ее радостями, со всем ее счастьем, если только ждет меня впереди какая-нибудь радость, какое-нибудь счастье. До сих пор мне не приводилось испытывать ничего, кроме горя, неудач; до сих пор я был окружен пустотой, мишурой и блестками или тиной и грязью; только с вашим появлением жизнь моя начала светлеть... Неужели и теперь, как прежде, это только призрак счастья?

Ольга взяла книгу с колен, чтоб положить ее; другую руку протянула к платку, лежавшему на окне: глаза ее были полны слез; она боялась, что слезы сейчас покатятся по щекам.

— Скажите или дайте увидать в глазах ваших мой приговор! Ангел! жизнь! — воскликнул Мирвольский, взяв Ольгу за обе руки.

Голова его наклонилась к ним, и руки задрожали под горячими поцелуями. Мирвольский не слыхал, как слезы капали из глаз девушки на его волосы.

В эту минуту он был вполне искренен.

Аграфена Петровна, проснувшись посреди ночи, увидела, что дочь сидит около ее постели.

— Ах, Лелечка, ты не спишь, мой ангел! Ляг, успокойся. Я, слава богу, ничего. Мне гораздо легче. Вот как уснула, и освежилась как будто. Разденься и ложись, мой ангел! Зачем ты утомляешь себя?

— Я не хочу спать, маменька,— отвечала Ольга.

— Как не хотеть, Лелечка! полно, мой друг!

Ольга послушалась и легла в постель; но сон до самого рассвета не закрывал глаз ее.

Широко раскидывалась перед нею новая, необоримо влекущая жизнь; но еще робко замирала душа, порываясь на простор. Так молодая птичка, только что почувствовавшая силу в крыльях, чуть взмахивает ими, сидя на краю гнезда. Грудь ее жадно вдыхает в себя свежительный воздух встающего утра; голубой безграничный простор манит ее... Еще миг — и молодые крылья несут ее далеко-далеко от родного дерева, и не чует она, что уж надвигается откуда-нибудь черная туча, которая омрачит это лучезарное утро.

ГЛАВА XIV

Пара

Капитон Валентиныч, знающий решительно все, даже и то, чего вовсе не знает, не однажды уже сообщал своим знакомым, что по всем его соображениям актер Мирвольский и Ольга Гадаева неравнодушны друг к другу, или, правильнее, Мирвольский ухаживает за Ольгой и Ольга неравнодушна к его ухаживаньям. Соображения Капитона Валентиныча были основаны на неопровержимых, по его мнению, свидетельствах. Два раза в продолжение ярмонки посетил он Гадаевых и в оба раза застал у них Мирвольского. И это бы еще ничего: артист живет у них в доме; почему ж не бывать ему у хозяев? Дело в том, что он исключительно говорил с дочерью, только изредка обращался к маменьке и (что обличает большое незнание приличий) нехотя отвечал на вопросы Потатуйкина. Ольга тоже была занята одним Мирвольским: по первому слову его садилась к фортепиано и пела — пела именно то, что он хотел, тогда как Капитон Валентиныч не допросится, бывало, спеть ему любимый романс его: «Коварный друг, но сердцу милый!» Не ясно ли дело, как солнечный день?

Все, кому ни передавал свои наблюдения Капитон Валентиныч, считали необходимым произнести посильное суждение о новоузнанном факте, хотя бы Гадаевы были известны им только по имени. Суждения были разногласны, но большинство их было против Ольги.

Так, одна барыня, не выезжавшая с тремя взрослыми дочками своими из голодаевского уезда и постоянно пламеневшая желанием побывать в Москве и в Петербурге, говорила:

— Вот вам и столичное воспитание! Влюбиться в актера — бог знает откуда и что за человека!.. Нет, уж лучше пусть мои (подразумевалось: дочери) ничего не видят, кроме Голодаева: по крайней мере я уверена, что подобный пассаж и в голову им не придет. Бог с ним — и с пением (ни одна из дочерей этой дамы не пела) и с английским языком (ни одна не говорила по-английски)! Хоть и не на большую ногу воспитаны, а не влюбятся в какого-нибудь актера. Помилуйте! ведь она же была в обществе здесь принята... До того унизиться!

Другая маменька, косившаяся на Ольгу за то, что один из голодаевских молодых людей, который выказывал прежде особенное расположение к ее Машеньке (или Пашеньке), тотчас по приезде Ольги вздумал ухаживать за нею, эта маменька отзывалась так:

— Не знаю, что тут удивительного находят! Что за птица такая эта Гадаева! Дочь приказного, управителя имением — и больше ничего. Воспитана недурно да смазлива — вот и все. Не вижу никакой несообразности, если б она и замуж вышла за актера и на сцену поступила. Вольно ж было считать ее не знаю за что! Я при самом приезде их в город сказала своей Маше (или Паше): «Будь ты подальше от Гадаевой: она вовсе не компания тебе ни по происхождению, ни по... словом, ни по чему».

Некоторые говорили своим дочкам:

— Пожалуста, прекратите всякую дружбу с Ольгой: она ведет себя неприлично.

Капитон Валентиныч, попавший на этот раз в догадках своих на правду, не остановился на распространенном им по городу слухе. Скоро последовало к нему прибавление, в котором не было уж ни капли истины.

Когда толки и пересуды об Ольге и Мирвольском обошли все улицы и большую часть домов в Голодаеве, Потатуйкин решил направить совсем отощавших вяток своих в Дворянскую улицу и навестить Гадаевых.

Его не приняли; горничная говорила, что Аграфена Петровна нездорова, а Ольга Васильевна не почивала по этому случаю целую ночь и теперь легла немного отдохнуть. Все

это было очень обыкновенно и не могло бы, кажется, служить основой какой бы то ни было сплетне.

Не так думал Потатуйкин.

— Слышали,— говорил он встречному и поперечному,— бедняжка-то Аграфена Петровна...

И он останавливался, чтобы произвести больше эффекта на слушателя.

— Что такое?

— Больна! при смерти больна! совсем поражена этой любовью своей дочери к Мирвольскому. Начала было она говорить ей: «Я, говорит, слышать этого не хочу! Для того ли, говорит, графиня дала тебе такое воспитание?..» ну, и прочее — понимаете, что может говорить в подобном случае мать, и притом мать, которая любит дочь. Но та, что называется, и руками и ногами... «Я, говорит, жить без него не могу! готова, говорит, всем для него пожертвовать!» Это так подействовало на бедную мать, что она слегла в постель и теперь очень опасна.

— Скажите пожалуста! Как жаль старушку!

Ольгу очень и очень многие называли неблагодарною, бесчувственною, непочтительною дочерью, и все это только от того, что какой-нибудь тунеядец с седым хохолком, пользуясь тем, что язык без костей, мелет им с утра до ночи.

Само собою разумеется, что Мирвольскому пришлось услыхать немало тонких намеков на отношения его к Ольге от губернской молодежи, с большею частью которой он был знаком. Похвально или нет поступал Мирвольский — пусть рассудят сами читатели: на все вопросы, на все намеки этого рода отвечал он почти так же, как, помните, отвечал Живягину.

Ольга, никуда не выезжавшая и почти не отходившая от постели матери (старушка опасно расхварывалась), не слыхала ничего из городских сплетен. Но если б и слышала, они, вероятно, огорчили бы ее ненадолго: сердце ее было слишком полно, и не будь больна Аграфена Петровна, Ольга чувствовала бы себя вполне счастливою.

Она не вдавалась в анализ своего чувства: не разбирала, как зародилось оно в ней, как развивалось; не думала о том, стоит ли Мирвольский любви ее... Она уж так слепо отдалась увлекавшему ее стремлению, что неожиданное объяснение Мирвольского, в котором было всего два-три проблеска искренности, нисколько не показалось ей театральным, и она вполне поверила ему.

Мирвольский поддерживал эту веру, являясь каждый день. Свидания были кратки, говорилось немного; но Ольга жила все остальное время дня воспоминанием нескольких минут, проведенных с Мирвольским. Он и вполовину не чувствовал того к Ольге, что она к нему; но—девушка была так хороша! в любви ее было столько обаятельного!..

Так прошло две недели. На вопросы жильца о положении Аграфены Петровны Ольга с каждым днем грустнее и грустнее отвечала, что болезнь старушки все усиливается и что-то мало надежды увидать ее выздоровление.

Однажды утром, когда Мирвольский надевал перчатки, чтоб ехать на репетицию, к нему прибежала горничная Ольги звать его к ней.

— Что такое?— спросил он, выходя.

— Барышня просит вас поскорее пожаловать,— отвечала горничная,— барыне очень дурно... Ольга Васильевна опять целую ночь глаз не смыкали.

Мирвольский поспешил и встретил в прихожей Гадаевых доктора.

— Что, доктор? — спросил он.

— Плохо, плохо... никакой надежды. Разве до вечера доживет.

Торопливо вошел Мирвольский в первую комнату. Здесь встретила его Ольга, бледная, утомленная, вся в слезах.

— Павел Павлыч,— проговорила она, едва подавляя слезы,— она умрет... что мне делать?

— Полноте, бог милостив...

— Нет...— отвечала Ольга (слова ее прерывались рыданиями),— доктор... сказал мне...

— Доктор может ошибиться,—возразил Мирвольский,— не плачьте! успокойтесь!

Они вошли в следующую комнату. Ольга в изнеможении опустилась на софу.

— Научите,— сказала она, подымая глаза на Павла Павлыча,— что мне делать?

Он сел около нее и взял ее за обе руки.

— Зачем так отчаиваться? Надо надеяться! Не плачьте!

В голосе Мирвольского, в его глазах было столько участия, столько нежности, что Ольге стало как будто легче; но слезы все еще бежали у ней по щекам.

— Не плачь же, мой ангел! — сказал Павел Павлыч, целуя ее руки.

— Боже мой! — повторяла Ольга,— неужто она умрет?

Мирвольский употреблял все старания утешить девушку и, прощаясь с нею, чтоб ехать на репетицию, обещал непременно прийти по возвращении, именно часа через два.

— Пожалуста! — сказала Ольга, вставая с софы.— Боже мой! боже мой! что мне делать?

Слезы опять заглушали ее голос.

— Все кончится хорошо...— начал говорить Мирвольский, слегка обнимая ее стан (ему казалось, что Ольга того и гляди упадет от усталости и волнения),— нечего плакать заране. Полно...

И он, наклонясь, поцеловал ее прекрасные, несколько разбитые волосы, до которых в это тревожное утро не прикасался гребень.

— До свиданья!

— До свиданья!

Ольга пошла в спальню матери. Больная была в беспамятстве.

Ольга остановилась у постели и смотрела на нее. Как изменилась старушка в немного дней! Лицо ее осунулось и все покрылось темными морщинами; глаза ушли глубоко в свои впадины; кожа на выступах костей лоснилась. Обычное добродушное выражение сменилось выражением страдания. Полураскрытые губы покосились, нос заострился. Ольга закрыла себе глаза платком и отошла от постели.

Каждые полчаса следовало давать больной лекарство. Она, казалось, ничего уж не чувствовала, и лекарство вливали ей с ложки в рот независимо от воли ее. Нескончаемо долго тянулись для Ольги эти получасы.

Мирвольский приехал, как сказал, часа через два. Присутствие его не могло окончательно успокоить бедную девушку; но все же ей стало при нем гораздо легче.

Наступил вечер; спальня была освещена только одною лампадкой. Ольга отпустила отдохнуть не спавшую всю ночь и сильно уставшую горничную и осталась одна около больной. Она придвинула к самой постели низенькую скамейку и села на ней, чтоб иметь перед глазами небольшие часы, стоявшие на столике у постели, и не пропустить времени дать больной лекарства. Беспрестанные заботы о матери, несколько бессонных ночей и постоянное волнение так утомили Ольгу, что едва опустилась она на скамейку, голова у ней закружилась, все предметы заволоклись в глазах ее туманом, сердце после усиленного биения замерло, и девушка

упала головой на край постели, около самой подушки, на которой покоилась голова умирающей.

Во всем доме не слышалось живого звука. На половине Мирвольского не было никого: сам он красовался в это время на сцене, а слуга его любовался им из-за кулис; в девичьей одна горничная крепко спала, а другая шила что-то и тоже готова была отдаться дремоте, беспрестанно отуманивавшей глаза ее посреди всеобщего молчания, но не покидала работы, ожидая звонка или зова из спальни. Даже в кухне и людской было тихо: повар завалился спать и сна ждал недолго, а кучер отлучился побалагурить у соседних ворот с знакомыми девками.

Все бледнее и бледнее мерцала догорающая лампадка в спертом и душном воздухе спальни. Больная лежала неподвижно, и можно было бы подумать, что она уже перестала быть больною, если б слабое дыхание ее не пошевеливало изредка волос Ольги. Часы в этот день забыли завести, и частое мерное чиканье их, слабея понемногу, наконец совсем стихло. Голова девушки лежала так же неподвижно, как голова больной. Обморок ее мало-помалу перешел в сон. Лохматая дворовая собака, скребя передними лапами землю у своей конуры, потихоньку завыла, как будто боялась нарушить более громким звуком безмолвие дома. Этот сдержанный вой, или, лучше сказать, стон, мимолетом коснулся слуха Ольги, но не пробудил ее: глубокий сон без видений и грез овладел всеми ее чувствами.

Вдруг неподвижные черты лица больной как будто оживились; она открыла глаза и устремила их вперед, словно высматривала что-то; сухие губы ее зашевелились, произнося неслышные слова; костлявая рука ее, выставленная из-под одеяла, судорожно искала чего-то; коснувшись волос бесчувственно спавшей девушки, рука вздрогнула и тяжело легла на горячую голову. Губы больной перестали шевелиться, глаза остановились, голову ее повело назад, как от глубокого вздоха.

Горничная, сидевшая за шитьем, вдруг вскинулась от овладевшей ею дремоты.

— С нами крестная сила! — проговорила она, крестясь и быстро вставая с места.— Агаша! Агаша! (Она принялась дергать за руку другую, спавшую девушку.) Вставай! скорее!

— Что тебе? — спросила та, с усилием пробуждаясь.

— Встань, пожалуста! посиди со мной! Я боюсь. Сей-

час вот задремала — вдруг слышу над самым ухом барынин голос; будто она наклонилась ко мне и спрашивает: «Где Леля?» — страшно так спрашивает... Как открыла я глаза, словно мелькнула она передо мной — вон к той двери.

— Надо в спальню пойти; не звонила ли барышня... Может, это тебе спросонья-то колокольчик почудился голосом.

— Уж и я с тобой пойду, одна здесь ни за что не останусь; меня со страху просто лихорадка бьет.

— Пойдем.

Они пошли.

Дверь отворилась без малейшего шума; в комнате было почти совсем темно; лампада готова была погаснуть, как только что погасло пламя более сильное. Девушки осторожными шагами приблизились к постели. Рука усопшей лежала еще на голове глубоко спящей Ольги, как будто усопшая благословляла дочь. Горничные остановились в испуге. Веянье смерти чувствовалось около постели.

Агаша бессознательно протянула руку к голове Ольги и легонько прикоснулась пальцами к руке мертвой. С испугом отдернула она свою руку, быстро отступила от кровати и произнесла дрожащим шепотом:

— Мертвая!

— Господи! — проговорила другая горничная, крестясь.

— А барышня-то уснула.

Агаша наклонилась к Ольге, взглянула ей в лицо и прислушалась к ее дыханию.

— Почивает и не чует, видно, ничего.

И Агаша и другая девушка заплакали.

— Снять бы руку-то у нее с головы,— проговорила одна.

— И то.

Рука была холодна и тяжела.

— Остыла уж,— сказала, плача, Агаша.

Едва сняла она руку мертвой с головы Ольги, Ольга открыла глаза; во взоре ее, брошенном на горничных, выразилась сильная душевная тревога.

— Что вы? — сказала она так громко, как никогда не говорила у постели больной.

Мигом поднялась она со скамейки, опустила голову к груди матери, припала губами к ее холодным рукам, и громкие рыдания огласили тесную комнатку.

Красноярский купчик Кондрашов, тотчас по окончании спектакля появившийся за кулисами, тщетно в самых изысканно-льстивых выражениях умолял Мирвольского принять участие в заказанном у Бубнова ужине, на котором, кроме главных членов труппы, обещал присутствовать и самый глава ее — Осип Фомич Нарукович. Мирвольский наотрез отказался. Какое-то темное предчувствие говорило ему, что присутствие его необходимо дома. Поспешно отправился он со сцены в уборную, наскоро переоделся и поехал в город. Прежде всего, когда он подъехал к дому, поразили его полоски света, пробивавшиеся на улицу сквозь затворенные ставни; сердце у него как будто сжалось немного. Переступив порог калитки, он узнал все. В надворные окна, у которых вовсе не было ставней, виднелись толстые восковые свечи в высоких подсвечниках и черная фигура монахини, наклоненной над налоем.

В одну секунду был Мирвольский уже у стола, на котором лежала покойница. Тихий голос псаломщицы сливался с рыданиями Ольги, которая молилась около нее, припав лицом к полу. Мирвольский стал рядом на колени и нежно приподнял плачущую девушку.

— Это вы? — едва внятно произнесла Ольга, обращая бледное лицо к Мирвольскому и не видя его сквозь слезы.

— Встаньте, Ольга,— сказал он,— сядьте и успокойтесь немного! Слезы совсем расстроят вас.

Он взял из рук ее платок и приложил его к глазам девушки.

— Полноте!

— Не могу...

Рыдания душили ее.

— Пройдите в ту комнату!

Мирвольский вывел Ольгу и притворил дверь, чтобы печально-однообразный голос чтицы не слышался так явственно.

— Сядьте!

Ольга села.

— Что будет со мной? — вскрикнула она, закрывая лицо руками.

Мирвольский стал на одно колено на ковре около нее.

— Зачем вы так отчаиваетесь? Что же делать! Аграфена Петровна была уж в таких летах... Плакать и плакать — этим не изменить того, что случилось.

— Боже мой! у меня теперь... никого не осталось...

— Я остался с тобой, Ольга,— сказал Мирвольский, взяв обе руки ее и нежно прикасаясь к ним губами, — со мной тебе нечего бояться... я готов следовать за тобою везде, везде... готов быть для тебя всем, — отцом, братом, мужем.

Ольга пыталась остановить свои слезы, но все ее усилия были напрасны.

— Успокойся же, дитя мое! — повторял Мирвольский.

Он поднялся с ковра и сел на софе около Ольги.

— Успокойся! твои слезы горьки и для умершей: душа ее носится еще над нами.

Ольга хотела говорить, но не могла произнести ни слова.

Павел Павлыч наклонил к себе на грудь ее голову.

Он нежно гладил ее волосы, целовал их и кротко утешал ее. Вопли изнуренной, обессиленной Ольги скоро стали затихать, и она незаметно заснула, изредка вздрагивая от слез и во сне, как ребенок.

Мирвольский знаками велел заглянувшей в комнату горничной принести подушку; уложил на нее голову Ольги и удалился.

Если рыжие вятки Капитона Валентиныча, стоя у чужих подъездов и думая о недоеденном корме, сравнивали когда-нибудь один с другим свои трудовые дни, то, конечно, день, накануне которого скончалась Аграфена Петровна Гадаева, они должны были считать одним из самых тяжелых дней своей жизни. Руководимый каким-то чутьем, Потатуйкин сделал в это утро первый визит свой к покойнице. Он наговорил с три короба разных бестолковых утешений Ольге и пустился по городу, желая быть везде первым вестником и отчасти истолкователем печального происшествия.

— Вообразите!— начинал он свой рассказ,— несчастная старушка!.. Вы, конечно, слышали?

— Что такое?

— Умерла.

— Кто? кто?

— Аграфена Петровна Гадаева.

— Ах, боже мой!

— Давно ли, кажется, была здорова? Помните, в театре тогда...

— Да, да.

— Грех на душе дочери. Она свела в могилу ее, бедняжку.

— Неужто Аграфена Петровна умерла именно от этого огорчения?

— Как же!

— Бог накажет такую дочь. Были вы там? что, как она?

— Плачет, конечно; но плачет, разумеется, больше от сознания своей вины, нежели от сожаления о матери.

Похороны Аграфены Петровны совершились тихо. За гробом шло несколько старушек, давних знакомых покойницы, да Мирвольский и Потатуйкин, который тоже почел приличным отдать последний долг умершей.

Прямо с кладбища Капитон Валентиныч приехал пить кофе к той даме, которая находила, что Ольга Гадаева вовсе не компания ее Маше (или Паше).

Когда гость сообщил ей, что в числе провожавших был Мирвольский, дама спросила:

— Да скажите, пожалуста, Капитон Валентиныч, чем же должны кончиться эти ухаживанья? Жениться он хочет на ней, что ли?

— Вероятно,— отвечал Капитон Валентиныч, — а впрочем, кто его знает!

— И на ваши глаза она не прочь сделать такую партию?

— Помилуйте! да уж это между ними едва ли не решено. Покойница Аграфена Петровна...

И Потатуйкин начинал старую небыльщину о горе старухи Гадаевой, бывшем причиною смерти ее.

— Я всегда говорила,— замечала хозяйка,— что Мирвольский и Ольга сошлись, тут нет ничего удивительного, и признаюсь, удивляюсь одному: отчего было тут убиваться старухе матери. Чем они не пара? Ну скажите сами, Капитон Валентиныч!

— Оно, точно, если строго рассудить,— отвечал Капитон Валентиныч, обдергивая свой коротенький жилет,— ваша правда.

ГЛАВА XV

Разные дороги

— Что такое наша жизнь? — глубокомысленно спрашивает Осип Фомич, выпивая одним духом рюмку мадеры и потом ставя рюмку на стол так сильно, что донышко ее чуть не отлетает от ножки.

Философский вопрос этот обращен к четырем собеседникам Наруковича, обедающим с ним в трактире у Воропаева. Собеседники — Живягин, Гудков, Румаковский и купчик Кондрашов, который и есть учредитель и хозяин

обеда. Завтра почтовая пара понесет его, гремя бубенчиками, из приюта наслаждений, именуемого Голодаевым, в далекий, слишком знакомый и потому скучный родной его город; на прощанье он угощает артистов, как людей, которые доставили ему много наслаждения взамен переплаченных им в кассу театра рублей. Особенно приятно купчику упрочить за собою снисканное уже отчасти расположение Осипа Фомича как виновника бытия очаровательной девицы, которая, как известно, завладела его сердцем.

— Что такое наша жизнь? — повторяет Осип Фомич, придвигая рюмку к Кондрашову, который не упускает случая снова наполнить ее мадерой.

Вероятно, считая вопрос неразрешимым, артисты не отвечают и прилежно занимаются только что принесенными на стол жареными цыплятами.

— Жизнь наша есть путешествие,— отвечает Фомич на свой вопрос. — Не так ли, Вася?

— Да, — говорит Живягин, глодая крыло цыпленка,— жизнь — путешествие, а человек — путешественник.

— Именно путешественник! — восклицает Нарукович, очень довольный, что его поняли. — Вот и мы, и мы путешественники.

— Ох, уж такие-то путешественники,— замечает с некоторою горечью Живягин, — что от дороги бока ноют.

— Ах, Вася! — говорит умильным голосом Фомич, успевший в это время проглотить еще две рюмки чего-то,— зачем, братец, роптать?

И он прижимает к груди руки, как бы умоляя трагика не роптать.

Трагик машет рукой и говорит улыбаясь:

— Вот расфантазировался! Ты скажи-ка лучше, много ли ты накопил здесь денег?

Фомич укоритительно качает головой и быстро лепечет:

— Ах, Вася, Вася, Вася!

В это время совершенно неожиданно рука Гудкова, подмигивающего Румаковскому (оба уже навеселе), просовывается под мышкой Осипа Фомича и щупает его нагрудник.

— Мягко,— говорит комик, щуря глаза и хрипло хихикая.

Фомич в сердцах вскакивает со стула. Хотя приятный ход и не менее приятное окончание дел заставили его забыть на время свои строгие правила, однако не позволит же он никому забываться в обращении с собой.

— Это что такое! — кричит Фомич.— Как тебе не стыдно, милый!

— Чего ты сердишься-то? Вот, пошутить нельзя!

— Что за шутки!

— Ну полно! — говорит, смеясь, Живягин,— садись! Ведь ты сам же сказал, что жизнь есть путешествие, а без прогон далеко не уедешь.

— Путешествие... —остроумно замечает Гудков,— человек — путешественник. Послушай, Осип Фомич! ведь путешественник-то — ты, а мы лошади... ха! ха! ха! мы тебя... ха! ха! ха! везем.

Смеху Гудкова вторят и Живягин и Румаковский; но Фомич все еще дуется, хотя и сел уже на свое место.

— Так или нет? — спрашивает Гудков, обращая к нему свое раскрасневшееся и лоснящееся лицо, — ведь везем?

— Ну да! — говорит Осип Фомич так серьезно, что Гудков принимается хохотать еще сильнее.

— Выпей-ка вот лучше,— советует Наруковичу Живягин, придвигая к нему стакан портвейну. — Этак дело-то будет складнее.

Антрепренер не отказывается, и, по мере того как портвейн проходит глоток за глотком к нему в желудок, чело его проясняется. Опорожненный стакан поставлен на стол, и на лице Фомича нет уже ни облачка неудовольствия.

Желая переменить разговор, принявший такое неприятное направление, безмолвный дотоле купчик предлагает антрепренеру вопрос: куда отправится труппа его из Голодаева.

— Поедем в Тугарин, — отвечает Фомич,— хоть место и не больно бойкое, а все же лучше, чем тут.

— Отчего же здесь вы не остаетесь? — спрашивает купчик.

— Не сложа же руки сидеть!

— Да ведь Голодаев город немаленький; может, кажется, поддерживать постоянный театр.

— Как не поддержать!.. Пустил бы я тебя попробовать! Уж бывали опыты. Здесь все к ярмонке только и копят деньги — тут распояшутся; а то живут как в захолустье каком.

— А на будущий год приедете сюда к ярмонке-то?

— Приедем; уж это дело теперь покончено: театр за мной.

— В Тугарине до самой ярмонки пробудете?

— Нет; с голоду-то помирать еще не припала охота. До

зимы можно пожить — куда ни шло! а зимой надо будет другого местечка поискать, потеплее да посытнее.

— Так зимой-то куда же вы думаете?

— А опять туда же, откуда сюда подъявились — в Камск.

Эти расспросы прерывает Живягин предложением сразиться на билиарде, так как обед уже кончен. Купчик очень рад этому; но находит, что одной распитой пятерыми бутылки шампанского вовсе не достаточно для хорошего расположения духа и что следует предварительно выпить еще бутылочку. Дельная мысль одобряется единогласно. Бутылка выпита, и все идут — кто прямо, кто немного пошатываясь — в мезонин, где на этот раз не встречает их громозвучное пенье цыганского хора: на ярмонке уже мало осталось меломанов. Но Кондрашов тотчас приводит в движение полусонное цыганское народонаселение трактира, и Нарукович, порывавшийся уйти домой (как бы не переступить границ благоразумной умеренности!), остается еще на некоторое время, как прикованный удалыми песнями. Вот и шары застучали на билиарде... Красноярский купчик — увы! — делает ежеминутно киксы и партия за партией проигрывает немаловажную сумму сначала Живягину, потом Гудкову.

Пирушка, как по всему видно, кончится не скоро: собеседники разгулялись. Осип Фомич готов бы остаться с ними, но внутренний голос его, на время смолкший при пенье цыган, снова слышится ему из глубины души. Он ускользает из веселого общества, и никто, к счастью, не замечает его таинственного ухода. Как и не уйти, скажите! Ведь на следующее утро надо вставать пораньше и приниматься за сборы в дорогу...

Сборы идут довольно успешно, хоть и не без нагоняев косолапому Антипу. Опять свиваются занавесы, разбираются и сваливаются в груды кулисы, являются на сцену ящики и сундуки и отверзают глубь свою разнохарактерным костюмам, разношерстным парикам и прочему театральному хламу.

Фомич ощущает совершеннейшее довольство собою и своею ярмоночною деятельностью. Ни один из членов труппы не может также сетовать на город Голодаев и его ярмонку... Например, хоть бы Живягин — правда, он не пользовался особенно горячею любовью публики (встречали его так себе, как и всякого другого), но зато имел он удовольствие видеть огромный успех на сцене жены. К тому ж и

время провел очень весело, и карманные обстоятельства поправил: не говоря уж об отличных сборах в бенефисы его самого и его супруги, как не поблагодарить судьбу за знакомство с Кондрашовым, которого пришлось порядком-таки огреть на билиарде. Гудков, Румаковский и Вилков провели время не скучнее своего товарища; ежедневно почти случалось им угощаться на чужой счет и делать некоторое приращение к скудному жалованью своему билиардными выигрышами. Девицы, за исключением разве старшей Сизогубовой, готовы единогласно подтвердить мнение мужчин, что время пребывания их на ярмонке было очень приятною порой. Если сначала дочка Осипа Фомича и негодовала на холодность к себе голодаевской публики и на Живягину, перешедшую ей дорогу, то потом успех ее в водевиле и быстрое обогащение ее гардероба загладили понемногу память огорчений и внесли много радости в сердце. Девица Колчанова может теперь придавать еще больший блеск своей величественной красоте посредством новых платьев и некоторых галантерейных вещиц, и этим вполне удовлетворено ее самолюбие.

Темным пятном в приятной картине всеобщего довольства является только чета Решиловых...

Не умолкает ворчанье Ванюшиной родительницы, и угрюм Матвей Михайлыч. К тому ж в последнее время он облекся какою-то таинственностью. Он стал подыматься по утрам так рано, как никогда прежде не подымался, и сидит по целым часам над книгой, которую прячет, как только в доме начнут просыпаться. Во время чтения лицо его принимает свирепое выражение.

Скоро двинутся из Голодаева известные три фуры, и следом понесется бричка, обгонит их, и не без гордости выглянет на них из нее зеленоглазая дочка Наруковича.

Мирвольский тоже собирается в путь. Он заезжает в театральное здание окончательно рассчитаться с антрепренером и проститься как с ним, так и с его артистами.

— Знаешь ли, Павел Павлыч? — говорит Осип Фомич, отсчитывая Мирвольскому небольшую сумму, остававшуюся за ним,— знаешь ли? не будь у тебя сделано это условие с Мыльниковым — уж не отпустил бы я тебя; вот перед богом, не отпустил бы. Ну, а как ты-то, милый? Ведь и ты, чай, остался бы? а!.. Кажется, нечего тебе на меня жаловаться: расстаемся друзьями.

— Разумеется,— говорит Мирвольский,— мне бы незачем другого места искать.

— Не поминай нас лихом!

— Тебе, Осип Фомич, надо хорошенько позаботиться о составе труппы: больно ведь у тебя жидки актеры-то. Живягин с женой и Гудков — вот и все; остальные только слава, что актеры.

— Погоди, милый! погоди! — лепечет Фомич, опуская голову и махая над нею руками.— Вспомни, давно ли я взялся за это дело? Что называется, без году неделя. Когда было успеть привести это в настоящий вид?.. Ты ведь мог видеть: денег я жалею, что ли, когда нужно?.. Ну, вот хоть ты... Что запросил ты с меня, то и дал я тебе.

— Ну, не совсем то.

— Э-эх, Павел Павлыч! вот уж ты и несправедлив... Справедливость — первое дело!.. Рассуди-ка ты как следует, беспристрастно, забудь, что дело было с тобой, вместо себя вообрази другого. Да этого ни один содержатель не сделает— ей-богу же, ни один не сделает... Я тебя сразу принял, сразу большие деньги дал, а слышал ли, как ты и читаешь-то?

— Еще бы...

— Уж что ты ни говори,— торопливо перебивает антрепренер,— ни один содержатель не сделает этого — ни один, хоть ты всех переберн, сколько их есть в России. Или вот хоть Вася... Жена его была у меня прежде на вторых ролях... Приходит он ко мне просить прибавки: жалованье брала небольшое, а заняла первое амплуа... Да я и не пикнул! «Сколько тебе?» — спрашиваю. «Столько-то».— «Изволь!» И разговору больше никакого нет.

— Благодарю тебя за дружбу,— говорит Мирвольский, подавая руку Осипу Фомичу.— Прощай! Авось и сойдемся опять когда-нибудь.

— Прощай, Павел Павлыч! поцелуемся, милый.

Объятия и поцелуй.

— Уж я на тебя буду рассчитывать: как отудобишь срок у Мыльникова, прямо приезжай ко мне: как брату родному буду рад. Да нельзя ли тебе будет как-нибудь сделаться с Мыльниковым, чтоб опять нам вместе здесь-то быть?

— Посмотрю там, если можно будет, так отчего же и не приехать?

— Славно было бы.

— Прощай, однако, Осип Фомич! Мне еще надо похлопотать кой о чем для дороги; времени остается немного.

— Когда едешь-то?

— Завтра.

— Ну прощай! будь здоров! Не забывай же об нас-то; черкни иногда словечко, другое: что и как там у Мыльникова?

— Ладно. Прощай.

Мирвольский выходит, Нарукович провожает его с лестницы.

— Ах, да! — говорит он тут,— вот ведь все в уме у меня вертелось, а так-таки и забыл тебя спросить...

— Что такое?

Лицо Фомича принимает выражение таинственности, и он шепотом спрашивает:

— Что у тебя вышло там с дочерью хозяйки твоей?

— Ничего,— отвечает Мирвольский, по-видимому удивленный этим вопросом.

— А у нас уж бог знает что распустили...

— Именно?

— Один говорит — жениться ты вздумал, другой...

— Все вздор, пустяки,— перебивает Мирвольский, торопливо пожимая руку антрепренера.— Прощай!

Наскоро простился он с артистами и из театра едет к экипажному мастеру Прохорову справиться, отправлена ли к нему на квартиру дорожная карета, заказанная им взамен брички по приезде в город. Карету сейчас отправили; Мирвольский расплачивается и едет домой.

Ему попадается на Дворянской улице Капитон Валентиныч, стремящийся на истомленных вятках к одной очень милой даме, именно Анне Евграфовне Шилохвостовой.

Анна Евграфовна встречает его чуть не с распростертыми объятиями.

— Что хорошенького? — спрашивает она, распорядившись предварительно об угощении гостя кофеем и трубкой.

— Хорошенького мало, Анна Евграфовна,— отвечает Потатуйкин,— ярмонка кончилась; все почти разъехались: опять начнется у нас в городе прежнее однообразие, прежняя скука.

— Не слыхали ль вы чего о Гадаевой?

— Как не слыхать! Дом, как вы знаете, она продала...

— Продала? Впервые слышу. Кому же?

— Клочкову, Илье Никитичу, что в опеке служит.

— Вот как! Стало быть, дело у них совсем решено?

— Совсем, совсем.

— А мебель она не продает?

— Как же! и мебель продает. Все, что у них в гостиной стояло, купил Скачков; фортепиано торговала Тереза Христофоровна, да, кажется, не сошлись в цене.

— Ах, надо бы съездить! Хоть мне из мебели и ничего не нужно, а все-таки побываю. Посмотрю, как-то она...

— Вы думаете, увидите Ольгу Васильевну?

— Да.

— Никому не показывается; ко всем выходит горничная — с ней и объясняйся!

— Полноте?

— Уж чего, кажется, я!.. старинный знакомый; с покойницей Аграфеной Петровной, можно сказать, друзьями были. И что же? как вы думаете? раз пять заезжал. «Не принимают» да «не принимают». Только и слов. «Да скажи,— говорю девке,— Капитон Валентиныч, мол, приехали. Наверно, примет». Пошла. Возвращается. «Ну, что?» — спрашиваю. «Все равно,— говорит.— Не принимают». Как вам это нравится?

— Да это, по-моему, просто невежество.

— И от всех знакомых отдалилась — как отрезала.

— Ска-ажите!.. Когда же они едут-то?

— На днях.

Кофе выпит, трубка выкурена; гость целует ручку у Анны Евграфовны (причем получает поцелуй от нее в щеку) и, раскланявшись, уезжает.

Между тем Тереза Христофоровна Кунце, супруга голодаевского аптекаря, отправляется на длинной линейке с тремя дочерьми в дом, перешедший на днях во владение служащего в опеке Ильи Никитича Клочкова. Три барышни пробуют там поочередно тон фортепиана и, конечно, находят его приятным, потому что говорят мамаше по-немецки, что за инструмент можно дать назначенную цену. Тем не менее маменька старается выторговать хоть несколько рублей, выторговывает их, и фортепиано остается за нею. Кстати, госпожа Кунце покупает почти всю остающуюся непроданною мебель (ее уступают за бесценок) и, очень довольная, возвращается с тремя дочками своими домой.

Тонкие нити, привязывавшие Ольгу к городу Голодаеву, все рассечены, и вот на рассвете следующего дня катится по голодаевским улицам дорожная карета, сооруженная Прохоровым,— катится к заставе, катится за заставу—

по турухтанской дороге,— и чрез минуту не усмотрит ее даже и часовой, расхаживающий на высокой полицейской каланче, с которой видна окружность на пятнадцать верст.

Карета катится быстро; березки, образующие аллею по сторонам дороги, бегут навстречу; Агаша дремлет в кабриолете позади кареты; в самой карете Мирвольский подсмеивается над Ольгой, что она не может перестать плакать, и Ольга улыбается сквозь слезы.

ГЛАВА XVI

Новая стая

Зной невыносим; все живое изнемогает в городе Турухтанске, начиная с губернатора, который не может найти себе прохладного убежища в подгородном летнем доме и превратил бы, если б только дозволяло приличие, какой-нибудь сырой погреб, сарай или подвал в кабинет и приемную; все изнемогает, начиная с этого представителя турухтанского человечества и кончая голубями, которых крылатые эскадроны грустно расселись по карнизам под кровлями домов, ища хотя слабой тени. Все, кого обстоятельства обрекают оставаться безвыездно в городе, наверно прониклись бы глубокою завистью к счастливцам, благоденствующим в уединенных деревенских приютах, под животворною тенью рощи и проч.; но городские жители не могут чувствовать в эту минуту ничего, кроме жара, единственная забота властвует ими — забота спастись от жгучих солнечных лучей. Ни одного экипажа не показывается на мягкой почве улиц — и слава богу! Присоединись к этому погибельному зною неосязаемо-мелкая пыль (одна из характеристических особенностей Турухтанска), тогда хоть беги вон из города. Старожилы не запомнят такого лета. Смотритель местных уездного и приходского училищ, человек в высокой степени любознательный, ведет в течение тридцати с лишком лет дневник метеорологических наблюдений; ему можно верить, а он говорит, что со времени возникновения его дневника только однажды лето было так же знойно, как нынче — именно восемнадцать годов тому назад; но что столь частых случаев бешенства собак тогда не встречалось. Теперь же подобные случаи вынуждают полицию принимать строгие меры, и по вечерам, только спадет жар,

производится поголовное избиение собак, без пристанища скитающихся на улицах.

Зной лишает способности заниматься не только делом, даже бездельем, лишает способности думать, способности спать и есть... Все замерло в бездействии. Жизнь проявляется только в мухах, которые роятся шумными роями под каждым лучом солнца; они толкутся повсюду, безотрывно льнут ко всем, и несносный зной по милости их еще несноснее. Число их — легион.

— Боже мой! совсем хоть умирай! — говорит чуть не со слезами на глазах расположившаяся было уснуть Маргарита Прокофьевна Бушуева, первая актриса турухтанского театра.

Она сдергивает с лица кусок кисеи, которым думала защититься от мух, и опускает ноги с кушетки.

— Что? не можешь заснуть? — спрашивает младшая сестра ее, тоже прилегшая отдохнуть на диван в той же комнате.

— Нет никакой возможности: и в рот и в глаза лезут эти проклятые мухи, да и духота ужасная! Покрылась было кисеей, так совсем дышать не могу.

А еще и ставни затворены! Впрочем, мух не обманешь. В маленькие квадратные прорези ставней они очень хорошо видят, что теперь не ночь, а, напротив, самый яркий, зовущий к жизни день. Будь эти прорези заткнуты, мухи все-таки не рассядутся дремать на потолке и по стенам: обман обличат эти чуть заметные щели, которые пролегают золотыми полосками по темным доскам ставней.

Маргарита Прокофьевна покидает кушетку.

— И мне что-то не спится,— замечает сестра, тоже вставая с дивана.

— Не отворить ли ставни? Впотьмах такая тоска.

— Одну половину разве.

Мухи с шумной радостью налетают на полосу света, пропускаемого отворенною половинкой.

— Ах, Надя! — говорит, обмахиваясь платком, Маргарита Прокофьевна,— хоть бы квасу ты принесла: терпенья нет, какая жара. Да нет ли теперь ветру? окно бы открыть.

Надя не советует: в комнате будет, пожалуй, еще жарче; она идет за квасом.

Маргарита Прокофьевна одета очень легко: на ней просторная белая кисейная блуза с открытым воротом и

коротками, широкими рукавами; но и эта легкая одежда кажется тяжелою. Просто нестерпимо! Не нагишом же сидеть! Она принимается ходить из угла в угол, чтобы дать хоть какое-нибудь движение сонному, тягостно-душному воздуху комнаты; но это не помогает, и Маргарита Прокофьевна, вооружившись длинным черешневым чубуком, закуривает трубку: авось хоть мухи отстанут.

Маргарите Прокофьевне около тридцати пяти, а может статься, и все тридцать пять лет от роду. Она довольно полная, но еще очень плотная блондинка среднего роста. Назвать ее хорошенькою — слишком много; но она не лишена привлекательности, в особенности когда туалет у нее не будничный, не такой, например, как в этот знойный день. У Маргариты Прокофьевны смелые карие глаза и длинные золотистые ресницы; рот несколько широк и не совсем соразмерен с другими чертами лица, вообще мелкими, но он умеряется особенною манерой сжимать губы, которою кокетничает старшая Бушуева. Ходя, она как-то особенно пошевеливает полными плечами; не знаю, природное ли это свойство, или плод некоторого изучения, но Маргарита Прокофьевна пошевеливает плечами поистине восхитительно, и еще очень недавно пошевеливанье это повергало в восторг почти всю турухтанскую молодежь. Пожалуста, не заключите из моих слов, будто время владычества девицы Бушуевой-старшей над сердцами миновалось: нет! нет! она и доныне налагает свои узы на людей с нежною душой. Наиболее тяжелые, хотя и наиболее сладкие узы лежат на Петре Андреевиче Аксамитове почтенном турухтанском помещике. Но уже ясно видит Маргарита Прокофьевна (и притом — надо отдать ей справедливость — видит без малейшей досады или зависти), что близка та пора, когда место ее на высшем пункте труппы заступит сестра Надежда. А давно ли (боже! как мчится время!), давно ли Бушуева-младшая являлась на сцене только в ролях детей да танцевала в антрактах или в дивертисменте саботьеро с малолетним сыном «благородного отца» и «злодея» Завидова! Дебют Нади в «Новичках в любви» (года полтора тому) был истинным триумфом. В этом спектакле на нее, дотоле терявшуюся в куче театральных детей, обращено всеобщее внимание. Надя ни одною чертою лица не напоминает своей старшей сестры. Она смуглая брюнетка небольшого роста, очень хорошенькая; у нее черные как уголь глаза, и она умеет заманчиво играть ими, несколько приподнятый

кверху носик, свежие, красиво вырисованные губы, ровные белые зубы, ямки, появляющиеся на щеках при малейшей улыбке, прямой и гладкий лоб. Пышное обилие ее темных волос (скажу словами одного из великих поэтов) подобно блаженной ночи; как бы склоняясь под тяжестью густых кос, головка Нади постоянно опущена к правому плечу, что придает хорошенькой девушке несколько лукавый вид. Стан младшей Бушуевой детски гибок и худощав, грудь полуразвита, плечи еще не закруглились; но пора полного расцвета уже недалеко.

Как актриса она еще уступает старшей сестре, которой обязана своими первыми уроками в драматическом искусстве; но и это ненадолго.

Не оскудевает талантами семейство Бушуевых. Сценические способности передаются в нем из поколения в поколение.

Родоначальник фамилии Бушуевых, Миняй, был в свое время актер знаменитый, первый в провинции. Театральные предания сохраняют много любопытных случаев из его сценической деятельности, преимущественно о свирепости, какою отличался он как трагик. Не раз в порыве страсти повергал он на пол своих товарищей с такою силой, что ломал им ребра и кости; не раз ухватывался он за космы своего драматического врага с такою яростью, что в руках у него оставались изрядные пучки волос. Сценическое воодушевление свое питал он благодатными дарами Вакха, пристрастие к которым с каждым годом росло в нем. Это пристрастие было виною одного крайне горестного происшествия, завершившего театральное поприще Миняя. В одной из тех фурорных пиес, где на каждом шагу шипит измена и преступление, кипят отравы, гремит оружие, сверкают кинжалы, проливается кровь и творятся невероятнейшие ужасы, в одной из таких пиес Миняй, вооруженный для большего эффекта настоящим топором, в минуту трагического (и вакхического) пафоса хватил им соперника своего по шее так, что у того и дух вылетел вон. После этого происшествия Миняй исчез со сцены: он был заключен в смирительный дом, где тоска одиночества и отсутствие целебных вакховых струй скоро положили конец его буйной жизни.

Сын Миняя, Прокофий, наследовал вместе с отцовским именем и все качества, составлявшие величие родителя: оглушительный бас с приличною для истого трагика

хрипотой, богатырский рост и широкие плечи, глаза навыкате, к дикому вращанью которых нескоро привыкали актеры, свирепость, не знающую пределов в патетических местах роли и так же усердно питаемую ерофеичем. С первого появления на сцене в роли сумароковского «Дмитрия Самозванца» Прокофий Бушуев заставил забыть об отце и провозгласить себя первостепенным трагическим актером.

В высокой, могучей груди Прокофья умели уживаться буйные наклонности с чувствами нежными, и вскоре после смерти отца возгорелся он непреоборимою любовью к одной из мелкотравчатых актрис театра, на котором был первым лицом. Фенюшка Мореплавцева так оробела, когда Прокофий предложил ей руку и сердце, что с нею сделался обморок. Зная, что трагик не любит шутить, кроткая Фенюшка из одной боязни привести его во гнев решилась изъявить согласие свое на брак. «Страшен сон,— да милостив бог!»— говорит пословица. «Стерпится — слюбится!»— говорит другая. И справедливость их Фенюшка испытала на себе: скоро всею душою предалась она своему супругу, и не могли поколебать любви и верности ее минуты мужнина неистовства, которые (надо быть справедливым) с лихвою выкупались минутами нежного расположения.

Три дочери: Антонина, Маргарита и Надежда и сын Леонтий были плодом этого брака; но только вторая и младшая дочери были преемницами священного пламени, одушевлявшего деда их и отца. Сын, и доныне очень плохо играющий бесцветные роли наперсников, и старшая дочь, пристроенная покойным турухтанским губернатором Чекрыжевым замуж за частного пристава Звездакова, наследовали бездарность матери.

Пора, однако ж, возвратиться к милой Маргарите Прокофьевне и прелестной Наденьке, которые ждут не дождутся вечера: авось он умерит хоть немного тяжелое влияние палящего дня.

Вот является и вечер и точно приносит с собою некоторую прохладу. Открываются ставни и окна. Белая блуза теперь чрезвычайно приятна своею легкостью. Она позволяет нежным зефирам продувать со всех сторон изнемогшую от жара Маргариту Прокофьевну.

— Что, кабы в этакие дни да играть! — говорит она сестре, стоя у отворенного окна и глядя на пустую улицу.— Хорошо, что Леонид Сергеич учредил вакации, а то просто

хоть в гроб ложись с этими жарами.— Дай-ка мне затянуться!

Хорошенькая Надя передает сестре трубку, из которой пускала в окошко кольца дыма.

— Не пойти ли нам нынче на бульвар? пфф... как ты думаешь? пфф...

— Разве Петр Андреич не приедет?

— Нет; ведь ты, я думаю, слышала, как он говорил вчера, что поедет сегодня в деревню.

— Пойдем! что так-то сидеть?

И через час девицы Бушуевы уже одеты; поправив перед зеркалом свои очень свежие шляпки, они отправляются гулять. В одном из ближайших к их квартире переулков видит девиц из окна своей комнатки черноусый актер Кудрин, актер плохой, но большой руки франт; он взбивает перед маленьким столовым зеркальцем свои длинные волосы, закручивает усы, поправляет бант галстука, наконец, забывая, что теперь на воздухе только что впору быть в одном сюртуке, накидывает на плечи плащ с обшитыми бархатом полами, искусно драпируется им и спешит вдогонку за сестрами.

Он настигает их у самой площади, где и находится бульвар — единственное место прогулок турухтанских жителей.

Грустное зрелище представляет этот бульвар, огибающий углом две стороны площади. Березки, которыми обсажена по сторонам его земляная насыпь, растут очень туго или вовсе не принимаются на новой почве. Вот уже пятый год стоят они здесь, а еще ни одна не опушалась как следует листьями; многие уже окончательно погибли и торчат голые, как вехи, без листка зелени. Особенно грустное зрелище представляет турухтанский бульвар теперь, после знойного дня: повесив чахлые ветки, покрытые мелкою пылью, березки как будто горюют о темной прохладной роще, откуда взяли их, о влажной почве, питавшей их молодые корни, о тени старых деревьев, которые хранили их от налетов ветра, о соловьиных песнях, приветствовавших по веснам их свежие отпрыски. Впрочем, как ни скудно тенью, прохладой и свежим воздухом это гулянье, а под вечер ежедневно набирается там немало народу. Что же делать, если другого места для прогулок нет?

Девицы Бушуевы прошлись со своим кавалером из конца в конец по аллее чахлых березок, привели своею щеголеватой одеждой в зависть двух-трех мелких губернских

чиновниц и, так как на бульваре еще нет никого из их знакомых, хотят посидеть на одной из деревянных зеленых скамеек. Они выбирают ту, которая почти на самой половине бульвара. Кудрин рисуется перед ними, подпершись правою рукой и великолепно закинув бархатную полу на плечо. Подкручивая усы, он то и дело краткими и лишенными всякого остроумия замечаниями обращает внимание своих дам на проходящих; большую часть, не имеющую плащей с бархатным подбоем, оглядывает он несколько презрительно.

Но вот мало-помалу начинают показываться на бульваре знакомые госпож Бушуевых (у них довольно-таки не только знакомых, но и поклонников между городскою молодежью); подходя раскланяться и поговорить с сестрами, турухтанские франты все больше и больше оттесняют Кудрина на второй план; Маргарита Прокофьевна, с прелестной ужимкой губ, отвечает посильными любезностями на обращенные к ней комплименты; но Наденька ни с кем почти не вступает в разговор и только играет черными глазками.

Еще и получаса нет, как девицы Бушуевы сели на скамью, а к ним успели подойти, поговорить и откланяться человек десять.

— Мыльников идет сюда,— говорит Надя, смотря вдоль аллеи.

— С кем это он? — спрашивает Маргарита Прокофьевна, вглядываясь.

— Кажется, с Карауловым.

В конце бульвара показывается небольшого роста, круглый и румяный человечек лет сорока, в лощеной фуражке и коротеньком пальто, плотно облегающем его стан. В руках у него хлыст, которым он весело помахивает. Лицо его, часто обращаемое к спутнику, высокому, худому и рябому человеку средних лет в шинели (нашел пору надеть шинель!), лицо его очень оживлено; глаза добрейшего голубого цвета скрываются под веками всякий раз, когда требуется придать больше выразительности речам, причем пухлые губы, опушенные редкими и короткими с золотистым отливом усами, всегда сладостно улыбаются и обнаруживают ряд ровных мелких зубов молочной белизны; жиденькие русые волосы лежат локонами на замасленном воротнике пальто. Круглый человечек рассуждает, по-видимому, с большим азартом, потому что бойко размахивает коротенькими руками. Собеседник, молчаливо шагающий

рядом, не принимает, как кажется, большого участия в его восторженных речах: на плохо выбритом лице его не заметно никакого движения; только изредка взглядывает он на спутника своего исподлобья и слегка кивает головой, словно говорит: «Да!» или же покачивает ею отрицательно. Никого и ничего не замечает на пути белокурый человечек, весь преданный своему, должно быть, очень интересному рассказу; но при восклицании: «Леонид Сергеич!», раздающемся сбоку, отрывается от своего спутника, отвечает на приветствие и уж этому знакомцу своему продолжает свой рассказ, до новой встречи с знакомым и до нового оклика. Таким образом останавливается он раз пять, прежде чем приближается к скамейке, на которой сидят девицы Бушуевы. Молчаливому спутнику, вероятно, надоело так часто останавливаться; при третьей остановке он, махнув в знак прощанья рукой, уходит назад.

— Леонид Сергеич! — окликает Мыльникова старшая Бушуева.

Рассказ его слушает в это время один из самых рьяных турухтанских театралов, очень образованный и начитанный человек, губернский землемер Михаил Степаныч Кадомцев.

— Ах! боже мой! Маргарита Прокофьевна! — восклицает Мыльников, обнаруживая зубы и закатывая голубые глаза.— Наденька! здравствуйте! А я и не видал, что вы здесь; чуть было мимо не прошел; совсем зарапортовался.

Кадомцев раскланивается с девицами, и оба останавливаются около них.

— О чем это он с таким восторгом рассказывал? — спрашивает Маргарита Прокофьевна землемера.

— Ну, угадайте, о чем,— говорит озаренный улыбкой Леонид Сергеич.

— Верно, о вчерашнем выигрыше?

— Не угадали.

— Не Мирвольский ли приехал? — спрашивает Надя.

— Именно.

— Давно? — спрашивает Маргарита Прокофьевна.

— Я сию минуту от него,— отвечает Мыльников,— приехал он часа два тому назад.

— Где остановился?

— Покамест в гостинице; просил меня приискать квартиру... Я сейчас говорил об этом с Сизогривовым.

— Неужто вы думаете нанять сизогривовский дом?

— Думаю, Маргарита Прокофьевна, думаю,— отвечает Мыльников, садясь на скамью между сестрами.

— Да что вы, по десяти тысяч ему платите, что ли? Как он может нанимать такой дом? Ведь это чертовски дорогая квартира.

— Может, Маргарита Прокофьевна, может.

— Уж, верно, не на ваше жалованье.

— Кто же и говорит, что на мое жалованье! У него, слава богу, есть свои деньги.

— Да не сами ли вы рассказывали, что он потому и на сцену поступил, что все именье промотал.

— Может быть, теперь обстоятельства переменились,— замечает Кадомцев,— наследство получил или...

— Наследства не получал,— отвечает Мыльников,— а именно обстоятельства переменились... да!..

— Так что же ему за охота оставаться на сцене? —спрашивает младшая Бушуева.

— Ах, Наденька! Наденька! — восклицает сладостным голосом Леонид Сергеич, и при этом лазурные зрачки его уходят под лоб. — А любовь-то к искусству! а? любовь-то к искусству!

И он колотит себя жирною ладонью по левому боку.

— Ведь это, как вы хотите, чувство непреоборимое! Он артист в душе — истинный артист. Сцена — это, можно сказать, его вторая жизнь... да!.. Ведь что это за игра, если б вы видели... это... это...

Голубых зрачков Мыльникова не видно, и зубы его сверкают.

— Совершенство!.. да!.. сама натура!.. Восхитительный артист!

— Все это хорошо,— говорит Маргарита Прокофьевна не совсем довольным тоном,— только я все-таки не понимаю, что вы тут толковали о квартире. Неужто же он один займет такой большой дом?

— Да разве я говорил, что он один? — возражает Мыльников.

— А говорили вы, что он не один? — спрашивает почти с сердцем старшая Бушуева.

— Ну, не говорил, так теперь говорю, что не один.

— С кем же он? с женой?

— Гм... да... в этом роде.

— А! это дело другое!.. И она играет?

— Нет.

— Вы ее видели?

— Мельком, как входил к нему в номер. Только что отворил дверь, она ушла в другую комнату.

— Хороша собой?

— Кажется, хороша; не успел разглядеть как следует.

— Когда же мы его увидим?

— Да вот на первой же репетиции.

— А скоро начнутся спектакли?—спрашивает Кадомцев.

— Он, пожалуй, обрадовавшись, готов хоть завтра назначить,— говорит старшая Бушуева, указывая на Мыльникова.

— Да, недурно бы, очень недурно, если б завтра.

— Вот видите!

— Чем скорее, по-моему, тем лучше,— продолжает Мыльников.— Что хорошего в бездействии! Деятельность, деятельность нужна для талантов.

Он опускает веки.

— И сборы для антрепренеров,— дополняет старшая девица Бушуева.

— Маргарита Прокофьевна! Маргарита Прокофьевна!— восклицает с укоризной Мыльников,— и вам не грех?.. Неужто до сих пор вы не узнали меня?.. Наденька! скажите, корыстолюбив я или нет?

Наденька восхитительно улыбается.

— Искусство, искусство — вот мой кумир! — продолжает Мыльников, не только закатив глаза, но и голову закинув назад.— В деле искусства у меня нет расчетов; я забываю даже о самом себе; для меня нет высшего наслаждения в жизни, как служить искусству!

Мыльников еще долго рассуждал на эту тему, но вариации его очень однообразны, и Маргарите Прокофьевне скучно слушать их. Она прерывает антрепренера вопросом:

— Куда делся Караулов? Ведь он, кажется, шел с вами вместе.

— Верно, воротился домой; я поймал его на дороге и на минуту затащил на бульвар, чтобы сообщить ему свою радость.

— Для него радость невелика,— замечает с усмешкой Маргарита Прокофьевна,— я думаю, не очень-то он благодарен вам за вашего Мирвольского.

— Вольно же везде видеть подкопы и интриги! — отвечает Мыльников.— По-моему, зависть несовместна с истинным талантом.

— Какая зависть! Ведь у него просто отнимают амплуа.

— Помилуйте! никто и не думает. Пусть играет в тех же ролях, что и Мирвольский. Соперничество...

Глаза Мыльникова уходят под лоб.

— Соперничество, соревнование дает толчок талантам, развивает их...

— А если Караулова не станут смотреть после нового артиста?

— Его вина. Суд публики выше нашего, частного и пристрастного суда... Да наконец роли злодеев... Вот по-настоящему истинное призвание Караулова.

— А Завидов?

— Ох уж этот Завидов!.. Сидит он у меня вот где (Мыльников указывает себе на загривок). Отказать нельзя, а между тем толку никакого.

— Да, плох,— подтверждает землемер.

— Гнусит — и только!

— Отчего же вы говорите, что ему нельзя отказать? — спрашивает Кадомцев.

— А человеколюбие! Вспомните — ведь он не один... Отец семейства!.. А привычка! он, можно сказать, родился и вырос на этой сцене... Конечно, способностей у него никаких, о таланте тоже говорить нечего...

— Вдобавок противнейший голос,— присовокупляет девица Бушуева-младшая.

— Оставим, оставим этот предмет! — говорит антрепренер, подавляя сомнения, возникающие в его мягком сердце.— Что невозможно, то невозможно!

И Мыльников обращает легкий комплимент к Наденьке Бушуевой.

— Вы что ни день хорошеете, Наденька! — говорит он. — Как идет к вам эта шляпка! Новенькая, никак?

— Да; хороша?

— Очень, очень хороша. Впрочем, вы ведь что ни наденете — на вас все превосходно.

— Замечание Леонида Сергеича совершенно справедливо,— подтверждает начитанный землемер, у которого давно уже вертелась на языке фраза, сказанная Мыльниковым.

— Вы уж что-то слишком разнежничались сегодня,— говорит антрепренеру Маргарита Прокофьевна.

— Видя вас...— начал было Мыльников.

— Довольно, однако, сидели,— продолжает она, обращаясь к сестре,— походим, Надя!

Они встают.

— Вы с нами?

— Нет, я спешу,— отвечает антрепренер.

— Позвольте мне сопутствовать вам, mesdames [1],— говорит начитанный землемер.

— Пожалуста,— соглашается Маргарита Прокофьевна.

Кудрин, давно уже оставивший своих дам, еще шире раскидывает бархат своего плаща и еще величественнее драпируется полой, закинутой на плечо, хотя ему очень жарко и голова его мокра под надетою на одно ухо шляпой. Гордо рисуясь, дважды проходит он по всему протяжению бульвара и затем направляет стопы свои в небольшой деревянный дом, откуда увидал из окна девиц Бушуевых. Дом стоит в узеньком переулке, который замечателен разве тем, что ночью нет никакой возможности проехать безопасно по его бревенчатой мостовой. Кудрин разделяет свое жилище с Карауловым: у них две комнатки, которые отдает им внаем (за очень дешевую цену) Завидов; от него же получают они и пищу. Завидов с семьею занимает другую половину дома, такого же объема, как жилье трагика и его товарища. Семья «благородного отца» и «злодея» состоит из пожилой, как и сам он, жены и четверых малолетних детей, из которых только старший сынишка, лет пятнадцати, приносит некоторую пользу, выплясывая на сцене всякую всячину. Кудрин не застает дома своего товарища и идет на половину хозяев — сообщить им известие о прибытии давно ожидаемого актера. Оказывается, что Караулов сию минуту заходил домой, рассказал об этой новости, сердито размахивая руками и сильно ударяя кулаком по столу, потом допил водку, остававшуюся у него в полуштофе, и ушел опять — куда, неизвестно.

— Ну, а что думаешь об этом ты?—спрашивает Кудрин.

— То есть о новом-то актере,— говорит гнусливым голосом Завидов, обдергивая протертый халатик на своей жиденькой фигурке,— да что мне сказать? Ничего. Приехал так приехал — и ладно. Ведь нам от этого не будет хуже.

— Почем знать!

— Отчего нам хуже быть?

Завидов с присвистом втягивает себе в нос щепоть крупного табаку из круглой табакерки с портретом Кутузова и продолжает:

---

[1] сударыни (*франц.*).

— Мое дело жить со всеми мирно, ни с кем не ссориться. А мне там все равно — хоть еще десять Мирвольских приезжай да поступай к нам на сцену.

— Тебе на голову верхом сядь, так ты и тому будешь рад,— замечает не без желчи госпожа Завидова.

— Никто еще на голову ко мне не садился,— кротко отвечает незлобивый супруг.— Леонид Сергеич меня хорошо знает: немало годов мы вместе... Я его тоже знаю хорошо: он человек добрый, никому зла не желает; а мне подавно.

Известие о прибытии Мирвольского переходит из уст в уста, и нет никого в числе турухтанских артистов, кто, отходя в этот день ко сну, не знал бы новости.

ГЛАВА XVII

Тучи

Мирвольский зажил отлично. Артисты турухтанского театра исполнились завистью, глядя на его богато убранную квартиру, на его экипаж и лошадей (только у «первого любовника» Заморцева были беговые дрожки да сомнительной рыси гнедой рысачок). Эти преимущества, соединенные с гордым сознанием своих неоспоримых достоинств как артиста и человека, скоро поставили Павла Павлыча во главе турухтанской труппы — даже превыше самого содержателя ее, Леонида Сергеича Мыльникова. Этот сладостно улыбающийся смертный сразу почувствовал, что в Мирвольском, которому ничего не стоит приобресть всеобщее одобрение турухтанской публики, единственное спасение труппы от конечной гибели.

Увлекаемый любовью к искусству, которая не сходила с его медоточивого языка, Леонид Сергеич ужасно запутал свои дела. Надо заметить, что он сделался и антрепренером не без больших жертв со своей стороны. До него турухтанская труппа состояла в ведении некоего Фофанова, который не столько занимался делом, сколько предавался удовольствиям мира сего. Удовольствия заключались для Фофанова преимущественно в карточной игре и в горячительных напитках, известных в просторечии под общим собирательным именем водки. Пристрастие к этим усладителям жизни человеческой, как и следовало ожидать, имело вредные последствия для благосостояния антрепренера. Не говоря

уже о том, что пиесы ставились никуда не годные, что выбор исполнителей и исполнительниц был до крайности плох, артисты по нескольку лет не получали жалованья и находились поэтому в самом затруднительном положении: не могли бросить Фофанова для содержателя, более заботящегося об интересах своих актеров, и не имели возможности долее оставаться при нем. Публика давно перестала поддерживать труппу, не оправдывавшую ее благосклонности. Фофанов вошел в долги. И для всякого были бы они значительны, а для него просто неоплатны. Артисты бесплодно жаловались на судьбу и бессильно скрежетали зубами на антрепренера. Кредит, едва поддерживаемый величайшими усилиями, близок был к последнему издыханию... Бог весть, что вышло бы, если б Леонид Сергеич Мыльников, влекомый, кроме жаркой любви к сценическому искусству, сильною сердечной склонностью к актрисе Стрелковской, не явился в качестве спасителя на краю пропасти, куда готов был низринуться Фофанов со всею своею командой.

Мыльников, как человек, ничем особенно не занятый и притом с порядочными карманными средствами, как театрал по призванию, постоянно терся около артистов и хорошо знал состояние дел Фофанова. Не раз подумывал он, как приятно было бы заняться управлением театра, но все как-то не решался.... К тому времени, как обстоятельства Фофанова представляли уже зрелище поистине безутешное, в труппе распускался во всей красоте один (как выражался Леонид Сергеич) «розанчик», давно привлекавший к себе его взоры и сердце. Мыльников пересадил розанчик в свой сад, или, выражаясь не так затейливо, соединился с Поленькой Стрелковской узами законного брака. Таким образом он пришел в еще ближайшее сношение с труппой, где было несколько родственников его жены (между прочим, и «злодей» Завидов). Мыльников желал, чтобы Поленька не оставляла сцены, и начал серьезнее помышлять заменить собою Фофанова. Артисты единогласно поддерживали намерение Леонида Сергеича, и он вскоре принял на себя вместе с долгами и все заботы антрепренера.

Капитала Мыльникова едва хватило на удовлетворение кредиторов. Некоторые из артистов, видя, как горячо принялся за дело новый содержатель, вздумали артачиться — просить прибавки и угрожать, что в противном случае оставят труппу... Мыльников постарался угомонить их.

А скольких расходов потребовало запущенное положение театрального гардероба, декораций и прочего и прочего! Дело кончилось тем, что Мыльников остался без копейки в кармане, с труппой как единственным источником дохода.

Трудно было ожидать особенной поддержки от турухтанского общества, которому труппа была известна вдоль и поперек и отчасти уже наскучила; разнообразия, внесенного Мыльниковым в репертуар, оказалось недостаточно для возбуждения в турухтанских жителях любви и постоянного внимания к театру: требовалось от времени до времени освежать труппу новыми сюжетами. Леонид Сергеич вытягивался в нитку, чтобы завербовать к себе несколько замечательных талантов. Надежды, которые он возлагал на свою возлюбленную супругу,— увы! — не оправдались. Курносая смерть, расхаживая с косой по жизненной пажити, срезала «розанчик» в пору самого цвета.

Огорченный супруг принялся за отыскивание талантов вне своей труппы, и поиски не были безуспешны. Для его сцены была приобретена прекрасная Маргарита Прокофьевна Бушуева (сестра ее последовала за нею, но, как ребенок, она еще не входила в расчет). Приобретение важное! Конечно, оно досталось Мыльникову не даром: надо было сделать надбавку к жалованью девицы Бушуевой, чтобы извлечь ее из благоустроенной труппы известного Сошникова. Трагического артиста Коняева, который вследствие неизвестных причин (может быть, от простуды) потерял голос, Мыльников заменил Карауловым, артистом небезызвестным в провинции и по росту и по голосу. Эти улучшения были достойно оценены публикою. Мыльников, впрочем, не остановился на них: приглашение Мирвольского было, так сказать, венцом стараний Леонида Сергеича о процветании труппы.

Жители Турухтанска и еще двух-трех городов, посещенных во время лета мыльниковскими актерами, готовы были утверждать, что труппа находится в самом цветущем состоянии. И точно, репертуар отличался большим разнообразием, артисты были большею частью недурны, и если театр иногда бывал беден зрителями, то никогда не бывал так грустно пуст, как порою случается в провинции. Все это так; но общий голос был несправедлив, и театр, управляемый Мыльниковым, процветал только снаружи, тая в себе, как замечено выше, зародыш близкого разрушения.

Леонид Сергеич не жалел денег на постановку пиес, на костюмы, на декорации, на прибавку к жалованью артистов («искусство — это мой кумир!»); но до чего довела его щедрость? В то лето, как в Турухтанск приехал Мирвольский, у Мыльникова недостало средств даже на то, чтобы подняться и отправиться со своею труппой на малиновскую ярмонку, куда он давно собирался: соперник более сильный в денежном отношении успел перейти ему дорогу, и Леонид Сергеич принужден был все лето коснеть в бездействии. У него уже накопились порядочные должишки на стороне; только артистам, к счастью, он еще не задолжал ничего. Чувствительное и (скажем прямо) слабое сердце Мыльникова содрогалось, прозревая уже невдалеке такую же горькую участь, какая постигла его предшественника. В минуты грустного раздумья о своих делах он давал себе слово быть расчетливее, не слишком увлекаться любовью к искусству и не поддаваться игривым, но обманчивым мечтам; также налагал на себя зарок не играть в карты, к которым питал большую склонность, хотя в игре ему постоянно не везло. К сожалению, зароки эти оставались втуне, и Мыльников вел себя по-прежнему, следуя во всем призывам сердца и нимало не руководствуясь размышлением.

Из вышесказанного понятно, почему так рад был Леонид Сергеич приезду Мирвольского. «Театр будет теперь постоянно полон,— думал он,— сборы отличные — и дела пойдут на лад».

Мыльников не ошибся. Игра нового артиста, которому и здесь, как в Голодаеве, предшествовала преувеличенная молва, стала привлекать в театр несравненно больше прежнего зрителей; в дебют Мирвольского и в два-три следовавшие за ним представления недоставало билетов, несмотря на то, что цены мест были возвышены и большая часть турухтанских помещиков не возвращалась еще в город из своих деревень.

Мирвольский дебютировал, как и на ярмонке, Гамлетом. Как там, с любовью следили за его игрою глаза Ольги. На этот раз он был окружен несравненно лучше, чем в труппе Наруковича. Клавдий — Караулов, Гертруда — Бушуева-старшая, Полоний —Завидов и Офелия — Бушуева-младшая содействовали произведению на публику вполне приятного впечатления. Должно отдать справедливость Мирвольскому—он ловко вел себя в отношении новых товарищей; на

первой же репетиции, где его встретили неприязненными взглядами, сумел он примирить с собою артистов, которые, видя в нем опасного соперника, успели невзлюбить его. Это, впрочем, не помешало им впоследствии питать к нему зависть. Уменье поставить себя в хорошие отношения к товарищам отозвалось полезными последствиями на первой пиесе, в которой вышел Мирвольский. Ни один из артистов, игравших вместе с ним, не старался (как это почти всегда бывает) повредить разными, известными на этот случай, уловками впечатлению игры нового артиста; напротив, все, казалось, лезли из кожи, чтобы помогать ему. Нужно ли говорить, что рукоплескания долго не умолкали после каждого монолога Гамлета? Если это уже и без моих слов понятно каждому проницательному читателю, то скажу, что в трагедии было еще лицо, в равной мере привлекавшее сочувствие и громкое одобрение публики — Офелия.

Наденька Бушуева впервые явилась в этой роли. Прежде Офелию играла госпожа Крокова, супруга комика, отличавшаяся преимущественно в оперетках вроде «Кетли», или «Швейцарской хижины»; она, конечно, не уступила бы этой роли Наденьке, если б не находилась в это время в очень почтенном положении. Наденька немного фальшивила в пенье, и голос у нее не отличался силою; но все-таки она была восхитительна. Все бинокли и лорнеты обращались к ней, как скоро появлялась она на сцене. Ольга тоже не сводила с нее глаз.

Крайняя ложа в бельэтаже, справа, была во время антрактов предметом общего внимания. Новое лицо, сидевшее в этой ложе, занимало всех. Мирвольский не успел еще ни с кем познакомиться в городе, и потому большая часть зрителей видела Ольгу в первый раз. Некоторые встречали уже Мирвольского вместе с нею на бульваре, и от них-то в одно мгновение узнали все посетители театра — кто она и что. При этом дело не обошлось и без выдумок. Один любознательный и изобретательный господин, точное подобие голодаевского Потатуйкина (нет города, где не было бы такого лица), пустил в ход сведение, что Ольга была похищена Мирвольским у нежно любивших ее родителей, что нежные родители с горя умерли, что ее мучат теперь угрызения совести, но уж поздно, и так далее в этом же тоне...

— Посмотрите,— говорил он в одной из лож, где, заболтавшись, остался смотреть третье действие,— посмотрите, как она бледна — ни кровинки в лице.

Дама, к которой были обращены эти слова, отвела глаза от сцены, и стала смотреть на Ольгу.

—Ах, в самом деле!— сказала она,— бледна как смерть.

В это время на сцене Гамлет садился у ног Офелии в ожидании представления странствующих комедиантов.

Гамлет. Можно ли прикоснуться к вашим коленям?

Офелия. Нет, принц.

Гамлет. То есть головой только.

Офелия. Можно, принц.

Гамлет. А вы уж бог знает что подумали.

Офелия. Я ничего не думаю, принц.

Ольга не отнимала бинокля от глаз; он был направлен на Гамлета и на Офелию. Офелия играла черными глазками; Гамлет, лежа головой на ее коленях, смотрел ей в лицо.

«Скажите! — говорил он,— два месяца — и еще не забыть! Стало быть, можно надеяться на полгода людской памяти; а там — все равно, что человек, что овечка —

Схоронили,
Позабыли».

Раздались звуки труб, во глубине сцены поднялся занавес, и началась известная пантомима; Гамлет и Офелия продолжали разговаривать, но слов их не было слышно. Ольга видела это в лорнет и очень желала узнать, о чем идет у них речь.

— Как на вас смотрят! — сказала Офелия, играя глазками.— Ах, боже мой! зачем вы так жмете мне ногу?

— Извините,— отвечал Гамлет и подвинулся ближе,— я нечаянно. Кто на меня смотрит?

— А вон.

— Никого не вижу.

— Да вы куда глядите?

— В кресла.

— Из ложи на вас смотрят...

— Где?

— Направо, в бельэтаже, крайняя ложа.

Мирвольский взглянул.

— А! — сказал он довольно равнодушно; но поднял голову с колен Офелии и немного отодвинулся от нее.

Ему показалось, что рука Ольги, держащая лорнет, немного дрожит.

— Что? поймали? — заметила Наденька, очаровательно улыбаясь и пристально глядя на Ольгу.

Мирвольский еще раз посмотрел на крайнюю ложу и потом устремил взор на шлейф королевы.

Глаза Ольги встретились с черными глазками Наденьки, и Ольга опустила бинокль.

По окончании трагедии, за которою должен был следовать какой-то водевиль с переодеваньем, Мирвольский вошел в ложу Ольги.

— Хочешь остаться на водевиль? — спросил он.

— У меня что-то болит голова,— отвечала Ольга.

— Здесь страшная духота.

— Да.

— Так едем домой!

Ольга накинула на себя салоп.

— Едем.

И они вышли, сопутствуемые взорами многих зрителей и из лож и из кресел.

На вопрос Мирвольского, как понравилась ей мыльниковская труппа, Ольга отвечала только, что находит ее несравненно лучшею, чем труппа Наруковича; но отдельно ни о ком из артистов и артисток не сказала ни слова.

Вскоре после дебюта Павел Павлыч перезнакомился почти со всею турухтанскою молодежью, и не проходило дня, чтобы у него после спектакля не собиралось к чаю человек пять-шесть, а иногда и больше. Мыльников был всегда в числе гостей; из артистов заходил иногда только Заморцев, наиболее порядочный из числа актеров. Гости сидели обыкновенно за полночь; целью собраний была игра в карты.

Мирвольский находил, что такой образ жизни очень приятен; Ольга была несогласна с ним и решилась однажды после долгих колебаний (она предчувствовала грозу) сказать Павлу Павлычу, что ежедневные посещения его знакомых требуют немалых расходов, которые ему не по карману; этот совет был выслушан очень неблагосклонно.

— Ах, боже мой! — вскричал Мирвольский (в голосе его звучала сильная досада),— я и не знал, что вы желаете сохранить неприкосновенным ваш капитал.

Это «вы», «ваш капитал» отозвалось уколом иглы в сердце Ольги.

— Разве потому говорю я тебе об этом...— начала она.

— Почему же-с? — спросил Мирвольский, подкидывая на ладони ключик своих карманных часов.

— Ты понимаешь, что одним жалованьем твоим мы не можем жить так, как живем теперь...

Ольга приостановилась перевести дух: она чувствовала прилив слез к глазам.

— Дальше-с? — проговорил тем же обидным тоном Павел Павлыч, продолжая играть ключиком.

— Игра, которую ты ведешь, не может входить и в расчет...

Мирвольский стал слегка вытопывать ногой какой-то марш.

— Хоть ты играешь и очень счастливо, все же, если свести окончательный расчет, окажется, что ты в проигрыше.

Ольга замолчала; она думала, что сказала довольно; но Павел Павлыч обратил на нее пристальный взор и произнес:

— Ну-с, что же дальше?

— Мне кажется, ты и сам поймешь...

— Я ничего не понимаю,— резко перебил Мирвольский.

Ольга заплакала.

— Боже мой! этого недоставало! — вскричал он, принимаясь ходить по комнате.

— Мы не так богаты,— проговорила Ольга, стараясь подавить слезы,— чтобы не думать о черном дне.

Павел Павлыч остановился прямо перед ней и заложил руки в карманы панталон.

— Что же надо делать, по-твоему? как жить? Не прикажешь ли нанять квартиру в Дровяном переулке, о двух комнатах с кухней, и жить, как Завидов например?

— К чему крайности!

— Чего же ты хочешь?

— Эти вечные гости, карты, ужины...

— Довольно! это, наконец, скучно!

Мирвольский повернулся и вышел из комнаты.

Этот разговор происходил в декабре. Мирвольский хорошо сознавал справедливость опасений Ольги; но это сознание, кажется, только раздражало его, потому что он чувствовал, как неловко было бы теперь, когда все привыкли в городе к его образу жизни, изменить его; не заговорят ли все, что Мирвольский обеднел, промотался, живя не по состоянию? не отшатнутся ли, наконец, от него все знакомые? Будь это при переезде в другой город, где Мирвольского еще никто не знает,— это ничего бы; но в Турухтан-

ске перемена такая невозможна. А между тем придется-таки поневоле изменять образ жизни и — увы! — скоро.

Ольга, видя совершенное нежелание мужа следовать ее советам, горевала втихомолку и старалась хоть мелкою экономией умерять расходы.

Замечание дамы, вглядывавшейся в Ольгу во время представления «Гамлета», о бледности ее было несправедливо в ту пору; но к концу полугодия, прожитого Мирвольским в Турухтанске, Ольга в самом деле заметно похудела и побледнела. Не одна распущенность характера Павла Павлыча, не одни чрезмерные расходы его огорчали ее. Ей было грустно убеждаться с каждым днем, что любовь Мирвольского, которой она так безотчетно доверилась, была очень не сильна. Он скучал вдвоем с Ольгой и искал развлечений; и на общество каких людей менял он ее общество! Ольга плакала, думая об этом предпочтении. С каждым же днем убеждалась она и в том, что взгляд Мирвольского на искусство, высказанный им в Голодаеве, в самом деле его взгляд; а как твердо верила она, что Павел Павлыч смотрит на поприще свое вовсе не так, как говорит. Мирвольский проводил дни следующим образом: утро — на репетиции или в разъездах по многочисленным знакомым своим, потом обед дома (это было почти единственное время, когда Ольга могла свободно беседовать с ним); после обеда он ложился спать, и этот послеобеденный сон продолжался до самого спектакля. Спектакль окончен, и Мирвольский или возвращается с толпою приятелей домой, или уезжает к кому-нибудь из них сам — и Ольга уже не видит его до самой поздней ночи.

Незадолго до Нового года, по случаю не то дня своего рождения, не то именин, Леонид Сергеич Мыльников вздумал задать ужин как артистам и артисткам труппы, так и некоторым из приятелей-театралов. Ужин должен был происходить в зале клуба. Ольга, почти ежедневно посещавшая театр, была в нем и в этот вечер. Мирвольский намеревался прямо оттуда отправиться к Мыльникову.

Спектакль кончился, и Павел Павлыч зашел в ложу Ольги проводить ее до экипажа. Он свел ее под руку с лестницы и остановился на подъезде. Сколько кучера ни кликали, карета не явилась к подъезду; пришлось послать за нею одного из театральных прислужников. Между тем зрители разъезжались и расходились, и скоро на крыльце остались только Мирвольский с Ольгой да два-три арти-

ста. Он сердился и никак не соглашался идти с Ольгой пешком.

— Ты можешь простудиться,— говорил он,— посмотри, какой ветер! Да и в снегу совсем утонешь.

На подъезд вышли сестры Бушуевы.

— А! вы здесь! — воскликнула Маргарита Прокофьевна, подходя к Мирвольскому,— а мы ждали вас, ждали; думали, что вы уж забыли свое обещание.

— Нет моей кареты,— отвечал Мирвольский.— Вы лучше бы посидели в уборных.

— Да там уж и огня нет,— заметила Наденька,— мы оставались последние.

Ольга старалась хорошенько рассмотреть артисток, которых видала до этой поры только на сцене; но фонарь все больше и больше оскудевал светом, и это было трудно.

Снег обильно сыпался крупными хлопьями на Наденьку, которая стояла на самом краю крыльца.

— Вам, кажется, хочется схватить простуду,— сказал ей Мирвольский.

— Отчего? — спросила она, оборачиваясь.

— К чему вы распахиваете салоп?

— Мне жарко.

— Полноте, застегнитесь.

— Ничего.

— Эй, послушайтесь!

Наденька подошла к Мирвольскому.

— Ну, уж если вам так хочется этого,— сказала она,— так потрудитесь застегнуть; у меня руки в перчатках, и я сама не могу.

Павел Павлыч оказал Наденьке эту услугу.

Карета, наконец, приехала, Мирвольский посадил в нее Ольгу, произнес приличный выговор кучеру и велел ему, отвезя барыню, немедленно возвратиться с экипажем к театру.

Ольга приехала домой грустная. Павел Павлыч сказал ей, чтобы она не ждала его, потому что он воротится очень поздно... Но Ольга, переодевшись в домашнее платье, не легла в постель. Она велела подать себе чаю — и не прикоснулась к налитой чашке; хотела читать — взятый ею роман показался ей глуп и пуст... Она прочитала пять страниц и не могла припомнить из них ни одной строки. Ею овладело какое-то необъяснимое беспокойство; мысли

странно путались, и все представлялось поводом к сомнениям... Так, например, ее очень тревожил самый обыкновенный факт: именно, что Павел Павлыч предложил свою карету сестрам Бушуевым. Ольга знала, что и сестры и Мирвольский, как артисты одной сцены, должны быть между собою близки; знала, что почти каждый сделал бы то же, что Мирвольский, из простой вежливости... Но все-таки это беспокоило ее. От встречи своей с артистками на крыльце, о которой вспоминала не без досады, Ольга переходила мысленно на сцену и припоминала все роли, в которых Павлу Павлычу приходилось объясняться в любви и кидаться на колени перед Наденькой Бушуевой или заключать ее в объятия. Мысль о подобных сценах нагоняла яркий румянец на щеки Ольги, хотя она и сознавала, что и эта сценическая близость — неизбежная и самая обыкновенная принадлежность театра. Как же поступать иначе, когда в самой роли сказано: «Обнимает и целует ее»? Не отойти же вместо этого прочь! А за кулисами!.. Мысль Ольги пугливо заглядывала и туда и находила на каждом шагу предметы для сердечного сокрушения. И везде на первом плане рисовалась в ее воображении черноглазая девица Бушуева-младшая.

Спектакль кончился поздно. Было около часу за полночь, когда Ольга бросила книгу в сторону, сказала горничной, что она может идти спать, и в волнении, которого никак не могла побороть в себе, стала ходить взад и вперед по всем комнатам, куда, тускло белея, смотрели замерзшие окна. Она остановилась у окна в зале — снег клубился перед ним; потом отошла и села к роялю. Пальцы ее, едва касаясь клавишей, вызвали из них несколько однообразных аккордов. Ольге хотелось петь — петь громко, чтобы перелить хоть в это пенье тревогу, не покидавшую ее; но в доме все спали, и она не хотела будить кого бы то ни было таким несвоевременным пеньем.

Ольга возвратилась в спальню и села на кресле близ постели. Раскрытая книга лежала на столике рядом, но Ольга и не дотронулась до нее. Опустив голову, с горячими от непролитых слез глазами, с беспокойством в груди, с болезненным завываньем сердца, долго сидела она. Мысли, которые одна за другою проходили в ее голове, чередуясь с более или менее неприятными образами, мало-помалу превращались в грезы — и не раз Ольга широко раскрывала глаза, как бы отряхая с них сон, полный пугающих

видений. Свеча догорала на столе, в доме было тихо, за окном однообразно гудела метелица — и Ольга снова отдавалась во власть грез, и снова ни одно приятное видение не изменяло тоскливого биения ее сердца.

Раздавшийся как будто над самым ухом резкий голос и шум пробудили Ольгу. Испуганная, раскрыла она глаза и поднялась с места.

От ног ее откатилась круглая мужская шляпа. У окна, откуда уже глядело мутное, только что зачинающееся зимнее утро, стоял Павел Павлыч. Поспешно подошла к нему Ольга, вся дрожа от непонятного ей самой страха; она хотела положить руку свою на плечо Мирвольского и спросить, что с ним; но в ней не достало на это силы, когда Павел Павлыч оборотился. Он был очень бледен; в каждой черте лица отражалась сильная усталость; волосы падали в беспорядке на лоб; узел шейного платка съехал на сторону.

— Что тебе? — спросил Мирвольский, сердито взглянув на Ольгу.

В голосе его слышалась неприятная хриплость. Встревоженная Ольга отвечала:

— Ты устал, мой друг; я хотела помочь тебе раздеться.

— Я не пьян,— отвечал, нахмуривая брови, Мирвольский,— могу и сам раздеться. А тебе непременно нужно было сидеть до утра?

— Я ждала тебя.

— Как не ждать! Ведь я пропаду без твоего жданья: маленький... жаль, что ты няньки для меня не наймешь. Иди, пожалуста, спать.

— Да скажи мне, Поль, чем ты так встревожен?

— Ничем.

— Неправда: на тебе лица нет.

Мирвольский топнул ногой:

— Отстань!

Ольга отошла, села опять в кресло и закрыла глаза платком.

Мирвольский стал ходить вдоль комнаты. Шляпа его попалась ему под ноги, и он с сердцем растоптал ее.

— Опять слезы! — проговорил он, когда до слуха его коснулось слабое, сдерживаемое всхлипыванье Ольги.— Только и слышишь дома.

И он вышел вон из спальни, так хлопнув дверью, что стекла задребезжали в окнах.

Ольга не могла сомкнуть заплаканных глаз. Когда совсем рассвело, она прошла потихоньку в кабинет Павла Павлыча. Мирвольский крепко спал на диване, с кожаной подушкой под головой, в том платье, в котором воротился домой.

Ольга на цыпочках возвратилась к себе в спальню за мягкою подушкой, которую принесла в кабинет и осторожно подложила вместо кожаной под голову Павла Павлыча; так же бережно распустила она ему галстук.

Он ничего не слыхал.

ГЛАВА XVIII

Первая песня

Поздно проснулся Мирвольский; Ольга сидела около него, и он заговорил с нею уже без той горечи, которою было проникнуто каждое слово его в раннее утро этого дня.

— Скажи, ради бога, что с тобою и чем ты был так встревожен? — спрашивала Ольга.

— Плохо! плохо! — отвечал Мирвольский, потирая себе ладонью лоб.

— Что такое?

— Проиграл...

— Много?

— Не спрашивай.

— Боже мой! да сколько же?

— Столько, что едва ли найдется у нас, чем заплатить.

Ольга не могла удержаться от восклицания, в котором слышалось почти отчаяние.

— Дело сделано,— заметил Мирвольский,— и плакаться нечего — этим не пособишь.

— Да скажи по крайней мере, сколько нужно заплатить?

— Ты знаешь, сколько было со мною?

— Знаю.

— Так еще столько же.

— Боже мой! у нас ничего не останется.

— Ничего?

— Да.

Мирвольский закрыл себе глаза руками.

— Что нам делать? — проговорил он.

Ольга даже плакать не могла: так тяжко для нее было это новое нежданное горе.

На несколько дней все в доме приняло какой-то траурный вид: Мирвольский не выезжал никуда, не участвовал в спектаклях, отговариваясь болезнью, и никого не принимал к себе. Весь город на другой же день узнал о значительном проигрыше его, и все, кому хотелось говорить об этом, говорили, что Мирвольский прячется оттого, что проигрыш слишком задел его за живое. Мирвольский подозревал эти толки, думал, что лучше всего было бы продолжать являться в обществе с прежнею беспечностью; но на это в нем недоставало энергии.

Целые дни лежал он с трубкой в руках на диване в своем кабинете и предавался разным соображениям, как бы опять поставить дела свои на прежнюю степень. Увы! придумать что-нибудь было очень трудно. Проигранных в один вечер денег достало бы при благоразумном распоряжении на два, на три года. Мирвольский пробовал утешить себя тем, что ведь и по истечении этих двух-трех лет он находился бы в таком же неприятном положении, как теперь: немного раньше, немного позже — не все ли равно? Наконец, не встреться он с Ольгой — он не мог бы с самого приезда своего в Туруханск поставить себя на такую ногу, на какую стал было. Утешения подобного рода были слишком слабы и не разгоняли мрака, который лежал на мыслях Мирвольского. Он начал думать поискать исхода в тех же кругах — попробовать отыграться. Единственные деньги, на которые он мог для этого рассчитывать, было жалованье: пользуясь своим благосостоянием, Мирвольский не брал еще у Мыльникова ни копейки.

Леонид Сергеич заезжал к нему раз пять со времени несчастного вечера; но его, как и всех других посетителей, не принимали. Когда Мирвольский возымел намерение взять у него денег, он не велел ему отказывать. Мыльников вскоре явился и застал Павла Павлыча лежащим в кабинете.

— Лучше ли тебе? — спрашивал Мыльников.

— Теперь немного лучше, но все еще не могу назваться здоровым

— Кто тебя лечит?

Этот вопрос несколько смутил Мирвольского — впрочем, ненадолго. Он отвечал, потирая себе лоб ладонью:

— Никто; терпеть не могу лечиться и никогда не связывался с докторами.

— Напрасно, напрасно,— заметил Мыльников.

— Все гораздо скорее пройдет само собою.

— С твоей болезнью и мне горе.

— Как так?

— Да спектакли плохо идут.

— Полно...

— Да; совсем ездить не хотят, как твоего имени нет на афишке.

— Погоди, скоро выздоровлю. Мне уж и самому надоело сидеть дома.

— Все об тебе спрашивают. Ты ведь это время и не принимал никого?

— Никого. Что, как твои все?

— Артисты-то?

— Да.

— Все по-прежнему. Кое-кто интересуется тобой.

Мыльников скрыл голубые зрачки и показал зубы.

— Кто же именно?

— Отгадай!

— Из женщин?

— Да.

— Не знаю.

— Ну так я тебе по секрету скажу: Наденька Бушуева.

— Вот вздор какой!

— Да уж так, так.

Леонид Сергеич с опасением осмотрелся вокруг.

Мирвольский поспешил переменить предмет разговора.

— Да,— сказал он,— я все собирался спросить тебя: в каком положении наши денежные расчеты?

Мыльников закатил глаза.

— Должен тебе,— отвечал он,— много должен.

— Ты при деньгах теперь?

— Не при больших.

— Неужто успел уж спустить весь тогдашний выигрыш?

— Весь не весь, а почал-таки его порядком.

— Можешь, однако, удовлетворить меня по счету?

— Кажется.

— Постарайся, пожалуста. Мне деньги нужны, а брать из банка не хочется.

— Хорошо, постараюсь завтра привезти. А досталось же тебе тогда.

— Что это — пустяки!

— Ну не совсем-то пустяки.

— Случалось не по стольку проигрывать.

— Мне уж некоторые говорили, что ты и заболел от проигрыша.

— Дураки!

— Я, разумеется, всячески защищал тебя.

Зрачки Леонида Сергеича опять исчезли.

— По себе судят,— заметил Мирвольский.

— Ну, покамест прощай! выздоравливай поскорее! — сказал Мыльников, вставая и протягивая руку Мирвольскому.— А об деньгах я постараюсь.

— До свиданья!

— Кланяться Наденьке?

— Пожалуй.

— Прощай!

На следующее утро Мыльников исполнил свое обещание — привез деньги. У Ольги оставалось еще от прежнего капитала столько, чтобы прожить, с расчетливостью, месяца три-четыре; потому Мирвольский не вручил ей полученной суммы и сказал, что надеется вернуть ею хоть часть проигранного.

— Ах, Поль! — возразила Ольга,— ты, конечно, можешь при счастье возвратить свой проигрыш; но ведь можешь также потерять и эти деньги... Не лучше ли оставить их? ведь это вернее.

— Надолго ли их достанет?

— Все же не на один вечер. Согласись — легко может случиться, что ты их сегодня же проиграешь.

— Нельзя же не рисковать!

— Зачем?

— Мне этого хочется; кроме того, что станут говорить про меня? До сих пор играл, а как только проиграл большую сумму, и перестал.

— Стоит ли, опасаясь глупых суждений, жертвовать своим спокойствием?

— Мне надо играть, надо — и ты меня не отговоришь.

Ольга должна была умолкнуть. Если недавний опыт не казался Мирвольскому достаточно убедительным, то могли ль убедить его слова?

Мирвольский опять стал выезжать, являться на сцене и принимать гостей. С деньгами, полученными от Мыльникова, ему повезло: проигранного он вполне не воротил, но все-таки значительно поправился.

Ольгу не утешало счастье Мирвольского в игре: она постоянно боялась такого же случая, какой недавно поста-

вил их в крайне затруднительное положение; к тому же у Мирвольского были уж долги — и не маленькие: как явились они, Ольга недоумевала. Сидя почти по целым дням одна, она стала придумывать, как бы обеспечить себя вернее и не зависеть от прихотей карточного счастья. Павел Павлыч не думал много: он был обыкновенно спокоен и весел, пока у него было хоть сколько-нибудь денег в кармане и пока никто не давал ему наставлений, как вести себя.

— Знаешь ли, что я придумала, Поль! — сказала ему в конце января Ольга.— Помнишь, как выручили тебя из беды деньги, которые ты получил от Мыльникова?

— Помню.

— Я придумала получать в год еще столько же или немного меньше, чем ты получаешь.

— Как же это?

— Очень просто; я поступлю на сцену... Захочет ли только принять меня Леонид Сергеич?

— Помилуй, с удовольствием.

— Я думаю, потому что он только и твердит мне, бывало, когда я пою, что я имела бы успех на сцене.

— Что же! попробуй! это в самом деле будет хорошо. Доходы наши увеличатся вдвое. Только мне кажется, у тебя слаба грудь; а ведь для сцены нужно иметь очень крепкие легкие.

— Ничего; здесь не такая сцена, как в Петербурге или в Москве.

— Я скажу Мыльникову.

— Пожалуста, скажи. Мне хотелось бы обделать это дело поскорее.

Лазурные зрачки Леонида Сергеича только изредка проглядывали из-под век, и пухлые губы его ни на минуту не скрывали за собой сверкающих зубов во все время, как Мирвольский говорил о желании Ольги вступить в его труппу и излагал свои условия. Когда Павел Павлыч кончил, Мыльников кинулся обнимать и лобызать его с страстным и несвязным лепетом, из которого только и слышались слова: «Искусство... душа... моя мечта... давнишнее желание... певица...»

— Значит,— проговорил Мирвольский, слегка обороняясь от объятий и поцелуев Леонида Сергеича, которым, казалось, не будет конца,— ты доволен желаньем Ольги и готов принять ее?

— Доволен, душа... доволен,— лепетал, захлебываясь словами, Мыльников.— Принять?.. Да я мечтал об этом... Несколько раз хотел просить, да боялся отказа...

— Ну, а относительно условий?

— Как ты говорил, так пусть и будет!

— Не тяжело ли для тебя?

— В нитку вытянусь.

— Так, значит, дело слажено?

— Хоть сейчас контракт. Пойдем только сначала к Ольге Васильевне — мне надо поблагодарить ее.

Леонид Сергеич покрыл поцелуями руки Ольги и с полчаса расписывал ей самыми яркими красками свое удовольствие. Он, точно, давно уже питал тайное желание видеть Ольгу на своей сцене и надеялся от ее игры и пения немалых выгод; впрочем, выгоды, как и всегда, не стояли у него на первом плане: главное — Леониду Сергеичу нравился голос Ольги, и он, кроме того, думал, что она должна быть превосходною актрисой... Почему думал он это, автору так же трудно объяснить, как было это трудно ему самому.

Условия Мирвольского были не совсем по средствам антрепренера, и если он так скоро и безотговорочно принял их, то разве потому, что «искусство — это, так сказать, мой кумир».

Для дебюта Ольги была выбрана драма «Материнское благословение».

Актрисы труппы почти единогласно вознегодовали, услыхав эту новость; но никто так не сердился на Мыльникова, как госпожа Крокова и девица Бушуева-старшая: первая потому, что Ольга начинала свое сценическое поприще в ее роли, последняя же не по какой-либо особенной причине, а так...

— Этот Мирвольский мне, наконец, противен,— говорила, шевеля плечами, Маргарита Прокофьевна.— Опутал этого несчастного болвана, и он делает все, что тот захочет. Очень нужна была еще актриса! И с нами-то того и гляди в трубу вылетит; нет — надо еще набирать народу. И уж конечно, Мирвольский вымог у него такое же жалованье ей, как и себе... Ведь тот губошлеп во всем по его дудке пляшет. Ты не слыхала, Надя, сколько он ей назначил?

— Нет,— отвечала Наденька,— верно, побольше нашего.

— А за что, вопрос? Какой черт ее знает!

— Он уж давно толкует, что она хорошо поет.

— А на какого дьявола ее пенье? что он — большие оперы хочет давать, что ли?.. Ах, какой дурак! ах, какой дурак!.. Зачем он, например, будет теперь держать Крокову?

— Я решительно ничего не понимаю,— отвечала Наденька.

— Если б не контракт,— продолжала сильно разгорячившаяся Маргарита Прокофьевна,— одного часу не осталась бы здесь. Теперь поневоле вспомнишь Сошникова. «Эй, говорил, Маргарита Прокофьевна! не льститесь на его жалованье... недолго вы с ним наживете!» Так и вышло... Вот увидишь, что он так запутается со своими новобранцами, что нам деньги придется с него по копейке медной получать.

— Ведь он и без того в долгу как в шелку.

— Кончится тем, что этот молодец со своей возлюбленной дрянью оберут его и пустят по миру. Нам-то большое утешение! Я хочу написать к Сошникову — нельзя ли опять как-нибудь сладить дело с ним. А то просто черт знает что такое!

— Мне хочется посмотреть ее... какова-то она?

— Наверное дрянь.

— Завтра, что ли, будет репетиция?

— Кажется.

Сестрицы явились получасом раньше обыкновенного срока на первую репетицию, в которой должна была участвовать Ольга. Нетерпение их было так сильно, что три четверти часа до приезда ее и Мирвольского показались девицам Бушуевым чуть не тремя целыми часами.

Ольга не могла победить в себе робости, взбираясь по шатким деревянным лестницам и темным переходам, пахнувшим пылью, на едва озаренную сцену. Мирвольский вел под руку новую актрису и должен был беспрестанно предостерегать ее, чтобы она не споткнулась или не упала.

— Осторожнее! — говорил он,— здесь нет перил... Тут порог... Тише! не ушибись — тут три ступеньки... Раз, два, три — все... Ну, вот мы и на сцене.

Леонид Сергеич как из земли вырос перед Ольгой и предложил ей свою руку. Темная зала и сцена, обставленная с боков продранными кулисами, на которых кусками сидели грубые краски, показались ей пыльным и грязным сараем. Глаза ее не скоро привыкли к полумраку, господ-

ствовавшему на сцене, и не скоро рассмотрела она людей, которые шевелились тут и говорили, как кажется, очень забавные вещи. Репетировался какой-то водевиль.

— Вы устали, Ольга Васильевна? — вскричал Мыльников, устремляясь за стулом.— Садитесь, пожалуста! Вам, верно, очень странно здесь все с первого разу?

— Я совсем не умею ходить по этому покатому полу,— сказала Ольга, садясь.

— В две-три репетиции привыкнете,— отвечал Мыльников.— А я так от прямого-то пола совсем отучился: все здесь толчешься.

Ольге как-то тяжело дышалось; она боялась, чтобы у нее не закружилась голова и не сделался обморок. Мыльников сам сбегал за стаканом воды для нее.

Репетиция шла своим чередом; в оркестре, где мерцало несколько сальных огарков, брались по временам за смычки, и на сцене пелся вполголоса куплет.

С большею частью актеров Ольга была знакома, потому что видала их у Павла Павлыча; актрис она знала только в лицо.

— Прикажете представить вам наших дам? — сказал Леонид Сергеич.

— Пожалуй, если это нужно, отвечала Ольга,— но я думаю, не мне следует представлять их, а меня им.

— Полноте!

В это время Маргарита Прокофьевна с сестрицей проходили мимо стула Ольги и окинули ее искоса проницательными взорами.

— Маргарита Прокофьевна! Наденька! — вскричал Леонид Сергеич, вскакивая с места,— позвольте вас познакомить.

Девицы остановились, Ольга встала и подала руку сначала старшей, потом младшей.

— Очень рада с вами познакомиться,— проговорила госпожа Бушуева-старшая, измеряя Ольгу с головы до ног не лишенным гордости взглядом.— Желаю вам всевозможных успехов на нашей сцене.

— Благодарю вас,— отвечала Ольга.

— Об успехах и говорить нечего! — воскликнул Леонид Сергеич (зрачки его ушли под лоб), — они несомненны.

Ольге хотелось сказать какую-нибудь любезность сестрам Бушуевым, но она ничего не могла придумать.

Между тем проба водевиля окончилась, и Мирвольский, во все продолжение ее прогуливавшийся по сцене с трубкой в руках, подошел к Ольге.

— Ну, теперь надо выходить тебе,— сказал он.

Девицы Бушуевы перекинулись с ним несколькими словами; обращение к нему Маргариты Прокофьевны было против обыкновения очень сухо.

Началась проба «Материнского благословения». Ольга чувствовала ужасную неловкость: она очень твердо знала роль, но когда ей пришлось повторять ее на сцене, слова не приходили ей на язык. Шипенье суфлера пугало ее и заставляло вздрогнуть всякий раз, когда он подсказывал ей забытую фразу. Почти все актеры просто читали свои роли; Ольга старалась «играть», и каждое неудачное, по ее мнению, движение или выражение приводили ее в смущение и в краску. По непривычке петь с аккомпанементом оркестра она сбилась в первом куплете и должна была повторить его. Ольгу очень смущали также и пристальные взоры Наденьки и ее сестрицы, нарочно поместившихся поближе к авансцене. Впрочем, мало-помалу робость Ольги прошла; она смелее стала читать роль и петь. Леонид Сергеич остался несказанно доволен.

Далеко не так довольны остались девицы Бушуевы: они признавали только одно достоинство в Ольге, и то не вполне — именно, что она недурна собой; об игре ее они произнесли окончательное суждение по первой же репетиции. Наденька сказала, что Ольга похожа на истукана; Маргарита Прокофьевна — что в пенье она фальшит и что голос у нее неприятный.

Ольга нисколько не заботилась об отзыве людей, в общество которых теперь вступала; она знала, судя по рассказам Павла Павлыча, что от их суда ей нечего ожидать справедливости. В то же время она чувствовала, что игра ее должна произвести выгодное впечатление на публику; к этому сознанию редко примешивалось в ней сомнение в своих силах.

Мирвольский никак не соглашался на просьбу нетерпеливого Мыльникова назначить дебют Ольги после трех репетиций.

— Торопливостью своей,— говорил ему Павел Павлыч,— ты сделаешь то, что Ольга с первого же разу не будет иметь ни малейшего успеха.

— Да разве это возможно?

— Возможно, если ты не дашь ей хоть немного освоиться со сценой.

Мыльников принужден был согласиться, тем более что этого желала и Ольга. Две недели, которые пришлось ему ждать дебюта новой артистки, он был как на иголках.

Наконец-то, наконец настал долгожданный день — долгожданный не для одного антрепренера: весь город интересовался новою актрисой. Пользуясь этим, Мыльников вздумал было удвоить плату за вход; но Мирвольский не хотел и слышать об этом — и он скрепя сердце покорился.

Негодование актрис, постепенно возрастая, достигло высшего предела ко дню дебюта Ольги. Особенно взволновало всех обстоятельство, по-видимому ничтожное. Дня за три до выхода Ольги на сцену, во время репетиции, Мирвольский сказал Мыльникову:

— Послушай, надо позаботиться об уборной для Ольги. Ведь у вас там такой хаос, что боже упаси!

— Я уж позаботился,— отвечал с сладостной улыбкой Леонид Сергеич.— Пойдем, взгляни; я убрал там одну каморку: и зеркало поставил и ковер постлал.

Мирвольский остался недоволен и зеркалом, и ковром, и даже самою комнатой.

— Здесь ужасно грязно,— сказал он,— окно тусклое, на потолке паутина.

Решено было потолок заново выбелить, а облупившиеся стены оклеить новыми обоями. Леонид Сергеич согласился на это, и через день все было готово.

Мирвольский на свой счет велел обить пол ковром (с ног адски дуло) и совершенно закрыть ненужное окно красивою драпировкой. Большое зеркало и хорошая мебель сделали из невзрачной каморки очень порядочную уборную.

Вечером в день дебюта Ольги Маргарита Прокофьевна из-за этой уборной раз двадцать назвала антрепренера болваном и губошлепом, а дебютантку фреею и тряпкой.

Трудно описать тревогу, которая ни на минуту не покидала в этот день Ольгу и особенно усилилась к вечеру. Когда Ольга оделась и вышла из уборной, Павел Павлыч ни на шаг не отходил от нее, стараясь ее ободрить сколько мог. Лицо Ольги горело, а руки были холодны как лед.

Занавес подняли.

Ольга не вдруг пришла в себя после грома рукоплесканий, которыми встречено было ее появление на сцене. Она начала робко, нерешительно; но, постепенно собираясь

с силами, наконец совершенно ободрилась, вошла в роль и имела полнейший успех. Ее вызвали по окончании драмы пять раз.

Игра Ольги отличалась от игры всех без исключения актрис турухтанского театра чрезвычайною грацией и благородством манер, которыми они не могли похвалиться; кроме того, каждая сцена, каждое положение, каждая фраза были поняты и прочувствованы.

Маргарита Прокофьевна с наслаждением растерзала бы дебютантку в клочки. Наденька сердилась меньше, хотя (с закулисной точки зрения) имела на это больше права.

За драмой должен был следовать какой-то водевиль, переведенный с французского, в котором Наденька занимала главную роль. В антракте, когда Ольга пошла в уборную смыть румяна и переодеться, чтобы ехать домой, Мирвольский, ожидая ее, расхаживал по сцене, за занавесом, опущенном для изображения в водевиле стены, и курил сигару. Артисты и артистки были частию в уборных, частию на передней половине сцены.

В то время как оркестр заиграл какую-то польку или польку-мазурку, между кулис появилась Наденька Бушуева, только что одевшаяся к пиесе. На ней была соломенная шляпа с широкими полями и коротенькое платье с открытым лифом — голубое, обшитое темными лентами. Наденька тянулась к лампе зажечь папироску; но лампа висела слишком высоко, и это ей не удавалось.

Мирвольский подошел к ней.

— Вам огня?

— Да-с.

— Не угодно ли?

Он подал сигару.

— Очень вам благодарна-с.

Наденька проговорила это очень серьезно; глазки ее не играли.

— Вы сегодня всем вскружите голову,— сказал Мирвольский, глядя на нее.

— Старый комплимент,— заметила Наденька, закидывая голову и пуская дым тонкою струйкой кверху.

— Всегда старая истина, когда речь об вас.

— Какие тонкости вы нынче говорите!

Наденька повернулась почти с легкостью воздушной пери, чуть не вышибла платьем сигары из рук Мирвольского и, тихо напевая какой-то куплет (он начинался сти-

хом: «Мы, девушки в шестнадцать лет»), стала расхаживать вдоль сцены.

Разговаривая с Павлом Павлычем, она ни разу не остановила на нем своих черных глаз и смотрела или вверх, или в сторону.

Мирвольский последовал за нею.

Мы, девушки в шестнадцать лет...—

продолжала она напевать.

— Наденька! — сказал Мирвольский, подходя к ней,— объясните, пожалуста, отчего вы дуетесь на меня вот уж третий день.

Любовных хитро...

— Что-с? — спросила Наденька, переставая петь и все-таки не глядя на Мирвольского.

— Вы на меня сердитесь?

— За что?

— Не знаю.

Наденька опять принялась напевать тот же куплет.

— Я очень хорошо вижу,— продолжал Мирвольский,— что вы сердитесь на меня, а не знаю причины, и это меня беспокоит.

— Неужто?

— Очень беспокоит.

— Стоит ли беспокоиться из-за таких пустяков?

— Так, стало быть, вы признаетесь, что сердиты на меня?

— Я этого не говорила.

— Прямо не говорили — так; но из вашего намека это нетрудно понять.

— У вас очень пылкое воображение.

— Вы неправы и потому не хотите отвечать мне.

— Да за что же мне сердиться на вас? ну скажите сами! — сказала Наденька, бросив в сторону окурок папироски.

Она остановилась и взглянула на Мирвольского играющими глазками.

— Вероятно, *вы* неправы передо мной, что подозреваете, будто я сержусь на вас.

Наденька была очаровательна в эту минуту. Голова ее, очень красиво отененная полями шляпы, была наклонена к плечу; сверкающие черным огнем глазки лукаво устремлены на Мирвольского; одной рукой она играла лен-

тами, ввязанными в длинную косу, которая была переброшена сзади через плечо.

— Скажите же, Наденька, в чем я провинился? — спросил Мирвольский, взяв ее за руку.

— Не троньте моей руки,— сказала Наденька, улыбаясь и тихонько ударяя Мирвольского по пальцам.— Я в самом деле зла на вас.

— И нельзя узнать, за что?

— Хоть вы и знаете свою вину, а надо сказать...

— Ей-богу, я не знаю за собой никакой вины.

— Ну, ладно, ладно. Надеюсь, однако, вы не скажете, что были внимательны ко мне и к сестре — впрочем, о сестре нечего говорить! — внимательны ко мне третьего дня, вчера и, наконец, сегодня утром?.. Например, хоть поклонились ли мне нынче?.. Уж это даже и не просто невнимание.

— Простите...

— Это невежливо.

— Я был так занят, в таких хлопотах...

— Это не отговорка.

— Ну виноват! простите же! дайте ручку!

Наденька, до той поры лукаво смотревшая на Мирвольского из-под полей своей шляпы, устремила взоры в противуположную сторону сцены и всматривалась в кого-то, появившегося между кулисами; но всматривалась так, что Павел Павлыч не замечал этого. Он хотел взять ее за руку.

— Встаньте сначала на колени, а потом уж дам я вам руку.

— Ведь у нас зрителей нет, к чему же эта комедия?

— Ничего.

— Повинуюсь...

Мирвольский опустился на колени.

— Вот это хорошо,— сказала Наденька, только на мгновенье взглянув в лицо Мирвольскому.

Она опять обратила глаза в противуположную сторону сцены.

— Теперь можете встать.

— Мировая?

— Да. Вот вам и моя рука.

— Можно поцеловать в плечико?

— Пожалуй.

В ту минуту, как Мирвольский наклонился к плечу Наденьки, Наденька вскричала:

— Вас ждут!

И она упорхнула за сцену.

Мирвольский поспешно обернулся в ту сторону, куда так пристально смотрела Наденька. Между кулис стояла Ольга.

— Ты готова? — спросил он, подходя к ней.

Ольга молча кивнула головой.

— Устала?

— Да.

Она держалась за деревянную раму кулисы и была очень бледна.

— Поедем домой,— сказал Мирвольский и подал ей руку.

Сводя Ольгу с темной лестницы, он чувствовал, что рука ее дрожит.

ГЛАВА XIX

Из клетки вон

Снег ни на минуту не переставал сыпаться с мутного неба. Мягкими подушками ложился он на кровли, звездчатыми сетками застилал окна, белым ковром покрывал улицы и деревянные тротуары Турухтанска, приставал как пух к одежде проходящих и проезжих. Гранитные львы, украшающие крыльцо дома дворянского собрания, казались закутанными в горностаевый мех.

За пределами города, вокруг которого верст на пять, на шесть нет ни пригорка, ни деревца, снег сыпался, кажется, еще обильнее. Но не так спокойно, как в городе, ложился он на землю: вихорь, которого не было слышно в городских улицах, весело разгуливал в поле, кружился, закручивал снег столбом и завивал сугробы около каждой кочки. К северу от Турухтанска, на протяжении пяти верст по дороге к селу Бору, не было ни единой вехи, которую ветер не занес бы до половины снегом.

В село вихорь забегал только изредка, словно соскучившись мыкаться по полю; но мало было ему тут простора... Кинул горстью холодных хлопьев в румяное лицо идущей по воду молодицы, всклочил чью-нибудь бороду, обдул снег со скворешницы, напорошил его в крошечное,

не защищенное стеклом оконце хлебного анбара и опять бежит вон из села — или назад, в поле, или вперед, к широкой реке, а там — хватило бы только охоты — катай-валяй по ее замороженной и занесенной глади хоть за тысячу верст.

Было что-то печальное, похоронное в этом снежном утре; поневоле приходило в голову старинное уподобление снега савану. Вид этих белых сумерек, длящихся целый день, нагонял сон, и все дремал бы, слушая, как трещат и пощелкивают в печи дрова, и не вышел бы из дому; а уж если и быть на холоду, так сидеть в кибитке, запряженной тройкой с колокольчиком под дугой, и опять-таки дремать, закутавшись в теплую шубу, под его однообразный, заунывный напев.

С большой неохотой и с каким-то тяжелым чувством отправился в лавку Митя Бугров: он был уверен, что пробудет там целый день, не увидав в глаза ни одного покупателя. Впрочем, едва ли приятнее было бы Дмитрию остаться дома, если придется сидеть там с дядей.

Клим Лукьяныч совсем отшатнулся от племянника, свозив его на ярмонку. Он стал чрезвычайно скуп на слова с Дмитрием: говорил только тогда, как нужно что приказать, послать куда-нибудь — не иначе. В старике не было прежней взыскательности; но Дмитрий был бы рад, чтоб он хоть раз хорошенько погонял его, задал бы ему, что называется, трезвону, только бы не глядел таким зверем. Уж несколько раз случалось парню попадать впросак, и Лукьяныч — ничего, тогда как прежде дело не обошлось бы без большой грозы.

Такая перемена в характере старика и в отношениях его к племяннику произошла вдруг, с того самого, слишком памятного Дмитрию, дня, когда он ждал крепких упреков себе от дяди за самовольное посещение театра. Ожидания эти не сбылись и продолжали мучить Митю и во все время пребывания его в Голодаеве, и в дороге, и, наконец, несколько недель по возвращении в Бор. Ни полусловом не намекнул Лукьяныч, что поступок Дмитрия пришелся ему очень не по сердцу; Дмитрий даже не был вполне уверен, известно ли старику, что он ходил в театр... А между тем, не знай этого Лукьяныч, зачем оделся бы он вдруг в такую неприступную броню для племянника? Правда, и прежде смотрел он сурово и строго, но теперь и сравнения с прежним не было.

После «Гамлета» Дмитрий уже не дерзал и думать побывать еще раз в театре, хотя виденное им представление часто возникало со всей своей привлекательностью в его воображении. Ему хотелось повторить испытанное впечатление хоть в чтении, и он, идучи однажды из города на ярмонку, остановился у маленькой книжной лавки, которая примыкала к самому мосту вместе с двумя-тремя другими лавчонками с красным товаром. Дмитрий спросил, есть ли в лавке какие-нибудь «театральные книги». Ему отвечали, что есть, и в свою очередь спросили его, какие именно книги нужны ему. Он назвал «Гамлета», которого тотчас же и купил за полтинник.

— Нет ли еще каких? — спросил Дмитрий.

— Как не быть! — отвечал торговец,— вот есть «Недоросль», «Русалка», «Коварство и любовь», «Горе от ума».

Он выложил и еще с десяток тоненьких книжек.

У Дмитрия разгорелись было глаза на четыре томика «Русалки», но купец не уступал ее дешевле пяти рублей ассигнациями, а у нашего парня оставалось всего-навсе пять рублей, на которые ему хотелось купить не одну, а несколько пиес. Выбор его пал на «Коварство и любовь», на «Ненависть к людям и раскаяние», на «Разбойников» и на «Тридцать лет, или Жизнь игрока».

Необходимо было схоронить эти приобретения подальше от грозных очей дяди, чтоб и эти книги не подверглись участи несчастной «Повести о приключении аглинского милорда Георга». Целый день берег их Дмитрий за пазухой и только вечером, когда дядя ушел к Крупчаткину, а его оставил дома, решился парень рассмотреть повнимательнее свою покупку. Как ни увлекало его начало каждой из книг, он не принялся ни за одну из них, боясь, как бы дядя не застал его за этим занятием; Дмитрий стал подумывать, куда бы спрятать их. Самым удобным местом показались ему старые сапоги, которые лежали в самой глубине кулька, занятого вещами Дмитрия. Как ни жаль было мять книги, а делать нечего — затолкал их в сапоги.

Приятнейшею мечтой Мити во время обратного пути было — приехать поскорее домой и там, сидя за прилавком, заняться чтением и изучением своих книг. Мечты его, впрочем, не ограничивались этим. В высшей степени увлекательным и завидным представлялось ему поприще актера, окруженное блеском, независимое, полное влияния на толпу, и он подчас думал, что тут-то бы, на этом светлом

поприще, и развернуться ему; не раз воображал он себя сценическим героем, которому гремят рукоплескания; но мысль о старике дяде со сдвинутыми бровями и крепко сжатыми губами гнала от него прочь подобные мечты.

Воротясь в село, Дмитрий с первого же дня, в который отправился в лавку, взялся за свои книги. Сначала прочитал он каждую от корки до корки, а потом стал учить наизусть роль Гамлета, стараясь читать ее, как читал в Голодаеве Мирвольский. Дело пошло на лад, и мало-помалу в уме Дмитрия начала развиваться мысль сделаться актером. Он не удовольствовался ролью Гамлета и точно так же выучил роли Клавдия, Полония, Горацио и прочие мужские роли трагедии. Наученный опытом, Дмитрий был осторожен, и дядя ни разу не заставал его за занятием, которого никак бы не одобрил. Парень немало сокрушался, что не может декламировать громко (все соседние приказчики приняли бы его за сумасшедшего и сбежались бы в лавку); чтение же шепотом казалось ему недостаточным.

Когда «Гамлета», выученного от слова до слова наизусть, можно было отложить в сторону, Дмитрий принялся за другие пиесы и точно так же выучивал в них все роли, начиная с главной и кончая самою незначительной.

Он знал, что и в Турухтанске есть театр, что Мирвольский, который так восхищал его, там (раза два-три в Бор попадали афиши), и Дмитрий сгорал желанием побывать в город, к содержателю актеров, и узнать, каким способом можно попасть в их число. Но Клим Лукьяныч словно чуял это желание племянника и всякий раз, когда ему случалось какое-нибудь дело в городе, отправлялся туда сам, и не только не думал, что можно для этого послать туда Дмитрия, даже с собой его не брал.

В то снежное утро, о котором я завел речь, на Дмитрия напала невыносимая тоска, и он ничем не мог от нее отделаться. Что-то щемило ему сердце. Тирады из разучиваемых пиес, которые он обыкновенно повторял, сидя за прилавком, не приходили ему на память, да и язык как будто отказывался шевелиться. Тоска была совершенно безотчетная; он ни о чем не думал, ничто, по-видимому, не могло и навести его на какие-нибудь неприятные думы. Часы тянулись с небывалой медленностью; покупателей не показывалось... да и кто пойдет в панскую лавку в такую погоду? Дело не может быть спешным — не уйдет время купить холста или ситцу.

Снег продолжал сыпаться, словно имел твердое намерение схоронить под собой все село Бор и с верхушками его домов и изб. В середине улицы нога уходила по колено в рыхлый снег; у входа в лавки, защищенного навесом, нельзя было пройти, не погрузясь в снег по щиколку.

Мите очень хотелось, чтобы хоть дядя пришел поскорее в лавку — сменить его на время обеда; но как нарочно Клим Лукьяныч не показывался. Дмитрий начинал уже чувствовать голод. «Что бы это значило? — думал он,— кажется, самая пора, а его нет как нет». В соседних лавках купцы или приказчики успели уже возвратиться с обеда, а наш парень сидит себе и ждет не дождется смены.

Наконец стало темнеть... Чем же это кончится?

Но вот вместо дяди в лавку явился работник Максим звать домой Дмитрия: Клим Лукьяныч сделался нездоров и не мог прийти сменить племянника.

— Да что же ты не пришел сказать мне об этом пораньше?

— Марья Осиповна послала было меня,— отвечал работник,— да сам Клим Лукьяныч вернул: «Не надо»,—говорит. Во время обеда она сказала ему.

Дмитрий запер лавку и отправился домой. Дядю застал он больным и, судя по осторожной походке и жалобному выражению лица тетки, сердитым.

Марья Осиповна засуетилась, чтобы накормить племянника.

— Видно, тебе, Митенька, придется завтра в город ехать. Старик-то сам собирался, да вишь, как его сломило!

— А разве надо в город?

— Должно быть, надо: все утро нынче об этом твердил.

Митя был несказанно рад этому известию и, должно признаться, не раз опасался, как бы дядя за ночь не выздоровел и таким образом не отсрочил еще на неопределенное время поездку его в город. С той минуты как Осиповна сообщила племяннику о намерении дяди, Дмитрий не переставал обдумывать, как он, справив дело, за которым пошлет его дядя, пойдет к содержателю театра и поговорит с ним, посоветуется: возможно ли для него сценическое поприще, или нет? «Хоть бы только узнать наверное, гожусь ли я в актеры,— думал Дмитрий,— не гожусь — так тому делу и быть — стану жить по-прежнему».

Рано поднялся он на следующее утро и все боялся, что вот-вот встретится с совсем выздоровевшим стариком.

Скоро, впрочем, опасения его миновались. Осиповна кликнула Митю к дяде.

— Что он, тетенька? — спросил Митя,— нездоров?

— Лежит,— отвечала Марья Осиповна,— поясница, вишь, отнялась, подняться не может — сесть, не токмо что на ноги стать.

Клим Лукьяныч поручил племяннику сделать какую-то справку в магистрате, наведаться к двум своим должникам за деньгами и затем возвратиться немедленно в село.

Дмитрий запряг в сани лошадь, запасся для нее сеном и покатил в город. Утро было не похоже на вчерашнее. Ветру вовсе не было; легкий мороз скрепил снег, и восток желтел, обещая солнечный день.

Дмитрий оставил лошадь свою во дворе у знакомого купца Голоушина, а сам пустился по городу пешком — справлять поручения дяди.

Часа через полтора поручения были исполнены, и Дмитрий мог обратиться к своему делу.

Не зная, где отыскать Мыльникова (имя содержателя было известно Дмитрию из афиш), он направил шаги к театру. Ни на переднем крыльце, ни с боков, ни сзади не нашлось отпертой двери. С сокрушенным сердцем готов был Митя оставить неприступную храмину муз; но в это время площадью, около самого театра, проходил Караулов. Хотя мысли его были направлены почти исключительно к соседнему заведению под вывескою графинчика с двумя рюмками и чайника с двумя чашками, однако он заметил Дмитрия.

— Кого тебе нужно? — крикнул он парню.

Дмитрий объяснил.

— Тут ты Мыльникова долго не дождешься. Иди к нему на квартиру.

И трагик сообщил адрес антрепренера.

В сильном волнении поднимался Дмитрий на крыльцо квартиры Мыльникова.

Леонид Сергеич был дома. Когда ему доложили, что пришел какой-то не то купец, не то мещанин, он вышел в лакейскую.

— Что тебе, любезный? — спросил он Дмитрия,— от кого ты?

— Ни от кого-с,— отвечал Бугров нетвердым голосом,— я с своей просьбой-с.

— Какая же у тебя просьба?

— Имею желание-с...— начал было Дмитрий и приостановился.

— Ну, говори, любезный, скорее — что тебе нужно? Не держи меня: мне некогда.

— Имею желание поступить в актеры,— выговорил парень одним духом, покраснел и потупился.

— А! вот как! — вскричал Леонид Сергеич, не преминув закатить глаза.— Что же? дело доброе. Иди сюда; я тебя порасспрошу хорошенько.

Дмитрий скинул с себя тулуп, положил на него свою меховую шапку и робко последовал за Мыльниковым.

— Откуда ты? — спросил Леонид Сергеич.

Дмитрий отвечал откуда.

— Так.

Атрепренер предлагал ему один за другим вопросы, и Дмитрий, ободрившись немного, отвечал на все очень дельно.

— Хорошо, любезный, хорошо,— заключил Леонид Сергеич, выслушав объяснение гостя,— значит, ты уж и ролей много знаешь? Главное теперь в том, как ты их читаешь.

— Если угодно,— сказал Дмитрий,— я прочитаю что-нибудь.

— Да, да, я и сам хотел тебя заставить. Что бы нам взять-то? Ну, хоть «Быть иль не быть?» прочитай! знаешь?

Дмитрий прокашлялся.

— Стань посередине комнаты!

Он стал.

— Ну читай.

Леонид Сергеич поправился в кресле, сложил руки на груди, опустил веки и приготовился слушать.

Испытуемый начал, и начал несколько торопливо, потому что все еще не совсем оправился от робости.

— Не спеши, любезный! — остановил его на третьей же строке Мыльников, причем обнаружил зубы.— Повтори сначала! Выражение ты даешь то самое, какое нужно; только чересчур торопишься. Начни сызнова! Ну!

Дмитрий собрался с духом и прочел монолог удовлетворительно. Под конец Мыльников то и дело прерывал или, лучше сказать, поощрял его одобрительными восклицаниями вроде: «Так, так!.. Хорошо!.. Изрядно!.. Молодец!.. Браво!.. Очень хорошо!.. Отлично!..»

Когда Дмитрий кончил, Леонид Сергеич в порыве удовольствия даже вскочил с места. Он закатил глаза, обна-

ружил зубы и стал трепать молодого человека по плечу.

— Из тебя выйдет прок, любезный! да, выйдет прок! — говорил он сладостным голоском.— Если ты станешь так же усердно заниматься, как до сих пор занимался,— будешь хорошим артистом.

В глазах Дмитрия отражалась радость, которою билось его сердце.

— Ну-ка,— сказал Мыльников,— еще что-нибудь.

— Что прикажете?

— Что сам знаешь, любезный...

— Позвольте мне из «Коварства и любви».

— Ладно, ладно; читай!

И Дмитрий прочитал последний монолог Фердинанда.

— Славно! славно! — воскликнул Мыльников.— это ты еще лучше прочитал.

И точно, в чтении шиллеровского монолога у Дмитрия было что-то свое, новое; угловатость некоторых фраз выкупалась силою и выразительностью. В тираде из «Гамлета» Дмитрий сделал меньше ошибок, но в ней не слышалось у него ничего самобытного: помня игру Мирвольского и при учении роли постоянно руководствуясь ею, он придавал каждой фразе выражение уже слышанное, не стараясь обдумать и высказать ее по-своему.

— Ты теперь свободен, любезный? — спросил Мыльников.

— То есть как это-с?

— Часа на два свободен?

— Свободен-с.

— Так погоди же! мы съездим с тобой к Мирвольскому.

— Очень хорошо-с.

— Садись. Да не хочешь ли трубки?

— Я не курю-с.

— Ну, закусить. Водку ведь пьешь, я думаю?

— Нет-с.

— Ну, брат, этим не похож на артиста. Да садись же! садись! Полно церемониться-то.

Дмитрий почтительно присел на кончик стула.

— Эй, Андреян! — громогласно распорядился Леонид Сергеич,— вели сани заложить, да поживее! Одеваться мне приготовь! Да подай нам между тем мадеры и сыру!

Скоро все было готово; Мыльников принудил гостя

выпить рюмку вина, говоря, что от этого он будет читать еще лучше, и поехал с ним к Мирвольскому.

Леонид Сергеич оставил Дмитрия в зале, а сам устремился в кабинет Мирвольского.

— Что это у тебя такое сияющее лицо? — спросил Павел Павлыч.

Мыльников в кратких, но сильных выражениях рассказал, в чем дело. Несколько раз наделял он Дмитрия титлом «замечательного таланта».

— Вот ты увидишь, каков этот молодец; мы его сейчас заставим декламировать.

— Все это хорошо,— сказал Мирвольский,— да что станешь ты с ним делать?

— Как что? приму его к себе.

— Помилуй! да ведь ты и с теми, что есть, насилу можешь справиться; куда тебе еще актеров? Этакие у тебя ненасытные глаза!

— Нет, Павел Павлыч, что ты, братец, ни говори, а этого мальчика надо приютить: из него первостатейный артист выйдет; а стоить он будет немного... Только бы приняли — уж и это ему лестно.

— Как знаешь!

— Да к тому ж мне известно, что под меня подкопы ведут. Караулов списывается с Беляковским; меня ругает на чем свет стоит — все за тебя!.. Ну, да пусть его переходит — невелика потеря!.. А вот Кроков... этого жалко.

— Разве и он недоволен?

— Не говорит ничего, да я стороной слышал, что он тоже норовит на другую сцену... Жена, говорят, отдыху не дает. «Не хочу» да «не хочу оставаться в Турухтанске...» Он-то сам ничего бы.

— Ну, послушаем твоего новобранца. Зови его сюда.

Мыльников привел Дмитрия. Мирвольский принял его с видом покровительства. Дмитрий должен был тотчас же прочесть монологи, читанные у Леонида Сергеича.

— В самом деле недурно,— заметил Мирвольский.

— Что Ольга Васильевна? — спросил Леонид Сергеич,— встала?

— Давно.

— Вот ее бы попросить на совет.

— Что же! Позвони и пошли за ней!

— Я пойду сам.

И Мыльников выскользнул из кабинета.

— Ты, верно, часто бывал в театре? — спросил Мирвольский Дмитрия, стоявшего перед ним.

Павел Павлыч сидел с ногами на диване и играл кистями своего халата.

— Нет-с,— отвечал Дмитрий,— я только раз и был, как вы играли в Голодаеве.

— Как же это пришло тебе в голову сделаться актером?

— И сам не знаю-с.

Мирвольский закурил трубку и пускал дым, не глядя на гостя.

Появление Ольги в сопровождении Мыльникова смутило Дмитрия, потому что ему пришлось раскланяться с нею (он сделал это до крайности неловко и покраснел) и отвечать на несколько ее вопросов.

— Послушайте, Ольга Васильевна! что-то вы скажете? Прочитай-ка что-нибудь, любезный.

Дмитрий читал на этот раз далеко не с тою уверенностью, как за несколько минут перед тем: присутствие молодой хорошенькой женщины, которая пристально и со вниманием смотрела на него и, казалось, следила за каждым его словом и выражением, приводило его в сильное смущение.

— При тебе он конфузится,— заметил вполголоса Мирвольский, наклонясь немного к Ольге.

Ольга бросила на него беглый взгляд, слегка покачала головой и опять устремила глаза на Дмитрия. Он слышал слова Мирвольского, видел молчаливый упрек Ольги и смутился еще больше.

— Ваше мнение, Ольга Васильевна? — спросил Мыльников, когда Дмитрий кончил.

— Мне нравится в нем то,— отвечала Ольга,— что он, как видно, много занимался ролями, из которых читал отрывки. Некоторых мест он не понял и придает им странное выражение; но это со временем сгладится, если он серьезно займется своим делом. Мне кажется, из него может выйти полезный артист.

Щеки Дмитрия горели, когда он слушал это суждение о себе; только изредка взглядывал он исподлобья на Ольгу.

— Так хочешь к нам? — обратился к нему Леонид Сергеич.

— Очень бы желал-с,— отвечал Дмитрий.

— В таком случае зайди ко мне завтра, и мы с тобой покончим.

— Мне завтра нельзя-с.

— Ну послезавтра.

— Тоже нельзя-с.

— Что так?

Дмитрий объяснил, что находится под началом строгого дяди, у которого в другой раз, пожалуй, и не отпросишься в город.

— Так он тебя, пожалуй, не пустит и в актеры? — спросил Мыльников.

— Не пустит-с,— отвечал Дмитрий.

— Так как же ты сделаешься?

— Уйду.

— Без его позволения?

— Да-с.

— Вот охота-то припала! — заметил, смеясь, Мирвольский.

— Как же ты уйдешь от него без позволенья? — спросил, перебивая Мирвольского, Леонид Сергеич.

— Так же и уйду-с. Ведь он не отец мой... Из родительской воли я бы не выступил... Ну, а он...

— Ведь тебе много жалованья нельзя дать; чем ты жить-то станешь?

— Как-нибудь проживу-с; только бы вы мне наверное сказали-с, что примете меня.

— Что же? я принимаю, принимаю.

— Так я завтра же уйду от него.

— На первый раз я, пожалуй, возьму тебя к себе на квартиру, а там — увидим, как пойдет дело.

Дмитрий поблагодарил и раскланялся.

— Эх, брат, сидел бы себе за прилавком,— сказал ему на прощанье Павел Павлыч,— и покойнее, да и выгоднее.

Ольга с упреком посмотрела на него.

Дмитрий не помнил себя от радости. Почти бегом пустился он в дом к Голоушину, наскоро впряг свою лошадь, наскоро простился с хозяином и поскакал в Бор.

По мере приближения к дому им начала, однако ж, овладевать такая же несносная тоска, какая мучила его целый день накануне. Заранее придумывал он каждое слово предстоящего ему объяснения с дядей; но фразы не клеились у него в голове, и он под конец решился действовать и говорить, как вспадет на мысль. Дмитрий чувствовал, что неожиданное решение его страшно озлобит дядю; знал он, что много придется ему вытерпеть всякого горя, прежде

чем вознаградит его за претерпенное хотя небольшой успех,— и все-таки решение его было непоколебимо.

У Клима Лукьяныча все сильнее разбаливалась поясница, и от этого взгляд его на все окружающее становился угрюмее и недовольнее. По расчетам старика, Митя мог в час, много в два часа окончить порученное ему дело и воротиться к обеду, то есть к полудню. Но вот Лукьяныч и пообедал и вздремнул с полчаса; а Дмитрия все нет.

— Опять пропал! — бормотал он, припоминая, как ждал племянника до поздней ночи на ярмонке.

Осиповна боялась нос показать в горенку, где муж ее грел на лежанке больную спину. Раза два-три в течение дня ей нужно было войти туда, и Лукьяныч всякий раз обращался к ней с упреком.

— Что, нет еще баловня-то твоего? — говорил он, охая и ворочаясь.— Небось на дорожку и денег дала. Погуляй, мол, родной, потешься в городе... Ох, ты-ы!

— Задержали, знать, Лукьяныч... Кабы все покончил, когда бы, чай, не приехал. Давно бы уж здесь был.

— Да, верный слуга — нечего сказать. Кормим, да поим, да греем на свою шею... О-ох! спинушка... Утешит на старости.

— Уж он ли, Лукьяныч, парень не смирный...— осмеливалась скромно возразить старуха.

— Вестимо... о-ох!.. вестимо, смирный... Пороть бы его да пороть за этакое смиренство — вот что.

Осиповна поневоле умолкала.

Наступили сумерки, когда Дмитрий возвратился. Тетка встретила его предостережением.

— Лукьяныч-то сердит нынче, Митенька,— говорила она,— ай-ай осерчал, что ты долго не едешь. Смотри, не напустился бы на тебя.

— Ничего! — отвечал ей племянник и даже, к великому удивлению старухи, особенно бойко тряхнул кудрями.

Но, войдя в жарко натопленную комнату, где охал старик, Дмитрий оробел едва ли не больше тетки, которая стала за дверью и притаила дыхание в ожидании крупного разговора.

— Что рано? — спросил старик, с оханьем повертываясь лицом к племяннику,— где изволил пропадать?

Глаза его ярко сверкали и впотьмах, как у кошки.

— Долго ждал,— отвечал Дмитрий.

— Где?
— В магистрате.
— Все сделал?.. о-ох!
— С Пантелея Алексеича денег не получил.
— Так и знал... о-ох!.. А с Инзарцева?
— С Инзарцева получил.
— Сполна?
— Сполна.
— Дай сюда да свечку зажги.

Дмитрий подал деньги и принес свечу. Старик, сосчитав деньги, вынул из-за пазухи кожаный кошелек, висевший у него на шее на кожаном же гайтане, и уложил их туда.

— Ну, а что в магистрате сказали?

Дмитрий отвечал что.

— Хорошо; ступай.

Он не двигался с места, располагая начать объяснение с дядей теперь же; робость боролась в нем с желанием высказаться, и он решительно не знал, как начать.

— Что же ты... о-ох! что же ты стоишь? — сказал старик, с усилием привставая на ладонях, чтобы повернуться лицом к стене.

«Что бы ни было,— подумал Митя,— надо покончить это сегодня; завтра, пожалуй, и духу недостанет».

— Иди на свое место,— проговорил с сердцем старик.

— Мне с тобой, дяденька...— начал Дмитрий, переминаясь,— поговорить надобно.

— Что-о? — вскричал старик, оставаясь в том положении, какое принял, чтобы повернуться, и бросил на племянника взгляд, в котором отражались удивление и недовольство.— Об чем тебе со мной говорить?

— Есть одно дело...

— Ну, говори! что такое?

Старик оперся на локоть и устремил на Дмитрия глаза. Обращение племянника казалось ему небывалою и непростительною дерзостью.

— Отпусти меня! — сказал Дмитрий.
— Отпустить! куда?
— Совсем от себя отпусти!
— Что-о?.. совсем!.. Да куда ж я тебя отпущу?
— Куда я хочу.
— Тьфу ты!.. да говори, куда ты хочешь?
— Хочу сам по себе жить.

Что-то вроде стона, смешанного со смехом, вырвалось из груди старика. Он вдруг распрямился и сел, свесив с лежанки ноги.

— Да как ты посмел говорить-то мне это? — захрипел он.— Как у тебя язык повернулся? Пропасть захотел? душу свою загубить?.. Кто тебя, нечестивца, научил-то этому? Сам дьявол, что ли?

Старик смолк, задыхаясь от бешенства.

Глаза горели у Дмитрия и сердце так билось, что не дрогнув пошел бы он в эту минуту на батарею, сыплющую градом ядра и картечь.

— Отпускаешь или нет? — спросил он твердым голосом.

— Да куда же, разбойник? куда?

— На все четыре стороны.

— Что, шутить ты со мной вздумал? али взаправду?

— Я не могу больше жить у тебя. Сил моих не стает сидеть как собаке на цепи и ничего не слыхать, кроме брани. Терпел долго, да уж нет — не могу...

— Не можешь? а!.. А если заставят?

— Кто меня заставит?

— Я.

— Ты меня не смеешь заставить, коли я сам не хочу. Я не малолеток...

Старик наверное бросился бы с лежанки на племянника, если б поясница позволяла ему встать на ноги. Он только заскрипел зубами.

— Теперь я выбрал себе дело по сердцу,— продолжал парень, прямо и открыто глядя на старика,— примусь за это дело — авось не пропаду! Хотел было расстаться с тобой мирно, да, видно, богу этого не угодно; расстанемся и так. Спасибо тебе за твою хлеб-соль...

— Подавись ты ей! — прохрипел старик.

— За твои заботы обо мне — что одевал да обувал, что грамоте научил,— продолжал все с большею смелостью Дмитрий, словно не слыхал злобного возгласа дяди.— Постараюсь заплатить тебе за это добром.

— Заплатил, проклятый! — вскричал с хриплым смехом старик.

Осиповна дрожала как осиновый лист, слыша этот разговор.

— Прочь с глаз моих! — крикнул Лукьяныч,— прочь! иди куда знаешь!

— Прощай! — сказал Дмитрий, выходя из комнаты.

За порогом встретили его громкие рыданья тетки. Она обхватила голову Дмитрия и говорила прерывающимся от плача голосом:

— Митенька! родной ты мой! что это ты задумал-то?

— Старуха! — крикнул с лежанки Лукьяныч.

— Сейчас, батюшка,— отвечала Осиповна.

Она торопливо вытерла глаза, но, взглянув на Дмитрия, опять залилась слезами.

— Да куда это тебе захотелось, Митенька? — пролепетала она чуть слышно.

— В актеры,— громко отвечал Дмитрий.

Осиповна всплеснула руками.

— Старуха! — крикнул опять Лукьяныч.

Она бросилась к мужу, и в то время, как отворяла дверь, Дмитрий слышал злобный голос дяди:

— Будь ты проклят, окаянный!

Через час по дороге от Бора к Туруханску шагал пешеход в тулупе, валеных сапогах и меховой шапке, с кульком под мышкой. Ветер подымал снежную серебристую пыль и сыпал ею в самое лицо Дмитрия.

ГЛАВА XX

От весны до весны

Любознательный старожил Туруханска, в течение тридцати с лишком лет занимающийся метеорологическими наблюдениями, записал уже в своем дневнике несколько оттепелей и как праздника ожидает дня, когда отметит, что река вскрылась ото льда. При этом он вдается в ученые соображения — и на основании долголетнего опыта определяет заранее время вскрытия реки.

Совершенно иная, чисто практическая цель заставляет с нетерпением ждать весны некоторых членов мыльниковской труппы. Ждет ее Мирвольский, списавшийся с Наруковичем, чтобы отправиться на голодаевскую ярмонку; ждет рябой и громогласный Караулов и чета Кроковых. Трагик и комик с женою окончательно расстаются с Туруханском: они надеются пересесть на более теплые, более защищенные от прихотей погоды места. Да явится им в лице новых содержателей полное исполнение их надежд! Неизвестно, впрочем, чего ищет Караулов: цена пенника

всюду одинакова, а в заведении под вывескою графинчика с двумя рюмками и чайника с двумя чашками трагик пользуется таким незыблемым и обширным кредитом, какого едва ли еще дождется где-нибудь. Что госпожа Крокова (женщина очень желчного сложения) никак не хочет оставаться долее в Турухтанске, вопреки желанию мужа, человека смирного и неприхотливого,— это понятно: в оперетках и драмах с пением, в которых дотоле выказывался ее талант, она принуждена уступить свое место бездарной, по ее мнению, и вовсе не умеющей петь Ольге; к тому же самолюбие госпожи Кроковой давно уже не удовлетворяется тою платой, которою вознаграждает ее труды Леонид Сергеич.

Мирвольский считает необходимым отправиться на некоторое время из Турухтанска: надо же хоть сколько-нибудь поправить обстоятельства, пришедшие в самое неприятное положение. Он, наверное, последовал бы примеру Караулова и Кроковых и тоже покинул бы навсегда голубоглазого Мыльникова; но до истечения срока заключенного с ним контракта остается еще целый год. Леонид Сергеич ничего не теряет, соглашаясь на отпуск своего главного артиста: во время отсутствия Мирвольскому, разумеется, не будет выдаваться жалованье; а присутствие его не может быть особенно важным для труппы в глухое летнее время. Увы! Леонид Сергеич, как ни пламенно желание его сняться на лето с места и поискать благораствореннейшего климата, должен сидеть на турухтанской почве. Крылья у него подрезаны.

Ольга не едет с Павлом Павлычем. Осип Фомич в ответе на письмо Мирвольского, предлагавшего ему услуги Ольги, говорил, что «невзирая на свое искреннее желание иметь у себя такую актрису, как Ольга Васильевна, не может согласиться на предложенные условия даже вполовину, ибо средства его того не дозволяют»... Осип Фомич, как видите, порасчетливее Мыльникова, хотя грудка у него пушистее.

Ольга не решалась спорить и этим раздражать Павла Павлыча, когда он высказывал ей намерение свое взять ее с собой на ярмонку. Письмо Наруковича окончательно избавило ее от неприятности противоречить Павлу Павлычу, и она очень рада, что избавлена от поездки: ей сильно не хотелось являться на сцене перед обществом, в котором она жила, возбуждать общее любопытство, толки и прочее.

Темно и грустно прошел для Ольги конец зимы. И она и Павел Павлыч очень неаккуратно получали от Леонида Сергеича жалованье. Мирвольский возлагал большую надежду на карты; Ольгу, наоборот, они совершенно лишали надежды, и правда была на ее стороне. Пока можно было, то есть пока находились податливые люди, Мирвольский делал займы; но этот источник скоро иссяк, долги возросли до значительной цифры, и не видно было исхода из этого положения. Очень и очень часто случалось, что в доме не было ни полушки, что Ольга сидела без обеда, когда Павел Павлыч, отправившись с утра на поиск денег, пропадал до полуночи. Все мало-мальски ценное из вещей Ольги было заложено, и при беспечности Павла Павлыча не уплачивались даже проценты.

Недостатки и лишения, которые приходилось Ольге терпеть, не были бы для нее так тяжелы, если б она не замечала, как возрастает холодность к ней Павла Павлыча.

За кулисами ведутся против нее интриги, в которых примирились все партии; само собою разумеется, что в интригах этих участвует только женская половина труппы. Предводительницею враждебной стороны может по справедливости назваться девица Бушуева-старшая. В качестве застрельщиков действуют черные глазки Наденьки — и, сколько можно подозревать, действия их не пропадают даром. Не имея возможности вредить Ольге во мнении публики, театральные дамы стараются доставить ей побольше неприятностей за сценой. Тонкая дощатая стена, отделяющая уборную Ольги от уборной других актрис, заставляет их говорить очень громко, когда дело идет об Ольге, и каждый вечер, когда она участвует в спектакле, приходится ей выслушивать кучу самых обидных суждений о себе. Из разговора милых дам, с которыми так нечаянно столкнула ее судьба, узнает она и такие вещи, о которых до той поры не имела понятия. Ольга глотает слезы, поневоле подступающие к глазам, и молчит, думая кротостью покорить вражду, причины которой не понимает; за нее горячится горничная Агаша и грозится выцарапать глаза «этим подлянкам». Она наверное привела бы в исполнение над кем-нибудь из актрис свою угрозу, если б Ольга не укрощала в ней буйных порывов.

Мирвольский делает в труппе решительно все, что захочет. Леонид Сергеич, вероятно, сознает свое бессилие сравнительно с ним; иначе он не представлял бы собою

совершеннейшего примера слепого покорства. Он не делает шага без совета Мирвольского, и если Павел Павлыч не совсем аккуратно получает с него деньги, так в этом виною, разумеется, не недостаток доброй воли Мыльникова.

А между тем Леониду Сергеичу теперь ясно как день (как самый светлый солнечный день), что от двух новых сюжетов польза была только в начале их поприща на турухтанской сцене. В то время как березки на бульваре стряхают со своих тощих веток последние следы снега, Мыльников чувствует у себя на душе холодную зиму. Отъезд Караулова и Кроковых мало радует его, хотя чрез это уменьшатся расходы.

Дмитрий, поступивший на сцену под именем Борского, играет пока самые незначительные роли, и только после отъезда Мирвольского и Караулова Леонид Сергеич думает дать ему более обширное поле деятельности. Любовь к искусству так сильна в Мыльникове, что при всей скудости своих средств он принял на себя все заботы о молодом актере. Борский живет у него в доме, антрепренер одевает и кормит его, доставляет ему книги, к которым Дмитрий пристращается все больше и больше, и даже дает ему маленькое жалованье.

Две березки на площади напрягают все свои силы, чтобы выкинуть два-три листка. Перекладная телега умчала из Турухтанска трагика; вскоре последовала за нею бричка, понесшая в себе комика и его супругу с грудным ребенком.

Мирвольский собирается в дорогу.

— Ты так-таки не можешь дать мне нисколько денег? — спрашивает он антрепренера.

Антрепренер клянется и божится, что это для него так же невозможно, как невозможно, например, не любить искусства. Клятвы и божба на этот раз совершенно излишни, потому что самый вид Леонида Сергеича свидетельствует, что он находится теперь, как говорится, «в тонких»: в улыбке его нет прежней медовой сладости, голубые зрачки редко закатываются, и зубы таятся за пухлыми губами; одежда больше чем скромна.

Павел Павлыч совсем собрался, а выехать ему не с чем. Дома нет ни копейки.

— Весь город объехал,— говорит он, возвращаясь к обеду домой,— и нигде не мог добыть денег.

Шляпа его летит в противуположный угол комнаты, что случается с нею всякий раз, когда владелец ее не в духе.

— Надо продать лошадей.

Лошади проданы (карета сбыта с рук за месяц перед тем); Павел Павлыч оставляет Ольге на хозяйство пятьдесят рублей и уезжает.

Театр начинает пустеть; большая часть обычных посетителей его расселилась на лето по деревням; Леонида Сергеича одолевает хандра. Впрочем, несмотря на плохие сборы, он все-таки пламенеет любовью к искусству и питает сомнительные надежды на перемену обстоятельств.

Дмитрий начинает появляться в главных ролях, но не производит на публику большого впечатления, хотя игра его гораздо художественнее игры Мирвольского. Впрочем, все-таки Борский сразу оценен как артист с дарованием.

Леонид Сергеич в восторге от своего питомца и, только любуясь им, забывает отчасти удары преследующей его судьбы.

Он очень часто навещает Ольгу и редко застает ее негрустною.

— Что это вы все так печальны, Ольга Васильевна? Не получали писем от Павла Павлыча?

— Нет.

— А пора бы. Вот уж другая неделя, как уехал. Боже мой! я огорчаю вас, Ольга Васильевна! Простите меня! полноте! Ах! что я наделал... о чем же плакать? Вот завтра почта — верно, придет письмо.

— Я, право, не знаю, что мне делать, Леонид Сергеич... Мы в таком положении...

— Погодите! он привезет кучу денег.

— Я все думаю оставить эту квартиру. Бог знает, для чего платим так много. Когда мы приехали сюда, у нас было довольно денег; а теперь... только я все боюсь, что Поль будет сердиться, если я перееду. А здесь мы пропасть задолжаем. Как мне быть? научите!

— Вы это хорошо придумали, Ольга Васильевна. В самом деле, бросьте этот дом. Вот в соседях у меня отдается небольшая квартира — и недорога. Переезжайте туда!

— А когда вернется Поль...

— Вы и с ним можете поместиться там очень хорошо. Сердиться-то он будет — так; но уж я беру это на свой страх. Скажу, что я вас уговорил; пусть меня бранит.

Дня через два Ольга переселяется из сизогривовского дома в соседство Мыльникова.

Обстоятельство это доставляет большое удовольствие сестрицам Бушуевым.

— Что? теперь, знать, полно нос-то задирать? — говорит Маргарита Прокофьевна.— Небось туго пришлось.

— Слишком уж вздумали пыль в глаза бросать! — замечает Наденька.

— Ненадолго и хватило! Теперь вон пешком изволит ходить — оно и лучше; а то, бывало, карета... скажите пожалуста, как важно! И прогорели с каретами-то!

Девицы Бушуевы не ограничиваются домашними пересудами о своей сопернице. Они всеми мерами стараются «осаживать» (это их выражение) Ольгу за кулисами.

На каждом шагу слышит она самые досадные отзывы о себе, самые пошлые клеветы. Она молчит, хотя трудно оставаться безмолвною, хотя сердце ее ноет и болит от этих обид. Молчание Ольги еще более распаляет злобу ее соперниц: они, кажется, скоро не будут давать ей проходу. Немало способствует всеобщему раздражению и то, что Ольга что ни день приобретает более твердости и смелости в игре и уже оставила далеко за собой всех турухтанских актрис.

Мыльников так рассеян, что не видит притеснений, направленных на Ольгу; господа артисты заняты своим делом, и женские ссоры за сценой до них не касаются.

Только новый актер возмущается при виде этих пошлых нападок. По врожденной ли дикости, или просто по нежеланию Дмитрий не сошелся ни с кем из товарищей и кажется чужим за кулисами. Он чувствует прилив к сердцу сильной злобы всякий раз, как до слуха его долетают оскорбительные для Ольги речи актрис. Наконец ему становится трудно сдерживать себя: Ольга внушает ему глубокое состраданье.

Незнакомый с так называемыми правилами общежития, Дмитрий решается заступиться за бедную женщину и вовсе не предвидит дурных последствий от такого заступничества.

Однажды, в промежутке двух пиес, он подслушивает нелепейшую сплетню, сочиненную старшею госпожой Бушуевой. Сердце в нем закипело, глаза загорелись, и он подходит к Маргарите Прокофьевне.

— Всему есть мера,— говорит он ей дрожащим от досады голосом,— долго ли вам обижать эту женщину, пользуясь тем, что ее некому защитить?

Маргарита Прокофьевна смотрит на него удивленными глазами и потом заливается звонким хохотом.

— Что такое?.. ха-ха-ха!.. Повторите, сделайте одолжение!

— Я не позволю вам говорить таких вещей, какие вы сейчас говорили.

Старшая Бушуева продолжает хохотать.

— Слышишь,— восклицает она, обращаясь к сестре,— ха-ха-ха! он не позволит?

Наденька, не столь еще храбрая, как сестрица, не произносит ни слова, но слегка улыбается.

— Вы меня совсем перепугали,— продолжает Маргарита Прокофьевна,— какие у вас страшные глаза! Извините, вперед не буду. Ха-ха-ха!

— Нечего хохотать,— говорит Борский, едва владея собой,— я не шучу с вами. Если вы позволите себе еще подобную выходку насчет ее — будете раскаиваться.

Наденька решается сказать:

— Ах, какой рыцарь!

— Извините,— говорит, переставая хохотать, но злобно и насмешливо улыбаясь, Маргарита Прокофьевна,— мы не знали, что вы в таких близких отношениях, что должны играть роль защитника...

— Что вы хотите сказать?

— Ничего-с, понимайте как знаете.

Режиссерский звонок прерывает эти объяснения.

Агаша, слышавшая часть их, рассказывает Ольге о разговоре Бушуевых с Борским. Ольга встревожена; она спешит переодеться, чтобы поскорее ехать домой.

Едва вышла она из уборной, ей встречается Дмитрий.

— Ах, Борский! — говорит ему Ольга,— благодарю вас, что вы вздумали заступиться за меня; только не напрасно ли это?.. вы вооружите их еще больше.

Она подает ему руку, и Дмитрий робко пожимает ее. Ему хотелось бы поднесть ее к губам и крепко поцеловать; но он не смеет этого сделать.

— Теперь вы не услышите ничего, что слыхали от них прежде,— говорит он,— ручаюсь в этом.

— Благодарю, благодарю; прощайте.

— Прощайте, Ольга Васильевна.

Она опять подает ему руку.

В это время в стороне слышится сдержанный смех. Борский оборачивается.

Маргарита Прокофьевна, проговорив: «Парочка!» исчезает за кулисой.

Впрочем, она хорошо видела, каким огнем сверкнули в эту минуту глаза Борского, и, нет сомнения, не произнесет уже громко ни одного слова, обидного для Ольги...

— Вот бешеный-то! — замечает она об нем сестре, возвращаясь домой.

Маргарите Прокофьевне положительно известно, что поведение Ольги чуждо упреков; что Борский вступился за нее просто «сдуру» (чего ждать от него? деревенщина — и только!); что Ольга не обращала на него никакого внимания, хоть он, может быть, и влюблен в нее; что никто и никогда не слыхал между ними другого разговора, кроме «здравствуйте» да «прощайте»... Тем не менее из уст старшей Бушуевой выходит сведение, которое, обойдя всех членов труппы, возрастает в гнусную сплетню, не разделяющую имен Ольги и Борского.

До ушей Ольги сплетня эта не достигает, потому что повторяется всеми шепотом, и, конечно, не оттого Ольга так печальна, так бледна и так заметно худеет.

Вот уже два месяца, как Мирвольский выехал из Турухтанска, а она не получила еще ни одного письма. Она пишет в Голодаев каждую неделю, а ответа нет и нет. Еще две недели — конец ярмонке, и Мирвольский должен возвратиться.

Ольга считает дни.

Вот прошел и тот день, в который год тому назад они приехали в Турухтанск. Даже беспечный Леонид Сергеич начинает беспокоиться.

— Что это значит? Уж не совсем ли он нас оставил?

— Этого быть не может,— отвечает Ольга, хотя и не вполне уверена, что этого точно не может случиться.

— Как это ему не грех и не стыдно — никому не черкнуть ни словечка? И я ведь писал к нему — ответа не удостоился.

— Будем ждать.

И Ольга ждет. Длинны, как недели, кажутся ей дни.

Наконец Мирвольский возвратился в половине августа.

— Ты не могла выдумать ничего умнее, как переехать в эту избу?

Вот что говорит он Ольге тотчас после первого, очень холодного приветствия.

— Мы завтра же переезжаем на старую квартиру. Скажи, пожалуста, с чего ты взяла оставлять ее?

Ольга объясняет переезд свой желанием сократить издержки.

— Как глупо! Уж ты не считаешь ли меня нищим?

Мирвольский вынимает из кармана и бросает на стол пачку смятых сотенных бумажек.

— Вот вам на расходы.

— Откуда у тебя столько денег? — спрашивает Ольга.— Ведь Нарукович...

— Ну, об этом после. Посмотри лучше, что я привез тебе.

Куча платьев, большею частью очень ценных, кружева, шали, множество мелких золотых вещей удивляют Ольгу.

С следующего же дня начинается для нее прежняя жизнь; Мирвольский окружает себя опять многочисленными приятелями, сорит деньгами, задает вечера; у него отличный экипаж, дорогие лошади.

И по-прежнему он очень холоден к Ольге. Бедная женщина, страстно любящая его, старается оправдывать все недостатки его. Павел Павлыч, по-видимому, вовсе не замечает ее бледности и худобы.

Недели через полторы по возвращении домой, как-то за обедом, он обращается к Ольге с вопросом:

— Отчего у нас не видать Борского?

— Разве ты приглашал его? — говорит Ольга.

Павел Павлыч как-то странно смотрит на нее.

— Он у нас и прежде не бывал...

— Не бывал?

— Ты, конечно, помнишь...

— Гм... да. Но он очень порядочный малый.

— Кажется. Я знаю его только потому, что в твое отсутствие он заступился за меня, когда театральные дамы выдумали обо мне какую-то сплетню.

— А!

— Я тебе говорила об этом.

— Не помню. Сказать ему, чтобы он бывал у нас?

— Как хочешь.

— Однако?

— Отчего ты так странно смотришь на меня, Поль?

— Я... нисколько. Смотрю, как всегда.

Этот разговор напоминает Ольге замечание, сделанное Маргаритой Прокофьевной, когда она увидала ее вместе

с Борским после их ссоры, и Ольга думает (очень справедливо), что до Павла Павлыча, верно, дошла какая-нибудь сплетня; но он не хочет объяснить своих намеков, и новое беспокойство западает в душу Ольги.

Глядя на роскошь, на расходы, которые позволяет себе Мирвольский, можно подумать, что у него значительное богатство; он живет, как человек, имеющий тысяч тридцать годового дохода.

Наступает зима, от которой Леонид Сергеич ждет добра для своего театра, и точно, делишки его немножко поправляются; впрочем, он может уплатить только долг артистам; о погашении посторонних долгов и приведении в исполнение некоторых планов, касающихся театральных улучшений, нечего и думать. Леонид Сергеич начинает сознавать, что уже недолго ему служить искусству... Тугие пришли времена! К концу зимы и Мирвольский с сокрушением видит, что его капиталы истощаются.

— Как ты думаешь,— говорит он Ольге,— не приняться ли мне за антрепренерство?

Ольга, как на пример выгод от этого дела, указывает на Мыльникова.

— Что Мыльников? Бестолковая голова — и больше ничего. А вот хоть бы Нарукович!

Мысль эта, по-видимому, очень занимает Мирвольского, потому что он от времени до времени говорит очень серьезно о том, что заняться содержанием театра было бы выгодно.

Около великого поста, к которому Леонид Сергеич заранее придумывает концерты и живые картины, внимание города Турухтанска почти исключительно занято новым лицом, которое явилось в обществе: это некто Сергей Николаевич Осмовский, приезжий из Петербурга. У жены его есть, как говорят, небольшое именье в Турухтанском уезде, которое она продает, и приезд Осмовского в Турухтанск объясняют желанием осмотреть предварительно назначенную в продажу деревню. Впрочем, для чего бы ни было, он приехал — и это главное. Осмовский останется ненадолго, и радушные, гостеприимные турухтанцы чуть не на руках носят петербургского приезжего.

Для такого дорогого гостя нарочно устроивается спектакль, в котором Мыльников соединяет все лучшее. В первой и главной пиесе играет Ольга.

— Удивительно знакомое лицо,— говорит Осмовский, наклоняясь к своему соседу, когда она появилась на сцене,— как ее настоящая фамилия?

— Право, не знаю,— отвечает сосед,— но погодите, я представлю вам ее любовника: вы можете спросить у него.

— Я почти убежден, что знаком с нею, но когда и где видел ее, решительно не могу припомнить.

После спектакля Осмовский знакомится с Павлом Павлычем, который удовлетворяет его любопытство.

— Ах боже мой! — говорит Осмовский,— да мы старые знакомые.

— Неужто?

— Да; ведь я женат на графине Беловодской.

— На той самой, у которой воспитывалась Ольга?

— Да; она, вероятно, помнит меня.

Мирвольский предлагает Осмовскому заехать к нему после спектакля на чашку чая, и Осмовский с удовольствием принимает приглашение.

Ольга очень рада гостю; она с величайшим любопытством и сочувствием расспрашивает его об Александре Николаевне, вспоминает свое житье у нее в доме и на время совсем забывает горе своей домашней жизни.

Осмовский ездит к Мирвольскому каждый день, и по вечерам и по утрам. Настает и великий пост.

— Однако Сергей Николаич загостился-таки у нас,— говорят в городе.

— Немудрено,— замечают на это,— у него есть здесь магнит. Вы знаете, как он учащает к Мирвольскому.

Это общий голос — и он справедлив.

Сначала в посещениях Осмовского Ольга видела только желание бывать у нее как у старой знакомой; но мало-помалу замечает совсем другое — и она глубоко огорчена.

Между тем казна Мирвольского уже почти истощена; он пытается сделать значительный заем у Осмовского, и это ему удается.

Вскоре вместо букетов, которые Сергей Николаич ежедневно привозил Ольге, он присылает ей очень ценный подарок. Это неприятно поражает Ольгу, и она говорит Павлу Павлычу:

— Объясни мне, Поль, что значит этот подарок. Я не могу его принять.

Павел Павлыч нахмуривается.

— Ты находишь это неприличным? — спрашивает он с каким-то странным выражением в голосе и с не менее странною улыбкой.

— Разумеется.

— Вы, может быть, думаете, что приличнее...— начал было Мирвольский, но вдруг останавливается.

Ольга смотрит на него в изумлении.

— Что, что такое? — спрашивает она.

Мирвольский продолжает хмуриться и расхаживает по комнате.

— Что хотел ты сказать, Поль? — снова спрашивает Ольга.

Павел Павлыч остановился перед нею и заложил руки в карманы.

— А когда у вас назначено свиданье Борскому?

Это уж слишком жестоко. Ольга упала головой на подушки дивана и громко зарыдала.

Павел Павлыч, очень довольный эффектом, который произвело его несправедливое подозрение, удаляется.

Ольга едва приходит в себя. Слезы душат ее, сердце бьется усиленно, голова горит. Она подходит к окну, отворяет форточку и вдыхает в себя холодный воздух вечера, с силою врывающийся в теплую комнату и взвевающий волосы на висках ее.

На следующее утро, когда Павел Павлыч послал горничную звать Ольгу в театр на репетицию, Ольга не могла ехать. Она потеряла голос.

ГЛАВА XXI

Из стаи в стаю

Деятельность Мыльникова, устремленная на пользу искусства, кончилась. Труппа его рассеялась во все стороны. Как раненая птица, сидел он на краю своего разоренного гнезда и не знал, что начать. Борский сколько мог утешал его. Один он не оставил Леонида Сергеича, помня все заботы его о нем.

— Я чувствую, Леонид Сергеич, что не пропаду со своими способностями,— говорил Дмитрий,— только уж довольно с меня жить в провинции. Насмотрелся я на нее. Если б достать денег на проезд в Москву, поехали бы мы

туда — там дело, наверное, устроилось бы... Не хотелось бы расставаться с вами, Леонид Сергеич.

— Спасибо тебе, Митя, спасибо,— отвечал слезливым голосом Леонид Сергеич.— Эх! кабы деньги! Да вот погоди; жду я сюда одного хорошего приятеля — он меня ссудит. Тогда все уладим; поедем в Москву... А там — уж и говорить нечего — будет хорошо.

Зрачки Леонида Сергеича скрывались, и на золотистых ресницах его показывались слезы умиления.

— Вся беда вышла от излишней вашей доброты, Леонид Сергеич,— говорил Митя.— В этом деле без расчету действовать нельзя. Ведь вы чуть не столичное жалованье платили Мирвольскому и Ольге Васильевне. Сначала оно, конечно, и ничего бы, да ведь здешняя публика постоянно не может поддерживать одного и того же. Ей нового надо.

— И хоть бы сколько-нибудь попомнил, как я его ценил,— замечал Мыльников, вспоминая о Мирвольском.— Он же меня и обидел на прощанье больше всех.

— Чего от него было ждать? Это жадный и дурной человек. Стоит только посмотреть на его домашнюю жизнь...

— Уж не говори! Жаль бедняжку Ольгу Васильевну. И что меня удивляет, Митя,— как она его любит, несмотря на все его гадости... Мне кажется, если б он, как поехал отсюда, велел ей словно собачонке бежать за его экипажем, она повиновалась бы. Такая слепая и безграничная любовь! А он как камень бесчувственный... И не скоро же я его раскусил, что за птица. Сам был, знаешь как, ослеплен.

— Всему злу корень, кажется, эти сплетницы Бушуевы.

— Да, одного поля ягодки. Оплели, опутали его. Как-то они там живут у Наруковича?

— Если б были средства, можно бы съездить туда — посмотреть, что делается у этого хваленого Наруковича.

Это желание было одним из самых заветных желаний Дмитрия: дорого бы дал он, чтоб быть опять в том городе, где Мирвольский и Ольга.

— Вот где денег-то достать? это главное.

Не прошло и недели после этого разговора, как однажды утром, очень рано, Дмитрия разбудили, говоря, что какой-то человек спрашивает его по делу, не терпящему отлагательства.

Борский поспешно встал и вышел в прихожую. Там ждал его дядин работник — Максим. Дмитрий не видал

его с самого ухода своего из села, очень обрадовался и бросился обнимать его.

— Здравствуй, голубчик Максим; как это ты попал ко мне?

— Давно хотелось повидать тебя, Дмитрий Алексеич, только все не удавалось. И бывал со стариком в городе — да отлучки-то не было.

— Как же теперь-то ты?..

— Да Марья Осиповна прислала спроведать; стосковалась совсем. «Посмотри, говорит, Максимушка, как он, мой родной, живет; чай, забыл обо мне; а уж я-то, говорит, все убиваюсь по нем». Я за тобой приехал, Дмитрий Алексеич; одевайся да поедем вместе...

— Куда?

— Вестимо куда, к нам на село.

— А дяденька-то?

— Чего дяденька! Дяденьку вчерась схоронили...

— Полно ты!

— То-то я и приехал за тобой.

— Да как же он умер-то?

— Да совсем скоропостижно. Маялся это он все поясницей; и не вставал почитай с лежанки...

— А в лавке кто сидел?

— Нанят был Михайла, бывший инзарцовский приказчик — тутошный, городской...

— Да, так как же умер-то старик?

— Ну, вот все поясницей маялся; а потом вдруг язык отнялся. Без языка-то уж недолго прожил: сутки двое никак, али и того нет. Кровь, слышь, не хотел бросить. Кондрашка и пришиб.

Дмитрий, не медля ни минуты, сел в телегу с Максимом и покатил в Бор.

Старуха Осиповна ждала приезда племянника с величайшим нетерпением. При дребезжанье каждой телеги, проезжавшей мимо, она высовывалась в окно, и, когда издали узнала свою буланку под голубой, узорами расписанной дугой, выбежала на улицу.

Плачу и причитаниям старухи, казалось, не будет конца, так же, как потом не было видно конца разным закускам, которыми непременно хотела угостить племянника многолюбящая тетка.

— Я послала бы за тобой и пораньше, Митенька,— говорила Осиповна, приостанавливаясь по временам, чтоб

залиться горькими слезами,— да сама ходила как шальная — рехнулась совсем... Ничего-то не помнила, ничего-то от слез не видала. Как старик-то вживе еще был, говорила я ему... «Пошли, говорю, Лукьяныч, за Митенькой; будет тебе, говорю, серчать на парня». Хотела, знаешь, родной, чтобы он благословил тебя перед смертью-то,— так нет, и слышать не хотел. Потом, как у него язык-то отнялся, я опять ему почала говорить. «Послать, что ли, говорю, Лукьяныч?» А он это замычал-замычал и ну головой качать: не надо, значит. «Да ты бы, говорю, Лукьяныч, хоть простил его, что ли?» Он это подумал, перекрестился и кивает головой. Я уж тут поняла, что прощает, значит. «Хоть заочно-то, говорю ему, благословил бы, Лукьяныч». Он на икону и указал — богородицы скорбящей икона. Я ее из киоту вынула, подала ему; он это перекрестился опять, приложился к иконе и отдает ее мне, а сам головой опять кивает, словно хочет промолвить: «Вот, мол, Осиповна, ему мое благословление!..» А молви-то не было... так до самой кончины... ох!.. до самой кончины молви не было.

Осиповна залилась слезами и не могла продолжать.

— Как быть, тетенька! воля господня! — утешал ее Дмитрий.

— Он, как ушел-то ты, Митенька,— начала она немного погодя и успокоившись,— он, Митенька, покойник-то мой свет, царство ему небесное, все сначала говорил, что не оставит тебе после себя ничего — вот как есть никакого наследия; ну, а потом — смерть-то он свою чуял, что ли,— потом сердце у него отлегло... За неделю никак до кончины своей все деньги мне в руки отдает. «На, говорит, тебе, Осиповна, все, что нажил, делай из них что хочешь. Будет чем, говорит, и мою душу грешную помянуть». Ведь он, Митенька, под конец-то такой стал смирный — точно совсем другой человек. Так-то мне дивно, что с тобой-то не хотел попрощаться. Вот, родной, и все деньги наши тут. Возьми их себе.

— Что вы, тетенька? зачем я все возьму? Вам-то самим...

— На что мне? — прервала его старуха.— Ты со мной не жилец — человек молодой: надо тебе и свету повидать... А на мой век достанет. Лавку-то вот продам, дом продам; выручку пожертвую в Мариинскую пустынь и сама туда поступлю. В мои лета пора о душеспасенье подумать. Стану за себя да за старика молить господа бога да мать пресвятую богородицу.

Дмитрий, сделавшись вдруг владельцем значительной суммы (около сорока тысяч ассигнациями), радовался не столько за себя, сколько за Леонида Сергеича, которому мог теперь помочь, заплатить за его доброту. Растроганный Мыльников долго не соглашался принять помощь от Борского; но Митя настоял на своем — уплатил некоторые главнейшие долги Леонида Сергеича и вообще привел дела его в порядок.

Пока Осиповна готовилась к исполнению своего благочестивого намерения, Дмитрий не хотел оставлять Турухтанска. Он каждый день ездил в Бор, и тетка не могла нарадоваться на почтительного племянника.

Наконец она распростилась с ним окончательно (нужно ли рассказывать, сколько было пролито слез по этому случаю?), и Борский стал подумывать об отъезде.

Леонид Сергеич до этого времени постоянно изъявлял желание следовать за Дмитрием, благородный характер которого привязал к нему крепкими узами доброе и впечатлительное сердце отставного антрепренера; но когда Борский назначил день своего отъезда, Мыльников ощутил сильную тоску.

— Нет, Митя,— сказал он,— не могу, мой друг; сил моих не станет ехать из Турухтанска. Так привык к нему, что, кажется, как уеду, тотчас умру. Уж если умирать, так здесь — и жена моя здесь схоронена. Весь ведь век здесь прожил.

Последние невзгоды сильно подействовали на Мыльникова. Он как будто разом постарел десятью годами; золотистые локоны его подернулись проседью.

Дмитрий, как ни горько ему было оставлять горячо любимого человека, выведшего его на дорогу, должен был согласиться с его желанием. Сам Борский, конечно, не мог оставаться в Турухтанске: сознание в своих силах, укрепляемое постоянным, тщательным изучением своего дела и любовью к нему, указывало Дмитрию на поприще широкое, светлое, ожидающее его в столице.

Перед расставаньем с Леонидом Сергеичем он принудил его принять часть своих денег, простился с Турухтанском и уехал.

«Скоро узнаем,— думал Мыльников,— об его дебютах в Москве: этого человека ждет впереди многое».

В то время как Дмитрий ехал в Москву, намереваясь остановиться на некоторое время в Камске, где находилась

труппа Наруковича, принявшая в число членов своих Мирвольского (голос к Ольге не возвращался, и она оставила сцену) и девиц Бушуевых, в то время совершались переселения и других знакомцев наших.

Трагик Караулов уже спустился и начинал вить гнездо в городе Можае или, собственно говоря, в гостеприимном заведении этого города, украшенном изображением кривого билиарда на вывеске; семейство Кроковых тоже стало твердой ногой на месте... Но еще нет гнезда у Завидова, плохо согреваемого протертым халатиком, нет у него гнезда для четырех детенышей, из которых старший уже перерос отца, и для несколько крутой супруги. Тщетно старается почерпнуть Завидов утешение или приятную мысль из круглой табакерки с изображением Кутузова; табакерка оскудевает и табаком. «Благородный отец» видит совершенную невозможность получить какие-нибудь выгоды, если его чада станут танцевать саботьеро или качучу на шоссе, пролегающем от Турухтанска до... ну хоть до Малинова. В качестве «злодея» он, кажется, мог бы изобресть какой-нибудь «коварный ков»; но ведь он злодей только на сцене — и то злодей плохой; вне же театрального здания это олицетворенная кротость.

У Заморцева нет более беговых дрожек и сомнительной рыси рысачка — нет потому, что еще негде ему устроить для них конюшню и сарай. Не непоседность его и не нежелание сделаться оседлым заставляют Заморцева летать из места в место... Он уж давно выбрал бы теплый уголок и себе и рысачку (рысачок у него опять будет — без рысачка он не может жить!); но беда в том, что выбор-то зависит не от него.

Небо не всегда ясно; порой заволокают его тучи, и из них льется дождь. Этого дождя не боятся только «новоизобретенные» непромокаемые пальто; но такого пальто нет у черноусого Кудрина... У него есть плащ — великолепный плащ с бархатными полами; но этот плащ хорош только в ясную погоду, когда можно закинуть одну полу его на плечо и поразить этим всех, у кого нет плащей с бархатом. Увы! плащу Кудрина грозит беда... Пора непогодная... бури с дождем и градом того и гляди иссекут гордый бархат.

Мы назвали только тех, кого знали по имени из труппы Мыльникова. Где все остальные разошедшиеся и разъехавшиеся из Турухтанска члены труппы — нам неиз-

вестно; но любопытно бы взглянуть на дороги, по которым идут и едут они, чая когда-нибудь успокоиться на месте.

Труппа Наруковича тоже не осталась в том составе, в каком мы оставили ее в Голодаеве. Многое изменилось и в ней в течение двух последних лет.

Достопочтенный Осип Фомич выдал свою дочку замуж и сам перестал быть вдовцом.

Неизвестно, так ли красноярский купчик Кондрашов восхищается изумрудными глазками, живостью и бойкостью своей жены, как восхищался прежде на сцене девицею Нарукович. Осип Фомич не имеет сведений о своей дочке с тех самых пор, как она оставила сцену и упорхнула с супругом в его далекую родину.

Не одна Софья Осиповна покинула театральные подмостки из числа знакомых нам наруковичевых артистов. Покинул их Гудков, играющий теперь роль довольно вкусной пищи для земляных червей; это единственные зрители его в дощатом белом гробу, под толстым слоем земли на камском погосте; для этих зрителей не нужно подымать прикрывающей его холстины: они забираются за нее и там наслаждаются им. Хриплый хохот, так смешивший раек, умолк навеки, багровые белки глаз выедены тлением.

Но не умолкал еще и, может быть, долго не умолкнет громкий голос угрюмого Решилова; впрочем, уже не раздаваться ему более перед многочисленною публикой.

Только сон на несколько часов налагает молчание на уста Решилова; но и во сне порою скрежещет он зубами и произносит отрывистые фразы.

Матвей Михайлыч Решилов убежден, что он вовсе не Матвей Михайлыч и не Решилов. Скорее солнце станет обращаться вокруг земли и земля остановится на тех трех китах, на которых когда-то стояла, чем он перестанет быть королем Лиром, изгнанным неблагодарными дочерями.

— «Шумите, ветры! — гремит он на весь дом, где общественное человеколюбие отвело ему комнату,— завывайте, ярые бури! Изливайтеся на главу мою, серные огни, предтечи разрушительных ударов».

— Бррр... бррр... бррр...— подражает Решилов грому и затем продолжает, размахивая руками:

— «Громы, всесокрушающие громы! разрушьте здание мира, истребите природу и человека — неблагодарного человека! Свирепствуйте, свирепствуйте, бури, громы и молнии! Я не ропщу на вас, о стихии яростные: вы не дети мои!»

— Бррр... бррр... бррр...

— «Свирепствуйте, поражайте трепещущую главу мою, разнесите останки седых власов, разите сие чело, украшенное некогда диадемою, разите — се жертва ваша! старец, обремененный презрением, оставленный всеми, бедный, немощный старец—изгнанный детьми своими. Хха, хха, хха...»

— Экой шельма неугомонный! Вот черт-ат! — поневоле восклицает смотритель Мальков, до комнаты которого достигает свирепый крик сумасшедшего.

Осип Фомич чуть не каждый день рассказывает, в качестве забавного анекдотца, историю помешательства Решилова.

— Сижу я, знаешь, однажды в своей комнатке,— повествовал он Мирвольскому,— да свожу кой-какие счетцы.

Этого не следовало бы и прибавлять: уж если Осип Фомич сидит в своей комнатке один, так наверное считает деньги.

— Да, сижу я у себя; вдруг стучатся в дверь — заперта была. Я прибрал счеты к месту, встал, отпер; входит Решилов. «Что тебе, милый»,— спрашиваю. И не посмотрел на него хорошенько. «Дай, говорит, мне бенефис». Сразил он меня этими словами. Тогда же мне пришло в голову: уж не рехнулся ли он? Гляжу на него: лица на человеке нет, вихор этот у него за ухом торчит, точно штопор, галстук завязан набоку. Как-то даже неловко мне стало на него глядя. «Что ты, милый,— говорю ему,— пощади! да за какие заслуги я тебе дам бенефис?» Смотрю, глаза у него забегали. «Не даешь? говорит, а знаешь ли, что я целый год роль готовил — короля Лира?» Меня начал уж и смех разбирать: хорош, думаю, Лир. «Полно, говорю, милый! полно! что тебе за бенефисы?» Как он рявкнет вдруг на меня — я даже к окошку отскочил. «Неблагодарный! говорит, черная душа твоя!» и пошел и пошел — все из роли, знаешь. Страшно смотреть на него. Я думал сначала, он мне хочет показать, как играть будет... Нет! как зарядил одно место, так и дует его. Руками машет, глаза как у зверя. Ну, думаю, пришел мой конец. Благо,

сбежались все на его рев. Обступили было мы его со всех сторон, стали успокоивать. Куда! удержу нет. Дует себе: «Свирепствуйте, стихии!» и как еще там дальше-то. Привели его к жене; та, как взглянула, подняла тоже рев: «Батюшки, сумасшедший!» Он было накинулся на сына, начал и ему читать из роли. Ну, тот, знаешь, недвижимый оболтус — только глазами хлопает. Насилу скрутили мы молодца да свезли в желтый дом. Такого страху, я тебе говорю, не запомню.

После переселения супруга под начало к Малькову Василиса Ивановна Решилова переехала из общего жилища актеров на отдельную квартиру. Решилову не из-за чего было сходить с ума: он мог бы прожить свой век не только без бенефиса — и без всякой профессии. В кубышке, хранившейся за крепким замком в его сундуке, была очень изрядная сумма.

Не довольствуясь, однако же, ею, Василиса Ивановна принялась пускать деньги в рост, обеспечивая себя вернейшими залогами. Ванюша хлопает глазами, бессмысленно глядя на мать, когда та считает деньги. Если б он мог думать — нет сомнения, подумал бы в эту минуту, что мать копит деньги на похороны себе и ему. То-то будут богатые похороны!

Из других перемен в труппе следует указать на замужество старшей Сизогубовой: она вышла замуж за того рачительного кларнетиста, который, вследствие крайней добросовестности своей, особенно долго услаждал слушателей теми нотами, на которых следовало ему останавливаться.

Но, я уверен, читатель, узнав, что Осип Фомич женился, давно желает услыхать, кто избранная его сердца.

Это — Машенька Колчанова.

Долго все сердечные стремления Фомича отвергала эта прекрасная нимфа; но с самого дня помолвки девицы Нарукович за красноярского купчика Машенька изменила тактику: она стала отвечать очень благосклонно на ухаживанья Наруковича — и не прошло месяца после отъезда из Голодаева молодых Кондрашовых, как неразрывные узы соединили антрепренера и его любимую актрису.

Осип Фомич сиял удовольствием, ведя Машеньку к брачному алтарю.

Не знаю, бывает ли так довольна коса, когда найдет на камень.

ГЛАВА XXII

Старое дупло

Утлое здание на камской площади, в котором мы присутствовали на представлении «Русалки», неузнаваемо: все изменилось в нем—и наружность и внутренний вид. Не пожалел денег многозаботливый Нарукович, основавший в Камске свою постоянную квартиру, которую будет покидать только на лето для Голодаева или иного какого-нибудь города. Общество приняло теплое участие в заботах Осипа Фомича, и подписка на возобновление старого театрального дома, предложенная им жителям Камска, доставила ему значительный сбор. Злые языки утверждали, что сбор этот многим превышал издержки по перестройке и исправлению здания и что, следовательно, весь излишек поступил в карман антрепренера; автор, не смеющий взводить на одного из главных героев своих такой бездоказательный поклеп, думает, напротив, что Осип Фомич принужден был доложить к собранной сумме кое-что из своего капитала (может быть, даже почать нагрудник),— так безукоризненно отделано заново здание театра. Снаружи оно обшито новым тесом и окрашено в приятный сиреневый цвет; внутри не походит уже на сарай: в нем устроены ложи, парадис, как и везде, под потолком, а не за плечами партера, как это было прежде. Если непременно должно указать на какой-нибудь недостаток, то укажем на неудобное помещение буфета: он устроен чуть не под самой кровлей, за неимением места внизу. Впрочем, камские жители не могут находить и это неудобным: прежде в театральном здании вовсе не было буфета. Желающие выкурить сигару или папироску должны были удовлетворяться тесным уголком, отгороженным сбоку, возле хода за кулисы. Уголок этот освещался, бывало, одним огарком.

Если камцы с трудом узнают старое театральное здание, то еще менее узнаваема труппа, которой здание служит поприщем. Никто не жалеет об отсутствии Решилова, Гудкова и девицы Нарукович. И есть ли возможность жалеть о них, когда на сцене красуются такие таланты, как Мирвольский, как две сестрицы Бушуевы, как Живягин и его супруга? Ярмонка, три года сряду посещенная Наруковичем, много содействовала благолепию, с каким ставятся нынче пиесы в Камске. Дружба с разным торговым людом доставила Осипу Фомичу немало разных мате-

риалов для усовершенствования театрального гардероба и сценических принадлежностей — и все это досталось безмездно, единственно вследствие дружеских отношений и крайнего уважения к драматическому искусству театралов-купчиков. Впрочем, должно, к сожалению, признаться, что дружба с этим полезным народом имела и свою темную сторону. Увы! Осип Фомич, от юности поборовший в себе все страсти, вышел не совсем бодр из этого столкновения: частые пирушки, которыми по необходимости надо было поддерживать дружбу, пошатнули строгую умеренность и благоразумие Фомича. Он стал чаще прежнего увлекаться видом стекла, наполненного веселящими сердце напитками.

В последнее время он прибегает к этой жизненной усладе отчасти и потому, что под домашней кровлей приходится ему испытывать много горького. Машенька держит его в ежовых рукавицах — он не смеет ни в чем ослушаться ее; а ослушаться было бы для него подчас очень приятно: капризы молодой супруги бесчисленны, и требуются значительные издержки для их удовлетворения. Машенька как будто хочет вознаградить себя за долговременные лишения, которые приходилось ей терпеть, когда она именовалась еще девицею Колчановой. И точно — отчего же не исполнять всех своих капризов, когда на то есть средства? Нарукович человек бездетный (Софью считать нечего — она, слава богу, обеспечена получше родителя); куда же беречь ему деньги? Если б Машенька не знала о существовании теплого нагрудника, от нее еще можно было бы как-нибудь отделаться; но кто же в труппе не знает о нем?

Госпожа Нарукович значительно пополнела со времени своего замужества; но это не убавило ее прелестей. Она очень занята собой, и у Фомича болит сердце, как примется он вычислять, сколько тратит Машенька на свой туалет. В последнее время он не мог ничего зашить в нагрудник из денег, прошедших чрез его руки. Неприятно, очень неприятно! И стоят ли все эти тряпки, совокупно с завистью, которую возбуждают они в других актрисах, и половины истрачиваемых денег? Разве меньшим уважением пользуется, например, хоть Фомич, потому что с незапамятных времен ходит в гороховом сюртуке? О, суета суетствий и всяческая суета! Уж если человек не может обойтись без суетности, так пусть бы лучше думала Машенька о своих

сценических успехах! Но нет; она по-прежнему равнодушна к ним и вовсе не думает включать в свой репертуар больших ролей. Пусть блистают в них Бушуевы и Живягина! Машенька довольствуется ролями почти бессловесными, лишь бы можно было в них помрачить великолепною одеждой костюмы всех ее окружающих.

Все вообще актрисы в труппе не любят госпожи Наркович; но особенно неприязненное чувство питают к ней Бушуевы. С своей стороны, Машенька довольно равнодушна к ним и не любит только Мирвольского. Даже мало сказать: не любит — она глубоко ненавидит его. За что? решительно отказываюсь объяснить: может быть, она и сама не сознает причин своей ненависти. Особенно не нравится ей тесная дружба, завязавшаяся между Мирвольским и Фомичом.

— Вот связался! — часто говорит Машенька мужу.— Скажи, пожалуста, из каких благ ты с ним носишься!

— Как, Машенька! как! — отвечает наивозможно мягким голосом Осип Фомич.— Ведь он у нас, как ни разбирай, первый артист. Ведь им, можно сказать, вся труппа держится — да, милая, вся труппа!

— Тебе нынче компания нужна, чтоб в «Магните»-то угощаться. Прежде, бывало, и глаз туда не казал.

— И теперь редко бываю.

— Редко, да метко. Хорош пришел третьего дня.

— Мирвольского там и не было третьего дня.

— Знаю, как не было. Он нарочно тебя, дурака, угощает, чтоб у тебя последнего ума в голове не осталось. И теперь изволишь по его дудке плясать.

Осип Фомич, понурив свою грушевидную голову, машет над нею руками.

— Где же, Машенька, по его дудке? где же?

— Сделай одолжение, не спорь! — восклицает сильно раздосадованная супруга.— Ты за каждыми пустяками бегаешь к нему советоваться.

— Что ж за беда! Он человек неглупый — и дурного совета не даст. С кем же и посоветоваться?

— Уж он когда-нибудь посоветует тебе такое, что ты и жизни будешь не рад.

Явно, что слепая ненависть говорит устами супруги достопочтенного Осипа Фомича. Опровержением ее дурному мнению о Мирвольском может служить всеобщая

любовь, которою пользуется в труппе Павел Павлыч. Нет актера, нет актрисы, которые отозвались бы о нем без похвалы. Особенно дружен Мирвольский с Живягиным и с девицами Бушуевыми. К последним он заезжает каждый вечер после спектакля.

Павел Павлыч живет довольно скромно; но говорит очень часто о скором получении каких-то денег, которые позволят ему заняться давно обдумываемым делом — именно содержанием театра на совершенно новых основаниях, чем все остальные провинциальные театры. Он говорит об этом очень часто, но не всем. Мысль его знает Живягин с женою да Маргарита Прокофьевна и ее сестрица.

Ольга все больна; голосу у нее нет, она опасно кашляет и в последнее время слегла в постель. Павел Павлыч и не думает о возможности видеть ее когда-нибудь опять на сцене. Отношения их не изменились. Дважды в день ездит к ним доктор; это, как говорит Павел Павлыч, необходимо для поддержанья в Ольге надежды, что она может выздороветь. Едва ли, впрочем, надежда эта одушевляет ее. Доктор сказал Павлу Павлычу, что Ольга, пожалуй, и переживет наступающую осень, но что будущей весны ей уже не пережить.

В Камске никто не знает ее, кроме девиц Бушуевых; но с ними она не видится и, разумеется, нисколько не жалеет об этом. Дни ее проходят одиноко и печально.

Начинаются осенние холода, небо хмурится; но дождя нет. Только порой быстро несомые пронзительным ветром белые облака посыплют морозною крупой камские улицы.

Афиши разнесли по городу весть о бенефисе Мирвольского. Состав спектакля в высшей степени заманчив: играются две новые пиесы; одна и старая, но ее так давно не играли в Камске, что все забыли ее содержание; притом же в ней действуют лучшие, любимые актеры; дивертисмент тоже стоит любой пиесы.

Расчет бенефицианта верен; он не ездит сам с билетами, как это делают другие артисты, а между тем к обеду приходится затворить кассу: билетов больше нет.

Все довольны — и бенефициант, и публика, и, наконец, антрепренер. Спектакль сошел превосходно.

— Господа! — говорит Мирвольский артистам,— милости прошу завтра ко мне — мы недурно пообедаем.

Само собою разумеется, никто не отказывается от приглашения.

— Только у тебя, милый, и бывают такие бенефисы,— замечает Осип Фомич,— яблоку было негде упасть.

— Пойдем выпить бутылку шампанского,— говорит Мирвольский, взяв антрепренера под руку.

— Поздно. «Магнит», я думаю, заперт.

— Зачем в «Магнит»? Идем в буфет.

— Пожалуй.

И в буфете нет уже ни одного потребителя. Кривой буфетчик Флегонт утомился стоять у своих шкафов, его одолевает дремота, он запирает их и собирается домой. Единственная свечка горит тускло в трубочном дыму.

— Ты уж, кажется, домой? — говорит ему Мирвольский.

— Да-с. Время уж.

— Дай-ка нам сначала шампанского; а там, пожалуй, можешь и спать идти. Мы распорядимся и без тебя.

— Бутылку прикажете?

— Давай больше! Ну, не выпьем — назад возьмешь.

— У меня здесь всего шесть бутылок.

— С нас довольно.

— Эх, Павел Павлыч!— замечает Осип Фомич,— напрасно. Завтра выпили бы разом.

— Долго еще ждать до завтра.

Флегонт оттыкает бутылку.

— Пей!

Осип Фомич пьет. Мирвольский берет трубку, словно мало ему дыма, наполняющего комнату.

— Что же ты понемножку тянешь? — замечает Павел Павлыч, садясь к столу, за которым уже пристроился на диване Нарукович.— Ведь сам же говорил, что поздно. Отпили, да и в куст.

— Дело! — соглашается Фомич.

Когда Мирвольский отставляет в сторону пустую бутылку (только одна треть пришлась на его долю) и кивает Флегонту, чтобы он оттыкал другую, Осип Фомич уже не находит, что время позднее.

— Посидим, милый, еще! — говорит он своему собеседнику.— Что домой-то идти? не слыхал я дома брани!

— Вы хоть меня-то отпустите, Осип Фомич,— обращается к нему Флегонт,— смерть сон клонит, совсем глаза слиплись. Сами-то хоть до утра тут сидите.

— Ступай! — отвечает Осип Фомич, опорожнив еще стакан.

— Где у тебя вино? — спрашивает Мирвольский.

— Вот-с... довольно будет.

— Ладно, можешь идти.

Флегонт удаляется.

— Плохо же ты пьешь! — замечает Мирвольский,— я вот уж пятый стакан кончил, а ты все на третьем сидишь.

— Нет, мм-и-лый, я уж тоже, кажется...

— Ну, не спорь!

— Вот тебе.

— Выпил?

— Да.

Мирвольский курит с каким-то ожесточением, и дым густеет.

— Наливай! — восклицает Осип Фомич.

— Изволь.

— Куда ты?

— Трубку выбить.

Мирвольский отходит в угол выкинуть из трубки пепел.

— Эк мы разгулялись нынче! — говорит нетвердым голосом Нарукович.

— Что же за разгулялись! — всего две бутылки.

— Только-то,— лепечет Фомич,— давай еще!

Мирвольский подносит трубку к свечке и обсыпает нагоревшую светильню табаком. Она едва мерцает.

— Что же ты не пьешь? Ведь налито,— говорит он, садясь на диван около захмелевшего антрепренера.

— Где?

— Да вот.

— А!

Несколько минут молчания. Только и слышно, как пышет трубка.

— Куда ты? — спрашивает Осип Фомич, вдруг ухватываясь за рукав своего собеседника.

— За трубкой.

Мирвольский, кажется, хочет закуриться до смерти. Опять задымилась его трубка.

Светильня готова угаснуть под черной шапкой нагара, со всех сторон засыпанная пеплом и табаком.

— Не довольно ли? — спрашивает Мирвольский.

Фомич уже ничего не отвечает. Он прилег на ручку дивана и, вероятно, и не видит ничего, кроме дыма, дыма и дыма.

Вот он и захрапел... Свеча погасла, пустив кверху струю смрадного чада.

У! какая темнота! какой чад и дым!

...Ольга мучилась бессонницей. Стрелки часов, стоявших на столике у ее постели, показывали половину четвертого, когда она услыхала шаги в гостиной.

Мирвольский чувствовал что-то вроде угара после пребывания в дымном буфете; спать ему не хотелось. Он подошел к окну и приотворил его, вероятно, чтобы освежиться немного.

Небо было чисто, ночь довольно светла.

Мирвольский с полчаса не отходил от окна.

Далеко, за рядом кровель, которые виднелись из окна, вдруг поднялся клуб черного дыма, за ним другой, третий — и небо вдруг осветилось заревом.

ГЛАВА XXIII

Одною меньше

Время в полете своем, на котором низвергает и разрушает многое, не коснулось своим крылом пресловутого камского трактира, носящего наименование «Магнита»; все в нем по-старому. Тот же Сундуков пользуется с него выгодами, тот же редкобородый Андреяныч распоряжается за буфетом, тот же коридорный Иван, любитель театра, прислуживает приезжим в гостинице.

— Есть номер? — спрашивает Дмитрий Борский, входя в волчьей шубе в коридор, еле озаренный ночником.

Иван вывертывается из-за угла и отвечает:

— Есть, сударь; пожалуйте-с. Какой вам угодно? побольше-с или маленький?

— Все равно.

— Вот, сударь, номер пятый. Этот почище будет.

— Хорошо.

Минут через пять Иван ставит на стол перед приезжим поднос с чайным прибором.

— Скажи, пожалуста,— спрашивает Дмитрий,— что это за обгорелый дом, мимо которого я проезжал?

— Где, сударь?

— На площади.

— Театр, сударь.

— Как театр? Давно ли он сгорел?

— Недели две будет, сударь.

— Актеры-то здесь?

— Нет, сударь; все почти разъехались. И содержатель сгорел.

— Содержатель!

— Да, сударь, Осип Фомич Нарукович.

— Как же это случилось?

— А бог знает как, сударь. Говорят, подвыпил он, да и лег спать в буфете...

— Ну.

— А свечку, видно, забыл погасить. Верхушка-то и вспыхнула.

— Буфет, значит, наверху был?

— Наверху, сударь.

— И нельзя было спасти?

— Нельзя, сударь; потому больше, что никто и не знал, что содержатель там.

— Так-таки никого из артистов и нет здесь?

— Кое-кто есть еще, сударь,— из мелких.

— Мирвольский уехал?

— Уехал, сударь.

— Один?

— Один, сударь. Он, говорят, хочет сам театр содержать.

— Где он жил?

Иван говорит адрес.

— Хорошо, ступай!

Коридорный уходит.

Дмитрий поспешно одевается и идет из гостиницы по адресу, сказанному Иваном. Там встречает его Агаша.

— Ах, Дмитрий Алексеич! давно ли вы у нас? — восклицает она с радостным выражением на лице.

— Ольга Васильевна здесь? — спрашивает Борский.

— Здесь-с. Они не могли ехать с Павлом Павлычем.

— Больна?

— Очень больны-с. Павел Павлыч сказал, чтоб они приехали к нему в Голодаев, когда выздоровеют.

Агаша вздохнула.

— Да вряд ли уж им выздороветь!

— Отчего же Павел Павлыч не остался здесь?

— Театр заводит в Голодаеве.

— Можно мне видеть Ольгу Васильевну?

— Я думаю, можно-с. Страх на них посмотреть, какие они стали... Лица нет. Подождите здесь, Дмитрий Алексеич, я пойду спрошу.

Дмитрий стал ходить по зале.

— Пожалуйте! — сказала воротившаяся через минуту девушка.

Борский последовал за нею через несколько комнат в спальню больной.

Сердце замерло в нем, когда он переступил порог этой комнаты и приблизился к постели.

Довольно ярко было озарено лицо больной свечою, покрытой зеленым абажуром. Дмитрий и узнал и не узнал Ольгу. Бледная как воск, исхудалая, тяжело дышащая, она только выражением глаз и грустною улыбкой напоминала прежнюю Ольгу.

Дмитрий не нашел в себе сил сказать ей даже самое обыкновенное приветствие. Она подала ему руку, и он горячо поцеловал ее. На глазах Ольги показались слезы.

Агаша подала гостю стул.

— Вы одни вспомнили обо мне,— проговорила больная с заметным усилием и едва слышным голосом.— Благодарю вас.

— Не утомляйте себя,— сказал Дмитрий,— вам тяжело говорить. Не благодарите меня. Я сожалею только о том, что не мог приехать сюда раньше.

— Да, я умираю — пора — зачем мне жить?

— Полноте!

— Я одна... Жалеть обо мне не будут.

Дмитрий взял ее за руку и старался утешить...

Она грустно качала головой и недоверчиво улыбалась.

— Нет... скоро конец... всему конец... и счастию... и слезам...

Глаза ее искали чего-то на столике рядом. Агаша взяла с него маленький портрет и подала ей.

— Я уж не увижу его...— проговорила Ольга, прикасаясь к портрету бледными губами.— Может быть, вы... когда-нибудь... увидите его... скажите ему...

Она не могла продолжать; слезы покатились у ней по щекам.

— Успокойтесь,— говорил, наклоняясь к ней, Дмитрий, готовый сам заплакать.

Ольга замолчала, не отводя глаз от портрета.

Через несколько минут он хотел удалиться; но больная сказала ему:

— Останьтесь... не уходите... не дайте мне... умереть одной...

Дмитрий остался. Больная заснула; он вышел в другую комнату и просидел тут всю ночь, не смыкая глаз.

Когда на рассвете он вступил в спальню, Ольга уже не дышала. Глаза ее были плотно закрыты, с губ не слетела еще грустная улыбка. На груди ее лежал портрет Павла Павлыча.

Дмитрий с тихими слезами опустился на колени у постели усопшей.

ЭПИЛОГ

По-прежнему перелетают птицы — перелетают стаями, шумно и крикливо, перелетают поодиночке, тихо и скромно. Порою две стаи встречаются, и предводители их, поклевав друг друга, направляют в противуположные стороны свои крылатые легионы. Порою к стае робко пристает одинокая птичка, и долго пощипывают ее новые товарищи.

Чего ищут эти перелетные птицы? Теплого края, где нет зим, где вечно безоблачно небо, где неведомы грозы и бури и незакатно сияет яркое солнце... Да где же такие края?

Вдова Осипа Фомича распродала свой пышный гардероб, терпит порядочную нужду и питает странную надежду извлечь из пепла нагрудник своего супруга.

Мирвольский не сделался антрепренером и выбыл из числа артистов. Он снова появился в Петербурге; с год прожил там точь-в-точь так, как жил некогда,— и потом вдруг исчез... О нем ни слуху ни духу.

Наденька Бушуева, одновременно с Мирвольским появившаяся в Петербурге, опять перелетела из столицы в провинцию и восхищает там любителей изящного в своих прежних ролях.

Дмитрий Борский — один из первоклассных артистов и продолжает совершенствоваться.

Все остальные живут как жили — и о них нечего рассказывать.

Когда Живягина спрашивают, как проходит его жизнь, он говорит обыкновенно:

— Известно как! Кочуем из места в место! Номады в некотором роде, или, так сказать, перелетные птицы.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗКИ

В одном из самых отдаленных кварталов Петербурга, в большом и многолюдном доме, жила мещанка Прасковья Ивановна. В продолжение четырнадцати лет сряду помещалась она в двух комнатках подвального этажа, в самой глубине двора. Такое постоянство вполне оправдывалось удобством квартиры: кроме двух комнаток, занятых самою хозяйкой, была еще и третья, которую она могла отдавать внаем.

Прасковья Ивановна была женщина не первой молодости — лет, пожалуй, за сорок; она обладала несокрушимым здоровьем и таким твердым характером, что муж ее, чахоточный человечек, годами десятью моложе жены, не смел пошевелиться под ее увесистым башмаком: если б не кашель, голоса Алексея, верно, никогда и не услыхать бы в доме. Прасковья Ивановна была ремеслом прачка; чахлый супруг ее добывал копейку портняжным делом, в котором смыслил очень мало.

Разные жильцы бывали у Прасковьи Ивановны — и чиновники и мещане, и квартира ее никогда не оставалась пустою дольше недели. Только в исходе четырнадцатого года по водворении ее в доме случилась такая беспримерная оказия, что комната целые два месяца не приходилась по вкусу никому из смотревших ее.

Дело было осенью. Сначала Прасковья Ивановна не унывала и даже отказала двум женщинам, желавшим поселиться у нее, потому что хотела иметь не жилицу, а жильца (с бабами возни много); но вот, видит, и осень уже подходит к концу, а постояльца нет как нет. И прачка решилась отдать квартиру с уступкой первому желающему или даже (так уж и быть) первой желающей.

Несмотря на решение это, только скрепя сердце допустила она в домашний круг свой особу женского пола. Новая жилица Прасковьи Ивановны была женщина молодая, лет двадцати, никак не больше, очень красивая блондинка, с большими светлыми глазами.

Она пришлась очень по нраву хозяйке: выходила из дому редко, только тогда, как нужно было отнести шитье, за которым она сидела с утра до вечера; к ней никто не заглядывал; за квартиру платила она аккуратно.

Месяца через четыре Прасковье Ивановне пришлось немного похлопотать около своей постоялки, но она не оказала при этом большой строптивости.

Постоялка родила дочь.

Происшествие это не произвело никакого изменения в быту прачки: ее нисколько не беспокоил крик или плач ребенка, как не беспокоил громкий и резкий кашель, душивший Алексея.

Впрочем, как только начала Фрося (так назвали девочку) понимать, что попусту плакать и кричать нехорошо, ее не было слышно в доме.

Рассказывая об удобствах своей квартиры, прачка могла уже говорить, что она живет тут двадцатый год, когда жилица ее простудилась и сильно захворала. Подождав с неделю и видя, что больной становится хуже и хуже, Прасковья Ивановна явилась к ней и объявила свое желание отвезти ее в больницу: люди они бедные, не за лекарями же посылать. Больная, однако, упросила хозяйку оставить это намерение: ей казалось, что она тотчас же умрет, как переедет в больницу и расстанется с маленькой дочерью. Фрося не отходила от ее постели; она и не вспоминала о своей кукле, о пестрых лоскутках, которыми любила играть, и голубые глазки ее следили за каждым движением матери, пока сон не смежал их и малютка не свертывалась в клубочек у ее ног.

Давно уж сильно кашлял и худел с каждым днем портняга Алексей; но еще очень бодро сидел он на столе, подвернув под себя ноги калачиком, и усердно штопал чей-то вывороченный кафтан, когда мать Фроси умерла, оставив на руках хозяйки свою семилетнюю сиротку.

Прасковья Ивановна заахала и заохала.

— Ах ты, господи боже праведный! Кабы знать, в больницу бы хоть отвезти, что ли: похоронили бы даром; а то вот и денег-то не оставила ни копейки — свои выклады-

вай.— Да ты-то что молчишь? Слова не скажет... Точно и нет его. Мог бы, кажется...

И сердито махнув рукой, прачка бросала самый презрительный взгляд на смиренного сожителя.

— Что же мне, примерно, говорить? — замечал сожитель, поднимая голову от работы.— Дело, точно, выходит самое несообразное...

— Полно ты! завывать-то,— обращалась Прасковья Ивановна к девочке, не перестававшей плакать,— и без вою твоего тошно. Можешь, чай, и про себя хныкать?

Фрося старалась плакать потихоньку; но когда гроб поставили на извозчичьи сани (это было в конце зимы), она с громким воплем бросилась вслед за ними.

— Куда? куда? Пропасть вздумала?

— Пустите, пустите! — кричала девочка, вырываясь.

— Как же, сейчас!

— Я хочу с мамой...

— Куда с мамой? ноги ознобить?.. Что ты рвешься, шальная? Сказано, не пустят. Иди в горницу!

Сани с гробом выехали за ворота; девочка отчаянно взвизгнула и верно упала бы наземь, если б не удержала ее Прасковья Ивановна.

Темные, грустные дни потянулись над головкой сиротинки, и часто голубые глазки ее переполнялись слезами. Прачка, прежде почти не обращавшая вниманья на Фросю, теперь беспрестанно находила повод поворчать. Девочка была постоянно у нее на глазах: уголок покойницы занял новый жилец.

Прасковья Ивановна была очень скупа, и только этим можно объяснить, что она находила стеснительным для себя проживанье Фроси в ее квартире. И, как нарочно, девочку некуда было деть. Прачка плакалась на нее и на бедность свою встречному и поперечному, но должна была держать сиротку.

Фрося жила у Прасковьи Ивановны год, жила другой; она донашивала последние платья свои, сшитые ей матерью, и жалко было смотреть на хорошенькую девочку, одетую бедно, неопрятно.

Долго соображала прачка, как бы скачать девочку с рук, и наконец придумала отдать ее в ученье. Это было года через три после смерти Фросиной матери. Прасковья Ивановна давно уже стирала белье на содержательницу золо-

тошвейной мастерской у Красного моста и сюда-то решилась пристроить сиротку.

Анна Карловна, высокая, прямая и плоскогрудая немка средних лет, выслушав желание прачки, отвечала, что может исполнить его, хотя, признаться, не имеет большой надобности в девочке. За первые годы житья и ученья у немки взималась какая-то, незначительная впрочем, плата; но Прасковья Ивановна так удачно разжалобилась и расхныкалась и такими яркими красками изобразила свою крайнюю нищету, что немка, по сострадательности и врожденной доброте, решилась принять к себе Фросю без всякого возмездия.

Когда Прасковья Ивановна объявила сиротке, что не дальше как завтра ей предстоит поступить в немецкую золотошвейную, Фрося так испугалась, что до самого вечера дрожала как в лихорадке, а улегшись спать, долго не могла сомкнуть глаз. Конечно, житье у прачки очень неприводьное; но тут девочке было по крайней мере известно, что каково сегодня, таково будет и завтра, здесь она привыкла к своему положению, привыкла к самой грубости Прасковьи Ивановны... А бог еще знает, каково будет там! Фрося никак не могла вообразить, что где-нибудь в ином месте ей будет лучше жить, и упрямо плакала да плакала, пряча лицо в подушку.

Прачка разбудила ее рано; велела ей чисто-начисто умыться, гладко-нагладко причесаться и надеть платье поновее; наконец связала в узелок постель, белье и платье девочки и отправилась с нею к немке. Дорога была некоротка; но девочка почти не заметила этого: так всю ее поглотило смутное ожидание чего-то совершенно для нее нового. Прасковья Ивановна шла очень поспешно; но не от этой поспешности захватывало дух у Фроси. Когда же путеводительница ее сказала: «Ну, вот и пришли!» и прибавила: «Обдерни платье-то!», Фросю словно кто за сердце схватил; ни жива ни мертва следовала она за Прасковьей Ивановной.

— Что рот-то разинула? — заметила прачка, поднимаясь по лестнице,— ползет не ползет.

Фрося едва передвигала ноги от страха.

— Толком тебе говорят: иди скорее!

Пришлось взять девочку за руку и хорошенько дернуть ее к стеклянной двери, сквозь которую видна была внутренность магазина.

Колокольчик закачался и пронзительно зазвенел; Фрося вздрогнула — и очутилась у самого прилавка. Она боялась поднять глаза и ничего не видала, кроме черного передника немки, стоявшей за прилавком.

— Вот, матушка Анна Карловна, привела вам работницу,— сказала прачка, взяв Фросю за плечо.

— Хорошо,— проговорила сухим тоном немка.— Как твое имя? — обратилась она к девочке.

Фрося смотрела на ее передник и молчала.

— Афросинья, матушка, Афросинья,— отвечала прачка и крепко сжала плечо девочки.— Немая ты, что ли? кажется, тебя спрашивают... Что нос-то повесила?

— Как? — спросила немка.

— Афросинья, Анна Карловна, Афросинья.

— Эфрозинэ?

— Точно так, матушка. Дома-то Фросей больше звали.

— Хорошо; иди с ней в кухню.

Тут только подняла Фрося голову и решилась осмотреться кругом, взглянуть на свою новую хозяйку. В шкафу, занимавшем одну стену комнаты, было столько всяких бархатов, расшитых золотом и серебром, и солнце, глядя в окно, так ослепительно играло в этих ярких узорах, что темная фигура немки казалась как-то особенно жесткою и вовсе неуместною посреди блестящей обстановки. Черное поношенное платье Анны Карловны было совсем не под лад ее дорогому товару.

Идя с Прасковьей Ивановной через мастерскую, где сидело девушек десять — кто за пяльцами, кто просто с шитьем в руках,— Фрося тоже была невольно поражена противоположностью между богатым и блестящим рукодельем и так скудно и невзрачно одетыми рукодельницами.

И вот девочка остановилась подле плиты, у которой хлопотала, засучив рукава, толстая кухарка.

— Здравствуйте, Аксиньюшка! — обратилась к ней прачка.

— А! Прасковья Ивановна! Как поживаете? Про эту сиротку-то говорили?

— Про эту, про эту. Вот привела. Годится вам на посылки.

— Как не годиться?...

Фрося, оставшись в кухне, не могла победить в себе безотчетного страха, и неимоверных усилий стоило ей

удержать слезы, то и дело просившиеся на глаза. Аксинья продолжала стряпать; она не обращала ни малейшего внимания на девочку, которая робко прижалась в уголке и только изредка осмеливалась взглядывать исподлобья при скрипе двери мастерской. Кухарка не скоро вспомнила о присутствии сиротки.

— А что? поесть не хочешь ли?

— Нет...

— Да что ты не сядешь-то? Чай, ноги отстояла?

— Ничего.

Бесконечно длинным показался Фросе первый день на новоселье. Дико смотрела она на Аксинью, которая в другое время и в другом месте показалась бы ей очень доброю бабой — гораздо добрее, снисходительнее Прасковьи Ивановны; сердце Фроси сжималось, когда в кухню заходила хозяйка мастерской, хотя Анна Карловна смотрела на девочку очень благосклонно, даже ласково, и поручила Аксинье хорошенько накормить ее. Обедала Фрося как будто поневоле; каждый кусок останавливался в горле. Особенно неприятное впечатление произвела на нее старшая мастерица, которую все именовали Катериной Захаровной: когда девушки из мастерской явились под ее предводительством в кухню обедать, Катерина Захаровна, несмотря на свои двадцать пять, двадцать шесть лет (возраст, кажется, солидный), принялась смеяться над Фросей и дразнить ее, словно маленькая. Если б Аксинья не сжалилась и не заступилась за бедную девочку, старшая мастерица непременно довела бы ее до слез.

Насилу-то дождалась Фрося, что наступил вечер. Она приготовила себе постель — кусок войлока и маленькую, жесткую и раздавленную подушку, которыми наградила ее Прасковья Ивановна, и, утомленная тревогами дня, не успела лечь, как и уснула крепким детским сном.

Покидая кровлю Прасковьи Ивановны, Фрося думала, что ее ведут чуть не на смерть; оказалось, однако ж, что в золотошвейной жизнь гораздо привольнее, чем у прачки. И девочка очень скоро привыкла к своему новому положению.

Сначала она была только на побегушках: ее посылали и кухарка и мастерицы то в булочную, то в мелочную лавку за свечкой, за цикорием; потом стала она греть и подавать утюги, сучить и мотать шелк. Наконец начали

ее учить держать в руках иголку. Это случилось года через полтора по вступлении Фроси в заведение Анны Карловны, в то именно время, как Таня, одна из учениц, перешла в разряд мастериц с определенной платой.

В эти полтора года Фрося крепко подружилась с ученицей Сашей. Они поверяли друг другу свои неприязненные чувства к злой старшей мастерице, делились каждым лакомым куском, вместе бегали взапуски по большому двору и вместе получали строгие за то выговоры от Катерины Захаровны. По праздникам к ним нередко присоединялась младшая сестра Саши, находившаяся тоже в ученье, в одном из модных магазинов на Большой Морской. Сестры вовсе не походили друг на друга: старшая была черноволоса и, вырастая, становилась все некрасивее; младшая, напротив, была белокура и очень хорошенькая.

Ученье шло довольно успешно; Фрося росла и хорошела быстро, что сильно раздражало Катерину Захаровну, которая чувствовала, что все больше и больше превращается в старую девку. Из учениц Фрося и Саша сделались мастерицами, из девочек — взрослыми девушками и оставались по-прежнему дружны; по-прежнему довольно часто к ним присоединялась сестра Саши.

— Ах, какая же у вас, как я посмотрю, тоска! — говорила бойкая Груша,— вот уж, кажется, суток бы здесь не прожила.

— Да,— подтверждала Фрося,— днем-то хоть работаешь, а как придет вечер, так не знаешь, куда и деться. Мастерицы все приходящие; здесь живем мы только трое — я вот, Саша да Катерина Захаровна...

— Хоть бы вы гулять куда ходили.

— Велика ли приятность и гулять-то! Пошли мы как-то, да воротились поздно — часов в одиннадцать, так потом такой был нагоняй! Катерина Захаровна изволила выдумать, что мы дома не ночевали.

— Да как она смеет распоряжаться? Ведь не дочери вы ее?

— А вот поди спроси!

— А я третьего дня на свадьбе была.

— У кого?

— У мамзель Жюли; продавальщицей у нас была; вышла за приказчика из рижского магазина. Уж как же мы натанцевались. Воротились часов никак в пять.

Утром села за работу — ничего не вижу: так глаза и слипаются.

Саша слушала довольно равнодушно все рассказы Груши, но Фрося втайне очень завидовала жизни мастериц в магазине мадам Эме. Ей хотелось бы и на свадьбе потанцевать, и на гулянье поехать, и принарядиться так, как Груша, на которой всегда была новенькая шляпка, хорошо сшитое платье, свежие перчатки; но Фрося не могла и думать о таком туалете (Груше он стоил, конечно, недорого): плата за такую трудную и копотливую работу, как шитье золотом, была очень мала.

Однажды весной (Фросе было уже шестнадцать лет) Груша пришла к сестре и подруге ее с предложением ехать куда-то на загородное гулянье. Она говорила, что у нее есть кавалер, который берет на себя все издержки по этой поездке. Саша решительно отказалась, говоря, что ей не во что одеться.

— Да и я-то как поеду? — сказала Фрося,— я только сраму вам наделаю: шляпка у меня старая, а уж про мантилью и говорить нечего.

— Ничего; шляпку я принесу тебе свою... а вместо мантильи платок мой надень. Теперь тепло.

— Перчатки надо покупать.

— Об этом не беспокойся; я скажу моему: станет мне покупать, и тебе купит.

Фрося решилась ехать.

У Катерины Захаровны разлилась желчь, когда она увидала нарядившуюся на гулянье Фросю: ничто так не кололо ей глаз, как чужая красота и молодость.

— Ах-с, какая моднейшая прическа! — заметила Катерина Захаровна.

Фрося, по совету Груши, расположила свою пышную косу вокруг головы: иначе маленькая шляпка свалилась бы ей на спину.

— А что? — простодушно спросила Фрося,— разве нехорошо этак?

— Напротив-с,— отвечала старшая мастерица, скривив губы улыбкой,— самая моднейшая прическа.

Какова бы ни была эта прическа, она очень шла к свежему, белому лицу девушки.

На гулянье Фросе было очень весело. В саду, где гремела музыка и сновали взад и вперед пестрые пары, кавалер Груши встретил одного из своих приятелей. Это был

красивый молодой человек. Он предложил Фросе опереться на его руку.

— Вот неожиданное счастье! — сказал он золотошвейке, когда та, порядком сконфузившись, решилась подать ему руку,— мне уж давно хотелось встретиться с вами поближе.

— А разве вы прежде встречали меня?

— Нет; в окно видел.

— Где?

— В мастерской. Вы не замечали меня... А я каждый день прохожу мимо ваших окон.

— Не может быть?

— В самом деле.

— Да ведь окна из мастерской во двор. Разве вы тут в доме живете?

— Моя квартира над мастерской.

— Я не видала вас.

— А я вас почти каждый день вижу.

— Ну, где я сижу?

— У самого окна.

— А рядом со мной кто?

— Этого не замечал...

— Когда же вы проходите мимо?

— Утром часов в девять, когда иду со двора, и в пятом часу, когда возвращаюсь к обеду. А вы всегда так усердно работаете!.. И глаз не подымаете. Нет, чтобы взглянуть в окно. А еще глазки такие хорошенькие!

— Ах, какие вы!.. Я не знала, что вы такой насмешник.

— Я насмешник?

— Да.

— А что? увижу я завтра ваши голубые глазки?

— Ах, опять вы об моих глазах!

— Увижу?

— Когда?

— Когда буду проходить мимо.

— Не знаю.

— Отчего же не знаете? Ведь вам стоит только захотеть этого.

— Нет, не только.

— Как так?

— А может быть, надо будет пристально смотреть на шитье, чтобы не сбиться.

— Отговорка.

— Вовсе нет; вы думаете, шить золотом легко?..

— Мне хотелось бы, чтоб вы чаще сбивались.

— Покорно благодарю; значит, вам хотелось бы, чтоб меня выгнали из мастерской?

— Нет, мне жаль, что вы портите зрение. Такие глазки...

— Перестаньте вы об моих глазках!

— Их надо беречь.

— Нечего их беречь. Я и так уж их испортила.

— Зачем это напраслину-то на себя взводить?

— Я вам правду говорю. Когда встаю утром, так больно глазам... Насилу промоешь их.

— Фрося! — окликнула золотошвейку Груша, давно уже высматривавшая ее в толпе.

— Что?

— Хочешь мороженого?

— Хочу.

И вся компания отправилась в беседку.

Возвратясь домой, Фрося не переставала думать, как это приятно ездить на гулянья, какой красивый и любезный был у нее спутник...

На следующее утро, сидя за работой, она никак не могла взглянуть на него, хотя чувствовала, что сосед проходит мимо и смотрит на окно. Катерина Захаровна стояла перед Фросей и делала ей какие-то замечания относительно начатой работы.

К счастью, в пятом часу старшую мастерицу что-то отвлекло из мастерской в магазин. Сосед, возвращаясь, шел тихо и пристально глядел на окно. Фрося подняла глаза, посмотрела и улыбнулась.

Каждый день стала она обмениваться с соседом беглым взглядом или улыбкой; стала одеваться с гораздо большею тщательностью, чем прежде; лучшие платья, которых было у нее очень немного, которые она берегла и надевала только по праздникам, носила она теперь и в будни; волосы ее были всегда особенно хорошо убраны.

Сильно порывалась Фрося съездить хоть еще разок на гулянье, и когда, через неделю после первой поездки, в золотошвейную пришла Груша, первым вопросом Фроси было:

— А что, не собираешься ли ты за город?

— Нет,— отвечала Груша,— разве на той неделе.

Под вечер девушки вышли на крыльцо и весело болтали.

— Здравствуйте, голубые глазки! — раздался вдруг знакомый голос за спиной Фроси.

Фрося оглянулась.

— Ах, как вы испугали меня!

Сосед поздоровался и с Грушей и с Сашей.

— Когда же вы нас свозите на гулянье? — очень развязно спросила его Груша.

— А вам хочется?

— Не столько мне хочется, сколько вон голубым-то глазкам.

— Ах, Груша! полно, пожалуста!

— Вот перед самым приходом вашим говорила... «Что это, говорит, скука какая! хоть бы Николай Петрович, говорит, пригласил в Новую деревню!».

— Неправда, не слушайте ее! я и не думала говорить.

— Говорила, говорила, Николай Петрович.

— А что, в самом деле! — сказал сосед,— поедемте на той неделе во вторник.

— Да зачем же так долго ждать? — спросила Груша.

— Мне раньше нельзя.

— А фейверк будет во вторник?

— Великолепный.

— Ах, это отлично!

— Что же вы ничего не скажете? Вы, может быть, не хотите ехать?

— Хочет, хочет,— воскликнула Саша, предупреждая ответ приятельницы.

— Еще как хочет-то! — подтвердила и Груша.

— А вы все-таки не говорите ничего,— сказал сосед, наклоняясь к Фросе.

— Отчего же не поехать? — отвечала она,— я с удовольствием...

— Вот и прекрасно! Значит, мы опять отправляемся вчетвером?

— Да.

— Превосходно.

В это время кто-то отворил окно из мастерской, и девушки, думая, что это старшая мастерица, молча кивнули головой соседу и оставили его на крыльце одного.

Ровно за неделю до предположенной поездки в Новую

деревню, то есть во вторник, утром вошла в мастерскую Анна Карловна с большою выкройкой и узором в руках.

— Как ты думаешь,— спросила она старшую мастерицу,— можно взяться вышить это к пятнице?

И хозяйка развернула узор.

— Трудновато, Анна Карловна,— отвечала Катерина Захаровна.— Узор большой, и работа мелкая.

— Нельзя ли шить двум?

— Нет, двум и взяться негде. Головами будут стукаться. Вот разве каемку... Да, правда, это пустяки: за ней работы всего на два часа.

— Ты сама не возьмешься?

— Нет, Анна Карловна, не могу: не по глазам — мелко очень. А непременно надо к пятнице?

— Да. Утром в пятницу непременно.

— Кабы прежние глаза, можно бы успеть... Фрося вот разве не возьмется ли. Она скоро шьет.

— Посмотри! — сказала Анна Карловна, обращаясь к Фросе.

Девушка подошла.

— Успеешь?

— Можно успеть,— отвечала Фрося,— надо пораньше вставать да подольше сидеть.

— Если сделаешь, получишь за это шесть рублей. Только непременно к пятнице.

Фрося вспомнила о будущем вторнике и о том, что у нее недостает только четырех рублей, чтобы поехать на гулянье в новом платье... Свежий наряд, веселая музыка, любимый кавалер — все это мелькнуло такой отрадной картиной перед ее глазами, что девушка несказанно обрадовалась возможности заработать шесть рублей.

— Пожалуйте,— сказала она Анне Карловне.

И Фрося принялась за работу.

Кажется, никогда еще не работала она так усердно: только на несколько минут вышла из мастерской к обеду и пообедала наскоро. Сосед, возвращаясь домой по обыкновению в пять часов, видел в окно только большую косу Фроси, потому что головка ее была низко наклонена к пяльцам. Как ни медленно шагал он, не дождался-таки ни обычного взгляда, ни обычной улыбки.

Уже заметно смеркалось, все рукодельницы оставили свое шитье, а Фрося все еще сидела за иглой.

— Будет тебе шить! — сказала, подходя к ней, Саша,— успеешь кончить — два дня впереди.

— Еще светло.

— Как светло? ничего не видать.

— Нет, надо еще немного пошить.

— Да посмотри, ты и так уж половину вышила?

— Как же, не половину... тут, я думаю, и четверти нет.

— Право, оставь; глаза только заболят.

— Сейчас.

Фрося шила до тех пор, пока можно было отличать петлю от петли.

— Вот теперь довольно,— сказала она Саше, вставая.

— Да если ты будешь этак сидеть, так не к пятнице кончишь, а к четвергу.

— Что же! тем лучше.

— А устала?

— Да, немножко. Глаза вот больно.

И Фрося прикрыла ладонями свои голубые глазки.

— Охота была работать до потемок!

— Ничего.

Рано поднялась на другое утро Фрося и с тем же жаром принялась за шитье. Анна Карловна, зашедшая в мастерскую около полудня проведать об успехе работы, была просто поражена, когда взглянула в пяльцы Фроси: почти половина узора была уже перенесена на бархат; и какое шитье!.. чистое, ровное.

— Очень хорошо, очень хорошо.

Но в этот день глаза уставали у Фроси чаще, чем накануне, и она была принуждена несколько раз выходить из-за пялец и примачивать их водой. Это, однако ж, не помешало работе успешно подвигаться к концу, и когда Фрося оставила ее вечером, Саша сказала, взглянув на пяльцы:

— Тут теперь шитья всего часа на три.

— На четыре.

— Ну, хоть бы и на четыре! все же не на целый день; а ведь пятница-то еще послезавтра. Какие, однако, красные у тебя глаза!

— Ничего, пройдет. Как кончу, дня два ничего в руки не возьму.

— Ты хоть бы розовой воды попросила у Анны Карловны.

— Вот очень нужно!

Не без испуга вспомнила Фрося замечание Саши о красноте своих глаз, когда, проснувшись утром в четверг, почувствовала в них небывалый жар и небывалую резь. Она долго мочила глаза холодной водой и, наконец, села к пяльцам. Еще чаще, чем вчера, приходилось ей оставлять работу; она поставила около себя на окне тарелку со льдом, беспрестанно мочила в ней носовой платок и прикладывала его к глазам.

Когда старшая мастерица позвала всех к обеду, Фросе оставалось сделать не больше десяти стежков; но после каждого стежка глаза у ней застилало желтым туманом.

— Что же ты нейдешь, Фрося? — сказала Саша, уходя обедать.

— Я сейчас кончу.

Едва успели рукодельницы разместиться за обеденным столом, как в мастерской раздался глухой крик...

— Что это такое? — воскликнула изумленная Катерина Захаровна.

У Саши замерло сердце, и она стремглав бросилась из кухни.

Фрося стояла перед окном и смотрела в него.

— Что с тобой? что с тобой, Фрося? — вскричала, бросаясь к ней, Саша.

— Не вижу... не вижу...— проговорила плачущим голосом Фрося.

Желтые звезды и пестрые радуги мелькали у нее перед глазами.

В эту минуту Саша увидала, что в ворота входит молодой сосед. Она обхватила стан своей подруги и отвела ее шага на два от окна. Но Фрося, словно догадалась, быстро оборотилась лицом к окну с громкими рыданьями, которых не могла больше удерживать.

«Ослепла! Фрося ослепла!» Эти слова повторились всеми устами в золотошвейной, и скоро весь дом знал о несчастии, случившемся с молодой девушкой.

Ее отвезли в больницу, и с отсутствием ее водворился в мастерской какой-то безмолвный ужас.

Только Катерина Захаровна говорила с возмутительным хладнокровием:

— Экая редкость, что ослепла! У нас не в первый раз эти оказии.

И из-за чего потухли эти голубые глазки, которым только бы весело смотреть на божий свет да улыбаться?

Мозглый старичишка, подагрик с трясущимися коленями, остался недоволен доставленным ему из золотошвейной шитьем.

— Ну что это такое? что это за работа?

Девушка, принесшая шитье, заметила, что работа стоила глаз швее.

— Будто бы?

— Точно так-с.

— Гм...

Старичишка с улыбкой покачал головой.

Он нашел, что цена очень невысока и что нечего быть слишком требовательным к такой дешевой работе...

ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК

I

Невелика наша деревня — всего двадцать дворов. Питер у нас под боком, и почитай что все почти мужики по зимам туда на заработки ходят — извозничают там. Дело не бог весть какое прибыльное, а все же подспорье. Только бы человек не запил да не загулял по столичным кабакам и харчевням,— благо там этого добра на каждом шагу. Случалось, правда, и это, да, слава богу, не часто. Всякий хоть малую толику да домой привезет.

Один только у нас Иван Кононов этим делом разжился, да и то потому больше, что своих денег уж много и без того было. Известно, деньги к деньгам идут. Как поехал он в Питер-то с деньгами в кармане, так и сани купил, что ни есть самые щегольские, с мягкими бархатными подушками, с дорогой медвежьей полостью, крытой тонким сукном, и пару лошадей завел такую, что хоть бы любому князю на конюшню. Сбруя тоже была вся посеребренная, кафтан на самóм отменный. Таксы тогда еще не было, и волён ты был запросить за час али за конец что душе угодно. Стоял же наш Иван у большого французского трактира на Большой Морской, где богачи кутят. Известно, те деньгам счету не знают. Что ни запросил — ладно; не торговаться же какому улану либо гусару с мужиком! И всего-то иной раз через улицу перевезти — Иван полтинник берет. Лихач, значит,— такое прозванье в Питере, и приступу к этим лихачам нету.

Малый он был хоть и молодой, а степенный — вина в рот не брал; только уж гордости такой, что, кажись, и черт ему не брат. Как приедет в деревню — и рукой его

не достанешь: таким гоголем ходит. И из лица был — чудо какой красивый: белый да румяный, глаза карие, светлые, борода только туго росла. Девки и у нас и рядом в селе (нашего же барина — мы господские ведь) — все на него девки засматривались; да все, вишь, не по нем. Господа летом жили в селе, а у нас усадебка господская маленькая была, и проживал в ней немец управляющий, Карл Иваныч, мозглый такой старичонка, а преехидный, и уж какой девушник, просто беда! Этот крепко Иванову руку держал, во всем ему поблажал и потакал, потому — продажная был душа; и за то пуще еще, чем за гордость, в деревне у нас Ивана недолюбливали.

Всей семьи у Ивана только и было что мать, баба тоже вздорная, сплетница. Как была она взята из дворни, так и думала, что невесть какая пава. Больно, вишь, это чин важный — барские тряпки стирать. Муж-то ее, Иванов отец, торговал и денег им оставил немало. Изба у них была первая по деревне, чуть что не лучше усадебки, что где немец-то жил. Убрано все по-городскому: на окошках занавески белые, цветы тоже, полога над кроватями дорогого ситцу, зеркало большое такое; картин что по стенам навешано! чай, бывало, с утра до вечера пьют — ведерный самовар со стола не сходит. Марья Семеновна — Иванова-то мать — и ходила по-городскому, не в сарафанах, а в платьях; по будням-то еще в платке, а как соберется в воскресный день к обедне в село, и чепчик наденет. И уж если господа в селе, всякий раз в барский дом зайдет — с праздником поздравить. Всем от мала до велика к ручке приложится,— прельстивая была баба, прехитрая и вечно чего-нибудь да намутит. И какая ей была в том корысть — сам черт этого не разберет!

С сыном жили они в ладу, может оттого, что жили-то вместе мало. У нас в деревне говорили, что и не женится-то Иван потому, что боится — как жена с его матерью жить станет. Смирная попадется — Семеновна поедом будет есть, в гроб вгонит; а навяжется этакая же вздорная — вон тогда из дому беги, подымут пыль коромыслом.

Говорили это люди, да, видно, хорошенько Ивана не знали. Дело-то совсем иначе было. Просто не было ему невесты по нраву; а как приглянулась ему девушка, так он и на мать не посмотрел. Сколько она ни артачилась, сколько ни бранилась, ни грозилась, сколько ни плакалась, ни жалобилась, он поставил-таки на своем — женился.

II

Выбору ли Ивану не было? Не только что у нас, во всей окружности, верст, пожалуй, что на пятьдесят, ни одной бы девки не нашлося, чтобы за него не пошла. Из самого бы богатого дома отдали, на самой бы на красавице жениться мог. Так нет; полюбилась такая, что и беднее-то ее, кажись, не было; да и тому все дивились, что он в Насте за красу нашел.

Была эта Настя наша же господская, из села, и совсем сирота: ни родных никого, ни ближних; только сестра ее двоюродная у нас в деревне замужем была, за бедным-пребедным мужиком; так и звание ему промеж нас было — Горюн.

Росту Настя небольшого была и такая тоненькая да гибкая, словно совсем без костей. Вышла она замуж на семнадцатом году, а на вид, казалось, ей и тринадцати нет: совсем будто ребенок; и робкая, молчаливая, словно малое дитя. От сиротства это да от людского бесчувствия: помыкали тоже ею немало; защитить было некому; слова доброго от людей не слыхивали. Бывало, урвется как-нибудь из села к нам, зайдет к Горюнихе, да и плачут вместе. Сидят, молчат да плачут. И потом, как уж и замужем-то была, глаза все так смотрели, будто все слезами подернуты. А глаза были большие да голубые. В них и вся ее красота была, да еще в косе: коса длинная, густая и светлая, как расчесанный лен.

Полюбилась Настя Ивану совсем еще ребенком. Разве только он один и говорил с нею ласково и тут все ее невестой своей называл. Так и думали все — шутит; ан шутка-то делом вышла. А то пряник ей подарит, ленточку, сережки дешевенькие. И его одного Настя не дичилась, не боялась; все-то на нее, бедняжку, страх нагнали.

Говорили ему тоже:

— Что это тебе, Иван, за охота над сиротой смеяться? Невеста да невеста. Какая она тебе невеста?

— А то нет, что ли? — спросит.

— Такую ли тебе невесту? Тебе невесту надо богатую, с приданым.

— Да у кого этакое приданое есть, как у Насти глаза?

Только бывало и ответу.

— Что-то уж рано ты задумал-то! — скажут ему,— ведь девке и тринадцати нет. Как придет время, глядь, и передумаешь.

— Мое дело.

— Твое-то твое; да девке-то от этого какая корысть? Ведь этак, пожалуй, совсем смутишь ее только; а как ничего-то потом не выйдет, достанется она людям на посмешку. И так-то доля ее нерадостная.

— Далеко еще дело — вперед-то загадывать. Покамест она ребенок малый. Что ж за грех иной раз сироту пряником утешить?

Однако ж стала Настя и совсем девушка на возрасте, а Иван все не отставал. И она полюбила его крепко. Только и думы у нее было что Иван, а было бы с кем говорить, так, верно, и речи бы иной не было, как про Ивана.

С одним человеком ей нечего было скрываться — с двоюродной сестрой. Ну, и не таилась она от нее.

Та, как больно уж сама-то горя натерпелась, и веры тому не давала, чтобы быть когда Насте счастливой.

— Боюсь я, Настенька, за тебя,— говорила.— Совсем он обошел тебя; а какой тому будет конец? что, как он обманет да бросит тебя? Берегись, голубушка, пуще всего греха. Долго ли согрешить? А потом и поминай его как звали! Стыд только на весь век останется. Кто чужую душу разузнает? Может, этого только и добивается он.

Настя, бывало, только рукой замахает.

— И не говори ты мне этого, не говори, Матренушка! Чужой души точно не разузнаешь; да его-то душа не чужая мне,— родная. Не бывать этому, чтобы он меня обманул.

И так это говорит, так смотрит, что Матрена поверит и сама и бояться перестанет.

Одно ее смущало — гордость Иванова.

— Как это с такой гордостью да чтобы на сироте он женился, на безродной? И сам он, да и мать его на тех-то даже, кто богат в деревне, не смотрят. Случится, повстречается Иван — хоть бы головой кивнул, не то что поклониться. Как же будет родство-то потом водить?

— Что же с ним делать, Матренушка? — говорила Настя,— такой уж, видно, он непреклонный уродился. Выговаривала я ему тоже; «не могу, говорит, и рад бы, да не могу; переломить себя силы нету. Вот с тобой только одной, говорит, и гордости моей словно не бывало».

— Какая уж с тобой гордость? И теперь, поди, где-нибудь за кустом у дороги сидит, дожидается, скоро ли ты назад, в село, пойдешь.

Настя краснела и молчала. Знала она, что Матрена правду говорит, что Иван точно поджидает ее на дороге, чтобы до села проводить. И не оттого она краснела, что Матрена угадала, а оттого больше, что после слов сестры нельзя уж ей так скоро домой собраться, и Ивану больше дожидаться придется.

«А и то лучше,— думала порой,— тем временем стемнеет, никто нас не заприметит, что мы вместе; нечего мне бояться прижиматься к нему, целовать его, голову его кудрявую гладить. Месяц и звезды не доказчики».

И замрет у ней сердце, словно Иван уж тут...

Кому не дал бог счастья — любить на своем веку и в другом любовь к себе видеть, тому никакими словами не расскажешь, как это и мрет и бьется сердце у другого сердца, как глаза в слезах тонут, в любимые глаза глядя... А кто любил и кого любили, тот и без слов все поймет, да и каждое слово мертво ему покажется.

Что ж и рассказывать, как любились Настя с Иваном? Крепко любились.

III

Ахнули все, как Иван свою невесту под венец нарядил. Другой такой свадьбы богатой да веселой и не запомнят у нас в деревне. Одно только бабы все толковали: что больно весела невеста под венцом? что усмехается, словно радости своей утаить не может? «Не быть ей счастливой замужем, говорили, в слезах под венец идти — смеючись век прожить, а уж как под венцом усмехнулась — потом наплачется». С зависти, я думаю, больше эти толки-то были. Будто и впрямь нужно плакать, оттого что в свадебных песнях про слезы поется? Пусть плачут, к кому песни приходятся. А Насте о чем было плакать? О доме родительском? Не было его у нее. По отце, по матери? И над ними давно трава выросла. По воле девичьей? Да какая это воля была? Больше ей, бывало, плакать хочется, как запоют девки в хороводе:

Поиграйте вы, девушки,
Порезвитесь вы, красные,
Вы покудова у батюшки,
У родимой своей матушки!

Жених был у Насти не «старый да удушливый», как в той же песне поется, не «малый да недужливый», а мил сердечный друг, что лучше его во всем свете для Насти не было. О чем же плакать? «Надо так; испокон веку так заведено: и бабушки плакали и прабабушки». Мало ли что испокон веку заведено? Да все ли это ладно? Испокон веку тоже было заведено силой дочерей замуж отдавать, силой сыновей женить; мне мил жених — и дочери будь мил; мне мила невеста — будь и сыну мила. А и тогда ведь шла же, чай, пословица-то: «Насильно мил не будешь». Так сердца-то не спрашивались. Вот и сложились эти горькие песни, что невеста жениха погубителем своим и разорителем называет...

Вот идет погубитель мой,
Вот идет разоритель мой.

И в той же песне такой ответ:

Погубитель — твой батюшка,
Разорительница — матушка.

Не век же этим песням правдой быть? Будет время, не станут ни сердца, ни доли насиловать; не станут и корить, что не плачут девушки, выходя замуж за милого. Что ж и Настю корить? Право, я думаю, от зависти больше корили, что такой ей жених достался...

Вот кого следовало бы урекнуть, не урекнули — Семеновну. Что темная туча стояла она в церкви. Чем бы порадоваться на детей и на их любовь, она только и думала, зачем это сам за себя неровню берет, и все-то сердце у нее кипело, что он ее не послушался, и все-то косилась она на Матрену, что скромнехонько у окошка стояла.

Как кончили венчальный обряд, как пошли все из церкви, хотела Матрена подойти к Насте, поздравить ее, поцеловать.

Семеновна ей поперек дороги:

— Ты куда, в лаптях-то да в пóскони? Мало еще нас срамила?

Дух у Матрены занялся, хотела она сказать что-то, да не могла, только слезы по щекам хлынули.

Молодых подхватили под руку, посадили в новую телегу, крытую новым ковром, брякнула на конях новая сбруя, заговорили бубенчики, запел колокольчик, и понеслась тройка — только пыль столбом.

Дома уж хватилась Настя Матрены. Сказала Марье Семеновне.

У той и глаза, как у змеи, вспыхнули.

— Этого еще сраму-то не было! Да чтобы я эту нищую к себе в дом пустила? И поминать-то этого не моги!

У Настасьи уж совсем на языке было сказать ей, не твой, мол, уж это дом, а мой; да взглянула она на Ивана.

Тот ее просит:

— Не серди матушку на первых-то порах, Настенька!

Сжалось у ней сердце, вспыхнуло все лицо.

«Али мать ему меня дороже?» — шевельнулось у нее в мыслях, и словно досадно стало ей на мужа.

В первый раз ей от Ивановых слов холодно как-то было.

Заметил он это и говорит:

— Видел я Матрену, сам ее звал — не пошла. «Что, говорит, мне своим горем ваш праздник печалить?»

Будто и успокоили немного Настю эти слова; не стала она поминать о Матрене.

Только с этой поры словно стена какая выросла между нею и свекровью, что через эту стену ни руки подать, ни сердцем сказаться.

IV

Все шло на первых порах ладно и складно в доме Ивана Кононова, и не будь с молодыми вечно недовольной, вечно ворчливой Марьи Семеновны, кажись, ни Ивану, ни Насте желать бы больше нечего. Иван в Насте души не чаял, Настя так и глядела ему в глаза. Одно ей горько было, что чуждался Иван Матрены, и все, бывало, нахмурится, как пойдет к ней жена или хоть на улице с ней остановится — поговорит. С малых лет напела ему мать в уши, какой он богатый да важный, что не токмо что родниться, и знаться-то ему с этакими бедняками, как Горюн и его жена, зазорно. И ничем его, бывало, пуще разобидеть нельзя, как сказать: «твоя родня Горюн» али «твоя родня Матрена». Ругаться примется, чуть в драку не лезет.

— Нет у меня,— говорит,— никакой родни! И никогда у нас нищих в родне не бывало!

— И жену-то не из богатых взял,— скажешь ему.

— Все, что мое, то и женино,— говорит,— была бедна, а теперь богата стала, и нет у нее нищей родни.

Мать-то его пуще подзадоривала.

То ей будто какой Степан или Семен из соседнего села встретился, говорил: срамит-де их родня. Или денег ходил взаймы просить Горюн, или на Ивана жалобился, что помочь родне не хочет. То Лукерья какая или Акулина ей чуть что не при целой деревне кричала: «Что это, Семеновна, с родней-то с вашей? Скоро уж никак по миру побираться пойдут! То муки займут, то дрожжей — и все-то без отдачи. За квасом с ковшичком по соседям ходят». То будто из дворни к Семеновне вести доходили, что Матрена и ее и Ивана всякими дурными словами обносит.

И все это говорила Семеновна сыну тайком от Настасьи, так, чтобы та ничего не знала, не ведала. Будь дело открытое, скорее бы у Ивана сердце выкипало, а то как твердила ему одно: «молчи!» да «не сказывай!», зла в нем все больше да больше копилось, и так он возненавидел Матрену с мужем, что, кажись, со свету бы их согнал. Словно они ему поперек дороги стали.

И добро бы еще взаправду люди были беспокойные, в дом бы к нему втирались, требовали бы от него чего; а то не подойди Настасья сама к Матрене, да та бы, кажись, и поклониться ей не посмела. Жили тихо, не слышно. Одно горе — бедность одолевала.

Да уж, видно, так это всегда на свете бывает: как возгордится человек, ровно слепота на него нападет. Ничего-то он вкруг себя не видит так, как есть. Все одно, что как озлобится человек, рассвирепеет — все у него перед глазами красно́ да зе́лено.

Стал Иван сначала отговаривать жену — не водить дружбы с Матреной... «Что она тебе?» да «на что ее тебе?» А потом мало-помалу и прямо уж приказывать начал: «Не ходи к Матрене! не хочу этого».

Настя и спорить пыталась и то мужу говорить, что грех так родни чуждаться, что уж разве и не люди они от того, что бог счастья да богатства не дал? Так этим, бывало, только рассердит его.

И во всем был Иван с нею ласков — надышаться, кажется, не мог своей Настей, все для нее готов сделать был; а как дойдет речь до Матрены — вспылит, закричит на жену, словно на чужую.

Марья Семеновна, как была женщина хитрая да льстивая, вела себя с Настей осторожно — ни грубого слова от нее Настя не слыхала, ни попрека какого; а между тем чуть ли не так же не любила Семеновна и сыновнюю жену,

как ее родню. Только по глазам ее да по злой усмешке замечала Настя, что не лежит к ней сердце у свекрови. И чего бы, кажись, желать больше? Любви ли, согласия ли меж молодыми мало было? Так нет, не того хотела Семеновна. Как был еще сын парнем, только и думала она, только и гадала, как это он женится на девушке из богатого дома и чтобы родня вся была богатая. Было бы чем похвастаться перед людьми. «Что, мол, вы такое перед нами? Вон у нас какая родня! Деньги-то четвериками мерят». Или хоть бы про приданое: «Глядите-ка, мол, добрые люди, сколько добра невеста с собой принесла! Сундуки ломятся». Ан вышло-то все навыворот. Взяли бесприданницу, породнились с голяками. Ну, и кипело все у Семеновны. С самого же начала как невзлюбила она Настю, так и помириться с нею ни на чем не могла — ни на кротости ее, ни на покорстве. Подумаешь, и это ей было не по сердцу, что кротка-то да смирна. «Еще бы, говорит, в батрачках-то живучи, покорству не выучилась! Уж что бы в ней тогда за прок?» А не будь Настя смирна, опять бы беда. «Вот,— стала бы Семеновна говорить,— залетела ворона в высокие хоромы — заважничалась и ну каркать! — слушайте, мол, какая я голосистая!»

Чуть что не с первого дня, как вошла Настя в Иванову избу, стала Семеновна раздумывать, как бы ей серой кошкой промеж сына и невестки пройти. И все, что ни день, то больше, брала ее злость, что Иван так крепко жену любит. Словно она Настасью ревновала к нему. Будь у нее поменьше сметки да хитрости, сразу бы она зачала мутить в доме да детей ссорить, и пожалуй, что проку бы никакого не вышло. Похитрее она смекнула — выждать, как любовь у сына попростынет; не век же ворковать станут.

Свадьбу сыграли осенью; на зиму уехал Иван извозничать в Питер, а жену оставил с матерью.

Все даже диву дались, как плакала Настасья, провожая мужа. Словно он на край света уезжает, словно и невесть когда воротится.

V

Без Ивана скучала Настасья. Свекровь стала на нее еще враждебнее смотреть. При Иване, бывало, остережется иной раз: и хочет что-нибудь колкое, злое сказать Настасье, а смолчит, чтобы с сыном не ссориться. Теперь уж нечего

было стеречься. Когда-то еще сын приедет! До тех пор все забудется; а и не забудется, так Настасья слова мужу не скажет. Мир домашний ей дороже всего был. И Семеновна не пропускала случая обидеть невестку и жестким словом и несправедливым попреком. Никогда между ними речи по душе не было. Иногда подумает Настасья о своем Иване, хочется ей думами с кем-нибудь близким поделиться. Семеновна так смотрит, что и речи с ней не заводи; да и какой же она была близкий человек Насте?

Стала Настя чаще ходить к Матрене, дольше с ней сидеть.

Как воротится домой, первый спрос у Семеновны:

— Ну, что? отвела душу?

А сама, кажись, съесть глазами хочет.

— Отвела,— скажет Настя со всегдашней своей кротостью.

И отойдет в угол и примется за работу какую, чтобы только со свекровью в спор не входить.

Так этим Семеновна недовольна. Примется невестку корить да попрекать:

— Этак-то ты мужа любишь? Этакое-то твое послушание? При нем, небойсь, тише воды, ниже травы была, не заглядывала к нищим-то своим. А как уехал, и дома не живешь. Все косточки нам перемыла, поди, с побирухой-то своей. Знать, от нищенского вашего рода нечего много добра ждать.

И пойдет, и пойдет — шире да дале. И кажись, одно и то же все говорит, а слова все новые... Откуда только берутся!

И больно Настасье, и досадно, и хочется свекрови тем же ответить, да удержится; уйдет только вон из горницы. Светелка у них была светленькая такая — там запрется.

Так и это Семеновну бесило.

— У! ехидная! — бормочет, бывало, ей вслед,— и слова не проронит. Одно норовит — как бы исподтишка ужалить.

Иван часто из Питера письма присылал — с почтой и с оказией; а как с оказией, так уж непременно и подарок какой Настасье пришлет — серьги али бусы, косынку али платок шелковой, а то сластей каких.

И все писал, что по Насте скучает, что ждет не дождется весны; а не раз-таки и то в письмах было, что слышал он,

будто Настасья очень уж дружбу с Матреной водит и матери не слушается, так чтобы это оставила и матери бы покорилась. Крепко это наказывал.

Настасья грамоте не знала, и письма за нее писала Марья Семеновна, хоть и сама была не ахти-то грамотница. Таких каракуль наставит, что час надо лист-то ее разбирать.

И почитай что каждое письмо ее от начала и до конца все было в жалобах на невестку. Будь эти жалобы на словах, взрывали бы они Ивана, как порох; а как на письме, да письмо-то надо целый час читать, так оно будто и не так до сердца доходит. Посердится, правда, Иван, да скоро как-то и отойдет зло, особливо как начнет вспоминать Настины ласки да милые слова.

VI

Надо было Ивану к святой воротиться, да задержало его что-то — не то деньги с кого-то получить следовало, не то река тут разлилась, перевозов не было. И приехал он не на страстной неделе, как его ждали, а на самой на святой, на третий день.

С первого же шагу в деревню ему досада была. Настасья сидела у Матрены. Правда, она тотчас же прибежала домой; но Семеновна успела уж нашипеть сыну в уши по-змеиному и того, и сего, и пятого, и десятого.

Встретил Иван жену невесело, и холодом ей все сердце обдало.

— Этак-то ты?

Только и сказал и губы закусил.

— Ваня, прости, голубчик! — кротко промолвила Настасья,— кабы не больна была Матрена, и не пошла бы я. Неможется ей, лежит она.

— Знаю,— ответил Иван и сел к столу.

Даже и не поцеловался он с женой. Слезы у нее на глаза выступили.

— Ва́нюшка! чем я перед тобой провинилась? скажи, сердечный! Накажи меня; только этак сурово не гляди.

— Всегда так гляжу.

— Нет, не этак ты со мной встречался прежде. Что, бывало, слов радостных наскажешь!

— То бывало, а то теперь.

— Да в чем вина-то моя, Ваня?

Иван молчал.

Семеновна радовалась в душе; ну, да не показать же это было.

— Что ж это и взаправду? — заговорила хитрая лиса,— разве так муж с женой встречаются? где это видано? Не обнялись, не поцеловались! Чужие вы, что ли?

— Ради праздника господня, прости меня, Ва́нюшка! — говорила сквозь слезы Настасья.

— Что это за ссоры на самых на первых порах? — подтвердила Семеновна.— Садись к мужу-то! обними поласковее!

Настя и села бы и обняла, да боялась.

Посмотрел на нее Иван.

— Ну, уж, видно, быть так! для праздника... Иди сюда! садись! А матушка поесть чего-нибудь даст.

Семеновна вышла из избы.

Настя села около мужа, припала к нему головой на грудь и заплакала. Почувствовал Иван сквозь рубашку ее слезы. Обнял ее, спрашивает:

— О чем ты? Ведь помирились уж! полно! о чем?

— Обидел ты меня, Ваня...— отвечает Настя, а сама все плачет, все лица от его груди не отымает.— Тем ли я тебя встретить думала?.. То ли я тебе сказать хотела?

И смолкла.

— Ну полно же, Настенька! полно! — стал ее Иван уговаривать.— Ну, что хотела сказать? что? Все равно теперь скажи!

А сам ее по плечам гладит.

— Ох, не могу что-то теперь,— промолвила Настя,— не говорится что-то.

Иван крепче ее обнял.

— Скажи,— говорит,— что такое?

Настасья еще ближе лицом к его груди припала и тихо так, словно шепотом, говорит ему:

— Ва́нюшка! сердечный мой! Ведь точно знало, что ты домой будешь,— дитя твое у меня нынче по́д сердцем взыграло.

Взял ее Иван обеими руками за голову; а она все лицо кроет.

— Погляди ж на меня.

Подняла на него Настя свои большие глаза; стал он

ее целовать, и текли им на горячие губы Настины горячие слезы.

Отлегло у Ивана от сердца; стихла на время гордость его безумная; взглянул он опять весело.

VII

Много досадного наговорила Семеновна сыну про невестку; но сказала не все, что накопила на душе, пока его не было в деревне. Хитрая баба оставила кое-что и про запас. Не разом же все выпеть сыну, так, чтобы потом ни упрека, ни жалобы новой не было? Самое лучшее — случая выждать.

Ждать Семеновне пришлось недолго. Как уж это так выходило — право, не знаю; только, бывало, сядут Иван и Настасья одни в горнице и говорят промеж собой, и покамест говорят ладно и дружно, Семеновны и не слыхать в избе, словно и нет ее совсем; а как пойдут у них слова покрупнее, будто к ссоре дело, откуда ни возьмется мать, точно из земли вырастет, и не то чтобы помирить их, согласить, а только пуще у Ивана сердце разожжет. Настасья, как баба тихая, смирная, робкая, тем только, бывало, и берет, что в слезы ударится.

И все-то горе ее оттого было, зачем родня у ней бедная и зачем она с Матреной дружбу водит.

Дня уж, видно, три аль четыре прошло, как Иван из города вернулся. Сидел он так-то с Настасьей, говорили о том о сем, да уж словно и нельзя было без этого — договорились и до Матрены. У Ивана и лоб нахмурился, и брови сдвинулись, и бороду стал он себе пальцами щипать да закусывать. Нож это был вострый Настасье. Начала она, как и всякий раз, его упрашивать да умаливать, чтоб не поминал он про это, не ранил бы ее сердца.

Да между другими речами и говорит ему:

— Ва́нюшка! полно тебе этим тревожиться! не слушай ты наговоров!

Только она это слово вымолвила, тут как тут перед ними Семеновна. Как взглянула на нее Настасья — все, что еще сказать хотела, на языке у ней замерло. Видит, свекровь себя от злости не помнит — руки трясутся, губы трясутся. Кажись, не будь тут сына, кинулась бы она с кулаками на Настасью.

— Какие это наговоры? — закричала.— Я, по-твоему, наговариваю? Я? Ах ты, голь неблагодарная! Ты это с наговорами-то в дом к нам пришла! Ты только и знаешь что мать с сыном ссорить, змея подколодная! Не я же за тебя, за тварь, перед мужем заступалась? Не я, скажешь? Да кабы я все-то мужу сказала про тебя... Ах ты... ах...

Инда голос у Семеновны оборвался.

— Что про меня сказать? — промолвила Настасья.

— Что? небойсь нечего? — лютовала Семеновна.— А спроси-ка ты у нее, Иван,— где твое подаренье, алый-то платок шелковый?

Иван вспыхнул.

— А где он?

— Спроси у нее, спроси! — кричала мать.

— Где платок? — спрашивает Иван.

— У меня,— промолвила чуть слышно Настасья.

— У тебя? Ну-ка, покажи, где он у тебя? покажи! — все громче и громче выкрикивала Семеновна.— Пусть покажет! Срамница этакая! На всю окружность нас срамит, нищая!

— Где у тебя платок? покажи! — промолвил Иван. А у самого уж голос дрогнул.

Не дала ему Семеновна много-то говорить. Видит, закипело уж в нем сердце — еще немножко жару поддать, пойдет в избе все вверх дном.

— У тебя? у тебя платок? — приставала она к Настасье.— А и у тебя, так только сраму, видно, хочешь побольше мужу!.. Вот придет воскресный день али праздничный, повяжет она его — к обедне в село, как все-то его на роденьке ее, на Матрешке-побирухе, видели... в светлую заутреню...

Иван вскочил с места, словно змея его ужалила.

— Да как ты посмела-то только? как ты посмела? — кричит.

А глаза у самого горят.

— Вот она как мужнины подарки ценит! — не переставала кричать Семеновна.— Уж пусть бы свекровь, а то и муж-то для нее ничего не значит перед ее нищей родней.

— Говори, как ты смела? — кричал Иван, грозя ей кулаками.

— Это вот Иван только такой смирный,— продолжала Семеновна,— а то всякой бы другой муж тебе бока обломал, косу-то бы раскосматил.

— Виновата, Ва́нюшка! — вскричала Настасья и пала перед ним наземь.

— Так, значит, правда это? правда?

Иван сорвал у нее платок с головы.

— Хорошенько ее, хорошенько! — поджигала мать.— Как ее и учить, коли добрые слова не берут? Мужнино подаренье да дать носить черт знает кому! Что ж ты как пень стоишь? — накинулась она на сына.— Этак-то ты жену держишь? Да опосля этого она тебя само́го в люди продаст.

Иван уж весь дрожал от злобы.

— Ва́нюшка! для праздника...— простонала Настасья, не вставая с полу.

— А вот я покажу тебе праздник!

И руки его впутались уж в косы Настасье.

— Так ее, так! побольнее! — подзадоривала Семеновна.

VIII

Как на грех, проходи в ту самую пору мимо Ивановой избы Матрена. Услыхала она вопли Настасьи: ни Семеновна, ни Иван не подумали и окошек-то притворить. И так Матрене показался жалобен голос Настасьин, что не выдержала она, забыла, что заказано ей и нос в кононовскую избу показывать,— кинулась во двор, на крыльцо — и в горницу.

— Что это ты делаешь, душегуб? — завопила она,— аль жену убить хочешь?

— Тебе что здесь надо? — крикнул Иван.

И он и мать кинулись на непрошенную гостью, и она едва унесла ноги.

— Так вот у тебя защитники какие? вот какие? — еще злобнее закричал Иван. И напустился на бедную Настасью пуще прежнего.

— В дом ко мне смеют ходить? мне указывать?

Семеновна так кричала, что у Ивана в ушах звенело.

— Тащи ее в клеть! тащи в клеть! — советовала она,— пусть хоть люди-то не слышат! Тащи!

Иван схватил жену за косу и поволок ее в клеть. Глаза горят, как у волка, и сам, словно волк над добычей, весь трясется. Порог ли, ступенька ли на дороге, полено ли — ни на что не смотрит. И заперся в клети на засов.

Матрена тем временем, вся растрепанная, бегала по улице, всю деревню всполошила.

Только и знает что кричит:

— Батюшки! убил! родные! убил!

— Кто кого убил! — спрашивает всякий.

— До смерти убил!

— Да кто кого?

— Иван жену убил! Батюшки! спасите! родные! помогите!

Целая толпа за ней собралась.

Пошли судить да рядить.

Один говорит — не дело чужим в семейную ссору мешаться; другой говорит — коль и взаправду до смерти убил, так потом разберут на суде; третий кричит, что уж это и за жизнь будет, коль мужу да жену не сметь бить; четвертый толкует, что на то и жена, чтобы бить ее сколько душе угодно, что такой уж испокон веку закон положен.

Нашлось два-три и рассудительных человека. Стали спорить с дураками.

— Да где ж это,— говорят,— закон такой, чтобы с женой, как со скотиной, обращаться? Сказано в писании: «Блажен человек, иже и скоты милует». А жену тем паче. И просту́пится в чем, так больше словом на путь истинный обратить надо; не то что бить. А за Настасьей, слышно, и вины-то никакой нету. Пойдемте, ребята; что ж, в самом деле? убить, что ли, ему ее дать? Он же человек этакой злобный.

— Совсем убил! совсем! — повторяла, руками размахивая, Матрена.

Кто из жалости, а кто просто, чтобы на драку посмотреть, пошла вся гурьба к Ивановой избе.

— Вам чего надо?—встретила их в воротах Семеновна.— Не властен стал уж и муж жену наказать?

Из клети слышали такой стон жалобный, что даже у кого и совсем сердце зачерствело, тут будто смягчилось немножко.

Иван словно обезумел, как зверь, когда крови попробует. Как стали его из-за двери уговаривать, он пуще рассвирепел.

— Так вот же — вам назло! вот! — кричал оттуда хриплым голосом.

Настасья и стонать перестала — совсем стихла.

Испугались мужики, как бы беды не случилось, выломали

дверь, благо плохо на петлях держалась, и насилу оттащили Ивана.

Настасья лежала без памяти. На руках ее в избу принесли.

Иван весь со злости расслаб — руки у него как плети повисли, а все ругался, все грозился.

— Пусть,— говорит,— отдохнет маленько! А там моих рук не минует.

IX

Долго пришлось отдыхать Настасье, хоть судьба ее и с ранних лет не баловала и с детства она к побоям притерпелась.

На другой день бабы у колодца охали да ахали:

— Ах, матушки, грех какой! у Ивана беда-то какая!

— А что случилось?

— Да Настасья-то мертвого выкинула.

— Ах! ах! господи! грех-то какой!

— Бил-то уж больно, слышь, грозно.

— Господи! мать-то чего глядела?

— Она же, говорят, и подожгла.

— Ах, душа безжалостная! Да из-за чего вышло-то.

— Да из-за пустяков, слышь. Иван-то жене платок из Питера прислал шелковый. Так она, из жалости, Матрене его дала на светлую заутреню повязаться... Сама, матушка, знаешь — люди они неимущие. А вот он узнал, да и ну Настасью бить. Уж как бил-то, говорят! Словно жалости у человека вовсе нету. Кабы не мужики, пожалуй-то и самой бы смерти не миновать.

— Гордость-то уж их больно попутала.

— Ох, и не говори! и не говори! этакой гордости и на всем свете не видано.

— И этакая-то беда случилась! Подлинно, знать, нету греха злее гордости?

— Да, да... Вот Кондратьич говорит.... он же вчерась и мужиков-то туда повел... Так он говорит: в святых книгах это писано — за гордость и враг рода человеческого, дьявол, с небес господом согнан... А был, матушка, ангел чистый!

— Ах! ах!

И конца не было толкам.

Иван и опомнился и одумался, как сказала ему Семеновна о беде, что случилась после побой с Настасьей, да уж поздно было. Сделанного не воротишь.

X

Вот и оправилась Настасья; и Иван, словно совсем раскаялся, опять к ней ласков стал по-прежнему и уж ни полсловом, бывало, не помянет о Матрене. Кажись, хоть каждый день к ней Настасья ходи и к себе ее води, он бы и не заикнулся: зачем, дескать? Стал он опять жене в глаза глядеть. Чего бы, кажись, ни захотела, он бы все рад-радехонек сделать. И любви у него к ней и жалости было чуть что не больше прежнего.

Только уж Настасья словно совсем не прежняя стала. И прежде была смирна, а тут и совсем не слыхать ее в избе. Глаза еще грустнее смотрят и все будто слез полны. Кажется, только головой шелохни, так и покатятся по щекам. Прежде, бывало, спросит чего Иван или велит ей что, она хоть что-нибудь скажет, иной раз не согласится с ним, совет какой ему подаст; а тут и рта не раскроет, словно онемела. Чего спросят — подает, куда пошлют — пойдет; и хоть бы словечко проронила. Прежде платье ее, али душегрейка какая, али что другое из женской одежи займет; а тут будто и все ей равно: что ни наденет — ладно, что ни подвернется под руку — все хорошо. К зеркалу и не подходит.

И как с ней Иван ни заговаривает, она все больше ему «да» да «нет» — только и слов; а уж чтобы сама речь завела — этого и не жди.

Прошла так неделя, прошла и другая, прошел и целый месяц. Стало у Ивана сердце болеть, на Настасью глядя. Что бы это сделалось с ней такое?

Раз и говорит ей:

— Настенька! что это ты мириться со мной не хочешь? Что было, я все позабыл. Али уж прежнему ладу у нас в избе не бывать? Али ты и не взглянешь на меня ласково, как прежде сматривала? Али все сердишься?

Настасья молчит.

— Да скажи же! Сердишься али нет?

— Нет,— отвечает.

Захотел он приласкать ее. Она как мертвая — ни один сустав в ней не шевельнется.

— Да что с тобой?

— Ничего,— говорит.

— Что руки у тебя холодные такие? и в лице ни кровинки? Неможется тебе?

— Нет.

— Да ответь же ты на ласку мою! хоть поцелуй разок!

Настасья глянула на него странно таково — словно чужая. И все глаза слез полны. Кажется, вот-вот прольются.

У Ивана сердце обмерло — и оробел будто он, и будто жаль ему ее очень стало. Так с того дня Настасья хизнула, словно целый год в постели вылежала: лицо бледное, губы бледные, виски ровно ввалились, по лбу две морщины глубокие легли.

— Али уж мы не муж и жена с тобой? — спрашивает Иван.

Настасья все на него смотрит и кротко так ему говорит:

— Все я тебе, Иван,— и раба и слуга; вели мне, что хочешь; делай со мной, что хочешь; слова я тебе насупротив не скажу. Только женой твоей мне не быть.

У Ивана опять будто зло в душе шевельнулось.

— Что так?

— Не спрашивай,— отвечает Настасья,— сам знаешь.

— Нет, не знаю,— говорит,— скажи!

— Как мне,— говорит Настасья,— твоей женой быть, когда ты дитя мое убил? И твое ведь оно было.

Раз была такая речь меж Иваном и Настасьей, и два, и три раза, а может, и все десять раз. Других слов Иван от нее не слыхал.

Стал он ходить пасмурный, как осенняя туча; стал спрашивать мать, как бы делу помочь.

У Семеновны был один совет:

— Пригрози!

Попробовал Иван грозить — не помогло.

— Делай силой, что хочешь,— отвечает Настасья,— воли моей не сломишь!

Семеновна стала ему и то советовать — побил бы ее хоть легонько.

Иван не раз собирался матери послушаться; да как подойдет к Настасье — и руки у него опустятся. Такая она сидит сиротливая да беззащитная. И все-то с каждым днем

и слабее и бледнее; только на щеках, повыше к глазам, чуть-чуть румянец сквозится.

Думал-думал Иван. У самого руки на Настасью не подымаются. «Дай,— думает,— схожу к управляющему; пусть он ее накажет».

И пошел.

Карл Иваныч долго ни над чем не задумывался. Взял у Ивана синенькую бумажку, просьбу его выслушал и говорит:

— Каршо́! Мы зделаем ошен прекрасни урок — сто розги.

Как воротился Иван домой, совестно ему стало, да перемог он себя, взял Настасью за руку и говорит:

— Пойдем к управляющему.

А Семеновна им вслед:

— Выбьет он дурь-то!

У Настасьи — показалось Ивану — будто рука похолодела. Идет она с ним и головы не подымает, и только чуть слышно проговорила:

— Теперь можно меня бить...

Иван и руку ее выпустил.

— Что ты сказала? — спрашивает.

— Говорю: жену ты бил,— отвечает Настасья,— так уж как же тебе рабу не бить?

Сбросил Иван с себя шапку, воротился в горницу и уж к Карл Иванычу не пошел.

XI

Не по дням, а по часам чахла Настасья, и к осени ее не стало. Умерла она тихо, словно заснула.

С нею будто умерло и счастье Ивана. Меж ним и матерью ссоры не прекращались. Он не мог ей простить смерти Настасьи, и стали они грызться, как и звери в берлоге не грызутся. С горя принялся Иван пить да кутить, и все богатство, а с ним и гордость его пошли прахом.

Говорят, Семеновна под конец, как придет, бывало, в село, к обедне, хоронится в самый темный угол, чтобы не увидали ее люди да не сказали, что у нее и такой жалкой одежонки нет, какою срамила ее когда-то Матрена.

ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗКИ

Обыкновенно думают, что нет ничего страшнее преступника, побывавшего в остроге, на каторге, изведавшего всевозможные лишения и часто самые горькие обиды. Не мудрено, конечно, ожесточиться такому человеку; чего только не приходится ему вытерпеть — и голод, и холод, и самое грубое обращение, какое только можно встретить в нашей грязной тюрьме, между людьми, потерянными для себя и для общества, у которых нет другой защиты, кроме унизительных слез и еще более унизительных просьб. И действительно, есть преступники — люди падшие в полном значении этого слова; но мне доводилось нередко видеть между ними и таких, которым может позавидовать каждый из нас, не испытавший ни острога, ни кандалов, ни каторги.

У одного горного офицера видел я няньку, выходившую троих его детей, женщину лет сорока, высокую, бодрую, еще красивую. В доме смотрели на нее скорее как на родную, чем как на служанку. У нее были ключи ото всего. К ней обращались иногда даже за советами по разным домашним и семейным делам. Она держала себя строго и с большим достоинством, и я только случайно узнал, что она сослана в каторжную работу на пятнадцать лет и только недавно кончился ей этот срок, сократившийся наполовину разными манифестами. Мне любопытно было узнать, за что попала в каторгу эта женщина. Офицер, хозяин ее, сказал, чтобы я спросил ее сам.

— Она охотно расскажет,— прибавил он.

Всякому, кто выстрадал несколько лет в каторжной жизни, есть что рассказать, и потому я воспользовался

первой удобной минутой, чтобы навести на разговор о былом словоохотливую няньку, и она рассказала мне вот что:

— Нас прислали сюда семерых женщин по одному делу. Трех баб да четырех девок. Все мы были барские и все крестьянки, а не из дворни. Я была незамужем тоже. Господа у нас редко жили в деревне — все веселились в городе и наезжали к нам только летом, и то не каждый год. Что делалось в деревне за глазами их, они ничего не знали. Поставлен был над нами управляющий не то жид, не то русский, но только не приведи господи видеть такого человека. Жил он в нашей деревне, в барских хоромах, а управлял тремя или четырьмя соседними деревнями. Была у него и жена, барыня злющая, но ничего не значащая перед мужем. Детей у них не было, а уж скупости какой оба! часто мы дивились, куда только скряжничают. «Умрут, говорили мы, все останется невесть кому — такой родне, что они и в глаза никогда не видали».

Между собой жили они неладно. Барыня богомольство любила,— ни одного воскресенья не пропускала, чтоб к обедне не съездить в соседнее село, в субботу — ко всенощной, а то и к заутрене. Праздник какой случится — тоже. Брат мой кучером у них был, и чего только не перенес он от управляющего. Да и никого не было ни в дворне, ни во всей деревне, чтобы были довольны ими. Барщиной совсем нас замучили. Господа-то, ходили слухи, разорялись и проживались, а управляющий-то богател и на стороне покупал себе деревеньки. Служил он когда-то в военной службе, носил усы длинные, глаза были маленькие — и такие зеленые, как у лягушки, так мы его и звали «Зеленые глазки». С барыней, сказала я, жил он неладно. Она все ревновала его ко всем. Да и было за что; точно, что ни одной девке, ни одной бабе проходу не давал. Только мало у него в этом толку-то выходило. Были у нас и такие тоже, что и от этого бы не прочь; так знали — скуп уж очень, удавится, а платка не подарит. И драться к тому же любил. Бывало, пойдет по работам, подтянется ремнем и за него нагайку заткнет. Чуть что не так — он и за нагайку. Сколько бегало народу. В мою пору, помню, человек двадцать в бегах пропадало,— из моей одной родни трое этак-то ушли. Конечно, от хорошего житья бегать бы не стали. И работы такие выдумывал, что хоть век ломай голову — и не придумаешь, зачем это приказывают делать. Пришла ему затея ров кругом сада копать — и добро бы забора у сада не было,

а то забор каменный совсем новый. Стали баб и девок наряжать копать. Сам вымерял, вехи наставил и наказывает, чтобы беспременно в сажень глубиной. Нарядили нас семерых. Ругаем его, а копаем. Староста пришел, тоже говорит: «Эк, черт проклятый, что выдумал,— а все же понукает: — Работайте, девки!» Что станешь делать? Была промеж нас Мавруша Спиридонова,— сюда же пришла,— красивая такая девка, изо всей деревни первая на лицо,— как вышел ей срок, вышла за купца,— ладно так живут... Он с ней и до того еще жил,— детей двое... Так вот эта Мавруша и говорит нам: «Он, говорит, девки (про управляющего-то), затем это выдумал, чтобы к нам сюда от барыни ходить, играть с нами. Ей и невдомек, где он будет прятаться... Попробуй только приди «Зеленые глазки»! Я первая выцарапаю глаза, только тронь меня!» И точно, сам он всех поименно к работе нарядил,— выбрал все таких, что из себя красивы, молодых, да к которым и до той поры ластился. Так и вышло. Недолго мы возились с лопатами и не сделали ничего,—он тут как тут, ремнем перетянут, нагайка за поясом. Принялся шутить сначала, потом то ту из нас, то другую схватит, платок с шеи сдернет, целоваться лезет. А то и в кусты готов тащить. Только силы-то бог не дал — ни с одной и сладить-то не мог. Мы его стыдить: чуть не в один голос ему говорим — солнышка-то бы посовестился, вспомнил бы, что жена дома сидит, его ждет, и из себя не хуже нас. Ничто его не берет. Меньше только он к Мавруше приставал. Ее словно опасался. А мы знали, ее раз силой к нему водили, как он один оставался в деревне,— на богомолье какое барыня-то ездила, что ли,— все детей себе вымаливала. Так и тут у него с Маврой ничего не вышло. И уж ненавидела же она его. Не знаю, был ли кто у нас в деревне, чтобы его так ненавидел. «Только бы еще минуточку, задушила бы я его тогда»,— говорила нам Маврушка. Она же и прозванье это выдумала: «Зеленые глазки». Как видит он, на шутки его никто и глядеть не хочет,— давай стращать. А Мавра только глядит на него да усмехается. Ушел. Приходит староста, говорит, велел урок задать. Которая, говорит, урка не отдаст, беда! грозит и не знаю что сделать. Урок так урок. Злость такая берет, что и сказать нельзя, а копаем. Одной бедой хоть другую с плеч. А он нет-нет и опять около нас. То к той, то к другой,— и сулит и грозит. Глаза его зеленые так и бегают. Схватится иной раз за свою нагайку — только никого не ударит. Повертится

тут, повертится там — и опять ни с чем уйдет. Только все старосте наказывает урки прибавить. Слышим, сердит что-то очень. И рвет и мечет. На брата моего за что-то взъелся,— наказали. Это уж, значит, очень разгневался. А то кучеров да поваров у нас почти никогда не наказывали. Да и не у нас одних. У кучера вожжи в руках,— недолго ему, пожалуй и голову сломит; повара тоже ублажают. Может, и еще бы он на ком-нибудь сердце сорвал, да помешали. Гости какие-то приехали,— ему и не до нас. Целый день этак прошел, что он к нам и не заглядывал. Только староста пришел к нам с своей палочкой,— мы было уж и лопаты прочь,— стал нас просить, чтобы не бросали, копали и урки свои отдали. «А то, говорит, и мне обещал задать баню на конюшне». Копаем — и выкопали яму,— точно могила. Сами же смеемся: могила, да и только. На третий день уехали гости. Мы ждем, вот-вот появятся зеленые глазки. Так и есть,— идет и под хмельком немножко. На проводах-то гостей выпил. Опять за старое. Ту под мышки, другую за грудь. Под конец к Маврушке; а то все до нее не касался. У нее и глаза разгорелись. «Не подходи»,— кричит. Мы оперлись на лопаты,— смотрим, что будет. А работали мы тогда наверху, не в яме. Мавра-то ему: «Не подходи!», а он: «Что-о?», подошел к ней да только руки расставил — обнять ее, она как двинет его кулаком в грудь: «Прочь! говорит, не то зашибу». Он даже затрясся весь,— как выхватит свою нагайку из-за пояса да хватит ее по плечу да поперек левой груди нагайкой-то. Инда просто пала Мавра. А он опять нагайку занес. Глядим, она лопатой ему в самый живот,— он в яму вниз головой. А Мавра-то хохочет. И нам стало смешно, как он полетел, шапка в одну сторону, а нагайка в другую. Только видим, лежит он и не пошевелится. «А что, как он да не жив, девки?»— говорим промеж себя, а сами испугались и не знаем, что и делать. Мавра и говорит: «Жив — беда нам будет, и не жив— беда. Все одно, засыпем его землей», говорит. Точно мы этого слова и ждали. Не успела она это сказать, мы за лопаты — давай кидать землю, точь-в-точь как могилу зарывают. А у Мавры все зло-то еще не прошло,— приговаривает: «Себе могилу, видно, заказывал». Не знаю, почудилось это тогда или взаправду, только будто он сначала-то простонал, а потом и пошевелился. У меня как туман был в глазах, — ничего не помню, кидаю только землю.

Глядим, и яму всю заровняли — точно и не было ее. Дело было под вечер. Как покончили мы — и разошлись по домам. А того нам в голову не пришло, чтобы сговориться, как отвечать, ежели спрашивать станут. Я пришла домой — головы у себя на плечах не слышу. Зовут меня ужинать — не пошла; говорю: «Неможется». Ушла в клеть — лежу ни жива ни мертва. Немного и времени-то прошло,— хватились барина. Пошли поиски по всей деревне: «Кто видел? кто слышал?» Как уж там догадались, добрались — не знаю, только слышу, меня спрашивают — за мной пришли. Всех нас связали сначала и потом сковали да в острог — судить... Известное дело. В остроге-то недолго томили,— ни одна и не запиралась из нас. Наказанье назначили,— четырех нас в городе наказывали, а троих в деревне у нас. Нарочно возили туда. И палач из города ездил. Это по просьбе жены управляющего было — другим для примера. И сказывают, как была ни скупа — деньги палачу давала, чтобы покрепче бил. И уж точно что жестоко наказали. Мы в больнице лежали, как троих-то из деревни привезли. Мавра была девка молодая, двадцати не было ей, и любви еще не знала. Груди были, как яблоки наливные, и хоть бы складочка снизу. Привозят ее чуть живую. Стала она оправляться немного,— расстегнула раз рубашку передо мной: «Посмотри, Маша, что с моей-то красой сталось. Точно я троих детей родила и выкормила». Залилась слезами. В дороге пришлось потерпеть немало. Шли больше году. Здесь тогда начальство было доброе — в тяжкие работы не наряжали. Меня в прачки при лазарете определили. Так и прожили свой век, как пришлось. И как вспомню теперь, за что сюда попала, словно это все я во сне видела или от других слышала. Только вот грудь-то стала слаба — отбили в ту пору.

Сибирские очерки

АГРАФЕНА

Так как я пишу свои очерки из былого, из давно прошедшего былого, то в воспоминаниях моих не может быть ничего обидного для современного русского человека. Подобные случаи при настоящем судопроизводстве отходят в область невозвратной старины и как только исторические факты не теряют своего значения.

В партии арестантов в тобольскую пересыльную тюрьму пришла Аграфена Расторгуева, женщина лет двадцати двух. Во весь путь из губернского города, где ее судили, с нее не снимали поручней, или железных прутьев, заменяющих цепи на руках. В статейном списке ее было сказано, что она послана сюда за задушение своего ребенка и за дважды повторенное при следствии и суде покушение на убийство, причем в первом случае ею нанесены раны. В примечании находилось предупреждение о содержании ее в «секретной». По приходе партии в Тобольск с Аграфены в первый день не сняли прутьев и посадили ее в одну из отдельных конур на кандальном дворе. Спутники и спутницы Аграфены по дорогам и этапам не могли сказать про нее ничего особенного, кроме того, что она «пуглива» перед начальством, а вообще девка как девка.

Лицом она была ни дурна, ни красива и казалась на вид гораздо старше своих лет. Это могло происходить и от утомленного болезненного ее вида. Ей пришлось очень долго сидеть в остроге, где не раз нападали на нее скорбут и лихорадка. Выражение лица у нее было довольно обыкновенное, кроме глаз, почти постоянно широко раскрытых и будто испуганных. Такой же испуг отражался порою и на полу-

открытых губах ее. При появлении каждого нового лица она выказывала какое-то странное беспокойство, озиралась по сторонам, будто искала чего-то, не могла ни сидеть, ни стоять смирно и громко гремела своими поручнями, точно желая высвободить из них свои руки. Тогда надо бывало повторить ей несколько раз один и тот же вопрос, чтобы она поняла его или, лучше сказать, вслушалась в него и ответила. Отвечала она просто и толково, и лицо ее в это время густо краснело.

На другой день по приходе в Тобольск вся партия должна была отправиться поутру для поверки и распределения в приказ о ссыльных.

Тюремный врач осмотрел пришедших, между прочим зашел и в «секретную» Аграфены. Прутья потерли ей руки до крови; на одной была довольно большая рана. Он приказал тюремному смотрителю снять с нее наручни и по возвращении из приказа зачислить в больницу.

Во дворе острога собралась уже толпа арестантов под конвоем нескольких казаков. Вывели туда же и Аграфену и тут сняли с нее прутья и втолкнули ее в толпу, которая двигалась уже со двора сквозь глубокие ворота на улицу.

Никому, конечно, не было никакого дела до Аграфены, никто не обращал на нее внимания до самого входа в канцелярию или одно из отделений приказа, до которого от тюрьмы недалеко.

В самых дверях с Аграфеной столкнулся один из заседателей, выбранил ее, что она не смотрит вперед и лезет прямо на людей, и сердито втолкнул ее в канцелярию. Он не успел еще переступить порога, как страшный женский визг и вопль заставил его вернуться и взглянуть в ту сторону, куда он оттолкнул бабу.

На полу, около топившейся печки, шла какая-то борьба. Заседателя пропустили вперед, и вот что он увидал. Сторожа держали за ноги и за руки Аграфену и кричали, чтобы им дали скорее веревку. В это же самое время они не щадили кулаков при малейшем ее движении. Она не кричала, не стонала. Рядом около нее лежал ребенок лет десяти с раздробленной головой и по-видимому уже умерший и обрызганное кровью и мозгом длинное полено. Над ним выла и кричала женщина, и около нее также выла и кричала во весь голос девочка лет шести-семи.

Все малые и большие члены приказа поднялись на ноги и бросились к месту необыкновенного происшествия. Члены

присутствия в вицмундирах выбежали на крик, мелкие чиновники в заплатанных подобиях сюртуков и даже просто в халатах кинулись от столов в угол к печке, сзади теснились, гремя кандалами, только что приведенные арестанты. Не вдруг можно было разобрать в чем дело. Из рассказа плачущей женщины ничего нельзя было понять, и вдобавок она заглушала своими воплями и взвизгиваниями рассказ сторожа, упиравшегося коленом в грудь Аграфены и прижимавшего к полу ее руки.

Наконец объяснилось вот что:

Перед приходом арестантов в комнате приказа стояла баба с двумя детьми, ссылавшаяся на поселение. Ей сказали, чтоб она обождала какой-то справки, и она отошла с детьми к печке, когда в горницу стали набираться арестанты из кандальной партии. Вдруг подбежала к ней женщина, схватила, как полоумная, полено около печки и одним ударом размозжила голову ее десятилетнему сыну. Замахнулась она и над девочкой, и, конечно, несдобровать бы и той, если б солдат-истопник не выхватил у нее полена и не повалил злодейку на пол.

Поселянка говорила, что видит эту женщину в первый раз и нигде не встречалась с нею, ни в дороге, ни в здешней тюрьме. В этом было нетрудно удостовериться и по бумагам этих двух женщин. Они были из разных мест, очень далеких одно от другого, шли в Сибирь в разное время, в остроге были помещены в разных отделениях. Никаких личных враждебных отношений предположить между ними было невозможно. Врач, говоривший с Аграфеной до ее отправки в приказ, не находил в ней никаких признаков помешательства. Опросили всю партию, с которой она шла. Никто не замечал в ней ничего особенного,— и даже глупою она никому не казалась. Статейный список тоже ничего не говорил.

На Аграфену опять набили ручные и ножные кандалы; опять засадили в «секретную». Началось дело.

Но каждый день в течение целой недели пришлось отмечать в допросе, что подсудимая на все, что ни спрашивают у нее, не говорит ни слова и упорно молчит, как немая, хотя по всему видно, что она слышит и понимает все, что ей говорят. Как и прежде, при появлении каждого чиновника она будто в испуге осматривалась по сторонам и бледнела, гремела ручными оковами и тревожно двигалась, как будто искала чего-то вокруг себя. Немного погодя

она успокоилась и тогда стояла или сидела, как окаменелая, и лицо ее начинало слегка краснеть.

И в следующую неделю от нее не могли добиться ни слова, хотя испробовали на ней все меры убеждения. Приковали ее на короткую цепь к стене, привели для увещания тюремного священника. Он начал ей читать какие-то тексты из священного писания, которых она, конечно, не понимала. Делал он это совершенно официально, точно продолжал допрос. Бывший при этом заседатель усердно покрикивал на нее. Аграфена молчала, как и прежде. Попробовали посадить ее на хлеб и на воду, потом и воды не стали давать. Толку не выходило. Аграфена выносила все без малейшего стона, и никто не слыхал от нее ни единого слова в объяснение ее преступления.

Несмотря на привычку ко всякого рода уголовщине, в городе стали рассказывать о деле и молчании Аграфены как о чем-то необыкновенном. Из числа людей, слушавших эти рассказы, особенно заинтересовался необыкновенной подсудимой молодой священник, племянник священника тюремного. Он предложил пойти к Аграфене и попробовать, не подействует ли на нее его убеждение. Не будь он родня и близкий человек тюремному протопопу, его, может быть, и не допустили бы к подсудимой уж из одной должностной ревности. Но тут дело устроилось просто.

Молодой священник пошел в «секретную» Аграфены один. Аграфена, как и всегда, заметалась немного по сторонам при его приходе.

Он заговорил с ней тихо, кротко,— сказал, что пришел не выведывать у нее что-нибудь, а только утешить ее в горе, потому что слышал, что ей очень тяжело. Он говорил, что ей было бы легче, если бы она высказала свои жалобы, не старалась молчать так упорно. Но он на этом не настаивал и стал ей рассказывать про себя, про то, как ему случалось терпеть. Он ни разу не упомянул слов «преступление», «преступница», он говорил только о несчастии, которое так часто постигает бедных людей.

По широко раскрытым глазам Аграфены трудно было решить, доверяла ли она хоть сколько-нибудь словам своего посетителя. Кто видал прежде постоянное выражение какого-то застывшего испуга в ее глазах, может быть заметил бы теперь в них больше изумления, чем испуга. Но она все-таки не произносила ни слова и только не отво-

дила взгляда от красивого и доброго лица молодого священника.

Он просидел у нее более часу, продолжая так же кротко и просто рассказывать ей разные случаи, сходные с тем, что было с нею. Он не предлагал ей вопросов, не вызывал ее на ответы, не советовал прекратить упорное молчание перед следователями — и вообще говорил так, как будто и следствия никакого над нею нет.

Наконец он встал и с минуту ждал, не скажет ли она чего. Аграфена только смотрела на него, и по истомленному лицу ее то пробегал, то исчезал румянец. Она не сказала ни слова.

Священник подошел к ней ближе, благословил и сказал, чтобы она подумала о том, что он ей говорил.

— У нас сегодня понедельник,— заключил он,— я еще зайду к тебе через неделю — в тот понедельник.

Он постоял еще с минуту, не скажет ли Аграфена что-нибудь на это. Ни слова опять.

— Ну, будь здорова! Утешь тебя господь! — сказал священник и вышел из «секретной».

Посещение его не подвинуло следствия ни на шаг. На следующий день все вопросы, предложенные Аграфене, остались — как оставались и до того времени — без всякого ответа. Следователи решили, что надо дать отдохнуть подсудимой неделю-другую: авось она очувствуется тогда и хоть что-нибудь скажет. Если же нет, дело можно решить и без ее показаний. Ее следовало тогда приговорить к постоянной стенной цепи.

Священник, обещавший зайти к Аграфене в понедельник, забыл о своем обещании. Он не зашел в понедельник — не зашел и во вторник.

Часовой, приставленный к двери Аграфены, сообщил, что она все гремит цепями и что-то разговаривает сама с собой. Это, однако ж, не повело ни к чему следователей, и когда в среду ей возобновили допрос, она по-прежнему не говорила ни слова, как немая.

В этот же день молодой священник вспомнил о своем обещании и навестил Аграфену перед вечером.

При первом появлении его в дверях Аграфена радостно вскрикнула, потом залилась слезами и кинулась навстречу к нему во всю длину своей цепи.

— Я думала, ты совсем не придешь, — восклицала она, не переставая плакать от радости,— вчера ждала, третьего дня ждала. Не придет, думаю, забыл.

Когда священник подошел и стал благословлять ее, она схватила своими скованными и израненными руками его руку и целовала ее.

— С самого того дня, как меня из деревни из нашей взяли,— продолжала она,— только одного доброго человека я и видела, что тебя.

Священник был поражен и обрадован этой переменой в Аграфене. Он старался успокоить ее волнение, просил ее перестать плакать, сесть и побеседовать с ним спокойно и откровенно. Немного погодя Аграфена действительно сидела уже смирно и чинно на нарах, положив себе в колени скованные руки, и говорила так рассудительно, как и не ожидал ее гость.

Он обратил ее мысли на давнишнее прошлое и ее житье дома, прежде чем она попала за тюремные стены. Аграфена с кроткой печалью стала рассказывать о бедной деревушке, закинутой в лесную глушь, за сотни верст от уездного города, о скудной, темной и полной лишений жизни своей в семье, об отце и матери, о младшей сестре. Видно было, что воспоминания о родных местах и о той поре часто занимали ее в тюремном одиночестве. И как ни скудна и темна, как ни безрадостна была эта жизнь, к которой теперь не было уже возврата Аграфене, она, кажется, представлялась ей чем-то вроде потерянного рая. Глаза ее тихо поднивались слезами, она припоминала в рассказе какие-нибудь ничтожные подробности той жалкой обстановки, в какой она жила. Да и как могло быть иначе? Все, что было вокруг нее и на ней самой, должно было ежеминутно возбуждать в ней сравнение с прежним. И эта черная, дряхлая изба, где она родилась, и ее бедный сарафан — это была не безвыходная, душная тюрьма, не острожный, разваливающийся в лохмотья армяк с двумя каторжными нашивками на спине; а эти цепи на руках, на ногах, вокруг пояса? А эти раны, эти следы ран на всем теле? Какую страшную, голодную и холодную нищету на воле не принял бы человек как великое счастье взамен этого положения?

Воспоминания и рассказы о старине, видимо, глубоко растрогали Аграфену,— священник воспользовался этим расположением ее, чтобы узнать подробности поступка, за который она была суждена в самом начале.

— Отец у нас был очень суровый, строгий,— рассказывала она,— да и бедность-то нас заела. Два года урожаю бог не давал; а тут еще и падеж случился — последняя коровенка у нас упала. Перебивались мы кой-как; отец-то за всех работал. Как стала я тяжела, очень это меня мучило. Мать-то бы ничего,— отца-то я больно боялась. Случалось тоже и побои от него терпеть. Скрывала я от него, да и мать-то не знала. Парень-то этот, с которым я ребенка нагуляла, в солдаты ушел. Мне и надежды уже не было, чтобы замуж выйти. На эти дела у нас в деревне народ был строг. Да и вся-то деревня — двадцать дворов: парней-женихов совсем не было. Разве бы откуда по соседству; так кто же к нам по невест поедет? Знали: глушь и голь. И уж точно, такая бедность была, что и поискать, не найдешь в другом месте. Так вот и не выходило у меня из ума: беда моя, как рожу! Что, как отец с дитей вон из дому выгонит? Куда денусь? Как стало у меня время подходить, еще пуще на меня страх и думы нападают. Мать-то заприметила — стала спрашивать, я ей призналась во всем было. Сначала-то она накинулась бранить да корить; а потом стращать тоже стала — все отцом. Только я думаю себе: что ж, если и выгонит из дому — за свой же грех мне казниться,— пойду с ребенком по миру, авось и добрых людей найду, может где-нибудь и в работу возьмут. Проживу как-нибудь свой век. И на мысли-то мне это ни разу не приходило, чтоб какое злодейство над младенцем сделать. Никогда я этого не думала. Только как отцовских побоев боялась, так и скрывала от него. Ну, и стыдно тоже было. А решила в своем уме так: как даст мне бог дитя, возьму его на руки, приду повалюсь ему в ноги,— пусть хоть голову снимет. Так я и доносила ребенка. Пришло мне время и родить. Было это дело под осень. Работы у нас в поле все покончены. Отец все дома. Беда моя. Как, думаю, быть? Была у нас в соседях баня — на задах, за огородом. Пришло мне тяжко в сумерках — я туда. Кому прийти? Только прибежала туда, невмочь уж мне. Середь бани на полу и присела. Стала я мучиться,— и только то у меня на уме: как бы кто не пришел. И в ту самую пору, как уж младенец вышел у меня, вдруг в двери — в предбанник — и кричит: «Кто тут»? Видел, должно быть, как я задами-то крадучись бежала. Я так и замерла вся. Думаю, младенец-то бы не закричал, рукой ему на рот-то. Жду, вот уйдет хозяин. По голосу-то узнала, что сам сосед.

Нет; слышу, огонь вырубает. Тут уж я и сама не знаю, как что было. Помню только, он с лучиной прямо ко мне, я было к нему: «Родимый, не погуби!» Да поздно. Как уж это сделалось, ничего на знаю, только дитя-то у меня мертвое. У отца же моего ссора какая-то была с соседом-то. Да и без того человек он недобрый был,— жестокое было сердце. Ну, выдал. Крик пошел, шум, родные тоже прибежали,— мать воет, отец за косы меня ухватил было, да жалость его взяла, выпустил и только рукой махнул. Я было им: «Мертвого родила»; да на беду на мою был в ту пору писарь от станового, услыхал, тут же в баню сейчас прибежал. Я все на полу, и подняться силы нету. Писарь этот стал младенца смотреть. «Какой мертвый! слышу, а это что? видишь, от ногтей след,— вот на щеке раз, вот на шее два, три. Задушила». Крик пошел, шум. У меня головушка кругом. «Связать, кричит, подводу нарядить. В стан сейчас». И откупиться-то было нечем; сами только-только сыты. Вот и пошла я по острогам гулять.

Аграфена приостановилась; слезы текли у нее по щекам, оставляя полосы на ее бедном лице, которого не удавалось ей и умыть столько времени. Священник внимательно слушал ее, и хоть бы одно слово, одно выражение глаз ее или губ обличало то зверство, с каким она убила мальчика в приказе. Он призадумался и потом спросил:

— Как же это с тобой здесь-то случилось? По всему видно, что женщина ты незлая. Вот мне говорили — и там еще, дома-то, при суде, ты что-то сделала такое. Не знаю только, правда ли?

— Правда, батюшка, правда,— отвечала грустно Аграфена,— только сама я в этом не вольна!

— Как же так не вольна?

— Находит это на меня. И не помню сама, что делаю.

Священник спросил ее, не припоминает ли она, как случилось это с нею в первый раз,— и Аграфена принялась продолжать свой прерванный рассказ.

— До самой до той поры я никогда чиновников не видала. В нашу глушь кому быть? Сама же я дальше поля из нашей деревни не выезжала никогда. Наезжал, случалось, тоже становой, да редко, и того не доводилось видеть. Хоронишься, бывало, от него. Страсти такие по деревне-то рассказывают. Говорят, только в руки к ним попасть — беда! И точно оно так,— узнала я с той поры эту беду. Мне тогда после родов и оправиться не дали,— привезли

меня связанную в становую квартиру. Младенца мертвого тоже. Свидетелей набрали. Я и с мыслями собраться не могу, точно пьяная или во сне. Всю меня ломит,— всякая косточка ноет. Привели меня к становому. Руки позади связаны. Писаря тут сидят. Вошел он,— прямо ко мне. «Сама? говорит, задушила?» Я говорю: «Нет». Он ближе ко мне. «Сама?» — говорит. Вином от него несет; глаза злые... Ноги меня не сдержали. Упала я на пол. Что уж со мной тут было, не помню. И как меня в город везли — и этого не знаю. Очнулась я уже в остроге,— страх меня такой взял, что и сказать не могу. И только кто взойдет ко мне, вся и задрожу. Только эти их пуговицы светлые завижу, точно у меня голова помутится. Кинуться мне хочется. Что под руку попало, тем бы и ударила,— и уже не вижу ничего, не понимаю и сама, что делаю. Как повели меня в первый-то раз в суд,— обступили меня там чиновники,— что я такое сделала, что схватила, ничего не знаю. А тут уж повели об том дело, что я чиновника ранила. Допрашивают меня, показывают мне чиновника этого... Ну что я отвечать стану, когда ничего не знаю сама, ничего не помню. Так вот и здесь-то какая-то беда вышла. А я одно только помню, испугалась я страшно, как нас в приказ-то привели. Наскочил на меня кто-то из приказных-то, крикнул на меня грозно таково, схватил меня за плечо и толкнул от себя. Что дальше было, хоть убей меня — не знаю.

Больше ничего не мог узнать от бедной Аграфены молодой священник. Но довольно было и этого. Он постарался внушить судьям и следователям кротость и снисхождение к подсудимой. Успел ли только?

Что сталось с Аграфеной, мне неизвестно наверное. Но, кажется, она умерла до конца следствия.

КУКУШКА

Зима подходит к концу. Все чаще и чаще поднимается жестокий ветер и с воем и стоном ходит, словно по коридорам, по узким падям, лежащим между горами. Где есть снег, он несет его страшными клубами. В степных пространствах от этих вьюг, или, по-здешнему, пург, гибнут целые стада баранов, рогатого скота и табуны лошадей. Снежная метель пригоняет иногда в самый двор жилого дома дикую козу с лесистой горы. Во многих местах зимы здесь бесснежны, и ветер поднимает крупную пыль, ослепляя прохожих. Сухая, промерзлая почва оттаивает туго. Апрель подходит уже к концу, а студеный ветер, будто застывавший на зиму от мороза, все продолжает дуть, прохватывая до костей хуже, чем трескучий зимний мороз. Иногда и в самой средине мая сыплется снег. Долго стоят голыми горы и долины; долго не пробивается завязь листьев на кустах и деревьях, где они есть. Кой-где на припеках показались всходы крапивы, и бледно-лиловый колокольчик прострела замелькал среди обнаженного желтого поля. Всю зиму голодавшая на подножном корму лошадь с наслаждением жует ранний цветок, предвещающий, наконец, скорый приход более теплых дней. Быстрые горные речки бегут еще полные льда, но ветер стихает уже, и солнце греет теплее. Но все-таки туго и жалко выходит из земли каждая былинка. Надо, чтобы два-три теплых дождя полили горы и пади, и только тогда они начнут зеленеть и пестреть цветами пышно и ярко, будто торопясь насладиться коротким периодом тепла. Но дождя часто надо долго дожидаться. Прилетели и ласточки и с хлопотливым щебетаньем лепят свои гнезды под каждою кровлей. Сначала появились только

белобрюхие стрижи; но вот и ласточки мчатся как стрелы, сверкая на солнце красными отливами своих зобов. Откуда они? Зачем? Или нет на свете стран, где никогда не проходит весна, что им нужно залетать в эту неприветную страну холода? Или хотят они хоть немного оживить своим щебетаньем это безмолвное сибирское лето, редко оглашаемое пением птиц? Но едва ли не раньше ласточек прилетела кукушка. Горы были еще совсем обнажены, когда стал раздаваться откуда-то ее однообразный и грустный крик. Зачем она прилетела, об этом нечего спрашивать. Для всякого, кому эти горы чужая сторона, понятен голос бездомной птицы. Не уставая, звучит он и по утрам, и среди дня, и вечером; и темною ночью смолкает ненадолго, — все одно и одно повторяет, точно зовет куда! А куда и звать ей, как не на волю? Чем дольше прислушиваешься к этому зову, тем больше тревоги и тоски проникает в одинокое, ноющее от горя и злобы сердце. Я припоминаю какую-то песню о том, как ведут наказывать молодого рекрута за то, что он бежал с часов, и он говорит: «Братцы, не я виноват — это птица виновата, она все кричала и звала меня в родимую сторону». Эта птица была, конечно, кукушка. Какая другая не устанет тянуть вас за сердце так упорно, так неотвязно? Припомнившаяся мне песня — не русская. Но и у нас кукушка играет такую же роль соблазнительницы для тех, кто тоскует в неволе. Невозможность ослушаться этого настойчивого призыва кукушки придала ей во мнении русского человека не мистический характер, как думали в средние века, а генеральский чин. Быть в бегах — у солдата называется состоять на вестях у генерала Кукушкина. Ссыльные, которых выманивает из тюрем весенняя кукушка, не придают ей никаких метафорических названий; но представление ее неразрывно связывается у них с представлением о побеге, и каждый верит, что в голосе этой птицы есть какие-то волшебные чары. И точно, чары в нем есть,— это чары весны, от которых хочется больше, чем когда-нибудь, дышать свежестью поля, прохладою леса, простором степи. А голос кукушки — первая весть о весне. Тусклые тюремные окошки перестали покрываться толстою корою льда, в котором алмазными искрами зажигалось на несколько минут зимнее солнце; но зато сквозь оттаявшие стекла виднее зубчатые железные решетки. По ночам кандалы не стынут на ногах и ноги не зябнут; но железо их стало как будто еще тяжелее и

несноснее. Толстые пали, стоящие вокруг тюрьмы сплошною стеной, не пускают ростков, когда и на арестантском дворе начинает зеленеть трава. Они еще досаднее загораживают простор, чем это было зимою. А кукушка зовет и зовет откуда-то издали, напоминая о глухих зеленых тропинках, вьющихся по горным ущельям, о темных лесных чащах, о журчанье вольных рек и ручьев. Как же не назвать этого голоса волшебным?!.

Я знал одного старика из ссыльных. Он давно уже отслужил свой срок и слишком состарился, чтобы думать о возврате на родину, где у него ничего и никого не осталось и откуда он попал в сибирскую каторгу еще в молодые года. Здесь он женился, вырастил двух сыновей и успел схоронить жену. Все, что было у него родного, было тут, недалеко от него. Он мог ехать жить, куда хотел,— правда не на родину, да он об этом и не думал. Старость его была уже преклонная, и работать становилось не под силу. Он нанимался сторожем в одной из казачьих станиц при пасеке, заведенной батальонным командиром. Уход за пчелами был труден в здешнем климате,— и всего их было ульев пять-шесть, едва сбереженных в суровую зиму в особой избе. Но дело старика было не ухаживать за ними, а только сторожить их. Он жил в небольшом шалаше, устроенном среди небольшой рощицы, где стояли ульи. За рощицей шла поляна, по которой бежала неширокая извилистая речка; дальше поднимался своими неровными верхушками горный каменистый хребет. «Не дает мне покоя эта кукушка,— говорил этот старик, стоя около своего шалаша той весной, как я его видел.— Днем далеко где-то кричит — и ничего, а как только улягусь — прилетит близко и начнет и начнет. Сердце мне все надорвала. Спать не могу. Так меня и тянет в сопку уйти, как в прежнюю молодую пору». Надо заметить, что он почти удвоил срок своей каторги побегами из острога. Горы все здесь называют сопками, и «уйти в сопку» говорят вместо «бежать». «Прошлой ночью прилетела к самому моему шалашу,— продолжал старик,— под самым ухом моим кукует. Моченьки моей не стало. Встал я, взял шапку, думаю: пойду. И этакая ведь глупость. Точно меня кто держит силой здесь. Захочу, иду, куда вздумается. Так нет, встал-таки и пошел. Да еще осматриваюсь, не видит ли кто,— догонять бы не пошли. Нужно очень! И зашел я за реку туда. Ну, посидел там на камешке — оду-

мался, пришел назад. И будто полегчало с этого. Как лег, так и заснул».

И один день неудавшегося побега уже приятен. Это скажет каждый из заключенных. Все-таки один побыл, без надзора за каждым шагом твоим, за каждым движением. Вокруг нет серых стен,— куда ни взгляни, простор, воля. Даже если голод не дает зайти далеко, заставит воротиться; будто и наказание не так страшно. Если вернулся сам и раньше трех дней, это считается не побегом, а самовольной отлучкой. Иногда за нее и не накажут,— под какое расположение начальника попадешь. И много есть таких, что рискуют не один раз в весну испытать розги и плети за самовольную отлучку, только хоть бы день подышать волей, под открытым небом полежать на траве, посмотреть на звезды.

Рассказывали мне про одного такого бегуна, который до того приучил к подобным побегам своим тюремное начальство, что на них стали мало обращать и внимания. Сначала наказывали, потом перестали. Дольше трех дней он не пропадал, и можно было почти всякий раз знать, в каком месте его найти, если он не вернулся в это время сам. Он, по-видимому, никогда и не задумывал уходить далеко, совсем пропадать. Ему нужны были только рекреационные дни, которые нарушали бы по временам его однообразно-утомительную работу.

Но как ни тяжела работа, все-таки тяжелее ее зависимость, которая ни на минуту не дает человеку сознания, что он хоть в чем-нибудь свободен. И, разумеется, чем безвыходнее эта зависимость, тем страшнее желание отделаться от нее. У ссыльного на поселение более возможности бежать, чем у каторжного, сидящего в тюрьме. А бегают больше из тюрем. Закованному труднее уйти, чем тому, кто сидит в остроге без оков. А уходят больше кандальные.

Есть тюремные смотрители, которые понимают это,— и года в два, в продолжение которых в карийской тюрьме почти вывели из употребления оковы, побегов почти не было. Но это была мера противозаконная. После какой-то ревизии назначили новое начальство и предписали держаться закона во всей строгости. Явились опять кандалы в тюрьме — и побеги увеличились.

Разумеется, история почти каждого побега представляет целую одиссею разных бедствий, и в каждой найдется хоть одно какое-нибудь не совсем обыкновенное происшествие.

Здесь не редкость услыхать несколько фантастический рассказ о том, как какие-то смельчаки пускались по Байкалу в бочке (от омулей, здешних сельдей), как царевны народных сказок, с тою только разницею, что первые закупоривались в бочку по своему собственному желанию. Рассказы сообщают, точь-в-точь как в сказке, что холодные и бурные волны Байкала выносили бочку на песчаные отмели,— и беглец поступал точь-в-точь как сказочный царевич:

В дно головкой уперся,
Понатужился немножко;
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Бегают в одиночку, бегают и целыми партиями. Одинокому беглецу плохо, особенно в Забайкалье. За морем побег идет уже успешнее и безопаснее.

Говорят про «братских», то есть бурят, что они просто охотятся на беглых и предпочитают беглого всякой иной дичи. Можно обобрать с него его жалкую одежонку, жалкие сапоги и белье и иногда найти в кармане какие-нибудь жалкие деньги. Розысков об убитом беглом производить не станут. Гораздо больше произвела бы шуму зарезанная чужая корова или лошадь. Само собою разумеется, что в этих рассказах наполовину фантазии. Два-три случая в течение многих лет, что на забайкальских захолустных дорогах нашли подстреленного винтовочною пулею и ограбленного варнака,— два-три таких случая дали повод сочинить из них общее правило.

В одиноком бегстве есть опасности гораздо большие, чем какая-нибудь пуля бурятской винтовки или стрела тунгуса. Эти опасности — прежде всего голод, потом глушь неизвестных лесов и гор, вечно голодный волк, медведь, страх встречи с какой-нибудь властью, имеющей право вязать вас и ковать,— занимают, конечно, не первое место. Что ж? это уж несчастье, в которое может ввести опять-таки голод и глушь. Мне рассказывал один из ссыльных, бывший контрабандист, смелый и ловкий, о том, как он попался в бегах, не успевши пространствовать и четырех суток. Он снарядился довольно удобно, была у него лошадь, было какое-то ружьишко; на первые два дня было и что есть. Он отправился верхом, конечно не зная хорошенько дороги, как и всякий пускающийся в бега в первый

раз. С завода, места своей ссылки, он направился к Байкалу, зная одно, что надо сначала держать все на север, а потом на северо-запад. Так он и ехал днем по солнцу, ночью по кичигам (созвездие Ориона) и попал в непроходимую тайгу. Нужно было и спать,— во время сна лошадь его отвязалась, и ему пришлось целые сутки искать ее по тайге. «Как отыскал я ее, как сел на нее,— рассказывал он,— только одно и думаю, как бы мне из лесу выбраться, лучше бы, думаю, попался опять, изловили бы меня, а то пропаду здесь совсем. Отощал я, тоска на меня напала. Опять я блудил-блудил по тайге, чуть не целые сутки. Как еще только на зверя какого не напал. На трясину наехал, чуть не увязил совсем коня. Насилу бог вынес из лесу-то, да как раз на большую дорогу. Махнул я рукою. Думаю, поеду по дороге. Около первой же деревни и попал на исправника. Так даже рад был».

Эта радость, конечно, явилась уже в рассказе только.

Ловить беглых не всякому охота. «Пусть его идет,—думает каждый,— лишь бы мне какой беды не наделал». Всем известен обычай смежных с Сибирью русских губерний, что там в деревнях, которыми обыкновенно проходят беглые, хозяин каждой избы выставляет за окно крынку молока и краюшку хлеба для несчастных странников. В обычае этом настолько же, конечно, чувства самосохранения, насколько и сострадания. И первого, разумеется, больше.

В Сибири такого обычая, кажется, уже нет; по крайней мере в Забайкалье его не существует. Здесь дело делается проще, и беглому всегда можно найти приют, если он не новичок или по крайней мере не пренебрег советами, постановлениями и указаниями людей, опытных в этом деле. По всей Сибири есть такого рода этапы.

Если беглый не попался в руки полиции случайно, его ловят только тогда, когда он наделал чего-нибудь дорогой, «опять нагрезил», как здесь выражаются. Особенно возгорает преследовательная деятельность, если целая партия беглых затеет шалить по дорогам.

Начальству рудников, золотых промыслов и заводов тоже не представляется никакой корысти заботиться о поимке беглых. Каторжные плохие работники, работают, что называется, из-под палки. Да если б и хорошо работал, потеря невелика. Комплект в тюрьме постоянно пополняется. Мелкие пристава, говорят, даже извлекали значи-

тельные выгоды из побегов своих арестантов. Или на его можно было записать несуществующий долг разными казенными вещами, зачислить за него лишний полушубок, лишнюю пару чарков и т. п., или же можно было месяц-другой считать его в списках небежавшим и выписывать на него поденное содержание.

Весна тепла и хороша, горы все в зелени, леса их тенисты и готовы беречь свято чужую тайну, кукушка кличет громко, и по всем забайкальским дорогам и тропинкам идут беглые. Одни успели забраться уже далеко, другие прячутся еще в окрестностях того рудника или промысла, с которого ушли, и поджидают, чтобы прекратились первые поиски за ними.

Двое беглых, не успевших удалиться и на сто верст с промысла, пришли к реке. Весна была полноводная, и реки разлились широко. Летом был тут брод, и они нашли его. Вода подступала им под самые мышки, когда они перебирались через него. На другом берегу, не успевши еще выжать воду из своего платья, они услыхали звук почтового колокольчика. Эта была проезжая дорога, и они поспешно спрятались в прибрежных кустах. К броду подъехал тарантас тройкой с той стороны. Ямщик приостановил на минуту лошадей, но потом зашевелил вожжами и поехал вброд. Тарантас не добрался еще и до половины брода, как одна сторона его погрузилась глубже в воду, лошади стали, и тарантас стал наливаться водою. Беглые следили за его движением из-за кустов. Верх был откинут, и их зорким глазам нетрудно было узнать в пассажирах своего пристава и его жену. Они не выдержали, видя, что тарантас того и гляди зальет водою, вышли из кустов, начали махать руками, показывая настоящую дорогу, и в то же время оба двинулись навстречу экипажу. «Пожалуйте к нам на руки, сударыня; мы вас перенесем на берег»,— обратились они к жене пристава. И она и он узнали в своих неожиданных спасителях беглых каторжных. Как ни боялась утонуть, оставаясь в тарантасе, она сначала как будто не решалась отдаться им. Они говорили, замечая ее нерешительность: «Будьте без сумления, сударыня, перенесем в целости, а потом и придем за их благородием» (и они назвали его по имени и отчеству). Они исполнили свое предложение как нельзя лучше: перенесли на берег сначала жену, потом ее мужа, потом помогли и тарантасу выбраться. Сделав это дело, беглые вытянулись в струнку перед своим бывшим приставом

и сказали: «Куда прикажете идти, ваше благородие? На промысел?» Они, конечно, услыхали ответ, которого и ожидали: «Идите куда знаете, ребята! Спасибо вам за услугу, вот возьмите на дорогу».

И они уже не возвращались.

Побывавшие на рудниках и заводах каторжные, попадаясь в бегах, стараются, конечно, явиться уже новыми людьми, а не теми, что были когда-то сосланы на двадцать, на пятнадцать лет в тяжкую работу. Если удастся хорошо свести клейма, можно прослыть просто за бродягу, показать, что ушли из такого места, что справки пойдут собираться год, пожалуй два. А тем временем можно опять исчезнуть из острога. Пример того, какие показания даются попавшимися в бегах, мне недавно случилось прочесть в официальной статье одной газеты. Беглый показал, что он пошел из города Камчатки в город Иркутск, где имел намерение поклониться соловецким угодникам. Показание записали и обратились за справкой в город Камчатку. Пока она могла оттуда прибыть, пойманный, конечно, мог бежать двадцать раз. Следы плетей, выступающие на спине при трении сукном, иногда можно просто выдать за след наказания розгами при полиции. Как во всем, так и тут, конечно, много помогают деньги, если беглый попался не с пустым карманом да не был схвачен на каком-нибудь уголовном деле.

Случалось, что пристава рудников и заводов узнавали в числе прибывших новой партии арестантов своих старых знакомых. «Ты опять сюда, Трофимов?» — «Никак нет-с, я не Трофимов, а Андронов». Так и идет Трофимов за Андронова, хоть с глазу на глаз и не скрывает, что он тот самый Трофимов и есть, что работал год в Каре, потом в Шахтаме полгода и оттуда бежал. Бывало, что и после второго побега возвращались некоторые уже с третьим именем.

Но есть и такие неудачные беглецы, что попадаются всякий раз, не дойдя и до Байкала. Тут уж им не помогают выдумки, их очень скоро узнают, и они опять являются в той самой тюрьме, из которой вырвались.

Такой неудачей отличался знаменитый по всем забайкальским заводам своим голосом песенник Шмелев. А желание уйти было в нем сильно, и редкую весну кукушка не сманивала его в сопку. Он заходил и довольно далеко; но или сам был неосторожен, или такие обстоятельства

выходили, что его как раз изловят и возвратят на место. Он работал в Каре, на нижнем промысле. Всех промыслов там три, так же как и селений при них. В каждом есть, кроме одного общего, и частное управление с приставом, подрядчиками, стражей и проч. Селения растянуты на длинное пространство вдоль зеленых, покрытых лесом гор.

Приставу нижнего промысла донесли, что Шмелев поговаривает в тюрьме о побеге. Так как эти доносы слишком часты и в значительной части случаев не оправдываются, то на них не всегда обращают внимание. Не обратили внимания и на этот раз. Встретив Шмелева на работе, пристав даже сказал: «А что, ты, говорят, собираешься бежать, Шмелев?» Шмелев отвечал на это: «Точно так, ваше благородие, охота большая». Он при этом улыбался, будто шутил. Офицер продолжал улыбаясь: «Как же без тебя песенки-то? Где мы такого запевалу возьмем?» Шмелев, по-прежнему улыбаясь, отрекомендовал другого, тоже известного певца из команды (то есть из работающих арестантов). Пристав посмеялся и, воротясь домой, разумеется забыл о своем разговоре с Шмелевым.

В эту же ночь Шмелев исчез. Этот побег его, последний, произвел такое впечатление на всех карийских обывателей и чиновников, что о нем рассказывали все, бывшие тогда в Каре.

Хватились Шмелева, конечно, только поутру на другой день. За беглыми не посылают никакой погони, если неизвестно приблизительно, куда именно направился беглый или где намерен был скрыться на первое время. Произведенное следствие в тюрьме и между всеми, кто видел эти дни Шмелева, ничего не пояснило. Сказали, однако ж, многие, что он говорил, подшучивая: «Эх, надо в сопку! Надоело мне взаперти сидеть». Вместо всяких розысков почислили Шмелева бежавшим, но не написали еще к земским властям о его побеге: авось воротится сам в течение трех дней. Тогда просто можно ограничиться «редакцией». Так называют здесь сорок розог, полагаемых за самовольную отлучку по первой редакции какой-то прежней статьи устава о ссыльных. Слово «редакция» показалось так ново и странно в циркуляре, разосланном по рудникам и заводам, что надзиратели и штейгера из урядников приняли его за синоним сорока розог. От них это перешло и в острог — скажите «редакция», и всякий понимает в чем дело.

На другой день после побега Шмелева о нем к вечеру все успели даже позабыть. Дело слишком обыкновенное.

Арестанты возвратились с работ в тюрьму; пристав сидел на крылечке своей квартиры и выслушивал вечерний рапорт стоявших перед ним штейгера и надзирателя работ; начинало уже смеркаться; скот был пригнан домой; все утихло в селенье.

В это самое время раздался где-то будто неподалеку звучный и удалой голос Шмелева. Ошибиться было нельзя; другого такого голоса не было.

Он пел очень известную здесь песню, которая начинается стихами:

Отлетает наш соколик
В славный город Петербург.

Все, кто только был в это время на улице, насторожил уши; кто шел, остановился. По всем устам пробежало разом: «Шмелев бежит!» Штейгер остановился посередине своего рапорта и произнес: «Это Шмелев бежит». Офицер тоже стал слушать. Из изб выходили на крыльца, за ворота и женщины и дети, и все слушали, как заливался на лесистой горе знакомый голос. Все глядели на темнеющую гору, будто желая угадать, где идет там в эту минуту Шмелев. Там ничего не было видно, кроме черной полосы леса, еще более черневшей на погасающем небе. Но Шмелев шел там и пел. Голос его все удалялся. Все повторяли, слушая: «Шмелев бежит», и никому не приходило в голову послать за ним погоню. Наконец

Отлетает наш соколик...—

едва донеслось издали, и голос совсем замер.

То же случилось и на двух остальных промыслах. Та же песня, то же всеобщее внимание, те же слова: «Шмелев бежит...»

Только его и слышали.

Рассказывающие об этом случае придают всегда фантастические черты удивительному певцу. Он как будто представляется им чем-то вроде Орфея или того певца скандинавских преданий, песнь которого с необоримою силою поднимала человека с постели и в темную ночь по болотам, горам и лесам заставляла идти на волшебную песню.

Не стану и я приводить прозаических объяснений.

Не все оставляют по себе такую поэтическую память, покидая каторгу, как Шмелев. Прежде, когда все ссылаемые на работу в рудники не сосредоточивались еще, как теперь, в одном месте, именно на золотых промыслах в Каре, когда в рудниках и на других промыслах были везде тюрьмы и производилась работа не по найму, а каторжными (а это изменение очень недавнее),— в то время бывали нередко случаи убийства и грабежа, совершаемых беглыми близко к местам их содержания. В двух местах случилось мне слышать названия «убиенный хребет» и при этом рассказ, как тут был в таком-то году убит такой-то купец или торгующий казак двумя или тремя беглыми, едва успевшими уйти с завода в сопку. Такое же название убиенного носит и ближайший к большому Нерчинскому заводу хребет по дороге в рудники Зерентуйский и Кадаинский. И такая же кровавая история рассказывается о происхождении этого названия. Вам покажут и самое место, где «погрезили» беглые. Теперь хребет одет скудным кустарником, да и тот ближе к дороге весь опален и обуглен весенними палами, то есть огнем, который пускают здесь по полям и горам, чтобы выжечь остатки прошлогодней сухой травы. Тогда же большие деревья на хребте не были еще все вырублены и местами были темные, глухие чащи, подступавшие близко к проезжей дороге.

Все, кто только бежит из каторжной работы, направляются к России. Никого почти или очень редких соблазняла близость китайской границы. Есть рудники, от которых до Аргуни всего десять — двенадцать верст. Промышленники, то есть охотники, заходят, говорят, иногда в маньчжурскую степь верст за триста. Но они отправляются не в одиночку, а партиями, и притом предъявляют свое намерение в одном из китайских караулов, которые расположены вдоль всей Аргуни по тому берегу. Промышленники запасаются также и письменными видами. Их странствия не могут представлять особенных опасностей. Лет десять, рассказывали мне, был случай, что в степи убили двух русских, отправившихся куда-то охотничать или торговать. Русское правительство потребовало удовлетворения. Китайцы отыскали убийц и привезли их казнить к Цурухайтуйску, большой пограничной казачьей станице на Аргуни. Не то, конечно, с беглыми, за которых никто не вступится, которых никто не станет защищать, к гибели которых всякий будет равнодушен. Но и такие беглые,

говорят, гибнут редко от стрелы какого-нибудь дикаря, кочующего в степи. Обыкновенно изловленных беглых выдают обратно, не делая им никаких обид, не нанося никакого вреда. Заприметив подозрительных путешественников, маньчжуры делают род облавы. Они окружают беглецов со всех сторон и следуют за ними в некотором отдалении, отрезывая им возможность сообщений по дороге. Маневр этот кончается обыкновенно тем, что беглые с голоду отдаются в руки преследователей, и те везут их обратно туда, откуда они пришли. Все это, впрочем, рассказы про старое время. Давно ничего о подобных побегах не было слышно. Мне, однако же, говорили, что далеко не всех бегавших в маньчжурскую степь постигала такая участь. Иным удавалось добираться до более густо заселенных мест, находить там приют, обживаться, выучиваться языку и превращаться в маньчжуров. В этом ничего нет удивительного. Мне памятны случаи побегов русских солдат в киргизскую степь из пограничных оренбургских крепостей. Они пробирались в Хиву, поселялись там, женились, принимали все тамошние нравы и обычаи и подчас даже играли политическую роль. Как бы то ни было, но сколько-нибудь интересного случая побега за Аргунь мне не случалось слышать. Все говорят, что таких случаев и не бывало.

Всякому хочется пойти на родину, домой. Кому удается дойти туда, те попадаются там скорее, чем где-нибудь в другом месте. Но многим ли удается это? Скольких опасностей надо избежать прежде этого! сколько раз будет грозить всякая гибель!

Одною весною человек семь каторжных собрались идти вместе и благополучно дошли до Ангары, где решились ускорить свое путешествие. Они устроили себе плот и поплыли на нем. Плот набежал на камни, которых много в Ангаре, и разбился. Четверо пловцов погибло вместе с плотом. Троих быстрина бросила на груду камней, глядевших из реки в виде острова, и они кой-как удержались на них. Пуститься вплавь к тому или другому берегу значило обречь себя на верную гибель даже для умеющего хорошо плавать; а они едва ли умели и посредственно. Река слишком широко разлилась, и притом с ее неудержимой быстриной нельзя было сладить. Беглые решились ждать, не будет ли какой-нибудь помощи. Они уже заранее отдавали себя в руки полиции, только бы не умереть тут. Неподалеку была какая-то деревня, и с дороги, шедшей от этой

деревни вдоль берега, можно было видеть их. Происшествие возбудило общее внимание. Собрались на берег любопытные. Начались сожаления, потом расспросы. Но подать помощь было невозможно, не рискуя головой самому. Таких самоотверженных людей не нашлось. Беглые не скрывали правды и прямо рассказали, кто они такие и откуда. Надо было, значит, дать знать полиции. На другой день приехал исправник. Случай был любопытный. Он заставил несчастных повторить ему рассказ, как они попали на остров. Но утешительного и он ничего не мог сказать; только покачал головою и пожал плечами,— и предоставил их произволу судьбы,— уехал. На третий день, отощавшие и потерявшие надежду на спасение, они разделись и бросились в волны. Собравшийся на берегу народ ободрял их громкими криками. Были приготовлены и веревки, чтобы кинуть им, когда они одолеют быстрину русла. Но и борьбы тут не было. Все трое исчезли под водой, чтобы уже не показываться более или пристать где-нибудь далеко к берегу безжизненными и окровавленными трупами.

Бывали весны особенно заманчивые. Должно быть, кукушка звала особенно усердно или зиму жить в тюрьме было уж очень тягостно. Побеги в разных местах стали чем-то вроде повальной болезни. Казакам, стоящим в карауле, становилось невтерпеж от розог, которыми расплачивались они за каждого бежавшего. Они стали жаловаться, и командир им отдал приказание при первом же случае стрелять по ногам, если будут кого подозревать в намерении бежать. На другой же день стоявший на часах попробовал эту меру на одном из арестантов, у которого и в мысли не было побега, а назначалось, вероятно, какое-нибудь любовное свидание. Когда тот прокрадывался вдоль тюремного частокола, казак сшиб его выстрелом с ног, всадив ему в икры с десяток дробин. После этого не было ни одной попытки к побегу из острога. «Как рукой сняло»,— говорил сам командир, отдавший приказание.

Было время, и еще очень недавно, что бегали не одни ссыльные,— бегали от дому и семьи и так называемые горные служители. Этот класс рабочих по всем горным заводам образовался из детей и потомства ссыльных. Положение его было во многом печальнее положения каторжных.

Каторжный знал, за что он попал в тяжкую работу; он смотрел на нее как на наказание; знал, что работе этой

есть срок и что срок этот может быть значительно уменьшен отчасти его хорошим поведением, отчасти по разным манифестам. Совсем иная судьба ждала его детей. Месть за отцовское преступление постигала не только их самих, но и внуков их и правнуков. С пятнадцати, иногда с двенадцати лет они были обречены на ту же тяжкую работу. И работе этой не было видно конца. Отец сослан на пятнадцать лет, и этот срок убавлялся иногда до половины. Сын был бессрочный каторжный. Бессрочными называют тех ссыльных, кто идет в Сибирь больше чем на двадцать лет. Сын сосланного и на шесть лет только после тридцати лет такой же каторжной работы получал отставку. Разница была только в том, что его не держали в тюрьме, что ему не ковали ног, что у него не было клейм на лице, что его не называли «несчастным». Но не должен ли был ему весь свет казаться тюрьмою? Теперешние сельские обыватели не говорят об этой поре: «Когда мы были горными служителями». Они говорят: «Когда мы были в каторге». Клейма отупения и дикости, нищеты и невежества, лежавшие на целых поколениях, стоили тех позорных черных букв, которые выжигала рука палача на лбу и щеках их «несчастных» отцов. Я сказал, что им не ковали ног и не сажали в тюрьму; но и это не вполне справедливо. Когда нужны были где-нибудь рабочие руки, не разбирали, откуда их удобнее взять. Служителя гнали за сто, за двести, за триста верст от его дома, от его и без того скудного хозяйства и поселяли его в казармах, ничем не отличавшихся от острога. Между тем домишко его разваливался, хозяйство падало и гибло — и никто не смотрел на себя как на человека оседлого. Рудники и заводы обстроивались жалкими лачужками, какие может строить разве какой-нибудь кочевник, рассчитывающий, что завтра его уже не будет тут. Разобрать, кто каторжный, кто нет, становилось трудно, так же как и решить, к кому больше идет название «несчастного». Служителю казалась подчас завидна участь ссыльного в каторгу. Он рассчитывает, когда кончится ему срок и он станет поселенцем; прошел слух, что будет какой-то манифест, и он ожидает его в надежде на облегчение своей доли. У служителя нет таких расчетов, таких ожиданий, таких надежд. Как сделать, чтобы сравняться с каторжным? Совершить какое-нибудь преступление? Тогда нарядят следствие, суд, приговорят на известный срок. А то тридцать лет, это уж не срок, это целая жизнь. И совершались преступления

из одного этого побуждения. Так старались иногда отбиваться от рук у помещика крепостные крестьяне, чтоб попасть на поселенье в Сибирь.

Выходом из тяжкого положения каторжному казался побег. Он думал о возможности укрыться и добраться как-нибудь до знакомых, до родных мест. Уже одно годовое, а иногда и полуторагодовое странствие в Сибирь по этапам делает из каждого ссыльного человека бывалого. Не только Сибирь, но и Россия ему знакомы. То ли со служителем? Дом и родина ему — эти несколько рудников и заводов, из которых состоит Нерчинский округ. За его пределами весь мир — совершенно чужой ему. Он никогда не видал города на своем веку. Самые рассказы его «российского» отца, бывавшего и в Москве и в Петербурге, кажутся ему похожими на сказку. Он должен заставлять себя верить чудесам, которые слышит про то, как живут там люди и какие там дома и города,—и все-таки верит им только наполовину. Каждый сосланный пожалуется вам на здешнего сибиряка, что ему самые простые вещи кажутся небывальщиной и выдумкой. Куда же пойдет такой человек? Где найдет себе приют, у которого нет дома? Только полное отчаяние могло заставить служителя бежать неведомо куда и как. Но служители бегали — и, конечно, большею частью на верную гибель.

Малолетние старались попасть домой и хоть немного отдохнуть в это время от тяжелой работы. Часто они долго бродили с рудника на рудник, из деревни в деревню и не всегда добирались до дому. Иногда изловят на дороге и отправят обратно,— а там розги и, пожалуй, острог.

«Семь раз у меня брат из Кары бегал,— рассказывала одна женщина, дочь ссыльного.— Я тогда еще с матерью жила в Большом заводе. Придет, лица на нем нет — в гроб краше кладут. И жалость нас возьмет, и боимся-то, чтобы не узнали. Прячем его. Запорют, думаем. У самих-то жить нечем, а все же хоть как-нибудь откормить его стараемся. Ну, поотдохнет он немного. «Теперь, говорит, ничего,— пожалуй, хоть и на работу». Утаиться совсем тоже нельзя. Пойдет мать по начальству, воет, в ногах валяется. Ну, раза три сходило ему с рук — не наказывали. По молодости простили. А он с тринадцати лет в каторге был. И каждый год это было,— мы так и ждем — вот Егорка придет. И ближний ли это свет? Никак двести верст туда. Ну, конечно, не

все же пешком. Случалось, к обозу пристанет или так кто подвезет, сжалится. Под конец видят, ладов с ним нет,— при доме оставили: тут работай. А то если пошлют, так куда поближе — за пятнадцать, за двадцать верст».

О побегах сосланных по политическим делам здесь нечего сказать. Из Забайкалья, с мест каторжных работ, их не было вовсе. Кто бегал, бегал с поселенья, как Бакунин, как Величка, застрелившийся из пистолета, когда его настигли, как Руфин Пиотровский, описавший свой побег. Они были сравнительно свободнее тех, которые числятся на каторжной работе.

А все зовет их на волю кукушка, когда весной начнут одеваться зеленью серые горы, обступающие несчастных, как стены каменной могилы.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСТОРИИ

(*За миллионы лет*)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Sie libten und taten weiter nichts mehr;
Die Erde gab alles freiwillig her.
Schiller[1].

Und frische Nahrung, neues Blut
Saug'ich aus freier Welt;
Wie ist Natur so hold und gut,
Die mich am Busen hält!
Göthe[2].

I

В Индейском море, гораздо ближе к экватору, чем к южному тропику, был остров. Его выдвинул когда-то подземный огонь, который доныне изменяет там вид морского дна.

Над островом прошли тысячелетия. Растительная и животная жизнь, идя от развития к развитию, от победы к победе, успела, наконец, одеть роскошным обилием когда-то бесплодные трахиты и базальты.

Но внутренний огонь клокотал еще под почвою острова и искал себе выхода. Остров по временам содрогался.

---

[1] Лишь любить да мечтать умело оно,
Все природой им было даром дано.
Шиллер (*нем.*).

[2] И силу в грудь и свежесть в кровь
Дыханьем вольным пью.
Как сладко, мать-природа, вновь
Упасть на грудь твою!
Гёте (*нем.*).

Вдоль южного берега, опускавшегося в море утесистыми обрывами, шла горная гряда, которая дымилась всеми своими вышками. Три горы, замыкавшие эту гряду на восток, редко переставали грохотать и обливаться огненными ручьями. Они господствовали над всем островом, и со всех его точек виднелись над их высокими жерлами столбы багрового зарева, недвижимые и при бурных порывах ветра. Вершины других гор южной цепи дышали только дымом. Из иных с шипеньем и свистом вырывались по временам серные пары. Несколько гор, пониже, стояли как в зубчатых каменных венцах, и целые озера мутной воды кипели в их котловинах, одетых белым паром.

Северные скаты уже пышно зеленели и были усеяны цветами. Подошвы их тонули в высокой растительности долины, которая тянулась почти вдоль всего острова между цепью не погасших еще вулканов и другою грядой лесистых гор, несколько ниже.

Дальше к северу, за этими горами, шла опять высокая, вечнозеленая долина. По долине вился поток, опушенный темными рощами. Он огибал высокий холм и исчезал за ним. Холм этот был только одним из звеньев целой цепи таких же пологих волнистых холмов, заросших густыми лесами. Они, как пышная бахрома, одевали их своею вечною зеленью. Холмы шли, параллельно с двумя южными грядами, вдоль всего острова, с востока к западу. Склоны их на севере были еще так же богато одеты лесами. Но чем далее к северному отлогому берегу, тем все более редела древесная растительность.

Она окаймляла только прибрежье реки, быстро бежавшей тут к морю, да кой-где стояли уже одинокие группы пальм, окруженные мелким кустарником. Между ними лежали болота и трясины, лишь изредка поросшие травой. Местами стройные и высокие стволы группы пальм были окружены желтым песком, и темная тень их сплетшихся вершин дрожала на нем своим причудливым узором. Тут подымались удушливые испарения, и эта часть острова была пустынна. На местах, темневших сожженными и ржавыми пятнами, вились струйки пара и огня: это горючие газы прорывались сквозь окрепшую на солнце кору ила.

Дальше берег длинным песчаным мысом уходил в голубое, как сапфир, море. Волны далеко заплескивали его, оставляя на песке пестрые кучки кораллов и раковин. Между раковинами много было и жемчужных; но никто

не трогал жемчуга. Его не нужно было здесь никому, как и золота в этих плодоносных падях, как и алмазов в песке речного дна.

А на острове уже были люди.

II

Солнце только что выходит. С моря веет легкий ветер, стихавший на ночь. Пряные травы и деревья запахли сильнее.

В низменных частях острова воздух слишком жгуч, а ветер не умеряет зноя. Но в горных лесах есть прохлада. Лиственные своды их местами так густы и плотны, что ни один луч не может пронизать их. Тут всегда царит благовонная ночь. Разновидные стволы деревьев, то коленчатые, то гладкие, то колючие, стоят как ряды колонн какого-то таинственного лабиринта, полного запахом душистых смол и меда. Вьющиеся растения лишь слегка опутывают их своими цветущими вязями.

Но где вершины деревьев расступаются, там все с неудержимою силой рвется из теплой почвы к солнцу. Что под нашим скупым небом едва вырастает в тощую былинку, то поднимается здесь сильным деревом. Лианы сплошной плетеницей всползают по древесным стволам до самой вершины, причудливо убирая их своими порхающими листьями и цветами. Все виды растительности собрались тут как будто на состязание. Листы всех оттенков, всех форм и размеров мешаются в живом и цветущем хаосе. Под неподвижным и жестким листом пальмы дрожит чуткий лист мимозы; среди бахромчатой зелени лиан и зеленых кружев папоротника поднимается громадный завиток музы, будто гордясь своей величавою простотой. Тысячами красок горят на всех ветках цветы. Разноцветные попугаи и райские птицы, узорчатые бабочки и золотистые мухи кажутся порхающими цветами и лепестками цветов. Такими же яркими красками блестит спинка пестрой ящерицы, мелькающей в зелени, и кожа большой змеи, которая тройным кольцом обвилась вокруг толстого пня. Порой мелькает в кустах желтая спина леопарда.

Его мяуканье слышно по временам среди неумолкающего крика, свиста и щебетанья птиц, среди жужжанья и звенящего гула насекомых. Порою трещат ломаемые

сучья и кусты, и почва как будто дрожит под тяжкою ступней слона. Маленькие орангутанги, качающиеся на деревьях, поднимают громкий визг и с любопытством заглядывают в переходы чащи. Местами, где почва становится вязкой и повсюду проступает вода, слышно хрюканье кабанов. Дальше плещется, тяжело сопя, носорог.

Кой-где есть небольшие лужайки, и деревья стоят тут одиноко в великолепных венцах своих широких листьев. У подножья их громоздятся в несколько кругов, как пышные зеленые подушки, сочные травы и кусты. Здесь на каждом шагу вспархивают багряные фламинго, радужные павлины.

Иногда в лесной чаще слышится журчанье ручья; иногда деревья, расступаясь, окружают гладкие, как зеркало, светлые голубые озера, и пальмы свешивают к их водам свои будто усталые бахромчатые листья. Тут еще более роится птиц, и порой тихо кружит над ними в высоте белоголовый ястреб. Темной неподвижной колодой виднеется из воды крокодил, тоже подстерегающий добычу. Не сводя с него глаз, большой орангутанг цепляется за толстый сук, нависший над самою водой, и пьет, неловко зачерпывая воду из озера узкой ладонью своей длинной руки.

Чем ближе к таким озерам, тем гуще лес. Иной раз чаща его совсем непроходима. Сломанные и гниющие на земле деревья, опутанные крепкими нитями вьющихся растений, преграждают путь. А подчас и ветви деревьев и лиан сплетаются посреди дороги в такую плотную сеть, что сквозь нее не проскочат ни тигр, ни ягуар, рыканье которых слышно порой в лесу и у реки. Черный буйвол не продерет своими каменными рогами этих живых плетней, выбравшись погулять из своих топких пастбищ.

Но где же люди? где их жилища? где следы их деятельности? Нигде на всем острове нет и шалаша, построенного ими; ни на чем не видно их руки.

III

В восточной части среднего горного хребта, где на горах есть небольшие каменистые и мало заросшие площадки, в перелесках, одевающих северные их склоны, и в свежих гротах, которыми прорезаны эти горы, живут и люди.

Но как еще мало похожи они на людей и как сходны с своим лесным соседом, орангутангом!

Как и на нем, одежды на них нет. Темная кожа обильно покрыта волосами, как редкою шерстью. Угловатый толстый череп, о который расщеплется самый крепкий сук, наполовину ушел в затылок. Из-под свалявшихся, как войлок, блестящих черных курчавых волос чуть виден узкий и низкий бугроватый лоб. Будто постоянно настороженные уши отстали от головы и поднялись высоко. Челюсти выставились далеко вперед, и широкие, пухлые губы почти заслонили чуть выдающийся приплюснутый нос. Только глаза хороши. Темный и яркий зрачок среди чистого белка блестит отвагой, страстью, силой. Такою же свежей, нетронутою силой дышит и все темное тело: широкие, приподнятые плечи, толстая шея, железные мускулы рук (руки гораздо длиннее наших), мощные бедра, быстрые и крепкие ноги, тонкие книзу, без икр, как у сатиров и фавнов, созданных греческою фантазией,— только вместо копыта настоящая человеческая ступня, длинная, широкая и плоская. Пальцы на ней так гибки и сильны, что ими можно ухватиться за ветку дерева почти так же ловко, как и пальцами руки.

Эта сила, проглядывающая в каждом члене, в каждом движении, стоит нашей красоты. В этой силе независимость человека, его свобода, его счастье. С этою силой ему еще нечего много думать о самосохранении. Минута опасности редко не минута его победы.

Пусть другие животные далеко опередили его в изобретательности, в предусмотрительности и расчете! Ему еще незачем задумываться над тем, что заботит птицу, когда она вьет себе гнездо в безопасном месте, крота, когда он копит в потаенной кладовой свои запасы, муравьев, когда они составляют между собою строгий гражданский союз. Они строятся, копят запасы, составляют общины потому, что слабы, что им беспрестанно грозит беда от более сильного. А человек так еще силен! Эти постройки, эти запасы, эти союзы были бы для него неволей. И он живет, волен и счастлив, под открытым небом, без думы о пище на завтра, без необходимости связывать свою волю общественными цепями.

Утро пробуждает его в зыбкой постели из гибких и крепких живых лоз, которые он выбрал на эту ночь под самою вершиной пышной пальмы. Ее широкие листы накрыли его как плотный полог и не дадут даже капле росы упасть на него.

Если б ему хотелось ночлега прохладнее, он ночевал бы в одной из темных пещер соседней горы. Там его не разбудили бы шумные голоса, наполнившие лес при первом просвете зари. Входы пещер закрыты наглухо, как живыми дверями, переплетшимися ветками. Кто забирается за них спать, затягивает их крепким узлом в том месте, где пролез в пещеру. Утром стоит развязать их, чтоб выйти. Но никто, кроме человека, не сумеет попасть в такую дверь. Если на влажном полу пещеры наложить свежих листьев, уснешь лучше, чем на пуховике. Какой пух так нежен, как эти мягкие, благовонные травы? А что за свежесть в них!

Засыпая в своей воздушной люльке, человек не думал, чем будет завтракать поутру, когда проснется. Он знал, что завтрак будет готов без его забот. Стоит потянуть руку, чтобы сорвать румяный плод, или кисть ягод, или сочную завязь молодых листьев. Стоит надкусить немного мягкую кору дерева, наклонившего над его головой свою верхушку, чтобы утолить утреннюю жажду сладким и питательным питьем. Здесь всякий может завтракать в постели, как избалованный сибарит.

После завтрака можно еще потянуться, зевнуть, расправить члены. Потом надо и выглянуть из-под шатра листьев.

Все давно проснулось и загомозилось, зашумело вокруг, зажило беспокойною, но светлою, отрадною, полною жизнью.

И люди уже встали.

Кой-где, ныряя в волнистой зелени лесных вершин, мелькают темные курчавые головы, выставляются длинные мускулистые руки. Эти люди пробираются, должно быть, к озеру, которое ярко сверкает невдалеке на солнце.

Глаза еще немного слипаются после сна, веки тяжелы, лицо горит. Хорошо плеснуть на него свежей водой. В озере бьет несколько ключей; их сильную струю видно на дне сквозь хрустальную воду, и нигде на всем острове нет такой студеной воды, как тут.

Выше, на горе, на примятой лужайке, возятся и кричат дети. Одни уже держатся довольно прямо на ногах; другие умеют ходить только на четвереньках.

Один ребенок набил себе рот какой-то невкусной травой, выплевывает ее и громко ревет.

Из пещерной отдушины, выходящей на лужайку, выглянула шершавая голова. Женщина это или мужчина?

По лицу не вдруг разберешь. Впрочем, вероятно женщина: лицо не так заросло волосами.

Да, это женщина. Вот она высунулась по пояс. Уцепившись за ветку, она выскочила совсем, крикнула что-то резко и громко, и ребенок перестал реветь.

Она подбежала к группе детей, взяла его на руки, села на выдавшийся из зелени камень, вытащила пальцем изо рта у ребенка набитую в него траву и приложила его губы к своей наливавшейся груди. Он принялся сосать так громко и вкусно, что еще два-три товарища его из тех, что ползали на четвереньках, начали хныкать и кричать.

Один, попроворнее других, подполз к женщине, уцепился обеими ручонками за ее ногу и стал лезть к ней на колени к другому, незанятому соску. Она кричала на него, но не шевелила ногой, с которой назойливый мальчуган то и дело сваливался в траву.

Показалось и еще несколько женщин. Одни были с детьми на руках, другие без детей. Одни кормили своих маленьких грудью; другие укачивали их, забавляя или усыпляя; третьи взбирались на деревья, рвали на них плоды и ягоды и, поочередно, то сами ели, то бросали их вниз, толпе ребятишек, которые ждали этой подачки с криком, с поднятыми руками и с разинутым ртом.

Некоторые из них и сами старались взлезть на дерево, срывались, катились кубарем на землю и, визжа и крича, опять пытались начать то же восшествие.

Молодец, почивавший в лесу, ухватился руками за верхушки двух ближайших деревьев, сбросил ноги вниз и начал раскачиваться. Маленькие попугаи с криком взлетали по сторонам. Деревья только трещали. Подошвы его ног высоко мелькали в воздухе то с той, то с другой стороны.

Он глядел, качаясь, на возню детей на горе, и когда иной из них неловко валился, карабкаясь на дерево, он широко раскрывал свои пурпурные губы, показывал ряд блестящих белых зубов, прищуривал глаза и хохотал всем горлом.

Но как ни громок был этот хохот, ему казалось, видно, все-таки мало. Переставши качаться, взобрался он на самую макушку высокой пальмы, раза три глубоко вдохнул всею грудью воздух и вдруг гаркнул во весь голос. Эхо раскатилось по горам. Ласточки, залеплявшие своими клейкими гнездами отвесные скалы южного берега, вспорхнули тучей. Так громко и внезапно отдался молодецкий голос в их глухой утесистой бухте.

На этот крик отозвались из разных мест и другие звучные голоса. Больше всего послышалось их со стороны озера.

Голосистый молодец опять юркнул в листву и направился туда, то перекидываясь колесом с дерева на дерево, то соскакивая на землю, где только был проход.

Эта прогулка доставляла ему большое удовольствие. Он был здоров, как само здоровье, и в самом ясном расположении духа. Зоркие глаза его, обращаясь то в ту, то в другую сторону, старались не пропустить ни одного предмета, способного позабавить.

«Та-а-а-а!» — раздавался голос его по переходам леса.

Чуть не с каждой ветки спархивали роями птицы. Летучие ящерицы торопливо расправляли свои крыльчатые плащи и перескакивали на деревья подальше.

Из-под каждого шага подымался аромат, когда нога его сламывала ветки камфарного или коричневого дерева.

Мимоходом отламывал он крепкие сучья, тыкал ими в кусты и тешился разноголосным гуденьем насекомых, поднимавшимся тогда. Иногда спугнутая пчела начинала преследовать его; но он тотчас же вооружался махровой веткой и ловко отмахивался ею.

Вот захлопал он в ладоши и загикал с каким-то особенным присвистом. Пугливый олень, глодавший неподалеку молодые побеги дерева, поднял уши, закинул рога на спину и шарахнулся в сторону. Рога запутались в крепкой гирлянде лианы, перекинувшейся с дерева на дерево, и олень начал отчаянно биться.

«Та-а-а-а!» — загремело опять по лесу.

Идти прямо к озеру было невозможно. Беспрестанно попадалось что-нибудь на глаза такое, для чего стоило уклониться с прямой дороги или влево, или вправо.

Вон ягоды такие румяные, такие зрелые, что начинают уже лопаться и вытекать! Вон сочное яблоко, тоже готовое брызнуть сладкою пеной! Надо попробовать этого яблока; надо нарвать и ягод.

Вот сквозь надтреснувшую кору слезками катится смола. Надо лизнуть; это тоже вкусно.

Душистый цветок, свесившийся с длинной ветки, задел по самому лицу. Как же не сорвать его, не понюхать и не пожевать?

Сколько птиц вспорхнуло тут разом! а две опускаются опять — не летят дальше. Здесь, верно, у них гнезды. «Шшш!» Молодец замахал руками. Птицы с криком

взлетели выше. Он развел кусты, достал два теплых пестрых яйца и пошел дальше.

Оскалив белые зубы, он разбил об них одно яйцо и высосал его с громким чмоканьем, потом другое.

Тут он вздумал опять попробовать голос, облизал себе губы и гаркнул так, что опять всполошил бы прибрежных ласточек, если бы лес не накрывал его своими густыми сводами. Голос пошел низом и замер в первой чаще.

В это время что-то быстро шевельнулось у него над головой. Он поднял глаза. Молодой леопард кинулся от него на соседнее дерево, а с того на другое, видимо избегая встречи.

Глаза у нашего молодца загорелись удовольствием, губы раскрылись, и он в два прыжка очутился под деревом, куда ускочил леопард.

Зверь сверкнул на него расширенными зрачками, мяукнул и съежился, сердито шипя и фыркая. Кажется, каждую минуту готов он был прыгнуть и вцепиться когтями и зубами в своего преследователя; но глаза человека пугали его. А тому было весело! Он поддразнивал его, как ручную кошку, шипел сам, скалил зубы и растопыривал свои пальцы перед его мордой.

Хвост леопарда распушился, пятнистая шерсть встала дыбом; он сжался весь и скакнул. Но враг его знал уже эти штуки: он быстро присел, отшатнулся немного вбок и вдруг обернулся. Леопард перелетел через него.

Несмотря на неудачу, он, кажется, рад уже был убраться поскорее и вскочил на противоположное дерево. Но он не успел еще вскарабкаться по гладкому стволу до первого сучка, как наш молодец цепко ухватил его сразу одной рукой за хвост, а другою за шею. Длинные пальцы его, как железные клещи, сдавили леопарду загривок. Стараясь вырваться, зверь визжал и без толку скользил лапами по стволу дерева. Тут и другая рука, державшая его за хвост, мгновенно очутилась у него под горлом и стиснула его так же крепко. Леопард отцепил лапы от дерева и повис в этих тисках.

Он глухо захрипел; у рта показалась пена; глаза налились кровью; задние ноги судорожно сдвинулись с передними — раз, другой. Забава была кончена. Через минуту он лежал уже мертвый в высокой траве и под ним гомозилась стая жуков и муравьев.

Между тем по лесу неслось громче прежнего гигиканье

победителя. Он вскарабкался на дерево и пошел опять перекидываться колесом с вершины на вершину. Темное лицо его лоснилось; по носу и по щекам катился пот. Глаза горели веселым блеском.

В этих глазах, может быть, можно уже было прочесть, что когда-нибудь потомки его станут величать себя венцом творения и царями земли.

IV

Озеро, с которого слышались людские голоса, было самое большое на всем острове. Со стороны леса у него был крутой берег; но несколько обвалов образовали род каменных сходов к самой воде. Только местами зеленела на них трава, да два или три дерева, странно уцелевшие, но с полуобнаженными корнями, росли между обрывов совсем наклонно, почти касаясь воды своими длинными свесившимися ветвями.

На этих естественно образованных ступенях берега собралось уже целое общество. Тут было человек двадцать и мужчин и женщин, и старых и молодых.

Знакомец наш, соскочив с последнего прибрежного дерева, задел ногой за плечо человеку уже очень почтенных лет, который сидел выше всех на берегу и усердно занимался едой. Оба они громко крикнули: молодой, кажется, только чтобы показать, каков у него голос, а старый, будто огрызаясь, с досадой, что его побеспокоили. Молодец не выказал никаких знаков уважения к старости и скрылся за верхним краем берега, скакнув на первый уступ. Почтенный возраст одиноко сидевшего человека обличала и голова с непомерно развившимся затылком, и почти изчезший лоб, и потускневшие глаза, и морщины на щеках и около ушей, но в особенности большое пузо, которое он не уставал набивать. Громко чавкая напичканным ртом, он беспрестанно повертывал голову то влево, то вправо, будто высматривая, нет ли где поблизости еще лакомого кусочка. А между тем недостатка в еде не было. Он припрятал около себя в траве порядочный запас плодов и орехов и умильно мычал, набивая себе рот. Смотрел он не только по сторонам, но и на озеро. Впрочем, там, по-видимому, ничто его не занимало. Все на этом озере, ярко сиявшем в лучах солнца, было ему слишком знакомо: и эти стаи

больших и малых птиц, разгуливавших по сверкающей глади; и эти пловучие острова громадных жирных листов, на темной зелени которых алели и белели такие же громадные и жирные цветы. Даже исполинская серая башка какого-то странного зверя, не то лягушки, не то безрогого вола, безмолвно и строптиво выглядывая то там, то сям из воды, не привлекала его внимания. Берега, окруженные со всех сторон лесом, далее постепенно понижались и на противуположной стороне из озера изливалась единственная река острова. Она терялась сначала в глухих и болотистых пущах, но потом все больше полнела и все глубже прокладывала себе ложе. С того места, где сидел старик, часть ее виднелась вдали прямой серебряной дорогой. Но какое было ему дело до всего этого? В молодости смутное любопытство тянуло его иногда побродить и в тех местах. Он забирался далеко, но и там все то же: еда не лучше. Сидеть в одном положении ему, однако ж, надоедало. Он то улаживался на корточках, то вытягивал ноги, то немного поджимал их и наконец улегся на спине. Из травы виднелось только его темное брюхо, точно круглая насыпь большого муравейника.

На уступе, куда соскочил наш приятель, было три женщины и семь или восемь мужчин. Одна из женщин, вся мокрая, стояла, отряхая с себя воду; две другие сидели порознь, опустив ноги за окраину берега, и около них в разных положениях группировались мужчины. Молодец наш вздумал было пошутить и полюбезничать с мокрой дамой, но в ответ получил тяжеловесную оплеуху по носу и по губам. Возобновлять любезностей он и не рассудил и подсел, громко гикнув, к одной из групп. Мужчины, сидевшие тут, отвечали на его гик не совсем приветливым рычаньем. Это, однако ж, нисколько не сконфузило его, и он вмешался в беседу. Разговор шел оживленный, хотя и нельзя сказать, чтобы очень разнообразный. Слышалось все что-то вроде: «а-а!», «о-о!», «у-у!».Женщина (уже с несколько увядшею грудью) отличалась веселым нравом. Она повертывала голову ко всем своим собеседникам и на каждое их «а-а!» отвечала очень милым «у-у!» и при этом показывала зубы и хохотала. Но видимым ее предпочтением пользовался ближайший ее сосед, сидевший тоже свесив ноги. Она по временам трепала его по плечу или слегка толкала, смеясь, в бок; он тоже позволял себе безнаказанно подобные любезности с нею. Не отдать ему предпочтения

пред остальными было действительно трудно. Судя по плечам, это был силач едва ли не покрепче нашего знакомого. Недаром другие собеседники не пододвигались близко, и их остроумные замечания звучали не совсем смело и уверенно.

Эта компания, видно, не совсем понравилась нашему приятелю; другая группа, которую он издали окинул глазами, тоже не привлекала его. Он вскочил с места, совершенно неожиданно крикнул во всю мочь: «Бррр!» — так что брюхо у старика наверху дрогнуло, и чрез всю компанию прыгнул вниз, на последний уступ берега.

Здесь, под густыми ветвями дерева, почти прилегшего к озеру, слышались громкие всплески воды и отрывистые веселые восклицания. Между зеленью показывались мокрые головы; потом мокрые руки и ноги цеплялись за сучья, и выкупавшиеся ловко перебирались по дереву на берег. Тут были тоже и мужчины и женщины. Наш молодец не отстал от других. В одно мгновение ока уцепился он руками за крепкий сук, крикнул: «Ух!» и, далеко разбрызнув воду, нырнул с головой. Ближайшая стая птиц поднялась и отлетела подальше. Он окунулся раз пять с головой, потом принялся колотить по воде ногами, так что поднял целый туман брызг; наконец выскочил, отряхнулся, как отряхиваются лошади, и взобрался прежнею дорогой к тому месту, где лежал старик.

Отсюда обозрел он другие берега озера. Что делается там? Людей было везде довольно. В местах, где почва была слишком вязка и болотиста, они удобно размещались на деревьях.

Зоркие глаза нашего молодца остановились с особенным вниманием на небольшой отмели почти у самого истока реки. На близко окружавших эту отмель деревьях сидело и качалось особенно много островитян и островитянок. Громкие и веселые крики их доносились на другую сторону озера. Видно было, что там происходило что-то очень забавное. Молодец наш разглядел и темную голову крокодила, выставившуюся из воды как раз под теми деревьями, где шел такой живой шум.

— А-у? — крикнул он вопросительно, во всю мочь своих легких.

Старик, продолжавший жевать лежа, испустил своим полным ртом недовольное рычанье.

— У-а! — донеслось в ответ несколько голосов разом.

Тон ответа был утвердительный, и наш знакомец тотчас

же отправился бы туда, если бы после купанья ему не хотелось поесть. Обжорливый старик еще больше возбуждал в нем аппетит своим чавканьем.

Молодец взлез на дерево и с каждой ближайшей ветки чем-нибудь попользовался. После этой недолгой закуски он помчался к отмели, где собралась веселая компания, точно таким же способом, как направлялся к озеру от своего ночлега. На этот раз, однако ж, он менее развлекался посторонними предметами, а только попавшееся ему на дороге гнездо с очень крупными яйцами несколько задержало его: надо было достать и съесть парочку.

По мере того как он приближался к цели своей прогулки, крики у отмели становились все громче, смешаннее. Хохот, взвизгиванье испуга, угрожающее уханье, одобрительное чмоканье губами, присвистыванье, гиканье раздавались разом.

Вынырнув из густой листвы, приятель наш был принят радушным приветом со всех сторон. Всякий и всякая старались объяснить ему односложными выкриками в чем дело. Но он и без этих объяснений все уже понял,— и на минуту прекратившаяся забава тотчас же возобновилась.

Все, крича, теснясь и толкаясь, разместились, как в амфитеатре, на крайних к воде деревьях. Небольшая площадка, которую эти деревья обступали и вода по временам заплескивала, была сценой забавного представления. Самое комическое лицо изображал собою огромный крокодил. Он выставил из воды только морду и не смыкал широкой зубастой пасти, оставаясь совершенно неподвижным. Большая часть зрителей-актеров была вооружена длинными ветками и сучьями. Свесившись немного с дерева, они хлестали ими по носу крокодила. Он почти все это переносил бесстрастно и только подзадоривал этим забавников. Они в свою очередь подзадоривали друг друга криком. Если крокодил хоть немного поводил носом, уклоняясь от хлеставшей его ветки, вокруг поднимался веселый хохот. Один забавник ловко прицелился большим колючим сучком и попал им прямо в пасть зверю. Челюсти его захлопнулись и с треском раздробили сучок. В это время молоденькая женщина, отличавшаяся особенною зоркостью, пробралась на верхушку самого близкого к крокодилу дерева, ощупала ветку покрепче, ухватилась за нее одной рукой и одною ногой, качнула ее сильно вниз, и зверь вдруг получил звонкую оплеуху от ее голой руки.

Быстро разинутая за нею пасть защелкнулась на воздухе. Упругий сук уже поднял героиню на безопасную высоту, и она самодовольно защелкала языком. Кликам одобрения и громкому хохоту, казалось, не будет конца. Но тут на месте героини явился наш приятель. Он ухватился обеими руками за тот же сук, качнулся на нем и ударил крокодила пятками своих ног между самыми глазами. Крокодил тревожно завозился; но пасть его опять захлопнулась на воздухе. Обидчик его уже весело гикал на самой верхушке дерева. Опять раздался оглушительный крик и хохот. Ободренные такими примерами, другие с удвоенной энергией принялись хлестать крокодила по носу ветками. Один затеял даже повторить выходку молоденькой героини. Вот он точно так же уцепился за сук одною рукой и одною ногой; точно так же нагнул его вниз; точно так же занес руку... Вместо пощечины раздался отчаянный крик; вода заплеснула голову крокодила — и она исчезла вместе с неловким смельчаком. Распрямившийся сук обрызгал всех водой. Визг ужаса вылетел из всех уст; все заметались по деревьям, заголосили. Большая часть кинулась подальше от рокового места. Даже наш неустрашимый приятель пустился прочь.

Он направил свой путь к горе, на которой поутру его тешили своей возней дети. Он обливался потом и чувствовал усталость после всех своих подвигов. Солнце стояло в зените и страшно палило. Надо было поискать тени, где бы отдохнуть.

Он хотел было влезть в первую же пещеру, но не успел просунуть голову сквозь заплетавшие вход ее лозы, как оттуда послышался резкий и неприветливый голос, который как будто говорил: «Тебе что здесь понадобилось?»

Глаза его, привыкшие к яркому свету, не вдруг рассмотрели, почему его встретили так недружелюбно. Но в пещере было небольшое отверстие сверху, и с помощью проходившего оттуда света можно было видеть, что пещера, и без того тесная, уже занята. На полу, обильно устланном травами, спало двое или трое с громким храпом.

Еще одному человеку, впрочем, можно было бы поместиться, и в другое время нашему молодцу, конечно, не помешал бы никто. Но тут случилось особенное обстоятельство. В ближайшем ко входу углу пещеры слышался крик новорожденного. Мать, остерегшая своим окликом непрошенного гостя, стояла на коленях и припала лицом

к животу ребенка, закутанного в мягкие листья. Она зализывала ему только что скушенный пупок и в то же время старалась успокоить его, приставляя к его губам свою грудь. Не окликни она нашего молодца, он бы мог неосторожно задеть ребенка, взлезая в пещеру.

Гротов в горе было довольно, и он скоро нашел себе свежий угол и мягкое душистое ложе. Едва расположился он на нем и закрыл глаза, сон разлился по всем его членам.

V

Освеженный двухчасовым сном, опять так же бодро, как поутру, вышел он на свет и, взобравшись на ближайшее дерево, прежде всего прочистил себе горло легким криком. Затем он забрался подальше в лес, обедая по дороге всем, что попадалось на глаза вкусного.

Слоны семьями шли с спокойной уверенностью на водопой и купанье к реке. Но временами их уверенность исчезает; при малейшем шорохе они робко прислушиваются.

Он сидел в ветвях, уже кончив свой обед и будто в раздумье, куда бы ему пуститься теперь, как вершина соседнего дерева зашелестила и в листве показалась молоденькая женщина. Темное тело ее дышало такою же силой, как и у него; свежая грудь едва округлялась; черные глаза смотрели бойко; движенья были ловки, гибки, смелы. Она, конечно, не хуже утренней героини сумела бы дать пощечину крокодилу. А может быть, это была и она сама.

Приятель наш весь дрогнул при ее появлении, и оба они разом окликнули друг друга очень приветливо. Он тотчас же перебрался к ней на дерево. Она засмеялась, ударила его довольно звонко по плечу, увернулась от его рук и очутилась уже на другом дереве. Он за ней. Она соскочила на землю. Он притаился в листве, сорвал большой белый цветок лианы и бросил им в нее. Она опять засмеялась, подхватила цветок и стала жевать его. Потом крикнула и побежала по лесу. Молодец наш догонял ее. Как ни увертывалась она, он таки настиг. Руки его обхватили ее сзади за упругую грудь. Она выбивалась, слабо вскрикивала, смеялась, все вместе. Он визжал умоляющим голосом. Она повернула к нему горячее, обрызганное потом лицо; зрачки ее горели, белки были влажны; румяные губы, к

которым прильнул лепесток белого цветка, раскрылись. Она вся трепетала страстью и негой. Он хотел, кажется, снять этот лепесток своими губами и вдруг почувствовал на них ее острые зубы. Руки невольно выпустили ее. Они еще не знают нашего поцелуя. Змей увлажает своими губами добычу, прежде чем пожрет ее. Мужчина еще не стал таким злодеем для женщины. Она опять захохотала и побежала; но по временам оглядывалась, бежит ли за нею он. Он, конечно, бежал. Вот лес расступается. Впереди пышный луг. Что тут цветов! Как мягка высокая трава! Ни у какого царя не бывало такого роскошного брачного ложа.

VI

Он лежал на траве, закинув руки за голову. Она сидела, поджав ноги, около него и ласково проводила своею ладонью по его груди. Ладонь ее, измозоленная и жесткая, казалась гладкою и нежною его грубой и толстой коже. В руке была свежесть, прохлаждавшая грудь. Широкие листы пальм, как великолепный шатер, покрывали их своею тенью. Лесная красавица увидала струйку крови на плече у своего милого, тихо визгнула, показала ему на плечо пальцем и потом припала губами к ране. Когда она наклонилась над ним, горячая грудь ее почти касалась его лица. На ней были следы ногтей. Кой-где на царапинах застыли капли крови. Он тихо слизывал эти капли.

Потом она встала и исчезла в зелени. Он побежал было за нею, но она уже возвратилась с тяжелыми гроздьями в руках. Теперь она протянулась в траве и положила грозды себе на грудь; он сел около нее, и пурпуровый сок ягод окропил их белые зубы.

Между ними не шло никакого разговора. Если б их младенческий язык был и богаче, им бы нечего было говорить. Ведь они не думали ничего — они наслаждались. В тихом мычанье, в легком визге, в игривом смехе выражалось так полно их довольство жизнию, их отрада в ней!

Незаметно, как сладкая греза, прошло несколько часов. Солнце клонилось уже к закату, когда наш юноша расстался с своею милой. Они не условливались увидаться опять. Этого они не сумели бы. Да и могло ли им прийти в голову завтра? Все завтра будет сегодня, а с ним и се-

годняшнее наслаждение. Может быть, они встретятся, может быть, и нет. Не все ли равно? Он встретит другую, она встретит другого. В чаше наслаждения не видать еще дна.

Без дум о прожитом дне, без дум о дне будущем связывает наш приятель мягкие ветки у вершин двух деревьев, приготовляя себе опять воздушную постель. Приятная истома тела опять зовет ко сну,— и вот он тихо покачивается в своей лиственной колыбели. Сумерки начинают быстро облекать лес; голос за голосом утихают в нем дневные звуки. Примолкают даже свистки попугаев, и они выпархивают лишь для того, чтобы выбрать себе более удобную ветку для насеста. Их начинают заменять другие голоса, слышные только ночью. Дикий крик павлина возвещает закат солнца. Одна за другой огненные мушки летят, как сорвавшиеся с неба звезды. Гуденье жуков раздается так внятно над головой, не заглушаемое криком птиц. Но и птицы спят не все, вот ухнула сова, и круглые, желтые глаза ее сверкнули во мраке кустов. Издали послышался вой гиены. Он приближается. Она, верно, сыщет в траве задушенного леопарда. В реке и на озерах слышится по временам тяжелый плеск.

Синее небо давно потемнело, давно зажглись в нем чистые звезды, без трепетного лучистого света, ясные, как хрустальные лампады. В недрах гор слышно глухое урчание, словно угрожающий ропот, и зарево их горит ярче.

Приятель наш спит и ничего не видит, не слышит.

Рассказ о поддразнивании крокодила перенесен мною на людей с обезьян. Вот его источник:

«Забавно видеть, как крокодилы излавливают обезьян, которым приходит иногда фантазия поиграть с ними: у самого берега лежит крокодил,— туловище в воде, и только вместительный рот его находится на поверхности, готовый схватить все, что только можно ему достать. Толпа обезьян подмечает его, по-видимому советуется между собой, приближается мало-помалу и начинает свои шалости, поочередно играя роль то актеров, то зрителей. Одна из самых расторопных или самых наглых перепрыгивает с ветки на ветку и останавливается в почтительном расстоянии от крокодила. Здесь, повиснув на одной лапе и со свойственною этим животным ловкостию то приближа-

ясь, то удаляясь, она дает своему неприятелю удар лапой или же делает вид, что сделала это. Другие обезьяны, забавляясь этой шуткой, очевидно желают принять в ней участие; но так как другие ветви слишком высоки, то обезьяны образуют род цепи, взявшись друг за друга лапами, и таким образом качаются взад и вперед. Кто из них может только достать до крокодила, дразнит его как только умеет. Иногда страшные челюсти внезапно захлопываются, но дерзкая обезьяна успевает ускользнуть; тогда поднимаются торжественные крики шалунов, и они весело скачут кругом. Случается, однако ж, что лапа попадает в рот крокодилу, и он с быстротою молнии увлекает под воду свою жертву. Тогда вся толпа рассеивается с визгом и криком. Такое несчастие не мешает им, впрочем, возобновлять через несколько дней ту же игру». (Travels in the Central parts of Indo-China (Siam), Cambodia and Lavs, during the years 1858, 1859, and 1860. By the late M. Henri Mouhot. 2 vols, London (Murray), 1864) [1].

Гексли говорит: «Неужто какой-нибудь великий поэт, философ или художник, гением своим прославивший и просветивший свой век, будет унижен, низведен с своего высокого места вследствие несомненной исторической вероятности,— чтобы не сказать уверенности,— что он по прямой линии произошел от какого-нибудь голого, звероподобного дикаря, у которого настолько хватило разума, чтобы хитростию превзойти лисицу и тем самым быть опаснее тигра? Разве филантроп может отказаться от старания вести примерную жизнь потому только, что при простейшем изучении человеческой природы мы находим в ее основании все эгоистические страсти и скотские побуждения обыкновенных четвероногих? Разве материнская любовь — низкое чувство, оттого что она проявляется у курицы, или верность — подлое свойство, потому что им отличаются собаки?»

«В начале земля была пышно цветущим садом,— рассказывал старый рапсод.— Жизнь человека была светлым и сладким пиром. Обилие, счастие и мир царствовали на земле. Крокодил ласкался к людям, как ручной голубь;

---

[1] М. Генри Муо, Описание путешествий в Центральный Индо-Китай (Сиам), Камбоджу и Лаос в 1858, 1859 и 1860 гг. Посмертно. Два тома, Лондон (Мюррей), 1864 (*англ.*).

тигры играли с детьми людей; боа приносила женщинам розы в своих губах. Каждая пядь земли давала пищу, с которою ничто не сравнится в сладости. Румяные яблоки, золотые грозды, изумрудные орехи, радужные ягоды висели на каждой ветке, под каждым листом; медвяный сок катился душистой струей по стеблям и стволам растений. Мягкая, кудрявая мурава расстилала повсюду свои бархатные подушки. Везде был готов пир человеку, везде готово ложе. Чуткая мимоза, вздрогнув, давала знак широколистным бананам, и они смыкали свои листья шатром, длинный лист махрового папоротника начинал тихо раскачиваться как опахало над горячим лицом спящего. Райская птичка вспархивала к вершинам деревьев и говорила своим старшим сестрам: «Тише! человек спит!». И умные попугаи примолкали на минуту, рассаживались над изголовьем его и, понизив свои резкие, крикливые голоса, начинали отрывисто и задумчиво рассказывать чудные сказки. Горлицы садились еще ближе и тихо ворковали ему баюкающие песни. Звери уходили подальше, затаив голос, стараясь не прошуметь травой, чтобы не мешать сну человека. Гремучая змея становилась на страже. Она высоко поднимала голову и звенела своими бубенчиками, когда кто-нибудь подходил близко к месту отдыха человека. Люди ни перед чем не знали страха. На земле было просторно жить всем. Ни один зверь не отнимал у другого пищи,— всем было ее слишком довольно. Ни один самец не дрался с другим из-за самки,— наслажденья было слишком довольно каждому. Человеку нечего было думать о прошедшем. Настоящий день был только продолжением того же счастья, той же неги и той же отрады, которые были вчера, и позавчера, и так дальше, до самого дня его рождения. Нечего ему было думать и о завтрашнем дне. Завтра ожидает его тот же сладкий пир, та же сладкая любовь. Объятья женщин были как пламя; они рождали, улыбаясь от сладкой боли,— такой же страстно-блаженной боли, от какой умирали временною смертью в объятиях любви. Из глаз человека никогда не текло слез, этой горькой влаги страдания. Безболезненно кончал жить человек. Это был тихий сон без вздохов, без грез, без пробуждения.

Все это переменилось, все прошло, как сон. Людям настало время горя. Давно в утробе земли горело потаенное пламя; давно вздыхала она тяжко и глубоко своими высокими грудями, горячими горами; давно слышались ее

глухие стоны, как будто страшная боль раздирала ее недра. Часто, как из глубоких, смертельных ран, текла из нее огненная кровь, запекаясь камнем в долинах между горами. И настал страшный день. Море стало клокотать и дымиться, на его свист и шипенье отвечали глухие стоны и протяжные вопли из глубины земли. Все волны слились в пенистый водоворот, разлетаясь тучами брызг. Разинулось черное жерло посреди него, и пламенный столб взлетел до самого неба. Солнце померкло, и дрогнула земля от края до края. Грудь ее растреснулась,— из неисчислимых ран ее хлынула пламенная кровь ее сердца. Черные тучи загромоздили небо. В них грохотал гром: грохотал он и в море и на земле. Черный дождь полился из туч, завыл ураган. Море хлестало в тучи своими черными волнами; земля вскидывала к ним багровые потоки огня; тучи метали и в море и в землю свои огненные пращи и стрелы. Казалось, вся жизнь погибает на земле. Разверзались огненные бездны, и с треском проваливались в них горы. Из морской пучины выдвигались каменные громады. Море со свистом или шипеньем и воем рвалось залить землю. Долго длилась эта скорбная ночь. В ее громах и бурях не было слышно воя и воплей ужаса, какими оглашало землю все живое, видя идущую гибель или погибая. Но море, небо и земля кончили свою битву. Каждый взял свою добычу. Небо разбило своими стрелами горный оплот, мешавший свободно ходить его солнцу. Море захватило в свою жадную пасть клочок цветущей земли. Земля вдвинула свои жесткие скалы в его влажное лоно. И все утихло, утихло и усмирилось. Опять показалось солнце в небесной высоте; но что увидали на земле его лучи? Они увидали первую скорбь человека.

От людей и зверей, населявших землю, от трав и деревьев, осенявших ее, не осталось и половины. И земля стала не так обширна, как была. Половину ее поглотило море. И та половина, которая не далась его жадной пасти, стала похожа на печальную пустыню. Где стояли цветущие леса, дымились теперь зловонные болота. Где стояли щедро одетые зеленью горы, синели озера в глубоких котловинах. Реки, опушенной так густо темными рощами, как не бывало. Новый поток несся к морю. Он не проложил еще себе постоянного русла и метался как зверь, ударяясь в беге о голые и бесплодные скалы. Скалы эти выдвинулись в грозную ночь там, где расстилались вечноцветущие долины»;

Scheu in des Gebirges Kluften
Parg der Troglodite sich.
Schiller.
(Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал).
Жуковский.

I

Одна выше другой величавыми террасами встают горы. Вершины дальней цепи как будто уходят в небо и сливаются с ним своими легкими голубыми очертаниями. Местами полосы нетающих снегов ослепительно сияют розовыми отливами под тропическим солнцем. Они кажутся ступенями, с которых можно перешагнуть в эту лазурную глубь.

Эти горы, обступившие амфитеатром морское прибрежье, стоят так близко, если смотреть на них с длинной песчаной косы, заплескиваемой теплыми волнами. Воздух так прозрачен, что каждая белая тучка, набегающая на их синие вершины, видна ясно с прибрежья. Но между им и этою грядой гор, замыкающих собою амфитеатр, лежит еще недостижимая даль для людей, которые живут в ближайших окрестностях берега. Они назвали бы эти дальние горы концом мира, глухою стеной, которая поддерживает с этой стороны небесную кровлю,— если бы мысль их могла хоть на минуту останавливаться на таком далеком для них предмете. Конец мира гораздо ближе для них. Но и до этой пограничной черты мысль их не доходила. Она едва уловляет,— и то ненадолго, не успевая запечатлеть в слове,— явления и более близкие, когда они не касаются самых неизбежных потребностей. А потребности все в том, чтоб быть целу, быть сыту. Каждый день встает солнце, и каждый день блещет в лучах его бесконечное море; каждую ночь выходит в небо месяц и загораются над землей лампады звезд. Недвижимо стоят дальние горы. О них нет заботы человеку. Что же и думать о них? Они не возбуждают его воображения. Минута спокойствия есть для него минута сна. В грезах его бессознательно повторяются картины окружающей его природы. В этих грезах не все является в совершенно таком виде, как наяву. Но, пробуждаясь, он забывает за насущной заботой свою грезу и не останавли-

вается на ней мыслью. Только то, что необходимо нужно, без чего нельзя жить,— только то, что грозит неминуемою гибелью, занимает его; только для этого есть у него название. Он дал имя морю, потому что оно страшно своими приливами; но у него нет еще имени небу. Потом он, может быть, назовет его неподвижным морем. У него есть название тигру — и нет названия солнцу. Когда-нибудь солнце превратится в его воображении и слове в небесного тигра.

Он говорит, как грудной младенец, но уже говорит. Значит, он живет не одиноко; значит, необходимость защиты сомкнула уже людей.

Если бы предание не ограничивалось у них только указанием на то, что можно есть и какого зверя надо бояться, если бы память их могла обнимать не несколько лишь ближайших дней,— эти люди, еще так похожие на обезьян, рассказали бы предание о всемирном потопе и об огненном дожде, истребившем их эдем. Но потоп и огненный дождь застали их еще разрозненными и бессловесными и оставили им только страх и нужду. И вот создалось человеческое стадо.

Эти места, где люди впервые почувствовали необходимость соединиться, действительно были раем еще недавно. Пятое или шестое поколение жило в скудных его остатках. Грозный геологический переворот видоизменил здесь морские берега. Такой же райский остров, к которому полосой шли коралловые рифы от этих берегов материка, был поглощен волнами, и взамен его выдвинулся гораздо далее другой, больше, выше и шире. Страшное землетрясение погубило половину растительной и животной жизни на прибрежье. На месте лесов явились болота, река изменила свое ложе, в провалах гор образовались озера. Вместо холмов, одевавшихся кустами и деревьями, торчали голые скалы, которым еще долго ждать новой зеленой одежды.

Пройдут века, прежде чем солнце выпарит влагу из этих болот и семена, заносимые ветром, пустят в них ростки и корни и поднимутся опять роскошными лесами. Пройдут века, прежде чем периодические дожди и муссоны размочат и выветрят эти бесплодные скалы и облекут их корою плодоносной почвы. А до тех пор жизнь людей пойдет здесь печально, в вечной заботе о своем самосохранении. То время, когда каждый из них жил отдельно и самостоятельно, когда каждый носил в самом себе и свое право и свою защиту, когда встреча с другим нужна была только для забавы, для

наслаждения,— то время миновало безвозвратно. Если природа этих берегов опять возвратит себе прежний блеск и прежнюю обильную красоту, она, может быть, не увидит уже тут людей, а если и увидит, то увидит совсем непохожими на тех, которые блаженствовали когда-то посреди ее неистощимых даров в райской анархии. «Они были зверями»,— скажет нынешний человек, самолюбию которого обидно признавать свое родство с орангутангом и гориллой, гордости которого тяжело назвать негра своим братом. Да, они были зверями, но зверями сытыми, здоровыми, спокойными, счастливыми, огражденными от нужды и опасности богатством окружающей природы. В этот второй период их развития, когда они видят, что жить врознь и вразброд стало нельзя, они все еще звери, но уже без прежнего довольства и счастья.

II

Остатки лесов, подходящих к первым отрогам прибрежных гор, еще очень пышны и тенисты. Будто чудом их пощадил подземный огонь, и они цветут в прежней красоте. Их семенам суждено оплодотворить когда-нибудь все пустынные теперь места этих гор и равнин; но семена, разносимые ветром с их деревьев и кустов, падают еще на камень, на песок,— и леса остаются только оазисами среди окружающей бесплодной почвы. Их роскошное убежище перестало уже быть безопасным для человека. Ему нельзя, как прежде, кочевать с дерева на дерево, спать в воздушной, зыбкой постеле из ветвей и листов; нельзя привольно гулять, не страшась встречи ни с каким зверем. Эти встречи становились ему очень опасны. Хищный зверь, не находя вокруг себя прежнего обилия, стал смотреть на человека, как на хорошую добычу. А чем бы стал бороться и защищаться человек?

Первым оружием были руки, зубы и ногти
Или же камни и сучьев древесных обломки[1].

---

[1] Arma antiqua, manus, ungues, dentesque fuerunt,
Et lapides, et item sylvarum fragmina rami.
(Лукреций). *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

Этого оружия было мало, чтобы сражаться с врагом сильнейшим.

А между тем встречи с этим врагом были все-таки неизбежны. Лес доставлял всего более пищи, нужной человеку.

Прежде ему нечего было враждовать с другими животными. Для всех было довольно пищи — и мир не нарушался, как не нарушается он между сытыми домашними кошками и собаками, врагами на воле. Правда, истребительная борьба шла уже и прежде между сильнейшими и слабейшими породами. Но в этой борьбе человеку незачем еще было принимать участие. Он знал, что есть звери с зубами острее и крепче его зубов, с когтями, перед которыми ничтожны его ногти, с мускулами, невредимыми, как камень. Но они все-таки были не опасны. Им не приходилось еще вступать с ним в борьбу из-за существования. Теперь зверь стал голодать, и встретиться один на один с тигром, с медведем значило пасть в неравной борьбе. Человеку и самому приходилось чаще голодать — и он становился слабее.

Пещеры, бывшие прежде только местом его отдыха, стали теперь ему почти постоянным жильем, из которого он выходил только искать пропитания.

Вот эти пещеры в первой, ближайшей к берегу гряде гор. Некоторые из них не больше как узкие и неглубокие трещины с просветом вверху; другие похожи на искусственно выбитые в скале гроты; третьи начинаются очень узким устьем, но расширяются дальше и идут коридором в глубь горы. Первые люди, решившиеся пролезть в черную узкую пасть подземных коридоров, были Бартами и Ливингстонами этих неведомых мест. Были и менее счастливые исследователи. Немало их задохлось от удушливых газов, наполнявших некоторые из пещер, или погибло в провалах, или потонуло в тине подземных ключей. Но у них не было еще имен, и о них не оставалось памяти, как о первых «жертвах науки».

Входы почти всех пещер завалены большими камнями. Это первые двери, в которые не может пробраться никто, кроме человека. Силы отвалить эти камни достало бы у многих других животных; но не достало бы ловкости. Но как долго нужно было напрягаться уму, чтобы придумать себе и эту защиту. И он не сам придумал ее. Ее указал ему случай; но и тут он еще не сразу последовал его указанию,

а старался только воспользоваться счастливой случайностью. У самого устья одной из пещер лежал огромный, обрушившийся с ее сводов камень. За него можно было забраться, хотя и с трудом. Эта ограда была не вполне безопасна; но все же не всякий зверь мог пролезть в небольшое отверстие. И все стали тесниться в эту пещеру. Произошло немало ожесточенных драк за ночлег в ней. Надо было, чтобы несколько раз забралась туда голодная гиена, чтобы навести обитателей пещеры на мысль приваливать камень ближе к отверстию и совсем запирать вход. Так же трудно было придумать заваливать камнями входы других пещер. И удивительно ли это? Сколько десятков тысячелетий пар заставлял подпрыгивать и подниматься крышку над котлом с кипящей водой, прежде чем человек обратил внимание на это явление как на указание нового средства для своего благосостояния!

Но вот пещеры все снабжены дверями,— и с этой стороны обеспечена безопасность. Но довольно ли в них места для всех? Не совсем. Духота и теснота заставляют гнать оттуда тех, кто послабее. Первая аристократия уже создалась — аристократия силы. Бессильное ожесточение слабого мало-помалу обращается в хитрость; но она еще плохо помогает. Люди не успели доразвиться до подлости и лести, чтобы найти в них замену силы.

Не взаимное условие, не договор соединили все людское население прибрежья в этих соседних друг с другом пещерах. Их просто согнал туда страх преследования от хищных зверей,— и они остались вместе. При первом же сближении между ними закипели ссоры, для которых прежде не было у них повода. Ночлег, лишний кусок, женщина — стали предметами вражды и столкновений. Из-за женской ласки происходили отчаянные схватки между мужчинами, такие же, какие мы видим теперь между так называемыми низшими животными. Не хуже собак рычали и грызлись они около женщины, ожидавшей себе мужа. Победа оставалась за самым сильным. Женщина тотчас же брала его сторону и помогала ему скорее соединиться с нею, отгоняя от себя с ожесточением всех более слабых. Сила была высшим достоинством человека, и ей еще по праву доставалось тогда первенство. Для борьбы с ожидавшими людей опасностями были нужны более всего физические силы,— и сама природа, казалось, указывала только наиболее одаренным силой становиться родоначальниками

будущих поколений. Слабый жил почти без наслаждений, умирал без потомства.

Прежде вырвать из рук другого какой-нибудь надкушенный им плод — было только шуткою. Стоило протянуть руку, чтобы сорвать другой,— и ссориться было не из-за чего. Теперь это стало иначе. Первые зачатки собственности, хотя и не прочной, уже появились. И собственность принадлежала только сильным.

Забота данной минуты слишком поглощала все внимание, и люди не делали еще запасов. Надобны были опыты долгого повального голода, чтобы заставить их приберечь часть сегодняшней пищи на завтра.

III

Поутру на песчаном берегу, с которого только что отхлынул прилив, собрались почти все обитатели прибрежья. У пещер не осталось никого. Женщины принесли с собой и грудных детей.

Море, отхлынув, оставило на песке берега множество раковин, слизняков, мелкой рыбы. Все это потребляется с жадностью жителями прибрежья.

Только очень внимательный взгляд, обращенный на них, мог бы заметить в их лицах и в форме их тела некоторое изменение сравнительно с тем временем, когда главным местопребыванием их был лес. В глазах их светится как будто больше внимания, осторожности, спина стала прямее, ступня потеряла часть своей гибкости. Многим поколениям людей приходилось больше бегать и ходить, чем лазить по деревьям. Но у лучших представителей расы все еще очень широки плечи и все кости, все еще очень крепки мускулы. У всех их живот уже не выдается так вперед, как у их беззаботных предков. Умеренность в пище придала многим худобу. Умеренность эта, конечно, невольная; стоит посмотреть, с каким сладострастием их зубы рвут сырую и несколько уже испорченную рыбу, как разгрызают они раковины и выхлебывают из них слизистого моллюска.

Разговора не слыхать. Только женщины покрикивают иногда на детей, которые возятся в песке или бегают, отыскивая себе еду. Гортанные звуки их слов отрывисты, бес-

связны. Порою слышатся будто одобрительные замечания от гастрономов, разлегшихся на песке и загребших поближе к себе свой завтрак. Они, кажется, похваливают его своими односложными восклицаниями. Есть люди, которым не нравится этот пир под самыми лучами палящего солнца. Они набирают запас разных разностей в руки и уходят в тень утесов и пещер — и удовлетворяют свой аппетит там.

Около полудня, когда солнце станет палить еще жарче, можно будет забраться и в опушку леса. Прекрасные плоды на верхушках деревьев, кажется, ждут сбора. Но редкий уносит хотя часть их с собою. Вот одному приходит в голову сорвать огромный лист и в него положить яблок и ягод, чтобы снести в пещеру, может быть, для оставшихся детей своих. Другие бросаются вслед за ним, отнимают у него его жатву, и он убегает лишь с скудными ее остатками в пальмовом листе. Не сразу догадываются другие, что могут и сами сделать такие запасы, каждый для себя.

Не все ограничивают свою прогулку по лесу одною его опушкой. Многие забираются и в глубь его. Самые страшные из лесных зверей — это тигр и буйвол. Но в полдень они не бродят близко, и их можно избежать. А в глубине леса все растет обильнее. Да и поневоле надо искать пищи подальше. У самой опушки ее недостаточно для всех, и ее плоды обираются ежедневно.

Счастливый день, когда всем можно быть сытым и не драться из-за куска тухлой рыбы! Такие дни не всегда бывают. Как ни горячо это солнце, но оно не может заставить деревья приносить плоды круглый год. В эти промежутки надо питаться только тем, что приносит море. Но его даяния скудны. Надо вместо плодов и орехов питаться древесной корой. Эта кора вкусна и не похожа на жесткую и горькую кору наших печальных лесов. Но с нее не разжиреешь, ею не будешь очень сыт.

Между тем в пещерах довольно места, и на время недостатка можно бы устроить кладовую в их глубине. До этого они еще не скоро додумаются. Надо, чтобы сначала истощенье принесло с собою болезнь, смертность. Но и на умирающих собратий они посмотрят, может быть, как на помощь в беде. Голодные живые станут есть своих мертвых. Но этого им нельзя будет делать спокойно. Запах трупов приведет к их жилищам стаи гиен, шакалов и волков.

Надо будет побросать им мертвых, чтобы только звери ушли в свои трущобы.

Все это тяжелые уроки; надо их пережить, чтобы сделать хоть шаг вперед в том, что мы называем теперь наукой. Да и довольно ли бывало одного такого урока? Конечно нет. В этом порукой наше образованное время, наше цивилизованное общество с его политической историей, с его народным хозяйством. Разве не такие же уроки переживаем мы беспрестанно; а много ли дают они нам предусмотрительности? много ли отвращают бедствий и зла в будущем?

Чего же хотят от «зверей», какими еще были люди?

IV

Еще недавно человек стоял в уровень со всеми остальными животными; теперь он ниже большей части их. У него нет еще и той цивилизации, до которой нужда и опыт довели многие слабейшие породы. Он мог бы поучиться у них многому; но ученье тяжело ему, как ребенку. На жизнь другого животного, если оно не вредит ему прямо или не прямо полезно ему, он смотрит совершенно равнодушными глазами. Гнезда птиц, норы подземных зверков, стройный порядок муравьиных куч, хлопоты о будущем, запасы их, поиски лучших мест для житья — все эти примеры перед ними постоянно; но когда еще они научат людей следовать им, делать то же? Паук плетет перед ними свою сеть и ловит в нее мух; они не думали еще, что можно так же ловить рыбу. Червь прядет нити из листка и делает из них себе мягкую постель; люди не думали еще об его искусстве. Муравьи делают вал вкруг своих жилищ; огораживают их; обращают стада тли в стада своего домашнего скота. У людей не являлось еще мысли о прочной ограде, о дружеском обмене услуг с другими, кроткими и способными к приручению животными. На все эти успехи нужны им века страданий, века нужды. Как прежде полное довольство мешало их развитию, так теперь мешает нужда. А будет время, когда человек станет гордо называть разум своею привилегиею перед остальною тварью.

Море принесло и оставило на берегу полусгнивший пень, весь окутанный цепкими и крепкими, как струны, стеб-

лями какого-то вьющегося морского растения. При отливе пень уперся своими острыми и широкими корнями в вязкий песок, и волны не унесли его обратно. В путанице оплетавших его веток засело, как в сети, много рыбы и другой морской живности. Эту добычу открыл один из туземцев и завладел ею, пока другие, посильнее, не заметили нового удобного места ловли и не оттеснили его от его открытия. Пень стал самым привлекательным пунктом на берегу. Каждый раз после отлива к нему теснились с жадностью. В лесу довольно лоз. Самый случай учит их сплести из них первую вершу. Они умеют завязывать узел из двух веток. Это искусство появилось между ними еще в ту пору, когда они еще не умели различать себя от орангутангов. От узла нетрудно перейти и к связыванью трех-четырех веток вместе. Но нет; для них еще и это трудно. Мысль о верше придет им в голову разве тогда только, когда волны станут подмывать пень и он станет покачиваться, грозя уплыть назад в море.

Сказка об изобретении финикийцами стекла, об открытии пурпура, эта сказка остается историею всех человеческих изобретений чуть не до самого нашего времени, до таких открытий, как пар, как электричество, как фотография. Недаром рассказываются такие же анекдоты, как про финикийцев, про Гуттенберга с попавшеюся ему строчкой Цицерона, про Ньютона с его яблоком. Только теперь начинаем мы — и то еще как слабо! — копить опыты и проверять их с определенною целью.

Как бы то ни было, первая верша изобретена, и прибрежное население превратилось в рыбаков. Шаги от какого-нибудь изобретения к его новым применениям, конечно, легче, чем самое изобретение. Но искать усовершенствований и новых применений может заставить только опять-таки какая-нибудь неудача, нужда или же столь могущественный для этих людей случай.

Эти потребности и нужды, эти случаи превратят сплетенную из лоз вершу в залитое глиною ведро, которое не будет пропускать сквозь себя воду; это ведро, плавая на поверхности воды, подаст и первую мысль о жалкой ладье. Острая раковина будет первым ножом, круглая и полая — первой чашкой. И между каждым из этих простых открытий будут проходить столетия, пока эти люди дойдут и до тех жалких успехов, на каких мы застали прибрежных жителей Австралии.

V

С первой же поры, как населению прибрежья пришлось сойтись в кучу, с первых же годов, когда им стало невозможно разделяться и разбрасываться по разным местам, явились и начатки того, что мы называем теперь обществом.

Только необходимость стоять ближе друг к другу, держаться крепче один за другого для своей защиты связала их. Как же самая эта необходимость принесла с собою и все то, что более всего было способно нарушить эту неизбежную и необходимую связь? В ту же минуту, как окружающий мир нарушил равенство в наслаждении для всех, нарушилось в детском сознании человека и равенство прав на наслаждение. Высшим правом стала сила,— исключительно сила физическая, потому что она одна была необорима. Наслаждения для всех уже недостаточно; то, что есть, пусть принадлежит сильному. Люди перестали быть просто людьми; явились отличия.

VI

Вот уже несколько дней, как неподалеку от пещер каждую ночь слышится громкое рыканье льва. Он, видно, голоден и ищет пищи. Иногда, проснувшись посреди ночи, обитатель пещеры слышит отчаянно-быстрый топот и бег. Это, верно, олень, спасающийся от преследования. Шаги его замерли в отдалении; примолк и голос льва. Его не будет уже слышно до завтрашней ночи.

Перед вечером все собрались на ночлег в свою пещеру. Она невелика. Устье ее довольно широко; каменный свод дальше поднимается так, что под ним можно свободно стоять не нагибаясь. Еще дальше, в самой глуби ее, небольшой поворот, в который можно только проползти, и то лишь так, что, когда голова коснется глухой стены, ноги все-таки остаются по щиколку снаружи. Это пространство годно разве на то, чтобы сделать в нем кладовую для каких-нибудь запасов. И точно, там стоят плетенные из лоз корзины с орехами и плодами.

Пол пещеры высоко устлан весь листьями. Нижние слои этой настилки давно превратились бы в сухую труху, если б постоянная влажность почвы долго не поддерживала в них свежести. На этих лиственных коврах располагаются спать жители пещеры. Их нет и десяти. Больше

не было бы где поместиться. Тут четыре женщины и двое мужчин; остальные — дети. Все, сколько их ни есть, только что воротились в пещеру из своих поисков по ближайшей опушке леса. Многие жуют. Один набрал острых и разновидных кремней в горе и кладет их около груды таких же камней у самого входа. Он уже ловко умеет пускать их своей сильной и меткой рукой — и не раз спасал себя ими от голодных зверей. Около этих кремней лежат и другие орудия в этом роде — толстые, суковатые палки, некоторые с расщепленными острыми концами, кости больших животных, похожие на булавы. Некоторые из кремней оббиты так друг о друга, что острыми изломами их можно резать не только мясо, даже дерево. В одном углу лежит вся скоробленная и полувылинявшая кожа оленя. Через несколько поколений эти люди, верно, будут хорошими охотниками.

Все они еще совершенно голы; потребности в одежде для тепла еще нет. Украшать себя ею? Эстетическое чувство еще не зарождалось.

Все очень говорливы,— и почти все говорят разом бедным, однозвучным гортанным языком. Один говорит: «Принес камень и две дубины»; другая говорит: «Лев близко»; третья кричит: «Прочь!» — мальчику, который лезет к ее груди, и засовывает ему в рот кусок какой-то коры; четвертый говорит: «Камень к пещере!»

Пещеру действительно пора заваливать камнем. Солнце скоро спрячется; свет разом почти сменяется ночью; сумерки так быстры. А только едва стемнеет, опять зарычит этот лев. Он все еще не устал бродить около этих мест, все еще не ушел искать себе добычи подальше.

Набегавшиеся в день, усталые, покрытые потом дети свернулись по углам и заснули. Они, как птицы, дают знать своим сном, что и верхняя окраина солнечного венца уже ушла за горизонт.

Все шестеро больших с громким и бессвязным криком берутся за громадный камень, чтобы привалить его ко входу; камень подымается своим влажным боком с своего обычного, давно надавленного им места. Вдруг все приостанавливаются — настораживают уши. Слышен легкий, быстрый, пугливый топот. Вот он ближе, ближе.

Крики в пещере усиливаются. Скорее поднимай камень! Это лев гонится за кем-то. Но только что громадный камень зашевелился быстрее в их руках, топот раздался у самого входа в пещеру, и между движущимся камнем и

верхним сводом как стрела вскочила в пещеру дикая коза. В одно мгновение камень захлопнул вход, и в пещере стало совсем черно.

С такими же криками изумления и отчасти удовольствия все бросились к козе. Ее не видно было в потемках; но они тотчас же ощупали ее на полу. Она лежала, вытянув ноги, и дышала тяжело.

Поднялся оживленный говор, что делать с этою добычей, которая досталась им сама собою: задушить ли ее теперь же, или оставить до утра?

Все были сыты и, покричав еще немного, полегли спать. Коза продолжала неподвижно лежать между ними. Мало-помалу усталость и испуг ее сменились тоже спокойным сном.

Ночью на этот раз никого не разбудил голос льва, раскатывавшийся обыкновенно таким громким эхом по всем пещерам и ущельям гор.

Перед утром, когда в щели между камнем, заваливавшим вход, и стенами проходили в пещеру первые лучи света и храп спавших в ней становился тише, один из грудных ребят проснулся и стал кричать и плакать. Его голос услыхала мать. Ночью ребенок далеко откатился от ее бока, и она слышала голос его почти по самой середине пещеры. Ей не хотелось ни вставать, ни открывать глаза. Грудь ее давно уже начинала скудеть молоком,— и теперь она не чувствовала в ней той тяжести, которая заставляет мать так быстро подниматься утром с постели и давать свой сосок плачущему ребенку. Вместо того чтобы встать и угомонить плач дитяти, женщина лениво закинула за голову свои руки и потянулась, не открывая глаз. Ребенок на минуту притих, потом опять закричал тем умоляющим голосом, каким обыкновенно просил груди,— потом опять притих, и матери послышалось, что губы ее ребенка как будто ухватили что-то и сосут с великим наслаждением. С быстрым любопытством привстала она с своей лиственной постели и окинула глазами пещеру, ища, где ее дитя.

В пещеру проникало уже довольно света. Ребенок лежал около козы, смирно оставшейся на том самом месте, на котором она упала вечером. Грудь ее была так полна молоком, что оно капля за каплей срывалось с ее сосков. Ребенок ухватился губами за один из них и с жадностью глотал молоко, почти не шевеля губами: рот его беспрестанно переполнялся, и молоко белыми струями текло по его черным надувшимся щекам.

Крик удивления вырвался у матери. Коза, лежавшая на боку, вздрогнула, подняла уши; но ребенок продолжал так усердно освобождать ее от молока, что она опять успокоилась.

Все начали уже просыпаться в пещере. Мать ребенка тотчас же обратила внимание всех на невиданное зрелище,— и все с любопытством окружили козу. Свет все больше проникал в пещеру. Коза глядела на окружавших ее людей кроткими и покорными глазами, будто умоляя не делать ей зла, пощадить ее за то, что она накормила маленького человека тем молоком, которого уже не будут есть ее козлята, разорванные львом.

Убьют ли, чтобы потом разорвать на части и съесть ее сырое мясо, или же пощадят ее эти люди?

Может быть, эта женщина, которой уже тяжело кормить своего ребенка грудью, уговорит остальных приберечь ее для него. Может быть, кто-нибудь полюбопытствует узнать вкус козьего молока, надавит его из соска себе в ладонь, попробует его, и оно понравится. Может быть, это будет первый опыт доенья. Но если ее пощадят и она как-нибудь вырвется и убежит? Тогда счастливый случай хорошего обеда пропал даром. Запереть ее в пещере, когда все соберутся уходить,— дать ей корму.

Потом она так привыкнет, что не будет и уходить далеко,— будет возвращаться домой на ночлег. Он безопасен.

Придет для нее пора любви,— и ее голос приведет к пещере самцов. Из них, может быть, ни один не захочет остаться тут; но зато у козы будут малютки. Они вырастут уже вместе с детьми людей,— они станут смотреть на них не пугливыми, а умными и благородными глазами.

Тогда в этих пещерах может появиться и такое хозяйство, какое было у циклопа Полифема на его острове, соседнем с островом коз.

Начали все мы в пещере просторной осматривать; много
Было сыров в тростниковых корзинах; в отдельных закутах
Заперты были козлята, барашки, по возрастам разным в порядке
Там размещенные: старшие с старшими, средние подле
Средних и с младшими младшие; ведра и чаши
Были до самых краев налиты простоквашей густою.

Но, может быть, они приручат прежде кроткого, податливого и робкого, но умного слона.

...До этого, впрочем, верно, еще очень долго ждать.

I

Раскинув свои громадные крылья, высоко носится широкими кругами белоголовый орел. Он высматривает зорким взглядом какой-нибудь добычи. Под ним бесплодная болотистая низменность. С одной стороны подступили к ней горы, поднимаясь сначала отлого, потом все круче и круче. С другой стороны тянется пустая, голая степь, будто ложе недавно отхлынувшего моря. Глаза орла следят за необыкновенным движением в печальной низменности. Люди, как муравьи, расползаются в разные стороны небольшими группами и вереницами. Одни тянутся к горам, другие к пустыне. Орел чует, что ему скоро будет много поживы. Он видит первую эмиграцию людей с их исконных мест.

Тесно стало жить в этом жалком, скудном болоте. Люди перепробовали все средства, бывшие под рукой, но не могли спасти себя ни от голода, ни от мора. Повальные болезни разгоняли их; но они отходили недалеко от первых мест и часто опять возвращались к своим бедным жилищам. Скольких трудов и неудачных опытов стоило им построить себе их. Это такие же сооружения на сваях, какие сохранились в остатках в Швейцарии; но они еще далеко не так совершенны. Здесь еще нет искусственных устоев, на которых утверждается верхняя настилка. Первое дерево будет отделено от своего корня только тогда, когда люди сумеют добывать огонь и употреблять его в свою пользу. Эти люди знают огонь только как далекую от них и властительную силу: огонь солнца и звезд, огонь молнии. Блудящие огоньки их болот — те же звезды. Устои, на которых они приладили себе возвышенное помещение, просто стоящие на корне деревья со срезанными и плохо выровненными вершинами. Искусство оббивать камень о камень так, чтобы из него выходило острое оружие, перешло к ним от их отцов; но им нельзя было усовершенствовать его. Каменистая местность довольно далека. Этих орудий было, впрочем, достаточно, чтобы с великим трудом и старанием обсечь сучья и ветви деревьев, назначенных служить устоями для жилья; достаточно, чтобы сравнять с еще большим трудом их вершины; достаточно, чтобы надрезать сверху донизу кору дерева с одной стороны и потом содрать

ее с него. Эти лубки, плохо распрямленные, скоробленные на горячем солнце, и служат полом или, пожалуй, кровлей этим естественным устоям. Другое искусство, наследованное от отцов, помогло сплотить их. Они сумели залить их глиной и дать ей окрепнуть на солнце; где недоставало лубков, а было вдоволь тростнику или обрубленных с деревьев лоз, там настланы были плетенки — и все это обильно скрепилось глиной и землей и образовало прочную площадку над деревьями. С нее далеко видно кругом равнину. Защитою этой крепости служат на каждой такой кровле запасы острых камней (родоначальников будущих кремневых стрел). Их все ловко умеют метать в свою защиту. С каждым годом настилка утолщается и укрепляется. Местами на ней пробивается трава. Но вначале было так трудно оберегать ее! Под ливнем периодических дождей она становилась такою же шаткою и зыбкою, как едва связанный плот на волнах моря.

Как ни свирепствовали по временам голод и смерть в этих бедных поселениях, плодовитость племени боролась с ними могущественно. Население разрасталось все в больших размерах, и ему становилось тесно. Мало было не давать вырастать слабым детям и убивать их тотчас после рождения; мало было заводить между собою споры и драки, в которых должны были гибнуть слабейшие. Сильнейшие, оставаясь целыми, только еще более способствовали размножению племени. Закон Мальтуса оправдывался во всей силе. Надо было расходиться, искать новых мест.

Стали совещаться, смыкаться в группы, запасаться дубинами вместо оружия — и началось переселение.

Не сразу поднялось все в поход. Уже давно бывали от времени до времени попытки поискать лучшего угла для жизни. Пробовали уходить и в одиночку и по нескольку человек разом. Одни уходили и уже не возвращались. Никто не знал (да никто и не заботился), что с ними сталось: разорвал ли их дикий и голодный зверь, истомила ли до смерти жажда, сломили ль недуг и голод, или же они нашли себе такой приют, какого не было у них дома. Другие приходили обратно, изнуренные, истощенные, и готовы были лучше умереть, чем возобновить свое странствие. Бывали и такие, что возвращались бодро и весело, говорили о чудных странах, где все в изобилии, где для всех готово и жилье и пища, и звали с собою других идти в эти прекрасные места. Но иногда они выказывали и много фан-

тазии, не меньше знаменитого английского путешественника сэра Джона Мандевиля или тех авантюристов, которые ездили за золотом и сокровищами Монтесумы. Самая правда принимала сказочный характер в повествованиях этих смелых странников. Картины, представляемые ими, увлекали воображение. Едва сытые желудки ныли и просили этой сладкой пищи. Начинался оживленный говор по кровлям, суета. И десятки и сотни людей шли за бывалыми вожатаями.

С течением времени все чаще и чаще становились эти выходы, и все больше и больше числом были уходившие партии колонистов.

Глядя с недосягаемой высоты на этот разброд людского муравейника, орел недаром ждет себе обильной поживы.

Не все эти толпы идут в места, где могут найти что-нибудь лучше того, что оставили на родине. Все они направляются больше или меньше в одну сторону, именно к этим обильным горам, которые как будто нарочно поднялись так высоко, такими чудными террасами и изломами, чтобы привлекать к себе мысль и воображение человека. Бывает ли ночь за этими сияющими вершинами? Солнце уходит за них и светит там, когда по сю сторону лежит темная ночь. Недаром эти верхи, будто окаймленные золотом, серебром и пурпуром, еще блещут, когда уже все погаснет здесь; недаром они первые вспыхивают опять ослепительными красками поутру, когда еще чуть алеет небосклон на востоке.

Все эти вереницы странников избрали эти горы целью своего путешествия; но не все они избрали прямой и верный путь. Одни дошли до печальной и бесплодной пустыни и остановились в раздумье, идти ли дальше, будет ли за этою пустыней место, где не умрешь с голоду, можно ли пройти самую эту пустыню. Часть путников отделяется, часть вступает в пустынные места. Кому посчастливится? Может быть, те, которые отделились и взяли несколько в сторону, дойдут до еще более бесплодной степи и погибнут там. А первый отряд переступит тяжелый переход и дойдет до стран, одаренных обильным плодородием. Для тех, кого случай не толкнул по этому пути, суждено другое. Голая степь будет чернеть их трупами, орел накличет своих товарищей, с воем набегут шакалы и гиены, они не оставят ни клочка кровавого мяса, и там, где лежали черные трупы, долго

будут белеть груды костей, пока их не заметет песком пустынный вихорь.

Первый оазис после степного перехода остановит многих. Как тут привольно, обильно и хорошо! Зачем идти дальше. Будем жить здесь. Но привычка к странствию уже сделана. Не все захотят оставаться на этом первом приволье. Как знать! Может быть, там, дальше, за тою грядою гор, в верховьях той многоводной реки, природа еще обильнее, еще щедрее обделяет человека своими дарами.

И постепенно, медленно, из века в век, из поколения в поколение, все эти плодоносные склоны заселятся людьми. Если бы начертить все их дороги, вышел бы, вероятно, узор, похожий на тот, который рисует своими нитями паук в выбранном им углу.

II

Перед нами долина, которая граничит с непроходимым девственным лесом. Лес далеко раскинул свою первую опушку кустов и небольших деревьев. Лишь изредка поднимаются здесь посреди низменного кустарника деревья выше, тенистее. Почти к каждому из таких деревьев прислонены какие-то странные сооружения из ветвей и больших листов. Что это — норы зверей или жилища человека?

Некоторые из этих построек не что иное, как ряд жердей, упирающихся одним концом в землю, другим в ствол дерева и накрытых сверху грудою веток или же широкими листьями пальмы. Небольшое отверстие где-нибудь сбоку — это дверь этого первобытного шалаша. Многие из них сплочены так плохо, что стоит двинуть хорошенько плечом, пролезая в эту дверь, и все строение свалится вам на голову. Но только небрежность и беззаботность строится так непрочно. Некоторые из этих конусообразных шатров, окружающих стволы деревьев, построены крепко, насколько можно это при отсутствии помощи огня, которого они еще не умеют добывать. Где в стволе деревьев сделаны зарубки для того, чтобы жерди упирались в них и не соскальзывали, где концы жердей, упирающиеся в землю, врыты в нее глубже, там шалаш стоит прочно, пока не подмоет его дождь. Подмытый раз, два, три, он, может быть, будет укреплен еще лучше. Недалеко отсюда есть целая гряда каменистых холмов — и стоит обложить каменьями основу шалаша, он

устоит и против дождя. Постройками этими занимаются женщины. Вот хлопочет около одного из шалашей еще совсем молоденькая. Она перевязывает и переплетает заново поперечные перекладины из веток и плотнее прикрывает их листьями. Судя по плечам и бедрам, по росту, она еще не достигла полного развития. В числе женщин, показывающихся у других шалашей, чуть не большинство почти ничем не разнятся от мужчин ни шириною плеч, ни высотою роста. Но у этой неразвитой женщины уже низко отвисли груди. Видно, что она выкормила ими не одного ребенка.

Первые обманчивые признаки зрелости, которые являются здесь так рано у женщины, не проходят незамеченными. Толпа мужчин тотчас начинает следить за новым предметом страсти, и, бессильная для борьбы, девочка, как назвали бы мы, достается по большей части наиболее сильному из претендентов. С этого уже времени начинается покорение женщины. Она постоянно то носит детей, то кормит. Промежутков нет. И мужчина начинает сознавать и выказывать преимущество своей физической силы; и женщина видит поневоле необходимость подчинения. Первым поводом к одежде будет, может быть, служить желанье отделываться хоть немного долее от этого подчинения, попадать хоть немного позже в властительные руки мужчины. Мы и теперь видим у диких, которые почти не знают одежды, что женщина носит пояс, от которого идет повязка спереди назад. Этот пояс был вначале, верно, просто лозою какой-нибудь лианы, эта повязка — листьями. Ева этих рас изобрела себе лиственную одежду не из стыдливости, а из чувства страха, из чувства самосохранения. Но скоро ли стала оберегать и охранять ее эта одежда? Не вдруг притупила она чутье мужчин.

Сначала одно наслаждение сводило мужчину и женщину. Потом они расставались. Но как только мужчина заметил в себе перевес сил, создалась семья. Из женщины, кроме наслаждения, он мог извлекать и пользу. Она могла давать ему больше времени для праздности, сна. Она могла делать за него то, к чему ему лень протянуть руки. Дети еще не помеха. Мать долго может кормить ребенка; а когда она кончит эту заботу, ребенок недолго будет требовать забот. Если это мальчик, он будет ходить отыскивать пропитание сам; пока он не умеет еще владеть каменным копьем, он станет разорять птичьи гнезда. Если это девочка, будет

то же, до тех пор, пока она не забеременеет и не попадет в такую же зависимость, в какой живет ее мать. Мужчине будет казаться выгодным иметь и не одну рабу. Вот начало многоженства. Вначале он, может быть, и без такого расчета приведет в свой шалаш другую женщину. Он приведет ее для удовлетворения своей страсти, потому что первая жена не может удовлетворить ее именно в это время. Она беременна или только что родила. Но и расчет на лишние рабочие руки явится следом.

Мужчина, еще не отдавая себе отчета в своих поступках и намерениях, смутно сознает уже то, что впоследствии назовет своим правом на женщину. Главная основа жизни — это пища. А пищу доставляет почти исключительно он. Всякий другой труд не имеет еще такой цены. Имеет ли он и какую-нибудь цену?

Посмотрим же на жизнь этой неразвитой физически женщины, которая так хлопотливо укрывает и чинит свою хижину. Муж ее (можно давать ему уже и это имя) — муж ее пошел в лес за добычей. Дома у них нечего есть, и вот он вооружился своим дротиком и пошел на охоту. Он постарается не заходить далеко и высмотрит сначала все ближайшие места, где можно надеяться встретить дичь. Охота еще не доставляет ему удовольствия. Он ищет в ней только пропитания. Первая убитая им дикая коза, первый олень заставят его воротиться домой.

Вот он и возвращается из лесу. Но руки у него пусты. Он машет ими еще издали жене, и она бежит к нему навстречу. Он свое дело сделал, убил козу. Притащить ее домой может и жена. Он объясняет ей, где лежит добыча, и она быстро изчезает в лесу. Он идет между тем к своему шалашу, пролезает в его отверстие, бросает на пол свое окровавленное копье и в ожидании возврата жены с козой ложится отдыхать. Пол шалаша устлан листьями и кой-где мехами убитых им зверей. Надо выбрать место помягче и поудобнее. Жена на такое именно место уложила спящего ребенка. Он может лежать и пожестче. Отец бесцеремонно сталкивает своего ребенка с удобного места и вытягивается во всю длину своего тела. Ребенок ревет со сна. Это ничего. Поревет и перестанет. И охотник уже захрапел, не дождавшись конца плача.

Женщина отыскала убитую козу, взяла ее за ноги и потащила к дому. Но тащить ее так неудобно. Сучья и корни, по которым приходится волочить ее, только еще

более раздирают две большие раны, свалившие ее. Женщина подымает ее за передние и задние ноги и закидывает себе за спину. Обливаясь потом, несет она ее по глухим лесным тропинкам. Кровь козы мешается с потом женщины, и она приходит к шалашу со спиной и грудью в красных полосах и узорах.

Охотник и среди крепкого сна услышит, что добыча уже дома. Он голоден, и ему уже снится лакомая еда. Но и открыв глаза и видя, что жена опустила на пол принесенную козу, он не пошевелится ни одним суставом. Он скажет только, чтобы жена сейчас же принялась потрошить козу, и станет, лежа неподвижно, следить, как она распорет каменным ножом ее живот, как станет отчасти им, отчасти ногтями сдирать кожу, как, наконец, разворотит кровавыми руками грудь козы.

Тут охотник вскочит с своего ложа и с сверкающими от удовольствия и ожидания глазами подсядет к жене. Достанется ли ей хоть кусок от сердца, печени и почек козы, которые он с такою поспешностью выдирает из ее кровавой внутренности и с такою жадностью начинает жевать и глотать? Жена успеет оторвать небольшой кусок и отправит его к себе в рот. Но это может возбудить и спор и ссору.

До тех пор пока есть хоть маленький кусок козы, наш зверолов не пойдет на охоту. Он будет лежать, спать, есть. Нет никакой заботы. И еда будет идти к нему в рот совсем готовая. Жена обдерет кожу с козы, выпотрошит ее, разрежет мясо на куски и сложит их в вырытую ею же в земле яму и прикроет ее листьями. Не нужно даже и руку протягивать. Стоит крикнуть — и жена подаст.

Чем больше убитый зверь, тем долее можно наслаждаться кейфом, не брать в руки копья, не ходить в лес. Разлагающееся мясо, один запах которого произвел бы в нас тошноту, считается самым вкусным при неуменье варить и жарить его.

III

Каждое стадо знает самого сильного из своих членов, знает, что с ним борьба тяжела. Людям, живущим уже в первом подобии общества, нельзя не отличить между собою тех, кто наиболее наделен силой. Эта сила не раз

обращает на себя внимание всех; не раз дает чувствовать себя многим. Сильный зверолов чаще одолевает такую дичь, перед которою отступает слабый.

Широкоплечий охотник, с крепкими, как железо, мускулами, возвращается из лесу весь окровавленный. Лицо его изодрано когтями какого-то могучего зверя; на одном плече кожа висит кровавыми клочьями. Древко его копья переломлено. Но он не спешит обмыть свои раны в ближайшем ручье и прилепить к ним листки растения, в котором случайно открыта сила останавливать кровь и заживлять язвы. Глаза его горят торжеством победы; улыбка его окровавленного лица обличает удовольствие. Он собирает около себя веселым криком не только жен, но и соседей. И его крику начинает вторить скоро оживленный говор всего сборища. Все дивятся, все чмокают губами, широко раскрывают глаза, качают головами. Какая неслыханная победа одержана! Какая проявлена отвага, ловкость! Этот человек убил тигра.

На этот раз целая толпа идет в лес за смельчаком. Вот желтеет в чаще шкура убитого зверя. Это правда! Он победил; он раздробил ему череп своим копьем; потом он кинулся в отчаянную борьбу и изловчился перерезать ему горло каменным ножом, который он один носит постоянно за поясом, свитым из тонких лоз. Уже это было его отличием. Теперь он приобрел новое.

С ликованьем и торжественным криком тащит толпа труп тигра. Все суетятся около него; каждому хочется проволочить его хоть несколько шагов. Кому-то приходит в голову нарвать лиан, привязать к ним тигра за ноги и тащить его так. Тогда все могут запрячься. Мысль принята, и составляется торжественное шествие. Во главе его идет победитель и его семья. Между людьми явился первый триумфатор.

При грозящей им опасности все глаза обратятся с надеждою на него. Когда понадобится вождь, он поведет их. Не он ли и теперь избавил их от сильного и досадного врага. Уже несколько человек, уходивших в лес на охоту, не возвращались оттуда к своим шалашам. Что с ними сделалось? Этот тигр загрыз их. Теперь его нет; месть совершена. Как же не приветствовать хвалебными кликами человека, совершившего такое великое дело? Оно действительно велико при тех жалких орудиях, какими еще могут располагать люди.

Около шалаша триумфатора пир. Жены его торжественно, при всех, сдерут с тигра кожу. Они будут скакать и прыгать от гордости и самодовольства, когда победитель хвастливо набросит себе на плечи еще теплую шкуру убитого зверя. Дети последуют примеру матерей и примутся также скакать и прыгать с визгом вокруг ободранного трупа. В этих прыжках зачаток будущих более искусственных плясок, может быть будущих языческих религиозных обрядов. Важность случая заставляет на минуту забыть то, что не забывается ни при какой другой добыче. При поражении такого зверя, как тигр, можно и не думать о количестве мяса, годного на еду.

День этой победы будет долго памятен всем. Пестрый трофей, разостланный на полу шатра, не дает никому забыть о нем. Победитель оторвет одну из лап тигра и станет носить ее за своим поясом. По этому ордену, к которому принадлежит он один, все будут знать его. Борьба с могучим зверем оставила ему и другую отметку, еще более прочную. Плечо его совсем зажило, и не видно следа бывшей раны, но когти тигра провели слишком глубоко три параллельных черты на его правой щеке. Шрам от них никогда не исчезнет. Он ясно виден на темной коже. Бывали и прежде люди со следами такой борьбы с сильным неприятелем на своем лице; но эти следы были памятью их слабости, их бессилия совладеть со зверем. У этого человека эти раны знак его победы. Щека его обезображена; но он гордится и хвастается этим безобразием, как особенною красотой. От этого шрама он получает имя, и под этим именем знают его все. Когда говорят о нем, говорят в то же время о следах тигровых когтей на его правой щеке. Блеск его славы падает и на его семью. Жены начинают гордиться не меньше мужа. Они хотят и себе придумать отличие. Может быть, им придет в голову привесить себе на уши на нити какого-нибудь растения по зубу тигра, убитого их мужем и господином. Это отличит их от всех других женщин и возбудит в них не столько уважения, сколько зависти. Но как сделать, чтобы и на детях видно было, чьи они дети. Подражая отцу, мальчики играют уже в тигров и охотников и царапают друг друга. Пусть и у них будут такие же отметы, как у отца. И вот у всех детей мужеского пола являются на правой щеке три искусственно проведенных и растравленных, потом заживленных шрама. Теперь уже нельзя смешать их с детьми других людей.

На них переносится имя их отца. Это имя уже не умрет, пока не вымрет весь род победителя. Дети его, выросши и породивши детей, отметят и их наследственным гербом на щеке. Имя их станет именем господствующего рода; может быть, оно будет в их языке синонимом верховной власти — вождя, князя, царя; может быть, оно станет национальным именем всего племени, в котором были такие герои.

Соревнование выдвинет еще кого-нибудь из остальной темной среды. Явится новый герой, новый герб, новый аристократический род; два рода станут враждовать и спорить о первенстве. Бархатных книг и дипломов еще нет, а уже есть и старая аристократия и новая. К отметкам на теле являются отметки и вроде серег у женщин. Одежда, которая лучше всего могла бы отделять одних от других, еще не существует. Но перья, воткнутые в волосы, борки из ярких зерен на шее и т. п. стали уже исключительными украшениями дикого дворянства.

IV

По русской поговорке «от добра добра не ищут» люди не думают покидать мест своего поселения без каких-нибудь особенно важных побуждений. Надо, чтобы их гнал голод или чтобы какое-нибудь пришедшее издалека и поселившееся рядом племя стало теснить их. Без таких побуждений не колонизуются люди и из наших цивилизованных государств и обществ.

Нигде привычка к месту своего жилья так не сильна, как у этих первобытных людей, потому что нигде не сильна так лень, неповоротливость и мозга и мускулов. Поколение за поколением живут в нездоровом болоте. Вредные испарения, губительные поветрия беспрестанно производят опустошения в населении; но смертность приписывается случаю, которого нельзя отстранить, с которым не в силах ничего сделать человек. Скорее болезнь и смерть примет в его воображении характер кары или вражды какого-то неведомого и невидимого ему врага; скорее создаст он миф о каком-нибудь всесильном существе, которое с крайних пределов мира дышит на него порою мором и заразой; скорее заподозрит в таинственном и зловредном искусстве морить

людей кого-нибудь из своих же собратий, почему-нибудь несимпатичных ему; скорее сделает он все это, нежели задумает передвинуться с своего старого исконного места на другое, новое. У него нет опыта и знания, которые подсказали бы ему, что есть на свете страны гораздо обильнее, страны, еще не занятые никем, куда стоит только добраться, чтобы жить богаче, спокойнее, не умирать от каких-то необъяснимых и внезапных влияний. Понятия его о хорошем и дурном, о добре и зле ограничены тем тесным кругом, дальше которого не уводили его ноги. Ему представляется скорее, что везде за этим кругом жизнь тяжелее, печальнее, хуже. Удалясь за версту, за две от своего жилья, он уже чувствует желание возвратиться к комфорту дома, которого тут не находит. Пусть этот дом не что иное, как непрочный шалаш из древесных ветвей или что-то вроде гнезда на верхушке дерева (как у нашего сказочного соловья-разбойника, только без такой роскоши, не на двенадцати дубах), пусть этот дом его ничем почти не отличается от убежища, какое он может устроить себе на каждом привале, если вздумал бы отправиться в путь,— он этого не знает, он не видел ничего лучшего,— и потребности и желания его нейдут дальше того, что он видел с детства и видит теперь вокруг себя. Он может жалеть о потере какого-нибудь удобства, какого-нибудь жалкого блага; может стремиться и стараться возвратить себе это удобство, это благо,— и только. Лучшего ему не надо; он и не поверит возможности лучшего, пока не увидит его своими глазами, не ощупает своими пальцами. Для уроженца Забайкалья яблоко кажется плодом, который растет только в земном раю (если он слыхал о нем); он считает баснями и хвастовством рассказы заезжих людей об иной растительности, чем к какой привык в своих горах, об иных климатах. А этот сибиряк настолько же выше по развитию тех людей, о которых мы говорим, насколько грек, осаждавший Трою, был выше нынешнего новозеландского маори или американского дикаря.

Даже перед грозным и опустошительным естественным переворотом человек отступает лишь ненадолго и уходит недалеко. Стихии успокоились, и он возвращается на старое место, не рассчитывая на их повторения. Он соберет остатки и обломки своих бедных хижин, срытых страшным наводнением, и постарается возвести их на прежних местах. На пепелище своих селений, похороненных бур-

ным огнем волкана, он опять выстроится. И это сделает не только такой человек, которого мы самодовольно называем диким. Около могил Геркуланума и Помпеи построится Торре-дель-Греко, чтобы погибнуть под новым извержением. Голландцы и дитмарсы станут двадцать раз строить села и города в своих болотах, на прежних местах, после двадцати губительных наводнений, не оставивших камня на камне и бревна на бревне. Страшное землетрясение губит город Мендосу в Ла-Плате, у подножья Андов. Остаток жителей, спасшихся почти чудом от гибели, возвращается возводить снова погибший город и жить в нем (из четырнадцати или семнадцати тысяч жителей уцелело не более двух тысяч. Из двух тысяч раненых почти все умерли. От города ничего не осталось).

Но при этой неохоте к передвижению, при этом пристрастии к своим местам, при переселениях только вследствие постоянных толчков и утеснений извне как заселились в такую раннюю пору острова, отделенные от материка и друг от друга целыми днями пути даже для наших усовершенствованных судов? На таких одиноких клочках земли, среди пустынного моря, первые европейские мореходы заставали население, родственное далеким континентальным берегам. Как могли забраться туда эти колонисты, когда у них и теперь еще суда похожи на скорлупу ореха и они не удаляются на них дальше тихой бухты?

У самого устья реки, подступая близко к морскому прибрежью, живет издавна рыбачье племя. Когда и что привело его поселиться на этих берегах — преданье не рассказывает. Но из века в век эти вначале беспомощные люди дошли постепенно, мало-помалу, до многих улучшений в своем быту. Главный промысел их, главное средство пропитания — рыболовство сделало уже много успехов. Они не ждут уже отливов, чтобы пользоваться только тем, что случайно оставит море на песке их берега; они могут и не нырять у берегов на неглубокое дно, чтобы добывать себе оттуда раковин и раков. Первый шаг к искусственному рыболовству—плетенная из лоз верша сменилась уже у многих сетью. Имя того, кто первый открыл возможность сучить веревки из коры растений, кто первый изобрел искусство выпрядывать нити из их волокон, неизвестно. Но в воспоминании своем об этом гениальном человеке рыбаки прибрежья готовы признавать его чем-то особым от себя и высшим. Это почти бог в их представлении и, верно, будет

настоящим богом, если новое и еще важнейшее открытие какого-нибудь нового гения не заслонит в них памяти старого. Искусство, изобретенное проницательнейшим из этих рыбаков, очень далеко от совершенства; но спасибо и за то! С ним явилась уверенность в существовании, безопасность от голода. С сетью нельзя остаться без улова.

И первый изобретатель челна из древесной коры неизвестен; но он так же высоко должен стоять во мнении своих земляков, как и изобретатель рыболовной сети. Улучшения в лодке явились постепенно, можно сказать сами собой. Чтобы остановить течь, стали залеплять отверстия глиной; когда глина не держалась и размокала, попробовали древесную смолу, и смола оказалась действительнее и полезнее для прочности челна. Сначала он был слишком открыт, слишком походил на половину устричной раковины, которая так легко захлебывается водой. Другие раковины, игравшие роль наших бумажных кораблей в играх рыбачьих детей, дали мысль более удобной и прочной формы для лодки. Ее удлинили, сузили с боков, закруглили. Эту несовершенную лодку вначале можно было бы назвать почти игрушкой, если бы на той ступени развития, на которой стоят эти прибрежные жители, хотя что-нибудь вызывалось прихотью, а не действительною потребностью. Время прихотей придет для них впоследствии и еще не скоро. Лодка понадобилась для того, чтобы опускать сеть на большой глубине. Управлять ею никто еще не думал. Трудность совладеть с силою волн казалась непреоборимою. К лодке прикреплялась веревка, и только на длину этой веревки могла она удаляться от берега. Даже опрокинуться в ней, неловко вытаскивая сеть, было не опасно. Берег так близко, и каждый — хороший пловец. Да и самая лодка не могла пропасть; ее притягивали за веревку к берегу, выплескивали из нее воду, просушивали, просмаливали, если в ней оказывалось повреждение, и она опять спускалась на воду. Мало-помалу целая флотилия таких лодок появилась у морских отмелей. На ночь и на время прилива каждый уносил свою посудину дальше от берега, и тогда они чернели на желтом песке своими опрокинутыми днами, будто большие недавно выловленные рыбы. Только у этих рыб не было еще плавательных перьев. Но скоро и они явились; явились весла у лодок. Эти весла были вначале не что иное, как просто короткие шесты,— по одному шесту на каждую лодку.

С помощью такого шеста оказалось возможным поворачивать лодку и ускорять ее движение. Не вдруг нашлись такие смельчаки, чтобы отвязать веревку от своего челна и совершенно отделиться от берега. Но расчет на более обильную ловлю стал мало-помалу заставлять прибрежных рыбаков отплывать довольно далеко. Прихоти и привычки моря около берегов уже довольно известны. Опасности тут всегда можно избежать. Но отплывая от берега на версту, как не отплыть и на две. Один авантюрист решился добраться до маленького острова, темневшего вдали, среди голубой глади моря. Он бойко принялся грести к нему своим шестом. Остальные товарищи следили за его плаваньем, оставаясь поодаль. Около самого острова лодка быстро закружилась. До них долетел крик пловца. Потом и он и его челнок исчезли под волнами. Их зоркие глаза очень ясно видели, что они погибли. На другой день прилив принес на берег несколько кусков лодки. Пловец так и не возвращался. Гибель его была опытом для других. Они узнали теперь, что приближаться к далекому островку опасно. К этой страшной харибде никто уже не поплывет. Море широко, и есть куда направить по нем свою лодку. Лучше всего держаться берегов. Отплывая дальше прежнего, рыбаки придумали увеличить несколько свои лодки. Вначале они были рассчитаны на одного человека; потом попробовали сделать их просторнее, так, чтобы помещалось двое. Наконец придумали соединять две лодки в одну, связывая их веревками и просмаливая эти связи. Тут можно было помещаться уже четверым и даже пятерым; можно было брать и больше грузу. Втроем, вчетвером явилось больше уверенности и смелости. Вместо одного шеста у каждого было по шесту. Гребля пошла успешнее, особенно когда кто-то попробовал вместо прямого и ровного шеста нечто похожее на лопату. Но еще не было изобретено длинного поперечного шеста, который удерживал бы лодку в равновесии, как баланс удерживает плясуна на канате.

Все с большею и большею смелостью стали носиться лодки по открытому морю. Все дальше и дальше решались они уходить от берега. Мужчины и женщины безразлично плавали и промышляли в них.

Две лодки, каждая с тремя пловцами, отплывая вдоль берегов, отдалились от них на большее расстояние, чем когда-нибудь. Они вдруг очутились на кудрявой и быстрой

зыби, справиться с которою были бессильны их весла. Сколько ни упирались они ими в волны, качавшие их челноки, ничего не выходило. Поворотить к берегу было невозможно. Они попали на морское течение. Усталые от бесплодной борьбы, пловцы заметили, что непреоборимая сила моря влечет их все дальше и дальше от родных берегов. Лодки раскачивались сильнее, выходя в открытое море. Страх пловцов, между которыми две женщины, выражается громкими криками. Этих криков не услышат на том берегу, от которого унесло их. Он все более пропадает из виду. Крик сменяется воплями. От их беспокойных движений лодки качаются еще больше — и с этой качкой возрастает страх. Солнце высоко стояло посреди неба, когда они попали на эту невольную дорогу. В каждом челноке было на дне по нескольку пойманных рыб. Рыбаки готовы уже были возвратиться домой, когда море сыграло с ними такую шутку.

Как ни печально положение их, но нельзя же вопить и плакаться беспрестанно. Они перестают кричать и стонать и начинают говорить, что им делать? Эти разговоры напрасны. Они пробуют силу своих весл. Весла бессильны, как солома, перед этим увлекающим их стремлением. Море все шире расстилается перед ними. Они смотрят назад, на свои берега. Видна только темная полоса; но и эта темная полоса превращается в туманную облачную гряду, которая уже не похожа на их родной берег. Знакомые очертания его исчезли. Каждый изгиб берега, каждая возвышенность, каждый выдающийся мыс так хорошо известны им с самого детства! Из дали, какую только может проникнуть их дальнозоркий глаз, они узнают каждую подробность своего прибрежья. Теперь все кажется им на этом прибрежье так чуждо. Они никогда не бывали в такой дали.

Ветер крепнет,— теплые волны его обдают пловцов, как ласковое дыхание; но ласка его так обманчива. Течение становится быстрее; одна широкая волна поднимает лодки, одна опускается с ними. Напрасно стараются пловцы рассмотреть берега позади себя. Еще за минуту они виднелись тонкою темною нитью. Теперь и эта нить исчезла. Кругом, куда ни взглянешь, вода и вода. Солнце давно уже сошло с зенита. Оно тихо катится к той стороне моря, где исчезла земля, а пловцов несет в противуположную сторону. Им ничего не остается, как покориться увлекающей их стихии. Борьба с нею невозможна. Они смиренно сложили

весла на дно своих лодок и сидят уже безмолвные, будто окаменевшие, и только по временам оглядывают бесконечное море. Они забыли на время и о голоде. Губы их пересохли, язык лежит во рту, как кусок коры, и слова с трудом произносятся им. Но вот они вспоминают о запасе рыбы, который есть с ними. Вместе с покорством судьбе должна была войти в них, возвратиться к ним забота об удовлетворении того, что еще можно удовлетворить. Рыба подкрепила их, и они опять начинают говорить. Не земля ли там вдали? И все всматриваются. Нет, это облачко, которое на минуту показалось над самой окраиной вод. Вот оно поднимается к ясному небу и кажется в нем совсем белым; оно разрывается на мелкие волокна, и каждое из этих волокон тает в яркой высоте, и от них не остается ни следа. Солнце все ниже опускается к морю. Один край его уже окунулся в море, и от него идет, ослепительно горя, прямая огненная дорога к лодкам. Волны этого пути отливаются серебром, золотом и пурпуром, как волны расплавленного металла. Дорога эта идет и вперед. Как бесконечный пояс, протянулась она по морю из края в край, и по ней гонит лодки ветер и теченье. И верхний край солнца уже погрузился в океан. Багровая заря протянулась полосой. Блестящая дорога темнеет; но еще быстрее темнеет над головами пловцов небо. В его темной глуби выступили звезды,— и на минуту погасавшие волны засверкали фосфорическими огнями. Опять позади и впереди пловцов лежит светлая дорога. Куда ведет она? Они знают только откуда.

С наступлением ночи сердца их больше сжимаются страхом; в журчанье воды под их лодками слышатся им движения следящих за ними морских чудовищ. Вот что-то плеснуло сильнее; вот лодка как будто дрогнула.

Между тем ветер стих, волны не так высоко вздымаются и не так глубоко опускают лодку. Безмесячная, но звездная ночь безмолвна. Кроме глухого журчанья по следам лодок, не слышится ни звука. Все море вспыхивает звездами, как темное небо. Это время сна дома, сна крепкого, спокойного. Придет ли сон к этим невольным странникам? Они слишком здоровы, слишком полны жизни и сил, чтобы наложить на себя произвольно бессонницу. У некоторых, почти у всех веки тяжелеют и смыкаются от дремоты. В этом безмолвии ночи, в этом журчанье воды, в этой мерной качке есть что-то невольно усыпляющее. Пловцы, однако ж, уговариваются, чтобы один в каждой лодке не спал, пока

остальные растянутся на дне и заснут. Он будет сторожем. Он разбудит их, если где-нибудь покажется земля. Ведь море должно же где-нибудь кончиться. Если он задремлет, он разбудит одного из спящих, и тот сменит его на страже.

Сторожа в обеих лодках недолго будут бодрствовать. Дремота одолеет их прежде, чем они успеют разбудить кого-нибудь из спящих товарищей. Опершись спиной о задок лодки и сидя можно уснуть так удобно. И спящие не будут недовольны, если их не разбудят. Да и можно ли добудиться их?

И море несет эти утлые челноки все дальше и дальше. Бедные пловцы, унесенные в такую страшную даль от родины, грезят, может быть, о своих хижинах, о твердой земле под своими ногами. А уцелеть ли им? Неподалеку выглянула из воды голова акулы с страшною пастью, которая может разгрызть вдребезги их жалкие челноки. Они спят и не слышат. Над головами их, уже перед утром, проносится стая птиц и своим криком будто хочет разбудить их, будто хочет внушить им надежду, что близко есть убежище, что и они могут пристать в тихую бухту острова, где эти птицы вьют свои гнезда. Никто из спящих пловцов не слышит утешительного голоса птиц.

Только когда восток зарумянился перед появлением солнца, проснулись пловцы в обеих лодках. Они увидали с удивлением, что между ними гораздо большее расстояние, чем было вчера. Отчего задняя лодка так отстала? Отчего передняя так далеко убежала вперед? Что такое было ночью? Никто не мог ничего отвечать на эти вопросы. Все спали так крепко и ничего не слыхали. Но теперь они так далеко друг от друга, что голоса с одной лодки едва долетают до другой. Пловцы, ушедшие вперед, кричат задним, чтоб они помогли веслами бегу лодки и сравнялись с ними. Плыть рядом или близко друг к другу в двух челноках не так жутко, как нестись одиноко по широкому морю в одиноком челноке. Но весла не помогают задней лодке догнать переднюю и сравняться с нею. Напротив, она все больше отстает. С передней лодки все с любопытством следят за отставшими. Заднюю лодку как-то странно раскачивает. Видно, в ней произошло какое-нибудь повреждение. Пловцы кричат громко и отчаянно. Опустясь в глубину между двумя волнами, лодка показывается лишь одним краем. Между пловцами идет как будто борьба. Вот лодка и совсем захлебнулась водой. Показываются

из воды головы, руки; на минуту мелькнула опрокинутая лодка. Чьи-то руки ухватились за нее,— и она опять исчезает в воде. Высокая волна поднимает одного из пловцов; но он изнемогает в борьбе.

На передней лодке поднимается жалобный крик. Такая же печальная судьба может постичь и ее. Долго еще с криком следят передовые пловцы за последнею борьбою своих несчастных товарищей. Но вот и следить уже не за чем. Борьба кончилась — и победило море.

Солнце взошло яркое и спокойное. Пловцы приветствовали его радостным восклицанием. Не покажет ли оно где-нибудь вдали хоть тень спасения? На небе не было ни единого облачка; нигде по краям горизонта не виднелось собирающихся клочков тумана. По крайней мере буря минует головы странников. Опять сильнее повеял ветер навстречу солнцу, и быстрее побежала лодка. Пловцы подкрепились остатками рыбы. Если в этот день они не доплывут до какого-нибудь убежища, им придется голодать. Гибель товарищей заставляет их осмотреть свою лодку — нет ли и в ней какого изъяна. Нигде не видно течи; она прочна; лишь бы не ударила гроза. Но вокруг не видно, чтобы она собиралась. Они уже знают, что им не увидать родного берега; но все-таки глаза их невольно обращаются назад. Море поглотило землю повсюду.

Солнце приближалось к полудню: пловцы обливались горячим потом; жажда начала мучить их. Вода кругом, а утолить жажды нечем. Один зачерпнул в ладонь морской воды и хлебнул, но язык и губы его стали еще больше сохнуть.

Но вот почти разом из всех уст вырвался радостный крик. Направо, вдалеке, что-то показалось из волн. Сначала пятно как будто не больше лодки; но пятно это растет. Это остров. Только как он далеко. Все-таки надо постараться своротить к нему. Они принимаются за свои весла. Теченье упрямо гонит их своей дорогой, и руки их все больше устают. При каждом небольшом повороте лодки волны грозят захлестнуть ее. Надо оставить и эту попытку, надо проститься и с этой надеждой. А между тем остров виден так ясно. Бесчисленные стаи морских птиц поднимаются над его остроконечными вершинами. Их белые крылья мелькают на солнце, как серебряные звезды. Там есть пища, там есть, конечно, и пресная вода, и лес — там можно жить. А здесь придется умереть.

Остров остался уже назади. Теченье не устает нести лодку в одном направлении. Вот уже опять вокруг нет ничего, кроме воды. Острова как не бывало — и у пловцов вырываются невольные стоны.

Мало-помалу отчаяние и жажда совсем лишают их сил. Они уже не говорят ни слова. От палящего солнца прилегли они на дне лодки, пряча свои головы в тени ее стенок. Будь что будет — они уже не выглянут; они отдались во власть моря — пусть губит. Горячечный сон, с бредом, с дикими грезами, одолевает их мало-помалу. Они мечутся на дне лодки, забывая, что могут покачнуть ее.

В этом сне проходит почти весь день. Солнце уже так низко, что лучи его не проникают в лодку. Один из пловцов, посильнее других, одолевает свою дремоту,— как будто какое-то благодетельное дыхание повеяло на него свежестью. Он отрывает от дна лодки свою отяжелевшую голову и выглядывает. Что это? Грезит ли он, или точно видит то, что перед ним? На минуту он остается совсем неподвижным, немым. Прибой быстро несет лодку к земле. Широкий залив, к которому с трех сторон подступают отмели белых коралловых песков, как будто протянул к лодке свои объятия. Со всех сторон зеленеют стройными рядами пышные вершины кокосовых пальм. Прибой гонит лодку в самое устье реки, также обильно опушенной деревьями. Крик пробудившегося пловца,— крик, в котором так странно смешались и радость, и страх, и восторг, и отчаянье, подымает и его товарищей из их оцепенения.

Лодка быстро мчится в устье реки ровным, некачким течением. В первый раз людские крики оглашают эти воды, эти теплые рощи. Векши с любопытством, но без страха слушают эти незнакомые голоса, смотрят на этих небывалых гостей острова. Вот они уже окружены прохладным мраком леса, весла помогают им причалить к берегу. Они с жадностью утоляют жажду пресной водой,— силы у них прибавилось; они не забывают вытащить на берег свою лодку и привязать ее к ближайшему дереву.

Этот пустынный остров — их владение. Эти люди населят его. Жалкая лодка их попала сюда так же случайно, как и орех кокоса, занесенный морем, орех, от которого коралловая почва острова оделась целыми рощами пальм.

Память о том, как они попали сюда чрез море, сохранится разве в названии ветра, который принес их на остров. Они станут называть его «родным ветром», как дикие аме-

риканцы в Западной Канаде называют «родным» северо-западный ветер, не помня хорошенько самого своего переселения.

Вообще же они станут считать себя исконными жителями острова.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Страшная гроза шла по горам. По северным отлогим скатам этих гор местами расстилались плодоносные долины, представлявшие роскошное пастбище. Черные тучи быстро клубились по небу, сшибались, сыпали зубчатые молнии, раскатывались по горам грохотом и громом. Вихорь трепал и качал леса. Он сламывал и вырывал с корнями старые деревья; нагибал молодые вершинами к самой земле, будто натягивал их, как тугой лук. Звери и птицы прятались от грозы; прятались и люди, кочевавшие на этих покатых склонах гор, в долинах, около самых лесов, по берегам быстрых горных рек. Буря, ломавшая деревья в лесу, не щадила и непрочных людских шатров. С криками теснились люди около них, стараясь общими силами не дать ветру сорвать те из этих шалашей, которые не были от него защищены или деревьями, или пригорком и неглубоко были вкопаны в землю. И с тех из шатров, которые могли лучше противостоять буре, она срывала крыши из древесной коры и листьев, распахивала войлока и циновки, составлявшие стены шалашей, и часто отрывала и уносила и их. Когда пройдет гроза, все можно будет собрать снова, лишь бы не унесло на реку. У реки же ничего не отнимешь; она унесет все на своих быстрых волнах неизвестно куда.

Посреди своих стараний защитить свои непрочные жилища люди со страхом взглядывали порой на темное небо, по которому вились молнии; они вздрагивали при каждом ударе грома. Это и не удивительно. Они уже знали по опыту, что гроза может зажечь дерево, убить животное, убить человека. Их предание сохранило несколько случаев такой гибели и с течением времени успело придать им смысл наказания, посылаемого от каких-то могучих существ, с которыми человек не в силах бороться и которые

правят его жизнью. Гроза с громом и молнией представляется им уже гневом могучего бога. В их страхе перед нею, который есть уже вера, зачатки всех тех представлений, которые развились потом у исторических народов в культе Зевса Громовержца, Тора, Перуна. На их языке нет еще иного имени этому гневному богу, как гром. Оно, вероятно, останется и навсегда синонимом бога.

Гроза ударила на этот раз в одно из деревьев на границе леса и долины. Оно задымилось и вспыхнуло. Огонь быстро побежал по его смолистым ветвям; быстро перебежал на ветви другого дерева. Дождь, полившийся из туч косыми струями, не успел залить пожара. Ветер слишком быстро нес тучи. Дождь прошел длинною полосой по горам.

Проглянуло солнце над освеженною зеленью лесов и лугов; ветер притих — но лес продолжал гореть. При первом клубе дыма, при первой струе пламени почти все обратили внимание с громкими восклицаниями на горящее дерево. В этих восклицаниях слышалось как будто удовольствие.

Несколько человек побежало к месту пожара тотчас же, как только миновала гроза. Ветер совсем притих, и огонь не распространился дальше, тем более что зажженные молнией деревья стояли отдельною группой. Они уже рухнули на землю и пылали на ней как костер. Подошедшие к нему люди обрывали ветки, сламывали сучья с отдаленных деревьев и носили их охапками к костру. Как только пламя становилось слабее, они накидывали на костер сучья и ветки, и огонь опять вспыхивал с треском.

Другие между тем собирали по долине и по горам клочки и обломки своих шатров, раскиданных бурей. Женщины и мужчины хлопотали около них, приводя их в прежний вид,— и скоро кочевье приняло то же положение, в котором было до начала грозы.

Стадо овец, жавшееся к лесу, когда небо было черно и вспыхивало молниями, теперь опять разбрелось по освеженной мураве и щипало ее с наслаждением. Люди не успели загнать стада в ограду из кольев, построенную в полугоре. Так внезапно разразилась гроза, а овцы так далеко разбрелись по пастбищу.

Когда совершилось приручение этих стад, никто не мог бы сказать. Точно так никто не мог бы сказать, когда все это кочевое население перешло через горный хребет и рассеялось по его северной стороне. Смутное предание

рассказывает, что наплыв каких-то кровожадных и зверообразных людей заставил этих кочевников оставить южные склоны гор и переселиться на север. Эти места, занятые ими теперь, также обильно могут кормить их; но здесь уже суровее воздух. Там одежда была совершенно излишнею. Здесь приходится в иные времена года прикрываться звериною шкурой. Стада, покорные им, доставляют им и другой род одежды. Из шерсти их они умеют уже валять войлок. Эти войлока годятся и для шатров и для прикрытия своей наготы.

Они узнали уже употребление огня, хотя еще не умеют добывать его. Грозы здесь часты, и ни одна почти не проходит без того, чтобы не зажечь где-нибудь дерево. Сначала испуганные этою силой, перед которою ничто не может устоять, они видели в ней только зло. Но полупогасшее, едва тлеющее пожарище согрело их в холодную ночь, и они поняли, что вместе с злом в огне есть и добро. Это было не вполне новым открытием. Это было только применением к новому случаю понятий, образовавшихся в них еще прежде. Они уже знали, что гроза, несмотря на опустошения, которые производит, в то же время и освежает всю природу. В громе, в котором они видели сначала только какого-то злого и карающего духа, они стали видеть и благодетельное существо. Молитва их к нему, бывшая сначала только просьбой пощадить их, умилостивлением, стала теперь также и благодарностью за даруемые им блага и хвалою ему.

То же произошло и с огнем, этим сыном грома. Попаляя все на своем пути, он давал только отрадную теплоту, когда ему было мало пищи. Кусок мяса, положенный на уголья, становился вдвое вкуснее, нежели сырой; черепок глины из хрупкого превращался в жесткий. С горящим поленом в руке можно было идти безопасно в самую глухую пущу леса; всякий зверь бежал в страхе от этого факела. Так герой скандинавских преданий горящим деревом убил ничем непобедимого дракона.

Но случай не показал еще этим людям, что огонь можно добывать трением двух кусков дерева друг о друга,— и пока надо беречь, как драгоценность, огонь, посланный с неба. У каждого почти шатра устраивается костер. Окраины его загораживаются камнями, чтобы ветер не разносил дров и пламени, чтобы угли могли одеться золой и спокойно тлеть под нею. Эти очаги становятся алтарями,

и пламя хранится в них с таким же религиозным благоговением, как хранился огонь Весты. Только особенный случай может погасить его. Но люди уже научены опытом. Погасив по неосторожности огонь, разведенный так же, они должны были долго ждать новой грозы. И хранение огня поневоле стало религиозным обрядом. Если бы кто захотел его нарушить и мог погасить его вновь, все, как один человек, бросились бы на этого преступника и растерзали его. Это была бы и месть за преступление и жертва оскорбленному божеству.

Так, вероятно, начинались все эти религии, в которых играло главную роль поклонение огню. Пусть будет открыто, что огонь можно производить и проще, не дожидаясь, чтобы он снизошел с неба,— старая вера уже останется. Фантазия и мысль могут обобщить частную пользу — найти связь костра, горящего в кочевой палатке, с солнцем,— и они не ошибутся. Но вместо простого физического закона, который выводим мы, они создадут целую фантастическую теорию, из которой выйдет с течением веков какая-нибудь Зент-Авеста.

II

Долина вся наполнилась смятением. Бедные шалаши, теснившиеся около реки, все опустели. Жалкий и полуобнаженный народ собрался в кучу и с отчаянным криком, размахивая руками, перебивая и не слушая друг друга, обращал головы и глаза к горам, на которых было какое-то странное движение. Оттуда спускался большой и шумный караван. Он двигался отчасти отдельными небольшими отрядами, отчасти многолюдными и густыми массами. Кой-где над этими толпами пеших людей поднимались высоко навьюченные слоны. Их было немного, но они больше всего внушали страха и изумления береговому населению.

Это население жило в долине, на берегу широкой и быстрой реки, пришло сюда с этих же гор, постоянно настигаемое и отодвигаемое с мест своего житья наплывом другого, более многочисленного и уже более развитого племени. Основываясь на новом месте, оно жило в постоянном опасении от нового натиска. Развитие его не успевало сделать ни одного прочного шага при этих переходах, повторявшихся каждое пятидесятилетие, а иногда и чаще. Они

остались при тех же первых ничтожных успехах в удобстве жизни, при каких покинули свое первое поселение, все еще довольно привольное, чтобы променять его на более печальные и скудные места. В этих бесконечных и непрерывных скитаниях и переселениях им приходилось находить и такие клочки земли, где жизнь их могла бы идти спокойно, счастливо, по крайней мере сытно. Но ненадолго доводилось им оставаться тут. Опять, будто направляемые какою-то непреложною судьбой, двигались на них пришельцы — и они поднимались заранее с своих мест и двигались дальше, не ожидая и столкновения с более многочисленным племенем. Они попадали обыкновенно на место еще худшее,— только бы утаиться от преследования. Численность их уменьшалась с каждым таким невольным переходом.

Частая опасность смыкала их довольно прочно между собою. И теперь, когда грозило им нападение (зачем же и идут эти люди, как не нападать?), и теперь они после нескольких минут бессвязного крика могли выбрать и выдвинуть из своей среды трех или четырех человек, от которых надеялись услышать дельное слово, рассудительное распоряжение, полезный совет. Это были герои и мудрецы племени. На этой ступени культуры героизм есть мудрость, мудрость — героизм. Толпа окружила их и примолкла, ожидая, что решат они.

Они стали говорить, что на этот раз не остается ничего делать, как взяться за оружие и ожидать неприятеля. Отступать некуда. Все знали это и без них. Река разлилась широко после весенних дождей. Они так недавно еще жили близ воды — и не знали никакого искусства справляться с нею. У них не было еще лодок; берега реки были болотисты и топки, а просто плавать едва ли кто умел. Да с этим уменьем попасть было некуда. За краем разлива, который едва можно было видеть, лежали топи, в которых надо было погибнуть. По сю сторону — тоже. Место, в котором группировалось их поселение, было загорожено с обеих сторон непроходимыми топкими дебрями. Оставался один исход. Можно было идти почти прямо навстречу каравану, а потом повернуть вдоль этих дебрей. Но прежде чем они могли бы уклониться на эту боковую дорогу, неприятель настиг бы их. Потому лучше оставаться на месте, вооружиться и ждать. Как знать! может быть, пришельцы и не заметят их поселения — и пойдут сами куда-ни-

будь в сторону. Тогда они останутся в покое. Последнее соображение было скорее утешением, нежели возможностью. Как не увидать этим кочевникам добычи? Глаза их так зорки! а это поселенье — разве это не привлекательная добыча? И охота и война, вначале бывшие только крайностью, необходимостью, успели уже превратиться в кровавую потеху. Но пусть надежда, что враги не увидят неприятеля, видящего их так ясно на горах,— пустая надежда; все остальное в советах выборных людей было совершенно справедливо. Это знал, конечно, каждый из слушавших. А между тем ропот неудовольствия, а местами и крик ожесточения отвечали из толпы на благоразумные советы. Всякий как будто ждал от этих героев и мудрецов такой мысли, какая не являлась и не могла явиться темным головам остальных. Раздались крики обвинения; многие готовы были схватиться за свои дубины, за свои каменные молоты и топоры. В виду все ближе подступающего неприятеля все народонаселение едва не разделилось на два враждебные лагеря,— едва не завязалась ожесточенная междуусобная война в ожидании войны внешней, которая застигла бы их тогда еще более врасплох. Не кинься из толпы еще человек десять в защиту выборных от народного негодования и гнева, может быть эти лучшие, сильнейшие и рассудительнейшие из них пали бы первые.

Наконец спокойствие опять восстановилось. Караван был уже так близко, что с горы слышались голоса и оклики чужеземцев. Блеянье стад, подвигавшихся по ее склонам, как пыльные облака, тоже порою доносилось. Времени терять было нечего. Все вооружилось чем попало. Главным оружием были дубины; только у немногих нашлись неуклюжие подобия копий с наконечниками из камня или кости; не больше было и каменных секир, крепко державшихся на деревянных топорищах. Все суетились, стараясь иметь что-нибудь в руках для своей защиты. Лица и движения женщин выражали такую же решимость, такую же силу и воинственность, как и лица мужчин. Руки их также вооружились. Кому не достало оружия, тот выламывал шест из шатра. Крики не умолкали; но всего слышнее был в нем визг и рев детей. Их постоянно отгоняли назад, чтобы они не мешали. Но они продолжали лезть к отцам и матерям, цепляться за их голые ноги и только затрудняли их движения. Обращать на них внимание было некогда — и их просто отталкивали грубым толчком и ударом ноги.

Рев усиливался. Но до него ли? И большие стали кричать теперь так, что детских голосов не стало слышно.

Это был ответ на воинственный клич, донесшийся с гор. От передовых отрядов каравана отделилась толпа, которая направлялась, по-видимому, прямо к берегам. Пыль то и дело окутывала эту толпу. И всякий раз, как пыль отшатывалась в сторону, толпа казалась больше и многочисленнее прежнего, как будто она успевала вырасти в то время, как ее одевало пыльное облако.

Наконец на последнем склоне горы, где трава была слишком высока и влажна, пыль совершенно рассеялась, и можно было во всех подробностях рассмотреть приближающихся неприятелей. Это точно были неприятели. Они шли не из любопытства, не на поиск чего-нибудь, не в гости к приречным жителям. Все это были воины, и счетом их было, вероятно, не меньше, чем и ожидавших нападение их, за исключением разве женщин. Между нападающими женщины не было ни одной.

Приближающаяся толпа была разделена на три отряда. Во главе каждого из них были вожди, отличавшиеся от других и ростом, и убором, и вооружением. У них были наброшены на одно плечо клочки звериных шкур, будто взамену щитов, которых ни у кого не было. Лица и грудь вождей были исчерчены рубцами и узорами, и местами узоры эти ярко виднелись темными красками на оливковой их коже. В завязанных на макушке волосах торчали, развеваясь, длинные орлиные перья. В руке были длинные копья, которые отличались от копий остальной дружины не только длиною, но и такими же украшениями из перьев в том месте, где насажено на древко деревянное острие.

Войско, следовавшее за этими предводителями, было как будто несколько темнокожее их. Все оно было также вооружено копьями; но ни у кого не развевалось перьев на голове, ни у кого не было узоров на лице и на остальном теле. Все были они обнажены, и только низ живота и бедры были прикрыты у них, так же, как и у вождей, повязками из звериных кож или же из какой-то грубой ткани. Кроме копья, у каждого были намотаны на руку ремни и веревки.

Жители речного берега становились в плотную кучу, ожидая приступа. Они с большим усилием вогнали в средину своей толпы детей, и толпа образовала вокруг них что-то вроде тесного и плотного каре.

И в неправильных рядах подступающего неприятеля, и в толпе осаждаемых шел смутный говор; но ни с той, ни с другой стороны не слышно было ни криков команды, ни распоряжений. Только визг детей делал шумным стан на берегу. Толпа следила, не сводя глаз, за движением неприятелей. Вот им остается только спуститься с этого крутого обрыва горы, и по этой ровной покатости, идущей к самому берегу, они кинутся в атаку.

Вот они и спустились с обрыва; вот приостановились на минуту, будто с тем, чтобы установить между собою боевой порядок. Три отряда, каждый с вождем во главе, расположились рядом. Почти в одно время вожди подняли вверх свои копья, и по всем трем отрядам загремел оглушительный военный крик. В этом крике, от которого далеко убегал в страхе каждый лесной зверь, в этом крике смешивались, кажется, все дикие звуки, какие только способна издать человеческая грудь и человеческая гортань. Одного такого крика было довольно, чтобы отуманить голову, чтобы опьянить каждого его участника жаждою крови. Копья приняли горизонтальное направление во всех руках. Строй ощетинился, как спина дикобраза; и вслед за вождями, гордо размахивавшими своими изукрашенными копьями над головой, все быстрым бегом двинулись на неприятеля. Крик и вопль их беспрестанно возобновлялся.

Каре угрожаемых нападением всколебалось. На военный крик с горы отвечал такой же крик и отсюда, но гораздо слабее и нестройнее. Враги могли слышать по этому крику, что этот кричащий народ непривычен к войне, что это не столько крик вызова или согласия на вызов, сколько крик опасения, страха. Но глаза и у этих людей горели кровью. Они готовились защищать свою жизнь, свое право дышать, свое право ступать ногою по земле. Предводители их тоже выступили вперед и, будто подражая вождям неприятельского войска, начали размахивать над своими головами своими дубинами и дротиками.

Неприятели уже не дальше как во ста шагах. Топот их ног отдался страхом во всех ушах. Опять страшный, дикий, оглушительный крик. По бокам вождей явились по нескольку воинов из строя.

Каре не устояло. Оно заколебалось, и вся толпа, сваливая в беге детей и запинаясь за них, с отчаянным и яростным воплем кинулась навстречу подступающему неприятелю. Напрасно люди, к которым прибегали за советом до

нападения, кричали стоять на месте. Их самих увлек вперед народный поток. Несколько топоров со свистом ворвалось в их плотную массу. Трое или четверо упали.

Но глаза неприятелей смотрели уже прямо в глаза им, щетина копий врезалась в толпу — и все смешалось в пыли, в воплях и криках, в глухом стуке оружий. Как один клуб, сцепились все. Чаще всего мелькали высоко над этою сцепившеюся массой орлиные перья на головах вождей. Они с быстротою молнии являлись то тут, то там. Скрежет, вопли, треск сломанных оружий обозначали их дорогу. Неприятели оцепили со всех сторон осажденных,— копья и топоры их работали без устали. Могли ль против них устоять эти дубины, эти жалкие дротики, ломкие, как тростник. Битва шла и между теми, кто стоял на ногах, и между теми, кто влачился уже на земле, в лужах крови. Женщины, у которых было выбито из рук оружие, обвивались руками, как змеи, вкруг членов врага, вцеплялись зубами в их тело, пока не падали под ударом топора с раздробленною головой. Иные просили пощады, валяясь в грязи и крови, и в ответ падал на их голову удар копья или секиры. Только в самом начале битвы пало несколько человек из среды нападающих; но их было вдвое больше, и оружие их было вдвое лучше. Им было нетрудно задушить слабейшего неприятеля. Они сразу отрезали ему всякое отступление. Да и зачем побежал бы он? Чтоб быть тотчас же настигнутым и свалиться окровавленным и бездыханным трупом точно так же, как свалился теперь, не пытаясь бежать из ожесточенной свалки. В несколько минут судьба сражения была решена. Это было уже не сражение, а бойня. Неприятели с яростными криками дробили головы безоружным и прикалывали копьями тех, у кого доставало силы приподняться с земли. Когда всякому был уже виден перевес сил, женщин перестали бить, кроме лишь некоторых, мстительная ярость которых доходила до исступления и которые сами рвались грудью на острие копья.

Вожди выпрямились посреди свалки, высоко подняли свои копья и крикнули своим дружинам прекратить битву. В ответ им раздался такой же дикий крик, каким началась битва; но в этом крике было уже не столько воинственной ярости, сколько довольства успешно конченным делом, торжества победы.

— Вяжи женщин!

И все смотали веревки и ремни со своих рук и при жен-

ском визге принялись вязать всех женщин, которые остались в живых, сваливая их в кровавые лужи и нажимая в грудь коленом.

— Добивай раненых!

Связанных женщин оттащили прочь; кучей согнали к ним детей; и когда толпа победителей отшатнулась немного от места побоища, оно представляло одну кровавую настилку разбитых тел, проломленных голов, и смешанная с землей кровь чернела везде запекшимися лужами. Раненые стонали, хрипели, выли; некоторые, изгибаясь от боли, грызли себе руки. Они недолго ждали себе конца. При малейшем движении посреди этих куч победители кидались к тому, у кого еще была сила пошевелиться, и добивали его. Кому мало было одного удара, на того падало их несколько, до тех пор пока он не переставал хрипеть. Ни одного мужчины не осталось в живых.

Своих убитых и раненых победители оттащили прочь и положили отдельно.

Каждый из вождей вытащил из груды мертвых тел по мужскому трупу. С криками торжественного привета остальные воины отступили прочь и стали в порядке, окружив пленных женщин и детей. Вожди отерли кровавый пот со своих пестрых лиц и положили три вытащенных ими трупа на пригорке перед дружиной. Дружина стояла в молчании, будто благоговейно ожидала совершения какого-то религиозного таинства.

Каждый из вождей вынул по ножу из-за своего пояса, и почти все трое разом распороли грудь мертвым. Каждый вырвал из теплой еще груди врага его сердце и поднял в руке, показывая войску. Сердце в руке одного из вождей вздрагивало,— и громкий клик войска сменил безмолвное ожидание.

В присутствии своих воинов вожди съели кровавые сердца врагов.

Оставаться дольше на месте битвы нечего. Эти враги были так бедны, что после них нечем поживиться. Можно разве собрать осколки их скудного оружия. А больше у них нет ничего. Шалаши их построены из древесной коры, из листьев; в шалашах этих нет никаких запасов. Они жили изо дня в день тем, что пошлет случай или счастье.

Вся добыча заключается в этих женщинах, в этих детях. И победители знают уже, что эта добыча для них ценнее всего остального. Уже не в первый раз они приводят плен-

ных из битвы с соседним племенем. Еще не случалось им одерживать победы такой полной, еще никогда не забирали они в свои руки стольких женщин и детей; но это все-таки не первый опыт.

В первой стычке они взяли в плен нескольких мужчин; но они не оставили их в живых. Это были враги в их среде: можно ли было терпеть их? И их убили. Так повторялось и при каждой новой войне. Женщин и детей они щадили, как более слабых, и делили их между собой,— и в их кочевом обществе создалось первое прочное основание рабства.

Рабство было и до тех пор; но рабами были только женщины — жены, дочери, — жены рабами вечными, дочери рабами до замужества, то есть до нового и более сурового рабства. Рабами отцов были и сыновья; но только до совершеннолетия. Детям пленным не было положено такого предела. Из них образовалось сословие рабов, не связанное никакими родственными узами с своими господами.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сказки

КОТ И ПЕТУШОК

Жили-были кот с петушком, жили ладно, дружно, одному без другого еда не еда, радость не радость. Петушок кота, как отца, почитал; кот петушка, словно сына, любил.

Пошел однажды кот на охоту и говорит петушку:

— Смотри ты, петушок! в окошко не выглядывай, головки не высовывай: поселилась тут в лесу лиса-курятница — как раз утащит.

Только ушел кот, а лиса и тут: спроведала, что старшо́ва дома нет. Стала под окошко, да и говорит тоненьким голоском, ласково так:

— Петушок, петушок, золотой гребешок, ма́сляна головка, сметанный лобок! выгляни в окошко, дам тебе кашки на красной ложке!

«Кто это,— думает петушок,— меня так ласково зовет? Дай-ка посмотрю».

Забыл совсем, что ему кот говорил, и выгля́нул в окошко.

А лиса только того и ждала, схватила петушка и потащила к себе.

Стал петушок громко кликать:

— Котинька! котик! несет меня лиса во дремучие леса, за широкие долы, за высокие горы, за быстрые реки.

Услыхал кот, побежал к петушку на выручку. Отнял его у лисы.

— Эх,— говорит,— не послушался ты меня, петушок... быть бы тебе лисой съедену, кабы я подальше зашел да тебя не услыхал.

Немного спустя собрался кот опять из дому, опять говорит петушку:

— Смотри ты, петушок! в окошко не выглядывай, головки не высовывай. Того и гляди опять лиса утащит.

Как ушел кот, лиса опять к петушку. Стала под окошком, говорит:

— Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна головка, сметанный лобок! пойдем на гуменце золотые яблочки катать.

Польстился петушок на золотые яблочки, забыл совсем, что ему кот говорил, выглянул в окошко.

Схватила его лиса и потащила к себе.

Стал петушок громко кликать:

— Котинька! котик! несет меня лиса во дремучие леса, за широкие долы, за высокие горы, за быстрые реки.

Услыхал кот, побежал петушку на выручку. Отнял его у лисы.

— Эх,— говорит,— не послушался ты меня, петушок... быть бы тебе лисой съедену, кабы я подальше зашел да тебя не услыхал.

Спустя немного собрался кот опять из дому и говорит петушку:

— Ну, смотри же ты, петушок! в окошко не выглядывай, головки не высовывай. Того и гляди лиса утащит. А я уйду теперь далеко; и будешь кричать — не услышу.

Как ушел кот, лиса опять к петушку. Стала под окошко, говорит:

— Петушок, петушок, золотой гребешок, ма́сляна головка, сметанный лобок! твои курочки на завалинке пшеничку клюют, тебя, петушка, зовут.

«Это уж не лиса меня зовет,— думает петушок,— можно выглянуть».

И выглянул. А лиса схватила его и понесла к себе.

Стал он кричать:

— Котинька! котик! несет меня лиса во дремучие леса, за широкие долы, за высокие горы, за быстрые реки.

Кричал он, кричал, а кота не докричался; и несла его лиса по горам да по долам и принесла его к себе в избушку, в темный лес.

Как воротился кот домой да увидал, что петушка нет, взяло его горе.

— Эх,— говорит,— петушок, петушок! сколько я наказывал тебе: «Не выглядывай в окошко!» Так нет — опять-таки не послушался. Вот и попался теперь лисе в зубы.

Надо мне тебя выручать идти. Хорошо еще, коль тебя лиса и с косточками не съела.

Пошел кот на базар, купил себе кафтан, красные сапожки, шапочку, сумку, саблю и гусельки, нарядился гусляром и приходит к лисьей избушке. Стал под окошком, на гуслях заиграл и запел:

Стрень-брень, гусельки,
Золотые струнушки!
За горами высокими,
За долами широкими,
За реками быстрыми,
Во лесу дремучиим,
Там жила-была лиса
Во своем златом гнезде.
У лисы четыре дочери:
Одна-то дочь — Чучелка...

Было дело на масленице, лиса блины пекла. Услыхала она песню.

— Ах,— говорит,— гусляр прохожий! Да как складно поет! Поди-ка, Чучелка, вынеси ему блинок.

Понесла Чучелка коту блинок. Он блин-то в рот, а ее саблей в бок — да в сумку.

А сам опять на гуслях заиграл, опять запел:

Стрень-брень, гусельки,
Золотые струнушки!
За горами высокими,
За долами широкими,
За реками быстрыми,
Во лесу дремучиим,
Там жила-была лиса
Во своем златом гнезде.
У лисы четыре дочери:
Одна-то дочь — Чучелка,
Другая — Пачучелка...

— Ах,— говорит лиса,— в жизнь мою этакого гусляра не слыхивала! Поди-ка, Пачучелка, вынеси ему еще блинок.

Понесла Пачучелка коту блинок. Он блин-то в рот, а ее саблей в бок — да в сумку.

А сам опять на гуслях заиграл, опять запел:

Стрень-брень, гусельки,
Золотые струнушки!
За горами высокими,
За долами широкими,
За реками быстрыми,
Во лесу дремучиим,

Там жила-была лиса
Во своем златом гнезде.
У лисы четыре дочери:
Одна-то дочь — Чучелка,
Другая — Пачучелка,
А третья — Подай-Челнок...

— Ах,— говорит лиса,— и тебя, Подай-Челнок, поминает! Поди-ка и ты вынеси ему блинок.

Пошла Подай-Челнок, понесла коту блинок. Он блин-то в рот, а ее саблей в бок — да в сумку.

А сам опять на гуслях заиграл, опять запел:

Стрень-брень, гусельки,
Золотые струнушки!
За горами высокими,
За долами широкими,
За реками быстрыми,
Во лесу дремучиим,
Там жила-была лиса
Во своем златом гнезде.
У лисы четыре дочери:
Одна-то дочь — Чучелка,
Другая — Пачучелка,
А третья — Подай-Челнок,
А четверта — Подмети-Шесток.

— Вот уж гусляр так гусляр,— говорит лиса,— знает, как хозяев чествовать! Надо ему еще блинок дать. Поди-ка, Подмети-Шесток, вынеси.

Пошла Подмети-Шесток, понесла коту блинок.

Он блин-то в рот, а ее саблей в бок — да в сумку.

Подождала-подождала лиса... гусляр петь перестал, а нейдут в избу ни Чучелка, ни Пачучелка, ни Подай-Челнок, ни Подмети-Шесток... Говорит она петушку:

— Петушок, петушок, поди-ка кликни их: что они там баклушничают.

Как вышел петушок да увидал кота, уж и рот было раскрыл, хотел на радостях «кукареку!» закричать; да кот ему не дал крикнуть.

— Беги,— говорит,— скорей от беды домой!

И пустился петушок, сколько было духу, по горам да по долам к своему старому жилью.

Положил кот гусельки в сторону, приободрился, приосанился, пошел сам к лисе в избушку.

Идет да поет:

Идет кот на ногах,
В красныих сапогах,
Несет саблю на плече,

А сумочку при бедре,
Хочет лису порубить,
Ее душу загубить.

Как заслышала лиса эту песню, метнулась было туда-сюда, да как раз и попалась коту навстречу. Как рубнул он ее сабелькой по голове — она и не визгнула.

Воротился кот домой, а петушок уж давно там.

— Вот,— говорит кот,— кабы слушался ты меня, петушок, не было бы тебе никакого горя... Польстился на лисьи увертки: хорошо еще, что не зажарила тебя да не съела.

Петушок крыльями захлопал, кричит:

— Кукареку! не буду... кукареку! не буду...

И стали они опять жить по-прежнему — ладно и дружно.

ДУМЫ

Выкопал мужик яму в лесу, прикрыл ее хворостом: не попадется ли какого зверя.

Бежала лесом лисица. Загляделась по верхам — бух в яму!

Летел журавль. Спустился корму поискать, завязил ноги в хворосте; стал выбиваться — бух в яму!

И лисе горе, и журавлю горе. Не знают, что делать, как из ямы выбраться.

Лиса из угла в угол мечется — пыль по яме столбом; а журавль одну ногу поджал — и ни с места, и все перед собой землю клюет, все перед собой землю клюет. Думают оба, как бы беде помочь.

Лиса побегает, побегает, да и скажет:

— У меня тысяча, тысяча, тысяча думушек!

Журавль поклюет, поклюет, да и скажет:

— А у меня одна дума!

И опять примутся — лиса бегать, а журавль клевать. «Экой,— думает лиса,— глупый этот журавль! что он все землю клюет? Того и не знает, что земля толстая и насквозь ее не проклюешь».

А сама все кружит по яме да говорит:

— У меня тысяча, тысяча, тысяча думушек!

А журавль все перед собой клюет да говорит:

— А у меня одна дума!

Пошел мужик посмотреть, не попалось ли кого в яму.

Как заслышала лиса, что идут, принялась еще пуще из угла в угол метаться и все только и говорит:

— У меня тысяча, тысяча, тысяча думушек!

А журавль совсем смолк и клевать перестал.

Глядит лиса — свалился он, ножки протянул и не дышит. Умер с перепугу, сердечный!

Приподнял мужик хворост; видит — попались в яму лиса да журавль: лиса юлит по яме, а журавль лежит, не шелохнется.

— Ах ты!— говорит мужик,— подлая лисица! Заела ты у меня этакую птицу!

Вытащил журавля за ноги из ямы; пощупал его — совсем еще теплый журавль; еще пуще стал лису бранить.

А лиса-то бегает по яме, не знает, за какую думушку ей ухватиться: тысяча, тысяча, тысяча думушек!

— Погоди ж ты!— говорит мужик,— я тебе помну бока за журавля!

Положил птицу подле ямы — да к лисе.

Только что он отвернулся, журавль как расправит крылья да как закричит:

— У меня одна дума была!

Только его и видели.

А лиса со своей тысячью, тысячью, тысячью думушек попала на воротник к шубе.

ДВА МОРОЗА

Гуляли по чистому полю два Мороза, два родные брата, с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали.

Говорит один Мороз другому:

— Братец Мороз Багровый нос! как бы нам позабавиться — людей поморозить?

Отвечает ему другой:

— Братец Мороз Синий нос! коль людей морозить — не по чистому нам полю гулять. Поле все снегом занесло, все проезжие дороги замело; никто не пройдет, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору! Там хоть и меньше простору, да зато забавы будет больше. Все нет-нет, да кто-нибудь и встретится по дороге.

Сказано — сделано. Побежали два Мороза, два родные брата, в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся: с ноги на ногу попрыгивают; по елкам, по сосенкам пощелкивают. Старый ельник трещит, молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому ль снегу пробегут — кора ледяная; былинка ль из-под снегу выглядывает — дунут, словно бисером ее всю унижут.

Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик: с колокольчиком барин едет, с бубенчиком — мужичок. Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бежать, кому кого морозить.

Мороз Синий нос, как был помоложе, говорит:

— Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорее дойму: полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, ничего. Он же никак дрова рубить едет... А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нем шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Где уж мне с ним! не совладаю.

Мороз Багровый нос только подсмеивается.

— Молод еще ты,— говорит,— братец!.. Ну, да уж быть по-твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдемся под вечер, узнаем, кому была легка работа, кому тяжела. Прощай покаместь!

— Прощай, братец!

Свистнули, щелкнули, побежали.

Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. Спрашивают друг друга:

— Что?

— То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то,— говорит младший,— а толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять!

Старший посмеивается себе.

— Эх,— говорит,— братец Мороз Синий нос, молод ты и прост. Я его так уважил, что он час будет греться, не отогреется.

— А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?

— Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги да как зачал знобить!.. Он-то ежится, он-то жмется да кутается; думает: дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь, авось меня тут мороз не одолеет. Ан не тут-то было! Мне-то это и с руки. Как принялся я за него — чуть живого в городе из повозки выпустил. Ну, а ты что со своим мужичком сделал?

— Эх, братец Мороз Багровый нос! плохую ты со мной шутку сшутил, что вовремя не образумил. Думал — заморожу мужика, а вышло, он же отломал мне бока.

— Как так?

— Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Дорогой начал было я его пронимать; только он все не робеет— еще ругается: такой, говорит, сякой этот мороз. Совсем даже обидно стало; принялся я его пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю: «Тут мне сломить его». Забрался к нему под полушубок, давай его язвить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу: плохо — не усидеть мне под полушубком. Под конец инда пар от него повалил. Я прочь поскорее. Думаю: «Как быть?» А мужик все работает да работает. Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу — скидает с себя полушубок. Обрадовался я. «Погоди же, говорю, вот я тебе покажу себя». Полушубок

весь мокрехонек. Я в него — забрался везде, заморозил так, что он стал лубок лубком. Надевай-ка теперь, попробуй! Как покончил мужик свое дело да подошел к полушубку, у меня и сердце взыграло: то-то потешусь! Посмотрел мужик и принялся меня ругать — все слова перебрал, что нет их хуже. «Ругайся!— думаю я себе,— ругайся! А меня все не выживешь!» Так он бранью не удовольствовался. Выбрал полено подлиннее да посучковатее да как примется по полушубку бить. По полушубку бьет, а меня все ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти-то завяз — выбраться не могу. А он-то колотит, он-то колотит! Насилу я ушел. Думал, костей не соберу. До сих пор бока ноют. Закаялся я мужиков морозить.

— То-то!

ВОЛГА И ВАЗУЗА

Большая река Волга, которую русский народ зовет и матушкой и кормилицей, и малая речка Вазуза, про которую знают только в тех местах, где она протекает, вышли из земли по соседству одна с другой малыми ручьями и заспорили, кто из них будет больше, кто сильнее, кому будет почет и старшинство. Спорили-спорили, да как друг дружку не переспорили, так и решили на том, чтобы лечь им вместе спать, и которая раньше встанет да прежде прибежит к Хвалынскому морю, та и больше и сильнее, той и почет и старшинство.

Легла Волга спать; легла и Вазуза. Волга заснула, а Вазуза не спит; думает, как бы ей Волгу обогнать. Поднялась она ночью потихоньку, выбрала дорогу попрямее да поближе и шибко-шибко пустилась с гор по долам к морю Хвалынскому.

Проснулась Волга на заре и пошла себе ни тихо, ни скоро, а средним ходом. Нечего было ей днем ни плутать, ни мест выбирать, и догнала она Вазузу у города Зубцова и грозно на нее напустилась за ее обман. Много Вазуза за ночь пути пробежала, немало ей было труда себе дорогу торить, изустала она, измучилась, да как увидала Волгу, что та и полна, и широка, и силы в ней много, испугалась, притихла, назвалась меньшой ее сестрой и стала просить: «Прими меня, Волга, к себе на руки, снеси меня в синё море!

Не попомнила Волга зла, взяла Вазузу и понесла ее в глубокое море Хвалынское, только с тем уговором, чтобы бессонная Вазуза по веснам ее раньше будила.

И держит Вазуза уговор крепко и верно: Волга еще спит, а она уж пробуждается от тяжелого зимнего сна и бежит к старшей сестре и зовет: «Вставай, Волга! пора!»

ТРОЕ ДОРОЖНЫХ

Собрались в путь-дорогу три приятеля: Пузырь, Соломинка да Лапоть. Вздумалось им на свет посмотреть и себя показать.

Приходят они к реке и стали; не знают, как через реку переправиться.

Говорит Лапоть:

— Перевези нас, Пузырь, на себе!

А Пузырь говорит:

— Нет, лучше пускай Соломинка через реку перетянется, с берега на берег; а ты да я перейдем по ней, как по мосту.

— Ладно!

Легла Соломинка поперек реки. Пошел по ней Лапоть; она и подломилась. Лапоть упал в воду и утонул. А Пузырь над ними хохотал-хохотал — да и лопнул.

ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БДЧ — журнал «Библиотека для чтения».

ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

Д — журнал «Дело».

Добролюбов, ПСС — Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в 6 томах, М. 1934—1941.

ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), Ленинград.

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Москва.

М — журнал «Москвитянин».

ОЗ — журнал «Отечественные записки».

РС — журнал «Русское слово».

С — журнал «Современник».

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, Москва.

Чернышевский, ПСС — Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в 15 томах, М. 1939—1950.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Поэт-революционер, талантливый переводчик, публицист, произведший «в русских умах землетрясение» своими знаменитыми статьями о женской эмансипации (см. Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 104), Михайлов мало известен современному читателю как беллетрист.

А между тем проза Михайлова не утратила своей познавательной и художественной ценности в наши дни. Почитатель Белинского, Михайлов-беллетрист, тесно связанный с гоголевским направлением русской литературы, принадлежит к числу писателей-демократов 50—60-х годов, способствовавших утверждению реализма в русской литературе. Среди писателей того времени, описывавших нравы, обычаи, быт и настроения различных сословий России, Михайлов занимал видное место. «У нас есть писатели, которые много успели подметить в быту русского мужика; многие успели верно изобразить перед нами русского купца; но кружка мещанского никто так хорошо не коснулся, как г. Михайлов»,— отмечали современники (*ОЗ*, 1853, № 1, отд. IV, стр. 20).

Лучшие произведения Михайлова проникнуты присущим ему лиризмом, иронией, мягким добродушным юмором.

Наследие Михайлова-беллетриста обширно и разнообразно по жанрам и тематике. Михайлов выступил как беллетрист в 40-е годы. Первыми его прозаическими произведениями, появившимися одновременно со стихотворениями, были физиологические очерки — жанр, характерный для писателей-реалистов 40-х годов. В 50-е годы Михайлов-прозаик был популярен как бытописатель провинции. В произведениях Михайлова 60-х годов, особенно в тех, которые были созданы в ссылке, появляются образы и темы, тесно связывающие Михайлова как беллетриста с революционно-демократическим направлением русской литературы.

Из беллетристического наследия Михайлова до нас дошли физиологические очерки, очерки из деревенского быта, рассказы, повести, романы.

Произведения Михайлова печатались на страницах «Библиотеки для чтения», «Пантеона», «Москвитянина», «Отечественных записок», «Современника», «Русского слова», «Русского вестника», «Народного чтения». После смерти поэта, в 70-е годы, произведения его, написанные в ссылке, печатались на страницах журнала «Дело». Наряду с повестями и рассказами Тургенева, Л. Толстого, Григоровича, Панаева, Писемского произведения Михайлова печатались в сборнике «Для легкого чтения», редактором которого был Некрасов.

При жизни Михайлова был переиздан отдельно в 1854 году очерк из деревенского быта «Святки», опубликованный впервые в *ОЗ* в 1853 году, и в приложении к журналу «Русское слово» был издан в 1859—1860 годах в двух томах сборник «В провинции», куда вошли произведения, публиковавшиеся в различных журналах.

Среди современников Михайлов был широко известен как автор вошедших в настоящее издание повести «Адам Адамыч» (*М*,1851) и романа «Перелетные птицы» (*ОЗ*, 1854), в которых наиболее ярко проявилось художественное мастерство и своеобразие Михайлова-беллетриста, выделявшегося среди писателей 50-х годов наибольшей близостью Тургеневу.

Среди читателей 50-х годов была популярна повесть «Кружевница», первое произведение Михайлова, появившееся на страницах «Современника» (1852), вызвавшее такие же нападки сторонников «чистого искусства», как и повесть «Адам Адамыч» и другие ранние произведения Михайлова о провинции. Критики «Москвитянина» неодобрительно отзывались о многих произведениях Михайлова, видя в нем последователя гоголевской школы. Так, по поводу «Кружевницы» один из критиков этого журнала упрекал Михайлова в привычке «свободно относиться к литературе, нести в нее все, что только увидишь на улице, во имя естественности и верности действительности» (*М*, 1852, июнь, кн. 1, отд. V, стр. 137).

Тема «Кружевницы» — судьба бедной девушки, обманутой барином,— была не нова в беллетристике того времени. Критиков «Москвитянина» и цензоров, нашедших произведение безнравственным (см. В. Е в г е н ь е в - М а к с и м о в, «Современник» в 40—50 гг., Л. 1934, стр. 267), беспокоили более всего демократические тенденции этой повести об уездной кружевнице, которые в дальнейшем еще ярче проявятся в рассказе Михайлова «Голубые глазки» (1855), повествующем о печальной судьбе петербургской швеи, ослепшей от непосильного труда.

Эти повести, как и другие, менее значительные по своему художественному своеобразию и не вошедшие в настоящее издание произведения

Михайлова о провинции, в свое время сыграли определенную роль в борьбе за становление реализма и утверждение гуманистических тенденций в русской литературе. Михайлов с глубоким сочувствием рассказывает о трагической судьбе талантливого музыканта одного из уездных городишек («Скрипач», 1853). Теплотой и искренностью проникнуты произведения Михайлова о простых людях далеких уголков России («Уленька», *БДЧ*, 1857; «Стрижовые норы», *ОЗ*, 1855).

В то же время среди произведений Михайлова о провинции немалое место занимают повести и рассказы, в которых Михайлов высмеивает пошлость и мещанскую ограниченность обывателей провинции. Наиболее характерен в этом отношении рассказ «Он. Дневник уездной барышни» (*М*, 1851).

Наряду с разоблачением пошлости и тунеядства провинциального чиновничества и дворянства (романы «Марья Ивановна», «Благодетели») Михайлов создает в произведениях о провинции образы молодых разночинцев, возвышающихся над уровнем этой среды (герой романа «Марья Ивановна»), ищущих полезной деятельности, «важного дела» («Изгоев», 1855).

Герой повести «Изгоев» — учитель, чувствует себя чужим в дворянской усадьбе. Это произведение Михайлова явилось одной из первых попыток в русской литературе раскрыть взаимоотношения между разночинцами и дворянами. В повести ставится вопрос о необходимости преодоления интеллигенцией безволия и созерцательности, намечен образ интеллигента нового типа, сумевшего преодолеть вертеризм: «Сердце мое полно любви, но уже не той болезненной любви, которая чуть не приготовила мне судьбы Вертера... Нет, я хочу жить и эту любовь, так глубоко охватившую меня, перенести с одного утраченного мною существа *на все, что просит любви и деятельного сердечного участия*». Эти строки, появившиеся во второй редакции повести в 1860 году, наряду с замечанием автора о том, что герой «духом бодр, как, кажется, никогда не был», знаменательны для характеристики настроений передовой русской интеллигенции в эпоху 60-х годов и мировоззрения самого Михайлова.

В беллетристике 50-х годов значительное место занимал вопрос о положении женщины в обществе. Виновата ли она в том, как складывается ее судьба в обществе, в том, что воспитание подавляет в ней стремление к самостоятельности и независимости, — этот вопрос, волновавший многих писателей того времени, затрагивает Михайлов впервые в повести «Изгоев», разрабатывает в рассказе «Вольная пташка» (*С*, 1858) и дошедшем до нас отрывке романа «Тепличная жизнь». Знаменитый в 60-х годах поборник женского равноправия, Михайлов еще в беллетристике 50-х годов создает образы одаренных, мыслящих женщин (например, Ольга в романе «Перелетные птицы»).

Как и многие писатели 60-х годов, Михайлов обращался в своей беллетристике к изображению крестьянской жизни. Но в ранних рассказах его, посвященных этой теме, не было того глубокого знания действительности, которым отличались произведения Михайлова о провинции. Написанные им в 1855 году рассказы «Ау!», «Африкан» были справедливо признаны Добролюбовым неудачными. В них, как и во многих крестьянских рассказах тех лет, смягчался «грубый колорит крестьянской жизни», не было понимания «внутреннего смысла и строя всей крестьянской жизни, особого склада мысли простолюдина, особенности его миросозерцания» («Повести и рассказы» С. Т. Славутинского», *Добролюбов*, *ПСС*, т. 2, стр. 542, 544).

Позднее, в предреформенные годы, Михайлов создает повесть о судьбе крепостного крестьянина, пытавшегося выкупиться на волю и грубо обманутого своими хозяевами («Былое», 1858). Редактор «Русского вестника» М. Н. Катков не решился поместить ее в своем журнале (она была опубликована впервые лишь в 1868 г. в *Д*), считая, что «задето в ней много, а, к сожалению, целое вышло очень неясно...» (письмо М. Н. Каткова М. Л. Михайлову от 2 июня 1858 г., *Ц ГАЛИ*, ф. 1111, ед. хр. 20).

Из произведений Михайлова о народе, написанных в те же годы, большой интерес представляет включенный в настоящее издание рассказ «Шелковый платок», напечатанный в журнале «Народное чтение», ставившем себе целью «способствовать развитию образования в многочисленном классе народа русского». Рассказ написан настоящим народным языком, с теплотой и сочувствием рассказывается в нем о переживаниях молодой крестьянки. Поэтические образы женщин из народа созданы Михайловым и в других произведениях («Кормилица», «Уленька», «Стрижовые норы» и др.).

Особое место в беллетристике Михайлова среди его рассказов и очерков о людях из народа занимают вошедшие в настоящее издание «Сибирские очерки» и рассказ «Зеленые глазки». Они написаны Михайловым во время пребывания его в Тобольской тюрьме и в Кадае. В этих произведениях, проникнутых глубоким гуманизмом, Михайлов показывает, что причиной преступлений людей из народа, попавших на каторгу, часто является беспросветная нужда, произвол помещиков и чиновников.

«Сибирские очерки» и примыкающий к ним рассказ «Зеленые глазки» существенно отличаются от ранних рассказов Михайлова о деревне, в которых выступали робкие и покорные крестьяне. Так, в «Зеленых глазках» рассказывается о расправе крепостных с ненавистным им управляющим. Подобный случай будет описан позднее Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо» («Савелий богатырь святорусский»).

«Сибирские очерки» выделяются в беллетристике Михайлова и своим художественным своеобразием. Наряду с художественным повествова-

нием о конкретных событиях в них большое место занимает публицистический элемент. Это особенно характерно для очерка «Кукушка», перекликающегося с созданными позднее Короленко рассказами о бродягах (напр. «Соколинец»).

В те же годы, когда создавались «Сибирские очерки», Михайлов работал над романом о новых людях, начало которого было опубликовано в 1870 году друзьями поэта в «Дело» (продолжение было запрещено цензурой — см. *ЦГИАЛ*, ф. 777). Герои романа «Вместе» — представители передовой интеллигенции. Среди них находится возвратившийся из ссылки декабрист, участник польского восстания 1830 года.

Так же, как и романы Чернышевского «Что делать?» и «Пролог», роман Михайлова пронизан предчувствием решительных боев: «...я надеялся недаром,— говорит один из героев романа, декабрист,—я знал, что не к мертвой нации принадлежу. Она должна же была тронуться. Посмотрите-ка на народ, на молодежь,— это уже не то, что было в нашу пору...» (*Д*, 1870, № 1, стр. 24).

Вместе с мужчинами в предстоящей полной опасностей борьбе готовы участвовать и женщины. Любовь неразрывно связана с революционной борьбой. Страницы романа, посвященные этой теме, перекликаются с созданными Михайловым тогда же лирическими стихотворениями «Зарею обновленья...», «Долиной пышной шли мы рядом...» (см. том I наст. изд.).

Встречающиеся в лирике Михайлова и в повести «Изгоев» традиционные для демократической литературы того времени аллегорические образы путников, грозного моря и бури повторяются и в этом романе.

Несомненный интерес представляют написанные Михайловым в ссылке очерки «За пределами истории», являющиеся одной из первых в мировой литературе попыток изображения жизни первобытного человека. Михайлов использовал в работе над ними новейшие исследования своего времени в этой области, появившиеся в 1863 и 1864 годах. В очерках «За пределами истории» Михайлов выступает как сторонник и пропагандист материалистических взглядов на происхождение человека.

В свое время пользовались успехом некоторые из пьес Михайлова. «Сцены», как обычно называл Михайлов свои пьесы («Нянюшка», «Кумушки», «Тетушка» и др.), написанные в традициях гоголевской школы, так же, как и прозаические произведения Михайлова, вызывали нападки противников гоголевского направления. Так, сцены из простонародного быта «Кумушки» были признаны ими слишком «смелым явлением» в русской литературе (*М*, 1852, декабрь, кн. 2, отд. V, стр. 101). «Кумушки» были поставлены известным актером И. Ф. Горбуновым на сцене Александринского театра. В стиле натуральной школы было написано Михайловым также и либретто комической оперы А. Рубин-

штейна «Фомка дурачок» (1853). Текст либретто не сохранился, о нем известно из воспоминаний знакомого Михайлова (см. «Записки М. П. Веселовского. 1828—1882», гл. V, *ГПБ*).

Большой популярностью среди революционно настроенной интеллигенции пользовалась одна из ранних комедий Михайлова — «Тетушка», в которой Н. Г. Чернышевский находил следы «вольтеровского» (*Чернышевский*, *ПСС*, т. XIV, стр. 209). Комедия, осуждавшая крепостническую действительность, произвол и тунеядство правящих классов и церкви, распространялась в списках наряду с «Письмом Белинского к Гоголю» и статьями Герцена (в *ИРЛИ* находится список «Тетушки» в «Сборнике рукописных прозаических и поэтических произведений, составленном Михайлованым, ч. I, Москва 1856 г.», из собрания М. И. Семевского), читалась на вечерах у известного педагога и журналиста И. Введенского, где собирались демократически настроенные литераторы, педагоги, студенты, заучивалась наизусть (см. *Чернышевский*, *ПСС*, т. XIV, стр. 214). Только через десять лет, в 1860 году, в смягченной редакции Михайлов мог напечатать «Тетушку» в *РС*.

Однако пьесы Михайлова не занимают видного места в русской драматургии середины XIX века. В них нет больших типических характеров, они не отличаются стройностью композиции. По своему языку и приемам описания быта мещанства и чиновничества сцены Михайлова близки к физиологическим очеркам.

Впервые включены в настоящее издание сочинений Михайлова обработанные им русские народные сказки.

Михайлов проявлял глубокий интерес к народному творчеству, произведения которого собирал в течение всей своей жизни. Первые физиологические очерки были написаны им на материале уральских легенд («Вогул», «Казак Трофим»). В *ИРЛИ* сохранились обработанные Михайловым в юности татарские легенды, не пропущенные цензурой к печати. Собиранием народных песен, пословиц и поговорок Михайлов занимался в Нижнем-Новгороде, где близко познакомился с В. И. Далем и П. И. Мельниковым-Печерским. Михайлов писал Зотову 8 сентября 1848 года из Нижнего-Новгорода: «Хотел послать вам с этим письмом десятка три простонародных загадок, собранных мною здесь,— да все такие либеральные. Цензура таких вещей не любит» (*ИРЛИ*, ф. 93, оп. 2). По свидетельству современников, Михайловым было собрано множество башкирских песен и сказок во время литературно-этнографической командировки. Сказки, пословицы и поговорки он широко использовал в своих повестях и рассказах.

Михайлов много работал над своими произведениями. Так, подготавливая сборник «В провинции», он сделал многочисленные исправления в отобранных для него повестях, рассказах, романе.

Издание повестей, рассказов и романов о провинции было задумано Михайловым еще в 1857 году, о чем он сообщал Н. В. Гербелю (см. письмо к нему от 18 октября 1857 г., *ГПБ*). Подготовка его началась в 1859 году, когда Михайлов находился за границей, и письма его к Полонскому, сотрудничавшему в то время в журнале «Русское слово», приложением к которому должен был быть издан сборник, полны беспокойства о том, что Полонский напечатает произведения без его просмотра: «...я непременно желаю пересмотреть рассказы. Они написаны давно, и нельзя их печатать в таком виде, как они есть. Если ты не хочешь ждать меня, то ради дружбы умоляю тебя прислать их ко мне сюда»,— писал Михайлов (письмо Полонскому от 2 декабря ‹1859›, «Шестидесятые годы», М.—Л. 1940, стр. 448).

Работа Михайлова над изданием «В провинции» свидетельствует о высокой требовательности писателя к себе, о росте его художественного мастерства. Вошедшие в настоящее издание произведения Михайлова о провинции — повесть «Адам Адамыч» и роман «Перелетные птицы» — печатаются по этому последнему прижизненному изданию произведений Михайлова. Другие произведения Михайлова печатаются по первым журнальным публикациям.

АДАМ АДАМЫЧ

Печатается по изданию — Сочинения М. Л. Михайлова. В провинции. Часть I, СПБ 1859. Впервые — *М*, 1851, сентябрь, кн. 2, октябрь, кн. 1 и 2. В *ЛБ* хранится беловой неполный автограф (1850—1851).

Михайлов работал над повестью в годы службы в Нижнем-Новгороде. 1 августа 1850 года он читал первую главу повести Н. Г. Чернышевскому и А. Н. Пыпину, бывшим в Нижнем-Новгороде проездом из Саратова в Петербург (см. дневник А. Н. Пыпина, опубликованный в издании: Н. Г. Чернышевский, Дневник, ч. 2, М. 1932, стр. 289).

В письмах этого же года к Михайлову из Петербурга Чернышевский, сообщая ему о «бедности крайней в порядочных повестях», писал: «Присылайте Вашего «Адама Адамыча» — только бы он был цензурный...» (*Чернышевский*, *ПСС*, т. XIV, стр. 209, 212).

Но повесть была окончена в 1851 году, когда Чернышевского, хлопотавшего о напечатании произведений Михайлова, уже не было в Петербурге.

Михайлов предложил ее в «Москвитянин», где печатались его стихотворения. Во время приезда редактора журнала М. П. Погодина в Нижний-Новгород на одну из ярмарок В. И. Даль и П. И. Мельников позна-

комили с ним Михайлова («Записки М. П. Веселовского. 1828—1882», гл. IV, *ГПБ*). 10 июня 1851 года Михайлов писал Погодину:

«В настоящее время у меня готова довольно большая повесть, которую я желал бы... поместить в вашем... журнале» (письмо от 10 июня 1851 г.; Н. И. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XI, СПБ 1897, стр. 406). Повесть была принята Погодиным.

В сохранившейся неполной рукописи имеются поправки, сделанные М. П. Погодиным. Так, Погодин заменил всюду «экс-студента» — «экс-педагогом», а «университет» — «пансионом». Там, где речь идет об университете, рукою Погодина вставлено: «Читатели должны помнить, что это относится ко времени давно прошедшему».

Эти поправки были вызваны, по-видимому, тем, что в эти годы цензура, которою ведало Министерство просвещения, имела предписание не разрешать печати вообще касаться положения дел в университетах и правительственных учебных заведениях. Так, министр просвещения Уваров, пропустивший в 1849 году в «Современнике» хвалебную статью «О значении русских университетов», был вынужден уйти в отставку (см. «Исторические сведения о цензуре в России», СПБ 1862, стр. 56).

Подготавливая повесть для сборника «В провинции», Михайлов внес в текст ряд исправлений. Он восстановил «экс-студента», а замечание, вставленное рукою Погодина (см. выше), выбросил. Но все стилистические исправления, сделанные Погодиным при первой публикации, Михайлов авторизовал.

Еще при первом появлении «Адама Адамыча» в печати Михайлов писал М. П. Погодину: «Я сам более нежели кто-либо видел недостатки моего «Адама», но, написав его, исправить почти не мог. Нужно было бы больше половины писать снова и совсем изменить самый план. Мне в особенности не хотелось последнего, потому что, по моему мнению, характер главного лица не мог выказаться вполне при других, более мирных обстоятельствах» (письмо б. д., *ЛБ*). Но при подготовке текста в 1859 году для сборника Михайлов продолжил работу над образом Адама Адамыча, стремясь подчеркнуть его мягкость и добродушие. Изменениям подвергалась также речь обрусевшего немца. Михайлов усиливает в ней грамматические и синтаксические неправильности, вводит в нее новые иностранные слова. Так фраза: «Он нашел где-то в старых книгах русский перевод одного безнравственного романа и перевел оттуда такой пассаж» заменяется следующей: «Он нашел... русский перевод з один иморальний французский роман и переводил з него такой пассаж!»

Повесть Михайлова привлекла внимание критики. В оценке, данной «Адаму Адамычу», сказалась идейная борьба литературных направлений того времени. «Современником» «Адам Адамыч» был встречен как

«замечательная повесть», обнаружившая в авторе «дарование несомненное» (*С*, 1851, № 12, отд. 6, стр. 152—153). Резким нападкам подверглась повесть со стороны противников гоголевского направления. Дарование Михайлова «ударилось... в крайность, в копировку всех без разбора явлений действительности»,— писал критик «Москвитянина» А. Григорьев (*М*, 1852, февраль, кн. 1, отд. V, стр. 108).

На страницах того же журнала, критики которого часто расходились между собой по многим вопросам, появилась и другая оценка повести Михайлова. Автора «Адама Адамыча» сравнивали с художником-реалистом Федотовым, находя у них обоих умение владеть иронией и «заставить читателя смеяться над отрицательными сторонами жизни». Однако и в этой статье «Москвитянин» осуждал автора за то, что он «слишком резко наружу» выводит «недостатки и пороки общества» (*М*, 1851, ноябрь, кн. 1, отд. «Смесь», стр. 79).

Возможно, именно этим было вызвано обещание Михайлова Погодину писать в дальнейшем в «более умеренном тоне» (см. письмо М. Л. Михайлова М. П. Погодину, б. д., *ЛБ*). «Непристойной», «грязной» назвал повесть Михайлова и рекомендовавший его М. П. Погодину В. И. Даль (см. письмо В. И. Даля М. П. Погодину в: Н. И. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XI, 1897, стр. 406—407). Повесть смогла попасть на страницы «Москвитянина» потому, что Погодин изменил в это время свое отношение к произведениям гоголевского направления, с которым в 40-е годы вел ожесточенную борьбу. Помещая в «Москвитянине», незадолго до «Адама Адамыча», «сатирические сцены» Михайлова «Нянюшка», Погодин именно в примечании к ним, высказывая свое отношение к литературе тех лет, пишет, что уступает времени и современному искусству, которое обратилось от картин «идеальных» к сценам «житейским»: «...ныне авторы, как и живопись, обратились к жизни действительной, в ее уклонениях, болезнях, недостатках: господствует направление сатирическое...» (*М*, 1851, июль, кн. 1, отд. «Смесь», стр. 65).

Повесть Михайлова написана в традициях гоголевской школы. Михайлов рисует влияние среды на характер человека, большое внимание уделяет описанию обстановки, одежды, внешнего облика действующих лиц. В описании «достойного забубеньевского общества», собравшегося на «литературный вечер» к просвещенной чувствительной вдовице, заметно влияние «Мертвых душ» Гоголя.

«Адам Адамыч» принадлежит к тем произведениям русской литературы, о которых можно сказать словами Н. Г. Чернышевского, что они насквозь пропитаны запахом шинели Акакия Акакиевича (см. *Чернышевский*, *ПСС*, т. VII, стр. 859).

В «Адаме Адамыче» особенно ярко проявляется характерное для реалистов 40-х годов отношение к эпигонскому романтизму. Михайлов,

рассказывающий «только самые пустые события ежедневной будничной жизни», осмеивает «чувствительные романы чувствительных сочинителей», в которых «козни злодеев обнаруживаются, а добродетельные люди выбиваются из-под гнета бедственных обстоятельств и из сети коварных ухищрений порока», и те повести 30-х годов, в которых бушевали неистовые страсти («волканы любви»), описывались «неземные пери», слышалось «гармоническое бряцание шпор и сабли». Стремясь усилить полемическую направленность повести, Михайлов при работе над вторым изданием ввел в авторскую речь славянизмы, обилие которых было одной из характерных черт стиля эпигонского романтизма.

Пародийная направленность повести подчеркивается Михайловым и эпиграфами, перекликающимися с ее эпилогом.

При включении «Адама Адамыча» в сборник «В провинции» Михайлов посвятил ее И. С. Тургеневу, вероятно ощущая свою творческую близость к этому большому художнику. Последние страницы эпилога повести напоминают знакомый всем эпилог романа Тургенева «Отцы и дети», появившегося значительно позднее произведения Михайлова.

Повесть «Адам Адамыч», по свидетельству близкого друга Михайлова Н. В. Шелгунова, явилась «выражением той свежести, искренности, гуманности и любви, которыми был полон сам Михайлов» (Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 95).

Стр. 5. *И я в Аркадии родился* — строка из стихотворения Шиллера «Отречение».

Аркадия — центральная часть Пелопоннеса (Греция), изображавшаяся обычно поэтами как страна счастья и патриархальной простоты нравов. Наивные и чувствительные аркадские пастухи, их мирная, свободная от социальных контрастов и бедствий жизнь стали в литературе темой особого вида поэтических произведений — пасторалей.

Буколическое — то же, что и пасторальное.

Шатобриан Франсуа Рене, де (1768—1848)— французский писатель, один из представителей реакционного романтизма. В своих сочинениях идеализировал первобытную, не знающую якобы общественных противоречий жизнь.

Стр. 15. *Бобелина* — Имеется в виду Боболина, участница национально-освободительной войны греческого народа против турецкого ига. В России был популярен в XIX веке лубок с изображением Боболины.

Стр. 23. *Вокабулы* — список иностранных слов с переводом для заучивания наизусть.

«Письма русского путешественника» — опубликованы Н. М. Карамзиным (1766—1826) в 1791—1792 годах. В дальнейшем в повести Петенька переводит письмо, датированное маем, где говорится о той части дворца *Пале-Рояль*, которая была во время пребывания Карамзина во Франции средоточием увеселительных заведений; под *нимфами радости* Карамзин разумеет женщин легкого поведения.

Стр. 26. *Кляурен* Генрих — псевдоним немецкого писателя Карла Хейна (1771—1854); сочинения Хейна отличались сентиментальностью и слащавостью.

Матиссон Фридрих (1761—1831)— немецкий поэт, автор сентиментальных элегий.

Стр. 34. *Квинт Курций* Руф (I в. до н. э.)— римский историк.

Стр. 42. *...имморальний французский роман... Фоблаз...*— фривольно-авантюрный роман Жана Батиста Луве де Кувре (1760—1797) «Похождения кавалера Фоблаза» (1787—1791, в России впервые в 1791—1796).

Энгель Иоганн Якоб (1741—1802)— немецкий писатель, автор сочинения «Der Philosoph für die Welt» («Философ для мира»), собрания философских бесед, где небольшие рассказы и картины перемежаются с рассуждениями на моральные и эстетические темы.

Стр. 63. *Бог гроздий.*— Имеется в виду бог вина Дионис (*греч. миф.*)

Стр. 69. *Если бы я владел... чувствительною прозой Августа Лафонтена...*— Август Генрих Юлий Лафонтен (1758—1831), немецкий писатель, родоначальник сентиментального семейного романа.

...на стене промеж портретов Платова и храброго Казарского.— Платов М. И. (1751—1818) — атаман Донского казачьего войска, герой Отечественной войны 1812 года. Казарский А. И. (1797 — 1833)— герой русско-турецкой войны. Лубки с изображением Платова и Казарского были популярны в первой половине XIX века.

Стр. 73. *Фиксатуар* — помада для волос.

Стр. 74. *Хариты*— божества радости, красоты и изящества, из свиты богини красоты Афродиты, покровительницы музыки, танцев, красноречия, поэзии и других искусств (*греч. миф.*).

Стр. 76. ... *любовь Петрарки к Лауре.* — Петрарка Франческо (1304—1374) — итальянский поэт. Почти вся его лирика посвящена любви к Лауре, чувство к которой Петрарка пронес через всю жизнь.

Стр. 103. *Карбыши* — местное название сусликов или хомяков.

Стр. 109. *Филемон и Бауцис* — Филемон и Бавкида, герои древнегреческого мифа, обработанного римским поэтом Публием Овидием Назоном (43—17 до н. э.) в поэме «Метаморфозы» («Превращения»). Филемон и Бавкида, отличавшиеся примерной супружеской жизнью, благочестием, радушием и гостеприимством, стали героями многих произведений писателей и поэтов разных стран и эпох.

Стр. 120. *Gaudeamus* — старинная латинская студенческая песня.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Печатается по изданию — Сочинения М. Л. Михайлова. В провинции. Часть II. СПБ 1860. Впервые — *ОЗ*, 1854, №№ 9—12.

«Перелетные птицы» — первый в русской литературе роман о провинциальном театре[1]. Позднее Михайловым был задуман еще один роман об актерах: «Плясунья (Из рассказов театрала старых времен)» (1858), но до нас дошел лишь небольшой его отрывок (автограф, *ИРЛИ*, 13471, XXXIIIб).

В «Перелетных птицах» Михайлов наряду с правдивым изображением положения провинциальных театров России ставит, как и в своих театральных рецензиях и критических статьях, очень важный для того времени вопрос о воспитательном значении театра, о его репертуаре, о подготовке актеров. В постановке этих вопросов Михайлов следовал за Белинским и Гоголем. Он высмеивает далекие от жизни оперы, пьесы и водевили («пресловутая «Русалка», мелодрамы Коцебу и др.), показывая, что только подлинные произведения искусства могут вызвать «восторг и волнение» у зрителей. В споре, начавшемся в русской критике еще при Белинском, об игре Каратыгина и Мочалова Михайлов выступает на стороне передовой части русского общества, осуждавшей холодную, основанную на внешнем эффекте игру Каратыгина.

Замысел романа возник у Михайлова, очевидно, в Нижнем-Новгороде, где он, увлекаясь театром, близко познакомился с жизнью провинциальных артистов, писал рецензии о спектаклях театра в «Нижегородских губернских ведомостях».

Описанный Михайловым губернский город Голодаев с его ежегодными ярмарками напоминает Нижний-Новгород с его знаменитыми Макарьевскими ярмарками, упоминаемый в романе крепостной театр

---

[1] До Михайлова о провинциальных актерах писали: А. Вельтман, «Провинциальные актеры». Повесть. *БДЧ*, 1835, т. 10; В. Соллогуб, «Собачка», в сб. «Вчера и сегодня», ч. I, СПБ 1845.

Хамовникова — знаменитую в начале XIX века в Нижегородской губернии труппу крепостных актеров князя Шаховского.

Прототипами многих героев романа Михайлова можно считать артистов нижегородского театра. Один из современников Михайлова, П. Д. Боборыкин, писал: «В нем (в романе.—*Г. К.*) я узнавал актеров и актрис тогдашнего нижегородского театра... сестры Стрелковы (в романе они называются Бушуевы), из которых старшая, Ханея Ивановна, попала в Московский Малый театр и играла в моей комедии «Однодворец» уже на амплуа старух, нося имя своего мужа Таланова» (П. Д. Б о б о р ы к и н, За полвека, М.— Л. 1929, стр. 327). В Мирвольском Боборыкин находил сходство с «первым актером нижегородского театра», впоследствии антрепренером на юге, Милославским, для которого, как писали «Нижегородские губернские ведомости», спектакль начать Гамлетом и кончить Филаткой ничего не стоило (1867, № 42). Возможно, что прототипом Ольги является выступившая впервые в 1849 году на нижегородской сцене молодая талантливая драматическая актриса и певица Шмитгоф, умершая через несколько лет от чахотки. Дмитрий Борский в «Перелетных птицах» во многом напоминает актера Трусова, бывшего крепостного, ездившего учиться у артистов Малого театра. «Нижегородские губернские ведомости» часто писали о нем, называя его «ветераном нижегородской сцены».

Первые две главы «Перелетных птиц» были представлены Михайловым в июне 1854 года в *ОЗ*. Но печатание романа было задержано цензором Фрейгангом «по неблаговидности содержания своего и на основании данного... цензурным начальством предписания: «Не допускать в повременных изданиях повестей и романов, заключающих в себе изображение грязных и площадных сцен, с пошлыми и грязными лицами, с речениями и словами низкими и неприличными для образованного круга читателей» (см. письмо его Краевскому от 18 июня 1854 г., *ЦГАЛИ*, ф. 1111, оп. 2, ед. хр. 24).

Михайлову пришлось самому объясняться с цензорами и только после долгих хлопот удалось получить в сентябре разрешение начать печатание романа (см. письмо Михайлова В. Р. Зотову, *ИРЛИ*, оп. 3, № 60). Работа над ним продолжалась Михайловым еще в ноябре: «Жду в субботу окончания «Птиц»,— писал ему Краевский 9 ноября (*ЦГАЛИ*, ф. 1111, оп. 2, № 24).

Возможно, что именно «Перелетных птиц» читал Михайлов еще до опубликования в кругу близких ему писателей. «Уведомьте меня, когда вы будете читать роман ваш»,— просил Михайлова И. И. Панаев (письмо Панаева Михайлову, б. д., среди писем 1852—1855 гг., *ЦГАЛИ*, ф. 1111, оп. 2, ед. хр. 35). Интересно также, что поэт Л. Мей писал Михайлову: «Перелетных» прочел с удовольствием» (письмо б. д., *ИРЛИ*, оп. 2, ед. хр. 30).

Критика с одобрением отозвалась о романе «Перелетные птицы». «Современник» писал, что «после «Адама Адамыча» это самое удачное из произведений Михайлова». «В «Перелетных птицах» виден талант, трудолюбие и добросовестность... В романе есть несколько очень удачно подмеченных, верно переданных и до конца выдержанных характеров, как, например, Мирвольского, обеих актрис, Бушуева и Наруковича. Ко всему этому роман не лишен занимательности и написан безукоризненным, прекрасным языком» (*С*, 1855, № 1, «Заметки нового поэта», стр. 71). «Библиотека для чтения», находившая также удачными образы Наруковича, Мирвольского, сестер Бушуевых, отмечала ряд недостатков в композиции романа — растянутость первой части, несоразмерность некоторых частей (*БДЧ*, 1854, № 11—12, отд. VI, стр. 15, 1855, № 1—2, отд. VI, стр. 4).

При переиздании романа в сборнике «В провинции» в 1860 году Михайлов изменил его композицию, переработав пролог (о котором *БДЧ* писала, что он слаб) и соединив его с восьмой главой.

Во втором издании романа вообще значительно развиты многие сцены и характеристики. Возможно, что эти изменения связаны не только с творческой работой Михайлова над произведением, а с тем, что многое из выброшенного цензурой в романе при первой публикации восстанавливалось им в издании 1860 года. Так, в главе V в описании костюмов, доставшихся Наруковичу от «домашнего» театра князя Хамовникова, появились строки о трагической судьбе крепостных актеров, перекликающиеся с повестью Герцена «Сорока-воровка» (от слов: «Сколько раз эта царственная хламида прикрывала исполосованную розгами спину!» до «Имя князя Хамовникова недаром сохранилось в памяти благодарного потомства как имя высокого любителя и ценителя сценического искусства»).

В главу IV, где говорится о поступлении Мирвольского в университет, введены строки, рассказывающие о распространении в России в те времена взяточничества (добавлено от слов: «Зная по опыту, как легко при известных карманных средствах устраиваются на белом свете, и особенно на святой Руси, самые трудные дела» до «...подобные меры неприложимы в этом случае»).

В издании 1860 года изменились также названия городов. Так, губернский город Гуляев переименован в Голодаев, Кадуев — в Камск. Появились новые строки, говорящие о зависимости провинциальных театров от местных властей. В начале первой главы после слов: «На грязно-сером поле занавеса была изображена желтая лира. Зрители долго любовались ею» добавлено: «Наконец приехал губернатор, и занавес поднялся».

Большое внимание при переработке романа писатель уделил быту

актеров. Возможно, что именно некоторые из бытовых эпизодов, в частности сцена ссоры между Колчановой и Решиловой (гл. II), были названы цензором «грязными и площадными» сценами (см. выше письмо Фрейганга) и удалены при первой публикации.

Большой интерес представляет работа Михайлова во второй редакции над образами Ольги и Борского, являющимися в романе выразителями взглядов автора на искусство. Писатель еще больше подчеркивает высокое благородство, самоотверженность Ольги, в игре которой «каждая сцена, каждое положение, каждая фраза были поняты и прочувствованы». Дмитрий Борский, молодой артист, которому поприще актера представлялось «в высшей степени увлекательным и завидным», приобретает большую настойчивость и целеустремленность. Так, в XIX главе значительно переработана сцена объяснения и разрыва Мити с дядей, в ней появились слова: «Я не могу больше жить у тебя. Сил моих не стает сидеть как собаке на цепи и ничего не слыхать, кроме брани. Терпел долго, да уж нет — не могу...» Не было в первой публикации и таких слов в этой сцене: «Дмитрий слышал злобный голос дяди: Будь ты проклят, окаянный!»

Кроме того, в XX главу, стремясь ярче показать бескорыстие Мити, отказавшегося от наследства ради поприща актера, Михайлов вводит строки, где говорится о том, как непонятно и чуждо поведение Мити Мирвольскому, выбравшему театр как самое легкое средство к существованию, поступившему на сцену ради денег. Мирвольский смеется над желанием Мити поступить на сцену: «Вот охота-то припала!» Более детально описывается воспитание Мирвольского, «недоросля из дворян», подробнее говорится о его избалованности, привычке к праздности (например в гл. IV добавлено от слов «...чему выучился Павел у двух этих менторов...» до слов «Последовали жалобы») и особенно лицемерии. Так в главе XIII появились слова: «Мирвольский заметил недоверчивость Ольги и скоро понял, что его откровенность не может принести ему никакой пользы в глазах девушки». В XXI главу Михайлов вводит разговор Мыльникова с Митей, характеризующий эгоизм, грубость Мирвольского.

Жажда наживы, мошенническая ловкость Наруковича, «не чистого на руку человека», «выжиги», занявшегося театром ради выгоды, обрисованы в издании 1860 года более рельефно. Большее внимание уделено прошлому Наруковича (биография его во многом напоминает биографию Чичикова); его службе в качестве чиновника и управителя помещичьего имения (гл. II). Введены высказывания актеров о «честности» Наруковича (гл. II).

При подготовке второго издания романа Михайлов, продолжая работу над языком действующих лиц, снял ряд диалектизмов в речи Марьи Осиповны, Антипа.

В 1860 году в связи с выходом II тома «В провинции» в «Санктпетербургских ведомостях» (1860, № 185) появилась рецензия, в которой роман «Перелетные птицы» оценивался как лучшее произведение Михайлова.

Стр. 125. *Иогансон* Х. П.— известный в середине XIX века артист петербургского балета.

Ритурнель — музыкальная фраза, исполняющаяся в начале и в конце каждой строфы арии, песни или романса, в начале и конце сольного номера.

Стр. 126. *...шлем Мамбрина, который украшал некогда многодумную голову знаменитого любовника Дульцинеи...*— Имеется в виду медный таз; Дон-Кихот, герой одноименного романа Сервантеса, принял медный таз за чудодейственный золотой шлем мавританского короля Мамбрина и носил его на голове.

«Русалка» — комическая опера «Днепровская русалка, переделанная с немецкого Н. Краснопольским». Музыка — Каура, Кавоса, Давыдова. Впервые поставлена в России в 1803 году.

Стр. 134. *Про каждого из обитателей угрюмого дома можно было сказать словами Пушкина, что зверь узнает в нем брата* — неточная цитата из драмы А. С. Пушкина «Русалка».

Стр. 136. *«Чертова мельница»* — пьеса немецкого драматурга Карла Фридриха Генслера (1761—1825).

Стр. 154. *Номады* — кочевники.

Стр. 155. *«Гамлет»* — трагедия В. Шекспира, ставилась в России в XVIII веке в переводе Сумарокова, в XIX веке чаще всего в переводе Н. А. Полевого (1796—1846), который цитируется в романе.

«Дон Жуан» — точно не установлено, что имеется в виду. В 40—50 годах XIX века в театрах ставилась и опера Моцарта «Дон Жуан» и одноименный балет Блаша. Кроме того, в 1847 году в Александринском театре была поставлена «маленькая трагедия» А. С. Пушкина «Каменный гость».

Параша-сибирячка — главное действующее лицо одноименной казенно-патриотической драмы Н. А. Полевого, впервые поставленной в Александринском театре в 1840 году.

Стр. 187. *Каратыгин.*— Имеется в виду знаменитый русский актер-трагик В. А. Каратыгин (1802—1853), исполнитель главных ролей в классических трагедиях Сумарокова, Озерова, Вольтера. Игра Каратыгина, особенно в первой половине его сценической деятельности, отличалась рационалистичностью и обилием внешних эффектов.

Стр. 191. *«Коварство и любовь»*— трагедия в пяти действиях Ф. Шиллера. Впервые представлена в России в 1824 году в Москве. Шла в переводе Н. Сандунова. Впоследствии Михайлов сам перевел трагедию.

Перевод вошел в изданное Н. В. Гербелем в 1858 году собрание сочинений Шиллера в переводе русских писателей.

Стр. 204. *Панский товар*, или красный товар,— фабричные ткани.

Стр. 220. «*Сын любви*» — драма Августа Фридриха Фердинанда Коцебу (1761—1819), немецкого драматурга и романиста, тайного агента русского царя, убитого студентом К. Зандом. Сентиментально-нравоучительные драмы и комедии Коцебу были популярны в России в начале XIX века в обывательской среде.

Стр. 226. «*Жизнь игрока*» — мелодрама «Тридцать лет, или Жизнь игрока» В. Дюканжа и М. Дюно. Впервые была поставлена в России в 1828 году в Петербурге. Игралась на провинциальной сцене вплоть до 80-х годов.

Жорж — Жорж де Жермани, одно из главных действующих лиц «Жизни игрока».

Стр. 242. «*Птичка*».— Имеется в виду романс «К птичке», музыка А. Е. Варламова (1801—1848).

Стр. 248. *Злодейства пар кровавый...* — строки из трагедии В. Шекспира «Король Лир» в переводе Н. Гнедича (1808), в котором эта пьеса ставилась на русской сцене в первой половине XIX века.

Стр. 162. «*Пчелка златая*» — первая строка стихотворения Г. Р. Державина «Пчелка», ставшего в XIX веке популярной песней.

«*Венок граций*» — очевидно, имеется в виду альманах, изданный в Москве в 1838 году Иваном Глухаревым.

«*Повесть о приключении аглинского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе...*» — любовно-авантюрный роман М. Комарова, впервые издан в 1782 году.

Стр. 275. *Крамбамбули* — немецкая студенческая песня, перевод ее на русский язык приписывается Н. М. Языкову.

«*Мы живем среди полей*» — песня из оперы А. Н. Верстовского «Пан Твардовский» (1828), либретто М. Н. Загоскина.

«*Норма*» — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835).

Стр. 276. «*Служенье муз не терпит суеты*» — строка из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября 1825 г.».

Стр. 278. «*Смерть Ляпунова*» — драма С. А. Гедеонова (1816—1877), написана и впервые поставлена в 1845 году.

Стр. 279. «*Елена Глинская*» — драма Н. А. Полевого, написана в 1842 году.

Стр. 294. «*Коварный друг, но сердцу милый!*» — романс, музыка Н. А. Титова (1800—1875).

Стр. 313. *Саботьеро* — саботьер, национальный французский танец, получивший название от «сабо», деревянных башмаков.

«Новички в любви» — водевиль Н. А. Коровкина, написан в 1840 году.

Стр. 314. *...скажу словами одного из великих поэтов...* — Имеется в виду В. Г. Бенедиктов (1807—1873), в частности его стихотворение «Кудри».

Стр. 327. *«Кетли»*, или *«Швейцарская хижина»* — французская оперетта-водевиль в одном действии «Кеттли, или Возвращение в Швейцарию». В переводе Д. Т. Ленского была впервые поставлена в Александринском театре в 1832 году.

Стр. 340. *«Материнское благословение,* или Бедность и честь» — драма, переделка с французского Н. Перепельского (псевдоним Н. А. Некрасова). Впервые была поставлена в 1842 году в Александринском театре и прочно вошла в его репертуар. Одну из главных ролей исполняла Н. Самойлова (1818—1899), часто ездившая на гастроли в провинцию. В 1851 году Самойлова играла в Нижнем-Новгороде. Михайлов посвятил ей стихотворение, опубликованное в «Нижегородских губернских ведомостях», 1851, № 28.

Надежде Васильевне Самойловой от нижегородца

Полон свежих вдохновений,
Полон грации и сил,
Ваш прекрасный, светлый гений
Много радостных мгновений,
Много чистых наслаждений
Сердцу подарил!

Каждый выход ваш встречала
Тайным трепетом душа...
Переполненная зала
То, крича, рукоплескала,
То с любовью вам внимала,
Молча, чуть дыша.

Дан вам славой неизменной
Свеж и полон ваш венок.
Пусть же мой листок мгновенный,
Безыскусственный, смиренный,
Ляжет вами вдохновенный,
Хоть у ваших ног!

Стр. 350. *«Ненависть к людям и раскаяние»* — комедия Коцебу.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗКИ

Печатается по *С*, 1855, № 2, где появился с подзаголовком «Рассказ» Подпись: М. М.

ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК

Печатается по журналу «Народное чтение», 1859, кн. IV, где имел подзаголовок «Деревенская быль».

ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗКИ

Печатается по *Д*, 1867, № 12, где был опубликован под рубрикой «Из прошлого». Подпись: Л. Шелгунова. Повествование велось от лица рассказчика-женщины, как и в очерке «Кукушка», что, однако, не было проведено последовательно. Это, а так же публикация «Кукушки» и «Зеленых глазок» за подписью Л. Шелгуновой, опасавшейся, что цензура не пропустит в печать произведения ссыльного автора, дало основание восстановить в них форму повествования от лица рассказчика-мужчины.

Сибирские очерки

В цикл «Сибирских очерков» входят: I. «Незабываемое горе» (*Д*, 1867, № 7), II. «Аграфена» (*Д*, 1867, № 8), III. «Кукушка» (*Д*, 1867, № 9), напечатанные за подписью Л. Шелгуновой. Два из них включены в настоящее издание.

АГРАФЕНА

Печатается по *Д*, 1867, № 8.

Этот очерк рассматривался на цензурном совете 9 августа 1867 года. Однако, по заключению одного из цензоров, нашедшего, что хотя очерк и «представляет яркую картину злоупотреблений и несообразностей» (например, «Аграфена подвержена припадкам сумасшествия, между тем ее содержат и судят, как будто бы она в здравом уме»), эти «злоупотребления» характерны для «прежнего делопроизводства»,— комитет определил: статью к напечатанию дозволить (*ЦГИАЛ*, ф. 777, оп. 6, д. № 80).

Печатается по *Д*, 1867, № 9 (см. прим. к «Зеленым глазкам»). Очерк близок к заключительной главе «Записок» Михайлова, отразившей настроения поэта в пору, когда он мечтал о побеге. Написан в Кадае, где провел Михайлов последние годы жизни.

Посетивший могилу Михайлова П. Якубович-Мельшин так описывает эту местность: «Глазам нашим представилась довольно большая деревня в три длинных параллельных одна другой улицы; но расположилась Кадая в такой узкой, мрачной котловине, с обоих боков ее охватили такие грозные горные громады, что она производит впечатление чего-то жалкого забитого, немощного... Правая сторона деревни возвышенная — она примыкает к тем самым сопкам, где помещается богатый серебряными залежами рудник; левая, напротив, представляет низкую, болотистую долину, но за этим узким болотом почти отвесной стеной поднялся гигант-утес, господствующий над всей окрестностью. Он словно висит в воздухе и грозит упасть и похоронить под своими развалинами приютившееся у его ног селение» (П. Мельшин, В мире отверженных, СПБ 1899, т. II, стр. 357).

Упоминаемая в очерке Кара — один из самых страшных рудников Нерчинской каторги. Приводим сохранившуюся запись Михайлова о нем:

Кара

Набивали амбары мертвыми — клали полянницами как дрова; когда полно, свозили на быках в разрез. Мыши.

Что ни сам⟨ый⟩ молодой, хороший народ примёр там, сгиб. Гоненье было.

С дал⟨ьних⟩ рудников звали служителей. Чрез м⟨еся⟩ц вернетесь домой. А пришлось до глуб⟨окой⟩ осени. Лето жаркое — нести зим⟨нюю⟩ одежду тяжело. Все пошли налегке. На разрезе работает, разогреется. Пока бежит на ночлег, прохватит всего, простынет.

Работа была тяжелая — лето безводное. Многим по 3 суток спать было некогда. Ночью подымали. Придет — поставят ему бачок с пищей. Он тут же у бачка и заснет. Иной раз и не поест еще к⟨а⟩к следует, а уж задремал — спит.

До эт⟨ой⟩ поры в Каре мыли по 25 п⟨удов⟩в год, и рудники везде хорошо действовали. А к⟨а⟩к всех туда, рудники пали. Везде крепи обрябли, обвалилось все, сызнова начинай.

Ну, известно, захвастнулся начальник перед генералом — вымою 100 пудов. Потом уж и совестно отстать.

Вместе с мертвыми живого положили. Он встал, кричит, отдышался. Сторож — казак еще никак был — бежать. Все перепугались. И удивительное это дело — точно с той поры он и болен не был. Совсем здоровым встал (*ИРЛИ*, ф. 93, оп. 2, 165).

Стр. 448. ... *пару чарков...*— чаркй — вид сибирской обуви.

Стр. 451. *Орфей* — легендарный поэт и певец, очаровывавший своим пением людей, природу и богов (*греч. миф.*).

Стр. 457. *Бакунин* М. А. (1814—1876) — известный революционер, идеолог анархизма. Михайлов говорит о побеге Бакунина из Сибири в 1861 году.

Руфин Пиотровский — польский революционер, осужденный на пожизненные каторжные работы. Побег свой из Сибири описал в книге «Записки Р. Пиотровского, Россия и Сибирь, 1843—1846 гг.»., изданной в 1863 году в русском переводе за границей.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСТОРИИ[1]

(За миллионы лет)

Печатается по *Д*, 1869, №№ 3—4.

Очерки «За пределами истории» написаны в Кадае в 1863—1865 годах, о чем можно судить по воспоминаниям Н. Шаганова: «Там... Михайлов писал свои переводы иностранных поэтов и сцены из быта первых людей...» (Н. Шаганов, Воспоминания, СПБ 1907, стр.4). Михайлов читал отрывки из очерков Н. Г. Чернышевскому, с которым некоторое время вместе жил в Кадае. «Одна из этих картин особенно понравилась Николаю Гавриловичу, и некоторые детали ее он пересказывал нам»,— вспоминал находившийся в то время в Кадае С. Стахевич (С. Стахевич, Среди политических преступников. Сборник «Н. Г. Чернышевский», М. 1928, стр. 119).

Очерки М. Л. Михайлова являются первой не только в русской, но и в мировой литературе попыткой беллетристического изображения самого начального периода развития человечества.

По данным современного научного исчисления, нас отделяет от первобытной эпохи, картины жизни которой Михайлов нарисовал в своих очерках, около миллиона лет. Создавая картины далекого прошлого

[1] Реальный комментарий — Г.Ф. Коган.

человечества, Михайлов использовал существовавшую тогда и доступную ему литературу. Даже мы обладаем самыми ограниченными положительными данными об этом начальном отрезке истории. Их совсем не было в то время, когда Михайлов писал свои очерки. Однако он стихийно пошел в изображении времени, действительно находящегося почти «за пределами истории», по материалистическому пути. Талант художника-реалиста дал ему возможность создать такое изображение этой эпохи, которое при всей относительности наших знаний о ней можно признать вероятным и правдоподобным.

Очерки Михайлова, оставаясь научно-художественной фантазией, все же реалистичны и имеют несомненное познавательное значение. В них нет почти ничего, что бы противоречило соответствующим современным материалистическим представлениям. При этом трактовка Михайловым ряда принципиальных вопросов вполне совпадает с нашими взглядами.

Избранное Михайловым место появления человека — остров в Индийском океане — входит в предполагаемую ныне географическую арену очеловечения ископаемой обезьяны.

Михайлов называет раннюю общественную форму «стадом», и так именно называет эту форму, следуя за Энгельсом и Лениным, советская наука первобытной истории.

Михайлов справедливо считает одним из важнейших факторов, способствовавших образованию человеческого коллектива, страх перед могучими силами природы и окружающим животным миром и нужду в средствах существования, особенно острую в начальной стадии формирования человека и человеческого общества. Однако следует отметить, что Михайлов не учел важнейший фактор образования человеческого общества — труд.

Смело, но с полным научным основанием переносит Михайлов заимствованную им из сочинения Г. Муо сцену игры обезьян с крокодилом на ранних людей.

Ошибка, сделанная Михайловым в общей картине первобытности, состоит в том, как он изобразил возникновение семьи, а также ранние отношения между мужем и женой, отцом и детьми.

Михайлов правильно, в согласии с современными научными представлениями, рисует добрачное состояние отношений полов. Однако не следует считать, что женщина в эту эпоху доставалась, как утверждает Михайлов, наиболее сильному мужчине: не физическая сила определяла, надо думать, индивидуальное сближение полов, а естественное, будь то самое примитивное и грубое, свободное и взаимное половое влечение. Неверно и все последующее изображение Михайловым физического преобладания, власти и проч. мужчины и подчиненного положения женщины. Совершенно неверно утверждение Михайлова: «Как только

мужчина заметил в себе перевес сил, создалась семья», и все следующее затем изображение отношений мужа к жене, возникновения многоженства, распределения добычи охоты между супругами и проч. Эти картины первобытной жизни в очерках лишены правдоподобия, ибо противоречат современным научным данным, говорящим о том, что первобытная эпоха была эпохой свободы и равноправия в отношениях между полами, что семья как общественная единица тогда еще не оформилась и той индивидуальной семьи, которую имеет в виду Михайлов, тогда не существовало. Те же ошибочные воззрения сказываются и в заключительном абзаце очерков, где содержится утверждение о том, что рабское положение жен и детей в семье было исконным.

Следует сказать, однако, что эти ошибки Михайлова имеют свое объяснение, вытекающее из истории науки. Михайлов создавал свои очерки в начале 60-х годов XIX века. Но «до начала шестидесятых годов об истории семьи не могло быть и речи»,— писал Энгельс. История эта начала возникать лишь с 1861 года, со времени появления сочинения швейцарского ученого И. Я. Бахофена «Материнское право» [1]. Хотя это сочинение очень рано стало известно и получило признание в России, оно, по тем условиям, в которых находился тогда Михайлов, не могло быть известно ему. Между тем представления о первобытности находились в то время целиком во власти созданной еще в античную эпоху и развитой в средние века так называемой «патриархальной теории». Эта теория изображала возникновение семьи, внутрисемейные отношения и проч. точно так, как это изобразил в своих очерках Михайлов.

Реализм, с каким Михайлов рисует начальное состояние человечества, приводит его подчас к подчеркнуто грубому изображению отдельных сцен и положений. Однако не надо забывать, что в очерках рассказывается о той эпохе, когда человек еще сохранял в своем физическом, психическом и общественном состоянии немало элементов «животночеловеческого». Изображая эту эпоху, Михайлов не останавливается перед истиной, какой бы грубой она ему ни представлялась.

Стр. 458. *Лишь любить да мечтать умело оно...*— строки из стихотворения Шиллера «Четыре века», перевод Л. Гинзбурга.

И силу в грудь и свежесть в кровь...— строфа из стихотворения Гете «На озере» в переводе А. Фета.

---

[1] Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, 1948, стр. 14—15.

Индейское море — подразумевается Индийский океан.

Трахиты и базальты — горные породы вулканического происхождения.

Стр. 460. *Райские птицы* — яркие по оперению птицы из отряда воробьиных.

Стр. 462. *Сатиры* — лесные и горные божества природы, изображавшиеся обычно в виде людей с козлиными ногами, рогами и конским или козлиным хвостом (*греч. миф.*).

Фавны. — Фавн, бог стад, покровитель пастухов, изображавшийся обычно в виде человека с козлиными ногами, рогами и бородой (*римск. миф.*).

Стр. 475. *Гексли* Томас Генри (1825—1895)— английский естествоиспытатель, сторонник теории Дарвина, прославившийся работами в области эмбриологии, палеонтологии и сравнительной анатомии. Михайлов в очерках цитирует (с пропусками) отрывок в своем переводе из второй главы книги Гексли «О положении человека в ряду органических существ» (1863), которая была переведена на русский язык А. Бекетовым в 1864 году.

Рапсод — в древней Греции исполнитель эпических песен.

Стр. 476. *Боа* — змея больших размеров (до четырех метров длины) из семейства удавов.

Стр. 478. *Робок, наг и дик скрывался...* — строки из стихотворения В. Жуковского «Элевзинский праздник».

Стр. 479. *Эдем* — земной рай, роскошный сад (*библ.*).

Стр. 480. *Первым оружием были руки...*— строки из произведения «О природе вещей» древнеримского поэта и философа-материалиста Тита Лукреция Кара (99—55 до н. э.).

Стр. 481. *Барт* Генрих (1821—1865)— немецкий путешественник по странам Северной и Центральной Африки (1845—1855).

Ливингстон Давид (1813—1873) — английский исследователь Африки, совершивший в середине XIX века туда несколько путешествий.

Стр. 486. *Сказка об изобретении финикийцами стекла, об открытии пурпура ...*— По преданию, однажды финикийские путешественники, не найдя камней, соорудили очаг из селитры и развели огонь; селитра расплавилась, смешалась с золой и песком, и образовалось стекло. Пурпур, согласно легенде, был открыт пастухом, заметившим краску на морде своей собаки, которая грызла морские раковины.

...анекдоты про Гутенберга с попавшеюся ему строчкой Цицерона, про Ньютона с его яблоком.— По преданию, Иоганну Гутенбергу (1400—1468) идея книгопечатания была подсказана детскими кубиками Цицерона с высеченными на них буквами; Ньютону

(1642—1727) впервые пришла мысль о законе всемирного тяготения тогда, когда он увидал падающее с дерева яблоко.

Стр. 490. *Циклоп Полифем* — одноглазый великан, обладатель стад коз и баранов (*греч. миф.*). Михайлов цитирует строки из IX песни «Одиссеи» в переводе В. Жуковского.

Стр. 491. *...сооружения на сваях... сохранились в остатках в Швейцарии...*— Михайлов имеет в виду открытие археологами в первой половине XIX века остатков древних свайных построек на берегах швейцарских озер.

Стр. 492. *Закон Мальтуса оправдывался во всей силе.* — Мальтус Томас Роберт (1766—1834), английский реакционный буржуазный экономист, известен как автор «Опыта о народонаселении», где утверждал, что существует вечный закон народонаселения, согласно которому рост народонаселения всегда обгоняет рост средств существования. Это делает неизбежным для большей части населения нищету, голод, ведет к борьбе за существование между людьми и к вымиранию «излишков» населения. Михайлов допускает ошибку, полагая, что к ранним стадиям развития человечества закон Мальтуса приложим. Ф. Энгельс, доказавший вместе с Марксом полную экономическую несостоятельность закона Мальтуса, высмеял и утверждения о том, что он действовал якобы в первобытную эпоху жизни человечества (см. Ф. Энгельс, Очерки критики политической экономии. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. II, М.—Л. 1929, стр. 313).

Стр. 493. *Мандевиль Джон* (1300—1372)— автор популярных в средние века в Европе рассказов о путешественниках. Свои сочинения он компилировал из записок, рассказов, описаний других путешественников, сам не был нигде, кроме Египта.

Монтесума (р. ок. 1466 — ум. в 1520) — наследственный вождь одного из племен ацтеков и глава союза племен на территории Мексики, был убит испанцами при ее завоевании.

Стр. 502. *Геркуланум и Помпеи* — города в Италии, погибшие от извержения Везувия в 79 году.

Торре-дель-Греко — город, построенный на лаве извержения Везувия в 1631 г. Сильно пострадал от последующих извержений.

Стр. 504. *Харибда* — здесь — символ морских опасностей.

Стр. 511. *Зевс Громовержец, Тор, Перун* — боги грома в древних языческих религиях народов Греции, Скандинавских стран и Руси.

Стр. 513. *Веста* — богиня — покровительница домашнего очага (*римск. миф.*).

Зенд-Авеста — букв. «Текст с толкованием» (*арабск.*), священная религиозная книга народов, населявших в древности Среднюю Азию, Азербайджан, Персию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СКАЗКИ

Известно восемь сказок, обработанных Михайловым и опубликованных в журналах «Подснежник» (1858) и «Народное чтение» (1859). Сказки, опубликованные в «Подснежнике», вошли без подписи Михайлова, так как имя его в те годы было запрещено упоминать в печати, в сборник «Русские народные сказки», изданный в 1864 году Овсянниковым.

Представляющие наибольший интерес из обработок Михайлова включены в настоящее издание.

Произведения устно-поэтического народного творчества, в том числе сказки, Михайлов считал важнейшим историческим памятником, в котором «доходит до нас народная дума», выражением верований, чувств, надежд, радостей и горя народа (см. рецензию Михайлова на «Песни, собранные И. В. Киреевским». *PC*, 1860, № 11, отд. II, стр. 33). Приветствуя издание народных песен и сказок, Михайлов советовал собирателям фольклора сохранять прежде всего их народно-поэтическую основу, доискиваться их первоначальных источников, бережно относиться к их языку, не засорять его диалектизмами. Так, в рецензии на этнографический отдел «Пермского сборника» Михайлов писал: «Нам кажется, что в сказках важнее всего содержание или, пожалуй, эпические их приемы, а не язык; а эта точность в записывании всякого «ищо» или «ишшо» вместо «еще», всякого «топеря» или «типеря» вместо «теперь» только затрудняет и сердит читающего, не принося в то же время ни малейшей пользы никому, будь читающий даже самый рьяный филолог. Уж если непременно охота сохранить эти «ишшо» и «топеря», не лучше ли бы упомянуть о них в отдельном примечании? По крайней мере с ними встретился бы в книге только раз, а не кололи бы они глаз на каждой строчке... разве не одинаково выговорит всякий русский, всех местностей и всех сословий, слово «что» или «родится», как вы ни напишете его, так ли, или этак, например: «што», «родитца» (*PC*, 1860, № 5, отд. II, стр. 47).

Обработки Михайловым сказок свидетельствуют о стремлении его передать богатство и чистоту народного языка, о тонком понимании традиционных поэтических приемов повествования, характерных для произведений народного творчества. Вот что говорилось об обработках Михайлова в журнале «Подснежник», где впервые появились некоторые из них, в специальном примечании от редакции: «Предлагаемые русские сказки — сказки народные: народ их сложил, в народе они живут и передаются от отца к детям. Помещая время от времени в нашем жур-

нале эти сказки без всяких прикрас и прибавлений и заботясь единственно о правильности и чистоте языка, мы имеем в виду познакомить юных читателей с произведениями нашей народной фантазии» («Подснежник, журнал для детского и юношеского возрастов, издаваемый В. Н. Майковым», СПБ 1858, № 1, стр. 17).

КОТ И ПЕТУШОК

Печатается по журналу «Подснежник», 1858, № 1. Сюжет сказки — один из наиболее распространенных. До Михайлова сказка на этот сюжет под заглавием «Кот, лиса и петух» была напечатана Афанасьевым в 1856 году во II выпуске «Народных русских сказок» и К. Авдеевой в 1856 году в сборнике «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкой А. Черепьевой» (третье издание) под заглавием «Сказка о петушке». Источником сказки Михайлова можно считать запись Афанасьева. Использована Михайловым также и публикация Авдеевой, из которой могли быть заимствованы песни кота-гусляра. Но язык песен и всей сказки в обработке Михайлова значительно поэтичнее и богаче (см. «Систематический указатель тем и вариантов русских народных сказок А. М. Смирнова», т. 16, СПБ 1912).

ДУМЫ

Печатаются по журналу «Народное чтение», 1859, кн. V, как и три следующие сказки.

Другие записи этого сюжета неизвестны. Возможно, что Михайлов не только обработал, но и сам записал его.

ДВА МОРОЗА

Запись подобного сюжета встречается лишь в «Сборнике великорусских сказок», составленном А. М. Смирновым и изданном архивом Русского географического общества в 1917 году. В сказке из сборника А. М. Смирнова поспорившие два мороза взялись заморозить один — барина в медвежьей шубе, другой — бурлака; заморозить бурлака не удалось, так как он выпил водки и поскакивал с ноги на ногу.

ВОЛГА И ВАЗУЗА

Известна в записи В. И. Даля, которая была опубликована в 1858 году в IV выпуске «Народных русских сказок» Афанасьева под заглавием «Вазуза и Волга».

ТРОЕ ДОРОЖНЫХ

Известна в записи В. И. Даля, которая была опубликована Афанасьевым в IV выпуске «Народных русских сказок» в 1858 году. Этот же сюжет встречается в сборниках народных сказок под заглавиями «Боб, соломинка и лапоть» и «Кому горе, кому смех».

СОДЕРЖАНИЕ

Курсивом указаны страницы примечаний.

МИХАИЛ ЛАРИОНОВИЧ
МИХАЙЛОВ
Сочинения в 3-х томах, т. 2

Редактор *В. Панов*
Художник *Д. Громан*
Худож. редактор *И. Жихарев*
Технич. редактор *Г. Каунина*
Корректор *Л. Чиркунова.*

*

Сдано в набор 22/VIII 1957 г.
Подписано к печати 10/II 1958 г.
Бумага 84 × 108 1/32—17,75 печ. л.
29,11 усл. печ. л. 29,69 уч.-изд. л.
Тираж 150 000 экз. Заказ № 982.
Цена 9 р. 90 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19.

*

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

ОПЕЧАТКИ

Страница	Ст рока	Напечатано	Следует читать
		Том I	
580	13 сн.	1806	1866
		Том II	
553	2 св.	(гл. II)	(гл. III)
	19 св.	в XX главу	в XIX главу
555	21 св.	Стр. 162	Стр. 267

Сочинения М. Л. Михайлова в трех томах